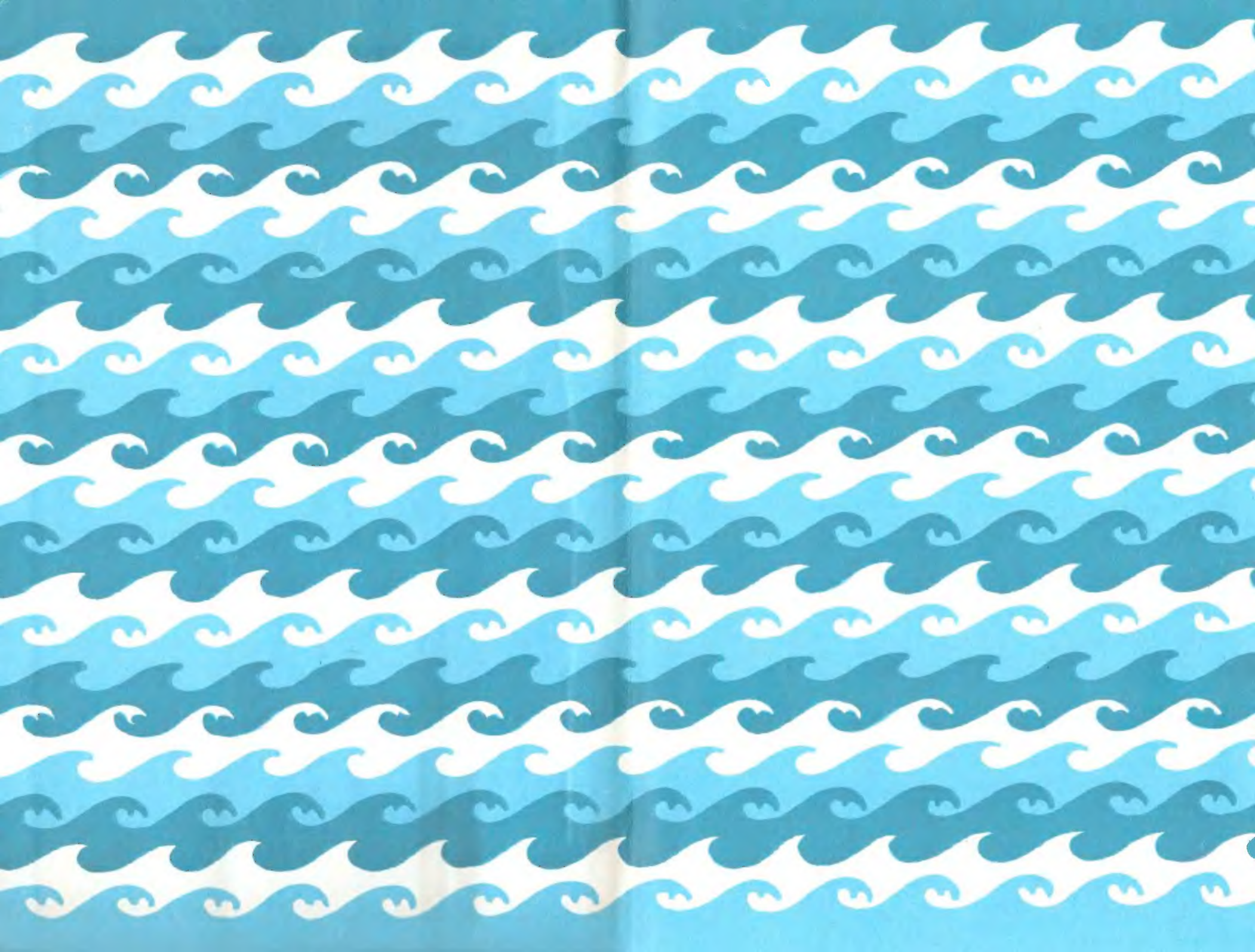
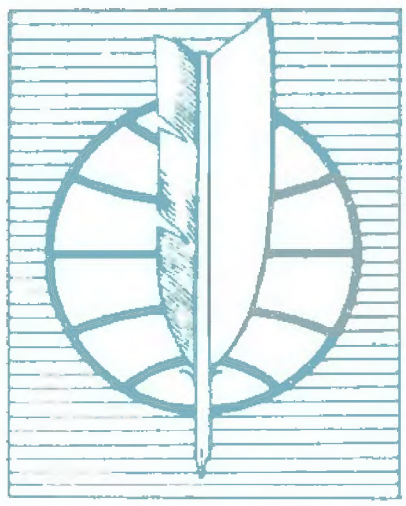
# БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

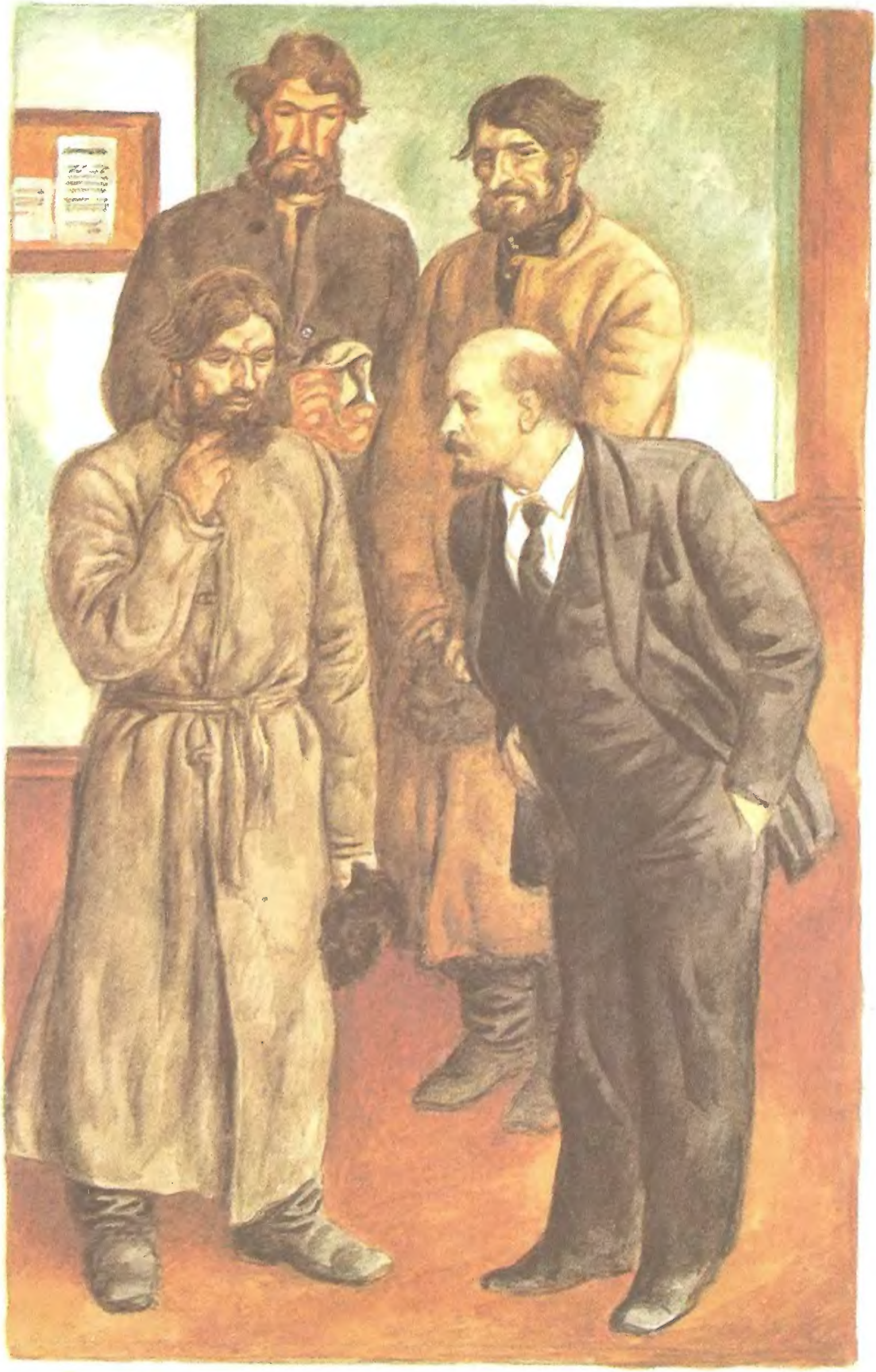
С. АЛЕКСЕЕВ В. АМЛИНСКИЙ
Г. БАКЛАНОВ Н. ДУМБАДЗЕ
Ю. КОРИНЕЦ



**Scan Kreyder - 13.08.2016**
**STERLITAMAK**



БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ



СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

*Сто рассказов из русской истории*

•

ВЛАДИМИР АМЛИНСКИЙ

*Жизнь Эрнста Шаталова*

*Повесть*

•

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

*Навеки — девятнадцатилетние*

*Повесть*

•

НОДАР ДУМБАДЗЕ

*Я вижу солнце*

*Повесть*

•

ЮРИЙ КОРИНЕЦ

*Там, вдали, за рекой*

*Повесть о дяде*

МОСКВА

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1987

Сб 2
А47

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Верейский О. Г.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь
Дехтерев Б. А.
Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсаид
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.
Мустай Карим
Новожилова З. Г.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Уваров В. А.
Шатунова Т. М.

*

*Предисловие*
Е. Е. ЗУБАРЕВОЙ, Л. Е. ФЕТИСОВОЙ,
В. Л. КОНДРАТЬЕВА
*Комментарии*
Е. Е. ЗУБАРЕВОЙ и Л. Е. ФЕТИСОВОЙ
*Оформление серии*
*Б. А. ДЕХТЕРЕВА*
*Оформление тома*
*и иллюстрации*
В. В. ЮДИНА

**А 4803010102—304**
**М101(03)87 Подп. изд.**

© Состав. Предисловие. Комментарии.
Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1987 г.

# ГЕРОИЗМ ПОКОЛЕНИЙ

В школьной среде нередко бурно и страстно обсуждается извечный вопрос: что такое героизм, как точнее определить это понятие? Споры эти естественны для людей пытливых, для любого, кто имеет свое суждение и, не робея, высказывает его.

Одни справедливо отмечают, что героизм — свершение подвигов. Другие уточняют, что подвиг — это самоотверженный поступок. Третьи вспоминают, что героизм родствен слову «герой» и слово это имеет несколько значений: герой — человек, выделяющийся своей храбростью, доблестью, совершающий подвиги; в литературе словом «герой» обозначается персонаж, лицо, действующее в произведении.

Часто в этих беседах приводятся примеры из высказывания людей, известных своим героизмом. И это не случайно, многие люди героического склада оставили нам свои раздумья. Чрезвычайно интересно знать, как они сами осмысливали проблему героизма.

Вспомним, к примеру, что писал в книге «Дорога в космос» первый космонавт Земли Юрий Гагарин.

«Ремесленники — народ романтический. В то время мы много спорили о героизме. Говорили о том, что подвиги бывают разные. Есть такие, которые требуют от человека мгновенного решения, выбора между жизнью и смертью... Но нам нравились больше подвиги, о которых народ говорит: вся жизнь сплошной подвиг!»

В этих замечательных строках чувствуется раздумье о героизме, о героических поступках, о подвигах. О героизме не только в условиях войны, но и в мирное время; о подвигах не только боевых, но и трудовых.

Наш советский образ жизни — трудовой образ жизни. И труд полноценен только тогда, когда выполняется с вдохновением, с душевным настроем, когда человек трудится ради цели, важной не только для него лично, но и для коллектива, для поко-

ления, и не одного, для всех людей. Труд приобретает значение общественное, значение подлинно героическое, только если человек ощущает готовность совершить трудовой подвиг и подвиг боевой. Не случайно в поэме «Василий Теркин» Александр Твардовский написал: «Война — работа». Да, и война для советского человека была работой величайшего напряжения — освобождением, очищением родной страны от фашистской нечисти, чтобы новые и новые поколения могли свободно жить и развиваться.

Героизм в бою и в труде стал давно уже нормой поведения, нормой гуманизма советского человека. В этом убеждают и книги, о которых пойдет речь. Что объединяет произведения, включенные в этот том? Здесь есть и повести, и рассказы. Здесь действуют и дети, и подростки, и взрослые. Здесь рассказывается о событиях довоенных, о войне, о послевоенном периоде. Не все произведения, вошедшие в том, написаны специально для детей. «Жизнь Эрнста Шаталова» Владимира Амлинского, «Навеки — девятнадцатилетние» Григория Бакланова, «Я вижу солнце» Нодара Думбадзе первоначально публиковались для взрослого читателя. И все-таки есть отчетливо просматриваемое внутреннее единство, которое объединило в одной книге пять разных имен, пять неоднозначных творений, занявших видное место в детской и юношеской литературе. В совокупности своей эти произведения говорят о преемственности поколений нашей страны в трудовом и боевом героизме. А следовательно, они представляют собой страницы великой летописи, в которой запечатлен коллективный образ героя нового общества, настоящего советского человека.

Разных людей повидал за свою жизнь писатель Сергей Петрович Алексеев и пристально вглядывался в их судьбу. Внимание его особенно привлекали подлинные романтики, целеустремленные строители новой жизни, люди, не без осложнений ищущие, но всегда умеющие найти свою дорогу. И важно подчеркнуть, что сам писатель с юных лет был романтически увлеченным. Тогда — а это были тридцатые годы — ребят окрыляли дальние перелеты, дальние плавания. Любимыми героями были челюскинцы и папанинцы, побеждавшие суровые льды Северного Ледовитого океана. Мечтали стать такими, как Чкалов, Громов, Водопьянов. Стоит ли удивляться, что Сергей Алексеев решил стать летчиком. И стал им. Может быть, и в литературу он пришел бы много позже, если бы не авария во время полета и серьезная травма и запрет врачей заниматься летным делом.

Сергея Алексеева обычно называют писателем исторического жанра; это справедливо, хотя и не совсем полно отражает направленность его творчества. Есть у него книги о событиях недавних, например повесть «Наш колхоз стоит на горке». Да и события прошлого в его книгах тоже многообразны. Есть у него произведения, которые раскрывают давнюю историю: времена Степана Разина, Петра Первого, Суворова, Кутузова, декабристов и времена, близкие к нашим дням, когда Владимир Ильич Ленин и его соратники, партия и народ готовили и одержали победу в Великой Октябрьской социалистической революции.

Самое важное в творчестве Сергея Алексеева то, что любой период, давний или недавний, он видит особым художническим зрением — зрением историческим. И благодаря этому герои разных периодов, принадлежащие к разным поколениям, в его произведениях как бы перекликаются, создавая общую картину исторического движения нашей страны от прошлого и настоящего — в будущее.

В книге «Сто рассказов из русской истории», вошедшей в этот том, писатель собрал под общим заголовком события из разных периодов истории нашей страны, события важные, переломные, изобразил характеры людей, которыми гордится Родина и чьи имена передаются от поколения к поколению.

В «Ста рассказах из русской истории» описаны крестьянские и казацкие восстания под водительством Степана Разина, героя, о котором до сих пор поются песни. «Рассказы о Степане Разине, казаках и восставших крестьянах» — так назван этот раздел. В него входят рассказы, помогающие понять поступки Разина и его соратников, представить их облик, узнать, за что боролись и отдавали свою жизнь эти люди.

«Глянул Разин на девочку, посмотрел на мужиков, потом вдаль, на высокое небо.

— Вырастет — поймет, не осудит».

Это эпизод из рассказа, который так и называется: «Не осудит». В нем идет речь о вынужденной жестокости восставших, когда они готовят расправу над извергом-боярином, принесшим много горя крестьянам. Не осудит ли их потомство? Вот вопрос, который задают себе Разин и его товарищи. И писатель, сам принадлежащий к потомству, сохранившему добрую память о тех, кто в давние времена готовил путь для освобождения народа от гнета и произвола власть имущих, дает на него убедительный ответ.

Память потомков не одностороння и не однозначна. Неудивительно поэтому, что сохранились воспоминания о тех прави-

телях, которые своими деяниями приносили Родине пользу, делали ее сильной, могущественной. «Рассказы о царе Петре и его времени» — так назван следующий раздел. Читатель знакомится с преобразованиями Петра I, с тем, как стремился он увидеть просторы страны более обширными и обильными, а людей — образованными и просвещенными. Рассказы «Чему молодые бояре за границей учились», «Аз, буки, веди...» повествуют о молодом поколении, забота о котором — одно из первейших дел Петра. Суров он был к тем, кто не хотел детей своих отдавать учиться, и к тем молодым из дворян, которые, учась за границей, старались от наук отлынивать, перенимали лишь внешние признаки заграничной культуры, теряли уважение к собственному отечеству или даже позволяли себе польститься на чужое. Так был наказан Буйносов и поощрен Курносов — двое молодых дворян, по-разному воспринявшие заграничное обучение. Курносов на вопрос Петра I ответил: «Народ они знающий, хороший народ. Только, думаю, государь, не пристало нам свое, российское, хаять. Не хуже у нас страна, и люди у нас не хуже, и добра не меньше.— Молодец! — сказал Петр.— Оправдал, утешил». Радетель отечества, воитель и труженик, Петр I хотел видеть будущие поколения достойными преемниками славы России.

«Рассказы о Суворове и русских солдатах», «Богатырская сила» — эти разделы тесно связаны с преемственностью военно-патриотических традиций и обрисовкой характеров двух великих русских полководцев — Суворова и Кутузова. «Ешь, ешь, получай. Да впредь не брезгуй солдатским. Не брезгуй солдатским. Солдат — человек. Солдат мне себя дороже» — так говорит Суворов в рассказе «Суп и каша», обращаясь к генералам, брезгливо относящимся ко всему солдатскому, будь то пища или что-либо другое. Для Суворова и Кутузова единство с солдатами — залог успеха в достижении военного превосходства.

В книге «Сто рассказов из русской истории» особое внимание уделено тому, как была одержана победа в Великой Октябрьской социалистической революции. «Красное знамя труда», «Царя скинули», «Рассказы о Владимире Ильиче Ленине» — эти разделы объединены последовательным изображением первых выступлений рабочего класса как новой силы на дорогах Истории, утверждением и становлением Российской Республики, образом Ленина — нашего великого вождя, всей своей жизнью и титаническим трудом служившего трудовому народу.

Многие из рассказов о Ленине, включенных писателем в эту книгу, хорошо известны читателям: «Старшой», «Раз-два-три», «Новые валенки», «Баламут» и другие. После их первой пуб-

ликации прошло почти четверть века, выросли поколения юных, для которых они стали подлинно хрестоматийными, их читают детям до школы, и сами дети читают их в школьные годы.

Невыдуманные герои живут в памяти многих поколений, те, в ком воплотилось время, живые непридуманные люди, которых литература подняла до социально-художественного обобщения.

Повесть Владимира Амлинского «Жизнь Эрнста Шаталова» — необычное произведение. В нем говорится не о подвигах и свершениях, а может быть, о самом трудном мужестве — быть человеком на краю жизни. Характер Шаталова интересен не силою поступков, а силой духа, интеллекта, масштабом личности.

Драма Шаталова позволяет писателю сказать о столь важных и когда-то ушедших на второй план вещах, таких, как человечность, милосердие, доброта... Как их не хватает порой сегодняшней молодежи.

В повести автор и герой мучительно задумываются о том, как жить, во имя чего, как сохранить душу и совесть в тяжелых обстоятельствах. И эти вечные темы на конкретном человеческом материале оказываются особенно современными и актуальными.

Литературную работу Владимир Амлинский начал, когда учился на сценарном факультете ВГИКа. Он, как принято говорить, принадлежит к послевоенному поколению писателей, и с конца 50-х — начала 60-х годов его рассказы стали появляться в печати. Читателям запомнились его рассказы, отмеченные, как писал в свое время Ю. Бондарев, «особой прозрачностью лирического я» рассказчика, свежестью языка, художественной правдой. Одним из первых он начал писать о трудных подростках, сбившихся с пути. Мог ли предполагать писатель, что пройдет совсем немного времени — и литературные дороги приведут его к человеку, близкому ему по возрасту, и с судьбою, перекликающейся с судьбою Павла Корчагина?

Да, все началось иначе. Вражеская пуля не подкосила коня на всем скаку, и героя не вынесли с поля боя. Все оказалось проще, обыденнее. Но не менее трагично. Во время игры в хоккей кто-то из игроков нечаянно, в азарте борьбы, ударил клюшкой по колену. А месяца через два снова удар по тому же колену, только уже во время футбольной игры. Неточный диагноз, лечение в клиниках и санаториях и с двадцати пяти лет — полная неподвижность.

И вот с этим человеком знакомится писатель, становится его другом. В повести о его судьбе с необыкновенной силой и убедительностью раскрывается история мужания подростка, мужания духа, обостренного страданием. Но в повести не только

скорбь, а юношеская жизнь с любовью, юмором, поиском себя.

В повести все просматривается авторским взглядом, как бы осердечено проникновенным отношением к Эрнсту Шаталову. Можно сказать, что сам автор тоже становится действующим лицом повествования, вернее даже, своеобразного слова-диалога автора-рассказчика с человеком героического склада.

Быть может, кто-то усомнится: «Ну какой он герой, в чем его героизм? Он ведь только болел и болел!»

Значительность повести «Жизнь Эрнста Шаталова» заключается прежде всего в том, что писатель показывает истинный героизм молодого человека, сумевшего выстоять в поединке с болезнью, во всем и постоянно остаться человеком — и не просто человеком живущим, но необходимым окружающим. Подумать только: все, что людям здоровым легко и просто, для Эрнста Шаталова — трудная проблема. Куда-нибудь поехать, чтобы отвлечься от мучительной болезни, да и от самих постоянных болей, он не может. Пойти в театр, в кино, сходить за книгой в библиотеку — невозможно. Коньки, лыжи, тот же хоккей или футбол, которыми он увлекался в детстве,— все теперь не для него. Он пристально вглядывается в себя, в людей. В повести есть интересные и важные отступления, новелла о парне с его безмотивной жестокостью... Тема жестокости подростков все время волнует писателя.

Не удивительно, что Шаталову приходят всякие искушения: не замкнуться ли в собственной боли, враждебно воспринимая людей здоровых, не оборвать ли жизнь окончательно самому? Через все прошел этот человек. И писатель создает повесть-исповедь, откровенно рассказывающую о каждом этапе страданий, о немощи и ее преодолении. Преодоление того, что кажется непреодолимым,— вот основная черта героизма Эрнста Шаталова, роднящая его с героями всемогущего духа, в каких бы условиях они ни действовали.

Он тоже действует. Он тоже активен. Активен в отрицании всесилия мелочей, каждодневных царапин, приносимых не только болезнью, но и неустроенным бытом: семья долго жила в коммунальной квартире, бок о бок с людьми нравственно глухими, не испытывающими сострадания к чужой боли. Как будто они навек застрахованы от непредвиденной травмы! Подняться над мелочной склокой, не встать на один уровень с подобным нравственным убожеством, не потерять доброго отношения к людям вообще — через это испытание прошел герой повести.

Было испытание, о котором уже говорилось. Не поискать ли точку опоры в мистике, не довериться ли невидимому, неосязаемому, нечто иллюзорному. Это означало бы отказ от веры в

собственные человеческие возможности, от активной борьбы за жизнь. А что в итоге? Не только уход от людей, но и своего рода дурман, растление сознания. Герой повести преодолел малодушное стремление выдумать «нечто», в тенеты которого он мог бы уйти...

Казалось бы, хватит испытаний: Шаталов понимает, что силы нужно искать в земном, и прежде всего в самом себе. Но, как и былинных и сказочных героев, его ждало третье, пожалуй главное, испытание. Какой-то голос малодушно подсказывал мысль уйти из жизни совсем, ведь порою она была столь безрадостной, что впору кричать... И тут на помощь пришла мать. Она не умоляла, не плакала, но гневно назвала его предателем, дезертиром. И сын понял, что он необходим родным, что они живут им, его борьбой с болезнью, своей борьбой за него. И он выстоял. А потом стал работать — да, по-настоящему работать! Писал рецензии, статьи, стихи. Стал помогать брату в учебе, в преодолении его трудностей.

Три испытания выдержал герой повести (пусть они названы здесь не в том порядке, как шли,— не в этом суть). Психологически самым тяжелым было победить мысль о готовности к добровольной смерти. Три основных испытания, а сколько их было не основных, дополнительных, постоянных!

Закалялся, выковывался мужской характер, героический характер, родственный и в то же время непохожий на Павку. Не случайно писатель создает свой мир: это поиски атмосферы, искания шестидесятых годов. Но они остры и сегодня. У Эрнста Шаталова собственный мир, имеющий смысл не только для него, но и для тех, кто ему близок. О том, что мир нужен ему, а он нужен миру, и говорить нечего, хотя бы потому, что герой повести знает из-за своей болезни то, чего не знают другие, и может рассказать об этом людям...

Повесть Владимира Амлинского «Жизнь Эрнста Шаталова» стоит в ряду таких книг, как роман Николая Островского «Как закалялась сталь», «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Только выдержать грозный приступ болезни герою повести Амлинского пришлось в более раннем возрасте, почти мальчиком, когда легко сломаться, не выдержать. Он не сломался.

«Быть обязанным» — мысль, высказанная поэтом революции в поэме «Владимир Ильич Ленин». Слова звучали так: «Голосует сердце — я писать обязан по мандату долга». Не случайно современные писатели вспоминают эти слова Маяковского, когда раскрывают нравственный подвиг народа в период Великой

Отечественной войны. Существует перекличка поколений между теми, кто совершил революцию, и теми, кто отстоял завоевания Октября в годы войны. Существует перекличка и писательская, ведь на разных языках нашей многонациональной страны написана и пишется история нашей Родины, история испытаний и свершений.

Маяковский родился и провел детские годы в Грузии. Поэт помнил ее благодатной и мирной. Иной довелось увидеть Грузию Нодару Владимировичу Думбадзе, автору повести «Я вижу солнце».

Думбадзе родился в мирное, довоенное время. Жил и рос вместе с друзьями, не представляя, какие горести и страдания, какие темные дни наступят с войной в солнечном грузинском краю. Но это случилось, и тринадцатилетний подросток ощутил и запомнил все, что принесли ненавистные захватчики на советскую землю. У него тоже сложился свой счет фашистским извергам, его сердце тоже оказалось «обязанным» поведать людям о страданиях, причиненных войной народу.

Это был счет детей, лишенных детства из-за войны. Так сложился замысел романа «Я вижу солнце». Он не был первым произведением Нодара Думбадзе о детстве. В романе «Я, бабушка, Илико и Илларион» уже описано красивое село в Гурии, одном из районов Грузии. Рассказано и о беззаботном детстве мальчика Зурико, которому тепло и радостно живется с бабушкой, Илико и Илларионом. Но пришла война, и все изменилось: мужчины ушли на фронт, в каждой семье горе. Дети и женщины отдают последнее, чтобы приблизить разгром проклятого врага.

Сюжет романа «Я вижу солнце» во многом развивает то, о чем начал рассказывать Нодар Думбадзе в своем первом произведении — «Я, бабушка, Илико и Илларион». Его можно даже считать своеобразным продолжением, хотя действуют здесь другие персонажи: Сосо Мамаладзе, Хатия, Кето, Бежан.

Повествование ведется от первого лица — от имени Сосо, который постепенно взрослеет и начинает разбираться в людях. Он понимает не только свою тетку Кето и простодушного Бежана, но и русского солдата Анатолия, которого выходили жители села после тяжелого ранения. Ему и обидно, что невысказанной осталась любовь Кето и Анатолия, и ясно, что иначе нельзя в тех условиях, которые сложились. От простого сочувствия к слепой Хатии приходит Сосо к влюбленности в нее, к стремлению сделать все, чтобы она прозрела и смогла воскликнуть: «Люди, это я, Хатия! Я вижу вас, люди!»

Увидеть людей, увидеть солнце — приход мирной жизни —

необходимо каждому, кто пережил войну,— к такой мысли ведет своего Сосо писатель. Но он показывает, что не каждый способен бороться за это до конца. И дело не в том, что один слабее, другой сильнее физически. Сильный, напористый бригадир Датико оказался на поверку слабым душою: он дезертировал из армии, скрывался около села, тайком приходил изредка, пытаясь увидеть Кето, в которую давно влюблен.

Наверно, проще всего было бы заклеймить позором Датико, но писатель пошел иным путем. Он показал, что все не так просто в характере предателя, что не сразу потерял Датико человеческие черты. Даже отвергнутый всеми после убийства Бежана, Датико не может жить без людей. Он приходит в село и умоляет, чтобы его убили, как когда-то в рассказе А. М. Горького «Старуха Изергиль» приходил к людям Ларра, поначалу отвергший гуманистические законы общества.

Н. Думбадзе писал, что роман «Я вижу солнце» дался ему нелегко. И опубликование его шло весьма трудно. Довольно необычным было появление дезертира в качестве литературного героя, чье поведение хоть и не находит сочувствия, но по-своему объясняется и мотивируется. И вспоминал, что позже, когда прочитал повесть В. Распутина «Живи и помни», долго думал о ней, сравнивал, как писатель исследует тайники души Андрея Гуськова, сбежавшего с фронта. И Нодар Думбадзе приходит к выводу, что принципы исследования общие, что писатели учатся друг у друга смотреть правде в глаза, учатся бороться с реальным злом, учатся находить героев, обычных людей, воплощающих наши представления о добре и нравственности, о мужестве и несгибаемости перед жизненными испытаниями.

Он назвал черты, которые роднят книги, написанные о войне для детей и подростков, с теми книгами, которые адресованы взрослым. Но Думбадзе знал и помнил: есть черты, которые неповторимы в творчестве каждого писателя. Для Думбадзе это мягкий лирический юмор, с которым всматривается он в характеры своих подростков. Наверно, поэтому они становятся в чем-то близкими друг другу, даже если действуют в разных обстоятельствах. И Сосо чем-то напоминает подросшего и повзрослевшего Зурико. Может быть, тем, что он тоже тянется к солнцу?

Тяга к солнцу, к свету и добру — характерная черта творчества Нодара Думбадзе. «Я вижу солнце», «Солнечная ночь». Даже сами названия подчеркивают это. Таков символ его творчества, условный знак, по которому узнается самое сокровенное в творческой мастерской писателя: всегда свое, особое, узнаваемое только по его индивидуальному почерку.

...«Мир полон сочетаний. Взаимосвязь явлений и предметов, взаимоотношений людей и целых поколений — вот главное, что интересует меня в моей работе. Сочетания могут быть прекрасными. Так, одно из прекраснейших сочетаний — это старик и маленький мальчик. Такое сочетание трогательно. И полно смысла. Особенно если эти два человека — друзья. И конечно, если седина одного из них — седина добрая и мудрая. Ибо нет ничего омерзительнее пустой, глупой и жестокой седины.

Старик и мальчик — вечер и утро. Об этом я написал повесть... Мой седой герой — старый большевик, человек, делавший Революцию, создавший Советскую власть. А еще он рыбак и охотник. И фантазер. И добрый человек. Со своим племянником Мишей он просто ловит рыбу, просто путешествует. И вместе с тем все это не просто, потому что происходит очень важное — становление нового человека. Один передает свой опыт другому» — так о своем сокровенном, авторском пишет Юрий Иосифович Коринец, чья повесть «Там, вдали, за рекой» завершает этот том.

Увидеть взаимосвязь контрастных, неожиданных сочетаний способен прежде всего человек, который рисует. В самом деле: Коринец говорит о своем замысле так, как будто пишет красками. Седая голова пожилого человека и темная голова мальчика — обе будто склонились друг к другу, и мы видим их. «Старик и мальчик — утро и вечер» — это уже не только картина, исполненная красками, но и словесная картина.

Неудивительно: Юрий Коринец — не только писатель, но и художник. В годы войны, оставшись один после гибели родителей, он окончил Самаркандское художественное училище, рисовал, готовился стать профессиональным художником. Но все-таки задушевным его занятием была литература, и он стал писать. Сначала стихи, потом прозу.

Повесть «Там, вдали, за рекой» была первым, сразу получившим признание прозаическим произведением Коринца. В нем есть, конечно, воспоминания, связанные с отцом, черты которого сказались в облике дяди и самого рассказчика, Миши, которому в это время примерно восемь лет. Время действия повести приблизительно тридцать первый — тридцать шестой год. Следовательно, писатель знакомит читателей с жизнью детей, которые в начале жизни видели мирное небо над головой и в восемнадцать-девятнадцать лет — военное грозовое. Знакомит с теми, кто уходил на фронт в сорок первом и часто не возвращался.

Каким же было оно, довоенное детство? Гладкое, спокойное, похожее на благостный сон? Нет, оно было насыщено роман-

тикой, было и озорным и увлекательным. Но для автора повести «Там, вдали, за рекой» важны не только события, происходящие с Мишей, но и внутренняя жизнь мальчика. Поэтому такое внимание уделяет он первой размолвке мальчика с дядей. Вроде бы из-за пустяка и произошла она: Миша не обнаружил утром под подушкой бивня мамонта, обещанного дядей накануне. Не мог еще тогда понять мальчик, что дядя — фантазер, мечтатель, выдумщик. Показалось, что все перевернулось вверх ногами, захотелось даже умереть, когда бросил в лицо дяде необдуманные слова: «Ты жалкий обманщик... Я с тобой больше не разговариваю...»

Пройдет много времени, пока Миша повзрослеет, писатель внимательно следит за его нравственным ростом. 1936 год — время действия в последней главе — «Дальние поезда». Идет поезд в Испанию, где среди сражающихся за ее свободу был и Мишин дядя. «Если б вы знали, как мне не хотелось оставаться! Я тоже хотел ехать! Я хотел к дяде, в Испанию!» — так восклицает Миша, еще не знающий, что ждет его поколение, какие испытания. Но писатель, не доводя повествование до 1941 года, показывает, что поколение тридцатых годов нравственно созрело для подвига, для того невиданного по масштабам массового героизма, которым отмечено оно в истории.

История. Поколения. Подвиги героев. Вот на чем сосредоточены раздумья авторов, чьи произведения собраны в этом томе. Произведения разные — и по времени создания, и по времени, отраженному в них. Непохожи судьбы и характеры: исторические персонажи из рассказов Сергея Алексеева и прикованный болезнью к постели Эрнст Шаталов из повести Владимира Амлинского; девятнадцатилетние герои-воины у Григория Бакланова и мальчики-романтики у Нодара Думбадзе и Юрия Коринца. Непохожие? Да так ли это? Ведь всех их объединяет преемственность героического отношения к жизни, готовность отдать самих себя во имя своей Родины, во имя человека!

«В жизни... всегда есть место подвигам» — эти слова М. Горького отражают народную мудрость, веру в нравственный героизм поколений.

*Евгения Зубарева*
*Лидия Фетисова*

# О ПОВЕСТИ ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА «НАВЕКИ — ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ»

«Навеки — девятнадцатилетние» — так назвал свою повесть Григорий Яковлевич Бакланов, взяв одним из эпиграфов строки из стихотворения С. Орлова:

А мы прошли по этой жизни просто
В подкованных пудовых сапогах.

Г. Бакланов начал воевать рядовым на Северо-Западном фронте, затем, окончив артиллерийское училище, стал офицером, прошел дорогами войны Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию.

После войны — Литературный институт, первые рассказы, повести.

Повесть «Навеки — девятнадцатилетние», которая включена в этот том, появилась в 1979 году, когда Бакланов уже был признанным мастером неприкрашенного, по выражению В. Быкова, изображения военной действительности. О первой военной повести Г. Бакланова («Южнее главного удара») В. Быков писал, что она явилась примером того, как эта неприкрашенная действительность под пером настоящего художника зримо превращается в высокое искусство, исполненное красоты и правды.

Книги Г. Бакланова оказали влияние и на мою работу. Помню, что, когда я мучительно искал не то что форму своих будущих «Ржевских тетрадей» — не в форме, наверное, было дело, я долго думал: как мне писать о пережитом?.. То, что появлялось тогда в печати о войне, плохо соответствовало моему личному опыту. И вдруг «Пядь земли»!.. Ведь как верно! Война для каждого из нас именно и происходила на «пяди». И скажу прямо, баклановская «Пядь земли» была для меня тогда откровением.

В «Пяди земли» Бакланова была определенная смелость

и дерзость: после «эпических полотен» вдруг «пядь», всего несколько действующих лиц, никаких особо эпохальных сражений, броских геройств, а у читателя (особенно воевавшего) сжимается сердце, его душит боль, потому что так было и все похоже на его собственную войну.

В повести «Навеки — девятнадцатилетние» Г. Бакланов остался верен себе: все в ней правда, густо замешанная на событиях, самим автором пережитых, прочувствованных...

Как ни странно, но о быте войны не так много написано. А он меж тем того стоит!.. Потому что вся война из этого быта и состояла. Сами бои составляли не главную часть жизни человека на войне. Остальное был быт, неимоверно трудный, связанный с лишениями, с огромными физическими перегрузками. Так вот о быте войны у Бакланова в повести «Навеки — девятнадцатилетние» сказано очень много и очень подробно. И это, мне думается, не случайно. Углубление военной прозы идет сейчас не только в плане психологическом, но и в более полном охвате самих тех условий, в которых человек жил и воевал.

Удивительно даже, что такая вот строгая, реалистическая вещь, лишенная всякой сентиментальности, вещь вроде бы совершенно беспафосная, в то же время обладает огромной эмоциональной силой.

Русская классическая литература не боялась, а даже стремилась всегда вызвать у читателя жалость, сострадание к своим героям... И не одно поколение русских людей училось сострадать именно у наших классиков. Можно вспомнить целый ряд произведений, прочитанных еще в детстве, которые на всю жизнь дали заряд доброты. Так, не прочитав «Муму», многие из нас что-то потеряли в своей человечности.

Читая «Навеки — девятнадцатилетние», с первых же страниц отдаешься этому чувству. Бакланов пишет обо всем скупо, жестко, без надрыва, даже спокойно пишет, но атмосфера всей повести такова, что читатель постоянно испытывает щемящее чувство боли и сострадания.

И этот эмоциональный настрой — новое не только в прозе Бакланова, но и вообще в нашей военной прозе. Вспомнив, пожалев всех тех, кто не вернулся с войны, кому не довелось дожить до победы, мы не унизим их своей жалостью, а, проникшись этим чувством, сами станем и лучше и чище.

Вот в свете этого общего, пронизывающего всю повесть чувства становится ясно, почему образ главного героя повести лейтенанта Третьякова вроде бы лишен автором ярко выраженных индивидуальных черт... Он такой, какими были все юноши войны, и каждая мать, потерявшая сына на фронте, если она еще

жива теперь, может найти в Володе Третьякове черты своего Жени, Васи, Саши, Кости, потому что он так же честен, храбр, верен воинскому долгу, как и ее сын. Будь Третьяков задуман автором другим, более реальным, может быть, и не создалось бы того ощущения общности его со всем тем поколением, какое есть сейчас.

Повесть Г. Бакланова «Навеки — девятнадцатилетние» — повесть-реквием. Она, очевидно, должна была появиться в нашей литературе, чтобы вместе с другими книгами о войне тревожить наши сердца и заставить нас еще и еще раз возвратиться и мыслью и чувством к тому великому, чем была для нашего народа Отечественная война.

*В. Кондратьев*

# СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

## Сто рассказов из русской истории

# РАССКАЗЫ О СТЕПАНЕ РАЗИНЕ, КАЗАКАХ И ВОССТАВШИХ КРЕСТЬЯНАХ

## ВСАДНИК

Отряд верховых ехал крестьянским полем. Поднялись всадники на пригорок. Смотрят — что за диво. Мужик пашет землю. Только не конь у него в сохе. Впряглись вместо лошадей трое: крестьянская жена, мать-старуха да сын-малолеток.

Потянут люди соху, потянут, остановятся и снова за труд.

Подъехали конные к пахарю.

Главный из них кинул суровым взглядом:

— Ты что же, твоя душа, людишек заместо скотины!

Смотрит крестьянин — перед ним человек огромного роста. Шапка с красным верхом на голове. Зеленые сапоги на ногах из сафьяна. Нарядный кафтан. Под кафтаном цветная рубаха. Нагайка в руках крученая.

«Видать, боярин, а может, и сам воевода»,— соображает мужик.

Повалился он знатному барину в ноги, растянулся на борозде.

— Сироты, сироты мы. Нету коня. Увели за долги кормильца.

Лицо всадника перекосилось. Слез он на землю. Повернулся к крестьянину.

Мужик попятился, вскочил и бежать с испуга.

— Да стой ты, леший! Стой ты! Куда?! — раздался насмешливый голос.

Мужик несмело вернулся назад.

— На, забирай коня,— протянул человек мужику поводья.

Опешил крестьянин. Застыли жена и старуха мать. Раскрылся рот у малого сына. Смотрят. Не верят такому чуду.

Конь статный, высокий. Масти сизой, весь в яблоках. Княжеский конь.

«Шутит барин»,— решает мужик. Стоит. Не шелохнется.

— Бери же. Смотри, передумаю,— пригрозил человек. И пошел себе полем.

Верховые ринулись вслед. Лишь один молодой на минуту замешкался, обронил он случайно кисет с табаком.

«Всевышний, всевышний послал»,— зашептал обалдело крестьянин.

Повернулся мужик к коню. И вдруг испугался. Да не колдовство ли все это. Потянулся он к лошади. Конь и дернул его копытом.

Схватился мужик за побитое место.

— Настоящий! — взвыл от великого счастья.— Кто вы, откуда?! — бросился мужик к молодому парню.

— Люди залетные. Соколы вольные. Ветры весенние,— загадочно подмигнул молодец.

— Да за кого мне молиться? Кто же тот, в шапке, такой?

— Разин. Степан Тимофеевич Разин! — уже с ходу прокричал верховой.

## НЕ ОСУДИТ

Боярин Труба-Нащекин истязал своего крепостного. Скрутили несчастному руки и ноги, привязали вожжами к лавке. Стоит рядом боярин с кнутом в руке, бьет по оголенной спине крестьянина.

— Так тебе, так тебе, племя сермяжное. Получай от меня, холоп. Научу тебя шапку снимать перед барином.

Ударит Труба-Нащекин кнутом, поведет ремень на себя, чтобы кожу вспороть до крови. Отдышится, брызнет соленой водой на рану. И снова за кнут.

— Батюшка, Ливонтий Минаич,— молит мужик.— Пожа-

лей. Не губи. Не было злого умысла. Не видел тебя при встрече.

Не слушает боярин мольбы и стонов, продолжает страшное дело.

Теряет крестьянин последние силы. Собрался он с дýхом и молвил:

— Ужо тебе, барин. Вот Разин придет.

И вдруг...

— Разин, Разин идет,— разнеслось по боярскому дому.

Перекосилось у Трубы-Нащекина лицо от испуга. Бросил он кнут. Оставил крестьянина. Подхватил полы кафтана, в дверь — и бежать.

Ворвались разинские казаки в боярскую вотчину, перебили боярских слуг. Однако сам хозяин куда-то скрылся.

Собрал Разин крестьян на открытом месте. Объявляет им волю. Затем предложил избрать старшину над крестьянами.

— Косого Гурьяна! Гурку, Гурку! — закричали собравшиеся.— Он самый умный. Он справедливее всех.

— Гурку так Гурку,— произнес Разин.— Где он? Выходи-ка сюда.

— Дома он, дома. Он боярином люто побит.

Оставил Разин круг, пошел к дому Косого Гурьяна. Вошел. Лежит на лавке побитый страдалец. Лежит, не шевелится. Спина приоткрыта. Не спина — кровавое месиво.

— Гурьян,— позвал атаман крестьянина.

Шевельнулся тот. Чуть приоткрыл глаза.

— Дождались. Пришел,— прошептал несчастный. Появилась на лице у него улыбка. Появилась и тут же исчезла. Умер Гурьян.

Вернулся Разин к казацко-крестьянскому кругу.

— Где боярин?! — взревел.

— Не нашли, отец-атаман.

— Где боярин?! — словно не слыша ответа, повторил Степан Тимофеевич.

Казаки бросились снова на поиск. Вскоре боярин нашелся. Забился он в печку, в парильне, в баньке. Там и сидел. Притащили Трубу-Нащекина к Разину.

— Вздернуть, вздернуть его! — понеслись голоса.

— Тащи на березу! — скомандовал Разин.

— Пожалей. Не губи,— взмолился Труба-Нащекин.— Пожалей,— заплакал он тонким, пронзительным, бабьим криком.

Разин зло усмехнулся.

— Кончай, атаман, кончай. Не тяни,— зашумели крестьяне.

И вдруг подошла девочка. Маленькая-маленькая. Посмотрела она на Разина:

— Пожалей его, дяденька.

Притихли крестьяне. Смотрят на девочку. Откуда такая?

— Может, безбожное дело затеяли,— вдруг вымолвил кто-то.— К добру ли, если несмышленыш дите осуждает.

Все выжидающе уставились на атамана.

Глянул Разин на девочку, посмотрел на мужиков, потом вдаль, на высокое небо.

— Вырастет — поймет, не осудит. Вешай,— прикрикнул на казаков.

## СПАСИ-И-ТЕ!

Разин сидел на берегу Волги. Ночь. Оперся Разин на саблю, задумался.

«Куда повернуть походом? То ли на юг — вниз по матушке-Волге, к Астрахани, к Каспийскому морю. То ли идти на север — на Саратов, Самару, Казань, а там — и Москву.

Москва, Москва. Город всем городам. Вот бы куда податься. Прийти, разогнать бояр. Да рано. Силы пока не те. Пушек, пороху маловато, мушкетов. Мужики к войне не привычны. Одежонка у многих рвань. Стало, идти на юг,— рассуждает Степан Тимофеевич.— Откормиться. Одеться. Войско отладить. А там...— у Разина дух захватило,— а там — всю боярскую Русь по хребту, да за горло».

Сидит атаман у берега Волги, думает думы свои. Вдруг раздался крик на реке. Вначале тихий — Разин решил, что ослышался. Потом все громче и громче:

— Спаси-и-ите!

Темень кругом. Чернота. Ничего не видно. Но ясно, что кто-то тонет, кто-то бьется на быстрине.

Рванулся Разин к реке. Как был в одежде, так и бухнулся в воду.

Плывет атаман на голос. Взмах, еще взмах.

— Кто там — держись!

Никто не ответил.

«Опоздал, опоздал,— сокрушается Разин.— Погиб ни за что человек». Проплыл он еще с десяток саженей. Решил возвращаться назад. Да только в это самое время метнулась перед ним косматая борода и дернулись чьи-то руки!

— Спаси-и-те! — прохрипел бородач. И сразу опять под воду.

«Эн, теперь не уйдешь»,— повеселел атаман. Нырнул он и выволок человека. Вынес на берег. Положил на песок. На грудь принажал коленкой. Хлынула вода изо рта у спасенного.

«Вовремя»,— подумал Степан Тимофеевич.

Вскоре спасенный открыл глаза, глянул на атамана:

— Спасибо тебе, казак.

Смотрит Разин на незнакомца. Хилый, иссохший мужичонка. В рваных портках, в холщовой, разлезшейся по бокам рубахе.

— Кто ты?

— Беглый я. К Разину шел. Слыхал?

Мужичок застонал и забылся.

В это время на берегу послышались голоса.

— Ба-а-тюшка! Атаман! Степа-а-н Тимофеевич!

Видать, приближенные ходили, искали Разина. Разин ступил в темноту.

Поравнялись казаки с мужичком. Наклонились, прислушались.

— Дышит!

Потащили двое спасенного в лагерь, а другие пошли дальше берегом Волги:

— Ба-а-тюшка! Атаман!

Утром есаулы доложили Разину, что ночью кто-то из казаков спас беглого человека. Только кто, неизвестно. Не признаются в казачьих сотнях.

— Видать, не всех опросили? — усмехнулся Степан Тимофеевич.

## РУКИ

Группа беглых крестьян пробиралась на Волгу, к Разину.

Шли ночами. Днями отсыпались в лесах и чащобах. Держались подальше от проезжих дорог. Стороной обходили селенья. Шли целый месяц.

Старший среди мужиков, рябоватый дядя Митяй, поучал:

— Он, атаман Степан Тимофеевич,— грозный. Он нерадных людей не любит. Спросит: владеете саблей — говорите, владеем. Колете пикой — колем.

Явились крестьяне к Разину:

— Принимай, отец-атаман, в войско свое казацкое.

— Саблей владеете?

— Владеем.

— Пикой колете?

— Колем.

— Да ну,— подивился Разин. Приказал привести коня.— Залезай, борода,— показал на дядю Митяя.— Держи саблю.

Не ожидал дядя Митяй проверки. «Пропал, пропал, казнит за вранье атаман». Стал он выкручиваться:

— Да мы больше пеше.

— В казаках, да и пеше?! А ну-ка, залазь!

— Да я с дороги, отец, устал.

— Не бывает усталости ратному человеку.

Смирился дядя Митяй. Подхватили его казаки под руки, кинули верхом на коня. Взялся мужик за саблю...

Гикнули казаки. Помчался по полю конь. Непривычно дяде Митяю в седле. Саблю впервые держит. Взмахнул он саблей, да тут же и выронил.

— Сабля с но́ровом, с но́ровом. Не дается упрямая,— гогочут вокруг казаки.

— Зачем ему сабля. Он лаптем по ворогу,— пуще всех хохочет Степан Тимофеевич.

Обидно стало крестьянину. Набрался он храбрости. Подъехал к Разину и говорит:

— Зря, атаман, смеешься. Стань за соху — может, мы тоже потешимся.

Разгорячился от смеха Разин:

— Возьму да и встану.

Притащили ему соху. Запрягли кобылицу. А Разин, как и все казаки, отроду не пахивал поле. Думал — дело простое. Начал — не ладится.

— Куда, куда скривил борозду,— покрикивает дядя Митяй.

— Мелко, мелко пласт забираешь. Ты глубже, глубже землицу,— подсказывают мужики.

Нажал атаман посильнее — лопнул сошник.

— Соха с но́ровом, с но́ровом. Не дается упрямая,— засмеялись крестьяне.

— Да зачем казаку соха. Он саблей землицу вспашет,— похихикивает дядя Митяй.

Посмотрел Разин на мужиков. Рассмеялся.

— Молодец, борода,— похлопал по плечу дядю Митяя.— Благодарю за науку. Эй,— закричал казакам,— не забижать хлебопашный народ: выдать коней, приклад. Равнять с казаками.— Потом задумался и добавил: — И пахарь и воин, что две руки при одном человеке.

## КАЧЕЛИ

Быстро шел вверх по Волге Разин. Истомились войска в походе. И вот в каком-то приволжском большом селе стали они на отдых.

В первый же день казаки соорудили качели. Врыли в землю столбы — в каждом по пять саженей. Выше деревьев взлетали качели.

Сбежались к берегу Волги и парни, и девки, и все село. Визгу здесь было столько, смеху здесь было столько, что даже Волга сама дивилась, привставала волной на цыпочки, смотрела на шумный берег.

В полном разгаре отдых. Три дня, как кругом веселье.

— Эх, простоять бы нам тут неделю! — поговаривают казаки.

К Волге, к качелям, вышел и Разин.

— А ну-ка батька!

— Степан Тимофеевич!

— Место давай атаману! Место! — кричат казаки.

Потащили его к качелям:

— Прелесть кругом увидишь!

Усмехнулся Степан Тимофеевич:

— А вдруг как не то с высоты увижу?

— То самое, то,— не унимаются разинцы.— И Волгу, и плес, и приволжские кручи. Над лесом взлетишь, атаман. Как сокол, расправишь крылья.

Залез на качели Разин. Вместе с девушкой местной — Дуняшей. Замерло сердце у юной Дуняши. Вцепилась она в веревки.

Набрали качели силу: то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Разгорячился Степан Тимофеевич. Разметались под ветром кудри. Полы кафтана, как крылья, дыбятся. Глаза черным огнем горят. Все выше и выше взлетают качели. Режут небесную синь.

— Вот это да! По-атамански, по-атамански! — кричат казаки.

Побелела совсем Дуняша.

— Ух, боязно! Ух, боязно!

— Девка, держись за небо! — какой-то остряк смеется.

Состязаются весельчаки:

— Отец-атаман, бабку мою не видишь?

— Может, ангелов в небе видишь?

— Как там Илья-пророк?

— И ангелов вижу, и бабку вижу. А вона едет в карете Илья-пророк,— отвечает на шутки Разин. А сам все время на север смотрит — туда, куда дальше идти походом. Даже ладошку к глазам подводит.

Заприметили это разинцы.

— Что там, отец-атаман?

Молчит, не отвечает Степан Тимофеевич.

— Что видишь, отец-атаман?

Молчит, не отвечает Степан Тимофеевич.

Недоумевают внизу казаки. Может, пожар атаман увидел? Может, боярские струги идут по Волге? Или вовсе какая

невидаль? Прекратилось вокруг веселье. Обступили качели разинцы.

— Что видишь, отец-атаман?

Выждал Разин, когда все утихло:

— Горе людское вижу. Слезы сиротские вижу. Стоны народные слышу. Ждут нас людишки. На нас надеются.

Кольнули слова атамана казацкие души.

Замедлили мах качели. Спрыгнул на землю Разин. Подошел к нему сотник Веригин:

— Правда твоя, атаман. Не ко времени отдых выбран.

— Верно, верно,— загудели кругом казаки.— Дальше пошли походом.

Поднялось крестьянское войско. Сотня за сотней. Отряд за отрядом. Вздыбилась дорожная пыль.

Остались в селе качели. Долго еще на них мальчишки взлетали в небо. И, замирая на высоте, вслед ушедшим войскам смотрели.

## СНЯТСЯ БОЯРАМ СТРАШНЫЕ СНЫ

Снятся боярам страшные сны. Снится им грозный всадник — Разин верхом на коне.

В тревоге живут бояре. И в Твери, и в Рязани, и в Орле, и в Москве, и в других городах и селах.

Послышится цокот копыт по дороге — затрясутся осинкой боярские ноги.

Ветер ударит в окна — боярское сердце замрет и екнет.

Боярин Епифан Кузьма-Желудок боялся Разина не меньше других. А тут еще барский холоп Дунайка рассказывал ему, что ни день, то все новые и новые страсти. И, как назло, всегда к ночи.

Много про Разина разных слухов тогда ходило. И с боярами лют, и с царскими слугами крут. И даже попов не жалеет. А сам он рожден сатаной и какой-то морской царицей. В общем, нечистое это дело.

— Пули его не берут,— говорил Дунайка.

— Пушки, завидя его, умолкают.

— Перед ним городские ворота сами с петель слетают.

— Ох-ох, пронеси господи! — крестился боярин Кузьма-Желудок.

— А еще он летает птицей, ныряет рыбой,— шепчет Дунайка.— Конь у него заколдованный — через реки и горы носит. Саблю имеет волшебную. Махом одним сто голов сбивает.

— Ох, ох, сохрани господи!

— А еще,— не умолкает Дунайка,— свистом своим, мой боярин, он на Волге суда привораживает. Свистнет — и станут на месте струги. Люди от погляда его каменеют.

— Ох, ох, не доведи свидеться!

Живет боярин, как заяц, в страхе. Потерял за месяц в весе два пуда. Постарел сразу на десять лет. На голове последних волос лишился.

Молился боярин Кузьма-Желудок, чтобы беда прошла стороной. Не услышал господь молитвы.

И вот однажды ночью случилось страшное. Открыл бедняга глаза — Разин стоит у постели.

Захотел закричать боярин. Но понимает — не может.

И Разин молчит, лишь взглядом суровым смотрит. Глаза черным огнем горят.

Чувствует боярин, что под этим взглядом он каменеет. Вспомнил слова Дунайки. Двинул рукой — не двигается. Двинул ногой — не двигается.

— О-о!..— простонал несчастный. Но крик из души не вышел.

Утром слуги нашли хозяина мертвым.

— С чего бы?

— Да как-то случилось!

Не понимают в боярском доме, что с барином их стряслось.

— Что-то рано господь прибрал.

— Жить бы ему и жить.

— Может, что-то дурное съел?

— Сон ему, может, недобрый привиделся? Уж больно всю ночь стонал.

...Снятся боярам страшные сны. Снится им грозный всадник.

## РАЙСКАЯ ЯГОДА

Идет вверх по Волге Разин. А в это время следом за ним поднимается струг с виноградом. Это астраханцы решили послать атаману подарок.

— Пусть отведает отец-атаман. Пусть и казаки ягодой этой побалуются.

Виноград отборный — райская ягода. Грозди одна к одной.

Добрался струг до Царицына. В Царицыне Разина нет. Ушли отряды уже к Саратову.

Филат Василенок — старший на струге — подал команду трогаться дальше в путь.

Добрался струг до Саратова. В Саратове Разина нет. Ушли отряды уже к Самаре.

Призадумался Филат Василенок. Лето жаркое. Дорога дальняя. Портиться стал виноград. Половина всего осталась.

— Ну и прытко идет атаман!

Подумал Филат, все же решил догнать Разина.

— Налегай, налегай! — покрикивает на гребцов.

Налегают гребцы на весла.

Прибыли астраханцы в Самару. В Самаре Разина нет.

— О господи! — взмолился Филат Василенок.— За какие такие грехи наказал ты меня, несчастного?

От винограда и десятой доли теперь не осталось. Гребцы за дорогу к тому же устали. В струге возникла течь.

Думал, думал Филат Василенок, крутил свою бороду. В затылке и правой и левой рукой чесал. Прикидывал так и этак. Ясно Филату: не довезет он Разину гостинец в сохранности.

Решил Василенок дальше не плыть. «Эх, была не была — раздам виноград я самарцам! Детям,— подумал Филат,— вот кому будет радость».

Так и поступил. Для самарцев виноград — ягода невиданная. Собрались к берегу Волги и мал и стар.

Раздавал Василенок виноград ребятишкам, приговаривал:

— Отец-атаман Разин Степан Тимофеевич жалует.

То-то был праздник в тот день в Самаре! Виноград сочный, вкусный. Каждая ягода величиною с грецкий орех. Набивают ребята рты. Сок по губам, по щекам течет. Даже уши в соку виноградном.

Вернулся Василенок в Астрахань. Рассказал все как было. Не довез, мол, виноград Разину. Раздал его в Самаре ребятам.

— Как! Почему? — возмутились астраханцы.

Обидно им, что их гостинец не попал к Степану Тимофеевичу. Наказали они Филата. А к Разину послали гонца с письмом.

Написали астраханцы про струг с виноградом; про Филата, про самарских ребят. В конце же письма сообщили: «Бит Филат Василенок нещадно кнутами. А будет воля твоя, отец-атаман, так мы посадим его и в воду[1]. Отпиши».

Ответ от Разина прибыл.

Благодарил Степан Тимофеевич астраханцев за память, за струг. Написал и о Филате Василенке. Это место астраханцы читали раз десять. Вот что писал Разин: «А Филатке Василенку моя атаманская милость». Далее шло о том, что жалует Разин Филата пятью соболями, то есть пятью соболиными шкурками, казацкой саблей и шапкой с малиновым верхом. «Дети,— значилось в разинском письме,— мне паче себя дороже. Ради оных и бьемся мы с барами. Ради оных мне жизни своей не жалко».

[1] Посадить в воду — вид казни: человека сажали в мешок и бросали в реку.

# РАЗИН И КАЛЯЗИН

— Батюшка Степан Тимофеевич!

— Ну что?

Сотник Титов запнулся.

— Что же молчишь?

— Боязно говорить, отец-атаман. Гневаться очень будешь.

— Ну и ступай прочь, если боязно.

Однако Титов не уходил. Уходить не уходил, но и сказать о том, ради чего пришел, тоже никак не решался.

Посмотрел удивленно на сотника Разин. Титов — казак отважный. Что же такого могло случиться, чтобы казак оробел с ответом?

Наконец сотник отважился.

Выслушал Разин, минуту молчал. И вот тут-то гадай: то ли взорвется сейчас атаман, то ли шутку какую бросит? Неожиданно Разин расхохотался.

— Не врешь?

— Провалиться на месте, Степан Тимофеевич.

— Так все и было? Назвался Разиным?

— Так все и было. Атаманское имя твое использовал.

— А ну, волоки сюда.

Через минуту в шатер к Разину ввели человека.

Глянул Разин — вот это да! Атаман настоящий стоит перед Разиным. И даже внешне чем-то похож на Разина. Шапка с красным верхом на голове. Зеленые сапоги из сафьяна. Нарядный кафтан. Под кафтаном цветная рубаха. Глаза черные-черные. Черным огнем горят.

— Чудеса! — произнес Степан Тимофеевич.— Так ты, выходит, Разин и есть?

Вошедший зарозовел, смутился. Даже глаза потупил.

— По правде, Степан Тимофеевич, имя мое — Калязин.

— Казак?

— Нет. Из мужицкого рода.

— Чудеса! — опять повторил Разин. Переглянулся с Титовым, вспомнил недавний его рассказ.

Ходил Титов с группой казаков куда-то под Шацк. Заночевал однажды в какой-то деревне. От мужиков узнал, что объявился где-то под Шацком Степан Тимофеевич Разин.

«Какой еще Разин? — подумал сотник.— Откуда тут Разин?!»

— Разин, Разин, казак, с Дона он,— уверяли крестьяне.

Разыскал Титов того, кто был назван крестьянами Разиным.

— Ты Разин? — спросил.

— Разин, Степан Тимофеевич.

Понял Титов, что тут самозванство. Потянулся было за саблей. Хотел вгорячах рубануть. Однако на самосуд не решился.

Схватил Титов с казаками шацкого Разина и привез его к Разину настоящему.

Смотрит Разин на «Разина»:

— Волю людишкам дал?

— Дал.

— Работящих людей не трогал?

— Не трогал, отец-атаман.

— Народу служил с охотой?

— Ради него на господ и шел.

— Нужны атаманы, нужны,— проговорил Разин. Повернулся к Калязину: — Молодец! Ну что же — ступай. Стал атаманом — ходи в атаманах. Желаешь — будь Разиным. Желаешь — Калязиным. Зовись хоть горшком, хоть ухватом. Не дело на имени держится. Имя на деле держится.

## «КРАСАВЕЦ» ЛЕВКА

«Красавец» Левка заснул в дозоре. Полагалось за это у разинцев смерть.

Однажды отправился Разин проверять, как службу несут караулы.

Ночь была темная-темная. Звезд не видно. Луны не видно. Небо стояло в тучах. Выбрал Степан Тимофеевич время перед рассветом, когда дозорных особенно клонит сон.

Идет Разин от поста к посту. То тут, то там вырываются из темноты голоса:

— Стой! Отзовись!

Отзывается Степан Тимофеевич. Узнают разинский голос дозорные:

— Здравья желаем, отец-атаман!

Надежно службу несут караулы. Доволен Разин.

Прошел он шесть дозорных постов. Остался седьмой, последний. Тут и дежурил Левка. «Красавец» он потому, что кончик носа был у него обрублен. Так в шутку окрестили его казаки. Когда-то ходил он походом в Ногайские степи. В каком-то бою и лишился носа.

Стоял Левка в дозоре у самой реки, на волжской круче у старых сосен.

Вышел Разин к речному откосу. Никто не крикнул на звонкий шаг. «Что такое?» — подумал Разин. Остановился. Тихонько

свистнул. Минутку прождал ответа. Свистнул погромче. Опять тишина.

Прошел Разин вдоль откоса шагов пятнадцать и тут услышал какой-то звук. Застыл атаман. Прислушался. Да это же просто казацкий храп.

Подошел Степан Тимофеевич к спящему. Левку признал в нерадивом. Казак сидел на земле. Прислонился к сосне спиною. Что-то приятное снилось Левке. Он улыбался и даже ртом пузыри пускал. Голова чуть склонилась на дуло пищали. Шапка сползла на лоб.

Стал заниматься рассвет. Спит беззаботно «Красавец» Левка. Храпит на весь берег. Не чует нависшей над ним беды.

— Эка же черт безносый! — обозлился Степан Тимофеевич. Хотел разбудить казака. Затем передумал. Взяло озорство атамана. Решил он вынуть из Левкиных рук пищаль. «Ну интересно, что Левка, проснувшись, скажет!»

Подошел Степан Тимофеевич вплотную к спящему. Легонько притронулся к дулу. Только потянул на себя пищаль, как тут же казак очнулся. Мигом вскочил на ноги. Разин и слова сказать не успел, как размахнулся казак пищалью. Оглушил прикладом Разина. Свалился Степан Тимофеевич с ног.

Пришиб казак человека и только после этого стал смотреть, кто же под руку ему попался.

Глянул — батюшки светы! Потемнело в глазах у Левки. Бросился Левка к Разину.

— Отец-атаман! — тормошит.— Отец-атаман! Боже, да как же оно случилось?

Не приходит в себя Степан Тимофеевич. Удар Левки в руках пудовый.

Помчался Левка с откоса к Волге, шапкой воды зачерпнул. Вернулся. Бежит спотыкаясь. Склонился над Разиным. Протирает виски и лоб.

Очнулся Степан Тимофеевич. Шатаясь, с земли поднялся.

В тот же день атаманы решали судьбу казака. По всем статьям за сон в дозоре полагалась ему перекладина. Однако Разин взял казака под защиту.

— Для первого раза довольно с него плетей.

— Почему же, отец-атаман?!

— За то, что пищаль удержал в руках, достоин казак смягчения.

— Да он ведь чуть не порушил твою атаманскую жизнь.

— Так не порушил. Помиловал,— усмехнулся Степан Тимофеевич, рукой проведя по темени: там шишка была с кулак.

Однако неделю спустя, когда заснул в дозоре другой казак, Разин первым сказал:

— На виселицу!

Строг был Степан Тимофеевич. Ой как строг! Умел он карать. Но умел и помиловать.

## КАЗАЦКОЕ СЛОВО

Два молодых казака Гусь и Присевка заспорили, кто больше народному делу предан.

— Я,— кричит Гусь.

— Нет я,— уверяет Присевка.

— Я жизни не пожалею,— бьет себя Гусь в грудь кулаком.

— Я пытки любые снесу и не пикну,— клянется Присевка.

— Хочешь, я палец в доказ отрежу.

— Что палец. Я руку себе оттяпну!

Расшумелись казаки, не уступают один другому.

Разин в это время проходил по лагерю и услышал казацкий спор. Остановился он. Усмехнулся.

Заметили спорщики атамана. Притихли.

Посмотрел Степан Тимофеевич на молодцов:

— Ну и крикуны: жизнь, пытки, палец, рука. Хотите себя проверить?

— Приказывай, атаман! Слово даем казацкое.

— Грамоте учены?

— Нет, Степан Тимофеевич.

— Так вот: кто первым осилит сию премудрость — тому настоящая вера.

Смутились казаки. Не ожидали такого. Ну и задал отец-атаман задачу. Однако что же тут делать? Назад не пойдешь. Слово казацкое брошено.

Не зря говорил про грамоту Разин. Нужны ему люди, умеющие писать и читать. Мало таких. Трудно крестьянскому войску.

Пошли казаки в церковь, разыскали дьячка:

— Обучай, длинногривый.

Сели они за буквы. Пыхтят, стараются казаки.

Только трудно дается наука. Неделя проходит, вторая.

— Сил моих больше нет, силушек — плачет по-детски Гусь.

— Уж лучше бы смерть от стрелецкой пули,— стонет Присевка.

Проходит еще неделя.

— Голова моя, голова разлетается. Помру я при этом деле,— убивается Гусь.

— За что же муки такие адовы,— причитает Присевка.

Стонут, проклинают судьбу свою казаки. Стонут, а все же стараются. Слово казацкое дадено.

Прошло целых два месяца.

— Ну, ступайте,— произнес наконец дьячок.

Словно ветром дунуло в казаков — помчались быстрее к Разину.

— Осилили, отец-атаман, премудрость!

— Да ну! — не поверил Степан Тимофеевич.

— Проверяй!

Протянул Разин Гусю писаный лист бумаги.

— Читай-ка.

Читает Гусь. Правда, не так, чтобы очень гладко. Однако все верно, все разбирает.

— Молодец, казак! — похвалил Разин.

Достал он лист чистой бумаги, протянул Присевке.

— Пиши-ка.

Пишет Присевка. Правда, не так чтобы очень быстро. Однако все верно. Буквы не путает.

— Молодец, казак,— подивился Разин.

Приблизил Степан Тимофеевич к себе казаков. Приставил к разбору важных бумаг и сообщений. Дельными оказались они помощниками.

— Молодцы, молодцы,— не нахвалится Разин.— Не опозорили честь казацкую.

Смущаются Гусь и Присевка.

— А как же — дело народное.

## РАЗИНКА

В бою под Симбирском Разина тежело ранило в голову.

Верные казаки везли атамана домой, на родную донскую землю. Между Волгой и Доном заночевали они на маленьком хуторе. Бережно перенесли больного в избу.

Вскоре к Разину подошел мальчик-подросток, протянул яблоко:

— Откушай, Степан Тимофеевич... Разинка.

— Что?!

— Разинкой называется,— объяснил мальчик.

Брови Разина от удивления приподнялись. Задумался атаман...

Было это в 1667 году при первом походе Разина с казаками на Волгу. Вот и тогда он ночевал на этом же самом хуторе.

Старик хозяин поутру возле дома высаживал яблони. Засмотрелся Степан Тимофеевич:

— Давай помогу.

— Доброе дело,— ответил старик.

Выкопал Разин яму. Посадил яблоньку. Маленькую, еще без листочков. Хиленький, тоненький стебелек.

— Приезжай, Степушка, через три года. Отведаешь разинку,— приглашал атамана старик.

И вот прошло не три, целых четыре года. «Привела все же судьба,— подумал Разин.— К хорошим делам приводит».

— А где же дедусь? — спросил он у мальчика.

— Помер дедусь. Еще по весне. В самый садовый цвет. А как помирал, все кликал тебя, Степан Тимофеевич. Все про яблоньку говорил. Беречь ее и нам, и тем, что после родятся, наказывал.

Утром Разин глянул на дерево. Стояло оно молодое, пышное, сильное. Пустило крепкие ветви в стороны. И висели на нем яркие, крупные — в два казацких кулака, душистые яблоки.

«Разинка»,— произнес про себя Степан Тимофеевич. Попросил он отнести себя на могилу дедову, поклонился холмику низко-низко и скомандовал трогаться дальше в путь.

Всю дорогу Разин говорил о садах.

— Красота-то какая. По всему Дону, по всей Волге, по свету всему посадим такую прелесть. Скинем бояр — за сады возьмемся. Чтобы полыхало по весне белым огнем вокруг. Чтобы к осени ветки до корня гнулись. Да что сады — жизнь перестроим. Перепашем, перевернем сошником. Травы дурные — вон. Колос — наружу. Чтобы в радость великую людям. Чтобы счастье всему народу.

Не дожил атаман до счастливого времени, не удалось восставшим сбросить царя и бояр. После возвращения на Дон Разин был схвачен богатыми казаками. Его заковали в цепи, привезли в Москву и казнили на Красной площади.

Взлетел над головой топор палача. Взлетел. Опустился...

Погиб Степан Тимофеевич Разин. Погиб, а память осталась. Вечная память, вечная слава.

# РАССКАЗЫ О ЦАРЕ ПЕТРЕ И ЕГО ВРЕМЕНИ

## КАПИТАН БОМБАРДИРСКОЙ РОТЫ[1]

Русская армия шла к Нарве.

Тра-та-та, тра-та-та! — выбивали походную дробь полковые барабаны.

Шли войска через старинные русские города Новгород и Псков, шли с барабанным боем, с песнями.

Стояла сухая осень. И вдруг хлынули дожди. Пообletали листья с деревьев. Размыло дороги. Начались холода. Идут солдаты по размытым дождем дорогам, тонут по колена солдатские ноги в грязи.

Трудно солдатам в походе. На мосту при переправе через небольшой ручей застряла пушка. Продавило одно из колес гнилое бревно, провалилось по самую ось.

Кричат солдаты на лошадей, бьют кнутами. Кони за долгую дорогу отощали — кожа да кости. Напрягаются лошаденки изо всех сил, а пользы никакой — пушки ни с места.

Сгрудились у моста солдаты, обступили пушку, пытаются на руках вытащить.

— Вперед! — кричит один.

— Назад! — командует другой.

Шумят солдаты, спорят, а дело вперед не движется. Бегает вокруг пушки сержант. Что бы придумать, не знает.

Вдруг смотрят солдаты — несется по дороге резной возок.

Подскакали сытые кони к мосту, остановились. Вылез из возка офицер. Взглянули солдаты — капитан бомбардирской роты. Рост у капитана громадный, метра два, лицо круглое, глаза большие, на губе, словно наклеенные, черные, как смоль, усы.

Испугались солдаты, вытянули руки по швам, замерли.

— Плохи дела, братцы,— произнес капитан.

— Так точно, бомбардир-капитан! — гаркнули в ответ солдаты.

Ну, думают, сейчас капитан ругаться начнет.

Так и есть. Подошел капитан к пушке, осмотрел мост.

— Кто старший? — спросил.

— Я, господин бомбардир-капитан,— проговорил сержант.

— Так-то воинское добро бережешь! — набросился капитан

---

[1] Капитан бомбардирской роты — военное звание артиллерийского офицера; бомбардиры — солдаты артиллерийских частей русской армии.

на сержанта.— Дорогу не смотришь, коней не жалеешь!

— Да я... да мы...— заговорил было сержант.

Но капитан не стал слушать, развернулся — и хлоп сержанта по шее! Потом подошел опять к пушке, снял нарядный с красными отворотами кафтан и полез под колеса. Поднатужился капитан, подхватил богатырским плечом пушку. Солдаты даже крякнули от удивления. Подбежали, навалились. Дрогнула пушка, вышло колесо из пролома, стало на ровное место.

Расправил капитан плечи, улыбнулся, крикнул солдатам: «Благодарствую, братцы!» — похлопал сержанта по плечу, сел в возок и поскакал дальше.

Разинули солдаты рты, смотрят капитану вслед.

— Ну и дела! — произнес сержант.

А вскоре солдат догнал генерал с офицерами.

— Эй, служивые,— закричал генерал,— тут государев возок не проезжал?

— Нет, ваше высочество,— ответили солдаты,— тут только и проезжал бомбардирский капитан.

— Бомбардирский капитан? — спросил генерал.

— Так точно! — отвечали солдаты.

— Дурни, да какой же это капитан? Это сам государь Петр Алексеевич!

## БЕЗ НАРВЫ НЕ ВИДАТЬ МОРЯ

Весело бегут сытые кони. Обгоняет царский возок растянувшиеся на многие версты полки, объезжает застрявшие в грязи обозы.

Рядом с Петром сидит человек. Ростом — как царь, только в плечах шире. Это Меншиков.

Меншикова Петр знал с детства. Служил в ту пору Меншиков у пирожника мальчиком. Ходил по московским базарам и площадям, торговал пирогами.

— Пироги жареные, пироги жареные! — кричал, надрывая глотку, Меншиков.

Однажды Алексашка ловил рыбу на реке Яузе, напротив села Преображенского. Вдруг смотрит Меншиков — идет мальчик. По одежде догадался — молодой царь.

— Хочешь, фокус покажу? — обратился Алексашка к Петру.

— Хочу.

Схватил Меншиков иглу с ниткой и проткнул себе щеку, да так ловко, что нитку протянул, а на щеке ни кровинки.

Петр от неожиданности даже вскрикнул.

Более десяти лет прошло с того времени. Не узнать теперь Меншикова. У царя первый друг и советчик. «Александр Данилович»,— почтительно величают сейчас прежнего Алексашку.

— Эй, эй! — кричит сидящий на козлах солдат.

Кони несутся во весь дух. Подбрасывает на неровной дороге царский возок. Разлетается в стороны липкая грязь.

Петр сидит молча, смотрит на широкую спину солдата, вспоминает детство свое, игры и потешное войско.

Жил тогда Петр под Москвой, в селе Преображенском. Больше всего любил военные игры. Набрали для него ребят, привезли ружья и пушки. Только ядер настоящих не было. Стреляли пареной репой. Соберет Петр свое войско, разделит на две половины, и начинается бой. Потом считают потери: одному руку сломало, другому бок отшибло, а третьему и вовсе голову пробило.

Приедут, бывало, из Москвы бояре, начнут Петра за потешные игры бранить, а он наведет на них пушку — бух! — и летит пареная репа в толстые животы и бородатые лица. Подхватят бояре полы расшитых одежд — и в разные стороны. А Петр выхватит шпагу и кричит:

— Победа! Победа! Неприятель спину показал!

Теперь потешное войско выросло. Это два настоящих полка — Преображенский и Семеновский. Царь называет их гвардией. Вместе со всеми полки идут к Нарве, вместе месят непролазную грязь. «Как-то себя покажут старые дружки-приятели? — думает Петр.— Это тебе не с боярами воевать».

— Государь! — выводит Меншиков царя из раздумья.— Государь, Нарва видна.

Смотрит Петр. На левом, крутом берегу реки Наровы стоит крепость. Кругом крепости — каменная стена. У самой реки виднеется Нарвский замок — крепость в крепости. Высоко в небо вытянулась главная башня замка — Длинный Герман.

А против Нарвы, на правом берегу Наровы,— другая крепость: Иван-город. И Иван-город обнесен неприступной стеной.

— Нелегко, государь, такую крепость воевать,— говорит Меншиков.

— Нелегко,— отвечает Петр.— А надобно. Без Нарвы нам нельзя. Без Нарвы не видать моря.

## «ГОСУДАРЬ, ДОЗВОЛЬ МОЛВИТЬ»

Русские под Нарвой были разбиты. Страна оказалась к войне подготовленной плохо. Не хватало оружия, обмундирования, войска были плохо обучены.

Зима. Мороз. Ветер. По снежной дороге несется резной возок. Подбрасывает седока на ухабах. Разлетается из-под лошадиных копыт белыми лепешками снег. Петр мчится в Тулу, едет на оружейный завод к Никите Демидову.

Демидова Петр знал давно, еще с той поры, когда Никита был простым кузнецом. Бывало, приведут дела Петра в Тулу, зайдет он к Демидову, скажет: «Поучи-ка, Демидыч, железному ремеслу».

Наденет Никита фартук, вытащит клещами из горна кусок раскаленного железа. Стучит Демидов по железу молотком, указывает Петру, куда бить. У Петра в руках молот. Развернется Петр, по указанному месту — бух! Только искры летят в стороны.

— Так его, так! — приговаривает Демидов.

А чуть царь оплошает, закричит Никита:

— У, косорукий!

Потом уже скажет:

— Ты, государь, не гневайся. Ремесло — оно крик любит. Тут без крику — что без рук.

— Ладно уж,— ответит Петр.

И вот царь опять в Туле. «Неспроста,— думает Демидов.— Ой, неспроста царь пожаловал».

Так и есть.

— Никита Демидович,— говорит Петр,— про Нарву слыхал?

Не знает, что и сказать, Демидов. Скажешь еще не так, только прогневаешь царя. А как же про Нарву не слыхать, когда все кругом шепчутся: мол, наломали нашему шведы бока.

Молчит Демидов, соображает, что бы ответить.

— Да ты не хитри, не хитри,— говорит Петр.

— Слыхал,— произносит Демидов.

— Вот так-то,— отвечает Петр.— Пушки нужны, Демидыч. Понимаешь, пушки.

— Как же не понять, государь.

— Да ведь много пушек надобно,— говорит Петр.

— Понятно, Петр Алексеевич. Только заводы-то наши, тульские, плохи. Железа нет, леса нет. Горе, а не заводы.

Петр и Демидов молчат. Петр сидит на резной лавке, смотрит в окно на заводской двор. Там в рваных одеждах и стоптанных лаптях мужики тащат осиновое бревно.

— Вот оно, наше тульское раздолье,— говорит Демидов.— По бревнышку, по бревнышку, как нищие побираемся.— А потом наклонился к Петру и заговорил тихо, вкрадчиво: — Государь, дозволь молвить.

Петр помолчал, посмотрел на Демидова, произнес:

— Сказывай.

— Тут ездили мои людишки,— проговорил Демидов,— на Урал. И я, государь, ездил. Вот где железа! А леса, леса-то,— что тебе море-океан, конца-краю не видно. Вот где, государь, заводы ставить. Оно сразу тебе и пушки, и бомбы, и ружья, и всякая другая надобность.

— Урал, говоришь? — переспросил Петр.

— Он самый,— ответил Демидов.

— Слыхал про Урал, да ведь далеко, Демидыч, на краю земли. Пока заводы построишь, ого-го сколько времени пройдет!

— Ничего, государь, ничего,— убежденно заговорил Демидов.— Дороги проложим, реки есть. Что там даль — желание было бы. А что долго, так, чай, не один день живем. Глядишь, годка через два и уральский чугун, и уральские пушки — все будет.

Смотрит Петр на Демидова, понимает, что у Никиты думка давно об Урале. Не сводит глаз и Демидов с Петра, ждет царского слова.

— Ладно, Никита Демидович,— наконец произносит Петр,— быть по-твоему, напишу указ, поедешь на Урал. Получишь денег из казны, людишек получишь — и с богом! Да смотри у меня. Знай: нет сейчас в государстве иных более важных дел. Запомни. Подведешь — не пожалею.

Через месяц, забрав лучших рудокопных и оружейных мастеров, Демидов уехал на Урал.

А Петр за это время успел послать людей и в Брянск, и в Липецк, и в другие города. Во многих местах на Руси Петр наказал добывать железо и строить заводы.

## КОЛОКОЛА

— Данилыч,— как-то сказал Петр Меншикову,— с церквей колокола снимать будем.

У Меншикова от удивления глаза на лоб.

— Что уставился? — крикнул на него Петр.— Медь нужна, чугун надобен, колокола на пушки лить будем. На пушки, понял?

— Правильно, государь, правильно,— стал поддакивать Меншиков, а сам понять не может, шутит царь или говорит правду.

Петр не шутил. Вскоре по разным местам разъехались солдаты выполнять царский приказ.

Прибыли солдаты и в большое село Лопасню, в Успенский собор. Приехали солдаты в село к темноте, въезжали под

вечерний звон. Гудели в зимнем воздухе колокола, переливались разными голосами. Сосчитал по пальцам сержант колокола — восемь.

Пока солдаты распрягали прозябших коней, сержант пошел в дом к настоятелю — старшему священнику. Узнав в чем дело, настоятель нахмурился, сморщил лоб. Однако встретил сержанта приветливо, заговорил:

— Захаживай, служивый, захаживай, зови своих солдатушек. Чай, замаялись в пути, продрогли.

Солдаты входили в дом осторожно, долго очищали снег с валенок, крестились.

Настоятель солдат накормил, чаем напоил.

— Пейте, служивые, ешьте,— приговаривал.

Устали солдаты, уснули. А утром вышел сержант на улицу, посмотрел на колокольню, а там всего один колокол и болтается.

Кинулся сержант к настоятелю.

— Где колокола? — закричал.— Куда колокола девали?

А настоятель руками разводит и говорит:

— Приход у нас бедный, всего и есть один колокол на весь приход.

— Как — один! — возмутился сержант.— Вчера сам видел восемь штук, да и перезвон слышал.

— Что ты, служивый, что ты! — Настоятель замахал руками.— Что ты выдумал! Это разве от усталости тебе показалось.

Понял сержант, что неспроста их тут угощали. Собрал солдат, весь собор осмотрели, подвалы излазили. Нет колоколов, словно в воду канули.

Пригрозил сержант донести в Москву.

— Доноси,— ответил настоятель.

Однако писать сержант не стал. Понял, что и ему быть в ответе. Решил остаться в Лопасне, вести розыск.

Живут солдаты неделю, вторую. По улицам ходят, в дома наведываются. Только про колокола никто ничего не знает. «Были,— говорят,— а где сейчас, не ведаем».

Привязался за это время к сержанту мальчик — Федькой звали. Ходит за сержантом, фузею рассматривает, про войну расспрашивает. Шустрый такой — все норовит у сержанта патрон стащить.

— Не балуй! — говорит сержант.— Найди, где попы колокола спрятали,— патрон твой.

— А дашь?

— Дам.

Два дня Федьки не было. На третий прибегает к сержанту, шепчет на ухо:

— Нашел.

— Да ну! — не поверил сержант.

— Ей-богу, нашел! Давай патрон.

— Нет,— говорит сержант,— это мы еще посмотрим.

Вывел Федька сержанта за село, бежит на лыжах-самоделках берегом реки, сержант едва за ним поспевает. Федьке хорошо, он на лыжах, а сержант спотыкается, проваливается в снег по самый пояс.

— Давай, дяденька, давай,— подбадривает Федька,— уже скоро!

Отбежали от села версты три. С крутого берега спустились на лед.

— Вот тут,— говорит Федька.

Посмотрел сержант — прорубь. А рядом — ещё, а чуть дальше — еще и еще. Сосчитал — семь.

От каждой проруби тянутся примерзшие ко льду канаты. Понял сержант, куда настоятель колокола спрятал: под лед, в воду. Обрадовался сержант, дал Федьке патрон и кинулся быстрее в деревню.

Приказал сержант солдатам лошадей запрягать, а сам зашел к настоятелю, говорит:

— Прости, батюшка: видать, и впрямь от усталости я тогда перепутал. Покидаем мы сегодня Лопасню. Уж ты не гневайся, помолись за нас богу.

— В добрый путь! — заулыбался настоятель.— В добрый путь, служивый. Уж помолюсь, обязательно помолюсь.

На следующей день настоятель собрал прихожан.

— Ну, миновало,— сказал он,— пронесло беду стороной.

Пошли прихожане к реке колокола вытаскивать, сунулись в прорубь, а там пусто.

— Ироды, богохульники! — закричал настоятель.— Уехали, увезли. Пропали колокола!

А над рекой гулял ветер, залезал под поповские рясы, трепал мужицкие бороды и бежал дальше, рассыпаясь крупой по крутому берегу.

## СЕНО, СОЛОМА

Поняли русские после Нарвы, что с необученным войском против шведа не повоюешь. Решил Петр завести постоянную армию. Пока нет войны, пусть солдаты занимаются ружейными приемами, привыкают к дисциплине и порядку.

Однажды Петр ехал мимо солдатских казарм. Смотрит — солдаты построены, ходить строем учатся. Рядом с солдатами идет

молодой офицер, подает команды. Петр прислушался: команды какие-то необычные.

— Сено, солома! — кричит офицер.— Сено, солома!

«Что такое?» — думает Петр. Остановил коня, присмотрелся: на ногах у солдат что-то навязано. Разглядел царь: на левой ноге сено, на правой — солома.

Офицер увидел Петра, закричал:

— Смирно!

Солдаты замерли. Подбежал поручик к царю:

— Господин бомбардир-капитан, рота офицера Вяземского хождению обучается!

— Вольно! — подал команду Петр.

Вяземский царю понравился. Хотел Петр за «сено, солома» разгневаться, но теперь передумал. Спрашивает Вяземского:

— Что это ты солдатам на ноги всякую дрянь навязал?

— Никак не дрянь, бомбардир-капитан,— отвечает офицер.

— Как так — не дрянь! — возражает Петр.— Солдат позоришь. Устав не знаешь.

Вяземский все свое.

— Никак нет,— говорит.— Это чтобы солдатам легче учиться было. Темнота, бомбардир-капитан, никак не могут различить, где левая нога, где правая. А вот сено с соломой не путают: деревенские.

Подивился царь выдумке, усмехнулся.

А вскоре Петр принимал парад. Лучше всех шла последняя рота.

— Кто командир? — спросил Петр у генерала.

— Офицер Вяземский,— ответил генерал.

## ПРО БОЯРСКИЕ БОРОДЫ

Жили в Москве бояре Буйносов и Курносов. И род имели давний, и дома от богатства ломились, и мужиков крепостных у каждого не одна тысяча.

Но больше всего бояре гордились своими бородами. А бороды у них были большие, пушистые. У Буйносова — широкая, словно лопата, у Курносова — длинная, как лошадиный хвост.

И вдруг вышел царский указ: брить бороды. При Петре заводили на Руси новые порядки: и бороды брить приказывали, и платье иноземного образца носить, и кофе пить, и табак курить, и многое другое.

Узнав про новый указ, Буйносов и Курносов вздыхали. Бороды договорились не стричь, а чтобы царю на глаза не попадаться, решили притвориться больными.

Вскоре сам царь о боярах вспомнил, вызвал к себе.

Стали бояре спорить, кому идти первым.

— Тебе идти,— говорит Буйносов.

— Нет, тебе,— отвечает Курносов.

Кинули жребий, досталось Буйносову.

Пришел боярин к царю, бросился в ноги.

— Не губи, государь,— просит,— не срами на старости лет!

Ползает Буйносов по полу, хватает царскую руку, пытается поцеловать.

— Встань! — крикнул Петр.— Не в бороде, боярин, ум — в голове.

А Буйносов стоит на четвереньках и все свое твердит: «Не срами, государь».

Разозлился тогда Петр, кликнул слуг и приказал силой боярскую бороду резать.

Вернулся Буйносов к Курносову весь в слезах, держится рукой за подбородок, рассказать ничего не может.

Страшно стало Курносову идти к царю. Решил боярин бежать к Меншикову, просить совета и помощи.

— Помоги, Александр Данилыч, поговори с царем,— просит Курносов.

Долго думал Меншиков, как начать разговор с Петром. Наконец пришел, говорит:

— Государь, а что, если с бояр за бороды брать выкуп? Хоть казне польза будет.

А денег в казне как раз было мало. Подумал Петр, согласился.

Обрадовался Курносов, побежал, уплатил деньги, получил медную бляху с надписью: «Деньги взяты». Надел Курносов бляху на шею, словно крест. Кто остановит, привяжется, почему бороду не остриг, он бороду приподымает и бляху показывает.

Еще больше теперь загордился Курносов, да зря. Прошел год, явились к Курносову сборщики налогов, потребовали новой уплаты.

— Как так! — возмутился Курносов.— Деньги мной уже уплачены! — и показывает медную бляху.

— Э, да этой бляхе,— говорят сборщики,— срок кончился. Плати давай за новую.

Пришлось Курносову опять платить. А через год и еще раз. Призадумался тогда Курносов, прикинул умом. Выходит, что скоро от всех курносовских богатств ничего не останется. Только одна борода и будет.

А когда пришли сборщики четвертый раз, смотрят — сидит Курносов без бороды, злыми глазами на сборщиков глядит.

На следующий день Меншиков рассказал царю про курносовскую бороду. Петр рассмеялся.

— Так им, дуракам, и нужно,— сказал,— пусть к новым порядкам привыкают. А насчет денег это ты, Данилыч, умно придумал. С одной курносовской бороды, поди, мундиров на целую дивизию нашили.

## ЧЕМУ МОЛОДЫЕ БОЯРЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ УЧИЛИСЬ

Не успели Буйносов и Курносов забыть старые царские обиды, как тут новая. Приказал Петр собрать пятьдесят самых знатных боярских сынков и послать за границу учиться. Пришлось Буйносову и Курносову отправлять и своих сыновей.

Поднялся в боярских домах крик, плач. Бегают мамки[1], суетятся люди, словно и не проводы, а горе в доме.

Расходилась буйносовская жена.

— Единого сына — и бог знает куда, в иноземщину, черту в зубы, немцу в пасть! Не пущу! — кричит.— Не отдам!

— Цыц! — закричал Буйносов на жену.— Государев приказ, дура! В Сибирь захотела, на виселицу?

И в доме Курносова крику не меньше. И Курносову пришлось закричать на жену:

— Дура! Плетью обуха не перешибешь, от царя-супостата не уйдешь! Терпи, старая.

Через год молодые бояре вернулись. Вызвали их к царю определять на государеву службу.

— Ну, рассказывай, Буйносов, сын боярский,— потребовал Петр,— как тебе жилось за границей.

— Хорошо, государь, жилось,— отвечает Буйносов.— Народ они ласковый, дружный, не то что наши мужики — рады друг другу в бороду вцепиться.

— Ну, а чему научился?

— Многому, государь. Вместо «батюшка» — «фатер» говорить научился, вместо «матушка» — «муттер».

— Ну, а еще чему? — допытывался Петр.

— Кланяться еще, государь, научился и двойным и тройным поклоном, танцевать научился, в заморские игры играть умею.

— Да,— сказал Петр,— многому тебя научили. Ну, а как тебе за границей понравилось?

---

[1] Мамки (мамка) — так в старину в богатых домах называли женщин, которые присматривали за детьми.

— Уж как понравилось, государь! Хочу в Посольский приказ[1]: уж больно мне любо за границей жить.

— Ну, а ты что скажешь? — спросил Петр молодого Курносова.

— Да что сказать, государь... Спрашивай.

— Ладно,— говорит Петр.— А скажи мне, Курносов, сын боярский, что такое есть фортификация?

— Фортификация, государь,— отвечает Курносов,— есть военная наука, имеющая целью прикрыть войска от противника. Фортификацию надобно знать каждому военному начальнику, как свои пять пальцев.

— Дельно,— говорит Петр.— Дельно. А что такое есть лоция?

— Лоция, государь,— отвечает Курносов,— есть описание моря или реки с указанием на нем отмелей и глубин, ветров и течений, всего того, что помехой на пути корабля может стать. Лоция, государь, первейшее, что надобно знать, берясь за дела мореходные.

— Дельно, дельно,— опять говорит Петр.— А еще чему научился?

— Да ко всему делу, государь, присматривался,— отвечает Курносов,— и как корабли строить, и как там рудное дело поставлено, и чем от болезней лечат. Ничего, спасибо голландцам и немцам. Народ они знающий, хороший народ. Только, думаю, государь, не пристало нам свое, российское, хаять. Не хуже у нас страна, и люди у нас не хуже, и добра не меньше.

— Молодец! — сказал Петр.— Оправдал, утешил.— И Петр поцеловал молодого Курносова.— А ты,— сказал Петр, обращаясь к Буйносову,— видать, как дураком был, так и остался. За границу захотел! Ишь, тебе Россия не дорога. Пошел прочь с моих глаз!

Так и остался молодой Буйносов в безвестности. А Курносов в скором времени стал видным человеком в государстве.

## АЗ, БУКИ, ВЕДИ...

На Руси в то время было мало грамотных людей. Учили ребят кое-где при церквах, да иногда в богатых домах имели приглашенных учителей.

При Петре стали открываться школы. Назывались они цифирными. Изучали в них грамматику, арифметику и географию.

---

[1] Посольский приказ — так называлось в старину учреждение, которое занималось делами, связанными с делами других государств.

Открыли школу и в городе Серпухове, что на полпути между Москвой и Тулой. Приехал учитель.

Явился учитель в школу, ждет учеников. Ждет день, второй, третий — никто не идет.

Собрался тогда учитель, стал ходить по домам, выяснять, в чем дело. Зашел в один дом, вызвал хозяина, местного купца.

— Почему,— спрашивает,— сын в школу не ходит?

— Нечего ему там делать! — отвечает купец.— Мы без грамоты жили, и он проживет. Бесовское это занятие — школа.

Зашел учитель во второй дом, к сапожных дел мастеру.

— Да разве это нашего ума дело — школа! — отвечает мастер.— Наше дело — сапоги тачать. Нечего понапрасну время изводить, всякую брехню слушать!

Пошел тогда учитель к серпуховскому воеводе, рассказывает, в чем дело. А воевода руками разводит.

— А что я могу поделать? — говорит.— Дело оно отцовское. Тут кому что: одному — грамота, а другому, поди, грамота и не нужна.

Смотрит учитель на воеводу, понимает, что помощи от него не будет, обозлился, говорит:

— Раз так, я самому государю отпишу.

Посмотрел воевода на учителя. Вид у него решительный. Понял: сдержит свою угрозу учитель.

— Ладно, не торопись,— говорит,— ступай в школу.

Вернулся учитель в школу, стал ждать. Вскоре слышит за окном топот. Посмотрел: идут солдаты, с ружьями, ведут ребят.

Целую неделю ребят сопровождали солдаты. А потом ничего, видать, отцы смирились, привыкли. Ученики сами стали в школу бегать.

Стал учитель обучать ребят грамматике. Начали с букв.

— Аз,— говорит учитель. (Это значит буква «а».)

— Аз,— хором повторяют ученики.

— Буки,— говорит учитель. (Это значит буква «б».)

— Буки,— повторяют ученики.

— Веди...

Потом пошла арифметика.

— Един и един,— говорит учитель,— будет два.

— Един и един — два,— повторяют ученики.

Вскоре научились ребята и буквы писать, и цифры складывать. Узнали, где Каспийское море, где Черное и где Балтийское. Много чему научились ребята.

А как-то раз через Серпухов в Тулу ехал Петр. Заночевал царь в Серпухове, а утром решил зайти в школу. Прослышал Петр, что отцы неохотно отдают детей учиться. Решил проверить.

Входит Петр в класс, а там полным-полно ребят. Удивился Петр, спрашивает учителя, как он столько учеников собрал.

Учитель и рассказал все как было.

— Вот здорово! — засмеялся Петр.— Молодец воевода. Это по-нашему. Верно. Накажу-ка, чтобы и в других местах в школы ребят силой тащили. Людишки-то у нас хилы умом, не понимают своей выгоды, о делах государства не заботятся. А грамотные люди нам ой как нужны! Смерть России без знающих людей.

## РАДУЙСЯ МАЛОМУ, ТОГДА И БОЛЬШОЕ ПРИДЕТ

— Пора бы нам и свою газету иметь,— не раз говорил Петр своим приближенным.— От газеты и купцу, и боярину, и горожанину — всем польза.

И вот Петр как-то исчез из дворца. Не появлялся до самого вечера, и многие уже подумали, не случилось ли с царем чего дурного.

А Петр в это время отбирал вместе с печатным мастером Федором Поликарповым материалы к первому номеру русской газеты.

Поликарпов, высокий, худой, с очками на самом конце носа, стоит перед царем навытяжку, словно солдат, читает:

— Государь, с Урала, из Верхотурска сообщают, что тамошними мастерами отлито немало пушек.

— Пиши,— говорит Петр,— пусть все знают, что потеря под Нарвой есть ничто с тем, что желаючи можно сделать.

— А еще, государь, сообщают,— продолжает Поликарпов,— что в Москве отлито из колокольного чугуна четыреста пушек.

— И это пиши,— говорит Петр,— пусть знают, что Петр снимал колокола не зря.

— А с Невьянского завода, от Никиты Демидова, пишут, что заводские мужики бунт учинили и теперь боярам и купцам от них житья нет.

— А это не пиши,— говорит Петр.— Распорядись лучше послать солдат да за такие дела мужикам всыпать.

— А из Казани, государь, пишут,— продолжает Поликарпов,— что нашли там немало нефти и медной руды.

— Это пиши,— говорит Петр,— пусть знают, что на Руси богатств — край непочатый, не считаны еще те богатства...

Сидит Петр, слушает. Потом берет бумаги. На том, что печатать, ставит красный крест, ненужное откладывает в сторону.

Поликарпов докладывает все новое и новое. И о том, что

индийский царь послал московскому царю слона и что в Москве за месяц родилось триста восемьдесят шесть человек мужского и женского полу, и многое другое.

— А еще,— говорит Петр,— напиши, Федор, про школы, да здорово — так, чтобы все пользу от этого дела видели.

Через несколько дней газету напечатали. Назвали ее «Ведомости». Газета получилась маленькая, шрифт мелкий, читать трудно, полей нет, бумага серая. Газета так себе. Но Петр доволен: первая. Схватил «Ведомости», побежал во дворец. Кого ни встретит, газету показывает.

— Смотри,— говорит,— газета, своя, российская, первая!

Встретил Петр и князя Головина. А Головин слыл знающим человеком, и бывал за границей, знал языки чужие.

Посмотрел Головин на газету, скривил рот и говорит:

— Ну и газета, государь! Вот я был в немецком городе Гамбурге, вот там газета так газета!

Радость с лица Петра как рукой сняло. Помрачнел, нахмурился.

— Эх, ты! — проговорил.— Не тем местом, князь, мыслишь. А еще Головин! А еще князь! Нашел чем удивить — «в немецком городе Гамбурге!» Сам знаю: лучше, да чужое. Чай, и у них не сразу все хорошо было. Дай срок. Радуйся малому, тогда и большое придет.

## ПРО ДАНИЛУ

Данила на всю округу умным мужиком слыл. О всяком деле имел свое понятие.

После Нарвы на селе только и разговоров было, что про шведов, короля Карла, царя Петра и дела воинские.

— Силен швед, силен,— говорили мужики,— не нам чета. И зачем нам море. Жили и проживем без моря.

— Вот и неправда,— говорит Данила.— Не швед силен, а мы слабы. И про море неверно. Нельзя России без моря. И рыбу ловить, и торговлю водить, для многого море надобно.

А когда колокола снимали, в деревне опять несколько дней стоял шум.

— Конец света приходит,— кричал дьякон и рвал на себе волосы.

Бабы плакали, крестились, мужики ходили угрюмые. Все ждали беды. А Данила и здесь не как все. Опять по-своему.

— Так и надо,— говорил.— Тут интерес для государства дороже, чем колокола. Господь бог за такие дела не осудит.

— Богохульник! — назвал тогда Данилу батюшка и с той поры затаил на него великую злобу.

А вскоре Петр ввел новые налоги. Застонали мужики, потащили в казну последние крохи, затянули еще туже ремни на штанах.

— Ну, как тебе,— спрашивали они Данилу,— новые царевы порядки? Опять верно?

— Нет,— отвечает Данила,— у меня с царем не во всем согласие общее.

— Ишь ты! — огрызались мужики.— У него с царем! Нашел дружка-приятеля. Царь на тебя и смотреть не станет.

— Мало что не станет, а думать по-своему не запретит,— отвечал Данила.— Что славу государству добывает, за то Петру спасибо, а что с мужика три шкуры дерет — придет время, быть ему за это в ответе.

Соглашаются мужики с Данилой, кивают головой. А один возьми и выкрикни:

— А ты самому царю про то скажи!

— И скажу,— ответил Данила.

И сказал. Только произошло это не сразу и вот как.

Кто-то донес — может, поп, а может, и кто другой — про Даниловы речи властям. Приехали в село солдаты, связали Данилу, повезли в Москву к начальнику, к самому князю Ромодановскому.

Скрутили Даниле руки, вздернули на дыбу, стали пытать.

— Что про государя говорил, кто надоумил? — спрашивает князь Ромодановский.

— А что говорил, то ветер унес,— отвечает Данила.

— Что? — закричал Ромодановский.— Да за такие речи на кол тебя посадить, смутьяна поганого!

— Сажай,— отвечает Данила.— Мужику все едино, где быть. Может, на колу еще лучше, чем гнуть на бояр спину.

Разозлился князь Ромодановский, схватил железный, раскаленный в огне прут и давай к голому телу Данилы прикладывать. Обессилел Данила, повис, словно мочало.

А в это время в избу вошел Петр:

— За что человек на дыбе?

— Смутьян,— говорит князь Ромодановский.— Супротив власти, государь, худое молвит.

Подошел Петр к Даниле. Приоткрыл тот глаза, смотрит — перед ним царь. Набрался тогда Данила сил и произнес:

— Эх, государь, великое ты дело затеял, да только простому люду житья не стало. Выбили все из народа, словно грабители на большой дороге. Не забудет, государь, народ про такие дела, не помянет добрым словом.

И снова закрыл Данила глаза, уронил на волосатую грудь голову. А Петра словно что изнутри обожгло. Дернул головой влево, вправо, метнул гневный взор на Данилу:

— Вешай! — закричал, словно ужаленный, и пошел из избы прочь.

## ГОРОД У МОРЯ

Вскоре царь Петр начал новую войну со шведами. Русские войска одержали первые победы и вышли к Финскому заливу, к тому месту, где в залив впадает река Нева.

Пустынны берега реки Невы: леса, топи да непролазные чащи. И проехать трудно, и жить негде. А место важное: море.

Через несколько дней Петр забрал Меншикова, сел в лодку и поехал к морю. При самом впадении Невы в море — остров. Вылез Петр из лодки, стал ходить по острову. Остров длинный, ровный, как ладошка. Хохолками торчат хилые кусты, под ногами мох, сырость.

— Ну и место, государь! — проговорил Меншиков.

— Что — место? Место как место,— ответил Петр.— Знатное место: море.

Пошли дальше. Вдруг Меншиков провалился по колени в болото. Рванул ноги, стал на четвереньки, пополз на сухое место. Поднялся весь в грязи, посмотрел на ноги — одного ботфорта нет.

— Ай да Алексашка, ай да вид! — рассмеялся Петр.

— Ну и места проклятущие! — с обидой проговорил Меншиков.— Государь, пошли назад. Нечего эти болота мерить.

— Зачем же назад, иди вперед, Данилыч. Чай, хозяйничать сюда пришли, а не гостями,— ответил Петр и зашагал к морю.

Меншиков нехотя поплелся сзади.

— А вот смотри,— обратился Петр к Меншикову.— Жизни, говоришь, никакой нет, а это тебе что, не жизнь?

Петр подошел к кочке, осторожно раздвинул кусты, и Меншиков увидел гнездо. В гнезде сидела птица. Она с удивлением смотрела на людей, не улетала.

— Ишь ты,— проговорил Меншиков,— смелая!

Птица вдруг взмахнула крылом, взлетела, стала носиться вокруг куста.

Наконец Петр и Меншиков вышли к морю. Большое, мрачное, оно верблюжьими горбами катило свои волны, бросало о берег, било о гальку.

Петр стоял, расправив плечи, дышал всей грудью. Морской

ветер трепал полы кафтана, то поворачивая лицевой зеленой стороной, то внутренней — красной. Петр смотрел вдаль. Там, за сотни верст на запад, лежали иные страны, иные берега.

Меншиков сидел на камне, переобувался.

— Данилыч! — проговорил Петр.

То ли Петр произнес тихо, то ли Меншиков сделал вид, что не слышит, только он не ответил.

— Данилыч! — вновь проговорил Петр.

Меншиков насторожился.

— Здесь, у моря,— Петр обвел рукой,— здесь, у моря,— повторил он,— будем строить город.

У Меншикова даже ботфорт выпал из рук.

— Город? — переспросил он.— Тут, на этих болотах, город?!

— Да,— ответил Петр и зашагал по берегу.

А Меншиков держал ботфорт и смотрел удивленно и восторженно на удаляющуюся фигуру Петра.

Для строительства нового города собрали к Неве со всей России мастеровой люд: плотников, столяров, каменщиков, нагнали простых мужиков.

Вместе со своим отцом, Силантием Дымовым, приехал в новый город и маленький Никитка. Отвели Дымову место, как и другим рабочим, в сырой землянке. Поселился Никитка рядом с отцом, на одних нарах.

Утро. Четыре часа. Над городом палит пушка. Это сигнал. Встают рабочие, встает и Никиткин отец. Целый день копаются рабочие в грязи и болоте. Роют канавы, валят лес, таскают тяжелые бревна. Возвращаются домой затемно. Придут усталые, развесят около печки мокрые портянки, расставят дырявые сапоги и лапти, похлебают пустых щей и валятся на нары. Спят до утра словно убитые.

А чуть свет опять гремит пушка.

Весь день Никитка один. Все интересно Никитке: и то, что народу много, и солдат тьма-тьмущая, и море рядом. Никогда не видал Никитка столько воды. Даже смотреть страшно. Бегал Никитка к пристани, на корабли дивился. Ходил по городу, смотрел, как в лесу вырубают просеки, а потом вдоль просек дома складывают.

Привыкли к Никитке рабочие. Посмотрят на него — дом, семью вспомнят. Полюбили Никитку. «Никитка, принеси воды»,— попросят. Никитка бежит. «Никитка, расскажи, как у со́лдата табак украл». Никитка рассказывает.

Жил Никитка до осени весело. Но пришла осень, грянули дожди. Заскучал Никитка. Сидит целые дни в землянке один. В землянке вода по колено. Скучно Никитке.

Вырубил тогда Силантий из бревна сыну игрушку — солдата с ружьем.

Повеселел Никитка.

— Встать! — подает команду.

Солдат стоит, глазом не моргнет.

— Ложись! — кричит Никитка, а сам незаметно подталкивает солдата рукой.

Наиграется Никитка, начнет воду вычерпывать. Перетаскает воду на улицу, только передохнет — а вода вновь набралась. Хоть плачь!

Вскоре в городе начался голод. Продуктов на осень не запасли, а дороги размокли. Пошли болезни. Стали помирать люди словно мухи.

Пришло время, захворал и Никитка. Вернулся однажды отец с работы, а у мальчика жар. Мечется Никитка на нарах, пить просит. Всю ночь Силантий не отходил от сына. Утром не пошел на работу. А днем нагрянул в землянку офицер с солдатами.

— Порядку не знаешь?! — закричал офицер на Силантия.

— Сынишка у меня тут. Хворый. Помирает сынишка...

Но офицер не стал слушать. Дал команду, скрутили солдаты Силантию руки, погнали на работу. А когда вернулся, Никитка уже похолодел.

— Никитка, Никитка! — тормошит Силантий сына.

Лежит Никитка, не шелохнется. Валяется рядом Никиткина игрушка — солдат с ружьем. Мертв Никитка.

Гроба Никитке не делали. Похоронили, как всех, в общей могиле.

Недолго прожил после этого и Силантий. К морозам и Силантия свезли на кладбище. Много тогда людей погибло. Много мужицких костей полегло в болотах и топях.

Город, который строил Никиткин отец, был Петербург.

Через несколько лет этот город стал столицей Русского государства.

## ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ

Осень 1703 года выдалась ранняя. Словно из сита, лили холодные мелкие дожди. Задули ветры, погнали по Финскому заливу метровые волны.

В один из таких дней к Неве подошел иностранный корабль. Корабль был датский, и приплыли на нем датские купцы.

У входа в Неву корабль бросил якорь. Идти дальше капитан не решался. Датчане послали в Петербург за лоцманом.

Вскоре лоцман прибыл. Из-под брезентового плаща-капюшона глянуло на капитана молодое улыбающееся лицо. Раскрытыми ножницами зашевелились тонкие, словно шило, усы.

— О гут, зер гут![1] — приветствовал лоцмана капитан.

Лоцман прошелся по палубе, пощупал снасти, придирчиво осмотрел паруса и реи.

Всю дорогу лоцман молчал. Ловко перебирая рулевое колесо, он осторожно вводил корабль в Неву.

— Гут, зер гут! — говорил капитан.

Русский датчанам понравился. Прощаясь, капитан подарил лоцману золотой рубль.

Три дня судно разгружалось. Пока русские перетаскивали на берег пузатые бочки и тяжелые ящики, датские моряки ходили по городу. С самого утра отправлялся на берег и датский капитан. Капитан знал, что на улицах Петербурга можно повстречать русского царя. А взглянуть на Петра капитану очень хотелось. Слава о царе Петре к тому времени уже обошла весь мир. Однако датчанам не везло.

И вот однажды капитан повстречал лоцмана.

— О майн фрейнд![2] — радостно приветствовал датчанин старого знакомца.

«А что, если поделиться с ним своей неудачей?» — подумал капитан.

Узнав, в чем дело, лоцман оживился, обещал помочь.

Слово свое лоцман сдержал. Через несколько дней датских моряков пригласили в дом петербургского генерал-губернатора Александра Даниловича Меншикова. В просторном губернаторском доме собралось человек сто. Были здесь и знатные особы, и совсем неприметные люди — русские купцы и офицеры. Вскоре к гостям вышел и сам хозяин.

— Его величество царь Петр Алексеевич! — произнес Меншиков.

Дверь распахнулась, и в комнату вошел Петр.

Датский капитан взглянул на царя и ахнул. По комнате, прогибая половицы, шел лоцман.

Заметив датчанина, Петр улыбнулся. Лукаво заблестели большие глаза, привстливо зашевелились усы-ножницы.

Капитан растерялся, стал низко кланяться и что-то быстро-быстро заговорил на родном языке.

— О чем сказывает господин датский капитан? — обратился Петр к переводчику.

— Ваше величество,— ответил переводчик,— капитан гово-

---

[1] Хорошо, очень хорошо!(*нем.*)

[2] Мой друг! (*нем.*)

рит о каком-то рубле. Капитан просит не гневаться и вернуть ему рубль.

Петр рассмеялся.

— Купцы и корабельщики,— обратился царь к датским морякам,— вы первые, что с миром пришли к нам, в древние русские земли. Жалуйте к нам в моря. Купцы датские и немецкие, английские и шведские, жалуйте все, всем места хватит. За то мы и бились за море, за то и положили здесь русские головы.— Потом, наклонившись к переводчику, Петр тихо сказал: — А капитану передай: рубль я ему не отдам. Рубль — он не краденый. Честным трудом заработанный.

# РАССКАЗЫ О СУВОРОВЕ И РУССКИХ СОЛДАТАХ

## ПАКЕТ

За непослушание императору Суворов был отстранен от армии. Жил фельдмаршал в селе Кончанском. В бабки играл с мальчишками, помогал звонарю бить в церковные колокола. В святые праздники пел на клиросе.

А между тем русская армия тронулась в новый поход. И не было на Руси второго Суворова. Тут-то и вспомнили про Кончанское.

Прибыл к Суворову на тройке молодой офицер, привез фельдмаршалу пакет за пятью печатями от самого государя императора Павла Первого.

Глянул Суворов на пакет, прочитал:

«Графу Александру Суворову в собственные руки».

Покрутил фельдмаршал пакет в руках, вернул офицеру.

— Не мне,— говорит.— Не мне.

— Как — не вам! — поразился посыльный.— Вам. Велено вам в собственные руки.

— Не мне. Не мне,— повторил Суворов.— Не задерживай. Мне с ребятами в лес по грибы-ягоды надо идти.

И пошел.

Смотрит офицер на пакет — все как полагается: и «графу» и «Александру Суворову».

— Александр Васильевич! — закричал.— Ваше сиятельство!

— Ну что? — остановился Суворов.

— Пакет...

— Сказано — не мне,— произнес Суворов.— Не мне. Видать, другому Суворову.

Так и уехал ни с чем посыльный.

Прошло несколько дней, и снова в Кончанское прибыл на тройке молодой офицер. Снова привез от государя императора пакет за пятью печатями.

Глянул Суворов на пакет, прочитал:

«Фельдмаршалу российскому Александру Суворову».

— Вот теперь мне,— произнес Суворов и распечатал пакет.

# БИТЬ, А НЕ СЧИТАТЬ

Впервые Суворов попал на войну совсем молодым офицером. Россия в то время воевала с Пруссией. И русские и прусские войска растянулись широким фронтом. Армии готовились к грозным боям, а пока мелкими набегами «изучали» друг друга.

Суворову выделили сотню казаков и поручили наблюдать за противником.

В сорока верстах от корпуса, в котором служил Суворов, находился прусский городок Ландсберг. Городок небольшой, но важный. Стоял он на перепутье проезжих дорог. Охранял его хорошо вооруженный отряд прусских гусар.

Ходил Суворов несколько раз со своей сотней в разведку, исколесил всю округу, но, как назло, даже издали ни одного пруссака не увидел.

А что же это за война, если даже не видишь противника!

И вот молодой офицер решил учинить настоящее дело, попытать счастья и взять Ландсберг. Молод, горяч был Суворов.

Поднял он среди ночи сотню, приказал седлать лошадей.

— Куда это? — заволновался казачий сотник.

— Вперед! — кратко ответил Суворов.

До рассвета прошла суворовская сотня все сорок верст и оказалась на берегу глубокой реки, как раз напротив прусского города.

Осмотрелся Суворов — моста нет. Сожгли пруссаки для безопасности мост. Оградили себя от неожиданных нападений.

Постоял Суворов на берегу, подумал и вдруг скомандовал:

— В воду! За мной! — и первым бросился в реку.

Выбрались казаки на противоположный берег у самых стен вражеского города.

— Город наш! Вперед! — закричал Суворов.

— В городе же прусские гусары,— попытался остановить Суворова казачий сотник.

— Помилуй бог, так это и хорошо! — ответил Суворов.— Их как раз мы и ищем.

Понял сотник, что Суворова не остановишь.

— Александр Васильевич,— говорит,— прикажите хоть узнать, много ли их.

— Зачем? — возразил Суворов.— Мы пришли бить, а не считать.

Казаки ворвались в город и разбили противника.

# ДЕРЗОСТЬ

Шла война с турками. Суворов был уже генералом.

В бою под Фокшанами турки расположили свою артиллерию так, что с тыла, за спиной, у них оказалось болото.

Позиции для пушек — лучше не сыщешь: сзади неприятель не подойдет, с флангов не обойдет. Спокойны турки.

Однако Суворов не побоялся болота. Прошли суворовские богатыри через топи и, как гром среди ясного неба,— на турецкую артиллерию сзади. Захватил Суворов турецкие пушки.

И турки, и австрийцы, и сами русские сочли маневр Суворова за рискованный, дерзкий.

Хорошо, что прошли через топи солдаты, а вдруг не прошли бы?!

— Дерзкий так дерзкий,— усмехался Суворов.— Дерзость войскам не помеха.

Однако мало кто знал, что, прежде чем пустить войска через болота, Суворов отрядил бывалых солдат, а те вдоль и поперек излазили топи и выбрали надежный путь для своих товарищей. Суворов берег солдат и действовал наверняка.

Месяц спустя в новом бою с турками полковник Илловайский решил повторить дерзкий маневр Суворова.

Обстановка была схожей: тоже турецкие пушки и тоже болото.

— Суворову повезло,— говорил Илловайский.— А я что, хуже? И мне повезет.

Только Илловайскому не повезло. Повел полковник солдат, не зная дороги. Завязли солдаты в болоте. Стали тонуть. Поднялся шум, крики.

Поняли турки, в чем дело. Развернули свои пушки и расстреляли русских солдат.

Много солдат погибло. Илловайский, однако, спасся.

Суворов разгневался страшно. Кричал и ругался до хрипоты.

— Так я же хотел, как вы, чтобы дерзость была,— оправдывался Илловайский.

— Дерзость! — кричал Суворов.— Дерзость есть, а где же умение?!

За напрасную гибель солдат Суворов разжаловал полковника в рядовые и отправил в обозную команду.

— Ему людей доверять нельзя,— говорил Суворов.— При лошадях он безопаснее.

# ИЗМАИЛ

Неприступной считалась турецкая крепость Измаил: стояла крепость на берегу широкой реки Дунай, и было в ней сорок тысяч солдат и двести пушек. А кроме того, шел вокруг Измаила глубокий ров и поднимался высокий вал. И крепостная стена вокруг Измаила тянулась на шесть верст.

Не могли русские генералы взять турецкую крепость.

И вот прошел слух: под Измаил едет Суворов. И правда, вскоре Суворов прибыл. Прибыл, собрал совет.

— Как поступать будем? — спрашивает.

А дело глубокой осенью было.

— Отступать надобно,— заговорили генералы.— Домой, на зимние квартиры.

— «На зимние квартиры»! — передразнил Суворов.— «Домой»! Нет,— сказал.— Русскому солдату дорога домой через Измаил ведет. Нет российскому солдату дороги отсель иначе!

И началась под Измаилом необычная жизнь. Приказал Суворов насыпать такой же вал, какой шел вокруг крепости, и стал обучать солдат. Днем солдаты учатся ходить в штыковую атаку, а ночью, чтобы турки не видели, заставляет их Суворов на вал лазить. Подбегут солдаты к валу — Суворов кричит:

— Отставить! Негоже, как стадо баранов, бегать.

Так и бегают солдаты то к валу, то назад. А потом, когда научились подходить врассыпную, Суворов стал показывать, как на вал взбираться.

— Тут,— говорит,— лезьте все разом, берите числом, взлетайте на вал в один момент.

Несколько дней Суворов занимался с солдатами, а потом послал к турецкому генералу послов — предложил, чтобы турки сдались. Но генерал гордо ответил:

— Раньше небо упадет в Дунай, чем русские возьмут Измаил.

Тогда Суворов отдал приказ начать штурм крепости. Повторили солдаты все, чему учил их Суворов: перешли ров, поднялись на крепостной вал, по штурмовым лестницам поползли на стены.

Лихо бились турки, только не удержали они русских солдат. Ворвались суворовские войска в Измаил, захватили в плен всю турецкую армию.

Лишь один турок невредимым ушел из крепости. Дрожащий от страха, он прибежал в турецкую столицу и рассказал о новом подвиге русских солдат и новой победе генерала Суворова.

# МЕДАЛЬ

Молодой, необстрелянный солдат Кузьма Шапкин во время боя у реки Рымник струсил и весь день просидел в кустах.

Не знал Шапкин, что Суворов его приметил.

В честь победы над турками в суворовскую армию были присланы ордена и медали. Построили офицеры свои полки и роты. Прибыл к войскам Суворов, стал раздавать награды.

Стоял Шапкин в строю вместе со всеми и ждал, чтобы скорее все это кончилось. Совестно было солдату.

И вдруг... Шапкин вздрогнул, решил, что ослышался.

— Гренадер Шапкин, ко мне! — закричал Суворов.

Стоит солдат, словно в землю ногами вкопанный, не шелохнется.

— Гренадер Шапкин, ко мне! — повторил Суворов.

— Ступай же, ступай,— подтолкнули Кузьму солдаты.

Вышел Шапкин, потупил глаза, покраснел. А Суворов раз — и медаль ему на рубаху.

Вечером расселись солдаты у палаток, стали вспоминать подробности боя, перечислять, за что и кому какие награды. Одному за то, что придумал, как отбить у турок окопы. Другому — за турецкий штандарт. Третьему за то, что один не оробел перед десятком турок и хоть изнемог в ранах, а в плен не дался.

— Ну, а тебе за что же медаль? — спрашивают солдаты у Шапкина.

А тому и ответить нечего.

Носит Шапкин медаль, да только покоя себе не находит. Подавлен. Товарищей сторонится. Целыми днями молчит.

— Тебе что же, медаль язык придавила?! — шутят солдаты.

Прошла неделя, и совсем изглодала совесть солдата. Не выдержал Шапкин, пошел к Суворову. Входит в палатку и возвращает медаль.

— Помилуй бог! — воскликнул Суворов.— Награду назад!

Опустил Шапкин голову низко-низко, к самому полу, и во всем признался Суворову.

«Ну,— думает,— пропадай моя голова».

Рассмеялся Суворов, обнял солдата.

— Молодец! — произнес.— Знаю, братец, без тебя все знаю. Хотел испытать. Добрый солдат. Добрый солдат. Памятуй: героем не рождаются, героем становятся. Ступай. А медаль, ладно, пусть полежит у меня. Только, чур, медаль твоя. Тебе заслужить. Тебе и носить.

Не ошибся Суворов.

В следующем бою Шапкин первым ворвался в турецкую крепость, заслужил и медаль, и великую славу.

## МОСТЫ

Русские сражались в Италии. Против Суворова действовали французские генералы. Выбирали французы удобное для себя место — такое, чтобы наверняка разгромить Суворова. Отступили они к реке Адде. Перешли на ту сторону. Сожгли за собою мосты. «Вот тут,— решили,— при переправе мы и уничтожим Суворова».

А для того чтобы Суворов их план не понял, сделали французские генералы вид, что отходят дальше. Весь день отступали в сторону реки, а затем вернулись назад и спрятали своих солдат в кустах и оврагах.

Вышел Суворов к реке. Остановился. Приказал наводить мосты. Засучили солдаты рукава. Топоры в руки. Закипела работа. Моста два, один недалеко от другого. Соревнуются солдаты между собой. На каждом мосту норовят управиться первыми.

Наблюдают французские дозорные за рекой.

Через каждый час доносят своим генералам, как у русских идет работа.

Довольны французские генералы. Все идет точно по плану. Потирают от радости руки. Ну, попался Суворов!

Хитрыми были французы. Однако Суворов оказался хитрее.

Когда мосты были почти готовы, снял он вдруг среди ночи свою армию и двинул вниз по берегу Адды.

— А мосты, ваше сиятельство? — забеспокоились саперные офицеры.

— Молчок,— приложил палец ко рту Суворов.— Мосты строить. Шибче стучать топорами.

Стучат топоры над рекой, а фельдмаршал тем временем отвел свою армию вниз по ее течению и переправил вброд, без всяких мостов на вражеский берег.

Спокойны французские генералы. Знают: мосты не готовы. Успокаивает французов топорный стук над рекой. Не волнуются генералы.

И вдруг... Со спины, с тыла, явился Суворов. Ударил в штыки.

— Ура! Чудо-богатыри, за мной!..

Поняли генералы, в чем дело, да поздно. Не ожидали

русских французы. Дрогнули и побежали. Только офицеров одних более двухсот попало в руки к Суворову.

Мосты все же достроили. Как же быть без мостов, раз в армии не только чудо-солдаты, но и обозы и артиллерия.

## ВПЕРЕДИ И ПОЗАДИ

В ночь перед штурмом Турина Суворов в сопровождении двух офицеров, майора Пронина и капитана Забелина, выехал на разведку. Хотел фельдмаршал сам осмотреть подступы к городу, а офицерам наказал взять бумагу и срисовывать план местности.

Ночь тихая, светлая, луна и звезды. Места красивые: мелкие перелески, высокие тополя. Едет Суворов, любуется.

Подъехали они почти к самому городу, остановились на бугорочке.

Слезли офицеры с коней. Взяли в руки бумагу. Майор Пронин смельчак — все поближе к городу ходит. А капитан Забелин наоборот — за спиной у Суворова.

Прошло минут двадцать, и вдруг началась страшная канонада. То ли французы заметили русских, то ли просто решили обстрелять дорогу, только ложатся неприятельские ядра у самого бугорочка, рядом с Суворовым, вздымают землю вокруг фельдмаршала.

Сидит Суворов на коне, не движется. Смотрит — и майор Пронин не испугался, ходит под ядрами, перерисовывает план местности. А Забелина нет. Исчез куда-то Забелин.

Услышали в русских войсках страшную канонаду, забеспокоились о Суворове. Примчался казачий разъезд к Турину.

— Ваше сиятельство,— кричит казачий сотник,— отъезжайте, отъезжайте! Место опасное!

— Нет, сотник,— отвечает Суворов,— место прекрасное. Гляди,— показал на высокие тополя,— лучшего места не надо. Завтра отсюда начнем атаку.

Кончилась канонада. Собрался Суворов ехать назад. Крикнул Пронина. Крикнул Забелина.

Подошел Пронин — бумажный лист весь исписан: где какие овражки, где бугорочки — все как надо указано. А Забелина нет. Стали искать капитана. Нашли метрах в двухстах за Суворовым. Лежит Забелин с оторванной неприятельским ядром головой, рядом чистый лист бумаги валяется.

Взглянул Суворов на Пронина, взглянул на Забелина, произнес:

— Храбрый всегда впереди, трусишку и позади убивают.

# СУП И КАША

Суворовская армия совершала стремительный переход. Остановились войска ночевать в лесу на косогоре, у самой речки.

Разложили солдаты походные костры, стали варить суп и кашу.

Сварили, принялись есть. А генералы толпятся около своих палаток, ждут Лушку. Лушка — генеральский повар. Отстал Лушка где-то в пути, вот и томятся генералы, сидят некормлены.

— Что же делать? — говорит Суворов.— Пошли к солдатским кострам, господа генералы.

— Да нет уж,— отвечают генералы,— мы подождем. Вот-вот Лушка приедет.

Знал Суворов, что генералам солдатская пища не по нутру. Спорить не стал.

— Ну, как хотите.

А сам к ближайшим кострам на огонек.

Потеснились солдаты, отвели Суворову лучшее место, дали миску и ложку.

Уселся Суворов, принялся есть. К солдатской пище фельдмаршал приучен. Ни супом, ни кашей не брезгует. Ест, наедается всласть.

— Ай да суп, славный суп! — нахваливает Суворов.

Улыбаются солдаты. Знают, что фельдмаршала на супе не проведешь: значит, и вправду суп хороший сварили.

Поел Суворов суп, взялся за кашу.

— Хороша каша, добрая каша!

Наелся Суворов, поблагодарил солдат, вернулся к своим генералам. Улегся фельдмаршал спать, уснул богатырским сном. А генералам не спится. Ворочаются с боку на бок. От голода мучаются. Ждут Лушку.

К утру Лушка не прибыл.

Поднял Суворов войска, двинулась армия в дальнейший поход. Едут генералы понурые, в животах бурчит — есть хочется. Промучались бедные до нового привала. А когда войска остановились, так сразу же за Суворовым к солдатским кострам: не помирать же от голода. Расселись, ждут не дождутся, когда же солдатская пища сварится.

Усмехнулся Суворов. Сам принялся раздавать генералам суп и кашу. Каждому дает, каждому выговаривает:

— Ешь, ешь, получай. Да впредь не брезгуй солдатским. Не брезгуй солдатским. Солдат — человек. Солдат мне себя дороже.

# ПРОШКА

Когда Прошка попал в денщики к Суворову, солдат немало обрадовался. «Повезло! — подумал.— Не надо будет рано вставать. Никаких ротных занятий, никакого режима. Благодать!»

Однако в первый же день Прошку постигло великое разочарование. В четыре часа утра кто-то затряс солдата за ногу.

Приоткрыл Прошка глаза, смотрит — Суворов.

— Вставай, добрый молодец,— говорит Суворов.— Долгий сон не товарищ богатырю русскому.

Оказывается, Суворов раньше всех подымался в армии.

Поднялся Прошка, а тут и еще одна неприятность. Приказал фельдмаршал притащить ведро холодной воды и стал обливаться.

Натирает Суворов себе и шею, и грудь, и спину, и руки. Смотрит Прошка, выпучив глаза,— вот так чудо!

— Ну, а ты что? — закричал Суворов. И приказал Прошке тоже облиться.

Ежится солдат с непривычки, вскрикивает от холода. А Суворов смеется.

— В здоровом теле дух,— говорит,— здоровый.— И снова смеется.

После обливания вывел Суворов Прошку на луг. Побежал фельдмаршал.

— Догоняй! — закричал солдату.

Полчаса вслед за Суворовым Прошка бегал. Солдат запыхался, в боку закололо. Зато Суворов хоть и стар, а словно с места не двигался. Стоит и снова смеется.

И началась у Прошки не жизнь, а страдание. То устроит Суворов осмотр оборонительным постам — и Прошка целые сутки в седле трясется, то учинит проверку ночным караулам — и Прошке снова не спать. А тут ко всему принялся Суворов изучать турецкий язык и Прошку заставил.

— Да зачем мне бусурманская речь? — запротивился было солдат.

— Как — зачем! — обозлился Суворов.— Турки войну готовят. С турками воевать.

Пришлось Прошке смириться. Засел он за турецкий букварь, потел, бедняга, до пятого пота.

Мечтал Прошка о тихом месте — не получилось. Хотел было назад попроситься в роту. Потом привык, привязался к фельдмаршалу и до конца своих дней честью и верой служил Суворову.

# НАСТОЯЩИЙ СОЛДАТ

Подошел как-то Суворов к солдату и сразу в упор:

— Сколько от Земли до Месяца?[1]

— Два суворовских перехода! — гаркнул солдат.

Фельдмаршал аж крякнул от неожиданности. Вот так ответ! Вот так солдат!

Любил Суворов, когда солдаты отвечали находчиво, без запинки. Приметил он молодца. Понравился фельдмаршалу солдатский ответ, однако и за себя стало обидно.

«Ну,— думает,— не может быть, чтобы я, Суворов, и вдруг не поставил солдата в тупик».

Встретил он через несколько дней находчивого солдата и снова в упор:

— Сколько звезд на небе?

— Сейчас, ваше сиятельство,— ответил солдат,— сочту,— и уставился в небо.

Ждал, ждал Суворов, продрог на ветру, а солдат, не торопясь, звезды считает.

Сплюнул Суворов с досады. Ушел. «Вот так солдат! — снова подумал.— Ну, уж на третий раз,— решил фельдмаршал,— я своего добьюсь: поставлю в тупик солдата».

Встретил солдата он в третий раз и снова с вопросом:

— Ну-ка, молодец, а скажи-ка мне, как звали мою прародительницу?

Доволен Суворов вопросом: откуда же знать простому солдату, как звали фельдмаршальскую бабку. Потер Суворов от удовольствия руки и только хотел сказать: «Ну, братец, попался!» — как вдруг солдат вытянулся во фрунт[2] и гаркнул:

— Виктория[3], ваше сиятельство.

— Вот и не Виктория! — обрадовался Суворов.

— Виктория, Виктория! — повторил солдат.— Как же так может быть, чтобы у нашего фельдмаршала и вдруг в прародительницах была не Виктория!

Опешил Суворов. Ну и ответ! Ну и хитрый солдат попался!

— Ну, раз ты такой хитрый,— произнес Суворов,— скажи мне, какая разница между твоим ротным командиром и мной?

— А та,— не раздумывая, ответил солдат,— что ротный командир хотя бы и желал произвести меня в сержанты, да не может, а вашему сиятельству стоит только захотеть, и я...

---

[1] Месяц — луна.

[2] Во фрунт — то есть стал по стойке «смирно».

[3] Виктория — победа.

*К стр. 22*

Что было делать Суворову? Пришлось ему произвести солдата в сержанты.

Возвращался Суворов в свою палатку и все восхищался:

— Помилуй бог, как провел! Вот это да! Вот это солдат! Настоящий солдат! Российский!

## СТОРОНИСЬ!

Суворов любил лихую езду. То ли верхом, то ли в возке, но непременно так, чтобы дух захватывало, чтобы ветер хлестал в лицо.

Дело было на севере. Как-то Суворов уселся в санки и вместе с Прошкой отправился в объезд крепостей. А в это время из Петербурга примчался курьер, важные бумаги привез Суворову. Осадил офицер разгоряченных коней у штабной избы, закричал:

— К фельдмаршалу срочно, к Суворову!

— Уехал Суворов,— объяснили курьеру.

— Куда?

— В крепость Озерную.

Примчался офицер в Озерную:

— Здесь Суворов?

— Уехал.

— Куда?

— В крепость Ликолу.

Примчался в Ликолу:

— Здесь Суворов?

— Уехал.

— Куда?

— В Кюмень-град.

Прискакал в Кюмень-град:

— Здесь Суворов?

— Уехал...

Уехать Суворов уехал, да застрял в пути. Один из коней захромал. Пришлось повернуть назад. Двигались шагом, едва тащились. Прошка сидел на козлах, дремал. Суворов нервничал, то и дело толкал денщика в спину, требовал погонять лошадей.

— Нельзя, нельзя, ваше сиятельство, конь в неисправности,— каждый раз одно и то же отвечал Прошка.

Притихнет Суворов, переждет и снова за Прошкину спину. Не сиделось фельдмаршалу, не хватало терпения тащиться обозной клячей. Проехали версты две, смотрит Суворов — тройка навстречу. Кони птицей летят по полю. Снег из-под копыт ядрами. Пар из лошадиных ноздрей трубой.

Суворов аж привстал от восторга. Смотрит — вместо кучера на козлах молодой офицер, вожжи в руках, нагайка за поясом, папаха на ухе, кудри по ветру усами плещут.

— Удалец! Ой, удалец! — не сдержал похвалы Суворов.

— Фельдъегерь, ваше сиятельство,— произнес Прошка.— Видать, не здешний, из Питера.

Смотрит Суворов, любуется. Дорога зимняя узкая, в один накат. Разъехаться трудно. А кони все ближе и ближе. Вот уже рядом. Вот уже и храп и саночный скрип у самого уха.

— Сторонись! — закричал офицер.

Прошка замешкал: не привык уступать дорогу.

— Сторонись! — повторил офицер, и в ту же минуту санки о санки — бух!

Вывалились Суворов и Прошка в снег, завязли по самый пояс.

Пронесся кучер, присвистнул, ветром помчался дальше.

Поднялся Прошка, смотрит обозленно фельдъегерю вслед, отряхивает снег, по-дурному ругается.

— Тише! — прикрикнул Суворов и снова любуется: — Удалец! Помилуй бог, какой удалец!

Три дня носился офицер по северной русской границе. Наконец разыскал Суворова.

— Бумаги из Питера, ваше сиятельство.

Принял Суворов бумаги, взглянул на фельдъегеря и вдруг снял со своей руки перстень и протянул офицеру.

— За что, ваше сиятельство?! — поразился курьер.

— За удаль!

Стоит офицер, понять не может. А Суворов опять:

— Бери, бери. Получай! За удаль. За русскую душу. За молодечество!

## ШТЫК

Как-то Суворов гостил у своего приятеля в Новгородской губернии. Вечерами друзья сидели дома, вспоминали старых товарищей, бои и походы. А днем Суворов отправлялся побродить по лесу, посмотреть на округу. Здесь в лесу, у старого дуба, он и встретил мальчика Саньку Выдрина.

— Ты, дяденька, солдат? — обратился Санька к Суворову.

— Солдат,— ответил фельдмаршал.

— Откуда идешь?

— С войны.

— Расскажи про Суворова.

Фельдмаршал сощурил глаза, хитро глянул на мальчика:

— Про какого это еще про Суворова?

— Не знаешь? Ну, про того, что с турками воевал. Что Измаил брал. Про фельдмаршала.

— Нет,— говорит Суворов,— не знаю.

— Какой же ты солдат,— усмехнулся Санька,— раз не знаешь Суворова! — Схватил мальчик палку, закричал по-суворовски: — Ура! За мной! Чудо-богатыри, вперед!

— Бегает Санька вокруг фельдмаршала, все норовит пырнуть Суворова палкой в живот.

«Вот так мальчишка!» — подивился Суворов. А самому приятно, что имя его и дела детям и тем известны.

Наконец Санька успокоился, сунул палку за пояс, проговорил:

— Дяденька, подари штык.

— Зачем тебе штык?

— В войну играть. Неприятеля бить.

— Помилуй бог! — воскликнул Суворов.— Так ведь нет у меня штыка.

— Не бреши, не бреши,— говорит Санька.— Не может так, чтобы солдат и — штыка не было.

— Видит бог, нет,— уверяет Суворов и разводит руками.

— А ты принеси,— не унимается Санька.

И до того пристал, что ничего другого Суворову не оставалось, как пообещать штык.

Прибежал на следующий день Санька в лес к старому дубу, прождал до самого вечера, да только «сóлдат» больше не появлялся.

«Брехливый! — ругнулся Санька.— Никудышный, видно, солдат».

А через несколько дней к Санькиной избе подскакал верховой, вызвал мальчика, передал сверток.

— От фельдмаршала Суворова,— проговорил.

Разинулся от неожиданности Санькин рот, да так и остался. Стоит мальчик, смотрит на сверток, не верит ни глазам своим, ни ушам. Да разве может такое статься, чтобы сам фельдмаршал к Саньке прислал посыльного!

Набежали к выдринской избе мужики и бабы, слетелись мальчишки, прискакал на одной ноге инвалид Качкин.

— Разворачивай! Разворачивай! — кричат мужики.

Развернул Санька дрожащими руками сверток — штык.

— Суворовский, непобедимый! — закричал Качкин.

— Господи, штык, настоящий! — перекрестились бабы.

— Покажи, покажи! — потянулись мальчишки.

К этому времени Санька пришел в себя. И рот закрылся. И руки дрожать перестали. Догадался. Рассказал он про встречу

в лесу отцу, матери, и ребятам, и Качкину, и всем мужикам и бабам.

Несколько лет во всех подробностях рассказывал Санька про встречу с Суворовым.

А штык?

Больше всего на свете Санька берег суворовский штык. Спать без штыка не ложился, чехол ему сшил, чистил, носил за собой как драгоценную ношу. А когда Санька вырос и стал солдатом, он вместе со штыком ушел на войну и по-суворовски бил неприятеля.

## ПУДРА — НЕ ПОРОХ

Император Павел Первый принялся вводить новые порядки в армии. Не нравилось императору все русское, любил он все иностранное, больше всего немецкое. Вот и решил Павел на прусский, то есть немецкий, манер перестроить российскую армию. Солдат заставили носить длинные косы, на виски наклеивать войлочные букли, пудрить мукой волосы. Взглянешь на такого солдата — чучело, а не русский солдат.

Принялись солдат обучать не стрельбе из ружей и штыковому бою, а умению ходить на парадах, четко отбивать шаг, ловко поворачиваться на каблуках.

Суворов возненавидел новые порядки и часто дурно о них отзывался.

«Русские прусских всегда бивали, чему же у них учиться?» — говорил фельдмаршал.

Однажды Павел Первый пригласил Суворова на парад. Шли на параде прославленные русские полки. Глянул Суворов и не узнал своих чудо-богатырей. Нет ни удали. Нет ни геройства. Идут солдаты, как заводные. Только стук-стук каблуками о мостовую. Только хлесть-хлесть косами по спине. А император доволен. Стоит, говорит Суворову:

— Гляди, гляди, еще немного — и совсем не хуже немецких будут.

Скривился Суворов от этих слов, передернулся.

— Радость, ваше величество, невелика,— ответил.— Русские прусских всегда бивали. Чему же здесь радоваться?

Император смолчал. Только гневный взор метнул на фельдмаршала. Постоял молча, а затем снова к Суворову:

— Да ты смотри, смотри — косы какие! А букли, букли! Какие букли!

— Букли,— буркнул фельдмаршал.

Император не выдержал. Повернулся к Суворову, ткнул на

до сих пор не смененную фельдмаршалом старую русскую форму, закричал:

— Заменить! Немедля! Повелеваю!

Тут-то Суворов и произнес свою знаменитую фразу:

— Пудра — не порох, букли — не пушки, коса — не тесак, а я не немец, ваше величество, а природный русак! — и уехал с парада.

Павел разгневался и отправил упрямого старика в ссылку в село Кончанское.

## САЛО

Высоки Альпийские горы. Здесь крутые обрывы и глубокие пропасти. Здесь неприступные скалы и шумные водопады. Здесь вершины покрыты снегом и дуют суровые леденящие ветры.

Через Альпийские горы, через пропасти и стремнины вел в последний поход своих чудо-солдат Суворов.

Вьюга. Снегопад. Непогода. Путь дальний, неведанный. Горы. Идут солдаты, скользят, срываются в пропасти. Тащат тяжелые пушки, несут поотмороженных и хворых своих товарищей. А кругом неприятель. Пройдут солдаты версту — бой. Пройдут еще несколько — бой.

Пробивается русская армия сквозь горы и неприятеля. Совершает Альпийский поход.

Голодно солдатам в походе. Сухари от ненастной погоды размокли и сгнили. Швейцарские селения редки и бедны. Ели лошадей, копали коренья в долинах. А когда кончились коренья и лошади, взялись за конские шкуры.

Исхудали, изголодались вконец солдаты. Затянули ремни на последние дырки. Идут, вздыхают, вспоминают, как пахнут щи, как тает на зубах каша.

— Хоть бы каравай хлеба! — вздыхают солдаты.— Хоть бы сала кусок!

И вдруг в какой-то горной избе солдаты и впрямь раздобыли кусок настоящего сала. Кусок маленький, размером с ладошку. Обступили его солдаты. Глаза блестят, ноздри раздуваются.

Решили солдаты сало делить и вдруг призадумались: как же его делить — тут впору одному бы наесться.

Зашумели солдаты.

— Давай по жребию,— предлагает один.

— Пусть съест тот, кто нашел первым,— возражает второй.

— Нет, так — чтоб каждому, каждому! — кричит третий.

Спорят солдаты.

И вдруг кто-то произнес:

— Братцы, а я думаю так: отдадим-ка сало Суворову.

— Правильно! Суворову! Суворову! — понеслись голоса.

Позвали солдаты суворовского денщика Прошку, отдали ему сало, наказали вручить фельдмаршалу.

Довольны солдаты. И Прошка доволен. Стал прикидывать, надолго ли сала хватит. Решил: если отрезать в день кусок толщиной с палец, как раз на неделю получится.

Явился Прошка к Суворову.

— Сало? — подивился тот.— Откуда такое?

Прошка и рассказал про солдат. Мол, солдатский гостинец.

— Дети, богатыри! — прослезился Суворов. Потом повернулся к Прошке и вдруг закричал: — Да как ты взял! Да как ты посмел! Солдатам конские шкуры, а мне сало...

— Так на то они и солдаты,— стал оправдываться Прошка.

— Что — солдаты?..— не утихает Суворов.— Солдат мне дороже себя. Немедля ступай, верни сало. Да спасибо скажи. В ноги поклонись солдатам.

— Так они же сами прислали,— упирается Прошка.— Да что для них сало с ладонь! Тут лизнуть каждому мало. Вон их сколько, а сала как раз на одну персону.

Глянул Суворов на сало. Правда, кусок невелик.

— Хорошо,— согласился Суворов.— Ступай тогда в санитарную палатку, отнеси раненым.

Однако Прошка снова уперся:

— Раненым? Куда им сало? Да им помирать пора!

— Бесстыжая душа твоя! — заревел Суворов и потянулся за плеткой.

Понял Прошка, что дело может дурным кончиться. Подхватил сало и помчался к санитарной палатке.

На следующий день солдаты повстречали Прошку.

— Ну, как сало? — спрашивают.— Ел ли фельдмаршал? Что говорил?

Только Прошка собрался открыть рот, а тут рядом появился Суворов.

— Детушки! — произнес.— Богатыри! Отменное сало. С детства не едал такого. Стариковское вам спасибо! — и низко поклонился солдатам.

У Прошки от удивления глаза на лоб. А солдаты заулыбались, отдали фельдмаршалу честь, повернулись и направились к себе в роту.

— Понравилось,— перешептывались они по пути.— Вон как благодарил... Сало — оно такая вещь, что и фельдмаршалу не помешает.

# «В И Ж У!»

Закончив арьергардный бой с противником и подобрав раненых, рота капитана Лукова догоняла своих.

Идут солдаты по узкой тропе над самым обрывом пропасти, растянулись почти на версту.

— Не отставай, не отставай! — кричит Луков.— Раненых вперед!

Перетащили раненых.

Прошла рота версты две. Стемнело. Задул ветер. Начался снег. Взыграла, закружила метель.

Идут солдаты час, идут два, идут три. Всматривается капитан Луков вперед — не видать ли походных костров. Кругом кромешная темнота. Слепит вьюга глаза. Треплет упругий ветер солдатские сюртуки и накидки, задувает снежные иглы под воротники и рубахи, морозит руки и лица. Идут, спотыкаются, скользят в темноте солдаты. С трудом передвигают одеревеневшие ноги. Все тише и тише солдатский шаг.

— Не отставай! Не отставай! — кричит Луков.

Прошел еще час. И вот уже кончились силы солдатские. Остановились. Хоть убей — не пойдем дальше. Повалились солдаты на камни.

— Вперед! Вперед! — надрывает голос Луков.

Да только нет такой силы, чтобы снова подняла солдатские ноги в поход. Изнемог Луков, посмотрел еще раз в темноту — не видно костров, опустился и сам на камни. И вдруг:

— Вижу! Вижу!

Встрепенулся капитан. Встрепенулись солдаты. Смотрят: с носилок привстал раненый солдат Иван Кожин и тычет рукой вперед.

— Видит! Видит! — понеслось по цепи.

И откуда только сила взялась. Повскакали солдаты с камней. Подхватили ружья — и снова в дорогу. Повеселели солдаты. Ай да Кожин! Ай да глазастый!

Прошли солдаты с версту. Только что-то огней не видно. Те, что поближе к Кожину, стали шуметь:

— Где твои костры? Соврал?

— Вижу! Вижу! — по-прежнему кричит Кожин и тычет пальцем вперед.

Всматриваются солдаты — ничего не видят. Не видят, а все же идут. Кто его знает, может, и вправду Кожин такой глазастый.

Прошли еще около версты. А все же костров не видно И снова стали роптать солдаты:

— Не пойдем дальше!

— Не верьте ему!

— Братцы! — кричит Кожин.— Вижу. Ей-богу, вижу! Теперь уже совсем недалеко. Теперь рядом. Вон как полыхают,— и снова тычет пальцем вперед.

Бранятся, ропщут солдаты, а все же идут.

Тропа огибала какой-то выступ. Завернули солдаты за скалу, и вдруг внизу, совсем рядом, сквозь метель и непогоду и впрямь заблестели огни.

Остановились солдаты, не верят своим глазам.

— Видишь? — переспрашивают друг у друга.

— Вижу!

— Вижу!

— Вижу!

— Ай да Кожин! Ай да молодец! Ай да глазастый! — кричат солдаты.— Первым увидел. Ура Кожину!

Сорвались солдаты с мест и рысцой вниз к кострам, к теплу, к боевым товарищам.

Притащили и носилки с Иваном.

— К огню его, к огню,— кричат.— Пусть отогревается. Заслужил! Всех выручил!

Осветило пламя Иваново лицо. Глянули солдаты и замерли. Лицо обожжено. Брови спалены. А на месте глаз...

— Братцы, да он же слепой! — прошептал кто-то.

Смотрят солдаты. Там, где глаза, у Кожина пусто. Выбило вчера в арьергардном бою французской гранатой глаза солдатские.

## ГЕНЕРАЛАМ ГЕНЕРАЛ

За Альпийский поход Суворову был присвоен чин генералиссимуса русских войск.

Возвращаясь с группой солдат на родину, фельдмаршал остановился передохнуть в пограничном трактире. Зашел в избу, заказал себе холодной телятины, миску гречневой каши.

— Ну и каша, дельная каша! — нахваливает Суворов.— Давно такой не едал.

Около избы расселись солдаты. Тоже едят кашу, нахваливают.

— Хороша каша,— хвалят солдаты.— Сладкая, вкусная!

И лишь один Прошка крутился около лошадей. Его и обступили местные мужики.

— Что же это за такой непонятный чин теперь у твоего барина? — стали спрашивать они у суворовского денщика.

— А чего тут непонятное? — отвечал Прошка.— Тут все

ясное. Генералиссимус надо разуметь так: генералам всем генерал. Самой главной персоной теперь получается.

— Ты смотри! — произнес парень в онучах.

— А что, верно! — вставил хилый мужичонка в драных портках.

— Заслужил,— согласился мужик с бородой.

А Суворов в это время стоял на крыльце и все слышал.

— Не я! Не я! — закричал он с порога.— Не я,— повторил, подойдя к мужикам.— Вон Прошка мой самый главный. Вон тот,— ткнул в сторону рябого высоченного солдата.— Вот этот,— показал на приземистого седоусого капрала.— Вон они,— обвел рукой остальных солдат.

При этих словах Суворов сел в таратайку и приказал погонять лошадей.

Поднялись, двинулись в путь солдаты. Заклубилась дорожная пыль. Грянула солдатская песня.

Остались мужики на дороге. Стоят, недоумевающе смотрят вслед.

— Пошутил барин,— наконец обронил парень в онучах.

— Чудное что-то сказал,— произнес хилый мужичонка.

— Эх, вы! — заявил мужик с бородой.— Правду сказал фельдмаршал. Без солдата они никуда. В народе — русская сила. Он и есть генералам генерал настоящий.

## СЛАВА

Генерал князь Барохвостов завидовал суворовской славе. Вот однажды он и спрашивает у одного из солдат:

— Скажи мне, братец, почему Суворова в армии любят?

— Это потому, ваше сиятельство,— отвечает солдат,— что Суворов солдатскую пищу ест.

Стал Барохвостов есть так же, как и Суворов, щи и солдатскую кашу. Кривится, но ест. Хочется, видать, генералу суворовской славы.

Прошло несколько дней, но славы у Барохвостова не прибавилось. Он опять спрашивает у солдата:

— Что же это слава у меня не растет?

— Это потому, ваше сиятельство,— отвечает солдат,— что Суворов не только ест щи и кашу, но и спит по-солдатски.

Стал и Барохвостов спать по-солдатски — на жестком сене в простой палатке. Натирает генерал изнеженные бока, мерзнет от холода, но терпит. Уж больно ему хочется суворовской славы.

Прошло еще несколько дней, а генеральская слава все не растет. И снова он вызвал солдата:

— Говори, какой еще секрет у Суворова?

— А тот,— отвечает солдат,— что фельдмаршал войска уважает.

Принялся и князь Барохвостов уважать своих подчиненных, ласковые слова говорить солдатам.

Но и теперь генеральской славы не прибавляется. Смотрят на него солдаты, промеж себя усмехаются. Всего-то и только.

Стал злиться тогда генерал. Снова кликнул солдата-советчика.

— Как же так,— возмущается князь Барохвостов.— Щи и кашу ем, сплю на соломе, ласковые слова говорю солдатам — почему же слава ко мне не идет?!

— Это потому, ваше сиятельство,— отвечает солдат,— что и это еще не все.

— Что же еще? Какие еще такие секреты у Суворова!

— А те,— отвечает солдат,— что Суворов умеет бить неприятеля по-суворовски.

Только как-то с этим у Барохвостова не получалось.

Поэтому и не пришла к нему слава, поэтому и помер он в неизвестности.

А слава о Суворове осталась в веках. И каждый Суворова знает.

# БОГАТЫРСКАЯ СИЛА

## ИДУТ ПО МОСТУ СОЛДАТЫ

1812 год. Лето. Мост через реку Неман. Граница России. Колонна за колонной, полк за полком идут по мосту солдаты. Слышна непонятная речь. Французы, австрийцы, пруссаки, саксонцы, итальянцы, швейцарцы. Жители Гамбурга, жители Бремена, голландцы, бельгийцы, испанцы. Идут по мосту солдаты.

— Императору вива!

— Франции вива!

— Слава, слава, слава! — несется со всех сторон.

Наполеон сидит верхом на рослом арабском коне, смотрит на переправу. Задумчив император французов. Треугольная шляпа надвинута низко на лоб. Мундир застегнут до самого верха. У глаз собрались морщинки.

Сзади, образовав полукруг, в почтительном молчании замерла свита. Слышно, как в утреннем небе прожужжал деловито шмель.

Неожиданно Наполеон поворачивается к одному из своих приближенных. Это генерал Коленкур.

— Вы не француз! — кричит император.

Коленкур не отвечает.

— Вы не француз! — с еще большим озлоблением выкрикивает Наполеон.

Дерзкие слова произнес Коленкур вчера на военном совете. Единственный из всех маршалов и генералов он был против похода в Россию:

— Это дорога в ад.

— В моем лагере русские, русские! — кричал Наполеон, показывая на Коленкура.

Вот и сегодня он не может спокойно смотреть на генерала:

— Отрастите русскую бороду,— издевается Наполеон.— Наденьте армяк и лапти.

Из-за недалекого леса подымается солнце. Глянул маленький пламенеющий бугорок, ожег синеву, затем, словно кто-то в русской печке открыл заслонку, брызнул огненный полукруг, и вот уже ослепительный, пылающий шар пожаром вкатился в небо.

Наполеон привстал в стременах:

— Вот оно, солнце Аустерлица![1]

---

[1] В Австрии под городом Аустерлицем Наполеон одержал одну из наиболее значительных своих побед.

— Императору слава!
— Франции слава!
— Вива, вива, вива! — несется со всех сторон.

Красные, желтые, синие — мелькают кругом мундиры. Цвета неба, цвета пепла, цвета лесной травы. Очумело бьют барабаны. Надрываются армейские трубы и дудки. Слышится топот солдатских ног.

Идут по мосту солдаты. Час, второй, третий. День, второй, третий. Идут по мосту солдаты. На погибель свою идут.

## СКАЗКА СТАРОГО КАПРАЛА

Верста за верстой, верста за верстой отступают, отходят русские. Идут они полем, идут они лесом, через реки, болота, по холмам, по низинам, по оврагам идут. Отступает русское войско.

Нет у русских достаточных сил.

Ропщут солдаты:

— Что мы — зайцы трусливые!
— Что в нас — кровь лягушиная!
— Где это видано: россиянин — спиной к неприятелю!

Рвутся солдаты в бой.

Русских армии две. Одна отступает на Вильну, на Дриссу, на Полоцк. Командует ею генерал Барклай-де-Толли. Вторая отходит южнее. От города Гродно на Слуцк, на Бобруйск. Старшим здесь генерал Багратион.

У Наполеона войск почти в три раза больше, чем у Барклая и Багратиона, вместе взятых. Не дают французы русским возможности соединиться, хотят разбить по частям.

Понимают русские генералы, что нет пока сил у русских справиться с грозным врагом. Сберегают войска и людей. Отводят свои полки.

— Э-эх, да что же оно творится?! — вздыхают солдаты.
— Пропала солдатская честь!

Шагает вместе со всеми старый капрал, смотрит он на своих товарищей:

— Хотите, сказку скажу?
— Сказывай.

Собрались на привале солдаты в кружок, расселись, притихли.

— Давно ли то было, недавно,— начал капрал,— дело не в том. Только встретил как-то в лесу серый волк лосенка. Защелкал злодей зубами:

«Лосенок, лосенок, я тебя съем».

«Подожди, серый волк,— говорит лосенок.— Я же только на свет народился. Дай подрасту».

Согласился лесной разбойник. Пусть погуляет телок, пусть наберется мясом.

Долго ли, скоро ли время шло — дело не в том. Только опять повстречал серый волк лосенка. Смотрит — подрос за это время телок. Рожки пробились. Копытца окрепли. Не телок перед волком — подросток лось. Защелкал злодей зубами:

«Лось, лось, я тебя съем».

«Хорошо, серый волк,— отвечает лось.— Только дай попрощаться с родимым краем».

«Прощайся»,— ответил волк.

Пошел молодой лось по родному краю, по полям, по лесам, по дубравам. Ступает он по родной земле, силу в себя вбирает. И волк по следу бежит. Притомился в пути разбойник: шерсть отлетает, ребра ввалились, язык как чужой, из пасти наружу лезет.

«Стой, стой!» — голосит злодей.

Долго ли, скоро ли время шло — дело не в том. Только остановился однажды лось. Повернулся навстречу волку. Глянул тот, а это не просто лось: стоит перед ним сохатый. Защелкал серый зубами:

«Сохатый, сохатый, я тебя съем».

Усмехнулся лесной красавец:

«Давай подходи».

Бросился волк вперед. Да только силы теперь не те. Лосенок теперь не тот. Поднялся богатырь на задние ноги, ударил волка пудовым копытом, поднял на рога и об землю — хлоп! Кончился серый.

Капрал замолчал.

Задумались над сказкой солдаты.

— Видать, неглупый телок попался.

— В сохатого вырос!

— Э, постой, да в сказке твоей намек.

— К отходу, к отходу! — прошла команда.

Вскочили солдаты. Построились в ряд. Подняли солдатские головы. По полям, по лесам, по дубравам, по низинам идут солдаты. Не по чужой, по родимой земле идут.

## «ГДЕ ЖЕ ОНИ, ГЕРОИ?»

Соединились русские армии под Смоленском, приняли бой.

Два дня французы штурмуют город.

Атака. Снова атака.

Атака. Снова атака.

Топот солдатских ног. Пушек звериный рев. Груды людей побитых.

Рвутся солдаты навстречу французам. Не ожидая команд, ударяют в штыки. Безрассудны герои. Картечь так картечь. Гранаты — пусть будут гранаты. Нет страха в солдатских душах. Один на роту французов лезет. Двое — на целый полк.

Бьются рядом полки: Сибирский, Волынский, Уфимский.

Бьются другие полки и роты. Не уступают в геройстве сосед соседу.

Солдат из симбирцев Егор Пинаев ранен штыком в ключицу. Брызжет по телу кровь. Не слышит Пинаев боли:

— В атаку! В атаку!

Оторвало волынцу Петру Занозе гранатой ухо. Вытер Заноза кровь, шуткой других забавляет:

— Муха не птица, овца не волчица, ухо не голова.

Уфимцу Рассаде перебило картечью ноги. Рухнул на землю солдат. Лежа целит, в врага стреляет:

— Братцы, вперед!

Бьются герои. Льется потоками кровь.

К исходу второго дня от страшной вражеской канонады загорелся город Смоленск.

Пламя рванулось к небу. Рассыпались в разные стороны тысячи искр. Дым повалил по улицам, повис над Днепром туманами. С треском рушатся здания. Нечем дышать от гарева. Негде укрыться от палева. Бушует, мечется огненный водоворот, идет по холмам смоленским.

Бьются симбирцы, волынцы, уфимцы. Бьются другие полки и роты. Неведом героям страх.

Подходят на помощь французам все новые и новые части. Понимает Барклай-де-Толли — не осилить французов русским, ночью отдал приказ отойти войскам.

Снялись полки с позиций, бесшумно ушли за Днепр. Меряют новые версты.

Шагает в строю Пинаев. Шагает в строю Заноза. Везут на возу Рассаду.

Проходят симбирцы, волынцы, уфимцы. Проходят другие полки и роты.

Проезжает вдоль войск генерал Барклай-де-Толли:

— Слава героям!

Переглядываются солдаты:

«Кому это Барклай-де-Толли кричит привет?»

— Видать, волынцам,— решают симбирцы.

— Видать, уфимцам,— решают волынцы.

— Видать, симбирцам,— решают уфимцы.
Озираются солдаты по сторонам:
— Где же они, герои?

## ВОЕННЫЙ МАНЕВР

Нелегкая жизнь досталась Кутузову. Нелегкая, зато славная.

В 1812 году Михаилу Илларионовичу Кутузову исполнилось 67 лет. Много всего позади. Не счесть боев и походов. Крым и Дунай, поля Австрии, Измаильские грозные стены. Бой под Алуштой, осада Очакова, у Кагула упорный бой.

Трижды Кутузов был тяжело ранен. Дважды в голову, раз в щеку. В одном из сражений Кутузову выбило правый глаз.

Пора бы уже в отставку, на стариковский покой, так ведь нет — помнит народ Кутузова. Вот и сейчас. Собирайся, мол, старый конь. Кутузов едет к войскам. Новый главнокомандующий едет.

Рады солдаты. «Едет Кутузов бить французов»,— идет по солдатским рядам.

Бегут рысаки по дороге. Солнце стоит в зените. Мирно гудят стрекозы. Ветер ласкает травы.

Едет Кутузов, сам с собой рассуждает: «Плохи, плохи наши дела. Нехорошо, когда армия отступает. Непривычно для русских солдат этакое. Орлы! Да ведь силы наши пока слабы. Армию сберегать надо. Смерть без армии государству Российскому. Но и солдат понимать нужно. Душу русскую понимать».

Прибыл Кутузов к войскам.

— Ура! — кричат главнокомандующему солдаты.— Веди нас, батюшка, в бой. Утомились, заждались.

— Правда ваша, правда,— отвечает Кутузов.— Пора унять супостата.

Довольны солдаты, перемигиваются: вот он, настоящий боевой генерал.

— Что мы — не русские? — продолжает Кутузов.— Что нам, в силе господь отказал? Что нам; храбрости не хватает? Сколько же нам отступать!

— Вот это слова!

— Ура генералу Кутузову!

Довольны солдаты. «Ну, братцы,— ни шагу назад. Не сегодня-завтра решительный бой».

Спокойно заснули солдаты. Пробудились на следующий день, им объявляют первый приказ Кутузова. В приказе черным по белому значится — продолжать отступление.

Зароптали солдаты:

— А бой!

— Что-то непонятное,— разводят они руками.

— Может, приказ от старых времен остался?

Увидели солдаты Кутузова:

— Ваша светлость, так что же, опять отступление?

Посмотрел на солдат Кутузов, хитро прищурил свой единственный глаз:

— Кто сказал отступление? Сие есть военный маневр!

## НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ

Кутузов читал письмо:

«Милостивый государь, батюшка Михаил Илларионович!..»

Письмо было от старого друга-генерала, ныне уже вышедшего в отставку. Генерал вспоминал многолетнюю службу с Кутузовым, былые походы. Поздравлял с назначением на пост главнокомандующего. Желал новых успехов. Но главное, ради чего писалось письмо, было в самом конце. Речь шла о генеральском сыне, молодом офицере Гришеньке. Генерал просил Кутузова в память о старой дружбе пригреть Гришеньку, взять в штаб, а лучше всего — в адъютанты.

— Да-а,— вздохнул Кутузов.— Не с этого мы начинали. Видать, молодежь не та уже нынче. Все ищут, где бы теплее, где жизнь поскорее. Все в штаб да в штаб, нет бы на поле боя.

Однако дружба есть дружба. Генерал был боевым, заслуженным. Кутузов его уважал и решил исполнить отцовскую просьбу.

Через несколько дней Гришенька прибыл.

Смотрит Кутузов — стоит перед ним птенец. Не офицер, а мальчишка. Ростом Кутузову едва до плеча. Худ, как тростинка. На губах пух, ни разу не тронутый бритвой.

Даже смешно стало Кутузову. «Да, не та пошла молодежь, офицерство теперь не то. Хлипкость в душе и теле».

Расспросил Кутузов Гришеньку об отце, вспомнил о матушке.

— Ну ладно, ступай. Исполнил я просьбу Петра Никодимыча — шей адъютантский наряд.

Однако офицер не уходит:

— Ваша светлость!

Кутузов нахмурился. Понял, что молодой офицер начнет благодарить.

— Ступай, ступай!

— Ваша светлость!..— опять начинает Гришенька.

Кутузов поморщился: «Эка какой прилипчивый».

— Ну что тебе?

— Михаил Илларионович, мне бы в полк... Мне бы в армию к князю Петру Багратиону,— пролепетал Гришенька.

Развеселился от этого вдруг Кутузов. Смотрит на малый рост офицера, на пух, что вместо усов над верхней губой: «Дите, как есть дите». Жалко стало юнца Кутузову. Куда же посылать такого птенца под пули...

— Не могу, не могу,— говорит.— Батюшке твоему другое обещано.

Дрогнули у офицера губы. Ну, право, вот-вот расплачется.

— Не могу,— повторил Кутузов.— Да куда тебе в полк! Тебя-то и солдаты в бою не приметят.

Обиделся офицер:

— Так и Суворов ведь был не саженного роста.

Кутузов удивленно поднял глаза. Понял он, что Гришенька не из тех, кто за отцовскую спину лезет. Подошел фельдмаршал к офицеру, расцеловал.

— Ладно, ладно. Вот и батюшка твой, бывало...— Кутузов не договорил: стариковская слеза подступила к глазу.

Постояли они минуту.

— Ступай,— махнул рукой наконец Кутузов.— Быть посему: лети, крылатый, своей дорогой.

Гришенька вытянулся, ловко повернулся на каблуках, вышел. А Кутузов долго и задумчиво смотрел ему вслед. Затем он потребовал лист бумаги и принялся писать старому генералу.

«Милостивый государь, батюшка Петр Никодимович!

Радость господь послал мне великую. Прибыл твой Гришенька. И сдавалось мне, что сие не новый побег, а юность наша с тобой явилась. Спасибо тебе за такой сюрприз. Уповаю видеть его в героях...»

Потом подумал и приписал:

«Просьбу твою исполнил. Отныне Гришенька у меня на самом приметном месте: при душе моей в адъютантах...»

Получив письмо, старый генерал долго ломал голову: «При душе — как же это понять? Эх, приотстал я в военном деле: видать, при главнокомандующем новую должность ввели».

## У ГЖАТСКА

У города Гжатска солдаты хоронили погибших товарищей. Вырыли большую могилу. Место выбрали на вышине, на холме у трех сосен.

Глянешь отсюда налево — речки-певуньи крутой изгиб. Глянешь направо — бежит дорога. Посмотришь вперед — поля и поля, необъятная даль России.

Спите спокойно, герои.

Перенесли солдаты погибших на холм, положили у края могилы. Ждут армейского батюшку для отпевания.

Лежат, как в строю, убитые. Только глаза закрыты. Руки у всех на груди. Разные лица: молодые и старые, тощие, полные, усатые, с пухом на месте усов, с густыми бровями, с редкими, а вот и совсем безбровый, широкой лопатой скулы.

— Так это ж татарин!

Смотрят солдаты, как же им быть — татарин другой, не христьянской веры. Какое ж ему отпевание? Как бы, того, не покарал бы господь за такое дело.

Сгрудились, перешептываются между собой солдаты. Погиб за Россию. Хоть и не христьянская, а тоже солдатская кровь. Нет, нельзя, не по-христьянски его в сторонку. Пусть остается со всеми.

Явился батюшка, вынул кадило, пригладил свою поповскую бороду, приготовился. Только хотел начинать отпевание, видит — лежит татарин.

Нахмурился батюшка.

— Убрать!

Не шевелятся солдаты.

— Убрать,— повторил священник.

— Ваше преподобие,— полезли солдаты,— пусть остается. Он же солдат. Господь не осудит.

Перекосилось от слов подобных лицо священника. Скула с бородой отвалилась, открылся и замер, словно в распорках, рот.

— Богохульники! — заревел батюшка.— Христопродавцы! Кайтесь, кайтесь святым угодникам!..

Переглянулись солдаты: не речи, а гром. Хотели они идти на попятную. Да что-то их удержало. Братство, видать, солдатское.

В это время холмом, мимо трех сосен, ехал Кутузов. Видит: священник, могила, лежат убитые. Снял Кутузов фуражку, слез с лошади, перекрестился:

— В чем дело, ваше преподобие?

Объяснил священник, в чем дело. Посмотрел Кутузов на побитых солдат, на татарина, посмотрел на живых солдат, обратился к священнику:

— А нельзя ли солдат уважить?

— Ваша светлость, побойтесь бога!..

— Ладно, ладно,— поморщился главнокомандующий. Глянул опять на солдат, опять на священника, показал на кадило.— Дай-ка сию вещицу.

Поп растерялся и отдал.

Кутузов взял и сам замахал кадилом.

# ПРОВАЛИЛАСЬ, КАК В ТОПЬ, ТИШИНА

Подымись на колокольню церкви, что стоит в самом центре села Бородино. Осмотрись внимательно по сторонам.

Здесь на огромном, огромном, изрытом оврагами поле 7 сентября 1812 года вскипела бессмертная битва. Великая слава России крепла на этих полях. Далекие прадеды наши завещали ее потомкам. Поклонись великому полю. Поклонись великому мужеству.

Помни!

Знай!

Не забудь!

Перед зарею, еще в темноте, никому не сказав ни слова, Кутузов сел на коня и, не доезжая версты полторы до Бородина, остановился на холме у небольшой деревеньки Горки. Он еще с вечера облюбовал это место. Тут во время боя будет ставка Кутузова.

Где-то вправо уходила речка Колоча, образуя развилку с Москвой-рекою. Здесь начинался правый фланг русских позиций. Затем линия русских полков пересекала новую Смоленскую дорогу и уходила без малого на целых семь верст далеко налево, где за Семеновским ручьем и селом Семеновским, у старой Смоленской дороги, лежала деревня Утицы.

В нескольких местах на возвышениях стояли русские батареи. Одной из них, той, что называлась Курганової, суждено было стать главным местом Бородинской битвы.

Это знаменитая батарея Раевского. Левее ее, за селом Семеновским, были вырыты флеши — окопы углом к противнику. Это знаменитые Багратионовы флеши.

Правый фланг русских войск занимала армия Барклая-де-Толли. Левый — армия, которой командовал Багратион.

В нескольких верстах от основных сил в низинах и перелесках были укрыты резервные полки, казаки и кавалеристы.

Темно. Молча сидит на коне Кутузов. Не столько видит, сколько по свету догорающих бивачных костров угадывает расположение войск противника. Не столько слышит, сколько острым чутьем бывалого воина улавливает передвижения в неприятельском лагере.

Не торопясь, Кутузов слезает с коня. Трудно ему без помощи. Стар, телом грузен. Не вернешь молодые годы.

Кряхтя, главнокомандующий становится на колени, нагибается, прикладывает ухо к земле. Проверяет свои догадки. Гулко отдает земля в ночной тишине. Без ошибки, как музыкант, определяет Кутузов малейшие звуки.

Затем он подымается. Снова садится верхом на коня. И снова смотрит и смотрит в ночную даль.

На востоке проглянула первая полоска зари. Грачи завозились на ветлах. Конь под Кутузовым дернул траву копытом, тихо заржал. Подскакали обеспокоенные адъютанты, генералы из кутузовской свиты, офицеры из штаба. Окружили они Кутузова.

Все светлее, светлее восток. Округа с холма словно в твоей ладони. Притихло, замерло все. Недвижимы войска. Немота над полями. Лишь тучки над лесом крадутся кошачьим шагом.

И вдруг рванули раскаты пушки. Провалилась, как в топь, тишина. Ударил час Бородинской битвы.

## ГДЕ ИСКАТЬ БАГРАТИОНА?

Размещая войска перед битвой, на левый фланг Кутузов поставил армию Багратиона. Место здесь самое опасное. Подходы открытые. Понимает Кутузов, что тут французы начнут атаку.

— Не мало ли войска у князя Петра? — заволновался кто-то из штабных генералов.

— Там же Багратион,— ответил Кутузов.— Это удвоит силы.

Как и думал Кутузов, Наполеон действительно ударил на левый фланг. Взять Багратионовы флеши, а потом уже бросить войска на центр — таков план императора.

130 французских пушек открыли огонь. Три кавалерийских корпуса ринулись к флешам. Десятки пехотных полков смешались на малом месте. Лучшие маршалы Франции Ней, Даву и Мюрат лично ведут атаку.

— Это на одного генерала и столько-то маршалов,— шутят в русских войсках.

— Князю Багратиону хоть пять давай!

— Держись, не робей, ребята!

За атакой идет атака. Страха не знают французы. Лезет на флеши вместо убитых новых героев ряд.

— Браво, браво! — кричит Багратион. Не может сдержать похвалы героям.

Но и русские сшиты не ржавой иглой. Не меньше у русских отваги. Сошлись две стены. Бьются герой с героем. Не уступает смельчак смельчаку. Словно коса и камень. Русские ни шагу назад, французы ни шагу вперед. Лишь курганы растут из солдат побитых.

Не стихает у флешей бой. Солнце уже высоко. Не сдаются упрямые флеши.

Негодует Наполеон. Срывается план императорский.

Посылает он двести, триста, четыреста пушек. Грозен приказ императора:

— Все силы на левый фланг!

Бросаются в битву новые силы.

— Ну как, отступил Багратион?

— Нет, ваше величество.

Скачут от Кутузова к Багратиону посыльные. Везут приказы, наказы, распоряжения. Трудно в бою разыскать генерала. Багратион не сидит на месте.

— Не генерал я, а первый солдат,— любит он шуткой ответить.

Ищут курьеры князя Петра.

— Тут он,— решают.

— Генерал вон там,— посылают курьеров в другое место.

Прискачут туда посыльные.

— Был, да отбыл,— слышат в ответ.

Скачут дальше курьеры. И опять без удачи. Теряют посыльные драгоценное время. Пот у коней проступает.

И лишь один офицер Воейков, как только получит приказ от Кутузова, сразу же Багратиона находит.

Завидно другим посыльным. «Эка удачлив какой Воейков». Стали они у него допытывать, как это он без ошибки знает, куда скакать.

— Очень просто,— отвечает Воейков.— Князь Петр Иванович Багратион самолично мне в том помогает.

Обижаются офицеры. Понимают, что шутит Воейков:

— Ты головы нам не мути. Глупыми нас не считай. Признавайся, какой у тебя секрет.

Рассмеялся Воейков.

— Секрет? Вот он, секрет,— показал рукой в сторону Багратионовой армии.

Смотрят курьеры. Ничего необычного там не видят. Армия как армия. Бой как бой. Стрельба. Дым. Штыковые атаки. В стонах земля содрогается.

— Зорче, зорче глядите! — кричит Воейков.— Где самое жаркое место?

Нашли офицеры.

— Вон там,— тычут поспешно пальцами.

— Туда и скачите,— ответил Воейков.— Там мой секрет. В самом пекле Багратиона ищите. Будет всегда удача.

# БОГАТЫРСКАЯ СИЛА

Батарея поручика Жабрина срочно меняла позиции. Впрягли солдаты коней, торопятся к новому месту. Полки генерала Милорадовича пошли в наступление. Срочно нужна подмога.

— Живей, живей! — командует Жабрин.— Душу вам наизнанку... Кому говорят: живей!

Дорога лежала местом недавней схватки. Спустились кони в низинку. Все поле завалено трупами. Русские, французы лежат вповалку. Крест-накрест, один на другом. Словно бы вовсе не люди, а кто-то кули разбросал по полю. Остановились солдаты.

— О господи!

Глянул Жабрин направо, глянул налево. Нет свободного места. Времени нет объехать. Перекрестился поручик.

— Прямо, вперед! Мертвый живого не схватит...

Солдат Епифанов чуть отстал от других. Страх обуял солдата. Прикрыл он глаза.

Скорей бы проехать жестоким местом. Подбрасывает пушку как на ухабах. Мурашки идут по солдатской спине. Вдруг тихий протяжный стон. Приоткрыл Епифанов глаза. Прямо под пушкой, у самого колеса, шевельнулся седоусый капрал. Солдата аж пот прошиб.

— Тпру! — закричал на коней Епифанов. Спрыгнул на землю.

Лежит, стонет в бреду капрал. Бок в кровяных подтеках. Кивер лежит в стороне. Однако ружье при себе, под мышкой.

Подбежал Епифанов к капралу. Пытается вытащить из-под колес. Грузен, тяжел капрал. Другими телами придавлен.

Шевельнулся страдалец. Глянул на свет, на солдата, на пушку:

— Откуда?

— Канониры мы,— зачастил Епифанов.— С левого фланга на правый фланг. На подмогу идем рысями. Слышишь, дядя, пальба вокруг... Наступает генерал Милорадович.

— Наш, наш генерал! — закричал капрал.— А ну-ка выше, голову выше мне!

Смотрит капрал, а там, на бугре, лавиной идут солдаты. Слышит старый воин привычные звуки. Словно товарищей слышит зов.

Улыбка прошла по лицу капрала:

— А ну, подмогни!

Помог подняться капралу с земли Епифанов.

— А ну-ка кивер надень.

Надел Епифанов на седую голову кивер.

Подтянулся, словно в строю, капрал. Изготовил ружье, как

в атаке. Шаг левой, шаг правой. С шага на бег перешел капрал.

Опешил солдат Епифанов: кровь из капрала хлещет.

— Ура-а! — победно несется с холма.

— Ура-а! — ответно кричит капрал.

Пробежал он метров десять — пятнадцать и вдруг, словно дуб-великан под взмахом последним удальца дровосека, рухнул плашмя на землю.

Подлетел Епифанов к герою. Не стонет, не дышит капрал. Кончил воин свой путь солдатский.

Догнал Епифанов своих. Набросился Жабрин:

— Где пропадал?! Душа твоя воробьиная!..

Объясняет солдат задержку. Никак не придет в себя. О старом капрале, сбиваясь, рассказывает.

Утих поручик Жабрин. Молча стоят солдаты.

— Так звать как? Как величать героя?

Разводит Епифанов руками:

— Капрал. Старый такой. С усами. Силы в нем совсем еще не было.

Сняли солдаты шапки.

— Силы в нем не было?! Дурак, богатырская сила в нем.

## СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ

Сдружились они в походах: солдат молодой и солдат бывалый — Клим Дуга и Матвей Бородулин. Вместе отступали от самого Немана. Вместе бились у Витебска. Чуть не погибли у стен Смоленска. Вместе пришли к Бородинскому полю.

Матвей Бородулин при Климе Дуге словно бы дядька. Уму-разуму в военных делах наставляет: как порох держать сухим, как штык наточить, как лучше идти в походе, чтобы ноги не так устали. На привале Бородулин уступит младшему место поближе к костру.

Упрется Дуга:

— Да что я, дите какое?

— Ложись, ложись! — прикрикнет солдат.— Я привычный. Мне на холодку даже и лучше.

Делят кашу, и тут Бородулин о другом думает. Из миски своей в миску к нему добрую часть отвалит.

— Дядя Матвей,— отбивается Клим,— да что я — к откорму хряк?

— Ешь, ешь! Тебе в рост, тебе в пользу.

В Бородинской битве солдаты сражались рядом. Клим — богатырь, Бородулин — усох с годами. Прикрывает Дуга стар-

шего друга. Недоглядел: ранило вдруг солдата. Повалился Матвей Бородулин на землю, талым сугробом осел.

— Дядя Матвей! — закричал Дуга. Рухнул он на колени, тормошит Бородулина. Ухо к груди приложит.— Дядька Матвей! Родненький!..

Приоткрыл Бородулин глаза, глянул на друга.

— Воды,— простонал и снова забылся.

Схватились солдаты за фляги — пусты солдатские фляги. Скоро десять часов, как бой. Не осталось во флягах глотка воды.

Нет воды. Ручья поблизости нет. Ближайший ручей в руках у французов.

— Воды! Воды! Воды! — идет по солдатским рядам.

Нет нигде, как в пустыне, воды.

Поднялся Дуга на ноги. Смотрит растерянным взглядом. И вдруг словно током прошло по солдату. Схватил он пустую флягу, руку задрал в вышину и рванулся навстречу французам, туда, где штыки и ружья, где за ними ручей в овраге.

Перехватило у тех, кто был рядом, дух.

— Господи, верная смерть...

— Леший!

— Достался Дуга французам.

Смотрят солдаты с тревогой вслед. Смотрят на бегущего русского и сами французы.

— Камрады,— кричит Дуга,— дядька Матвей погибает! Дядька просит воды! — И флягой пустой, как паролем, машет.

— Во-о-ды! — несется над полем.

Французы хотя и враги, а тоже ведь люди. Непонятна им русская речь. Однако сердцем людским понятно — неспроста побежал солдат.

Расступились французы, открыли дорогу к ручью. Стих на участке огонь. Не стреляют ни эта, ни та сторона. Замерло все. Лишь:

— Дядька Матвей погибает! — режут воздух слова солдата.

Добежал Дуга до оврага. Зачерпнул флягу воды студеной, в разворот — и помчался назад коридором солдат французских.

Подбежал он к дядьке Матвею, снова стал на колени, голову поднял, флягу поднес ко рту. Смочил лоб, височную часть.

Приоткрыл Бородулин глаза, вернулось к солдату сознание, признал молодого друга:

— Где же ты водицу, родной, достал?

Где?

Из сердца достал солдатского.

# ПТИЦА-СЛАВА

Солдат Изюмов до Бородинской битвы ни разу не отличился. Хотя и мечтал о славе. Все думал, как бы ее поймать. Еще в самом начале войны у Изюмова произошел такой разговор с каким-то солдатом.

— Что такое есть слава? — спросил Изюмов.

— Слава есть птица,— ответил солдат.— Она над боем всегда кружится. Кто схватит — тому и слава.

То ли в шутку сказал солдат, то ли и сам в подобное верил, только потерял с той поры Изюмов покой. Все о птице чудесной думает. Как же ее поймать?

Думал об этом под Витебском. Другие солдаты идут в атаку, смело колотят врагов. А Изюмов все время на небо смотрит. Эх, не прозевать бы волшебную птицу! И все-таки прозевал. Слава другим досталась.

Во время боев под Смоленском опять повторилось такое же самое. И здесь остался без славы солдат.

В огорчении страшном Изюмов. Пожаловался он товарищам на свою неудачу.

Рассмеялись солдаты:

— Славу не ловят, слава сама за храбрым летит. Она и правда как птица. Только лучше о ней не думать. Отпугнуть ее можно враз.

И вот в Бородинском сражении солдат и вправду забыл о славе. Не то чтобы сразу, а как-то так, что и сам того не заметил.

Битва клонилась к концу. Французы стараются вырвать победу. На русскую пехоту были брошены кирасирские и уланские полки. Разогнали кавалеристы коней: сторонись — любого сметут с дороги.

Глянул Изюмов и замер. Замер и тут же забыл о славе. Об одном лишь, как устоять против конных, думает.

А кони все ближе и ближе. Растопчут они солдат. Обрушатся палаши и острые сабли на русские головы. Изюмов даже поежился. Стоял он в самом первом ряду.

— Ружья к бою! Целься. Подпускай на убойный огонь! — раздалась команда.

Вскинул ружье Изюмов. Стрельнул. А что дальше произошло, то точно и не расскажет. Со стороны-то оно виднее.

Стоял Изюмов секунду как столб, а потом вдруг вскинул ружье на манер штыковой атаки и ринулся навстречу французской коннице.

Побежали за ним солдаты. И получилось, что пеший пошел в атаку на конного.

— Ура! — голосит Изюмов.

— Ура! — не смолкают другие солдаты.

Опешили французские кирасиры и уланы. На войне еще не бывало такого. И хотя атаку свою, конечно, они не отставили, однако поколебался как-то у конных дух. А это в сражении главное. Наполовину пропал замах.

Подлетели солдаты к французам, заработали штыками, словно бы вилами. Чудо творится на поле — пеший конного вдруг побивает. Разгорелся солдатский пыл.

— Братцы, колите коня под брюхо! Бейте француза прикладом, коль штык у кого слетел! — разошелся вовсю Изюмов.

Французы совсем растерялись. Все реже и реже взмахи французских сабель. Все тише руки удар. Минута, и дрогнут французы. Вот и действительно дрогнули. Дают в разворот коней.

Казалось бы все. Победа уже одержана. Так нет.

— Братцы, вдогон! — закричал Изюмов.

Побежали солдаты вслед за французами. Пеший за конным бежит по полю. Глянешь — не поверишь своим глазам.

Конечно, лошадиные ноги быстрее солдатских ног. И все же немало нашлось французов, которым русский штык успел продырявить спины.

Даже отстав, солдаты продолжали, как копья, бросать во французов ружья свои со штыками.

Ускакали французы. Подобрали солдаты ружья, стали возвращаться к своим.

Идут солдаты, а навстречу солдатам:

— Героям слава!

— Изюмову слава!

— Храброму честь и почет!

Обалдели от боя солдаты. Идут, ничего не слышат. Идут, ничего не видят.

Не видят солдаты. Однако мы-то прекрасно видим: птица-слава над ними летит.

## ФИЛИ

Маленькая деревня Фили у самой Москвы. Крестьянская изба. Дубовый стол. Дубовые лавки. Образа в углу. Свисает лампада.

В избе за столом собрались русские генералы. Идет военный совет. Нужно решить вопрос: оставить Москву без боя или дать новую битву у стен Москвы?

Легко сказать — оставить Москву. Слова такие — ножом по русскому сердцу. За битву стоят генералы.

Нелегкий час в жизни Кутузова. Он только что произведен в чин. За Бородинское сражение Кутузов удостоен фельдмаршала. Ему, как старшему, как главнокомандующему, как фельдмаршалу,— главное слово: да или нет.

У Бородина не осилили русских французы. Но ведь и русские не осилили. Словом, ничейный бой. Бой хоть ничейный, да как смотреть. Наполеон впервые не разбил армию противника. Русские первыми в мире не уступили Наполеону. Вот почему для русских это победа. Для французов и Наполеона победы нет.

Рвутся в новый бой генералы. Солдаты за новый бой. Что же решить Кутузову?

Сед, умудрен в военных делах Кутузов. Знает он, что на подмогу к Наполеону торопятся войска из-под Витебска, из-под Смоленска. Хоть и изранен француз, да не убит. По-прежнему больше сил у противника.

Новый бой — окончательный бой. Ой, как много военного риска! Тут мерь, перемерь, потом только режь. В армии главная ценность. Главное — войско сберечь. Будет армия цела — будет время разбить врага.

Все ждут, что же скажет Кутузов.

Поднялся фельдмаршал с дубового кресла, глянул на генералов.

Ждут генералы.

Посмотрел Кутузов на образа, на лампаду, глянул в оконце на клок сероватого неба, глянул себе под ноги.

Ждут генералы. Россия ждет.

— С потерей Москвы,— тихо начал Кутузов,— еще не потеряна Россия... Но коль уничтожится армия, погибли Москва и Россия.

Кутузов остановился. В оконце стучалась муха. Под грузным телом фельдмаршала скрипнула половица. Послышался чей-то глубокий вздох. Кутузов поднял седую голову. Увидел лицо атамана Платова. Предательская слеза ползла по щеке бывалого воина. Фельдмаршал понял: важны не слова, а приказ. Он закончил быстро и твердо:

— Властью, данной мне государем и отечеством, повелеваю... повелеваю,— вновь повторил Кутузов,— отступление...

...И вот войска оставляют Москву. Яузский мост. Понуро идут солдаты. Подъехал Кутузов. Смотрит на войско. Видят его солдаты. Видят, но делают вид, что не видят. В первый раз ему не кричат «ура».

# МОРЕМ ОГОНЬ КОЛЫШЕТСЯ

Русская армия расположилась южнее Москвы, у села Тарутино.

Кутузов немедленно занялся хозяйственными делами. Армия обтрепалась — надо ее одеть. Наступила осень — о теплой одежде надо подумать. С продовольствием плохо — надо пополнить запасы хлебом.

Много у Кутузова разных дел.

И у Наполеона в Москве не меньше. Не оправдались надежды французов. Ушли, увезли все с собой жители. Нет в Москве ни хлеба, ни мяса. Нечем кормить коней. Лишь вина в погребах без отказа. Напьются солдаты — идет грабеж. А где грабеж, там сразу пожары. Осень сухая. Огню раздолье. Запылал Китай-город, Гостиный двор. В Крестном ряду пожарище. В Охотном ряду пожарище. За Москвой-рекой Балчуг горит. Ночами светло как днем. Наполеон в Московском Кремле. Куда ни глянешь отсюда — огонь и огонь. Морем огонь колышется.

— Ваше величество,— обеспокоены французские маршалы и генералы,— опасно! Огонь подошел к Кремлю.

Не хочется Наполеону уходить из Кремля. Неловко и стыдно. Только занял Московский Кремль, и вдруг — будь мил, катись восвояси. Медлит Наполеон.

— Ваше величество, спасайтесь! Быстрее к реке...— умоляют императора генералы.

Медлит Наполеон.

— Ваше величество!..

И вот император нехотя надевает сюртук.

Бушует, мечется пламя.

Наполеон сбегает по широкой дворцовой лестнице. «Это дорога в ад»,— вспоминает Наполеон слова Коленкура. В злобе кусает губы.

Четыре дня бушевали пожары.

К пятому дню — от Москвы пепелище.

Не город в руках французов — сплошные развалины.

Хорошие дела у русских войск под Тарутином. Провианты сюда подвозят. Меняют солдатам одежду. Лошадьми пополняют конницу. Отдыхают спокойно солдаты.

Плохи дела в Москве у французов.

Есть над чем задуматься Наполеону: «Победитель я или нет?»

— Почему же мира не просят русские?!

Проходит три томительно долгих недели. Негодует Наполеон:

— Мир, немедленный мир с Россией!

Не дождался император русских послов. Вызывает своего генерал-адъютанта маркиза Лористона:

— В Тарутино, к этой старой лисице — марш!

## ТАРУТИНО

Понял Кутузов после посещения Лористона, что дела французов плохи. Дал под Тарутином бой.

Опять загремели пушки. Скрестились штыки и сабли. Сила на силу опять пошла.

Проиграли французы бой. 36 пушек досталось русским.

Дня четыре спустя после битвы прапорщик Языков с казачьим отрядом находился в разведке. Обнаглели совсем казаки, к самой Москве подъехали.

Стоят, смотрят на спаленный город:

— Вот она, наша страдалица...

Дождик краплет осенний. Хотя и тепло и безветренно. Где-то раздался собачий лай.

— Ты смотри, а говорят — французы псов всех поели!

— Этот хитрый, видать, убежал.

— Да-а, пропала Москва-красавица...

— Дура, о мертвых плачь! Не смертник Москва — отстроится.

Перешептываются казаки. Вдруг слышат — страшный грохот и взрыв долетает из города. Переглянулись донцы, покосились на командира. Любопытство в душе казацкой. Переглянулись, помчались к Москве.

— Эх, была не была! Бог не выдаст — свинья не съест. На то и разведка.

Влетели они в пустынные улицы города. Ни французов, ни жителей. В молчанье лежат развалины. Лишь цокот от конских ног в тишине, как в гробу, отдается. Понеслись всадники к центру. Доскакали до самой Ордынки почти к Кремлю. Нигде не видать французов. Попался какой-то старик.

— Эй, борода, где басурманы?

— Ушли, ушли из Москвы французы. Ушли поутру, родимые.

Больше месяца пробыл Наполеон в Москве. Ждал император от русских посыльных с миром. Не явились к нему посыльные. Сам послал Лористона. Не привез согласия на мир Лористон. А тут еще бой под Тарутином. Да скоро зима. Да голод идет по армии. Что же, как в мышеловке, сидеть в Москве. Нет, пока есть силы, пока не поздно — скорее домой. Ушли французы бесславно, как тень, из Москвы.

Узнали казаки небывалую новость, забыли про грохот и взрыв, завернули коней, стрелой понесли долгожданную весть Кутузову.

Потом и про взрыв, конечно, узнали. Злопамятен Наполеон. Мстит за свои неудачи. Приказал, уходя, взорвать, не жалея, Московский Кремль. К счастью, погибло немногое. Пошел дождь и загасил фитили.

Выслушал Кутузов доклад Языкова, перекрестился:

— Свершилось. Вот оно, неизбежное... Спасена отныне Россия.

Потом повернулся к селу Тарутину:

— Спасибо тебе, Тарутино!

## ТИШКА И МИНЬКА

Оставив Москву, Наполеон пошел на Калугу. В Калуге — городе, войной не разоренном, французы надеялись пополнить свои припасы. А затем уже свернуть на Смоленск, на Вильну и вон из России.

Кутузов понял расчет противника и со своей армией стал у него на пути. У города Малого Ярославца разгорелась новая битва. И снова, как при Бородине, сражение длилось с утра до вечера. Упорство и французов и русских было отчаянным.

Выбили французы русских из Малого Ярославца. Начинают атаку русские.

Выбили русские французов из Малого Ярославца. Начинают атаку французы.

И так восемь раз. Город то и дело из рук переходит в руки.

Малоярославские мальчишки братья-двойняшки Тишка и Минька при первом же штурме французов забились в подвал. Маленькое оконце торчит наружу. Прилипли мальчишки к окну. Хоть и боязно, но интересно.

При подходе французов почти все жители оставили город. Ушли и родители Тишки и Миньки. Они и ребят с собой увели. Только братья от них сбежали. Затерялись в общей толпе и — снова в город. Интересно им посмотреть на взаправдашний бой.

И вот ребята стоят у оконца. Ребятам впервые — им все интересно. И как солдаты идут в атаку, и как командиры в бою кричат, и как дым от ружей по улице стелется.

Вначале, когда атаковали французы, бой шел где-то в отдалении. До ребят доносились лишь страшные крики. Потом, когда в город ворвались русские, одна из схваток завязалась на

той улице, где стоял дом Тишки и Миньки. Отряд русских возглавлял молодой офицер. Нарядный, красивый.

Следят ребята за офицером.

— Генерал,— шепчет Минька.

— Молод для генерала, небось поручик,— поправляет братишку Тишка.

Рядом с оконцем произошла жаркая схватка. Солдаты сошлись в штыки.

— Дети! — кричит офицер.— Штык ржавеет без дела. Солдат не солдат без победы. Вперед! — И первым идет в атаку.

Минута — и штыки обагрились кровью. Заалели от ран мундиры. Кровавая лужа натекает на месте боя. Смешалась воедино французская, русская кровь.

Отпрянули от оконца ребята.

— Страшно? — спрашивает Тишка у брата.

— Нет,— отвечает Минька.

Говорит «нет», а руки дрожат. И у Тишки дрожат. Ходуном, непослушные, ходят.

Когда они вновь подошли к окну, то бой в этом месте уже окончился. Все стихло. Валялись убитые. А ближе всех лежал молодой офицер. Видят ребята, что офицер штыком при атаке ранен. Лежит и тихо, протяжно стонет.

Переглянулись мальчишки.

— Его бы в подвал,— произнес осторожно Тишка.

— Эге,— согласился Минька.

Однако выйти наружу они боятся. Постояли ребята и все же набрались храбрости. Крадучись вышли на улицу. Подхватили офицера под руки, поволокли.

— Тяжелый,— шепчет тихонько Минька.

— Так ведь харч офицерский,— соглашается Тишка.

Втащили они офицера в подвал. И вовремя. На улице снова начался бой. Однако ребята к оконцу уже не ходили. Крутились все время около офицера. Воду ему на голову лили. Тишка от исподней рубашки оторвал, где почище, клок и приложил к тому месту, где на офицерском боку виднелась рваная рана.

Офицер метался в жару. Что-то кричал. Утихал, потом принимался снова.

Так было до самого вечера. Так было и ночью. Намучились с ним мальчишки. Тут по соседству загорелись дома. И страшный дым повалил в подвал. Хорошо, что дом, в котором сидели Тишка и Минька, был каменным. Уберегся он от пожарища.

Потом началось самое страшное. Малый Ярославец остался в руках французов. Какие-то солдаты заняли дом. И ребята боялись, что вот-вот доберутся они до подвала.

— Тише, ваше благородие, тише...— уговаривают они офицера.

Офицер словно понимал их, умолкал, а потом снова метался в жару и крике.

К счастью, все обошлось.

Среди ночи ребят свалил беспробудный сон. Очнулись они — солнце уже высоко. Кругом тихо. Подбежали к окошку — кругом безлюдье. Нет, нигде не видать французов.

А произошло вот что. Хоть и остался Малый Ярославец в руках у французов, да понял Наполеон, что на Калугу ему не прорваться. Впервые в своей жизни император не решился на новый бой. Отдал приказ отступить войскам.

Вылезли ребята из подвала, вышли наружу. Смотрят — в город вступают русские. А вместе с солдатами валят и жители. Вот и Тишкин и Минькин отец идет.

Увидел он сыновей:

— Ах вы, разбойники! Ах, шелудивые!

Застыли Тишка и Минька. А отец, недолго думая, снял поясной ремень и тут же, прямо на улице, начал ребят стегать.

Терпят братья-двойники. Отец у них строгий. Другого и нечего ждать.

Наконец родитель устал, остановился, переводит дух.

— Тять,— полез Тишка,— а там раненый,— указал он рукой на торчащее из-под земли оконце.

— Офицер,— прогнусавил Минька.

Спустился отец в подвал. Верно, не врут ребята. Присмотрелся — лежит молодой полковник.

— Ого!

Побежал отец, доложил, кому следует. Пришли санитары, забрали полковника. А отец снова свернул ремень и продолжил свою расправу. Правда, теперь бил уже не так больно и не столько ругался, сколько ворчал:

— Мать бы хотя пожалели... Ироды вы окаянные!..

Прошло несколько дней. И вдруг отец был вызван в городскую управу, и там ему вручили медаль. К медали был приложен приказ, в котором значилось, что житель города Малого Ярославца Кудинов Иван Михайлович, то есть отец Тишки и Миньки, награждается медалью за спасение жизни русского офицера.

Опешил отец. Стал было объяснять, что тут-то он и ни при чем, что это спас офицера не он, а Тишка и Минька. Однако в управе слушать его не стали.

— Кто там спас, разбирайтесь сами. Получил медаль и ступай, не задерживай.

*К стр. 50*

Вернулся отец домой. Не знает, что с медалью ему и делать. На две доли, что ли, ее рубить.

— Тут вам медаль. Одна на двоих,— заявил он ребятам.

Смотрят Тишка и Минька на медаль. Глазенки горят. Руки к ней сами собой тянутся. Вот бы такую на грудь надеть!

Однако отец у них строгий. Взял и спрятал медаль в ларец.

— Не для баловства подобные штуки,— заявил он сурово.

В ларце медаль и лежала.

Однако дважды в году, в рождество и на пасху, когда всей семьей Кудиновы отправлялись в церковь, отец доставал медаль.

В церковь шел при медали Тишка. Возвращался домой при медали Минька.

## БОЛЬШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Еще до того как разгорелась Бородинская битва, в дни, когда русская армия отступала, к князю Петру Багратиону неожиданно явился подполковник Ахтырского гусарского полка Денис Давыдов.

Багратион Давыдова знал давно — когда-то Давыдов служил у него адъютантом,— и принял его сразу и очень приветливо.

— Ну рассказывай, ну выкладывай. Начальство обидело?

— Нет,— отвечает Давыдов.

— Наградой обойден? В отпуск, наверное, просишься?

— Нет,— отвечает Давыдов.

Поразился Багратион. Ждет, что же скажет ему офицер.

— Вот какую имею мысль,— произнес Давыдов.

И стал говорить о французской армии. Мол, растянулась армия на сотни и сотни верст. От самого Немана через всю Россию тащатся к ней обозы, идут подкрепления, порох, ядра везут.

— Верно,— бросает князь Петр.

— Все время туда и сюда мчатся курьеры с бумагами. Длинный французам путь.

— Так, так...— слушает Багратион.— Нового не открываешь.

— А новое в том,— вдруг заявил Давыдов,— что надо, ваше сиятельство, оставить у Бонапарта в тылу конные наши отряды. Пусть они обозы и мелкие части щупают. Будет немалый урон врагу. Прошу казаков и гусар — докажу, как возможное.

Пока Давыдов все это говорил, лицо Багратиона светлело, светлело и даже вовсе расплылось в улыбке.

— Молодец! Дай поцелую.— Поцеловал.— Жди.

Багратион тут же пошел к Кутузову. Начал с того, с чего

и Давыдов. Мол, французская армия растянулась на сотни и сотни верст... И передал все слово в слово о просьбе Дениса Давыдова.

Выслушал Кутузов Багратиона:

— Фантазии разные...

Кутузов только что принял армию, готовился к бою и берег каждый отряд солдат.

— Ваша светлость,— обиделся Багратион, а был он на редкость вспыльчивым,— фантазии в том, что часто мы собственной выгоды не разумеем! — И потом уже тише: — В этом деле есть полный резон. Тут выйдут большие последствия.

— Ну ладно, голубчик, ладно. Я же ведь так. Человек-то надежный твой подполковник? Говоришь, из гусар? Им бы пыль по глазам начальству.

— Надежный, ваша светлость. Пять лет у меня в адъютантах был.

Подумал Кутузов:

— Ладно, может, и вправду дело будет сие значительным.

Распорядился Кутузов выделить Давыдову 50 гусар и 80 казаков.

Так возник первый партизанский отряд. Русская армия отошла дальше, а Денис Давыдов ушел в леса.

Немало причинили партизаны вреда французам. Фельдмаршал вскоре оценил мудрое предложение Давыдова и теперь уже сам стал отправлять отряды солдат в тыл к неприятелю.

К солдатам все чаще и чаще присоединялись крестьяне. Они и сами создавали свои отряды. Сотни и тысячи крестьянских отрядов разили теперь врага.

Как в половодье река сокрушает округу, так и тут — на войне народной — прорвался крестьянский гнев. Спустя два месяца, когда русская армия уже перешла в наступление, Кутузов распорядился вызвать в ставку к себе Давыдова.

Он долго смотрел на гусара. Наконец произнес:

— Тут я как-то при жизни князя Петра назвал твой маневр фантазией. Прости старика. Только не думай, что я от слов своих отрекаюсь. То, что свершилось, доподлинно есть фантазия.

И так же, как тогда князь Багратион, подошел и крепко расцеловал Дениса Давыдова.

## ТУДА И ОБРАТНО

Слухи о доблестных делах партизана Дениса Давыдова катили в русскую армию валом. Один за одним. То обозы с порохом перехватили, то разогнали идущую артиллерийскую

часть. То схвачен курьер с бумагами очень ценными, то сам Давыдов в бою отличился — зарубил, как слизнул, четырех французов.

Стал молодой корнет Васильчиков мечтать о том, чтобы и ему попасть к партизанам. Эскадронного командира просил:

— Отпустите к Давыдову!

К полковому начальнику бегал:

— Отпустите к Давыдову!

Однако начальники не отпускают. Подумал корнет, подумал, взял и ушел без разрешения. Правда, оставил записку. Мол, не считайте, что я дезертир. Не могу я — ушел к партизанам.

Стал пробираться он в Гжатский уезд, туда, где были отряды Давыдова.

Едет, думает о Давыдове. Представляется ему партизанский начальник заправским гусаром, в гусарской куртке, в шнурках гусарских, в гусарской шапке, с лихим султаном.

Добрался корнет до Гжатска удачно. Разыскал партизанский отряд. Вернее, партизаны у Гжатска его схватили и привели к Давыдову в лагерь.

Глянул корнет на Дениса Давыдова. А где же гусарская куртка, где султан и галун гусарский?!

Стоит перед ним настоящий мужик. Борода крестьянская, кафтан крестьянский, даже кушак — крестьянский.

Растерялся Васильчиков. Забыл и представиться. Смеется Давыдов:

— Честь имею, подполковник Давыдов. Слушаю вас, корнет.

— Васильчиков,— пискнул Васильчиков.

Устал он с дороги, отправился спать.

Уложили его под сосной на шинели, укрыли каким-то рядном.

В общем, началась жизнь партизанская.

Утром стал Давыдов его поучать:

— Что важнейшее для партизана?

Разводит корнет руками.

— Внезапность,— отвечает Давыдов.— Какая позиция самая лучшая? — И опять отвечает: — Непрерывность в движении. В чем партизана главная сила? Бить не числом, а умением.

И вот — походы, походы, переходы, ночевки в лесах.

То мокнешь под ливнем, то зябнешь от стужи, то спишь на сырой земле.

Бои без плана, без всяких правил: то утром рано какое дело, то поздно вечером негаданный бой, то ночью — уснул — тревога.

Непривычен к такому корнет. Стал он жалеть, что ушел из

части. Покрутился еще с неделю, взял и покинул партизанский отряд. Даже записки теперь и той не оставил.

Вернулся Васильчиков в армию.

Еще в те дни, когда он исчез, в армии было целое дело.

Самовольство для офицера — серьезная вещь. Доложили тогда Кутузову об уходе корнета.

Доложили теперь о его прибытии.

Выслушал Кутузов, распорядился:

— Наказать за самовольный отъезд.— Потом подумал и строго добавил: — А за то, что вернулся, за это — вдвое.

## СОЛДАТСКОЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

В бою под солдатом драгунского полка Ермолаем Четвертаковым была ранена лошадь. Четвертаков попал в плен. Привезли его в Гжатск. Из Гжатска солдат бежал.

Оказался он в тех местах, которые были заняты неприятелем.

Пришел драгун в деревню Басманы. Видит — крестьяне воинственны, французов чумой ругают. Злобой мужик кипит.

Тут-то и пришла Четвертакову мысль поднять крестьян на борьбу с французами, создать партизанский отряд. Заговорил.

И вдруг крестьяне замялись. Мол, неизвестно, откуда прибыл солдат. Как знать, что из того получится. Лишь один молодой рябоватый парень пошел за драгуном.

Поехали они вместе в деревню Задково — там поднимать крестьян. По дороге встретили двух французов. Убили. Потом еще двоих встретили. И этих прикончили.

— Ух ты! Двое — и вдруг четверых! — подивились крестьяне в Басманах.

— А если четверо — то получится восемь!

— А если восемь — то будет шестнадцать!

Заволновались в Басманах: а вдруг как мужики из Задкова прежде их создадут отряд?

— Давай возвращай драгуна!

— Сами желаем иметь отряд!

Вернулся в Басманы драгун. Извинились сельские жители.

— Не обижайся. Хотели тебя проверить,— схитрили крестьяне.— Стоящий ли солдат.

Сразу же более двухсот мужиков дали свое согласие быть у него в отряде. Это стало началом. Вскоре из всей округи свыше четырех тысяч крестьян собралось под командованием Четвертакова.

Стал Четвертаков признанным командиром. Порядки в войске завел военные: караулы, дежурства и даже учения. Следил

строго, чтобы головы крестьяне держали высоко, животы не распускали.

— Да ты — что полковник,— смеются крестьяне. А сами довольны, что крепкой руки начальник.

— Что там полковник — сам генерал! Ваше превосходительство!

Жили крестьяне по-прежнему в селах. Поднимались они по тревоге, когда возникала нужда...

Едет французский отряд по русской дороге. Обоз, но с большой охраной. Порох доставляют для армии. Кони пушку везут впереди. Это чтобы пугать крестьян, ну и себя, французов, конечно, подбадривать.

Звенят, гудят, переливаются на церковных звонницах колокола. То медью ударят, словно в набат, то трепетно, тонко зальются.

Приятно французам слушать.

Вот здесь отгремели. Ушли за бугор — там тоже деревня и церковь. Подхватились и слева и справа. Идет от села к селу перезвон. Эка приятные звуки...

Продолжают французы свой путь. Слушают звонную прелесть. Идут и не знают того, что это не просто звон — это голос для них прощальный, погребальный, выходит, звон.

Четвертаков использовал церковные перезвоны как сигналы для своих отрядов. Это не только сигналы тревоги. В каждом переливе свои команды. Слушай внимательно — будешь знать, куда идти и где собираться.

Продолжают французы свой путь. А в это время из разных окрестных сел выходят уже отряды. Приказ — собраться сегодня им у ручья, у Егорьевской балки.

Подошли французы к ручью — крестьяне со всех сторон. Несметно. Черно от кафтанов. Конный виден в крестьянских рядах — наверно, начальник.

Скомандовал конный. Бросилось воинство на французский обоз. Растерялись солдаты, что были с пушкой,— куда же палить, в какую же сторону! Всюду крестьяне. Стрельнули в конного, в старшего. Да, к счастью того, перелет.

Выстрел был первый, он же последний. Не успели французы сунуть новый заряд. Ноги крестьянские быстры, руки проворны и очень цепки. Пушка, обоз и солдаты — все через минуту в крестьянских руках.

Возвращаются партизаны с отважного дела домой. Едет на коне солдат Четвертаков, Ермолай... как там тебя по батюшке? Эх, можно, пожалуй, без батюшки. Ермолай Четвертаков — генерал крестьянский. Ваше солдатское превосходительство!

# АРКАН

Наловчились крестьяне села Локотки арканом ловить французов. Спрячутся где-нибудь в кустах при лесной дороге, ждут — не пройдет ли какой отряд. Дождутся — конных ли, пеших. Подстерегут того, кто отстал, аркан немедля ему на шею. И сразу к себе. Кляп ему в рот, пока тот не вскрикнул. И будь тут здоров, мусье. Как карась, на уду попался.

Как-то снова крестьяне засели на выгодном месте. Вначале была неудача — никто не движется. И вдруг конный отряд рысями. И, как всегда, кто-нибудь сзади. На сей раз рослый, с чубом француз. Подъехал француз к кустам, где притаились крестьяне. Взвился аркан. Полетел наездник с коня. Кляп во рту у него немедленно.

Приволокли мужики француза к себе в Локотки. Дорогой еще пристукнули. Уж больно ершистый француз попался. Все ногами крестьян пинал.

Положили крестьяне пленного в каком-то хлеву. Притащили воды, плеснули на голову. Вынули кляп. Решили вести в уезд, в Сычевку. Там принимали пленных. Поднялся француз, как закричит:

— Путаны бороды! Сивые мерины! Рог вам бугаев под самое дыхало!

Крестьяне так и разинули рты. Икота на иных напала.

Оказалось, то был не француз, а донской казак из отряда Дениса Давыдова. Казаки специально оделись во французскую форму. Ехали то ли в разведку, то ли еще по какому делу.

Опомнились, пришли, конечно, крестьяне в себя:

— Да откуда мы ведали.

— На лбу не написано.

— Скажи спасибо, что жив остался.

— Глаза поросячьи! Дубы неотесанны! — не утихает казак.— А это что?! — И тычет на чуб казацкий.

Конечно, чубов у французов не было. Да поди разгляди там в такую минуту.

— Ладно,— наконец приостыл казак.— Есть ли молоко у вас холодненькое?

— Это найдется.

Выпил казак, тряхнул плечами:

— Ну, мужички, бывайте! Благодарствую за угощение.

Несколько дней крестьяне не решались выходить на дорогу.

— Ну их, снова не энтого схватишь!

А потом опять принялись за дело. Однако теперь осторожнее. Схватят француза крестьяне, смотрят прежде всего на голову — не виден ли чуб казацкий.

# ШАПКУ ОБ ЗЕМЛЮ

Наслышавшись всяких донесений о действиях крестьянских отрядов, Кутузов решил взглянуть на живых героев. Под городом Юхновом собрались к нему партизаны. Были всякие: и старые и молодые, подороднее и попроще, кое-кто с боевыми рубцами, и даже один без глаза, и тоже, как у Кутузова,— правого.

Набились крестьяне в избу. Расселись. Стал угощать их Кутузов чаем. Пьют мужики осторожно, не торопясь, сахар вприкуску.

За чаем зашел разговор. Конечно, прежде всего о войне, о французах.

— Французы народ геройский,— заявляют крестьяне.— Да только духом они слабее. Дал Бонапарт промашку: разве испугом возьмешь Россию!

— Тут Невский еще сказал,— вспомнил безглазый,— прибудешь с мечом, от меча и погибнешь!

— Верно! — шумят крестьяне.

Заговорили затем о Москве.

— Конечно, жалко. Немаленький город. Веками в народе славится. Да разве Москва — Россия? Отстроится город. Была б жива держава.

Хвалит Кутузов крестьян за смелые стычки с французами.

— Мы что... Нам достается плотвичка. Тут армии первое слово.

Видит Кутузов — неглупый народ собрался. Приятно вести беседы.

— О Денисе Давыдове слышали?

— А как же! И в нашем уезде его отряды. Лихой командир. Зачинатель великого дела.

— Говорят, на Смоленщине женщина видная есть?

— Так это же Кожина,— отвечают крестьяне.— Старостиха Василиса. Гвардейская баба! Мужеской хватки.

Вспомнили солдата Четвертакова:

— Природный начальник. Ему б в офицерах положено быть.

Потом как-то, Кутузов и не заметил, разговор перешел на другое. Заговорили крестьяне про озимые, про яровые. Про недород на Смоленщине. Потом о барах, и вдруг:

— Михайла Илларионович, ваша светлость, а как насчет воли? Чай, после победы крестьянам ее дадут?

— И как там с землей? — сунулся кто-то.

Не ожидал Кутузов такого. Ну что он скажет крестьянам про волю? Дикость, конечно, в России. Кутузов бы волю дал. Да он ведь только над войском начальник. Сие не ему решать.

Не знает, что и ответить, фельдмаршал. Впервые попал впросак.

Ясно крестьянам, что трудный задали вопрос. Не захотели смущать Кутузова, снова вернулись к войне. Да только разговор как-то уже не клеился. Отпустил их Кутузов.

Идут по селу крестьяне:

— Да, воли оно не предвидится.

— И земля, как была,— у господ останется.

Замедлил ход вдруг какой-то парень. Скинул он шапку и с силой об землю:

— Только напрасно с французами бьемся! Жизнью своей рискуем.

— Цыц, молоко необсохшее! — выкрикнул тот, безглазый.— Тут вещи не равные — разные. Баре есть баре. Россия — Россия!

## РАМА

Солдат Жорж Мишле шел в Россию с большой охотой: «Россия страна богатая. Немало добра домой привезу». Да что там Мишле, все солдаты в такое верили.

Самим императором это обещано.

Стал Мишле припасать богатства. В Смоленске — шубу из горностая. В Вязьме достал дорогие подсвечники. В Гжатске — ковер из памирской шерсти. В Москве в каком-то большом соборе похитил икону в серебряной раме.

Доволен Мишле. Взял бы еще, да тяжесть и так большая. «Ну,— рассуждает Мишле,— теперь пусть русские просят мир. Готов я домой к отбытию».

А русские мир не просят. Что день, то французам все хуже и хуже. Лютым местом стала для них Москва.

И вот покатились французы. Дай бог унести из России ноги. Поспешно стал собираться Мишле. Вещи свои пакует. Ковер из памирской шерсти — в мешок, в ранец солдатский — подсвечники, шубу — поверх мундира. А раму куда? Раму надел на шею. Торчит из нее мародера лицо, словно лицо святого.

Гонят французов русские. Армия бьет. Партизаны в лесах встречают. У дорог стерегут крестьяне.

Быстрым маршем идут французы. Потеет Мишле.

Унести такое добро силы нужны немалые. Ранец плечи ему натирает. Рама тяжелая — полпуда в ней серебра, голову веткой к дороге клонит. Шуба длинная, полы волочатся — трудно в такой идти.

Отступает французская армия. Неустанно тревожат ее казаки. Кутузов в боях добивает.

Все больше и больше отставших среди французов. Плетется, как тень, Мишле. Отстает от своих солдат. Силы его покидают. Нужно с добром расставаться.

Дошли до Гжатска. Тут, когда наступали, Мишле раздобыл ковер. Вспомнил француз о хороших днях, поплакал. Кинул памирский ковер.

Дошли до Вязьмы. Тут достал дорогие подсвечники. Глянул на них. Вытер слезу. Бросил подсвечники.

Дошли до Смоленска — расстался с шубой.

Расстается с вещами Мишле. Жалко до слез добытого. Плачет Мишле. Ружье незаметно бросил, ранец откинул. Однако раму упорно тащит.

— Да брось ты проклятую раму! — кричат упрямцу товарищи.

И рад бы, да не может бросить Мишле. Не в силах Мишле расстаться. Ему богатства же были обещаны. Он, может, в Россию специально шел ради этой серебряной рамы.

Оставили вовсе солдата силы.

Отстал за Смоленском Мишле. Отстал, отбился и помер в дороге.

Лежит в придорожной канаве рама. Торчит из нее мародера лицо.

## СВАДЬБА

В каком-то селе под Сморгонью Кутузов попал на крестьянскую свадьбу.

Пригласили — не отказался.

Изба-пятистенок. Столы и лавки в длиннющий ряд. Место для плясок.

В ярких одеждах гости. Жених в рубахе небесного цвета. В розовых лентах невестин наряд.

Сидят молодые. Рядом Кутузов.

Вот так невидаль в русской деревне! Свадьба не то чтобы с каким генералом, а прямо с самим фельдмаршалом!

Вокруг избы все село собралось. Буйно идет веселье.

— Горько, горько! — кричат крестьяне.

Целуются молодые.

Идут пожелания:

— За то, чтобы полная чаша в доме!

— За здоровье отца навесты!

— За женихова родителя!

— За матерей! (И разом и по отдельности.)

И вдруг:

— Здоровья фельдмаршалу князю Кутузову!

Поднялся Кутузов с почетного места:

— Увольте, увольте! Я не жених,— и предлагает: — Слава матушке нашей — России. Богатырскому народу!

— За Россию! — кричат крестьяне.

Вернулся Кутузов в штаб свой с веселья. Окружили его генералы.

— Ваша светлость, вам ли по свадьбам мужицким ездить, здоровье свое не беречь.— И в адрес крестьян с укоризной.— Война кругом полыхает, а им хоть бы что, свадьбы себе играют. Как-то оно не совсем прилично.

— Прилично, прилично,— ответил Кутузов.— К мирной жизни народ стремится. Чует конец войны. Мир, а не бой, жизнь, а не смерть, исконно в душе россиянина.

## НОВЫЙ ПОХОД

1812 год. Декабрь. Неман. Граница России. Тот же мост, что летом полгода тому назад.

Идут по мосту солдаты. Только не в эту — в обратную сторону. Не чеканят больше солдатский шаг. Не бьют барабаны. Не пыжатся дудки. Знамен не колышется строй. Горстка измученных, крупица оборванных — чудом еще в живых, покидают французы российский берег. Жалкий остаток великой силы. Доказательство силы иной.

Вышли русские к Неману, остановились. Вот он, конец похода.

— Выходит, жива Россия!

— Жива,— произнес седоусый капрал.

Смотрят солдаты — капрал знакомый.

— Да, да не ты ли нам сказку тогда рассказывал?

— Я,— отвечает капрал.

— Значит, вырос телок в сохатого,— смеются солдаты.— Копытом злодея насмерть!

— Выходит, что так.

Легко на душе солдата — исполнен солдатский долг.

Стоят солдаты над обрывом реки, вспоминают былое время. Витебский бой, бои под Смоленском, жуткий день Бородинской сечи, пожар Москвы... Да, нелегок стал путь к победе. Будут ли помнить дела потомки... Немало пролито русской крови. Многих не счесть в живых.

Взгрустнулось чуть-чуть солдатам. Поминают своих товарищей. И радостен день, и печален.

В это время сюда же, к реке, подъехал со свитой Кутузов.

— Ура-а! — закричали солдаты.

— Спасителю отечества слава!

— Фельдмаршалу слава!

— У-у-ура!

Поклонился Кутузов солдатам:

— Героям отечества слава! Солдату русскому слава!

Потом подъехал поближе к солдатам:

— Устали?

— Устали,— признались солдаты.— Да ведь оно же конец похода.

— Нет,— говорит Кутузов.— Вам новый еще поход.

Смутились солдаты. К чему тут фельдмаршал клонит. А сами:

— Рады стараться! — Так армейский устав велит.

Отъехал Кутузов на видное место. Обвел он глазами войска. И голосом зычным (куда стариковская хрипь девалась!):

— Герои Витебска, герои Смоленска, соколы Тарутина и Ярославца, Бородинского поля орлы — незабвенные дети России! — Кутузов приподнялся в седле.— Живые, мертвые — стройся! Героям новый поход — в века!

# КРАСНОЕ ЗНАМЯ ТРУДА

## В ЛЕСУ У ЕМЕЛЬЯНОВКИ

Деревня Емельяновка лежала в стороне от проезжих дорог, верстах в трех от Петербурга. За деревней — лес, сразу за лесом — берег Финского залива.

Ничем не примечательна Емельяновка: домов в ней немного, жители мирные. Никаких историй, никаких происшествий. И лес как лес, ничего в нем особенного: сосна да береза, кусты колючей малины, заросль орешника. Редко кто забредал сюда из прохожих.

И вдруг...

Крутился однажды местный мальчишка Санька Лапин около леса, глянул — два неизвестных. Прошли неизвестные полем, осмотрелись по сторонам, скрылись в орешнике.

«Кто бы это? — подумал Санька.— Парни молодые, здоровые. Вдруг как разбойники!»

Хотел было мальчишка подкрасться к орешнику, да не решился. Обошел стороной, выбежал к заливу, смотрит — у берега лодки: одна, вторая, третья... Из лодок выходят люди, тоже озираются по сторонам и направляются к лесу.

Бросился Санька назад в деревню, к дружку своему Пашке Дударову.

— Паш, Паш,— зашептал он.— Люди, человек двести!

— Брось врать!

— Не сойти с места.

Побежали приятели к заливу. Смотрит Пашка — действительно лодки!

Помчались в лес. Идут осторожно, крадучись. От куста к кусту пробираются. Вышли к поляне — народу! Стоят полукругом. В центре — плечистый рабочий. Развернул красное знамя. Заговорил.

Обомлели ребята, залегли за кустом, притихли.

— Сегодня мы, петроградские рабочие, собрались сюда...— долетают до Саньки и Пашки слова оратора.— Нас мало сегодня, но близок час народного пробуждения...

Выступающий говорил долго, а кончил словами:

— Да здравствует наш пролетарский праздник!

Санька толкнул Пашку:

— Про что это он?

Пашка пожал плечами.

Вслед за первым рабочим выступил второй, затем третий, четвертый.

Все говорили о тяжелой доле трудящихся, о том, что надо бороться за лучшую жизнь, и снова о празднике.

Два часа под кустом пролежали ребята. Сходка окончилась. Рабочие начали расходиться небольшими группами. Переждав немного, поднялись и мальчишки. Идут, гадают: что же такое было в лесу, о каком это празднике говорили рабочие?

Вернулись ребята в Емельяновку, решили разузнать у старших.

Полез Санька к отцу, рассказал про сходку, про знамя.

— А вы не придумали? — усомнился отец.

— «Придумали»! Мы же видели. Мы под кустами лежали.

Пожал Санькин отец плечами. Ничего объяснить не смог.

Расспрашивали ребята у матерей, к тетке Марье ходили, к дяде Егору бегали. Да только никто ничего не знал о рабочем празднике.

Помчались ребята к деду Онучкину. Он самый старый, уж он-то, наверное, знает. Онучкин принялся объяснять, что праздники бывают разные: рождество, пасха, день рождения царя, день рождения царицы...

— Не то, не то! — перебивают ребята.

— Есть еще сретенье, крещенье, троицын день.

— Ты давай про рабочий праздник! — кричат ребята.

— Про рабочий? — старик задумался. Почесал затылок. Развел руками. Не слыхал он о таком празднике.

Так ничего и не узнали приятели.

А происходило в лесу у деревни Емельяновки вот что: русские рабочие впервые отмечали Первое мая. Было это давно, в 1891 году.

Только о том, что же это за праздник Первое мая и почему его отмечают, Санька и Пашка узнали не скоро — много лет спустя, когда уже выросли, когда сами стали рабочими.

## ОТПЕВАНИЕ

Запрещалось рабочим праздновать Первое мая. Нельзя им было в этот день собираться большими группами, устраивать митинги и демонстрации.

Приходилось рабочим идти на разные хитрости. Рабочие одной из московских окраин решили собраться на кладбище.

Сколотили гроб. Наняли батюшку. Шесть человек подняли гроб на руки. Остальные пристроились сзади. Процессия двинулась к кладбищу. Впереди шел батюшка и важно махал кадилом.

Теперь уже никто не мог разогнать рабочих. Даже городовые почтительно уступали дорогу.

В кладбищенской церкви «покойника» отпели. Батюшка махал кадилом и тянул:

— За упокой души раба божьего... Как звать? — спрашивал у рабочих.

— Николаем.

— За упокой души раба божьего Николая,— выводил батюшка.

Кончив отпевание и получив пять рублей по договоренности, батюшка удалился. А рабочие собрались в самом дальнем конце кладбища и провели митинг. Спели вполголоса революционные песни, прочитали первомайские прокламации.

Вечером кладбищенский сторож Тятькин, обходя могилы, наткнулся на незарытый гроб. Удивился Тятькин, приподнял крышку, глянул, а там такое, о чем и подумать страшно.

Сторож бросился к участковому надзирателю.

— Ну что тебе?

— Гроб, ваше благородие.

— Ну и что?

— Там в том гробу...— Тятькин стал заикаться.

— Ну, так что же в гробу?

— Его императорское величество, царь-государь Николай Второй,— проговорил Тятькин.

— Ты что, сдурел?!

— Никак нет,— крестился кладбищенский сторож.— Сам государь-император, изволю вам доложить.

Надзиратель пошел на кладбище. Заглянул в гроб, а в нем действительно, ну правда, не сам император Николай Второй, а царский портрет: при орденах, во весь рост, в военном мундире.

Началось следствие.

Тятькин ничего нового сообщить не мог.

Взялись за батюшку.

— Отпевал? — допытывался надзиратель.

— Отпевал.

— Кого отпевал?

— Раба божьего Николая.

— Идиот! — закричал надзиратель.

Батюшка долго не мог понять, за что такие слова и за какие такие провинности его, духовную особу, и вдруг притащили в участок.

А узнав, затрясся как осиновый лист. Трясется, крестится, выпученными глазами моргает.

— Кто был на сходке? — не отстает надзиратель.

Старается батюшка вспомнить. Не может.

— Разные,— говорит,— были. Человек сорок. И высокого роста и низкого. И молодые и старые. Аллилуйя еще кто-то здорово пел.

— «Аллилуйя»! — передразнил надзиратель.—Ну, а кто нанимал? Кто деньги платил?

— Плечистый такой,— оживился батюшка.— С усами. Руки еще в мозолях.

Стали искать. Да только мало ли среди рабочих широкоплечих да с усами. А руки в мозолях у каждого. Так и не нашли.

Обругал еще раз надзиратель Тятькина и батюшку. На этом дело и кончилось.

Рабочие были довольны. Шутка ли сказать — и Первое мая отметили, и самому царю устроили отпевание.

## ГРИША ЛОЗНЯК

Гриша Лозняк отбывал заключение в одиночной камере. Худ. Ростом мал. В плечах узок. Глянешь — ничего в нем особенного. Да и нраву Гриша был скромного. Ссор с надсмотрщиками не заводил. Тюремных правил не нарушал. Во время прогулок не разговаривал. Смотрели на него надзиратели и думали: «По глупости небось угодил парень, по недоразумению».

Раз в неделю приходила сестра, приносила передачу — всегда одно и то же: буханку хлеба, бутылку молока и четверть фунта дешевых конфет, но непременно в бумажках.

Звали ее Лизой. Была она под стать брату: худенькая и маленькая, совсем девочка.

Лиза терпеливо дожидалась своей очереди, робко протягивала корзину и уходила.

— Видать, пугливая,— говорили охранники.

Только все было не так.

Гриша сидел не случайно. Был он членом большевистской партии, печатником, и арестовали его при разгроме подпольной типографии.

И Лиза была вовсе не сестрой Лозняка. Она тоже состояла в большевистской партии и выполняла партийное поручение. Да и хлеб, молоко и конфеты приносила она неспроста. В конфетные обертки вкладывались письма от товарищей с воли. Сидел Гриша в тюрьме, а был в курсе всех новостей и событий.

Из хлеба Гриша делал чернильницы, наливал в них молоко и молоком писал ответы товарищам. А если к Гришиной камере приближались охранники, он проглатывал и «чернила» и «чер-

нильницу». Вы, наверное, знаете, что так писал письма из тюрьмы Владимир Ильич Ленин.

Приближалось Первое мая.

Гриша не раз принимал участие в первомайских маевках. Решил он и в тюрьме отметить рабочий праздник. Сообщил об этом соседям — заключенным, сидящим в других камерах. Сообщил стуком — специальным шифром. Вначале постучал в стену направо, потом в стену налево. Товарищи поняли, поддержали, в свою очередь сообщили соседям.

Вскоре о предложении Гриши Лозняка знали все политические.

И уже на следующий день стали в тюрьму поступать лоскутки красной материи: одному — запеченные в хлебе, другому — в пироге вместо начинки, третьему — засунутые в корешок книги.

Во время прогулок заключенные незаметно передавали лоскутки Грише, а он по ночам шил из них красное знамя.

И вот наступило Первое мая. Как и обычно, утром заключенных вывели на прогулку. Тюремный двор небольшой. Ходят они цепочкой по кругу. Десять кругов — тридцать минут. Тридцать минут — вот и вся прогулка.

Прошли заключенные круг, прошли два, и вдруг взвилось над арестантами знамя. Затрепетало в воздухе алым полотнищем. Потянулось к небу и к солнцу.

Смело, друзья! Не теряйте
Бодрость в неравном бою,—

запел Гриша Лозняк.

Родину-мать защищайте,
Честь и свободу свою! —

подхватили другие.

Забегали, заволновались охранники.

— Молчать! — кричат.— Молчать!

Не слушают заключенные:

Пусть нас по тюрьмам сажают,
Пусть нас пытают огнем,
Пусть в рудники посылают,
Пусть мы все казни пройдем!..

Приехал начальник тюрьмы. Окружили охранники со всех сторон заключенных, избили прикладами, погнали в вонючие подземные карцеры.

Две недели отбыли демонстранты в карцере. А потом разо-

слали их по другим городам, в разные тюрьмы. Был отправлен и Гриша Лозняк.

Привезли его в новую тюрьму, посадили в одиночную камеру.

Прошла неделя, и снова у Гриши появились «чернильница» и «чернила», снова он стал получать письма от товарищей с воли...

Худ Гриша. Ростом мал. Скромен. Глянешь — ничего в нем особенного...

## ПУШКА

Утром Первого мая жандармскому полковнику Голове-Качанову вручили письмо. Распечатал — в конверте листовка: «Да здравствует Первое мая! Долой самодержавие!»

Побледнел Голова-Качанов, схватил листок, понесся в жандармское управление. Собрал подчиненных. Выяснилось: такие же письма получили и ротмистр Галкин, и поручик Кутейкин, и жандармские приставы Тупиков и Носорогов, и другие жандармы. А вскоре к Голове-Качанову в управление начались телефонные звонки от разных именитых граждан: от фабриканта Рублева, купца Собакина, отставного генерала Атакина и от других. И им, оказывается, пришли такие же письма.

Схватился Голова-Качанов за голову. А тут еще ко всему жандармский пристав Носорогов возьми и скажи:

— Ваше высокородие, никак, мастеровые бунт задумали?

— По местам! — закричал Голова-Качанов.— Пулеметы на улицу! Пушку!

Бросились жандармы исполнять приказ. Расставили на уличных перекрестках пулеметы. А около жандармского управления поставили пушку. Носятся по городу полицейские, шпики. Однако в городе спокойно — никаких беспорядков. Только около пушки, что поставлена возле жандармского управления, крутятся мальчишки. Интересно ребятам. Многие пушку впервые видят. Все норовят подойти поближе. Самые смелые даже колеса, ствол трогают.

— Но, но! — покрикивает на ребят солдат.

Отойдут мальчишки, а потом опять за свое.

— Стрельни,— просят солдата.

К середине дня полковник Голова-Качанов успокоился. Повеселел. Но тут вбегает в управление пристав Носорогов и показывает полковнику бумагу.

— Ва-а... ва-а,— заикается,— ва-а-ше высокородие, извольте взглянуть. Только что содрал с пушки.

Глянул полковник — листовка: «Да здравствует Первое мая! Долой самодержавие!»

Опять побелел Голова-Качанов. Опять схватился за голову. А Носорогов снова свое:

— Ваше высокородие, не иначе, быть восстанию.

И снова забегали по городу жандармы и шпики. Приготовились пулеметчики. А Голова-Качанов приказал из пушки через каждый час стрелять холостым зарядом. Для острастки, чтобы все знали, что власть начеку.

То и дело к полковнику являются жандармские приставы и офицеры, докладывают, везде ли спокойно.

Пришел пристав Тупиков:

— Ваше высокородие, все в полном порядке.

— Молодец. Ступай.

Прибыл поручик Кутейкин:

— Ваше высокородие, все в полном порядке.

— Молодец. Ступай.

Прибыл и Носорогов:

— Ваше высокородие, никаких нарушений не обнаружено. Все в полном порядке.

— Молодец. Ступай.

Повернулся Носорогов, а сзади у него во всю жандармскую спину листовка: «Да здравствует Первое мая! Долой самодержавие!»

— Идиот! — взревел Голова-Качанов.— Под арест! На гауптвахту!

И снова по городу забегали жандармы и шпики. Снова залегли полицейские за пулеметы. Снова ударила пушка.

А тем временем рабочие собрались в загородной роще и спокойно отпраздновали Первое мая.

## БУДУТ — НЕ БУДУТ

В середине апреля на завод Полисадова приехала группа бельгийских рабочих. Привезли из Бельгии станки для завода. Вот и прибыли бельгийцы их устанавливать.

Приближалось Первое мая. Русские рабочие договорились в этот день на работу не выходить. Стали думать: а как же бельгийцы?

Одни говорят:

— Будут бельгийцы работать.

— Нет, не будут,— возражают другие.

О том же заспорили и заводские ребята. Колька Зудов за то, что бельгийцы будут работать, Ленька Косичкин, наоборот,— не будут.

— Не наших они кровей, не поддержат бельгийцы русских,— заявляет Колька.

— А вот и поддержат,— упирается Ленька.

Спорили, спорили, наконец решили: десять щелчков тому, кто проиграет.

В ночь под Первое мая Ленька спал плохо. А что, если Колька прав и бельгийцы приступят к работе? Пальцы у Кольки крепкие — влупит, так будь здоров.

И Кольке не спалось. А ну как прав Ленька! И хотя Колька щелчков не очень боялся, да неловко будет перед ребятами. Колька любил всегда быть правым.

На следующий день ранним утром помчались ребята к заводу. Были здесь и Колька, и Ленька, и Ленькина сестра — рыжая Катька, и еще человек десять. Интересно ребятам: чем же закончится спор?

В семь часов около заводских ворот появились бельгийцы. Вначале группкой в пять человек, потом еще пять, за ними и остальные.

Пересчитали ребята: все тут — двадцать один человек.

— Ну, говорил я? — торжествующе закричал Колька.

— Говорил.

— Подставляй лоб.

Спустились ребята в овражек, укрылись от ветра, засучил Колька рукав.

— Раз,— отсчитывает Колька,— два, три, четыре...

Бьет крепко. Морщится Ленька, язык прикусил от боли.

— Пять, шесть...

Крепится Ленька, а слезы сами из глаз выступают.

— Семь, восемь, девять, десять.

Только ударил Колька десятый раз, как смотрит — мчится сверху Ленькина сестра, рыжая Катька, кричит:

— Ушли бельгийцы, ушли с завода!

— Как — ушли?!

— А вот так и ушли!

Поднялись ребята из овражка, смотрят — и правда уходят бельгийцы. Впереди пять человек. За ними еще пять. Следом и остальные. Пересчитали ребята: все тут — двадцать один человек.

Ленька с кулаками на Кольку:

— Говорил я, говорил! Подставляй лоб.

— С какой же это стати,— стал возражать Колька.— Может, они снова вернутся.

Тут за Леньку вступились ребята:

— Не вернутся они. Не вернутся. Увидели, что наших нет, вот и ушли.

— Подставляй лоб! — опять потребовал Ленька.

Смирился Колька, подставил...

Возвращались мальчишки домой с распухшими лбами. В поселке встретили отцов.

— Кто же это тебя? — спросил Колькин отец у сына.

— Ну и ну,— подивился Ленькин отец.

— Это из-за бельгийцев,— вылезла рыжая Катька.

— Как — из-за бельгийцев?

Рассказала девчонка, в чем дело.

Рассмеялись рабочие.

— Говорите, не наших кровей. Вот и неверно. Кровь-то у нас пролетарская. Дело-то общее.

## НОВАЯ РУБАХА

Пообещал отец к маю Николке новую рубаху купить.

Соберутся, бывало, вечером мать, отец и Николкина сестра, Клава, заведут разговор о рубахе.

— Лучше белую, с пояском, навыпуск,— скажет Клава.

— Не настираешься. Надо темную, синюю,— заявит мать.

— Зачем же синюю,— возражает отец.— Мы ему купим красную, яркую, в маковый цвет.

Замирает сердце у Николки, глаза разгораются.

— Так какую тебе рубаху? — спрашивает отец.

— Мне бы с карманом, красную.

Расхвастался Николка про рубаху дружкам и приятелям. Стали и ребята спорить, какую ему рубаху купить.

— Пусть лучше матроску,— заявляет Зойка Носкова.

— С вышитым воротом выбирай,— советует Пашка Солдатов.

— Ш пуговкой, ш пуговкой на груди,— шепелявит Кузя Водичкин.

Бегает Николка среди заводских бараков, кого ни увидит — про рубаху рассказывает.

Повстречал рабочего Степана Широкого:

— А мне рубаху новую купят!

— Да ну?!

— Ей-ей!

Увидел слесаря Тихона Громова:

— А мне отец к маю рубаху обещал!

— Ты смотри! Добрый, выходит, отец.

— Добрый,— смеется Николка.

Встретил старика токаря Кашкина:

— Мне на май папка рубаху купит!

— Скажи на милость!

— Новую. С карманом. С пуговкой на груди. В маковый цвет,— хвастает мальчик.

Через несколько дней во всем поселке не было человека, который бы не знал про рубаху.

Уехал Николкин отец по делам в город Иваново.

— Ну, Николка,— прощаясь, сказал отец,— слушайся мать. Будет тебе рубаха.

Уехал отец и не вернулся. Случилась беда. Задержали в Иванове Николкиного отца жандармы, арестовали.

Опустело, изменилось в доме у Николки.

— Мам, мам,— пристает Николка.— А чего же папка не едет?

Прижмет к себе мать Николку, молчит.

Расплачется Николка.

— Тихо, тихо,— успокаивает братишку Клава.— Папка скоро вернется. Папка нас не забудет.

Незадолго до Первого мая рабочие устроили сходку. Заговорили о празднике, о рабочей выручке и солидарности. Были здесь и старик Кашкин, и слесарь Тихон Громов, и Степан Широков, и другие рабочие. Вспомнили товарищи о Николкином отце, вспомнили и о том, что пообещал отец к маю рубаху сыну.

— Купим ему рубаху,— решили рабочие.

Наступило Первое мая. Проснулся Николка и не поверил своим глазам: рядом на стуле — рубаха. Новая. С карманом. С пуговкой на груди. В маковый цвет.

— Папка, папка приехал! — закричал Николка.

Подошла мать. Не знает, что и сказать.

— Нет, не приехал папка,— ответила.— Не скоро приедет.

Смотрит Николка на мать: откуда тогда рубаха?

— Знаю, знаю! — закричал.— Папка прислал!

Мать глянула на сына. Думает, рассказать или нет про рубаху? Мал Николка. Глуп. Где ему понять про рабочую солидарность. Решила смолчать.

Надел Николка новую рубаху, помчался на улицу, кого ни увидит — хвастает.

Повстречал рабочего парня Степана Широкого:

— А мне папка рубаху прислал!

— Да ну?! — удивился парень.

— Прислал, прислал. Не забыл! — закричал Николка и помчался дальше.

Увидел слесаря Тихона Громова:

— А мне папка рубаху прислал!

— Ты смотри,— улыбается Громов.— Добрый, выходит, отец, вспомнил.

— Добрый, добрый! — смеется Николка.— Добрый!

Догнал старика токаря Кашкина:

— А мне папка рубаху прислал!

— Скажи-ка на милость,— говорит Кашкин.— И правда. Ну и рубаха!

— Новая, новая,— не умолкает Николка.— И про карман не забыл, и про пуговку, и про маковый цвет.

Прижал к себе Кашкин Николку, гладит по голове, а у самого на глазах слезы.

Поднял Николка голову:

— А ты чего плачешь?

— Это я так,— засмущался старик.— Беги. Играй. Май нынче... Рабочий праздник.

## УПРЯМАЯ ЛЬДИНА

Весна в этот год задержалась. Река набухла. Но лед не тронулся. Река взломала лед в ночь под Первое мая.

С утра на набережной собрался народ.

Одна за одной шли по реке огромные льдины, скрежетали, кружились, становились ребром и, поднимаясь тысячами брызг, снова ложились на воду.

Стоят люди — любуются.

Здесь же, у самой реки, нес свое дежурство и урядник Охапкин. Видит урядник, что собралось много народу, думает: «Ой, как бы беды не вышло. Первое мая. Как бы мастеровые чего не устроили».

Только подумал, как вдруг из-за поворота реки выплывает огромная льдина. Смотрит Охапкин и не верит своим глазам: на льдине красное знамя!

Повалил народ к самому берегу.

— Ура! — раздалось за спиной у Охапкина.— Да здравствует Первое мая!

Урядник растерялся. Схватил свисток. То в сторону толпы свистнет, то повернется и свистнет в сторону льдины.

Смеется народ. Стоит. Не расходится.

— Осади! Осади! Не толпись! — надрывает глотку Охапкин.

А льдина тем временем подплывает все ближе и ближе. Словно нарочно, направляется к самому берегу. Трепещется по ветру красное знамя.

Заметался урядник из стороны в сторону, что придумать, не знает. Остановился, набрал в грудь побольше воздуху и снова давай свистеть.

Свистит, а льдина уже и вовсе приблизилась к берегу, задержалась рядом с Охапкиным, стоит, упрямая, дразнится.

Разгорячился урядник, думает: «А что, если прыгнуть на льдину, содрать знамя, и делу конец?»

— Прыгай! — кто-то выкрикнул из толпы.

Охапкин и прыгнул. Прыгнул, а льдина словно только этого и дожидалась. Раз — и от берега.

— Караул! — завопил урядник.— Спасите!

Мечется Охапкин по льдине, забыл про свисток и про знамя, фуражка сползла на затылок, машет руками, молит о помощи. Только кому же охота ради урядника лезть в студеную воду?

— Поклон Каспийскому морю! — кричат ему.

— Счастливого плавания!

— С майским приветом!

Ударилась льдина о льдину, не удержался урядник, бухнулся в воду.

— Спаси-и-те! — еще раз крикнул Охапкин и камнем пошел ко дну.

Отделилась от толпы группа молодых парней. Бросились в воду. Вытащили перепуганного Охапкина на берег.

Стоит урядник, побелел, посинел, трясется, под общий смех крестится.

А льдина тем временем отплыла к середине реки, развернулась и пошла себе вниз по течению. Затрепетало, заиграло в весеннем воздухе красное знамя.

— Да здравствует Первое мая! — раздается над берегом.

## КРАСНОЕ ЗНАМЯ ТРУДА

Май встречали вместе, сразу тремя заводами.

Двинулись рабочие с Нагорной, с Литейной, с Маршевой и других улиц плотными колоннами в центр города.

С утра к своему заводу отправился и Гошкин отец.

— И я с тобой,— пристал было Гошка.

— Мал еще,— усмехнулся отец.— Сиди дома.

— Я тоже хочу,— упирается Гошка.— Я вот чего смастерил,— и показывает красный флажок.

— Дельный флажок,— похвалил отец, однако сына с собой не взял.

Остался Гошка. Покрутился он в комнате, сунул незаметно флажок за пазуху, направился к двери.

— Ты куда? — насторожилась мать.

— К Ваньке Серегину.

Выбежал Гошка во двор, сделал вид, что направляется к Ване Серегину, а сам — вокруг дома и ветром помчался на Нагорную.

Прибежал на Нагорную — народу! Идет по улице колонна рабочих. Впереди над головами — красное знамя.

Переждал Гошка, пока прошли рабочие, пристроился сзади. Только полез за пазуху за флажком, как вдруг:

— Домой! Марш! К мамке! — закричал какой-то рабочий.

— Так я с вами. Я Май встречаю.

— А ну-ка живо. Немедля!

Пришлось убираться.

Постоял Гошка, подумал, помчался на Литейную. Прибежал на Литейную — народу! Идет по улице колонна рабочих. Впереди над головами — красное знамя.

Пристроился Гошка к рабочим. Только полез за флажком, как вдруг:

— Ну, а ты зачем здесь?!

— Да я...

— Уши нарву. Домой!

Отстал Гошка. Постоял, подумал, помчался на Маршевую.

Прибежал — народу! Идет по улице колонна рабочих. Впереди над головами — красное знамя.

Подошел Гошка к рабочим, схитрил:

— Я к папке, к папке. Меня мамка послала. Мне нужно. Он впереди.

Раздвинулись рабочие, уступили дорогу Гошке. Добрался он до самого первого ряда. Перевел дух, глянул,— а рядом и вправду отец. Идет, красное знамя держит в руках.

Хотел Гошка незаметно юркнуть назад, да поздно.

— А ну-ка ступай сюда,— поманил отец.

Подошел Гошка.

— Тебе что ж, ни мать, ни отец не указ?

— Так я же, как все. Я тоже хочу. Я же вот чего смастерил,— вытаскивает Гошка из-за пазухи красный флажок.

Улыбнулся отец, доволен сыном. Засмеялись другие рабочие.

— Ты смотри — знамя!

— Настоящее!

— Красное!

Глянул отец на свое большое красное знамя, посмотрел на Гошкин флажок, опять улыбнулся, потрепал сына по голове:

— Ну, а теперь ступай к мамке.

— Да я...

Гошка не договорил. Из переулка наперерез демонстрантам выскочили солдаты с винтовками.

— Стой! — закричал офицер рабочим.— Стой!

Замедлили демонстранты шаг, остановились.

— Разойдись!

Сдвинули рабочие теснее ряды, окружили Гошкиного отца и знамя.

— В ружье! — скомандовал офицер.

Солдаты вскинули ружья.

— Сынок...— зашептал отец Гошке.— Сынок, беги!

Гошка не двинулся.

— Кому говорят, беги! — закричал отец. Он с силой оттолкнул мальчика.

Отлетел Гошка к самому тротуару. Стоит. Маленький. Глазенками хлопает. То на солдат, то на рабочих смотрит. Видит: поднял офицер руку. Прижали солдаты к плечам винтовки. Секунда — и стрельнут.

И вдруг:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе,—

запел Гошкин отец. Взмахнул он красным знаменем, и в тот же миг, в один шаг, словно один человек, рабочие двинулись навстречу солдатам.

— Пли! — прохрипел офицер.

— Папка! Папка! — закричал Гошка и бросился к демонстрантам. Подбежал, уткнулся в отцовские брюки.— Папка! Па-а-пка!

Наклонился отец, подхватил Гошку и посадил к себе на плечи.

Глянул мальчик: уступают солдаты дорогу рабочим, опустили ружья, сошли с мостовой.

— Пли! Пли! — хрипел офицер.

Да только никто офицера не слушал.

Улыбнулся Гошка, приветливо замахал красным флажком солдатам.

Прошли рабочие по Маршевой улице, повстречали тех, кто шел по Нагорной, кто шел по Литейной, кто шел по другим

улицам и площадям города. Стало людей много-премного. Заколыхалось не одно и не два знамени. Десятки красных знамен полощутся в майском небе. Гремит, не умолкает над городом песня:

Свергнем могучей рукою
Гнет вековой навсегда
И водрузим над землею
Красное знамя труда!

# ЦАРЯ СКИНУЛИ

## ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Жил Данилка в подвале высокого дома в Питере, на Литейном. Здесь Данилка родился, вырос и всех жильцов знал наперечет и в лицо.

Первый этаж занимала графиня Щербацкая. На втором — комнаты князя Пирогова-Пищаева. Еще этажом выше — тайный советник Горохов. А на самом верху — статский советник Ардатов. Жильцы все именитые, важных чинов и званий.

Много разного было за последние дни, с той поры, как произошла революция. Данилка даже устал удивляться. Но в этот день...

Принес Данилкин отец газету, развернул, глянул на сына.

— Ну,— сказал,— отныне ты — гражданин Российской Республики. Сам Владимир Ульянов-Ленин декрет подписал.

Не верится как-то Данилке, да и что такое гражданин Российской республики, не совсем ясно.

— А это важнее, чем статский советник?

— Важнее,— улыбнулся отец.

— И важнее, чем тайный?

— Важнее, чем тайный.

— И больше, чем граф?

— Больше.

— И выше, чем князь?

— Выше, выше,— смеется отец.

Бросился Данилка на улицу, побежал к дружкам своим и приятелям.

Встретил Ванюшку Дозорова.

— А у меня звание высокое, важнее, чем статский советник, важнее, чем тайный, больше, чем граф, выше, чем князь! Я — гражданин Российской республики! В газетах про это написано. Сам Владимир Ульянов-Ленин декрет подписал!

Побежал Данилка дальше, встретил Любу Козулину.

— А у меня звание высокое, высокое, важное, важное...

Многих повстречал в этот день Данилка и всем про одно и то же. Наконец утомился, сел возле дома. Сидит, думает: и откуда это Ульянов-Ленин узнал про него — Данилку. Кто бы это мог Ленину рассказать?! Думает и вдруг видит, мчит к нему рыжий Кирюха. Подлетел Кирюха, перевел дыхание и сразу же:

— Знаешь, кто я?! Я — гражданин Российской республики!

Данилка даже икнул от неожиданности.

— Какой же ты гражданин,— произнес он с насмешкой.— Это я гражданин. Это про меня в газетах написано.

— Про тебя,— присвистнул Кирюха.— Станут на тебя изводить бумагу.

Сжались от обиды в кулаки Данилкины руки. Подступил он к Кирюхе. Выбрал момент и в переносицу — раз!

Началась драка.

— Я гражданин...— пытается перекричать Данилка Кирюху.

— Нет, я гражданин...— вопит на всю улицу рыжий Кирюха.

Проходил в это время по улице рабочий парень. Он и разнял ребят. Те долго молчали, не говорили, в чем дело. А потом рассказали. Усмехнулся парень, полез в карман, вынул газету. Стали ребята по складам разбирать.

«Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов» — прочли они заголовок.

Далее шло о том, что всякие важные звания, чины и титулы отныне и навсегда отменяются. Не будет больше ни дворян, ни купцов, ни тайных советников, ни статских, ни князей, ни графов. «Устанавливается одно, общее для всего населения России название — Гражданин Российской республики»,— сообщалось в декрете.

Внизу была подпись:

Председатель Совета Народных Комиссаров

Вл. Ульянов (Ленин).

— Так что, выходит, оба вы правы,— заявил парень.— И ты гражданин Российской республики,— показал он на Данилку,— и ты,— показал на Кирюху,— и я — все теперь граждане Российской республики. Для всех простых людей Владимир Ильич Ленин написал этот декрет.

Поначалу, конечно, Данилке было обидно, что декрет написан для всех, а не только для него одного. Однако вскоре он понял, что так даже лучше. Получается, что Владимир Ульянов-Ленин никого не забыл: ни Данилкиного отца, ни Данилкину мать, ни дружков его, ни приятелей — всех вспомнил.

Зато что касается графини Щербацкой, князя Пирогова-Пищаева, тайного советника Горохова и статского советника Ардатова, то, видимо, ленинский декрет им не понравился. Сбежали они за границу. Ну и хорошо. Ну и скатертью дорога. Поселились в высоком доме на Литейном новые люди, такие же простые, как Данилкины мать и отец,— рабочие люди. Они стали не только гражданами, но и хозяевами всей страны.

# ШКУРИН И ХАПУРИН

Жили-были Шкурин и Хапурин. У каждого по заводу. У Шкурина — гвоздильный. У Хапурина — мыловаренный.

Друзьями они считались, приятелями. Оба богатые. Оба жадные. Оба на чужое добро завидущие.

Вот и казалось все время Шкурину, что доход у Хапурина с мыла куда больше, чем у него, Шкурина, с гвоздей. А Хапурину наоборот.

— Эх, кабы мне да шкуринские гвозди,— вздыхал Хапурин.

— Эх, если бы мне да хапуринское мыло,— мечтал Шкурин.

Встретятся они, заведут разговор.

— К тебе, Сил Силыч,— произнес Шкурин,— денежки с мыла золотым дождем сыплются.

— Не говори, не говори,— ответит Хапурин.— Это у тебя, Тит Титыч, от гвоздей мошна раздувается.

Разъедает их зависть друг к другу — хоть бери и меняйся заводами. Начнут они говорить про обмен. На словах — да, на деле — пугаются.

А вдруг прогадаешь.

Пока они думали и решали, наступил 1917 год. Стали земля, фабрики и заводы переходить в руки трудового народа.

Забегали Шкурин и Хапурин.

— Ох, ох!

— Ах, ах!

Чувствуют, что скоро очередь и до них дойдет. Только вот не знают, какой завод будут раньше национализировать. Хапурину кажется, что его — мыловаренный. Шкурину, что его — гвоздильный.

Сидят они, мучаются, гадают. И снова мысль об обмене приходит в голову и одному и другому. И снова боязно, страшно.

— Ой, обманет, обманет меня Хапурин!

— Перехитрит, разорит меня Шкурин!

Прошло какое-то время, и вот приносят Шкурину пакет из губернского Совета рабочих и крестьянских депутатов. Распечатал Шкурин пакет, вынул бумагу — в глазах потемнело. Так и есть: черным по белому значится — национализировать гвоздильный завод.

— Матушка, царица небесная, пресвятая богородица! — взмолился Шкурин.— За что? За какие грехи?! За что же меня? Почему не Хапурина?!

Бьет он перед образами земные поклоны, а сам думает: «А что, если немедля бежать к Хапурину и, пока тот ничего не знает, уговорить на обмен».

Однако и Хапурин в этот день получил точь-в-точь такую

бумагу. И он стал отбивать земные поклоны царице небесной. Отбивает, а сам думает: «А что, если скорее к Шкурину...» Прекратили они земные поклоны, помчались друг к другу. Повстречались на полпути. Второпях чуть не сбили один другого. Остановились, тяжело дышат.

— А я к тебе, милейший Сил Силыч,— наконец произнес Шкурин.

— А я к тебе, дорогой Тит Титыч,— проговорил Хапурин.

— Давай меняться заводами.

— Давай.

Поменялись они заводами. Довольны друзья-приятели.

«Здорово я его,— рассуждает Шкурин.— Хе-хе».

«Хе-хе,— посмеивается Хапурин.— Попался, голубчик».

Идут они важно по городу. Задрали вверх свои головы. Вошли в заводские конторы. А там уже новый, законный хозяин — рабочий класс.

— Привет вам, Шкурин! Привет вам, Хапурин! Приехали — слазьте. Кончилась ваша власть!

## ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО

«Ваше Величество» — так называли царя. Величество — значит главный. Главнее не может быть.

Не стало теперь Величества. Свергли царя. Свергли Его Величество.

И вдруг...

К отцу Пети Петрова Ивану Петрову явились его приятели, такие же, как и отец, рабочие-металлисты. Вошли они шумной группой.

— А мы за тобой, Ваше Величество,— обратились, смеясь, к отцу.

— Иду,— отозвался отец. Ушел он вместе с рабочими.

Петя стоял, как сраженный громом. «Вот кто, значит, теперь Величество. Хитрый отец — молчал!»

Побежал он на улицу. Встретил Катю Орлову. Шепчет Петя Кате на ухо: мол, знаешь, какое дело — отец у меня Величество.

Обидно Кате, что отец у Пети — Величество, а у Кати — простой рабочий.

Возвращается Катя домой. И вдруг...

Встречает Катя слесаря Громова. Остановился Громов и говорит:

— Поклон от меня отцу. Как там Его Величество?

Замерла Катя: ослышалась, видимо, Катя. Не может такого быть! А Громов опять свое:

— Смотри не забудь. Привет от меня Величеству.

Свернула Катя с дороги, помчалась к лучшей подружке — Наде Сизовой. Шепчет Катя на ухо Наде:

— Знаешь, какое дело — отец у меня Величество!

Умчалась от Нади Катя.

Обидно Наде, что отец у Кати — Величество, а у Нади — простой рабочий.

И вдруг...

Кто-то стучится в дверь. Бросилась Надя к двери. У порога стоит почтальон, протягивает Наде письмо.

— На,— говорит,— передай-ка Его Величеству.

— Кому?! — поразилась Надя.

— Отцу! — говорит почтальон.

Схватила Надя письмо. Не сидится Наде Сизовой дома. Вышла она на улицу. Побежала к Васе Козлову. Подлетела к знакомому дому. Что такое?!

Стоят у дома мальчишки, стоят у дома девчонки. Объясняет с крылечка Вася Козлов:

— Отец у меня Величество.

Смутилась Надя. Сколько же разных кругом Величеств? У Пети, у Кати, у этого Васи...

В это время на заводе окончилась смена. Возвращались отцы домой. Идут они по своей, по рабочей улице.

Шире, шире раздвинься, улица! Видишь, народ трудовой идет. Дорогу ему, дорогу! Дорогу Его Величеству!

## КРАСНЫЙ ОРЕЛ

Шагает. Шагает. Шагает. Не остановишь Советскую власть.

В горном высоком ауле жил у Расула дед. Здесь только орлы летают. Здесь ветры свирепые бродят. Тут горы забрались под самое солнце. Если на цыпочки встать — солнце можно рукой достать.

Далеко отсюда сакля Расула. Внизу, в плодородной долине. Примчались в долину красные конники, принесли весть о Советской власти. Слушал, слушал рассказы Расул: про землю, про мир, про товарища Ленина. Очень ясно молодой командир про новую жизнь рассказывал.

Целый день ходил по пятам за джигитом Расул, об одном и том же по нескольку раз расспрашивал.

— Значит, больше царя не будет?

— Нет,— отвечал джигит.

— И богатых князей прогонят?

— Сами они сбегут.

Подружился Расул с джигитом. Кинжал самодельный ему показал, про деда ему рассказал.

Утром простились гонцы с крестьянами, помчались джигиты дальше.

О многом узнал Расул. А как же там дед? Он высоко в горах. Кто же ему обо всем расскажет?

Рассказал бы Расул. Только маленький очень еще Расул. Не добраться мальчику в горы.

И вдруг вспомнил Расул: дед у него следопыт, дед у него охотник. Он с птицами с детства дружит, орлиную речь понимает. Орел — вот кто расскажет про все старику, вот кто в горы в момент слетает.

Вышел Расул из аула к реке. Видит, сидит на скале у реки непокорный небесный житель.

Бросился мальчик к скале.

— Эй! — закричал богатырской птице.

Глянул орел на Расула.

Объясняет Расул орлу про землю, про мир, про товарища Ленина. Просит: лети побыстрее в горы — к деду, Абдулкеримом, мол, деда звать, расскажи ему важную новость.

Переступил орел с лапы на лапу, кивнул головой, расправил могучие крылья.

— Не напугай! — кричит Расул.— Передай ему слово в слово.

Взмыл орел в поднебесье.

Прошло три дня, и вот спустился в долину старый Абдулкерим.

Глянул Расул на деда: в бурке тот новой, в черкеске новой, улыбается внуку дед.

Ясно Расулу: выполнил просьбу его орел. Бросился мальчик к деду:

— Это я ведь орла послал!

— Ты?

— Я, я,— не умолкает Расул.— Рассказал он про землю?

— Рассказал.

— А про мир?

— И про мир.

— А про товарища Ленина?

— И про товарища Ленина.

— Это все я,— торжествует Расул.— Правда, орел хороший?

— Правда,— ответил дед.— Хороший. И конь у него хороший.

Доволен Расул ответом. Однако подумал: «При чем же здесь конь? Эх, подпутал что-то старый Абдулкерим».

— Настоящий орел,— повторил старик, даже грудь свою

старую выпятил, подмигнул по-мальчишечьи внуку: — Красный орел.

Вовсе сбился с толку теперь Расул.

— Красный орел? Разве бывают красные?

— Бывают,— ответил дед.

Сокрушался потом Расул, как же он тогда у реки сам того не заметил. Может, солнце не так светило.

Стояла весна в Дагестане. Разносили джигиты великую весть.

## МАЛЬЧИК АКУТО

Где-то на Севере, на Крайнем далеком Севере, у ледовитого грозного моря, мальчик Акуто жил.

Пас он оленей. Огромное стадо. Тысяча с лишним голов. Только не мальчика это стадо, не отца его и не деда. Это шамана старого стадо. Акуто и трое других бедняков чужих выпасают оленей. Боится Акуто шамана. Боятся другие шамана. Он главный у них богатей.

Слышал Акуто, что где-то за тундрой, за горами, покрытыми лесом, в том краю, что зовется Россией, скинули люди своих шаманов. Не шаманы, не богатеи, а люди простые стоят у власти.

«Вот бы такое и в тундре»,— думает мальчик. Не пас бы Акуто стада шамана. Да и стадо тогда не шамана бы было. Разделили б оленей среди таких, как дед и отец Акуто,— бедных простых людей.

Мечтает о том Акуто. А между тем Советская власть уже подходила к тундре.

Оставил мальчик на день оленей. Побывал он в родительском чуме. Повидал и родных и соседей. Разговоры везде об одном: у шамана отнимут стадо, скоро будут делить оленей.

И правда: прибыл к стаду старый шаман. А вместе с ним и два его младших брата. Зло посмотрел на Акуто шаман, приказал поднимать оленей. Замер от счастья Акуто. Значит, стадо погонят к чумам, значит, будут делить оленей. И вдруг не к чумам — от чумов погнали стадо. Понял Акуто: богатеи решили угнать оленей. Значит, не будут делить оленей. Значит, пропало огромное стадо.

Весь день уходили погонщики все дальше и дальше в тундру. Ночью хозяин дал людям отдых. Длинны на Севере зимние ночи. Заснули на нартах в теплых мешках богатеи. Не может заснуть Акуто. Плакать готов Акуто. Но вот улыбка прошла по лицу мальчишки. Озорством заблестели глаза. Что-то придумал, видать, Акуто.

...Утро. Проснулся шаман. Проснулись два брата.

«Что такое? — не может понять шаман.— Где же стадо? Где же олени? И где же Акуто?!»

Смотрит волчьим взглядом шаман вокруг. Старым глазам не верит.

Ясно шаману: угнал мальчишка оленье стадо. К чумам назад повел.

Вскочили два брата, вскочил шаман. Бросились с криком они в погоню.

Мчится Акуто.

Мчат богатеи.

Вот все ближе, и ближе, и ближе, почти настигает мальчишку шаман. Не уйти от расправы Акуто. С кем ты тягаться решил, Акуто?

— Олешки, олешки! — кричит Акуто.— Олешки, олешки, быстрей!..

Мчится Акуто.

Мчат богатеи.

Нет, не уйти от шамана Акуто. Не увидеть родимого чума. Не спасти для людей оленей.

Вот уже рядом совсем шаман.

И вдруг... Что это там заклубилось над тундрой? Что подняло над тундрой снег? Смотрит вперед Акуто. «Не сон ли мне снится?» — решает Акуто. С той стороны, оттуда, где остались родные чумы, мчатся навстречу люди. Верхом на оленях, в оленьих упряжках. Это идет спасение.

Видит Акуто отца и деда, видит других людей. Заметил людей и шаман. Прекратил он свою погоню. Развернул побыстрей упряжку. Бросился ветром прочь.

Солнце поднялось над тундрой. Искрится под солнцем снег. Возвращаются к чумам люди. Стадо бежит по тундре.

— Олешки, олешки! — кричит Акуто.— А ну поживей!..

Едет верхом на олене Акуто. Счастья тебе, Акуто — маленький славный герой!

## ХОЗЯИН БОЛЬШОГО АРЫКА

Пришла Советская власть в Бухару. Далеко Бухара, за тысячи верст от центральной России, в Средней Азии, под знойным, палящим солнцем.

Редко идут тут дожди, не хватает земле воды. Вода здесь дороже жизни. Чтобы землю поить водой, роют в степях каналы. Называют их здесь арыками. У богатых баев в руках вода. У богатых баев в руках арыки.

И вдруг... Получите воду, простые люди! Побежала вода на поля крестьян, напоила иссохшие земли.

Богатый бай Султан Алимкулов, хозяин большого арыка, лишился теперь арыка. Проклинает бай Алимкулов Советскую власть. Его вода — на крестьянские земли! Как же воду отнять у крестьян? Выпить, что ли, ее из арыка? Выпил бы жадный бай, да невозможно такое сделать. Другое придумал бай...

Мальчишка Сабир Рахматов как-то вечером забрался к баю в абрикосовый сад. С кулак висят абрикосы. Такие большие только в этих краях родятся. И вдруг слышит Сабир шаги. Прижался к земле. Видит, идет хозяин. Шепчется с кем-то Султан Алимкулов. Различает Сабир слова. Речь об арыке, речь о плотине, о том, чтобы воду не дать крестьянам.

Ах ты проклятый бай! Ясно Сабиру, в чем дело. Испортить плотину решил богач. Про абрикосы Сабир забыл, быстрее помчался к дому.

Отец у Сабира, Рахмат,— бедный дехканин, так в тех местах называют крестьян. И отец у отца, то есть Сабира дед, старый Куддус,— тоже дехканин. И старший брат у Сабира, Гуфур, тоже делом крестьянским занят. Вырастет мальчик Сабир, и он бухарские земли возделывать будет. Понимает Сабир беду: уйдет из арыка вода — погибнут поля крестьян.

Всполошил мальчишка деда, отца и брата. Те разбудили своих соседей. Собрались крестьяне, побежали к плотине. Просидели там целую ночь. Однако бай Алимкулов не появился.

— Придумал мальчишка,— решили дехкане.

— Я слышал, я слышал! — твердит Сабир.

Только не очень Сабиру верят.

Поверил лишь дед Куддус. Новый спустился вечер. Снова дед с внуком пошли к плотине. Просидели вдвоем до утра. Зорче филина вдаль глядели. Шорох любой ловили. Алимкулова нет и нет.

Покачал головой Куддус. Да, ошибся Сабир, наверно.

— Я слышал, я слышал,— твердит Сабир. Смотрит на деда. Ясно: не верит дед.

Рассказал про бая Сабир мальчишкам. Разгорелись глаза у ребят. Каждый героем себя считает. Каждому верится в то, что бая они поймают. Едва дождались ребята вечера.

Улеглись у плотины мальчишки. Замерли. Ждут.

Ждали ребята, ждали. Животы и бока отлежали. Не появился проклятый бай.

Три ночи ходили к плотине мальчишки. Три дня возвращались они ни с чем.

Обозлились ребята:

— Это Сабир придумал!

Чуть не побили друзья Сабира. Не верит ему никто.

Поверила лишь Халида. Правда, девчонка — плохая помощь. Однако что же Сабиру делать, если только одна Халида во всем поселке Сабиру верит.

Снова спустился вечер. Отправились вместе они к плотине. Просидели вдвоем до утра. Зорче филина вдаль глядели. Шорох любой ловили. Алимкулова нет и нет.

Теперь и Сабира взяло сомнение. И если сказать по правде, не будь при Сабире тогда девчонки, неизвестно, чем бы история эта кончилась.

А так — поймали они злодея. Вернее, его спугнули. Едва появился бай, такого наделали шуму — прежде всего Халида,— что дехкане, хотя и спали они за версту, немедля вскочили на ноги.

Схватили крестьяне бая. Прогнали крестьяне бая.

Струится вода в арыке. Поит крестьянские земли. Ходит мальчик Рахматов Сабир по селу. Хозяин бухарской земли, хозяин арыка ходит.

## АВТОМОБИЛЬ

Наслушался Колька новых слов: «национализация», «экспроприация», «собственность Российской республики»...

Собрал дружков и приятелей, стал им растолковывать про новую жизнь.

— Экспроприация,— объяснял,— это когда у капиталистов и помещиков отнимают все их богатства. Национализация — когда эти богатства передают в руки трудового народа. Богатые, они живоглоты,— уточнял Колька.— У них силой брать нужно.

Не хочется ребятам отставать от общего дела. Стали они думать, что бы такое им экспроприировать и национализировать.

Один предложил футбольный мяч у генеральского сына Ардалеона Кукуева. Второй — конфеты и сахар из лавки купца Бондалетова. Третий за то, чтобы отнять говорящего попугая у графини Чичериной.

— Попугая,— передразнил Колька.— Зачем попугай трудовому народу. Фабриканта Заикина знаете?

— Знаем.

— Автомобиль «роллс-ройс» видели?

— Видели.

— Будем экспроприировать автомобиль.

Ребята так и замерли от неожиданности.

— Научимся управлять,— продолжал Колька.— Всех бесплатно станем катать по городу.

Прав Колька. Лучшего и не придумаешь!

На следующий день устроили ребята возле заикинского дома засаду. Дождались, когда подъехал «роллс-ройс» и ушел хозяин. Выбежали, облепили автомобиль со всех сторон. Колька залез в кабинку, отпустил рычаг тормоза. Поднавалились ребята, покатили автомобиль.

— Быстрей, быстрей! — кричит из кабинки Колька.

Катят ребята «роллс-ройс» и чем дальше, тем быстрее. Набирает машина скорость. Сидит Колька важный, довольный. Вцепился руками в руль.

Улица пошла под уклон. Закрутились колеса быстро, быстро. Ребята едва поспевают сзади.

— Держи его, держи! — вопит Колька. Да где уж. Разогналась машина, отстали ребята. Хочет Колька схватить за рычаг тормоза. Однако с перепугу растерялся — где рычаг, сообразить не может. Перешел автомобиль с правой стороны улицы на левую, выскочил на тротуар, и в дерево — бух! Вылетел из кабинки Колька. Лицом о булыжники — шмяк!

Поднялся на улице крик. Поняли ребята, что дело может дурным кончиться, и в разные стороны. Вскочил Колька и, тоже стремглав, от машины.

Вернулся Колька домой. Лицо распухшее. Синяк под глазом. Рубаха порвана.

— Боже! — всплеснула руками мать.— Никак опять с Гришкой Марафетовым дрался.

— Опять озоруешь,— обозлился отец.

Молчит Колька.

— Ну я тебе помолчу!

Потянулся отец за ремнем. Сложил его вдвое. Понял Колька — не будет пощады. Решил признаваться.

— Автомобиль,— произнес.

— Что автомобиль?

— У Заикина.

— Что у Заикина?

Рассказал Колька про экспроприацию.

Опустил Колькин отец ремень, усмехнулся.

— И всюду-то ему свой нос сунуть надо,— проворчала мать.— Всыпь, всыпь ему как следует, Митрофан Афанасьевич.

— Вот и всыплю. Ой, как всыплю,— отозвался отец.

Однако по тому, каким тоном говорила мать и как ей отвечал отец, Колька понял, что драть его сегодня не будут.

Ну и верно. За что же драть? Ведь Колька не для себя, для всего трудового народа старался.

# «МИССИСИПИ»

Любили ребята выходить к берегу Волги, смотреть, как отчаливает «Миссисипи». Два колеса. Две трубы. Две палубы. Загудит — мертвого из гроба поднимет. Вот бы на таком прокатиться!

Да только не про их честь «Миссисипи». Господа да разные важные баре заполняли палубы парохода. Сам владелец судна, дородный, широкогрудый, длиннобородый купец Митридатов, встречал пассажиров.

— Милости просим, в полное ваше удовольствие: отдельные каюты, ресторация, душ, буфет,— объяснял он каждому.

Димка Пухов, сын кочегара, побывал как-то на пароходе. То-то было потом рассказов.

— Машина у него — во! — разводил Димка руками.— Угля жрет — во! — привставал он на цыпочки.— Палуба — гладкая-гладкая. Лестницы коврами выстелены. А Миссисипи — это река в Америке.

Зиму с семнадцатого на восемнадцатый год пароход простоял в затоне. А с весны началась национализация речного транспорта. Пришла пора и Митридатову расставаться со своим «Миссисипи».

— Митридатову — крышка,— объяснял Димка приятелям.— Крышка и точка. Нынче хозяин пошел иной. Трудовой народ нынче всему хозяин. Во как!

Вот и пристали ребята к Димке, пусть, мол, он попросит отца-кочегара, а тот кого следует, устроить ребятам катание.

— Ишь чего захотели,— усмехнулся Димка. Однако мысль о катании и самому пришлась по душе.

— Порядок,— заявил он через несколько дней.

Вода в этот год стояла высокая. Волга разлилась на оба берега. Затопила она острова, соединила протоки, подошла к далекому сосновому лесу. Раздолье в такую пору на Волге. Ждут не дождутся ребята, когда же будет катание.

— Скоро,— успокаивает Димка.

Через день:

— Совсем скоро.

Еще через день:

— Завтра!

И вдруг ночью над Волгой раздался страшенный взрыв. Прибежали на рассвете ребята к крутому берегу, глянули вниз — нет «Миссисипи».

Не захотел Митридатов отдавать пароход трудовому народу, взорвал, затопил «Миссисипи».

— Эх ты, пропало катание.

Пока поднимали со дна реки, пока чинили, а затем красили пароход, прошло лето. А с осени ребята снова завели разговор про катание. Снова Димка говорит с отцом и опять заявил:

— Порядок.

Ходят ребята за Димкой:

— Скоро?

— Скоро.

— Совсем скоро.

— Завтра.

Прибежали ребята с самого утра к Волге, к крутому берегу, глянули вниз — нет «Миссисипи».

— Что такое? Где пароход?

А время было тревожное. Не смирились богачи с потерей земли, фабрик, заводов. Организовали они белые армии, пошли войной против молодой Советской республики.

Вот и уплыл на войну «Миссисипи». Установили на нем пулеметы и пушки, посадили красных бойцов, отправили бить белых.

Сгрудились ребята на волжской круче, рассуждают:

— Правильно.

— Мы подождем.

— Нам не к спеху. Пусть себе едут красные бойцы. Пусть бьют, разбивают белых.

— Вернется, вернется наш «Миссисипи».

## ДУРНОЕ СЛОВО

— И чего ты царя поминаешь! — кричала тетка Марья на дядю Ипата.— Что он тебе, царь, отец родной? Что ты его позабыть не можешь?!

— Отец не отец, а вроде как оно при царе лучше было,— отбивался дядя Ипат.

— Было,— передразнила тетка Марья.— Тебе при реставрации бородой трясти, может, оно и лучше было. А вот влез бы в мужицкую шкуру, то ли запел бы...

Вот уже больше месяца с той поры, как сгорело село Выселки, тетка Марья вместе с Ленькой живет в Москве у дяди Ипата. Живут они в Марьиной роще, на одной из московских окраин. Здесь в полуподвале старого покосившегося дома у дяди Ипата маленькая, с непроходящей сыростью на стенах, комната.

Удивительный был этот месяц. Помнит Ленька, как встречал их дядя Ипат, большой, грузный, с белой бородой, что козьими

рогами торчала в разные стороны. Он расцеловался с теткой Марьей, потом посмотрел на Леньку, сказал:

— Ленька, значит. Вот оно как. Ростом не вышел, да как-нибудь.

Дядя Ипат работал швейцаром на Тверской при ресторане. Думал в помощь к судомойке пристроить Леньку. Не получилось. Грянула Октябрьская революция. Хозяин бежал. Ресторан закрыли. Дядя Ипат остался и сам без места.

— Вот они, нонешние порядки,— ворчал старик.— Да, было времечко. Иные пошли времена.

И вот как-то собрался дядя Ипат в баню, взял с собой Леньку. Дыхнула на мальчика мыльным запахом московская баня, посмотрела со стен зеркалами, узорными дорожками легла под босые ноги.

— Прелесть-то какая,— говорил дядя Ипат.— Смотри, тебе такое впервой.

И Ленька смотрел.

Раздевался дядя Ипат чинно, не торопясь. Снял рубаху, бережно сложил ее. Погладил бороду. Потом долго сидел в одних подштанниках и все на людей посматривал. Народу набилось в этот день много.

Мылся дядя Ипат всласть. Плескался, фыркал, мылил свою длиннющую бороду и неистово натирал шею. Потом повел Леньку в парильное отделение. Окутало мальчика седым паром — дышать трудно. Смотрит по сторонам — полати, на них люди.

— Ох, ох! — вздыхает толстый господин.

— Поддай, поддай! — кричит молодой парень.

Бойко лупит себя по тощим бедрам какой-то субъект в пенсне. Растянулся на верхней полке и дядя Ипат. Сунул Леньке веник, наказал хлестать по спине. Хлещет Ленька, но не без робости.

— Ты что, силы в руках нет? — ворчит дядя Ипат.— Вот так. А-а-а, вот так,— и ежится от удовольствия.

Парился, парился старик и вдруг произнес:

— А при царе оно все же лучше было.

И сразу же на дядю Ипата посмотрел тот молодой парень. За ним и другие.

— Как же, вестимо, лучше,— повторил дядя Ипат.

— Правильно говорит товарищ с бородой,— прогудел толстяк.

— Что, кто сказал правильно? — крикнул субъект в пенсне, полез на полати, протянул руку, заговорил: — Граждане, мы боролись за свободу России.

— Кто боролся? Ты боролся?!

Кто-то стянул оратора вниз. Чья-то рука потянулась к бороде дяди Ипата.

— Бей его!

— Бороду на мочало!

Старик вскрикнул, поскользнулся и рухнул на пол. В парильню стали сбегаться люди, загромыхали шайками, заговорили нестройно, наперебой. Тощий субъект опять полез на полати.

— Граждане, мы боролись за свободу России...

На шум прибежал хозяин бани. Остановился растерянно в дверях, закричал:

— Господа! — потом передумал: — Граждане! — и наконец с мольбой: — Товарищи!

Шум не стихал. Кто-то схватил шайку и плеснул хозяину в лицо. Тот выплюнул воду, ругнулся и вышел.

Через несколько минут в бане появился вооруженный патруль. Здоровый детина в матросском бушлате, видимо старший, пытался перекричать собравшихся. Но снова никто не обращал внимания. Тогда матрос достал маузер и стрельнул.

И сразу все обернулись. Умолкли.

— Вставай, папаша,— проговорил матрос, подавая дяде Ипату руку.

Старик поднялся. С опаской посмотрел на матроса, на маузер.

— В чем дело? — спросил матрос.

Подбежал субъект в пенсне и заговорил быстро-быстро, словно боясь, что его опять оборвут на полуслове:

— Товарищ военный, вот этот,— указал на дядю Ипата,— вел враждебную пропаганду.

Матрос взглянул на человека в пенсне, потом на дядю Ипата, спросил:

— Было?

Старик растерялся, заморгал глазами, взялся рукой за бороду, отпустил, опять взялся.

— Было? — повторил матрос.

Дядя Ипат молчал.

— Он, изволю вам доложить,— не унимался тощий субъект,— так и заявил, что при царе было лучше.

— Собирайся, папаша,— проговорил матрос и показал рукой на дверь.

— Ты что же это? — спросил матрос, когда они вышли на улицу.— Чем же тебе Советская власть не угодила?

— Да она ничего. Она угодила,— ответил старик.— Только как же оно без царя! Оно вроде бы и несерьезно.

— Несерьезно? Ишь ты,— усмехнулся матрос.

Около Сухарева рынка матроса кто-то окликнул.

— Стойте здесь,— сказал он дяде Ипату и Леньке.

Однако едва матрос отошел, старик схватил мальчика за руку и поспешно шмыгнул в подворотню. Потом они лезли через какой-то забор, и Ленька едва поспевал за дядей Ипатом.

С того дня, как убежали они от матроса, старик жил в постоянной тревоге. Все ждал, что придут, арестуют. И вот наконец на пятый день в дверь постучали. Ленька было побежал открывать, но дядя Ипат крикнул:

— Куды? Стой, сиди на месте!

В дверь опять постучали. Потом было слышно, как шаги удалились. Старик перевел дыхание.

И вдруг снова раздались шаги. За дверью послышались голоса. Говорила тетка Марья:

— А чего ему быть не дома. Дома. Да заходите.

Дядя Ипат побледнел. Быстренько стал за занавеску, дернул за собой Леньку.

Дверь открылась, и в комнату вошли двое. Мальчик приложил глаз к дырке и все увидел. Один высокий, с портфелем в руке. Другой... с тем же маузером на боку, матрос, знакомый по бане. Вошедшие осмотрели комнату, матрос поднял глаза к потолку. И Ленька поднял. Там, в правом углу, проступало мокрое пятно. Посмотрел себе под ноги. Прогнившие доски образовали широкие щели, и из них несло сыростью.

— Так, значит, Ипат Игнатьевич Дремов,— проговорил человек с портфелем.

— Он самый,— ответила тетка Марья.

— А вы ему родная сестра?

— Сестра.

— Мальчик еще, говорите?

— Ленька. Сирота. Нашей сестры Варвары, стало быть, сын.

— Так, так,— проговорил высокий.— А мы к вам из районного Совета рабочих и солдатских депутатов.

— По важнейшему делу,— добавил матрос.

Ленька посмотрел на дядю Ипата. Старик стоял и, казалось, не дышал.

И вдруг Ленька задел ведро. Оно громыхнуло. Дядя Ипат вздрогнул. Пришедшие повернулись в их сторону. Матрос схватился за маузер:

— Кто там?

Дядя Ипат молчал и быстро, по-старушечьи крестился. Подошла тетка Марья, отвернула занавеску.

— Да куды ты залез! — закричала.— И бороду расправь. К тебе, чай, пришли.

Дядя Ипат взглянул на пришедших, увидел матроса, попятился.

— Хо-хо! — загудел матрос.— Монархист. Старый знакомый.

Дядя Ипат отступил еще на шаг, задел за лавку, шлепнулся на пол.

Матрос рассмеялся. А человек с портфелем бросился к дяде Ипату.

— Что с вами? Мы из Совета.— Он протягивал старику какую-то бумагу.— Вот ордер. Вас переселяют в благоустроенную квартиру. В дом генерала Инсарова.

Дядя Ипат поднялся, смотрел то на бумагу, то на матроса, то на тетку Марью и никак не мог понять, что к чему.

— Благодарствуй, благодарствуй,— толкала тетка Марья старика в бок.— Вот окаянный. Сдурел, что ли, от радости.

Новая комната оказалась на втором этаже. Была она большая и светлая, в два окна, на Садовой. Когда дядя Ипат в первый же вечер окунулся в мягкую широкую постель, он еще раз посмотрел по сторонам и сказал:

— Вон оно, как при царе жили! Да, было времечко.

— Да умолкни же ты, ирод! — обозлилась тетка Марья.

Дядя Ипат смолчал.

А еще через день Дремова пригласили в районный Совет и предложили работу — заведовать хозяйством при детском доме. Возвращался дядя Ипат довольный, перебирал свою белесую бороду. «Значит, приметили,— рассуждал.— Вот и Леньку теперь пристрою». И вдруг опять повстречал матроса.

— Хо-хо! — загудел матрос.— Монархист!

Дядя Ипат насупился.

— Ты это мне брось,— прикрикнул он на матроса. И, не поздоровавшись, прошел мимо.— Тьфу,— сплюнул старик с досады.— Эка же слово дурное выдумал. «Монархист»,— повторил про себя. Потом усмехнулся, успокоился и степенно двинулся дальше.

## УЧИТЕЛЬ

В деревню Малые Кочки приехал новый учитель. Матрос, балтиец, авроровец. Учитель он, правда, временный, до той поры, пока настоящий прибудет. Старый — сбежал, вот и понадобилась срочная замена.

Явился учитель в класс. Притихли ребята, ждут, когда тот начнет им про буквы рассказывать.

А матрос — раз и им про «Аврору». На следующий день про

штурм и про взятие Зимнего. Потом про партию большевиков, про Советскую власть и про Ленина.

Интересно ребятам. Уставят глаза на матроса, сидят, слушают.

Прошло несколько дней, стал матрос у ребят проверять, что те поняли и чего недопоняли.

— Что такое «Аврора»?

— «Аврора» есть революционный корабль Балтийского флота, тот, что по Зимнему из пушек стрелял.

— Молодцы, правильно! — хвалит матрос.— А что такое партия большевиков?

— Это та, что самая лучшая,— торопятся ответить ребята.— Партия большевиков за то, чтобы землю — крестьянам, заводы — рабочим, мир — всем народам.

— Верно,— кивает матрос головой.— Ну, а что такое Советская власть?

— Это, когда правят страной не царь, не буржуи, а сам трудовой народ.

— Так. А кто расскажет про Ленина?

— Я, я, я...— понеслись голоса.

— Говори, Еремей Торопыгин.

Вскочил Торопыгин.

— Ленин есть вождь всего трудового народа. Ленин в тюрьмах сидел. Ленин в ссылках бывал. Ленин всю свою жизнь за дело рабочих бился.

Доволен матрос. Смотри, какие умные стали ребята.

Стал матрос объяснять, как буква «а» пишется, как буква «б». Сколько будет один и один, сколько два и два. Дальше матрос не успел. Отозвали матроса.

Вскоре приехал настоящий учитель. Девушка-большевичка. Зоя.

— Ну, что вы здесь изучали?

— Про «а» и про «б».

— Про один и один, про два и два.

— Ну, а еще?

Жмутся ребята.

— Не успели мы больше, матрос уехал.

— Да, немного вы изучили,— говорит Зоя.— Видать, не очень прилежные?

Обидно слышать ребятам. Поднялся Еремей Торопыгин.

— Зато мы про Ленина знаем.

— Верно, верно! — закричали ребята.

— И про Советскую власть.

— И про партию большевиков.

— И про штурм, и про взятие Зимнего.

Улыбнулась Зоя.

— Кто же вам рассказал?

— Он, он, балтиец, авроровец!

Задумалась Зоя: «Молодец балтиец, с главного начал». Жалко ей, что не застала она матроса. И ребятам жаль, что матрос уехал. Так ведь матрос не учитель. У матроса свои, другие дела.

## ПРИЯТНОСТЬ

Тульский рабочий Артемий Теплов прислал в родную деревню письмо. Было оно коротким, всего в шесть слов: «Ждите гостей. Будет для вас приятность».

Чешут крестьяне в затылках, разводят руками, ломают головы.

— Непонятное что-то. Неясное. Кто же это приедет? Зачем? А главное, в чем же будет приятность?

Прошло дней десять. И вот прибыла из Тулы рабочая делегация. Да не просто так. Не с пустыми руками. Привезли рабочие серпы и косы, вилы, железные оси для тележных колес, петли, гвозди и прочую железную мелочь.

Мужики так и ахнули:

— Вот это приятность!

А с серпами, косами, да и другими железными изделиями была в ту пору в деревне беда-бедой. Кое-как перебивались крестьяне.

Разгорелись глаза у крестьян.

— Продавать будете?

— Нет,— говорят рабочие.

— Менять?

— Тоже нет.

Не поймут мужики, в чем дело.

— Привезли вам в подарок,— объясняют прибывшие.— От нас, от рабочего класса.

Удивились крестьяне.

— Бесплатно?!

— Ну да. От чистого сердца! Принимайте рабочий гостинец.

Как в сказке свалилось на мужицкие головы такое богатство.

Засуетились крестьяне, забегали. Потащили делегатов в избы, к столу.

Поели рабочие:

— Благодарим. Будьте здоровы. А нам пора назад, на завод.

Поклонились гости, уехали.

— Ну и дела.— Никак не могут прийти в себя мужики.— Чтобы задарма. По доброй охоте. Чудеса, да и только.

Вскоре приехал в село и сам Артемий Теплов.

— Ну как косы, как вилы? Была ли приятность?

— Была, была,— кричат мужики.— И косы хороши, и серпы, и вилы. А если говорить про приятность, то в том, что рабочий класс для нас вроде как брат родной, в этом главная есть приятность.

## СВИДЕТЕЛИ

Проснулся Фомка, поерзал на нарах, по малым делам помчался на улицу.

Ночь. Темно. Туман по улице стелется. Завернул Фомка за угол заводского барака, вдруг слышит — шаги.

Замер мальчик, прислушался. Шаги все громче и громче. Где-то рядом совсем. Насторожился Фомка. Видит, из темноты, из тумана появились три человека. Двое ящик какой-то тащат, третий несет лопату.

Всмотрелся Фомка — так это же бывший владелец завода Елизар Елизарович Мойкин. Мойкин с двумя сыновьями.

«Ящик. Лопата. Куда же это они?» — заинтересовался Фомка. Тихонько двинулся следом.

Мойкины шли к заводской водокачке. Поравнялись. Поставили ящик на землю. Принялись рыть яму. Роют, торопятся. Озираются по сторонам, прислушиваются.

«Клад зарывают»,— сообразил Фомка.

Переждал он, пока Мойкины не завершили свою работу, обошел вокруг водокачки, приметил место, вернулся домой.

Лежит Фомка на нарах, ворочается, заснуть не может. Утром чуть свет побежал к дружку своему, Капке Затворову.

— Капка, Капка,— тормошит Фомка приятеля,— вставай, Капка.

Продрал Капка глаза.

— Ну что тебе?

— Клад, клад!

— Какой еще клад?!

— Настоящий!

Рассказал Фомка Капке про ночную встречу. Вскочил тот, собрался.

Схватили ребята лопаты, бегут к водокачке.

— Там денег небось тысячи,— говорит Фомка.

— Деньги — что! Деньги — бумага. Там золото и бриллианты,— поправляет приятеля Капка.

Прикидывают ребята, что же им делать с такими богатствами.

— Пряников купим,— говорит Фомка.

— Пряники — что! — отвечает Капка.— Бисквит настоящий купим, безе или крем-брюле.

Смотрит Фомка на Капку. Ну и Капка — всегда-то он лучше придумает. Хоть что такое и бисквит, и безе, и крем-брюле Фомка не знает, однако виду не подает,— видать, что-то очень и очень вкусное.

Размечтались ребята. Матерям пуховые шали решили купить, сестрам ситцу на платья и ленты, отцам сапоги или штиблеты. Потом стали перечислять знакомых своих и соседей. Малининым фунтов десять крупы — едоков у Малининых много. Деду Харламову валенки. Инвалиду Зарубину новый костыль — он давно о новом мечтает. Слесарю дяде Вавилину шестиклинную кепку.

— Он большевик. Он не возьмет,— заявил Капка.

Прибежали ребята к заводской водокачке. Сразу за дело.

— Быстрей, быстрей! — командует Капка.

Толкутся ребята, мешают друг другу. Но вот наконец лопаты уперлись в ящик.

Тик-так, тик-так — слышат мальчишки.

— Часы это, часы-ходики,— произнес Фомка.

— Ходики,— усмехнулся Капка.— Это либо будильник, либо часы «Павел Буре» с боем.

Увлеклись ребята. Не заметили, как сзади подошел кто-то. Оглянулись, а это слесарь дядя Вавилин.

— Ну, что у вас тут?

Смутились ребята.

— Клад,— наконец произнес Фомка.— Там золото. Там часы тикают. «Павел Буре» с боем.

— Часы!

Вавилин поспешно нагнулся над ямой, прислушался.

— А ну, отходи! — прикрикнул на мальчиков.

Попятились те.

Протянул Вавилин к ящику руку, повозился, утихли часы. Поднялся он, вытер проступивший на лбу пот, усмехнулся.

— Клад, а ведь и вправду, что клад. Динамитом тот клад называется.

Оторопели ребята.

— Там же часы.

— Часы, да не те. Это механизм специальный для взрыва. Ну, а теперь докладывайте все по порядку.

Доложили ребята.

— Да,— произнес Вавилин.— Вот вам и «Павел Буре».

— Эх, пропали шали и ленты,— вздохнул Фомка.

— Шали и ленты — что! — отозвался Капка.— Водокачка ценнее.

Рассмеялся Вавилин:

— Молодец, Капка!

В тот же день Мойкин и оба сына его были взяты под стражу. Судили их строго по революционным законам.

Фомка и Капка тоже ходили на суд. И опять обо всем рассказывали. В протоколах суда числились они как свидетели. Однако и сам судья, и все сидящие в зале понимали, что тут что-то не так, что слово это не то. Какие они свидетели, они главные в этом деле.

## НЕБО

Пришла Советская власть в деревню Старые Дворики. Насмотрелись ребята, как взрослые делили господскую землю, живность и другое добро, размечтались.

— Эх, и нам бы придумать какой дележ.

А так как делить было больше нечего, все уже делено и переделено, то Колька Рябов вдруг предложил:

— Давай делить небо.

— Вот те раз, как же его делить?! — усмехнулись ребята.

— А вот так и делить. По-хорошему. Поровну!

— Это понятно. Ну разделим. А дальше. Что же с ним дальше делать?!

— Как что? Все что желаешь: избу ставь, паши, коней выводи в ночное.

Подивились ребята, забавно.

Было их четверо: Колька Рябов, Еремка Дударов, Гришатка Кобылин, Марфутка Дыгай.

Ладно, делить так делить.

Провели они по небу одну черту вдоль, другую поперек.

Кинули жребий — кому какой край достанется.

Соберутся ребята за селом на лугу. Плюхнутся в травы. Животы кверху. Глаза в небо. Хорошо, когда ты хозяин. Делай все, что взбредет тебе в голову.

Распахал свой участок Еремка Дударов под жито. Колосится, наливается янтарным колосом рожь. Вывел Гришатка Кобылин коней в ночное. Разжег костер у самого края неба. Разукрасила, заполнила васильком и ромашкой свою долю Марфутка Дыгай.

И Колька Рябов тут же со всеми. Глаза воспалились. Веки вразлет. Рот приоткрылся. И чудится Кольке дробь барабана. Слышится горна призывный звук. И знамя, красное знамя полощет по небу. Видит Колька себя. Верхом на лихом коне. С острой пикой наперевес.

А оттуда, где небо смыкается с полем, из-за тучи, прикрывшей закат, вдруг выползают несметные чудища.

— Бей их, бей их! Кроши! — мчит на врагов героически Колька.— Ура! — размахнулся рукой.

Еремка Дударов тронул друга за плечи:

— Чего это ты?

Смутился Колька, ничего не ответил. А в ушах по-прежнему конский цок. И рука не разжала пику.

То-то забав у ребят. То-то веселья. Выйдут на улицу в вечер. Головы ввысь. Звезды считают. Сколько каждому звезд перепало. Считают, считают, собьются со счета. Рассмеются, заспорят.

— Сначала! Сначала!

Снова работа.

А тут по весне, по первой грозе, босиком да по лужам примчались ребята к речке на мост.

— Ух, полыхает!

— Ух, громыхает!

Молния. Гром. Тучи кругом. Речка взыграла, словно хмель в берегах. По-разбойному ветер присвистнул. Горохом об стену — по бревнам дождь.

— Видать, к урожаю!

— Из нашего неба!

— А не хотели делить!

Дружно жили ребята. И вдруг. Дело было в начале лета. Опять на лугу собрались ребята. Снова лежат.

Каждый занят своим участком. Солнце катит по небу.

Шепчутся травы. Перепелка издала крик.

И вот тут-то Гришатка Кобылин заметил несправедливость: достался ему кусок неба с несолнечной, с северной стороны.

Насупился Гришатка, привстал:

— Обдурили!

Повскакали ребята. В чем дело?!

— Солнце себе, а мне дулю,— тычет Гришатка рукой на небо.

Смотрят ребята: верно.

— Так ведь по жребию,— произнес Еремка Дударов.

— По справедливости,— бросила Марфутка Дыгай.

— Хочу участок с солнцем, с солнцем,— не утихает Гришатка.— Арбузы хочу сажать.

Раскричались ребята. Не заметили, как перессорились. Надулись, разошлись по домам.

А дома задумались.

— Нехорошо это у нас получилось,— рассуждает Еремка Дударов.

— Зазря перессорились,— всплакнула Марфутка Дыгай.

И Колька подумал: «А ведь прав Гришатка — каждому солнца хочется».

Собрал тогда Колька Рябов снова ребят:

— Вот что, давай обобщим небо.

Уставились ребята на Кольку, а потом закричали:

— Правильно, правильно! Сделать общим, общим его!

— Солнце оно одно,— заявил Колька.— Пусть всем светит.

# РАССКАЗЫ
# О ВЛАДИМИРЕ ИЛЬИЧЕ ЛЕНИНЕ

## СТАРШОЙ

В Петроград в Смольный к товарищу Ленину прибыла группа крестьян-ходоков из Костромской губернии. В полушубках крестьяне, в лаптях, в шапках-ушанках, с котомками за плечами.

Людей в те дни в Смольном было полным-полно. Тут и рабочие, тут и крестьяне. Солдаты, красногвардейцы, матросы. От человеческих голосов Смольный гудел, как улей.

Идут костромские крестьяне, озираются по сторонам, разыскивают Владимира Ильича Ленина.

А в это время Владимир Ильич шел как раз им навстречу. Крестьяне к нему:

— Дорогой человек, где здесь старшой?

— Кто-кто? — переспросил Ленин.

— Старшой,— повторяют крестьяне.— Тот, кто нынче Россией правит.

— Ах, старшой,— усмехнулся Ленин. Осмотрелся Владимир Ильич вокруг себя.— Вот старшой,— показал куда-то за крестьянские спины, лукаво улыбнулся и пошел дальше.

Оглянулись крестьяне, видят: стоит в коридоре группа рабочих. Рядом с ними солдаты о чем-то спорят. Матрос-авроровец мирно цигарку курит.

Чуть поодаль столпились крестьяне. И тоже в полушубках, в лаптях, в ушанках. На спинах висят котомки. Тоже, видать, ходоки-пришельцы.

Смотрят костромичи то на рабочих, то на солдат, то на матроса, то на таких же, как сами они, крестьян.

— Э, какой же это старшой,— недоумевают костромичи.— Видать, ошибся тот человек с бородкой.

— Кого вам, отцы? — вдруг слышат крестьяне голос. Отошел от рабочих какой-то парень.— Вы тут впервые?

— Впервые. Нам бы к Ленину, мил человек.

— К Ленину?!

— Ну да, к Володимиру Ильичу.

Покосился на крестьян недоверчиво парень:

— С вами же Ленин сейчас беседовал.

У крестьян, как ворота, открылись рты.

— Кто? Тот человек с бородкой?

— Он самый,— ответил парень.

Рассказали крестьяне про их разговор с Владимиром Ильичем. Рассмеялся рабочий.

— Значит, старшого искали. Того, кто нынче Россией правит? А что,— задумался парень.— Верно ответил товарищ Ленин. Так если вам к Ленину, ступайте на третий этаж.

Подхватили крестьяне свои котомки.

— Ну и ну,— заявил один.— Непонятное что-то.

— Чудное,— согласился второй.

Смотрят они на третьего, самого старого. Однако третий стоит и молчит. Думает самый старый. Морщины, как волны, легли на лоб.

— Как же это понять, Афанасий Данилович? — полезли к нему крестьяне.

— Как? Как сказано, так и понять,— ответил старик и вдруг просиял улыбкой.

Поднялись крестьяне на третий этаж, подошли к кабинету Ленина.

— Вам к кому? — спросил секретарь у входа.

— К товарищу Ленину.

— Как доложить?

Глянул старик на своих, для пущего веса крякнул, вытер усы ладонью:

— Скажи, что пришел старшой. Тот, кто нынче Россией правит.

## НЕСОГЛАСНЫЙ

Крестьяне села Завидовки сдавали государству зерно. Сдали, а затем сообразили, что взяли с них лишку. Время было тяжелое, голодное, с едой плохо. Хлеб ценился дороже золота. Написали крестьяне в уезд. Им не ответили.

— К Ленину нужно, к Ленину,— шумел Иван Хомутов.— Ленин решит с пониманием. По закону Владимир Ильич рассудит.

Неловко крестьянам тревожить Ленина. Заколебались они.

— Да что там того зерна!

— Проживем без него, протянем...

— Э-эх,— не умолкает Иван Хомутов.— Кабы дело в одном зерне. Главное, мужики, в справедливости.

Убедил Хомутов крестьян. Избрали они делегатов — Хомутова, Петрова, Сизова, послали к товарищу Ленину.

Едут делегаты в Москву.

— Как Ленин решит, так, стало, тому и быть,— рассуждает в пути Хомутов.— У меня согласие с Лениным полное.

Принял Ленин крестьян, выслушал:

— Да, время у нас тяжелое, чрезвычайно тяжелое.

Насторожился Иван Хомутов. «Ой, не зря говорит про такое товарищ Ленин».

— Тяжелое, но не безнадежное,— продолжает Владимир Ильич.— Страна, бесспорно, преодолеет все трудности, и товарищи крестьяне, уверен, нам в этом помогут.

«Так и есть,— понимает Иван Хомутов.— Откажет Ленин в крестьянской просьбе».

И вдруг:

— Что же касается вас,— сказал Владимир Ильич,— то тут право полностью на вашей стороне. Лишний хлеб, взятый у вас, подлежит возврату.

Составил Ленин бумагу в уездный Совет, отдал ее делегатам.

Поклонились крестьяне.

Торжествует Иван Хомутов:

— Ну! Видели! Слышали! То-то! Оно-то! У меня согласие с Лениным полное.

В те годы рабочие и крестьяне, приезжавшие по разным делам в Кремль, часто получали талоны на обед в столовую Совнаркома. Получили их и завидовские делегаты.

Довольны крестьяне: и с Лениным повидались, и обед им будет сегодня на славу.

— Интересно! — поглаживает усы Иван Хомутов.— Это тебе не щей пустых похлебать, не кашу-размазню скушать. То-то будет о чем рассказать в деревне.

Пришли делегаты в столовую, приносят им первое. Глянули крестьяне — щи. Попробовали — жидкие, кислые. Вместо мяса по кусочку ржавой селедки плавает.

— Вот те и раз,— подивились крестьяне.

Приносят второе. И надо же — каша-размазня на второе. Без единой жиринки, на воде каша.

Хотели крестьяне достать из мешков привезенного сала, да постеснялись.

Поели, вышли из столовой крестьянские делегаты.

— Э, да это, видать, другая столовая,— сказал Иван Хомутов.— Это не совнаркомовская.

Отошли они шаг от двери, видят, по коридору идет Владимир Ильич. Идет быстро, пиджак нараспашку. Поравнялся:

— Как, пообедали?

— Да.

— Вот и отлично. У нас, говорят, каша сегодня превкусная.

«Ну и превкусная,— думает Иван Хомутов.— Может, Ленину будет другая каша».

Прошел Владимир Ильич в столовую. Вернулись крестьяне

к двери, смотрят за Лениным в щелку. Любопытно — что принесут на обед товарищу Ленину.

Смотрят и видят — несут Владимиру Ильичу все те же самые совнаркомовские щи, а следом за ними все ту же кашу.

— Вот так дела! — не сдержался Иван Хомутов.

Вернулись делегаты к себе в Завидовку.

— Ну как, принял вас Ленин?

— Принял.

— Просьбу уважил?

— Уважил.

— Бумагу дал?

— Дал.

Показали делегаты крестьянам бумагу.

Рады крестьяне:

— Снаряжай телеги, давай в уезд. Спасибо товарищу Ленину. Верно решил, по справедливости.

И вот тут-то:

— Нет, мужики,— покачал головой Хомутов.— Не было здесь справедливости.

Уставились крестьяне на Хомутова.

— Не было,— повторил Хомутов.— Несогласный я с Лениным.

— Ну и ну! Ну и слова! Что такое? — не могут понять крестьяне.— Может, в дороге Иван рехнулся. Может, он с радости не понимает? Сам же больше других кричал и сам же, выходит, против.

Расшумелись крестьяне.

— Да тише вы, тише,— оборвал Хомутов.— Сало едите?

Переглянулись крестьяне:

— Едим...

— Хлеб в закромах считай что имеется?

— Ну, скажем, имеется.

— С голода вроде пока не пухнете?

— Нет,— отвечают крестьяне.

— То-то!

Рассказал Хомутов про обед в совнаркомовской столовой.

Смутились, притихли крестьяне.

— Нет, неверно, что Ленин бумагу дал. Несогласный я с Лениным. Несогласный,— повторил Хомутов.— Не было в том справедливости.

# РАЗ, ДВА, ТРИ

Редко удавалось Владимиру Ильичу оторваться от срочных и важных дел.

И все же — нет, нет — выкроит Ленин время, сядет в автомобиль, уедет за город куда-нибудь прямо в лес.

Выйдет Владимир Ильич из машины, снимет кепку, заложит руки за спину, пойдет бродить между берез и елей.

Идет Владимир Ильич не торопясь. Увидит белку, остановится, на белку посмотрит. Услышит птичий щебет, подымет голову, смотрит на птиц. Ползет по траве букашка. На букашку Владимир Ильич посмотрит. На гриб залюбуется, на нехитрый лесной цветок. Все интересно Ленину. Отдыхает в такие минуты Ленин.

Походит Владимир Ильич по лесу, вернется в Москву. Снова садится работать до поздней ночи.

В одну из прогулок, выйдя в лесу на поляну, Ленин увидел девочку.

Девочка маленькая. С чужого плеча пальтишко. Из-под платка косичка на мир глядит. Стоит она у березы и горько плачет. Держит в руках лукошко. В лукошке гриб, всего один — подосиновик.

— Ты что же плачешь? — спросил Владимир Ильич.

Не ответила девочка. Даже сильнее еще заплакала.

— Ну вот, такая большая девочка,— покачал головой Владимир Ильич.— Не стыдно тебе?

Не помогло.

Видит Ленин — упрямая девочка. Порылся Владимир Ильич в кармане, наклонился к лукошку:

— Раз, два, три — появись на дне орех! — И смотрит на дно лукошка.

Девочка заинтересовалась. Стихла. Заглянула она в лукошко, правда — лежит орех.

«Вот это да!» — поразилась девочка. Вытерла слезы, смотрит удивленно на Ленина.

— Как же тебя зовут? — спросил Владимир Ильич.

— Варя.

— Что же, Варя, с тобой случилось?

— Заблудилась,— прохныкала девочка.

— Где же твой дом?

— Я из Мироновки.

— Не тужи. Разыщем твою Мироновку.

Взял Ленин Варю за руку, повел чуть заметной тропкой к автомобилю.

Идут они лесом.

— А где же твои грибы?

Неудачлива Варя. Не попались Варе в лесу грибы. Пусто в ее лукошке.

— Нехорошо возвращаться домой с пустыми руками,— сказал Владимир Ильич.— Это дело надо поправить.

Свернул Владимир Ильич с тропинки, остановился и вдруг:

— Раз, два, три,— появись-ка белый гриб!

Глянула девочка, верно — гриб. Гриб боровик. Толстая ножка, мясистая шляпка, под дубком, как солдат, стоит. Наклонилась Варя, а рядом еще один гриб, чуть дальше стоит и третий. За третьим еще и еще. Собрала их девочка — полно лукошко. Смотрит удивленно на Ленина.

Прошли они лесом еще немного. Остановился Ленин, хитро глаза сощурил и вдруг:

— Раз, два, три — появись автомобиль!

Глянула Варя за куст, за елку. Ну и чудо, чудо из всех чудес — стоит на полянке автомобиль.

— Что же, садись,— сказал Владимир Ильич и открыл перед Варей дверцу.

Лезет Варя, торопится.

Покатил автомобиль сначала по лесной дороге, потом полем — с бугра на бугор. Поворот. Вот и мелькнула Мироновка.

Только не рада Варя теперь Мироновке. Жалко ей, что вот и кончается все.

Довез Ленин девочку до самой околицы, помахал на прощанье рукой, уехал.

Прибежала Варя домой, рассказала, как заблудилась она в лесу, как появился потом в лесу незнакомый ей человек. Про чудеса рассказала: про автомобиль, про грибы, про орех.

— Он все, что желаешь, может,— шептала Варя.— Вот он какой человек.

Долго потом гадали в Мироновке, какой же такой человек Варю из лесу вывел.

## СРОЧНЫЙ ВОЕННЫЙ ГРУЗ

Бушевала гражданская война. Трудное было время.

Из Сибири в Москву шел железнодорожный состав. Прибыл состав в Челябинск. Забиты пути вагонами. Не хватает для всех паровозов. Стоят поезда. Затор.

Пошел начальник сибирского поезда к начальнику станции.

— Что такое?

— Срочный военный груз.

— Чье указание?

— Товарища Ленина.

Пропустили сибиряков вне очереди.

Прибыл состав в Самару. Забиты пути вагонами. Не хватает для всех паровозов. Стоят поезда. Затор.

Пошел начальник сибирского поезда к начальнику станции.

— Что такое?

— Срочный военный груз.

— Много срочных, много военных,— пробурчал недовольно начальник станции.

Достает бумагу начальник поезда.

— Чье указание?

— Товарища Ленина.

Пропустили состав вне очереди.

Прошел он Сызрань, Кузнецк, Рязань. Уступают ему дорогу.

— Срочный военный груз!

— Срочный военный груз!

— Указание Ленина!

— Указание Ленина!

Прибыл состав в Москву. Открыли вагоны. В вагонах мешки с мукой.

— Вот так срочный!

— Вот так военный!

Позвонили Владимиру Ильичу:

— Владимир Ильич, ваше имя незаконно использовали.

— Что случилось? Слушаю вас, товарищи.

Объясняют Ленину про вагоны, про хлеб. Про то, что хлеб доставлен как срочный военный груз.

Слушает Ленин.

— Так, так.

— Надо наказать виновных, Владимир Ильич.

— Так, так...

— Строго, со всей революционной суровостью, по законам военного времени.

Повесил Владимир Ильич трубку. Достал из стола бумагу. Сообщалось в бумаге о том, что время тяжелое, время суровое, что очень трудно в Москве с продуктами, что голодают, что умирают от голода московские дети. Просьба была в бумаге: доставить московским детям хлеб побыстрей из Сибири.

Читает бумагу Ленин. Вспоминает тот день, когда пришли к нему с этой бумагой московские рабочие. Выслушал Владимир Ильич тогда рабочих и распорядился: доставить хлеб московским детям как срочный военный груз. И расписался: «Ульянов-Ленин».

# ФОМКА И НЮТКА

Не послушался Фомка совета Нютки. В первый раз не послушался.

Крестьяне села Кашино построили электростанцию. Строили дружно, все вместе. Электростанция хоть и маленькая, зато первая в тех местах. Появились в деревне столбы. К домам провода протянулись.

Радость у всех огромная.

— Первая! — торжествуют крестьяне.— Построили! Своими руками! Вот оно как!

Пригласили кашинцы на открытие электростанции Владимира Ильича.

Согласился Ленин. Собрался он в Кашино вместе с Надеждой Константиновной Крупской.

— Интересно, на чем же они приедут,— стал прикидывать Фомка.— Телегу за ними небось пошлют.

— Телегу! — усмехнулась Нютка, посмотрела на Фомку.— На автомобиле они прибудут — во!

Верно. Гости приехали на автомобиле.

Хорошо их встретили в Кашине, с оркестром.

— Сейчас «Интернационал» заиграют,— сказала Нютка.

Верно: сыграли «Интернационал».

Нютка все знала. Была она старше Фомки, смышленее и умнее. Ходил Фомка за Нюткой, словно телок. Во всем слушался.

— А теперь их в избу поведут,— вновь объясняет Нютка.

И опять не ошиблась девчонка. Гостей повели в избу погреться с дороги — дело было глубокой осенью,— отведать крестьянского угощения.

Собрались ребята возле избы. Ждут, когда выйдет на улицу Ленин. Смотрят, еще кто-то приехал к ним в Кашино. Идет по улице человек, ящик висит за спиной, в руках у него тренога.

— Ой, что будет, что будет! — зашептала Нютка на ухо Фомке.

Смотрит Фомка на Нютку: что же такое будет?

— Фотограф приехал,— сообщила Нютка.

И правда. Из города Волоколамска приехал фотограф. Подошел он к избе, стал расставлять треногу.

Глазеют ребята. Им такое впервой. А Нютка уже снималась. В Волоколамске она бывала.

— Когда будут сниматься,— наставляет приятеля Нютка,— становись в первый ряд. Норови поближе к фотографу. Никто не заслонит.

Кивает Фомка: мол, как же, конечно, мол, понял.

— Не торопись. Выжди,— не унимается Нютка.— Пусть раньше другие сядут.

Не любил Владимир Ильич фотографироваться. Но тут согласился.

— Только все вместе,— сказал крестьянам.— Общей давайте группой.

Притащили кашинцы лавки, скамейки. Расселись. Вместе со всеми сунулись было дети.

— Кыш, кыш! — закричали на них крестьяне.

— Зачем же,— сказал Владимир Ильич,— пусть и дети будут рядом со всеми.

Бросились ребята к Владимиру Ильичу, каждый старается сесть поближе.

Рванулся и Фомка.

— Стой, не беги,— дернула Нютка дружка за руку.

Ослушался Фомка. Не удержался на месте. Побежал он со всеми и в общую кучу бухнулся.

А Нютка выждала. Потом важно уселась впереди всех на самом открытом месте.

— Внимание! — крикнул фотограф.— Раз, два. Снимаю! Готово.

До вечера пробыл Владимир Ильич в Кашино. Походил по селу, выступил на крестьянском митинге, посмотрел, как зажегся электрический свет.

— Чудеса, поистине чудеса! — восхищался электростанцией Ленин.— Прекрасный пример. Вот что значит, когда люди вместе берутся за общее дело. В этом огромная сила!

— Одобряет,— шептались крестьяне.— Оно же точно: когда все разом — сила людская множится.

Простился Владимир Ильич, пожелал крестьянам успехов, уехал.

Уехал и волоколамский фотограф. А через несколько дней прислал он крестьянам снимок.

Собрались крестьяне. Отличная фотография — ясная, четкая. Вот Владимир Ильич сидит, вот рядом с ним Надежда Константиновна, вот дед Курков, вот Родионов, Семенов, старуха Кашкина, другие крестьяне. А вот и ребята — все вместе, все рядом. Много их. Если считать — собьешься.

Ищет каждый себя. Ищет и Нютка.

«Ну,— думает,— я на самом видном, на главном месте».

Смотрит Нютка. Нет Нютки. Вместо девчонки — край платка у обреза темным бугром торчит.

Не попала на снимок Нютка.

А Фомка попал. Если глянуть на фотографию, сидит он по

самому центру. Только отцовская шапка чуть на глаза наехала. Не успел впопыхах шапку поправить Фомка.

Не послушался Фомка Нютки. Захотел быть со всеми. Не ошибся. Правильно Фомка сделал.

## НАСТОЙЧИВЫЙ

В Москве, в Кремле, под председательством Владимира Ильича Ленина шло заседание. Обсуждались вопросы, как быстрее и лучше восстановить разрушенное войной производство. Приехали представители из разных городов России. Выступал один из таких представителей, товарищ Петров-Сорокин.

Выступает Петров-Сорокин, а сам нет-нет на Ленина глаза скосит. Наблюдает, внимательно ли слушает его Владимир Ильич. Вдруг заметил: взял Владимир Ильич какие-то бумаги. Придвинул к себе, углубился в чтение.

Замолчал, остановился Петров-Сорокин. Обидно ему, если Владимир Ильич его слов не услышит.

Остановился. И вдруг Ленин:

— Продолжайте, товарищ, продолжайте. Вы сказали: «В нашей работе мы испытываем большие трудности. Много у нас еще разных недостатков». Итак, какие же недостатки, какие трудности вы испытываете?

Опешил Петров-Сорокин. Слово в слово повторил его Ленин.

Продолжил Петров-Сорокин свое выступление. Сообщил о недостатках. Сказал о трудностях. Выступает Петров-Сорокин, а сам вновь нет-нет на Владимира Ильича посмотрит.

Слушает Ленин. Прошла минута, вторая. Видит Петров-Сорокин — потянулся Владимир Ильич к чистому листу бумаги. Придвинул к себе, стал что-то быстро писать. Остановился опять оратор. Образовалась пауза. Оторвался Владимир Ильич от листа́ бумаги. Повернулся к Петрову-Сорокину:

— Вы сказали: «Больше всего нас беспокоят дела с налаживанием транспорта. Нас очень подводят товарищи...» Какие товарищи. Продолжайте, продолжайте.

Продолжает Петров-Сорокин свое выступление. А самого так и тянет вновь посмотреть на Ленина. Видит, подошел к Ленину секретарь, что-то стал говорить Владимиру Ильичу. Ленин что-то отвечает.

Яснее ясного Петрову-Сорокину: не может же Владимир Ильич в одно и то же время и отвечать секретарю, и следить за его выступлением.

Снова он сделал паузу.

— Продолжайте, продолжайте,— помахал ему рукой Влади-

мир Ильич.— Продолжайте. Вы сказали: «У нас есть просьба к Совету Народных Комиссаров». Итак, какая же это просьба?

В перерыве Петров-Сорокин ходил по залу и все поражался изумительному дару Владимира Ильича сосредоточить свое внимание сразу на двух, на трех вещах.

— Вот это да! Вот это да!

К одному подошел, к другому...

Но знали другие эту поразительную особенность Владимира Ильича. Масса у Ленина всяких дел, любой минутой дорожил он. А тут Петров-Сорокин трижды отрывал Владимира Ильича от работы. Кто-то даже сказал с укором:

— Эх ты, Репей-Сорокин!

Расстроился очень Петров-Сорокин. Хотел тут же побежать извиниться перед Владимиром Ильичем. Сделал шаг. Поднял глаза — видит, Ленин идет по залу. Увидел и Ленин Петрова-Сорокина. Подошел.

— Молодец, хорошо выступали,— сказал Владимир Ильич, обращаясь к Петрову-Сорокину.

Даже за то, что прерывал он трижды Владимира Ильича, и то похвалил:

— Вижу, вы человек настойчивый!

## ПУГОВИЦА

Заметил как-то Владимир Ильич, что на кармане пиджака одного из сотрудников Совнаркома оторвана пуговица. Заметил. Смолчал. Прошел мимо.

Случилось так, что и на второй день встретил Владимир Ильич того же сотрудника. Смотрит. Все так же нет на пиджаке пуговицы.

Не оказалось ее и на третий день. Лишь на четвертый видит Ленин — пришита пуговица.

«Наконец-то»,— порадовался Владимир Ильич.

Стояло время, когда в стране было особенно трудно с хлебом. Его не хватало в городах и рабочих поселках. Хлеб был в селах, но его укрывали кулаки — деревенские богатеи.

Для того чтобы обеспечить население городов хлебом, в разные концы страны были посланы продовольственные отряды. Начальником одного из таких отрядов предложили назначить и того сотрудника Совнаркома, которому Ленин собирался сделать замечание про пуговицу.

Заколебался Владимир Ильич.

Говорят Ленину:

— Человек дельный.

— Человек заслуженный.

— Человек исполнительный.

Хотел Владимир Ильич сказать про пуговицу. Да смолчал.

Уехал сотрудник во главе продовольственного отряда.

Прошло какое-то время. Докладывают Ленину: мол, так и так, не справился сотрудник с порученным ему делом. Сожгли кулаки собранный продотрядом хлеб.

Не предусмотрел, не побеспокоился, не обеспечил сотрудник вовремя надежной охраны хлеба.

Были и такие, кто взял под защиту начальника продовольственного отряда:

— Владимир Ильич, произошла случайность.

Слушает Ленин. А сам на листке бумаги что-то рисует. Заинтересовались другие. Что там рисует Ленин? Глянули на бумагу. На бумаге нарисована пуговица.

## КАТЕГОРИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ

Для обследования здоровья Владимира Ильича из-за границы был приглашен профессор. Ленин долго противился.

— Дорого, дорого,— говорил Владимир Ильич.— Это излишняя роскошь. Я же совсем здоров.

Но под напором врачей вынужден был согласиться. Приехал профессор. Начал осмотр пациента. Прослушал трубкой, простукал пальцем.

— Чем хворали? Как аппетит? Как сон?

Внимателен очень профессор. Понимает: перед ним стоит великий пациент. Запоминает профессор и рост, и вид, и улыбку, и взгляд пациента. И как тот держит себя, и как говорит, и какого цвета глаза, и какого оттенка волосы.

К концу осмотра профессор сказал:

— А я, признаться, вас представлял другим, господин Ленин. Был уверен, что вы с бородкой.

Смутился пациент и говорит:

— Простите, но я не Ленин.

Действительно, это был не Ленин, а кто-то из сотрудников Совнаркома.

Извинился профессор, сказал:

— Пардон.

Вновь открывается дверь в кабинет. Входит человек невысокого роста. Плотный. С бородкой. Глянул профессор: «Он!»

Начал профессор осмотр пациента. Прослушал трубкой, простукал пальцем.

— Чем хворали? Как аппетит? Как сон?

Внимателен очень профессор. Неторопливо ведет осмотр.

— Прилягте!

— Привстаньте!..

— Закройте глаза, протяните руки...

— Вдохните глубже.

— Скажите «а».

Когда прощались, профессор сказал: — А я вас сразу узнал, господин Ленин. Очень приятно было с вами познакомиться.

Смутился пациент и говорит:

— Простите, но я не Ленин.

«Как не Ленин?!» — хотел закричать профессор.

Однако сдержался.

— Пардон,— сказал.— Извините.

На приеме у профессора Владимир Ильич побывал только к исходу дня, лишь после того, как было осмотрено большинство сотрудников Совнаркома.

Таково было условие Ленина, когда решался вопрос, приглашать или не приглашать в Советскую Россию зарубежную знаменитость.

Категорическое условие.

## СНЕГИРЬ

В Горках, гуляя по парку, Владимир Ильич часто подходил к одному и тому же месту. Высокая ель здесь росла, березка, у самой березки — кусты.

Придет Владимир Ильич, остановится, подымет голову вверх. Стоит долго-долго. Все смотрит.

Что же такое там?

Снегири.

Зима. Запорошило снегом дорожки. Елки в шубках стоят из снега. Разлетелись другие птицы. Остались в парке одни снегири. Зиме они даже рады.

Смотрит Владимир Ильич на забавных красивых птиц. Вот с розовой грудкой сидит снегирь. Вот еще один с розовой. А вот прилетел и третий — с красной грудкой. Сразу видать — озорник и проказник: на головке сбились перышки в хохолок. Приметил его Владимир Ильич.

Привыкли птицы к приходам Ленина. Знают: то хлебных крошек принесет для них Владимир Ильич, а то и самое вкусное — горсть конопляного семени.

Утро. Едва рассветет — тут как тут уже снегири. Ждут, когда же появится Ленин.

Непоседы вообще снегири. Эти, однако, прижились.

Любуется Ленин на птичку с красной грудкой. Уж больно потешный снегирь. Сядет на ветку, грудку расправит, головку подымет: смотри, мол, Владимир Ильич. Правда, я самый красивый?

— Правда,— ответит Ленин.

Резвится снегирь: прыг-скок, прыг-скок, с ветки на ветку, с березки на елку, с елки на куст. То вспорхнет, то снова присядет. Пронесется у Ленина над головой, бухнется в снег и снова спешит на ветку. Скосит головку, на Ленина с ветки смотрит: «Вот я какой! Правда, я самый проворный?»

Но однажды, гуляя по парку, Владимир Ильич не застал на месте веселого снегиря. Походил Ильич по другим дорожкам, вернулся — снова нет снегиря.

Забеспокоился Ленин:

— Что же случилось?

А дело в том, что попался снегирь в силок. Поймал его мальчишка. Егорка Исаев. Поймал, посадил в клетку. Томится снегирь в неволе.

Не обнаружил нигде Владимир Ильич снегиря, зато повстречал Егорку. Мальчик снова пришел сюда в парк и снова силки расставил.

Глянул Владимир Ильич на Егорку, на огромный отцовский треух, на огромные дедовы валенки.

— Ты не видел здесь снегиря с красной грудкой?

«Видел»,— хотел было сказать Егорка. Но тут же подумал: а что, если Ленин спросит: «Так где же снегирь?»

— Нет не видел,— сказал Егорка.

— Неужели замерз снегирь? — тревожится Ленин.

«Да он же сидит в тепле»,— хотел было сказать Егорка. Но тут же осекся.

Потупил глаза мальчишка. Ясно Егорке: очень расстроен Ленин.

— Замерз, замерз,— сокрушается Ленин.— Или кошка его схватила.

Не сдержался Егорка.

— Нет,— замахал головой.— Нет. Он живой. Он прилетит.

— Прилетит?!

— Прилетит, прилетит! — закричал Егорка.

Пришел Владимир Ильич на следующий день к березке. Смотрит — прав оказался Егорка: сидит на кустах снегирь. А под березкой стоит Егорка.

Посмотрел Владимир Ильич на снегиря, посмотрел на мальчишку, широко улыбнулся.

— Здравствуй,— сказал Егорке.

— Здравствуй,— сказал снегирю.— Где же ты пропадал?

Раскрыл снегирь свой короткий клюв, на Егорку с березки глянул.

Похолодело в душе у Егорки. Выдаст его снегирь, вот возьмет и все Владимиру Ильичу расскажет.

Однако снегирь смолчал. Не такой уж плохой Егорка мальчик. Зачем же зря выдавать Егорку?

## СЛУЧАЙ С МАТВЕЕМ

Матвей Торопыгин впервые попал в Москву. Парень он был молодой, проворный. Походил по Охотному ряду, по Тверской, по Неглинной, а потом решил, что можно теперь и в Кремль.

В Кремле в то время была парикмахерская. Правда, маленькая. Заметил ее Торопыгин. И вот захотелось Матвею в Кремле побриться. Память, решил, какая!

Вошел он, уселся на стул. Парикмахер был занят, пришлось дожидаться. Прошло минут пять. Вдруг скрипнула дверь. Поднял Матвей глаза: на пороге — товарищ Ленин.

Подскочил Торопыгин. Застыл, как столб, руки к бедрам прижал по-солдатски.

— Здравствуйте. Что же вы встали? Садитесь,— сказал Владимир Ильич.

Не решается Торопыгин.

— Садитесь, товарищ,— улыбнулся Владимир Ильич.

Наконец опустился Матвей на стул, правда, робко, на самый краешек. И Ленин сел на рядом стоящий стул, глянул на парня:

— Вы из деревни?

— Да,— ответил, краснея, Матвей.

— Разрешите узнать, откуда?

— Вяземский.

— А поточнее?

— Деревня наша Анисовка.

— Так, так,— произнес Владимир Ильич.— Как же у вас в Анисовке? Не обижает вас новая власть? Как в этом году озимые? Есть ли школа у вас на селе? Приходят ли к вам газеты? Слушаю вас. Прошу поподробнее.

Соображает Матвей, с чего же начать, как лучше ему ответить. «Не обижает»,— сказал про Советскую власть. «Уродятся»,— заявил про озимые. «Школы пока еще нет, но на тот год непременно будет».

Но тут разговору их помешали — освободилось у парикмахера кресло.

— Пожалуйста,— обратился Владимир Ильич к Матвею.— Прошу вас, садитесь.

Растерялся Матвей.

— Да я. Да что же. Да я подожду.

— Нет, нет,— отвечал Ленин.— Очередь ваша.

— Мне же не к спеху, Владимир Ильич.

— Не спорьте!

Глянул Матвей на парикмахера. Однако тот к такому, видать, привычный. Стоит, слегка улыбается. Глянул на Ленина.

— Владимир Ильич, да я подожду. Как-то оно неудобно.

— Удобно, удобно,— ответил Ленин.— Садитесь, не тратьте время. У меня тут дельце одно имеется.

Достал Владимир Ильич из кармана журнал, раскрыл и даже отвернулся от Торопыгина, чтобы того не смущать.

— Проходите,— сказал парикмахер.

Что оставалось Матвею делать, уселся, бедняга, в кресло. Уже и не рад, что зашел сюда. Сидит, словно не кресло под ним, а шило. Скорей бы побриться — только об этом и думает.

Кончил бритье парикмахер. Схватился Матвей за шапку.

— Ну вот, теперь моя очередь,— весело сказал Владимир Ильич.— А вы помолодели, батенька. Эка какой красавец. Привет от меня вяземским.

Вернулся Торопыгин к себе в Анисовку.

— Ну и ну,— поражались крестьяне.— Ленина видел!

— Какой он? Что говорил?

— Привет нам? Вот это дело!

— Ну, а где ты товарища Ленина встретил?

Рассказал Торопыгин.

— Давай поподробнее.

Рассказал поподробнее.

Насупились вдруг крестьяне.

— Места не уступил? Не уважил товарища Ленина!

Матвей уж и так и этак. Мол, так получилось. Мол, и сам он такому совсем не рад.

Да где уж. И слушать его не хотят крестьяне.

— Опозорил, злодей, опозорил! Анисовку всю подвел. А то и шире бери — все трудовое крестьянство.

А дело в том, что в эти дни в Анисовке избирали сельский Совет. Намечался в Совет и Матвей Торопыгин. До этого все стояли горой за Матвея. Но теперь...

Как только собрался крестьянский сход...

— Не желаем,— вдруг закричали крестьяне.— Не желаем. Он места Ленину не уступил. Не желаем!

Однако поостыли затем крестьяне, проголосовали все же они за Матвея.

Ленина видел! С Лениным говорил!

Как же без такого у них в Совете.

# НОВЫЕ ВАЛЕНКИ

Должность у Кати была маленькая-маленькая — «куда пошлют» называлась. Работала она посыльной в одном из советских учреждений.

Вызвал однажды Катю к себе начальник, вручил важный пакет, наказал срочно идти в Кремль, передать пакет лично товарищу Ленину.

Отправилась Катя. Идет, торопится. А сама все время на свои валенки посматривает.

Валенки у нее старые, старые, с дырками. Отжили они свой век. Истоптала их Катя, бегая по разным учреждениям.

Неловко Кате в таких валенках являться к Владимиру Ильичу. Да что поделаешь. Трудно в те годы было с обувкой.

Правда, мог бы о Кате позаботиться ее начальник. Только ведь начальник постоянно разными важными делами занят. Где ему думать о Катиных валенках.

Пришла Катя в Кремль. Пропустили ее в кабинет к Владимиру Ильичу. Передает Катя пакет товарищу Ленину, а сама старается сделать так, чтобы Владимир Ильич не обратил внимания на ее валенки.

Думала Катя, передаст пакет и сразу уйдет. Однако Владимир Ильич задержал девушку. Стал он интересоваться, давно ли Катя работает. Где училась, сколько классов окончила. Есть ли у Кати родители.

Ответила Катя Владимиру Ильичу на его вопросы, простился Ленин с девушкой, пожелал ей успехов.

Довольна Катя. Казалось ей, что Ленин так и не заметил, какие у нее на ногах валенки.

Однако Владимир Ильич заметил. Снял Ленин тут же телефонную трубку, позвонил Катиному начальнику, пристыдил того, что начальник плохо заботится о своих подчиненных.

Прошло два дня, и вот вызывают Катю опять к начальнику. Переступила Катя порог кабинета и замерла: в руках у начальника валенки — новые, фетровые, с галошами.

— Ну что же, бери,— сказал начальник растерявшейся Кате.

Смутилась Катя, не решается шаг сделать.

— Бери,— рассмеялся начальник.

Взяла Катя валенки, побежала вниз, примерила. Оказались они точь-в-точь по Катиной ноге.

Идет Катя в обнове по морозным московским улицам. Хрусь-хрусь под ногами снег.

— Вот какой чудесный у нас начальник,— сама с собой рассуждает Катя.— Вот какой он у нас внимательный.

# УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

— Ну вот теперь уже все,— улыбнулся Владимир Ильич,— теперь уже, батенька, наверняка.— Ленин сел в автомобиль, хлопнул дверкой, помахал рукой Надежде Константиновне. Машина тронулась.

Владимир Ильич отправился на охоту. Не раз за последние месяцы Ленин собирался уехать за город, побродить по лесам с ружьем. Да все мешали дела. Срывались всегда поездки.

Но сегодня... Нет, изумительный нынче день. Ничто не мешает Ленину. В лес, на охоту, на природу едет Владимир Ильич.

Зима. Искрятся до боли в глазах поля. Бегут вдоль дороги столбы, перелески. Мелькнет покрытый ледком ручей. Встречный лихач пронесется. Деревенские домики из-под укутанных снегом крыш, словно кто-то большой нахлобучил им белые шапки, оконцами глянут. Снова поля. Опять перелески. Все плотнее подходит к дороге лес.

Сидит Владимир Ильич, сгдыхает.

Приехал Ленин в Верейский уезд, в деревню Моденово. Оставил в селе машину, вынул ружье, с провожатым отправился в лес.

Идет Владимир Ильич по селу, кого не увидит:

— Здравствуйте!

К одному:

— Хорошо ли работает сельский у вас Совет?

К другому:

— Как у вас нынче с солью?

Интересуется жизнью крестьянской Ленин. Отвечают крестьяне, а сами: «Кто же это такой приехал?»

Верейский — далекий, глухой уезд. Кто же сюда пожаловал? И вдруг:

— Ленин приехал!

— Ленин приехал!

Набатом рванула весть по селу. Полетела к соседям в другие деревни.

Идут Владимир Ильич и его провожатый по зимнему лесу. Ружья несут в руках. День погожий. Не так чтобы очень морозило. Солнце стоит на небе. А ночью была пороша. Любой след на снегу — новый недавний след. Для охотника — лучшее время.

— Будто бы словно для вас,— говорит провожатый.— Угодила, Владимир Ильич, погода, вот тут, еще с полверсты и самое лучшее место. От пово́рота пойдем налево, и...— провожатый взмахнул рукой, мол, вот там-то и будет сама охота.

Подошли к повороту. Вдруг слышат сзади шаги, будто кто-то

бежит по следу. Оглянулись Владимир Ильич и напарник. Видят — два парня. Оба от быстрого бега в поту. Оба устало дышат. Остановились парни.

— Товарищ Владимир Ильич, разрешите, мы к вам.

— Слушаю вас, товарищи.

— Мы из села,— объясняют парни.— У нас к вам, Владимир Ильич, задание. Просьба у нас от села,— и тянут Ленину лист бумаги.

Взял Владимир Ильич бумагу, развернул, улыбнулся, читает: «Вождю всемирной революции товарищу Ленину от имени граждан деревни Моденово». А ниже: «Просим вас к нам на беседу».

Посмотрел Владимир Ильич на парней, глянул на провожатого.

— Ну и народ,— проворчал провожатый.— Да что они, словно репей. Совести нет.— Повернулся к парням: — Товарищу Ленину отдых нужен.

Опустили посыльные головы. Хотели извиниться, уйти.

— Нет-нет,— остановил их Владимир Ильич.— Подождите. Ведь я еще ничего не ответил. А записка, простите, если я правильно понял, адресована именно мне.

— Вам, вам,— оживились посыльные.

— Вот что,— сказал Владимир Ильич,— ступайте в деревню, скажите, Ленин согласен, благодарит за внимание, передайте, что скоро будет.

— Спасибо! — крикнули парни и помчались назад в Моденово. Повернул к деревне и Владимир Ильич.

— Э-эх,— вздохнул провожатый.— День-то сегодня какой. Зайцы над нами небось смеются.

— Смеются?! — развеселился Владимир Ильич.— Ну что же, пусть зайцам сегодня живется. Примечательная все-таки это черта: интерес ко всему в народе. Я не вправе ответить отказом.

Примчались парни в деревню.

— Ну как?

— Прийдет, прийдет. Уже следом идет!

— Да ну! Вот это по-ленински.

Собрались крестьяне в избе у Прасковьи Афанасьевны Кочетовой. Набилось полно народу. Свои. Из других деревень набежали. Все рвутся послушать Ленина. Не все поместились. Кто в сенцах, кто просто у входа жмется.

Прибыл Ленин. Рассказал о военных делах страны, о том, что Врангеля скинули в море. О том, что с хлебом трудно пока державе. Но и это страна осилит. Что транспорт везде разрушен. Но найдутся рабочие руки, вот только врага изгоним. А потом о великом и дивном плане — об электрификации всей России.

Застыли, словно во сне, крестьяне. Каждое слово душою ловят.

Кончил Владимир Ильич доклад.

За докладом пошла беседа. Вопросы, ответы, опять вопросы. Получилось как-то словно в избе и не Ленин, а между собою крестьяне ведут разговоры.

За окном стало темнеть. Короток день по-зимнему. В полном разгаре идет беседа.

Ждет в Москве Надежда Константиновна Владимира Ильича.

— Ну вот, наконец-то Владимир Ильич отдохнул,— радуется.— Походил по полям, по лесу. Погода какая выдалась.

Вернулся Владимир Ильич домой. Вошел возбужденный, довольный.

— Правда, Володя, прекрасный сегодня день!

— Удивительный! — ответил Владимир Ильич.

## СТАРЫЕ ДВОРИКИ

Пожар полыхал целый день. А к вечеру от Старых Двориков остались лишь трубы и печи. Избы сгорели, амбары сгорели. Бани и те в огородах сгорели. Погибло все: сундуки и полати, столы и иконы, телеги и сани. А самое страшное — весь урожай сгорел.

Редко такое бывает. А тут — на вот тебе, случилось.

Остались одни погорельцы. Собрались они на ужасном своем пепелище. Режет воздух бабий протяжный вой.

Кто же беде поможет?

С бревнами плохо — округа у них не лесистая. Да скоро ли наново все построишь. А гвозди — где взять, а железо? А как же быть с хлебом? Двести голодных ртов! Осень к тому же стучится в двери.

— К Ленину нужно, к Ленину. Он единый заступник в таком несчастье.

Кто-то крикнул и тут же осекся.

— Да откуда у Ленина бревна!

— Да где это видано, чтобы хлеб из Москвы в село?!

— И все же, сограждане,— к Ленину,— нашелся еще один.— Расскажем, а там как присудит.

Добрались крестьяне к Ленину. Держат речь о своей беде. Взволнованно слушает Ленин.

— Скажите, как дети?

— Покамест в соседних селах.

— А как остальные?

— Землянки роем, с бревнами плохо, Владимир Ильич.

— Ну, с этим мы вам поможем. Сложнее быстро построить избы. Как вы управитесь?

— Нам бы лишь бревна. А там уже даст бог.

— Тут бог ни при чем. Не поможет. Не даст,— Ленин задумался.— Скажите, квартируют в вашем уезде военные части?

— Пулеметные курсы в уезде есть.

— Это уже солиднее. В зерне тоже не откажем. Дадим, но минимальную норму. Прежде всего для посева.

— Благодарствуем,— кланяться стали крестьяне.— Спасибо вам от всего села.

— Рано, рано,— остановил их Владимир Ильич. Снял телефонную трубку:

— Тут крестьяне в большой беде.— И дальше — про бревна.

Повесил. Снова снял телефонную трубку:

— Тут крестьяне в большой беде.— И дальше — про пулеметные курсы.

В третий раз позвонил Владимир Ильич и распорядился в отношении хлеба.

— Ну вот теперь все,— сказал Владимир Ильич.— Надеюсь, все будет у вас в порядке.

Опять с благодарностью лезут крестьяне.

— А вот этого вовсе не надо,— прерывает их Ленин.— Это мой долг. Если хотите — моя обязанность и перед вами, и перед рабоче-крестьянской властью. Еще раз успехов желаю, товарищи.

Вскоре в Старые Дворики прибыли обещанные лес и хлеб. А следом за ними и рота с уездных курсов. Взвизгнули пилы, ухнули топоры. Дружно пошла работа.

Месяц — и вновь народилось село. Стоит оно новое, новое. Красуется избами ладными в ряд.

Собрались у изб крестьяне.

— Да какие же это Старые Дворики — новое нынче у нас село. Ему и название нужно новое.

— Верно,— шумят крестьяне.

Пошли предложения:

— Новые Дворики.

— Новые Дворики.

— Светлые Дворики.

— Не то, не то — идут голоса.— Хорошо, да не то. Не самое меткое.

И вдруг:

— Дворики Ленинские,— выкрикнул кто-то.

— Вот теперь то! — торжествуют крестьяне.

Нет Старых Двориков. Дворики Ленинские на том месте теперь стоят.

## БАЛАМУТ

Однажды Ленин получил письмо:

«Дорогой Владимир Ильич, прими от нас крестьянский поклон, а к Октябрю будет тебе подарок».

— Ну вот, снова подарок,— покачал головой Владимир Ильич.

Что за подарок, крестьяне пока не писали. Решили держать в секрете.

— Оно же всегда интереснее, когда наперед не знаешь, какой для тебя гостинец,— рассуждали крестьяне.

Подарок же был обычный. Решили мужики к Октябрьской годовщине послать Владимиру Ильичу мяса и сала.

Довольны крестьяне своим решением. Да только как всегда в любом деле обязательно найдется какой-нибудь баламут. Оказался такой и здесь — бывший красноармеец, буденовец Селиверст Дубцов.

— Э-э, безголовые,— ворчал он на мужиков.— Разве это подарок!

— А что? — отбивались крестьяне.— Владимир Ильич тоже, считай, человек. Что он, пищей другой питается? Сало ему в самый раз.

— Сало,— усмехнулся Дубцов.— Фантазии нет.

— Баламут, как есть баламут,— ругались крестьяне.

Целую неделю не давал Дубцов мужикам покоя. Ходит, твердит:

— Фантазии нет. Фантазии нет. Заместо голов место у вас сидячее.

Обозлились крестьяне, явились к Дубцову.

— Ну-ну расскажи про свою фантазию.

И тут вдруг Дубцов заявил такое, отчего на крестьян напал такой хохот, что окна в избе задрожали.

Предложил Дубцов собраться крестьянам, кирки, лопаты в руки и, не мешкав, проложить до станции (а это без малого девять верст!) дорогу.

— Дорогу! — хохотали крестьяне.

— Да на кой она Ленину!

— Выходит, самим же себе подарок.

— Баламут, вот баламут, а еще буденовец!

Но потом, через несколько дней, когда насмеялись крестьяне вволю, вдруг кто-то робко в селе сказал:

— А что, мужики, может, и верно. Может, одобрит дорогу товарищ Ленин.

— Может, и верно,— заколебались теперь крестьяне.

— Не может, а точно,— гудел Дубцов.

Уговорил все же Дубцов крестьян.

Собрали мужики баб, стариков с печей посгоняли, и за работу. Как раз к Октябрю и управились. Даже мосток через речку Каменку и тот навели.

Написали крестьяне Владимиру Ильичу письмо, поздравили с праздником, а в конце указали и про дорогу. Мол, как хочешь, так и понимай, а дорога эта вроде как наш для тебя подарок. Не взыщи, если не угодили. Виною всему баламут Селиверст Дубцов, бывший буденовец.

Вскоре прибыл ответ.

«Угодили, угодили»,— значилось в том ответе. Владимир Ильич писал, что подарок от крестьян замечательный. Что лучшего ему и не надо. Кончалось же письмо от Ленина тем, что эта дорога в девять верст еще один шаг страны к коммунизму.

Читают крестьяне:

— Вот это да!

— Ну и ответ!

— Вон оно как повернул Ленин!

— Оно бы, пожалуй, стоило Владимиру Ильичу,— рассуждают крестьяне,— и к Маю какой подарок...

## СЕКРЕТНАЯ ПРОСЬБА

От рабочих и крестьян на имя Владимира Ильича поступало много различных посылок. Присылали хлеб, крупу, сахар (с едой тогда было плохо). Приходили и другие подарки. Рабочие-кожевники прислали Владимиру Ильичу тулуп из овчины, вологодские кружевницы — нарядное покрывало, текстильщики из Петрограда — мягкий пушистый плед.

Получая такие подарки, Ленин хмурился.

— Да что вы, Владимир Ильич,— успокаивали Ленина товарищи по работе.— От души ведь идут подарки, от благодарного сердца.

— Так-то оно так,— соглашался Ленин.— А все-таки, понимаете, неудобно, неловко. Это все от старых времен, от старых традиций: барину — носили, попу, простите меня, носили... С этим пора кончать. Кончать,— строго повторял Владимир Ильич.

И вот однажды Ленин получает письмо. Письмо издалека, из

Гомельской области, из города Клинцы, от рабочих Стодольской суконной фабрики.

Читает Владимир Ильич письмо, поздравляют рабочие Ленина с приближающейся пятой годовщиной Октябрьской революции, желают хорошего здоровья, а ниже: «...посылаем тебе к празднику... скромный подарок нашей выработки». И пишут, что за подарок — отрез сукна.

Под письмом стоят подписи. Да не две, не три, целых четыреста.

Хотел Владимир Ильич рассердиться. Однако потом передумал. Решил не огорчать рабочих под праздник.

Взял Владимир Ильич перо, бумагу и написал рабочим такой ответ:

«Дорогие товарищи!

Сердечно благодарю вас за приветствие и подарок. По секрету скажу, что подарков посылать мне не следует. Прошу об этой секретной просьбе пошире рассказать всем рабочим...

*Ваш В. Ульянов (Ленин)*».

Получили в Клинцах ленинское письмо, прочли. Довольны рабочие. Хорошее письмо, теплое, с благодарностью.

Однако пришлось рабочим и призадуматься. Поняли они: не одобряет подарков Ленин. И в отношении просьбы, хотя она и секретная, тоже что к чему разобрались верно. Приняли рабочие просьбу Владимира Ильича как боевой приказ. Всем о ней в Клинцах рассказали. Да не только в Клинцах, а шире — по всей округе.

А как-то один из стодольских рабочих Степан Шерстобитов ездил в родную деревню под самый Минск и там рассказал о ленинской просьбе.

Огорчились, конечно, крестьяне. Как раз собирались они к Новому году послать в подарок Владимиру Ильичу бочонок душистого меда. Однако просьба есть просьба — пришлось крестьянам ее уважить.

Случилось так, что в те же дни и в той же самой деревне был на побывке красноармеец Иван Додонов. Вернулся Додонов в свою часть, привез и туда просьбу товарища Ленина.

Кончился у красноармейцев срок службы, разъехались они по разным селам и городам и тоже на новых местах о секретной просьбе товарища Ленина всем рассказали.

Передавалась эта просьба из уст в уста. Ходила по ближним и дальним местам. Дошла и до наших дней.

Вот и я вам о ней рассказал. И вы в свою очередь тоже о ней расскажете. Только помните — просьба была секретная.

Ну, а подарки? Что же — перестали рабочие и крестьяне

присылать подарки товарищу Ленину? Нет. Продолжали.

В чем же тут дело?

Трудно понять. Россия — страна огромная. Может, не все о той просьбе знали. А может, другие какие причины...

## ПАМЯТНИК

Крестьяне одной из сибирских станиц решили при жизни поставить Ленину памятник.

Послали они в Москву своих делегатов с наказом получить от Владимира Ильича на то разрешение.

Прибыли делегаты. Принял их Ленин:

— Здравствуйте. Как вы доехали?

— Хорошо,— отвечают крестьяне.

— Как у вас с урожаем?

— Бог не обидел.

— Нет ли перебоев с товарами в ваших местах?

— Завозят, Владимир Ильич, завозят. И ситцу хватает, и гвозди есть, и с мылом нужды не терпим.

— Ну что же, очень приятные вести,— улыбнулся Владимир Ильич.— Тогда вопросы мои исчерпаны. Слушаю вас, товарищи.

Рассказали делегаты, в чем дело.

— Памятник? — переспросил Владимир Ильич.

— Памятник,— отвечают крестьяне.— Мы уже и камень для фундамента завезли,— сообщили они не без гордости.— И место, Владимир Ильич, хорошее — на вышине. Березы стоят в два обхвата. Речка, желаешь — рядом. Видно — кругом. Так что обижен, Владимир Ильич, не будешь.

— А вот и буду,— ответил Ленин. Улыбка сошла с лица.— Буду, и даже очень.

Смутились крестьяне. Не ожидали, что дело примет такой поворот.

— Место, согласен — отличное,— продолжает Владимир Ильич.— А вот что касается памятника, то тут я решительно против. Категорически.— Ленин повел рукой.— Так и скажите в Сибири товарищам. Ясно, надеюсь. Благодарю за внимание. Желаю успехов,— попрощался Владимир Ильич.

Вернулись делегаты к себе в станицу, рассказали о встрече с Лениным.

Как водится, пошли разговоры.

— Не желает, выходит, Владимир Ильич.

— Может, место ему не понравилось?

— А вы толком с ним говорили? Сказали, что камень уже завезен?

— Сказали, сказали,— отвечают делегаты.— И место ему понравилось. И мы говорили яснее ясного. Дело тут, мужики, другое — скромность великая в Ленине.

Хотели крестьяне наперекор всему все же поставить памятник Владимиру Ильичу. Однако потом не решились. Уж очень против товарищ Ленин.

— Может, ему виднее...

Стали крестьяне думать, что же им делать с камнем. И место хорошее — зря пропадает.

И вот после долгих споров и пересудов пришли вдруг к такому согласию: поставить на месте у тех вековых берез, на зависть округе, школу.

Решили и сделали.

Стоит она нынче на вышине, вписалась в сибирское небо. Березы по каждой весне новой листвой рождаются. Речка журчит под обрывом.

Полнится все вокруг веселым ребячьим смехом.

Идут годы, один за другим. Уходят жизни, события в прошлое.

А школа стоит.

Стоит в сибирской станице памятник вечный Ленину.

# ВЛАДИМИР АМЛИНСКИЙ

## Жизнь Эрнста Шаталова

*Повесть*

# 1

Поднимаюсь по лестнице крепкого, довоенного московского дома, звоню в дверь, где живет Эрнст Шаталов. Звоню и жду, а на душе предчувствие тяжкого и, может быть, бесполезного свидания и разговора. Тишина. Никакого движения там, в квартире за дверью. Жду, не ухожу, потому что знаю: хозяин всегда дома... Что ж, никого, что ли, нет, кто бы мог открыть дверь?..

Наконец резковатый голос спрашивает: «Кто?» Отвечаю — и дверь открывается сама. Вхожу в сумрачную по-вечернему квартиру, тот же голос говорит: «Раздевайтесь, пожалуйста». И кажется, что это не человек, а микрофон, какой-то прибор, который сам открыл дверь и теперь велит раздеваться и указывает, куда идти. Я разделся, пошел, неловко, жестко, скрипя половицами в тихой, безжизненной квартире. Вошел в комнату, слегка зашторенную, чистую, небольшую. И увидел человека...

— Садитесь, пожалуйста,— говорил он, торопясь и как бы смущаясь.— Пусть вас не стесняет... Вот это кресло придвиньте сюда. Знаете, некоторые, когда приходят ко мне, то чувствуют себя не в своей тарелке... Их, видно, травмирует мое состояние. А меня уже мое состояние не травмирует. Я привык, а они не привыкли...— Так говорил этот человек, торопливо, нервно,

резким сильным голосом, который я уже знал и к которому еще не привык.— И знаете, по первому шагу, по первому звуку уже чувствую, что́ они думают обо мне, и даже знаю: придут еще или нет.

Он был один, странный хозяин этой квартиры.

Никого — ни родных, ни общественников, ухаживающих за прикованным к постели человеком,— никого, просто хозяин, дружелюбно и вместе с тем напряженно и изучающе глядящий на меня. Отчего же я отвожу глаза? Оттого, что инстинктивно не хочу обидеть его любопытством; оттого, что еще не нашел себя, не знаю, что говорить и как держаться; оттого, наконец, что я стою, а он лежит, и в этом пропасть между нами. И чем я могу ему помочь? А если нечем помочь — так зачем я здесь?..

— Очень многие не приходят снова. И действительно, тяжело со мной общаться. Да, тяжело,— повторил он. И это уже звучало не иронически, не с издевкой, а печально, потухше.

Потом он замолк, видимо утомившись от этого нервного всплеска, и в комнате стало тихо, возможно, так же тихо, как час назад, как десять часов, как год или три, как бывало по девятнадцать-двадцать часов в сутки, когда он был не с людьми, не с гостями и не с врачами, а только лишь с самим собой. Поэтому иногда и возникала внутренняя и не совсем уже поддающаяся контролю потребность — говорить вот так горячечно-нервно и с обидой...

Я вспомнил его письмо ко мне.

*Приходите, если будет возможность, если найдется время. Мне нужно поговорить с Вами по очень важному вопросу.*

По важному вопросу...

Он лежал на металлической, высокой кровати. Рядом стоял пульт управления, кнопки, которые он нажимал, для того чтобы отворить дверь, или включить приемник, или дать сигнал, чтобы зашли. Эта техника была в его распоряжении. Руки еще слушались его; пальцы обладали силой — они могли чуть напрячься, нажать кнопку, потом другую, третью... Вот и все, чем он обладал.

Впрочем, как я узнал впоследствии, кнопку вызова он нажимал редко. Старался не беспокоить людей. Длительные и точно рассчитанные отрезки дня он находился один. Скажем, с девяти до часу; потом заходит брат, вернувшийся из института. Он дома с часу до пяти. Потом придет мать с работы.

Он уже тренирован, и в этом отрезке времени он спокойно существует один, посторонняя помощь ему не нужна. Да еще много отрезков времени, много длительных отрезков, когда он один: ночи, рассветы, когда человек вдруг просыпается и, забыв

о болезни, хочет встать... И еще много, много этих отрезков — из них можно сшить целую жизнь, более долгую, чем нормальное человеческое существование.

— Да, я написал вам по важному вопросу. Вы, наверное, подумали: будет чего-нибудь просить. Все они, калеки, инвалиды, чего-то просят...

— Так это и понятно, что просят,— говорю я.— Кому же просить, как не им...

— Да... Но я ничего не прошу. Чего мне просить! Чтобы ноги ходили, чтобы руки слушались? Чего? Никто не поможет мне, нет такой силы, чтобы помогла мне... Если только бог. Но его-то как раз и нет. Я ведь абсолютный чемпион среди себе подобных. Я лежу уже десять лет, а последние годы не могу повернуться на бок... А все остальное мелочь... Детали. Все остальное у меня есть: новейшее достижение техники, средства информации и зрелища на дому, телевидение и автоматика и даже средства сигнализации, в чем вы могли убедиться... Вот, пожалуйста!

Он приподнял восковую гладкую руку, слабо повел ею, указывая на старенький телевизор первого выпуска, радиоприемник, тоже пятидесятых годов, по-моему «Рекорд», и грубовато сработанный, самодельный пульт управления, позволяющий ему без посторонней помощи открывать дверь. И тут я подумал, что ему, отделенному от мира и лишенному всего, почти всех радостей естественной человеческой жизни, и пытающемуся в какой-то степени компенсировать это, именно ему хорошо бы было иметь,— впрочем, не то слово,— полагалось бы иметь новейший большой телевизор, приемник с проигрывателем, обладающий стереозвуком. То ли он прочитал мою мысль, то ли протестующее движение уловил на лице, но он сказал:

— Да мне действительно ничего не нужно. Я ведь не преувеличивал. Конечно, все это небогатая аппаратура, ну да работает — и изображение есть и звук. Так что меня устраивает, а на другое возможности нет. Болезнь ведь не только кровь, она и деньги высасывает. И не об этом разговор. А разговор здесь о другом... Да и никакого, собственно говоря, специального разговора. Это, может, для привлечения, просто чтобы вы подумали, что важное какое-то дело, и поскорей пришли. Ну, а если точнее, то дело, может быть, вот в чем.

Он задумался надолго, а может, просто устал, и вот тут-то я посмотрел на него впервые, впервые в упор и пристально. Руки лежали, сложенные на простыне по-покойницки. Голова была стрижена ежиком, лоб высокий, сильные резкие брови, щеки одутловатые, опухшие, опухшие очень, ненормально — от постоянного лежания. Теперь глаза. Есть величайшая банальность

писать о так называемых живых глазах. Человек весь болен, разбит, слаб, глаза только у него живые. О глазах Эрнста мне сейчас было трудно судить: он закрыл их то ли в усталости, то ли в раздумье.

Я спросил негромко:

— Вы устали?

— Да нет,— сказал он, не открывая глаз.— Я думаю, и вот о чем... У нашего брата, у таких вот неподвижных, часто спрашивают: чувствуете ли вы себя одиноким? Спрашивают иногда журналисты, если этот человек привлек чем-то внимание, спрашивают иногда знакомые, родственники. Ну, что ли, на откровенность тянут. И такие, как я,— впрочем, таких-то совсем мало, можно сказать, единичный случай,— ну, в общем, коллеги мои, неходячие, отвечают: нет, не чувствую себя одиноким, потому что вокруг люди, друзья. Отвечают так и врут. Впрочем, неправильно сказать «врут», это слишком грубо. Не врут, а не хотят обнажаться, не хотят и в этом обнаруживать неполноценность. И действительно, не чувствуют себя одинокими в тот момент, когда работают, или читают, или разговаривают с людьми. Только все время не может человек работать и читать, есть еще много часов, когда он просто лежит и думает. И мало кому он расскажет эти свои думы. Может быть, никому и никогда.

Эрнст открыл глаза. Я еще раз внимательно посмотрел на него. Глаза были выпуклые, карие... и живые. Да, и тут не придумаешь ничего другого и не скажешь иначе, пусть банально, но все другое будет неправдой. У этого неподвижного человека, со скрещенными на простыне руками, все было нарушено, изломано, исковеркано болезнью. Она переехала его, как танк, втоптала в землю, в простыни, в кровать, в неподвижность. Только ясный мозг не задело ничто, и он излучал свое свечение, работал с неистребимой силой, с горькой остротой, со сверхнагрузками, с полным и удивительным ощущением своей несоразмерной телу силы, мобильности, отточенности, с недоверчивым, но уже привычным ощущением своего бессилия.

И глаза были карие, выпуклые, страждущие, иронические и такие ж и в ы е.

## 2

Сейчас я поделюсь наблюдением, возникшим в первый день и укрепившимся во все дальнейшее время нашего знакомства. Это о том, как разговаривает Эрнст. Говорил он спорадически. То прибой, то отлив. То возбуждение, острый, почти физически

мною ощутимый, как при гипнозе, контакт, с мгновенной его реакцией не только на мою фразу, но, кажется, на самое ее зарождение, на мысль, которую она вот-вот должна оформить. Правда, я не преувеличиваю... Локатор какой-то был в этом человеке... Пульсация тока, нервного излучения становилась столь явственной, возможно, оттого, что нервы были обнаженными проводами.

Но наступали вдруг глухие паузы. Спады. Все обрывалось на полслове, он уходил, угасал, провода замыкались. Паузы эти были разные. То просто усталость, и тогда он лежал тихо, покойно, с прикрытыми веками, как бы остудив, заморозив на мгновение слово и мысль, перегорающую от переизбытка, от непосильного напряжения. То, вдруг вспомнив о чем-то или ощутив вдруг бездну, о которой я мог лишь догадываться, он замыкался холодно, безучастно, иногда, как мне казалось, враждебно. И почти всегда в эти минуты, после очередного спада, он начинал говорить вяло, тихо, с огромным усилием, глаза его не сразу обретали блеск, живость. Казалось, шла внутренняя борьба, что-то болезненно и сокрушительно сталкивалось в нем, какой-то мускул характера напрягался и сжимал ядрышко раздражения, сжимал и раздавливал, как щипцы орех. Это ядрышко, а может быть, маленькая опухоль не определяла его характер, он умел подавить, загнать это внутрь, а отчего это появлялось порой, было так понятно, так удивительно понятно, понятней даже, чем то многое, что подавляло это.

И были еще другого рода паузы, когда он неразборчиво бормотал что-то, как бы слегка, вполголоса напевая...

Здесь я поначалу пугался. Если первое и второе мне было понятно, то здесь мне чудилась какая-то психическая аномалия. Только потом я понял, что просто он бормотал строчку из стихов или напевал вдруг один ритм какой-то вспомнившейся ему мелодии. И если стихи он произносил почти шепотом, неразборчиво, неясно, то такт мелодии он пел с удивительной музыкальностью и точностью. Так однажды из этой голосовой невнятицы, похожей на шорох настраиваемого приемника, прозвучали несколько тактов из фильма «Восемь с половиной».

Заметив удивление на моем лице, он сказал:

— Фильма я, конечно, не видел, а мелодию передавали однажды по радио, и я запомнил ее. Вообще во всех фильмах Феллини одна и та же мелодия, с некоторыми вариациями. Так вот, я ее запомнил и положил на нее слова из стихов. Догадайтесь, из каких?

— Не знаю. Стихов много.

Он откинул голову и, просияв глазами, прочитал:

— «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» Помните?

— Конечно.

В моих ушах звучал оборванный такт мелодии из фильма. Это была прощальная мелодия. Все кончается. Прощальная цирковая мелодия. Цирк уезжает. Куда? Не известно. В другой город. В какой, еще не знаем сами. До свидания. До свидания с кем? С вами, со зрителями, но не только с вами. И с собой тоже, с представлением, которое отжило свое и устарело, с городом, где мы были, с нашим мнимым волшебством, с минутным обманом, с блеском, с игрой в счастье, в праздник, в парад-алле, в абсолютную гармонию жизни. Но это только одна тема... А что же еще? А еще прощание с юностью, с дебютом, с восторгом удачи, прощание с верой в фокус, в счастливую звезду, в победу. Да, прощание, но все равно знаем и верим — ничто не кончилось, знаем и верим — будет, верим во все: и в успех, и в музыку нашу, даже в серебро и золото на картоне, даже в папье-маше и в трюк... И еще во что? Да... еще в мгновение, которое — остановись! Ты прекрасно! В ту женщину, с которой сегодня последний вечер и, по правде, уже никогда, уже все, жизнь развела, но знаем и верим — встретимся и все начнется опять. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»

Вот такой был смысл этой мелодии, так она для меня звучала. И все это имело свой фон, почти необъяснимый, фон черного неба, южных звезд, теней, тревоги и обещания. А какой фон виделся ему? Что в нем пробуждала эта музыка горестно-торжественной кавалькады, мотив юности, внезапно нахлынувшей, но уже нереальной?

— А ты думаешь, мне нечего вспомнить? Конечно, меньше, чем другим, но зато все памятнее и острее. Я ведь не всегда такой был. Я мог ходить, сидеть, бегать, прыгать, играть в футбол. Я все мог, я был как все... Только я это не ценил, да как ценить — это было ведь нормально! Человек же не может ценить, что он дышит. Вот когда он заболеет астмой, он поймет, что это за божий дар дышать, тогда он и начнет вспоминать, как ему чисто, легко дышалось. Так вот, я был как все. Кончилась война. Мне было двенадцать лет... Ах, как было скудно и как хорошо! Как нам завтраки в школе выдавали бесплатно, два пирожка с картошкой и кисель. У кого отцы погибли — тем пальто бесплатные, темные такие, в клетку. После урока гоняем в футбол консервной банкой или тряпичным мячиком, девочек видим только издали. Раздельное обучение. Собственно, даже не видим, зачем нам их видеть, мы их и не замечаем. Зачем нам девочки, я их замечать стал только в пятнадцать, в Крыму, когда я уже был на костылях. Поздно я, понимаешь, их заметил... Я ведь не знал, что всю мою остальную жизнь я буду воспринимать только два вида женщин: тележенщин и женщин-врачей.

В тележенщин я влюбляюсь иногда, а потом меняю свое увлечение: сегодня дикторша из первой программы, потом какая-нибудь из передачи «Для дома, для семьи» или театральная обозревательница... В общем, ты понимаешь, я ветреный мужчина. Ну, а с женщинами-врачами мы слишком давно знакомы, чтобы как-нибудь воспринимать друг друга... Но сейчас я не об этом. Все у меня, значит, было хорошо. Семья была редкая, не разорвана ни войной, ни разладом. Родители мои метростроевцы. Нас двое: я и брат Мишка.

И вдруг все у меня сломалось. И страшно сломалось, так и нарочно не выдумаешь. И началось все как-то неправдоподобно просто. Играл с ребятами в хоккей, вдруг один саданул клюшкой нечаянно, как говорится, в борьбе за мяч, и я падаю на лед. Лежу, испугался, думал, сломалась нога. Ребята игру прекратили; тот, который ударил, стоит надо мной, лицо у него белое, как лед. Полежал я, полежал, потом встал. Доковылял до дому. Два дня пролежал, колено опухло. Пошел к врачу, надели гипсовый сапожок... Прошла неделя, сняли, сделали рентген голеностопного сустава. Как будто ничего не нашли. И снова жизнь вошла в колею. Прошел месяц, другой. Началась весна, уже хоккей был забыт, после уроков гоняли футбол на пустыре возле школы. Две стопки учебников на землю — это штанги, мяч не тряпичный, а настоящий, только тертый в играх, почти лохматый, один на два класса. И я гоняю футбол, стучу по воротам, забиваю свои голы. Мне еще пятнадцати нет — где тут быть осторожным?

И снова удар по тому же самому колену, и снова хирург, гипс уже надолго, и вот я уже не игрок, а болельщик. Теперь я смотрю из-за ворот на играющих, сижу на портфеле, кричу, подаю советы и не знаю, что не играть мне в футбол уже никогда да и сидеть за воротами тоже осталось недолго. Нога болит, боль не сидит на месте, ползет вверх к бедру, постепенно отвоевывает еще один участок тела, потом другой, ползет неуклонно и страшно, как танк, подминает гипсовую защиту. Меня водят к врачам, сначала к районным, потом к консультантам, затем к доцентам и, наконец, к профессорам. К самым главным, единственным профессорам. Никто из моих одноклассников не знает таких странных слов, которые без пол-литра и не выговоришь: деструктивные изменения, сакроилеит, артрит. Привыкаю к полумгле рентгеновских кабинетов, к подсвеченным лицам врачей-рентгенологов, к ласковому шепоту сестры: «Поближе, сюда ножку, вот так, чуть повыше колено...»

А потом разговор врача с мамой, разговор озабоченный и вместе с тем успокаивающий, потому что врач говорит: костных деструктивных изменений нет.

А эти слова я уже знаю наизусть и уже понимаю, что когда изменений нет, то это хорошо. Постепенно я отрываюсь от своей школы, от ее интересов и дел, теперь половина моей жизни — это очереди к врачам, а вместо моих одноклассников я вижу таких же напуганных ребят с мамами, ждущих приема. Я почти наизусть выучил надписи на стенах: о гриппе, о немытых овощах, о собаках, разносящих инфекцию. Я уже различаю платные и бесплатные поликлиники, знаю, что в бесплатных с тобой разговаривают коротко и деловито, а в платных — долго, с подробностями и сочувствием... И в тех и в других стены с диаграммами, с гриппом и немытыми овощами. Ох, как скучно мне! Но ничего не поделаешь, так и шло время, так и не было понятно, отчего все-таки болит нога, хотя и нет в ней никаких изменений. Консультанты, доценты, профессора... Ортопеды, травматологи, курортологи не приходили к единому выводу. Одни находили признаки артрита, другие левостороннего сакроилеита. И вот, наконец, меня везут в Сокольники, где меня должна принять профессор Антонина Юрьевна Лурье[1], крупнейший специалист по костному туберкулезу. Помню ожидание, ощущение, что сейчас все это выяснится; узкий, как пенал, кабинет, худенькая. маленькая женщина, которая сильными пальцами мнет и гладит мою спину, велит пройтись по комнате, слушает дыхание, долгим, ничего не выражающим взглядом рассматривает снимки. Она спрашивает, болел ли я пневмонией. Мать отвечает за меня: болел. Она снова глядит на снимки, на меня, обдумывает и, наконец качнув головой, произносит: «По всей вероятности, это коксит. Надо срочно ехать на юг, в Евпаторию».

## 3

И вот я еду в Евпаторию, без путевки, но с жалостным личным письмом к главному врачу санатория. Я еду один, без провожатых; по просьбе родителей соседи по купе приглядывают за мной. Впервые еду на юг. Выхожу на станциях, жду последнего гудка; когда он раздается, прихрамывая, иду по перрону, прыгаю на ходу. Я еще не забыл старые времена, когда люди не садятся нормально, когда они прыгают на ходу, потому что эти люди — мальчишки. Часами смотрю на поля, где тонкие закопченные деревца полезащитной полосы, читаю красные надписи на откосах: «Миру — мир».

И вот я в Евпатории. Я еще не дошел до санатория, не отдал главврачу просительное рекомендательное письмо, не опреде-

[1] Некоторые имена и фамилии в повести изменены.

лился на лечение. Но вот море — я его вижу в первый раз. И я ставлю на землю чемодан, прошу кого-то поглядеть за вещами и иду в море. Плавать я умею по-собачьи, сильно лупя ногами по воде. Но здесь не надо сильно, не надо по-собачьи... Здесь оно само мягко и тяжело трогает тебя, и ты чувствуешь его запахи: соли, солнца, глубины, и оно само несет тебя дальше от берега, от черного цвета к зеленому, от зеленого к синему и от синего к солнечному, голубому. Впереди качается флажок. Я не понимаю его назначения, и не знаю, что это предел, и думаю: дай-ка я доплыву до этого флажка. Руки и ноги движутся ритмично, складно: раз, два — я еще никогда так не плыл; снова раз, два — никакого коксита; раз, два — я здоров как бык, а если что и есть, так я лягу на волну, покупаюсь разок-другой, и все пройдет само собой. И почему-то вспоминается фраза, где-то слышанная или прочитанная: «Пройдет и это».

Проходит все, кроме этого.

Я принят в санаторий после хлопот, упрашиваний, после долгого, мучительного изолятора. Живу здесь месяц, два, три. Затем мой первый год в Евпатории. Я перехожу в следующий класс. Проходят учителя, врачи, ребята. Время проходит. Проходит все, кроме этого.

Я двигаюсь все хуже. Море — теперь воспоминание, одно из моих немногих воспоминаний. Лечат разными способами. Терплю все, врачи мною довольны. Да и мне они нравятся. Только что́ у меня, они все-таки не знают. Они лечат костный туберкулез, а он не поддается, и выявляются признаки какой-то другой болезни. И вот я случайно узнал, что профессор Лурье, та самая, здесь, на юге. Она консультирует в каком-то другом городе. Обращаюсь к Стенину, главному консультанту Крымского миноблздрава (он часто бывал у нас в санатории и меня как «старичка» уже знал):

— Позовите ее сюда, пусть посмотрит.

— Трудно,— говорит Стенин.— У нее сейчас другой маршрут, другие заботы.

— Только она может помочь,— прошу я.— Она меня уже смотрела в Москве. Она и диагноз поставила. Только она мне может помочь.

И Стенин таки уговорил ее. Приехала Антонина Юрьевна, осмотрела нескольких ребят, в том числе и меня. Сидела долго у моей постели, смотрела рентгеновские снимки, листала историю болезни. История огромная — тома и тома. И где-то вначале, в первых московских томах, попробуй разыщи запись ее рукой: инфекционный коксит — диагноз, который идет за мной и по сей день. Итак, смотрит Антонина Юрьевна, щупает мои

ноги, суставы и говорит, обращаясь к нашим врачам, сопровождавшим ее:

— Нет, это не коксит. Это инфекционный полиартрит, тут и стопы поражены и коленные суставы.

И я хочу крикнуть ей: «Как же так, Антонина Юрьевна?! Ведь вы вспомните только Сокольники, три года назад, узенький кабинет, и вы так же внимательно смотрите снимки и говорите: скорее всего, коксит, туберкулезное поражение левого тазобедренного сустава. Как же так?.. Ведь вы же сами сказали. И все поверили вам».

Так хочу я крикнуть, но сдерживаю себя, смотрю на нее, на профессора Лурье, губы мои пересохли. Она тоже смотрит на меня, в глазах ее как бы тень воспоминания, ассоциация какая-то, но вот все это погасло; она скользнула по моему лицу взглядом, отвернулась к врачам, и вот они уже пошли цепочкой — она впереди, маленькая, уверенная, походкой главнокомандующего.

— Как же так? — кричу я ей вслед, и крик раскатывается и гремит на весь санаторий.

Только никто его не слышит. Никто даже не оборачивается, потому что кричу я беззвучно. А перед самым отбоем ко мне подходит Стенин, садится прямо на постель, говорит, сцепляя сухие пальцы, давя астматический кашель:

— Я-то твою историю болезни прочитал всю. Особенно внимательно московский период. И старый диагноз Лурье я видел. Рад, что ты вел себя как мужчина, что ты не устроил ей истерику. Конечно, ты мог раскричаться, никто бы тебя не осудил... Ведь Лурье не виновата. Да, не виновата. Она прекрасный диагност, эти вопросы знает идеально, насколько это возможно. Но не больше. Виновата болезнь. Да, твоя болезнь. Потому что она похожа на тысячу других, казалось бы, абсолютно таких же заболеваний, у нее аналогичная симптоматика, ее развитие совпадает с сотней других случаев... Почти. Но есть что-то отличное, маленькие, почти неуловимые отклонения. Они накопляются с годами, и вот уже развитие идет не так, как в сотне других случаев. Три года назад тщательное сопоставление всех симптомов привело ее к выводу: коксит. А сейчас, за эти годы, болезнь видоизменилась незаметно и неожиданно, а с ней и диагноз. В девяноста девяти случаях она была права, в одном — нет. Такова медицина сегодня. И никто не виноват, что этот один пал на тебя. Понимаешь, твое тело, про которое все вроде бы известно, оказывается загадкой. Оно таит в себе нечто такое, чего не могут открыть и нащупать врачи. Человек не похож на другого, он только схож с другим. То же самое и болезни. Я понимаю, тебе было бы гораздо легче обвинить

Лурье: она во всем виновата, она ошиблась. Это инстинктивное желание человека обвинить кого-то в своей беде... Эту извечную особенность человека часто использовали и в историческом масштабе: когда людям худо, находят виновных, и освобожденная энергия идет на ненависть. И тебе, возможно, еще когда-нибудь захочется найти виноватого, тебе будет больно, тяжело: и вот такой-то был невнимателен, или сестра о своем думала, или что еще... Постарайся не винить. Ты разберись для себя сначала. А то обвинишь впопыхах — и боль не уменьшится да еще тяжелее станет. Но если уж уверился и знаешь, что прав, тогда гни свое до последнего...

Так он мне говорил глуховато с паузами, астма в нем гудела, и он как бы прислушивался к чему-то в себе, к тому инструменту, что протяжно-расстроенно хрипел в глубине его.

Он часто приходил ко мне. Не знаю, почему он выбрал именно меня. Он пришел ко мне однажды и долго молчал, постукивая палкой по полу, потом посмотрел на меня остро и как-то диковато и сказал без голоса, почти шепотом:

— Собери все силы, браток, скверную весть я тебе принес. Не хочу тебе морочить голову, врать: в доме твоем московском горе. Умер отец...

Я плакал, он гладил меня по голове. Почему я плакал при нем, почему я не скинул его руку с моей головы? Ведь это было мое горе, а я терпеть не мог, когда меня жалели. Когда я перешел в десятый класс, он принес мне подарок. Не книги, не что-нибудь интеллектуальное, а набор сухих крымских вин.

— Тебе это можно немного, ведь ты уже взрослый, десятиклассник. Давай немножко выпьем.

Мы выпили, помолчали. Голова у меня чуть закружилась, блаженно, удивительно... Так не было еще никогда. Я посмотрел в окно: море было видно и слышно; я улыбнулся и прочитал, освобождаясь от стеснения, неподвижности, от болезни, взлетая вдруг вверх, туда, где только и есть вдохновение, а значит, погибель, счастье. Я прочитал стихи любимого мною поэта Сергея Есенина:

Любимая, ну что ж! Ну что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.

— Дурачок,— тихо сказал мне Григорий Акимыч Стенин.

— Это почему ж?

— А потому, что твоя гробовая дрожь — это дрянь, это ничто, пустота, гнилая червивая пустота.

— А жизнь не пустота? А впрочем, у всякого своя жизнь.

И вы мою не знаете и не поймете никогда. Моя — это сплошная пустота.

— Я твою не знаю, конечно, но я тоже знал пустоту. Каждый человек знает пустоту... У каждого это по-своему. Ты еще маленький, ты дурачок, тебе больно, грустно, ты беспомощен, но у тебя еще кое-что есть...

— Это что же?

— У тебя есть будущее.

— Это у меня-то?

— Да, именно у тебя. У тебя есть будущее, вера, наивность, наконец. У тебя многое еще есть. И не будем меряться, кому ноша тяжелее. Оставим это штангистам, а только с этими гробовыми штучками кончай. Это пусть здоровые тешатся, с жиру. А тебе это ни к чему. Тебе надо иметь ясный ум.

— Ладно, я переменю репертуар. «И жизнь хороша, и жить хорошо, а в нашей буче, боевой, кипучей, и того лучше!» Не так ли?

— Если хочешь — так... Если б так не чувствовали себя люди хоть ненадолго, хоть на мгновение, жизнь потеряла б смысл.

— А в моей жизни и так не много смысла... Вот нам часто учителя говорят: не падайте духом, берите пример с Павки Корчагина, с Маресьева. Но это легко сказать — пример бери. К тому же и Павка и Маресьев уже что-то успели, они уже многое познали в жизни, они уже себя проявили. У Павки была революция, бои, победы, у Маресьева — самолеты, война, у них за спиной была молодость нормальная, здоровье, удача. Ведь болезнь накрыла их уже взрослыми. Они уже знали, в чем смысл жизни, а у меня что за спиной: начальная школа, эвакуация, барахолка, футбол на пустыре, десяток книг... Что еще? У меня еще и кости не затвердели, когда меня ударило. Единственное, что у меня осталось,— это то, как я плыл к флажку.

— К какому еще флажку? — спросил Стенин.

— К маленькому флажку в волнах. Ну да ладно. Что теперь говорить... Есенин все-таки правильно сказал: «Как ласку новую приемлю».

— Смотри, прямо всего наизусть вызубрил,— сказал Стенин.— Значит, приемлешь ее, как ласку. Это ты-то ее приемлешь?

— А кто же еще?

— А я думаю, ты все врешь. Привираешь малость. Вернее, напускаешь на себя туман, интересничаешь сам с собой... Ничего ты, дружок, не приемлешь, никакой гробовой дрожи, ты даже еще и не понимаешь, что это такое. Ты не понимаешь, что такое

смерть. И не кокетничай со смертью, не надо с ней... Она ведь подла, так и всерьез нарваться можно.

— Ну и пусть.

— Ну, а это вообще не по-мужски и не по-человечески. Ты говорил насчет учителей, которые учат: бери пример с тех-то и с тех-то. Я это тоже не совсем понимаю. Не люблю, когда тычут самыми прекрасными именами без конца. Пример человек выбирает себе сам, как судьбу; его нельзя заставить взять пример. Да к тому же нелепо все время повторять: вот и ты должен быть таким же героем. Так просто: захотел и стал героем. Я не стану тебе это говорить. Я ведь все понимаю, понимаю, как тебе не повезло. Но ты должен усвоить: пока у тебя есть голова и сердце, ты обязан существовать не как обрубок, не как инвалид — раб своей немощи, а как личность. Как личность, которая знает то, что и другим неведомо. Пока у тебя варят мозги, мир еще принадлежит тебе и ты еще живой, кое на что способный. Ты его еще можешь перевернуть, этот мир, понимаешь?

— А надо?

— Не знаю. Тебе переворачивать, ты и подумай. Никогда ничего не надо переворачивать просто так, без необходимости...

Мы с ним замолчали, хлебнули еще по стаканчику. В огромные окна и занавешенную белым дверь просвечивало море, уже закатно-торжественное, темное. Час отбоя наступал, но никто из наших еще и не думал спать. Ведь был праздничный день окончания экзаменов. И сестры не ходили с термометрами, с порошками. Все, кто мог, сидели на кроватях, а ходячие бродили по коридорам, по палатам, смеялись, пели, громыхали костылями. Моя койка была в стороне, в закуточке. Мы со Стениным были только вдвоем. И мне вдруг послышался мотив песенки, модной тогда: «Море спит, а закат догорал, на скамейках влюбленные пары, а я счастье свое потерял на широком приморском бульваре».

...После этого Стенин долго ко мне не приходил. Я спрашивал о нем, говорили: то занят, то болеет. Я о нем скучал. Мне с ним было интересно разговаривать и спорить. Я с ним часто не соглашался. Но то, что он говорил, все-таки в меня западало, и еще мне нравилось, что он говорит не то, что полагается, а то, что думает. Как-то он приехал, посидел около меня, спросил, куда я собираюсь поступать. Я сказал, что еще не знаю... Вроде бы по всем предметам занимаюсь ровно. Он сказал мне:

— В технический тебе нельзя. Нельзя рисковать. В ближайшее время ты не сможешь заниматься практической работой и должен отчетливо понимать это. Тебе надо заниматься делом, где твой инструмент: перо, бумага и книги.

Он замолчал, лицо у него было осунувшееся, серое.

— Только бумага, книги, перо и голова,— повторил он шелестящим, как бы пересохшим голосом,— и характер...

Затем он пришел через два месяца, постоял надо мной, улыбнулся, погладил легкой теплой рукой по лбу.

Однажды весь наш персонал куда-то исчез. Это было время мертвого часа. Как бы уже в полусне я помню, что все куда-то собирались, спешили на автобус и говорили о цветах. Все уехали. Только няня одна тихо брела между кроватями.

— А где все? — спросил я у нее.— Куда уехали?

— «Куда, куда»...— ворчливо сказала она и помолчала.— На божье место, на кладбище. Стенина хоронят.

Так кончилась моя школа. Товарищи излечивались, прощались; прихрамывая, шли к автобусам... Автобус повезет их до поезда, поезд — домой. Я оставался здесь. Стал старожилом, почти достопримечательностью. Я вырастал, кровати становились мне малы. Меня переселяли на новые, пошире, подлиннее. Приезжали новые мальчики, девочки, начинались новые дружбы. Можно много говорить о людях, которые здесь жили... Болезнь интересно влияет на людей. Некоторые не понимали, перед чем они стоят, что над ними нависло, и без конца капризничали, ссорились, интриговали из-за пустяков.

Другие считали себя здоровыми, плевали на все, нарушали режим, не хотели ни признать болезнь, ни примириться с ней. Третьи исступленно занимались, зарывались в учебники, в книги, а в паузы, когда они учебники откладывали в сторону и оставались наедине с собой, пугались себя, будущего, болезни... Четвертые становились добрее, взрослее своих лет, терпимее. Пятые не хотели заниматься ничем, все время просились домой, как будто дома спасение... Занятный, в общем, был коллектив.

Я часто вспоминал Стенина. Мне его не хватало. Да что там не хватало... Мне обо всем хотелось говорить только с ним. Обо всем, что я думал и переживал. Какой он был человек? Я тогда об этом не задумывался. Уже позднее я стал анализировать. Интересный? Яркий? Мне казалось, что так. А может, я по молодости преувеличивал. В общем-то, он был неудачник, я это позднее понял. Он был способный врач, с будущим, но попал под пресс времени: война, послевоенные годы, хотел заниматься наукой, но не сумел отказаться от административной работы и все думал: потом, потом... А потом он понял, что «потом» не бывает. Но уже поздно было. И ничего изменить он уже был не в силах. К тому же еще он болел. Но если он и был

неудачником, то особого рода, из тех, кого неудачи не загоняют в грязь, а, наоборот, делают в чем-то мудрее и выше. Не знаю, какой он был. Мне казалось, что он единственный. Он был незаменим. Боже, как я по нему тосковал!.. Потом эта острая тоска прошла, и осталась лишь память, да голос его, да черты лица, которые не совсем складываются в портрет, а лишь отдельные штрихи его... И лицо это теперь мне уже не вспомнить, не забыть...

Я занимался много. Даже после мучительных, долгих процедур, занимался и ночами. У меня была буквально мания учебы. В 1952 году я закончил школу с медалью.

Потом я уехал из Евпатории. Что я там оставил, что взял с собой? Оставил годы, которые называются школьные. Говорят, они лучшие, даже есть вальс про школьные годы. Помнишь?

Так вот, оставил я позади эти самые лучшие школьные годы. Что еще? Белую палату оставил, старшего друга в крымской земле, товарищей... Товарищи мои бедовые тоже вышли на широкие просторы — «вышли» не совсем, правда, точное слово,— поковыляли они на своих костылях к иным берегам, кто как умел. Это я о своей палате говорю. Очень у нас тяжелые лежали, а из других палат уходили налегке, без костылей. Многие сейчас и не помнят, что болели. Так вот, я уезжал из Евпатории. На вокзале было шумно, курортные люди прощались с теми, кто уже завтра-послезавтра будут не курортными, а обычными, а я прощался с друзьями, с которыми прожил четыре года вместе. Когда поезд тронулся, я снова вдруг вспомнил, как впервые увидел море, вошел в него и плыл до флажка. Какое оно было податливое и теплое! В первый раз я увидел тогда море. Но если подумать хорошенько, если как следует подумать, то, наверное, и в последний. Зачем же обманывать себя? И когда поезд тронулся, курортники остались позади, замахали платочками, а мои друзья с палками и на костылях застыли на перроне, я подумал с полной ясностью и отчетливостью, что в эти края я уже никогда не приеду, что с морем я прощаюсь навсегда и что монета, которую я бросил в море, уже ничему не поможет. Даже если бы я бросил в волны свою серебряную медаль, завернутую в аттестат зрелости, все равно ничего, ничего, ничего не поможет. Потом началась московская жизнь, подготовка в институт. Я решил идти в университет на филологический. Я должен был поступить во что бы то ни стало. А заниматься было трудно. Не только болезнь мешала. Люди тоже мешали.

## 4

Я часто думаю сегодня, уже как бы с высоты возраста, о людях, с которыми встречался. Не так уж много людей я знал, но я их всех помню. В жизни у меня не слишком много впечатлений... Что это были за люди? Мне они ведь по-особенному открывались. Моя болезнь их по-особенному освещала. Добрые они или злые, равнодушные или раздражительные? Или вообще никакие?

Были добрые. Вот говорю «добрые», а не знаю, что это значит. Вообще ли они добрые или перед бедой чужой, из сострадания, может быть. Сострадание. Я это слово раньше не любил. Терпеть не мог. Какое-то тепловатое, хлипкое слово. Нас приучали быть твердыми, без сантиментов, без всяких бабьих штучек, мужчинами нас приучали быть. Слезы, боль, ласка — чепуха, это не нужно мужчине. Нужна скупость в выражении чувств, даже слеза у нас особая, скупая. «Скупая мужская слеза». Теперь мне кажется, что появилась скупость в выражении чувств и в восприятии чувств. И некоторые не стали ни мужчинами, ни людьми, способными к состраданию. Оказывается, нельзя без этого самого «сострадания». Я пришел к этому не сразу. Вначале я только ощущал телом своим, клетками, что та сестра, которая перед тяжелой процедурой что-то мне скажет, ну, например, самое простейшее: «Ничего, миленький, потерпи малость, это недолго, сейчас только сделаем и отдохнешь»,— лучше той сестры, которая скажет: «Давай, Шаталов, быстренько раздевайся, готовься. Побыстрей давай, больных у нас много».

Обе делают процедуру профессионально. Обе умело. Но с первой легче. Она меня не только лечит, она меня врачует, она мне сочувствует. Ты скажешь: это профессиональное сочувствие. Ну и пусть профессиональное. Профессия — тоже часть человека, часть души его.

А сколько я встречал профессионального равнодушия, когда тебя лечат по обязанности, почти в виде одолжения, и ты раздражаешь своего врача или сестру, и она даже не может, а иногда даже не хочет скрыть это. А больные зависят от них, ничего не могут сами и как бы чувствуют себя виноватыми за свою болезнь, заискивают перед сестрой, чтобы она лишний раз глянула, переменила подушку, подошла, уколола. Многого я наглядел в этом больничном мире. И пришел к выводу, что сострадание — великая вещь.

Вот люди, которые приходят ко мне, пишут мне поздравительные открытки, делают вид, что я такой же, как и все, и что все будет в порядке, или не делают вид, а просто тянутся ко мне, может, верят в чудо, в мое выздоровление. Вот они.

У них есть это самое сострадание. Чужая болезнь их тоже малость точит — одних больше, других меньше. Но немало таких, которые презирают чужую болезнь, они не решаются вслух сказать, а думают: ну зачем он еще живет, зачем он ползает? Так во многих медицинских учреждениях относятся к хроникам, так называемым хроническим больным.

Бедные здоровые люди, они не понимают, что весь покой и здоровье их условны, что одно мгновение, одна беда — и все перевернулось, и они сами уже вынуждены ждать помощи и просить о сострадании. Не желаю я им этого.

Вот с такими я жил бок о бок несколько лет. Сейчас вспоминаю об этом как о страшном сне. Это были мои соседи по квартире. Мать, отец, дочки. Вроде бы люди как люди. Работали исправно, семья у них была дружная, своих в обиду не дадут. И вообще все как полагается: ни пьянства, ни измен, здоровый быт, здоровые отношения и любовь к песне. Как придут домой, радио на всю катушку, слушают музыку, последние известия, обсуждают международные события. Аккуратные до удивления люди. Не любят, не терпят беспорядка. Откуда взял, туда и положи. Вещи места знают. Полы натерты, все блестит, свет в общественных местах погашен. Копейка рубль бережет. А тут я. И у меня костыли. И я не летаю, а тихо хожу. Ковыляю по паркету. А паркет от костылей — того, портится... Тут и начался наш с ними духовный разлад, пропасть и непонимание. Сейчас все это шуточки, а была форменная война, холодная, со вспышками и нападениями. Нужно было иметь железные нервы, чтобы под их враждебными взглядами ковылять в ванную и там нагибать позвоночник, вытирать пол, потому что мокрый пол — это нарушение норм общественного поведения, это атака на самые устои коммунальной жизни.

И начиналось: если вы больные, так и живите отдельно. Что я могу ответить? Я бы рад отдельно, я прошу об этом, да не дают. Больным не место в нашей здоровой жизни. Так решили эти люди и начали против меня осаду, эмбарго и блокаду. И хуже всего им было то, что я не откликался, не лез в баталии, не давая им радости в словесной потасовке. Я научился искусству молчания. Клянусь, мне иногда хотелось взять хороший новенький автомат... Но это так, в кошмарных видениях. Автомат бы я не взял, даже если бы мы с ними оказались на необитаемом острове, в отсутствии народных районных судов. К тому времени я научился уже понимать цену жизни, даже их скверной жизни. Итак, я молчал. Я пытался быть выше и от постоянных попыток таким и стал. А потом мне становилось порой так плохо, что все это уже не волновало меня. Меня не волновали их категории, я мыслил

другими, и только когда я откатывался от бездны, я вспоминал о своих коммунальных врагах.

Все больше доставлял я им хлопот, все громче стучал своими костылями, все труднее мне становилось вытирать полы, не проливать воду, и все нестерпимее становилась обстановка в этой странной обители, соединившей самых разных, совершенно ненужных друг другу людей.

И я в один прекрасный момент понял совершенно отчетливо, что, может быть, самое главное мужество человека в том, чтобы преодолеть вот такую мелкую трясину, выбраться из бытовых гнусностей, не поддаться соблазну мелочной расплаты, карликовой войны, копеечного отчаяния.

Потому что мелочи такого рода с огромной силой разъедают множество людей, не выработавших себе иммунитет к этому. И вот эти люди всерьез лезут в дрязги, в дурацкую борьбу, опустошаются, тратят нервы, уже не могут остановиться. Когда они постареют, они поймут всю несущественность этой возни, но будет уже очень поздно, уже слишком много сил отдано мышиной возне, так много зла скоплено внутри, так много страстей потрачено, которые могли бы питать что-то важное, которые должны были двигать человека вперед.

Я говорю сейчас об этом не потому, что я мудрый судья,— меня самого в те годы жег мелкий, но жгучий огонь, и я немало обгорел на нем прежде, чем закалился. Закалился для того, чтобы сопротивляться большому и страшному огню, который жег меня с каждым месяцем все нещаднее.

Настроение, возникшее перед отъездом из Евпатории, ощущение моря, которое уже не вернется, все чаще охватывало теперь меня. Началось самое катастрофическое в моем положении — потеря надежды.

Все чаще и настойчивее я стал теперь думать с холодным спокойствием, как бы отключив все краны внутри, как бы заглушив биение сердца и мозга: раз так, так нечего больше цепляться за жизнь.

Тогда я еще мог двигаться. Окно было рядом, с высоты шестого этажа был виден город, мостовая и маленькие, быстро бегущие в отдалении от меня люди. Как и все люди, я боялся высоты. И все чаще и чаще я приготавливался к тому, что надо добраться до подоконника, сесть на него и повернуться спиной к окну. Нет, не нужно бросаться вниз лицом, глазами, в асфальт, в удар, который, наверное, равен взрыву и который ощутишь лишь в первую долю мгновения... Так не надо. Надо просто сползти с подоконника спиной к улице, тихо сползти, ничего не видя, не понимая. И я шел к этому окну каждый день. Каждый день по шажку. Все ближе, ближе к окну. К концу.

Мать поймала меня на этом. Не на попытке, а на настроении, на готовности к этому... Как она поняла? Помню, что не плакала, а только говорила гневно, с дрожащими белыми губами:

— Что ж ты как предатель... Мы все на тебя молимся, мы каждую минуту спрашиваем, как он, мы этим живем, борьбой за тебя, а ты как дезертир, как предатель.

Матери — они хорошие психологи. Она инстинктом поняла, чем бить... Она не стала меня упрашивать, не стала говорить: жизнь прекрасна, посмотри вокруг — вот небо, вот птицы, вот друзья. Нет. Она как гвозди в мозги вбивала: предатель, предатель!..

В тот день я решил для себя: на это я никогда не пойду, как бы скверно ни пришлось. Жизнь моя безрадостна? Нет, это ложь. Она мрачна, мучительна, тягостна, но она не лишена радостей. Я мыслю — значит, я существую. Да, мыслю, читаю, думаю, смотрю на людей, слушаю их или просто лежу, полузакрыв глаза, и тысячи сложнейших ощущений и ассоциаций трогают меня. Значит, я живой, значит, у меня есть мой собственный мир, исковерканный, но не лишенный смысла. И значит, я не уйду из него просто так, «по собственному желанию». Он нужен мне, а может быть, и я нужен ему. Ведь я тоже что-то могу. И может быть, в силу положения знаю то, что не знают другие люди...

Значит, надо жить.

Ну, а когда мне будет нестерпимо плохо и больно, я могу дать себе минутный выход: я могу подумать об этом. Только подумать. В виде такой психологической провокации. Просто для ощущения того, что вот есть выход. Подумать — и тут же в тишине услышать голос матери: «Что ж ты как предатель...»

## 5

Отворяются двери. Эрнст слышит шаги в коридоре, поднимает глаза. Обычно он узнает своих близких по шагам. Сейчас, разгоряченный разговором со мной, он напряженно смотрит вверх и как бы ловит звук.

— Это я, шеф,— раздается молодой голос, очень похожий тембром на голос самого Эрнста.— Последней лекции не было, вот я и забежал.

Высокий мальчик входит в комнату, улыбается, а глаза озабоченные, напряженные, потому что он не знает, как здесь дела, кто пришел к шефу, не утомляет ли этот человек его, потому что он не знает, проголодался ли шеф, не забыл ли принять лекарства и как вообще он сегодня.

— Значит, сачкуешь,— говорит Эрнст.

— Не сачкую, шеф, все законно. Петров прихворнул — нас отпустили.

Он выходит из комнаты, разогревает еду. Шефу полагается есть всегда в одно и то же время.

— Почему он называет тебя шеф? — спрашиваю я.

— Не знаю... Так уж повелось. Шеф да шеф. Могучий у него шеф, нечего сказать.

Позднее я как-то спросил об этом у Мишки:

— Почему такая кличка?

Он улыбнулся, помялся, сказал:

— Да как-то так уж привыкли.

Потом мы с ним разговорились, и он сказал мне:

— Понимаете, у нас отца ведь нет, Эрик в семье старший, вроде бы глава семьи. Без него ни мать, ни я ничего не решаем. Когда я в институт поступал, думали, гадали, какой из технических выбрать и, конечно, что шеф скажет. Или, например, какая заваруха у меня на работе — я ведь учусь и работаю — сразу к шефу. Как быть? Или с кем подружился я, например, привожу этого парня домой, с шефом знакомлю.

Да и мать Эрнста мне рассказывала, что Мишка даже интонации старшего брата перенимает...

Представьте себе ситуацию: мальчику семь лет, его брату девятнадцать. Брат болен, на костылях. Мальчик знает, что, кроме игр, беготни, солдатиков, есть еще это: дай Эрнсту, принеси Эрнсту, помоги Эрнсту. Мальчик растет, учится в школе. А старший брат ходит все хуже и хуже, все больше лежит, все чаще глаза у него неподвижные, расширенные болью. В доме всегда запах больницы. Таков фон, на котором растет Мишка. Он постепенно становится нянькой: подмести, принести, взять, убрать. Движения его почти профессиональны, это движения сиделки. Он видит — мать разрывается на части: работа, болезнь Эрнста. Он знает это сызмальства. Ему не надо втолковывать. Он уже это понял, хотя и не без срывов. Как он должен относиться к брату? С жалостью? Да, конечно. Но не совсем так...

Кто объяснит тебе задачу, да так терпеливо и спокойно, как и учительница не объяснит? Брат. Кто соберет тебе первый твой приемник? Брат, Эрик. К кому ты прибежишь, побитый мальчишками, преданный своим лучшим дворовым корешем, не сумевший дать сдачу, отомстить? К брату. И он скажет тебе: «Дурачок, вытри сопли. Главное в нашем деле — не трухать».

И кто еще тебе расскажет весь состав московского «Динамо», когда они ездили в Англию после войны и выиграли две встречи

при двух ничьих? И кто еще разорвет летний список для внеклассного чтения и скажет: «Ненавижу типов, которые читают книги по рекомендательным спискам. Когда они становятся взрослыми, у них даже усы не растут». «Как — не растут, разве это связано?» — растерянно спросит младший брат. «Да, это все взаимосвязано в природе»,— ответит старший. И кто будет подкладывать тебе свои взрослые книги, не рекомендованные никем, только старшим братом, Эриком. И когда учеба, работа или что иное покажется тебе вдруг непосильным, невозможным, когда ты почувствуешь себя трусливым, маленьким, слабым, когда ты соврешь или кого-нибудь чуть-чуть предашь, о ком ты подумаешь? О великих, которые не были такими? Скорее всего, ты подумаешь о шефе. Почему? Да просто так, хотя он ничего такого особенного не делал. Просто ты вспомнишь, как он сдавал экзамен на филфак, как он лежал и занимался. Как он переписывал свои работы, чтобы послать их педагогам. И как ждал, что педагоги приедут. И как они часто не приезжали. И как он снова ждал, что они приедут. И снова переписывал. И ночью писал что-то для себя. А утром, днем и вечером ему делали уколы и процедуры. И как он ждал друзей, и как умел им прощать, если они не приходили, если забывали... И как он расставался с матерью и с братом, когда его забирали в очередной раз в госпиталь, как дружески, весело прощался, потому что это ненадолго, просто еще немножко поваляется в лазарете и тогда начнет все по-новому: «Главное в нашем деле, Мишка,— не трухать».

И возвращался из госпиталя похудевший, обросший щетиной. И Мишка брил его, а утром на рассвете бежал для него в киоск за «Советским спортом», а вечером играл с ним в шахматы.

И почему-то, если Мишка читает книгу или смотрит кино и что-то его задевает, он ловит себя на мысли: а что бы тут шеф сказал? Как бы это ему, шефу?

Миша кормит Эрнста, уносит посуду, уходит в другую комнату. Слышно, как жужжит его электробритва. Потом он появляется, свеженький, вечерний, в белой рубашке, в галстуке.

— Ты что, футбол по телеку не будешь смотреть? — говорит Эрнст.

— А кто сегодня?

— Ты что, забыл? Сегодня Киев с ЦСКА. В Киеве.

— Да, действительно... Жалко.

— Чего жалко! Оставайся дома, поглядим, как наши припухать будут.

— Нет, шеф, сегодня не могу.

— Спецзадание? — говорит Эрнст.

— Может быть. Ну, пока. Я пошел...— Мишка кивает нам,

ослепительный, целеустремленный и нездешний.— Мать скоро придет.

Он уходит. В окно я вижу, как он бежит, перепрыгивая через лужи, как по привычке оборачивается, смотрит на свое окно и бежит дальше. Шаг его размашист и нетерпелив.

— Весна,— говорю я.

— А как же,— задумчиво говорит Эрик.— Без этого нельзя.

## 6

На столике рядом с кроватью Эрнста книги, журналы, газеты. Среди пестрых номеров с гимнастками на обложках «Юности», серых канцелярских тетрадок, толстых журналов, среди ликующих «Советских экранов» вижу толстые тома какого-то академического, старого издания. Беру первый том: Бенедикт Спиноза.

— Ну даешь, шеф,— говорю я.

— А что... Дней моих, как говорил Бунин, на земле осталось уже немного, вот и хочу окунуться в реку бессмертия. Не вас же мне, современных факиров на час, читать, вы уходите и приходите, попищите и притихнете, пощекочете нервы на пять минут — и все, а Барух Спиноза остается.

— Так вот ты как заговорил,— в тон ему отвечаю я и чувствую, что во всем его периоде меня резанула не ирония к нашему брату, а цитата из Бунина: «Дней моих на земле...»

— Я раньше делил книги как бы на две группы. Первая: прочесть сейчас, вторая: когда-нибудь. К первой относились периодика, нашумевшие вещи, мои собственные любимые авторы, за которыми я слежу, интересные переводные произведения. А ко второй так называемые истинные ценности, знаешь, то, на что пишешь шпаргалку в университете. «Ограниченность позитивного взгляда энциклопедистов состояла в том...» и т. п. и т. д. В чем ограниченность состояла, уже знаю, а почему мы все-таки их проходим, хотя они и померли бог знает когда,— вот этого толком не знаю. И в голове только остаются прекрасные фамилии — Монтень, Шарль де Монтескье. И еще знаю, проходил, что задолго до них жил да был этот самый великий голландский философ-материалист Бенедикт Спиноза и что его травили. Ну, травили и травили. И все я откладывал это на потом, думал: сейчас не до того. Дела, зачеты, экзамены, хлеб насущный. Отложим на потом. Но с течением времени я понял, что на потом откладывать нельзя; как я уже говорил тебе, «потом» не бывает.

И появилась тяга к тому, чтобы немножко больше разобрать-

ся в самом себе, в этом самом странном «я», которое все время неотступно с тобой и за пределы которого так хочется иногда выскочить. И начинаешь ночами думать, думать о всякой чертовне, о себе самом, о друзьях твоих и о том самом, что так просто и понятно называется: смысл жизни. И на помощь своим бедным, уже одичавшим мозгам и своему довольно-таки куцему жизненному опыту призываешь великие умы и иные жизненные опыты. И вдруг хватаешься за башку: да ведь это я ощущал, ведь и со мной было, только я не умел это сформулировать. Как же это так: вон сколько изменилось за эти века, сколько перевернулось в мире! И «Персидские письма» Монтескье при всем своем величии уже во многом стали музейными, устарели, и общественные отношения изменились, а вот открываешь Спинозу и читаешь: «Зная, в чем состоит добро и зло, истина и ложь и в чем заключается счастье совершенного человека, можно уже перейти к исследованию самих себя...» Зная, в чем добро и зло... Но я тоже ведь должен это понять и прийти хоть частично к такому знанию. И тоже что-то должен оставить после себя, чтобы и мой несчастный опыт тоже хоть на капельку кого-нибудь просветил. Насчет опыта, он у меня, конечно, однообразный, но по линии испытаний я могу потягаться с кем хочешь, даже с Уриэлем Акостой.

Когда я пробился сквозь университетский конкурс, многие удивлялись. Смотри какой упрямый! А зачем ему это? Но я-то знал зачем. Я занимался изо всех сил...

Учителя, приезжавшие ко мне принимать зачеты, удивлялись, глядя на меня, бледнели и тут же хватались за ручки, чтобы, не спрашивая, поставить зачет. Не все, конечно, но были такие... Одному я сказал: «Не надо так, из милосердия. Вы меня спросите сначала, я ведь кое-что знаю. Я же тут месяцами сидел над этим. Так зачем же мне теперь одалживаться?»

И он спрашивал. Я отвечал. Потом он говорил всякие слова, и извинялся, и объяснял мне, какой я сильный человек. А «сильный человек» в пятьдесят пятом году снова загремел в ортопедический госпиталь. Там был профессор Каплин. Он мне говорил: «Тебя рано загипсовали, заложили в колодки, лишили движения. Мускулы твои от всего этого за годы стали ватными... И все-таки заставляй себя, лежа, напрягать мускулы ног, будь немножко йогом, Эрик».

И я стал йогом. Утром, вечером напрягаю свои ватные бицепсы... Лежу и напрягаю. И кажется мне, что если делать так год, два, три, я встану и пойду легкой, пружинистой походкой студента, сбежавшего с лекции. В госпитале я познакомился с танцовщиком Большого театра Володей Мешковским, еще с одним парнем Колей — ноги у него были повреждены еще в войну. На

нас троих словно бес нашел. Мы читали стихи, орали до хрипоты, спорили, прыгали или пытались прыгать на кроватях, нарушали дисциплину. С этими парнями мне было весело. Коля и сейчас бывает у меня. Его представили к награде за войну... В сумятице войны о нем забыли, обошли, а сейчас вспомнили и наградили. А Володька, который был самый счастливый и общительный человек в госпитале, великий нарушитель, умер. В мемориальный список моих друзей по санаториям и госпиталям, из которых мало кто добрался до тридцати, я вписал еще одного.

Когда я вернулся из госпиталя, мы переехали в новую квартиру. Вот сюда, около МПС, где работает мать. Кончилась наша мышиная война. И в том же году я засел за курсовую работу «Иностранная лексика в «Евгении Онегине»... Писал я кое-что и для себя, не знаю, как это назвать — рецензии, впечатления или, как сейчас это модно, эссе... Я еще тогда ковылял немножко и все торчал у окна, особенно весной и летом, изучил весь двор и дома рядом и всех ребят уже знал в лицо, а девчонок и вовсе узнавал по походке. В нашем дворе хорошие были девчонки, как, верно, и в других дворах; и весной, когда земля просыхала, асфальт становился серый, зернистый, они цокали, как лошадки, своими каблучками, а я стоял, слушал. Костыли были под рукой, мускулы ватные, голова вялая, расслабленная по-весеннему, и если я и стоял, то на чем-то очень вязком, как непросохший гипс.

И нету точки опоры.

Теперь я понимаю иногда людей, внезапно пришедших к религии. Это договор с самим собой, особый вид душевного компромисса, приказ самому себе: ослепнуть, не видеть правды, не думать о ней, искать выход не в своих силах и возможностях, а в возможностях кого-то, видящего тебя, который один понимает твое горе и дарит тебе за это «нечто». А какое это «нечто», никто не знает. Высшая радость, гармония, а скорее всего, просто анестезия. Нужна точка опоры, воплощенная в ком-то конкретно, в большем, чем ты и твое страдание. И к этому добавляется эмоциональная сторона, ты ощущаешь себя растворенным в музыке, в бестелесности, в той среде, куда не доходят мелкие житейские обиды и несправедливость, где твое одиночество особого рода — оно не убого по-человечески, не жалко. Ты не просто один в своих четырех стенах, наедине с родственниками, от которых ты устал и которые устали от тебя; нет, тут одиночество другое — ты наедине с Собеседником, постоянным, удивительно чутким и все понимающим, тем более все понимающим, что он и есть твое придуманное и отраженное «я».

У нас почти всегда исследуют религию как данность, как систему мировоззрения, общественно-социальный институт. Но

мало подчас исследуют конкретное состояние, приведшее человека к богу. И то, что есть этот бог для него, кого он видит в этом боге, кого он сам себе придумал, но для легкости приобщил к общему, узаконенному богу на иконе.

Но я ведь материалист, и силы реакции во мне самом не могли одолеть сил прогресса. Мне надо было найти точку опоры в чем-то ином, и я представлял себе, в чем она, но не умел ее сформулировать. Я точно знал, что она во мне самом, в каких-то таких моих возможностях, которые больше моих невозможностей, которые сильнее моей немощи, которые могут подняться даже над тем, без чего, в общем-то, скудна и обделена человеческая жизнь, как город без деревьев. Над тем, что стучат каблуки по асфальту и девчонка с моего двора идет на свидание к кому-то. Идет, и не надо ей понимать, какая подспудная сила в каждом ее движении, в улыбке ее, какой мир в ней заключен, независимо от нее самой, хорошая она или плохая, и как трагичен для меня торопливый стук этих каблуков.

И я ухожу от нее в свое плавание.

Я плыву по своим морям, тону в своих глубинах, оседаю на своих мелях. Чего я ищу? Клада на дне. Зачем это все?

Поскрипывая перышком, иногда записываю свои доморощенные мысли, включаю радио, слушаю музыку, думаю и достаю с полки толстую запыленную книгу. И вот что я там читаю: «Поэтому возвращаясь к предыдущему, достоверно, что когда душе представляется нечто другое великолепнее тела, то тело не в силах вызывать такие действия, какие оно вызывает теперь. Отсюда следует не только то, что тело не есть важнейшая причина страстей...» Спиноза...

В 1958 году Эрик совсем перестал ходить.

Ему было тогда 25 лет.

## 7

Приходят знакомые, незнакомые, друзья. Не так уж много. Ему хочется более широкого и более глубокого общения. Конечно, они сочувствуют ему. Но у них, понятно, своя жизнь и свои дела.

Есть люди, которые приходят формально, по поручению, и, видя, что в доме все в порядке, чисто убрано и техническая помощь не нужна, уходят, отметившись. Есть люди, которые приходят по поручению, но не формально, как пришел Вилен, инженер авиазавода. Это он установил коробочку с хлорвиниловым проводом, пульт дистанционного управления. Чтобы Эрнст не зависел ни от кого. Сложно с книгами. Трудно все достать, труд-

но выписывать все журналы... Многое трудно. Все в семье работают... Мать, брат да и сам Эрнст. Он пишет внутренние рецензии для издательства «Молодая гвардия», занимается литературным редактированием, проводит стилистическую правку диссертаций на медицинские темы и помогает не только изложить мысли ясным и точным языком, но и сформулировать сами эти мысли, расположить в максимальной логической связи. Диссертанты зовут его соавтором, благодарят. В какой-то степени так оно и есть, он тоже немного соавтор. К тому же и медицинские его познания обширны. О своей болезни он, казалось бы, мог написать докторскую.

Но доктором наук ему не быть. Ни медицинских, ни филологических. Университет пришлось бросить. Не знаю... Думаю, что на факультете могли сделать больше, чем было сделано. Преподавателям, конечно, было сложно контролировать знания тяжелобольного, и каждый приезд для консультаций был проблемой, стоил многих усилий, звонков, нервного напряжения. И Эрнст решил не затруднять людей. «Буду проходить свои университеты сам»,— решил он.

Ему многое приходилось решать самому.

Приходят сестры и врачи, лечат как умеют, болезнь остается. Приходят преподаватели, принимают зачет, и он снова один, со своими зачтенными знаниями и незачтенными, со своими планами и способностью их осуществлять, один — перед готовностью и возможностью, один — перед книгами и вялой тяжестью во всем существе, перед волей и безволием, перед ночной тишиной, перед бессонницей и рассветом, когда полагается начинать новый день.

Куда уходят эти дни, где они остаются, в каком океане несвершенного они тонут... Их уже не повторишь, не переиграешь...

Поблескивает в комнате кварцевый аппарат, как камин в зимнем домике в лесу. Лыжи прислонены к стенам этого домика, сохнут ботинки, ноги натружены, ноги отдыхают... Но почему они так онемели; чтобы их ощутить, надо напрячь мускулы, как учил профессор Каплин. Надо напрягать их час, два, три, сколько хватит сил.

Кварцевый аппарат потрескивает, больной сам себе дает дозировку — это очень опытный больной, он знает себя лучше, чем врачи.

Знает себя, поэтому и не слушается тех, кто говорит: покой, легкое чтение, телевизор, ни в коем случае не перегружаться.

Обязательно перегружаться. Нельзя идти с одним лишь грузом — болезни и бессилия. Еще многое могут вместить трюмы этого человека, оказывается, возможности его больше, чем можно было бы предположить.

Мореход сэр Чичестер, небритый, одичавший, пробивается на своем боте через океаны. Зачем этот бот? Ведь есть подводные лодки, атомные корабли, многоэтажные теплоходы. Зачем этот странный маршрут, которым ходили наши давно истлевшие предки, этот вечный маршрут на детских беспомощных кораблях. Но ведь не корабль испытывает сэр Чичестер и не маршрут он проверяет. Что же он испытывает? Себя!

Человек спускается в барокамере. Сидит один в глубине, в одиночестве, приборы фиксируют: как он там, как его нервишки, сколько он еще потянет, сколько он еще сможет? За ним следят показания датчиков. Эти показания печатают в научном журнале, изучается способность человека перегружать себя. Наконец он выходит из барокамеры, счастливый, победивший и измученный. Теперь можно отдохнуть, прокатиться на байдарке. Можно расслабиться.

Сколько он был в этой барокамере? Сколько же он выдержал... Тридцать — сорок суток. Это действительно рекорд.

Барокамеры бывают разные. Одни придумывают ученые, другие судьба... Одним срок — месяц. Другим — вся жизнь. Насколько хватит возможностей человека.

Я вспомнил однажды, что Эрик как-то сказал жестко, грубо: «Знаешь, боюсь скурвиться». Я тогда не понял, как это он может... С какой стати, почему?

Теперь понимаю. Боялся не выдержать. Перестать быть человеком, равным другим людям. Боялся, что начнет мучить других, мстить за свою беду, привередничать, мельчить... Он иногда говорил шутя: «Ну позвони, будь человеком». Или: «Ну зайди, будь человеком». И однажды, как приговор о ком-то: «Этот человеком не будет».

Это была формула его мышления.

Как-то он мне сказал:

— Иногда думаю: сколько же мне лет? По паспорту мне тридцать пять. Но сколько же мне на самом деле? А на самом деле мне недавно исполнилось девятьсот лет... Я бесконечно стар, сколько раз я уже умирал и со всем прощался и вновь вылуплялся на свет божий, и сколько я всего передумал в тишине,— ей-богу, этого вполне хватает на все девятьсот лет. Пусть мне выдадут справку в загсе, что мне девятьсот лет, и мы с тобой отпразднуем мое девятисотлетие.

— А я думаю, что тебе паспорт еще рано выдавать...

— Это как то есть? — Он помолчал, подумал, потом добавил: — А в чем-то ты прав, как это ни странно. Ты попал в точку, хотя дело не в паспорте. Я и сам иногда думаю, что мое совершеннолетие еще не наступило. Может быть, и вправду мне еще нет восемнадцати. И это потому, что я не прошел опыта

нормальной взрослой жизни, все нормальное оборвалось на отрочестве, а дальше полагалось бы: работа, семья, дети — все то, что формирует зрелого человека. Ну, впрочем, работа у меня была. И ребенок есть — это мой Мишка. Но, несмотря на это, ты прав, многого из вашей жизни я не знаю. Только могу догадываться. От этого иногда очень легко, почти нет груза ошибок, и я как папиросный коробок на волне. Я ловлю себя на множестве детских ощущений, детских обманов, часто задаю себе детские вопросы. Например, кем бы я был, если бы все сложилось не так, если бы я прожил не свои девятьсот плюс восемнадцать, а нормальные тридцать пять. Какой наукой я бы занимался и какая наука сейчас главная для людей? Может быть, скажешь, атомная физика, гори она, как говорится, синим огнем? Или, скажешь, биология, генетика и все такое? Конечно, и это, но все-таки я убежден, что не это главная наука. А главная наука сегодня — хочешь верь, хочешь нет — педагогика. Не удивляйся. Да, да, педагогика! В широком смысле этого слова, наука о том, как превратить человеческое существо в личность, о нравственном воспитании человека. В последнее время я много об этом думаю. Я чувствую иногда, что во мне умирает педагог. Не учитель, а педагог. Это нескромно, но зачем мне сейчас скромность, если я в чем-то уверен всерьез. Возможно, я не стал бы значительным педагогом, но что из этого... Нам не хватает, с одной стороны, огромного педагогического авторитета: Ушинского, Песталоцци, Макаренко, Яноша Корчака,— педагога, который заговорил бы о старых вещах с полным ощущением сегодняшнего дня и сегодняшнего человека. Но, с другой стороны, думаю, что эта нехватка еще острее — не хватает множества, именно великого множества людей с педагогическим чутьем, с интуицией, с блеском, с озорством, с даром лепить из сырого материала личность. Не хватает скульпторов. Помнишь, ты мне рассказывал историю с шапкой...

...В свое время я был на суде, где судили восемнадцатилетнего парня — убийцу. Я рассказал Эрнсту об этом парне. Он убил человека из-за меховой шапки, из-за серой кроличьей шапки. Случилось это зимой. Он был пьян, поссорился и подрался с друзьями и потерял шапку. Он шел по снежному насту вдоль подмосковной железной дороги, шел озлобленный, одинокий, голова у него зябла. Потом он свернул, пошел к поселку.

Навстречу ему по тропинке двигался человек. Они встретились на лыжне, на узенькой тропке в снегу; человек был пожилой, как выяснилось впоследствии, рабочий депо.

— Шапку давай! — еще издали закричал парень и загородил ему путь.

— Какую шапку? — ничего не поняв, спросил рабочий.

— Он еще тут дуру будет ломать! — проорал парень и ударил его в живот сапожным ножом.

Рабочий стал нагибаться, но еще держался на ногах.

— Ты мне шапку, паскудина, отдашь? — вне себя кричал парень и нанес рабочему еще несколько ударов.

Рабочий упал в снег. Последние его слова были такие:

— Ты обознался, парень... Я ж тебе ничего...

Он не договорил. Наверное, он хотел добавить: «не сделал». Он, видно, решил, что парень принял его за своего врага, за человека, с которым у этого парня серьезные счеты. Он умер, так и не поняв, что тот его убил из-за шапки.

После приговора я беседовал с этим парнем. Чего я ждал от него? Жестокости? Раскаяния? Патологии? Лицемерия?

Ничего этого я не увидел. Сидел обалдевший от процесса парень. Рассказывал сбивчиво, но довольно подробно. Разговор этот я записал почти дословно.

В середине разговора он вдруг сказал:

— Я, конечно, теперь раскаиваюсь. Я тут неправ был. Нехорошо получилось.

— Значит, ты неправ был,— тихо сказал я.— Значит, все-таки нехорошо...

Потом я спросил:

— А что же именно получилось?

— А вот то самое.

— А что именно «самое»?

Он не понимал, почему я допытываюсь, когда все досконально известно. Чего я вообще от него хочу. А я продолжал спрашивать:

— Так что же все-таки случилось?

— А то, что я его зарезал,— сказал парень.— Видите, как тут вышло: резать я не хотел, я хотел шапку взять, но он что-то придурялся, будто не понимает, что мне нужно, ну я и психанул тут. И вот так все вышло.

— А что же все-таки вышло?

— А вот то, что я его ударил,— недоумевая, ответил парень.

— А что же с ним стало?

— Ну, вам же известно что. Умер он. Ну из-за этого вся и толковища.

— А что такое умер? — спросил я.

Он улыбнулся, решив, что я его разыгрываю.

— Кто ж не знает, всякому понятно: сыграл в ящичек, богу душу отдал.

— Ну, а ты как после этого будешь?

— Ну, я как! Я думаю, меня помилуют. Я, конечно, исправлюсь... Я больше таких проступков, такого хулиганства не

допущу. Я и раньше такого не допускал. За мной ничего подобного не было.

— Не считая кошки. Помнишь, как ты однажды кинул в кошку ножичком?

— Да нет, это лажа. Это мне напраслину клеили. Не было такого за мной. Я кошек и собак уважаю, не как другие... Со мной в первый раз такая нехорошая случайность произошла.

На этом и закончился наш разговор.

Я пересказал его Эрнсту. Его поразило то же, что и меня. Полное непонимание убийства. Непонимание смерти. Непонимание даже того, что ему самому уготовано. Вроде бы нормальный, с восьмиклассным образованием парень, обо всем остальном рассуждавший достаточно примитивно, но более или менее логично, в рамках нормального человеческого сознания, вполне ориентированный в навыках среды и окружающего мира, он не понимал только двух вещей: жизни и смерти. Он и всерьез считал, что совершил проступок, потому что, в общем, не ощущал, что за этим стоит. Не понимал того, что отнята жизнь.

Я помню, что говорил тогда Эрнст. Он говорил, что этот случай — квинтэссенция этической глухоты, нравственной неразвитости, но сколько пацанов и девчат, у которых это есть не в такой катастрофической степени, сколько их топчется в подворотнях, и они прекрасно разбираются в футбольных командах, в приемах самбо, в модах и видели все фильмы с разведчиком в тылу врага, но что чужая жизнь неприкосновенна, многие из них не понимают. Неприкосновенна не с точки зрения закона и наказания, а с точки зрения человеческой, и не исключено, что некоторые из них однажды могут «психануть» из-за шапки или из-за чего-нибудь еще и схватиться за ножичек.

Значит, на каком-то этапе жизни его детского существования ему не сделали прививку, не объяснили как следует некоторых вещей. То есть ему говорили: не делай так, а делай так, это нехорошо, это плохо. Но это было воспитание по поверхности. Какие-то основные нравственные принципы даже не затрагивались, и тот сырой человеческий материал, который надо было лепить, так и остался неопределенным, бесформенным. А с бесформенным материалом можно делать все, что угодно. Он говорил, что в Евпатории, в больнице, ребята, несмотря на то что они сами физически страдали, были иногда крайне несправедливы и жестоки к другим, более слабым и страдающим, чем они сами. Болезнь делала их не более человечными, а более мстительными, более нетерпимыми друг к другу. Во многих из них была заложена часто неосознанная и не всегда опасная детская агрессия. Умные учителя понимали это и старались разряжать ее. Они направляли дремлющие, неиспользованные,

таящие в себе самые разные возможности силы в позитивное русло. И ребята с годами менялись. Учителя старались поворачивать страдания не против личности, а в пользу нее. Много вышло оттуда отличных, талантливых, душевно тонких ребят. Значит, и с трудным, неполноценным материалом можно работать. И работать всерьез, с любовью, с отдачей...

Он немного помолчал, потом продолжал:

— Только надо понимать психологию подростка и быть иногда на ее уровне. Именно не выше, подходить не с высот взрослости, а быть как бы в одном измерении с ними. Это ведь, кажется, Толстой сказал, что дети — увеличительное стекло зла. Но ведь и добра тоже. Потенция добра и зла у них огромна. Какую развить и как — вот в чем дело. Опыт воспитания очень часто сталкивается с индивидуальным опытом воспитуемого, с тем фоном, на котором формируется его личность. Это поединок. Поединок жизненных обстоятельств, уже возникших привычек и личности педагога, с другой стороны. И я ставлю на педагога! Причем, ты пойми, я тебе ведь рассказывал о Стенине — так вот мне не так уж были важны знания Стенина, его эрудиция. Мне было важно, какой он сам есть, а уж потом то, чему он меня научит. Думаю, что и Мишке моему мои советы будут побоку, если он перестанет мне верить и понимать меня.

Однажды я прочитал стихи, там были такие строки: «Миром править должны умудренные опытом дети...» Я понимаю, это поэзия, преувеличение, но какая-то правда здесь есть... Конечно, дети с потенцией добра, а не зла. Я как-то задумался, отчего вдруг стал так популярен Сент-Экзюпери. Ведь есть писатели неизмеримо крупнее, большего масштаба, более интеллектуальные. Но они не действуют так на воображение, не влекут так к себе. Почему? Потому что он и есть один из тех: умудренное опытом дитя. Детское есть в таланте, в мышлении: праздничность, благородство, чистота. А почему так популярен у нас, скажем, Паустовский? Ведь есть у нас более сильные мастера, лишенные сентиментальности, мелодраматизма. Но в них не хватает этой детской силы добра.

И заметь: у всех писателей этого рода есть определенные схемы, схемы извечные и оттого, может быть, особенно волнующие. Добро, столкнувшись со злом, обязательно побеждает его, причем добро не просто добро, оно, так сказать, добро воспитующее. Заметь, что у этих художников присутствует элемент дидактики. Но эта дидактика талантливая и очень искренняя. Это дидактика примера, а не поучения. Это та дидактика, которая повела Яноша Корчака на смерть... Но есть другая дидактика, не упрятанная в волшебство, не окрашенная личным примером, серая, лобовая, и она несет гибель той идее,

которую защищает. Возникает сила сопротивления дидактике. И эта сила приводит подчас к неожиданным результатам и последствиям...

Он еще помолчал и добавил:

— А теперь прочитай мне стихи.

— Какие?

— Те, которые больше всего любил в детстве.

— Хорошо, попробую вспомнить.

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.
Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.

Я дочитал «Воздушный корабль» до конца. Он слушал, полузакрыв глаза. Я читал и вспоминал тот день, когда впервые услышал эти стихи. Это было двадцать семь лет назад. Отчетливо помню жару и то, что я болел, и эта болезнь, кажется ангина, была странной, противоестественной в такую прекрасную июньскую жару. Окна в комнате были занавешены, но солнце все же пробивалось, и комната, в которой мы с отцом жили, была почти багровой от красных штор и солнца. Отец прочитал мне эти стихи, я чуть не заплакал. Особенно на меня действовало место:

И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.

Очень жалко было императора. Маленького, заброшенного, всеми покинутого императора. Помню, что отец зачем-то включил радио, и я ворчал на него: зачем нам сейчас радио, когда нам так хорошо? А в черном бумажном рупоре репродуктора уже звучали позывные «Интернационала».

Потом тяжелый голос диктора объявил о выступлении заместителя председателя Совета Народных Комиссаров.

Двадцать семь лет назад это было. Будто бы в другую эпоху, до новой эры.

Двадцать второго июня сорок первого года.

Мне еще не исполнилось шести лет. «Воздушный корабль» замер и остановился.

— А я больше всего любил «Ликует буйный Рим»,— сказал Эрнст.— Заметь, что в этом возрасте, лет в шесть-семь,— на

первом месте Лермонтов... Я не случайно попросил тебя прочитать эти стихи. Я слушал тебя и вспоминал, как ты мне рассказывал о манере говорить у некоторой части молодежи. Речь шла о специфическом жаргоне, на котором говорят приблатненные подростки. Строго говоря, это не жаргон, а лишь манера, странная смесь уже исчезающего блатного жаргона с самодельными словечками, иногда очень занятными. Эта речь всегда сопровождается соответствующей мимикой, манерой стоять, ходить, одновременно разболтанно-развязной и огрубленной, сильной и вместе с тем изнеженно-ленивой. Очень часто это игра, неопасная болезнь возраста, бессознательная потребность в небанальных словах, в оригинальности, бравада, форма самоутверждения, если хотите. Это бесследно проходит с возрастом у одних. У других с этого начинается отход не только от нормального языка, но и вообще от формы нормального общения, уход за ту черту, где чувств принято стыдиться, где единственное чувство правомочное — гнев, ярость, где слово «любовь» вообще не употребимо, оно откуда-то из оперы, из чепухи, из тех самых стишков, что в школе полагается заучивать, где культ кулака общепризнан, а затем переходит в культ ножа. Естественный мальчишеский интерес к оружию переходит иногда в настоящую потребность. И возникает свой кодекс, особый нравственный кодекс, противопоставленный общечеловеческому. Есть здесь и своя поэзия, вполне заменяющая воздушные замки,— доходчивая, низкопробная и пряная.

Тебе эти стихи отец прочитал, прочитал со страстью, хорошо, и они тебе запали в душу. Кроме того, он тебе рассказывал множество замечательных историй, мне тоже отец читал стихи, а вот этим ребятишкам отцы ведь иногда ничего не читают. Тут не до чтения, тут совершенно другая жизнь. Тут мат слушают, а не стихи, и привыкают к нему, и воспринимают его как нечто естественное, а стихи, наоборот,— как что-то нелепое и чудно́е. Но вот их прочитали им в школе, велели выучить наизусть. Они учили-учили, так что поэзия испарилась и смысл пропал.

Стихов уже нет. Они стали домашним заданием, уроком. А кем стал Лермонтов? Лермонтов стал занудством, мучением, будущей двойкой, усатым типом в учебнике, выразителем бог знает чего, того, что я еще не прошел, не выучил, поэтому не знаю чего. Какое же волшебство в таком Лермонтове? И возникает другое волшебство, неизмеримо более волнующее.

Ты приходишь вечером во двор, закуриваешь, выпиваешь, и хороший человек берет гитару, поет хорошую песню, и ты ее запоминаешь наизусть. А ведь учительница должна была про-

читать этот самый «Воздушный корабль» так, чтобы щеки у ребят покраснели от волнения.

Соприкосновение со словом должно быть краткое и обжигающее. Но для этого надо и читать уметь, а значит, надо еще немного быть актером, и прежде всего надо быть таким человеком, которого хочется слушать. Если такой человек говорит хорошо, значит, хорошо. Если он выбрал тебе стихи, то настоящие. Значит, сиди и слушай, потому что этот человек не училка, а педагог, личность. Он твой собеседник. Вот такие стихи ты запомнишь на всю жизнь. И если этот учитель тебе скажет, что тот тип, с которым ты «кантуешься», то есть дружишь, барахло, нехороший человек, ты призадумаешься и не поверишь, конечно, на слово, это и не нужно, но постараешься проверить его точку зрения и посмотришь на этого человека как бы со стороны. Свежими глазами. Его глазами. А потом внезапно ты и сам не заметишь, когда, как у тебя прозревали с в о и глаза. Человек уже стал смотреть с в о и м и глазами. А раз появились свои глаза, значит, человек стал человеком. Вот это и есть, грубо говоря, педагогика, как я ее понимаю. Это, так сказать, конкретная педагогика.

И вот почему я считаю ее самой главной наукой. И поэтому мне жаль, что во мне умирает педагог. Правда, я утешаю себя, что в каждом человеке масса потенциальных возможностей и профессий сидит. Одна выживает, становится главной. Другие умирают.

А иногда все возможности, все профессии умирают. И остается лишь воспоминание, причем не о делах, а о возможностях, которые умерли. Вот так, мне кажется, происходит и со мной. Ведь ты же сам сказал, что мне нет еще восемнадцати и дело моей жизни еще не начато по-настоящему.

Мне снится множество снов, часто кошмарных. Но есть удивительные по своей реальности. Вот вчера я мчался на мотоцикле и помню каждую деталь дороги: сначала это было шоссе, потом я проехал по какому-то маленькому южному городку, потом мы выехали на дорогу, но уже не шоссейную, а, кажется, в лесу.

— Кто же это «мы»?

— Ну не стану же я ездить один! Со мной был хороший человек. Его звали Лена. Мы с ней спешили к мысу Фиолент. Слышал про такой?

— Знаю, это около Севастополя.

— Да, так вот, мы подъехали к берегу, а берег там скалистый, прибрежная дорожка очень узка. Она говорит, чтобы я слез с мотоцикла: давай, мол, пройдемся по берегу. Я не согласен, не хочу слезать с мотоцикла, выжимаю скорость,

и мы мчим по этой дорожке. Она, конечно, боится, прямо-таки дрожит от страха, прижимается ко мне, а я иду по самой каменистой кромке. Так мы несколько секунд мчимся с ней между морем и землею, между ее страхом и моим весельем, между падением и взлетом, между тем, что могло быть, но не случится, и подлетаем к мысу Фиолент.

Здесь я останавливаю мотоцикл, мы спускаемся вниз, идем к морю. Потом мы загораем, купаемся, лазаем по горам, пьем холодную воду из источника... Потом уже темнеет, и мы снова садимся на мой мотоцикл и летим по темноте.

— Ты в этого человека, Лену, конечно, влюблен?

— Я — да.

— А она?

— Не знаю... Кажется, нет.

— Но как так может быть?

— Даже очень может быть. Я — да, она — нет. Я ей не нравлюсь, ей нравится скорость, и мотоцикл, и немножко мыс Фиолент. Понятно? Может, слышал такое выражение: безответная любовь. Оно сейчас вышло из употребления. Так вот, у меня была как раз та самая безответная любовь. Еще вопросы есть?

— Нет.

— Переходим к теме нашего урока. Итак, «Воздушный корабль»:

Потом на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идет и, махнувши рукою,
В обратный пускается путь.

## 8

Время от времени он посылал мне открыточки. Они написаны были очень мелким, точеным почерком, где каждое словечко лепилось к другому, отчетливо, как зернышки икры. Письма были шутливые, одно по-английски. Другое как будто от влюбленной дамы, третье в стихах: не удалось с тобою нам помартовать, удастся ли теперь нам поапрелить. Третье без подписи, нарисован человечек, лежащий на кровати. Последнее шутливое, и тоже в стихах. Вот его текст: «Протяжный привет из заточенья»:

По ночам вспоминаю далекие дни.
Февральская стужа. И мы — одни.
Помню уж смутно, как в табачном дыму
Мы сидели с тобою, как черти в раю.

Нет, по комнате вроде я ходил,
ты лежал.
Или было наоборот?
Как давно это было... Как время идет.

Я представлял себе, как он пишет это письмо, отдыхая, шепча еще не написанные слова.

Как время идет.

Время действительно шло быстро. Только у каждого из нас свой счет, и минуты наши не равны...

Вернувшись из долгой поездки, я позвонил ему. Мы разговаривали, наверное, больше часа. Настроение у него было неплохое, как всегда, ни на что не жаловался, только сказал, что вот уже неделю совсем не спит. Прописали снотворное, а оно не помогает. Я сказал, что заеду послезавтра, привезу ему хорошее снотворное, которое должно помочь.

— Я не люблю этих пилюль, от которых потом целый день свинцовая голова и невозможно работать.

— А ты работаешь?

— Стараюсь помаленьку.

— Рецензии?

— Да... И немного для себя.

— Для себя — про себя?

Он смущенно хмыкнул.

— Про других знаю мало. Попробую про себя... Ты же сам втравил меня в это сомнительное дело.

Я действительно говорил ему, что он должен написать книгу-дневник, книгу о себе. Он отмахивался. Но я знал, что он и без моего совета ведет записи, но делает это эпизодически, без системы, и я говорил ему, что надо все это собрать и продолжить.

— Кому это интересно? Медикам как пособие,— слабо улыбаясь, говорил он.— Или, может быть, записки из барокамеры. Да и что я могу сказать...

— То, что не скажет никто другой. Ты-то как раз и можешь сказать.

— Ну, ну, ну...

— Ладно, ты ведь и сам все понимаешь. Если у тебя хватает сил на рецензии, то у тебя должно хватить сил и на это. И в первую очередь. Это, если хочешь знать, твой долг.

— Скажи еще: исторический долг.

— Этого не скажу. А что человеческий долг — уверен. И кончим на этом. Нечего мне тебя агитировать.

И действительно, мы больше никогда не возвращались к этому. Но я отмечал про себя, что он с ревнивым интересом прочитал книжку Владислава Титова «Всем смертям назло...».

Прочитал и сказал, что она ему нравится, что в ней есть замечательные волнующие страницы. Еще он сказал, что завидует Титову, потому что тот может двигаться и работать. И добавил, что в этой книге ему не хватает психологии, рентгена человеческих состояний. Я понял тогда, что он думает о работе, что он, по-видимому, будет работать, если появится хоть малейшая возможность. И вот теперь по телефону он впервые сам заговорил об этом. И еще он добавил:

— Ночами у меня бессонница. Лежишь в этой жуткой тишине, читать нет сил, лезут всякие ненужные мысли, в том числе и о том, что исчезновение человека из этого мира иногда бесследно. Человек уносит с собой все, о чем думал, к чему стремился, от чего страдал, что преодолевал с такими усилиями. Совершенно бесследно — будто ты и не составлял для себя и близких целого мира. Вот был такой мир, в нем что-то бушевало, горело, а на поверку оказывается, что он ничто, бесследен, бестелесен... Счастливые те, у кого есть дети.

Он помолчал.

Были слышны в трубке какие-то дальние, на втором плане, гудочки и шорохи.

— Вот так, брат,— сказал мой Эрик.— Так когда ты заедешь и привезешь свои пилюли?

— Если хочешь — сегодня.

— Лучше в пятницу. Сегодня я малость не в форме... А в пятницу утром ты мне позвони и приезжай... На футбол ходишь?

— Редко.

— Твое «Динамо» что-то не того. Я их по телевизору видел.

— Да, не идет у них в этом сезоне.

— Значит, до пятницы?

— Да, до пятницы...

Голос его то тонул в этих шорохах и гудках, и я мучительно прислушивался к нему, то снова как бы выныривал со дна.

До пятницы были какие-то дела, и наш разговор я не вспоминал, только подумал, что ему все-таки трудно писать, невероятно трудно физически. Если бы у него был магнитофон, он мог бы наговаривать свои мысли, а потом все это можно было бы расшифровать и напечатать.

С кем можно было бы поговорить насчет магнитофона?

Как ему не хватает общения, разнообразных и интересных людей! Надо как-то привлечь к нему внимание... Может быть, я все-таки напишу о нем...

В пятницу утром я позвонил. Трубку снял почему-то не Эрик, а Миша.

— Здравствуй, Миша, я сегодня собираюсь к шефу. Как он себя чувствует?

Миша не ответил. И снова я услышал этот шорох, это верещание песчинок, и сама пауза, и это расслабленное, раздавленное «аллё» уже несли что-то мною неосознанное, но уже приближающееся и бесповоротное.

— Что ты молчишь, Мишка?

— Он... Он...

— Когда? — спрашиваю я.

— Сегодня, в шесть утра... Никак не мог уснуть. Потом заснул и не проснулся.

...И вот снова этот серый пепельный двор крематория, конвейер автобусов, цветов, слез. Я-то уже знаю дорогу сюда и здешний порядок. Я уже провожал этим маршрутом родных, друзей, а Мишка никогда.

Поэтому он так потерянно стоит в мерцающем по-церковному зале, стоит, опираясь на колонну, и орган обрушивается на него, как обрушивается на человека море в первый раз — сшибает с ног, забивает ноздри и рот и тащит в глубину. В непонятную людям глубину, в бездну уплывает лодка с человеком.

А на улице за воротами — солнечный свет и дождь.

Дождь идет весь июль и шел всю ночь в четверг, когда наш Эрик силился и не мог заснуть. Последнее, что он видел в своей жизни,— это был рассвет, некрепкое зыбкое солнце и бурный, не иссякающий ни на секунду летний дождь.

*1968—1969 гг.*

*Тем, кто не вернулся с войны.*
*И среди них — Диме Мансурову,*
*Володе Худякову — девятнадцати лет.*

# ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

## НАВЕКИ — ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ

*Повесть*

*Блажен, кто посетил сей мир*
*В его минуты роковые!*

*Ф. Тютчев*

А мы прошли по этой жизни просто,
В подкованных пудовых сапогах.

*С. Орлов*

# ГЛАВА I

Живые стояли у края вырытой траншеи, а он сидел внизу. Не уцелело на нем ничего, что при жизни отличает людей друг от друга, и невозможно было определить, кто он был: наш солдат? Немец? А зубы все были молодые, крепкие.

Что-то звякнуло под лезвием лопаты. И вынули на свет запекшуюся в песке, зеленую от окиси пряжку со звездой. Ее осторожно передавали из рук в руки, по ней определили: наш. И должно быть, офицер.

Пошел дождь. Он кропил на спинах и на плечах солдатские гимнастерки, которые до начала съемок актеры обнашивали на себе. Бои в этой местности шли тридцать с лишним лет назад, когда многих из этих людей еще на свете не было, и все эти годы он вот так сидел в окопе, и вешние воды и дожди просачивались к нему в земную глубь, откуда высасывали их корни деревьев, корни трав, и вновь по небу плыли облака. Теперь дождь

обмывал его. Капли стекали из темных глазниц, оставляя черноземные следы; по обнажившимся ключицам, по мокрым ребрам текла вода, вымывая песок и землю оттуда, где раньше дышали легкие, где сердце билось. И, обмытые дождем, налились живым блеском молодые зубы.

— Накройте плащ-палаткой,— сказал режиссер. Он прибыл сюда с киноэкспедицией снимать фильм о минувшей войне, и траншеи рыли на месте прежних, давно заплывших и заросших окопов.

Взявшись за углы, рабочие растянули плащ-палатку, и дождь застучал по ней сверху, словно полил сильней. Дождь был летний, при солнце пар подымался от земли. После такого дождя все живое идет в рост.

Ночью по всему небу ярко светили звезды. Как тридцать с лишним лет назад, сидел он и в эту ночь в разрытом окопе, и августовские звезды срывались над ним и падали, оставляя по небу яркий след. А утром за его спиной взошло солнце. Оно взошло из-за городов, которых тогда не было, из-за степей, которые тогда были лесами, взошло, как всегда, согревая живущих.

## ГЛАВА II

В Купянске орали паровозы на путях; и солнце над выщербленной снарядами кирпичной водокачкой светило сквозь копоть и дым. Так далеко откатился фронт от этих мест, что уже не погромыхивало. Только проходили на запад наши бомбардировщики, сотрясая все на земле, придавленной гулом. И беззвучно рвался пар из паровозного свистка, беззвучно катились составы по рельсам. А потом, сколько ни вслушивался Третьяков, даже грохота бомбежки не доносило оттуда.

Дни, что ехал он из училища к дому, а потом от дома через всю страну, слились, как сливаются бесконечно струящиеся навстречу стальные нити рельсов. И вот, положив на ржавую щебенку солдатскую шинель с погонами лейтенанта, он сидел на рельсе в тупичке и обедал всухомятку. Солнце светило осеннее, ветер шевелил на голове отрастающие волосы. Как скатился из-под машинки в декабре сорок первого вьющийся его чуб и вместе с другими такими же вьющимися, темными, смоляными, рыжими, льняными, мягкими, жесткими волосами был сметен веником по полу в один ком шерсти, так с тех пор и не отрос еще ни разу. Только на маленькой паспортной фотокарточке, матерью теперь хранимой, уцелел он во всей своей довоенной красе.

Лязгали сталкивающиеся железные буфера вагонов, наноси-

ло удушливый запах сгоревшего угля, шипел пар, куда-то вдруг устремлялись, бежали люди, перепрыгивая через рельсы; кажется, только он один не спешил на всей станции. Дважды сегодня отстоял он очередь на продпункте. Один раз уже подошел к окошку, аттестат просовывал, и тут оказалось, что надо еще что-то платить. А он за войну вообще разучился покупать, и денег у него с собой не было никаких. На фронте все, что тебе полагалось, выдавали так, либо оно валялось, брошенное во время наступления, во время отступления: бери сколько унесешь. Но в эту пору солдату и своя сбруя тяжела. А потом в долгой обороне, а еще острей — в училище, где кормили по курсантской тыловой норме, вспоминалось не раз, как они шли через разбитый молокозавод и котелками черпали сгущенное молоко, а оно нитями медовыми тянулось следом. Но шли тогда по жаре, с запекшимися, черными от пыли губами — в пересохшем горле застревало сладкое это молоко. Или вспоминались угоняемые ревущие стада, как их выдаивали прямо в пыль дорог...

Пришлось Третьякову, отойдя за водокачку, доставать из вещмешка выданное в училище вафельное полотенце с клеймом. Он развернуть его не успел, как налетело на тряпку сразу несколько человек. И все это были мужики призывного возраста, но уберегшиеся от войны, какие-то дерганые, быстрые: они из рук рвали и по сторонам оглядывались, готовые вмиг исчезнуть. Не торгуясь, он отдал брезгливо за полцены, второй раз стал в очередь. Медленно подвигалась она к окошку — лейтенанты, капитаны, старшие лейтенанты. На одних все было новенькое, необмятое, на других, возвращавшихся из госпиталей, чье-то хлопчатобумажное БУ — бывшее в употреблении. Тот, кто первым получал его со склада, еще керосинцем пахнущее, тот, может, уже в землю зарыт, а обмундирование, выстиранное и подштопанное, где его попортила пуля или осколок, несло второй срок службы.

Вся эта длинная очередь по дороге на фронт проходила перед окошком продпункта, каждый пригибал тут голову: одни хмуро, другие — с необъяснимой искательной улыбкой.

— Следующий! — раздавалось оттуда.

Подчиняясь неясному любопытству, Третьяков тоже заглянул в окошко, прорезанное низко. Среди мешков, вскрытых ящиков, кулей, среди всего этого могущества топтались по прогибающимся доскам две пары хромовых сапог. Сияли припыленные голенища, туго натянутые на икры, подошвы под сапогами были тонкие, кожаные, такими не грязь месить, по досочкам ходить.

Хваткие руки тылового солдата — золотистый волос на них был припорошен мукой — дернули из пальцев продовольствен-

ный аттестат, выставили в окошко все враз: жестяную банку рыбных консервов, сахар, хлеб, сало, полпачки легкого табаку:

— Следующий!

А следующий уже торопил, просовывал над головой свой аттестат.

Выбрав теперь место побезлюдней, Третьяков развязал вещмешок и, сидя перед ним на рельсе, как перед столом, обедал всухомятку и смотрел издали на станционную суету. Мир и покой были на душе, словно все, что перед глазами — и день этот рыжий с копотью, и паровозы, кричащие на путях, и солнце над водокачкой,— все это даровано ему в последний раз вот так видеть.

Хрустя осыпающейся щебенкой, прошла позади него женщина, остановилась невдалеке:

— Закурить угости, лейтенант!

Сказала с вызовом, а глаза голодные, блестят. Голодному человеку легче попросить напиться или закурить.

— Садись,— сказал он просто. И усмехнулся над собой в душе: как раз хотел завязать вещмешок, нарочно не отрезал себе еще хлеба, чтобы до фронта хватило. Правильный закон на фронте: едят не досыта, а до тех пор, когда — все.

Она с готовностью села рядом с ним на ржавый рельс, натянула край юбки на худые колени, старалась не смотреть, пока он отрезал ей хлеба и сала. Все на ней было сборное: солдатская гимнастерка без подворотничка, гражданская юбка, заколотая на боку, ссохшиеся и растресканные, со сплюснутыми, загнутыми вверх носами немецкие сапоги на ногах. Она ела, отворачиваясь, и он видел, как у нее вздрагивает спина и худые лопатки, когда она проглатывает кусок. Он отрезал еще хлеба и сала. Она вопросительно глянула на него. Он понял ее взгляд, покраснел: обветренные скулы его, с которых третий год не сходил загар, стали коричневыми. Понимающая улыбка поморщила уголки тонких ее губ. Смуглой рукой с белыми ногтями и темной на сгибах кожей она уже смело взяла хлеб в замаслившиеся пальцы.

Вылезшая из-под вагона собака, худая, с выдранной клоками шерстью на ребрах, смотрела на них издали, поскуливала, роняя слюну. Женщина нагнулась за камнем, собака с визгом метнулась в сторону, поджимая хвост. Нарастающий железный грохот прошел по составу, вагоны дрогнули, покатились, покатились по рельсам. Отовсюду через пути бежали к ним милиционеры в синих шинелях, прыгали на подножки, лезли на ходу, переваливаясь через высокий борт в железные платформы — углярки.

— Крючки,— сказала женщина.— Поехали народ чеплять.— И оценивающе оглядела его: — Из училища?

— Ага.

— Волосы у тебя светлые отрастают. А брови те-омные... Первый раз туда?

Он усмехнулся:

— Последний!

— А ты не шуткуй так! Вот у меня брат был в партизанах...

И она стала рассказывать про брата, как он вначале тоже был командир, как из окружения пришел домой, как пошел в партизаны, как погиб. Рассказывала привычно, видно было, не в первый раз, может быть, и врала: много он слышал таких рассказов.

Остановившийся поблизости паровоз заливал воду; струя толщиной в столб рушилась из железного рукава, все шипело.

— Я тоже была партизанская связная! — прокричала она. Третьяков кивнул.— Теперь только ничего не докажешь!..

Пар из тонкой трубки позади трубы бил, как палкой, по железному листу, ничего вблизи не было слышно.

— Пошли напьемся? — прокричала она в самое ухо.

— А где?

— Вон колонка!

Он подхватил вещмешок:

— Пошли!

— А потом закурим, да? — наперед уславливалась она, поспевая за ним.

Только у колонки спохватились: шинель оставил! Она вызвалась охотно:

— Я принесу!

И побежала в своих коротких сапогах, перепрыгивая через рельсы. Принесет? Но и бежать за ней было стыдно. Пущенный издали маневровым паровозом, сам собою катился по рельсам товарный вагон, заслонил ее на время.

Она принесла. Вернулась гордая, неся на руке его шинель, пилотку гребешком посадила себе на голову. По очереди они напились из колонки, и смеялись, и брызгали друг в друга водой. Надавив рычаг, он смотрел, как она пьет, зажмуриваясь, отхватывая ртом от ледяной струи. Волосы ее сверкали водяными брызгами, а глаза на солнце оказались светло-рыжие, искристые.

И с удивлением увидел он, что лет ей, наверное, столько же, сколько ему. А вначале показалась немолодой и сумрачной: голодная была очень.

Она помыла сапоги под струей: мыла и на него взглядывала. Сапоги заблестели. Ладонью отряхнула брызги с юбки. Через всю станцию она провожала его. Шли рядом, он закинул за плечо вещмешок, она несла его шинель. Словно это сестра его провожала. Или была она его девушкой. Уже прощаться стали, когда оказалось, что им по пути.

Он остановил на шоссе военный грузовик, подсадил ее в кузов. Став сапогом на резиновый скат, она никак не могла перекинуть ногу через высокий борт: мешала узкая юбка. Крикнула ему:

— Отвернись!

И когда застучали наверху каблуки по доскам, он одним махом впрыгнул в кузов.

Уносилась назад дорога, заволакивалась известковой пылью. Третьяков развернул шинель, закинул им за спины. Накрытые ею от ветра с головами, они целовались как сумасшедшие.

— Останься! — говорила она.

Сердце у него колотилось, из груди выскакивало. Машину подбрасывало, они стукались зубами.

— На денек...

И знали, что ничего им кроме не суждено, ничего, никогда больше. Потому и не могли оторваться друг от друга. Они обогнали взвод военных девчат. Ряд за рядом появлялся строй, отставая от машины, а сбоку маршировал старшина, беззвучно разевал рот, в который неслась пыль. Все это увиделось и заволоклось известковым облаком.

На въезде в деревню она спрыгнула, вместе с прощальным взмахом руки скрылась навсегда. Донеслось только:

— Шинель не потеряй!

А вскоре и он слез: грузовик сворачивал у развилки. Он сидел на обочине, курил, ждал попутной машины. И жалел уже, что не остался. Даже имени ее не спросил. Но что имя?

Примаршировал по пыли взвод девчат, которых они обогнали, промчавшись.

— Взво-у-уд!..— отпуская от себя строй, старшина загарцевал на месте.— Стуй!

Затопали не в лад, стали. Медно-красные от солнца лица, волосы, набитые пылью.

— Нали-и...ву!

Напрягая икры ног, пятясь от строя, старшина звонко вознес голос:

— Равняйсь! Сми-и-ррна!

У девчат от подмышек до карманов гимнастерок — темные круги пота. На той стороне шоссе осенняя рощица порошила на ветру листвой. Кося напряженным выкаченным глазом, старшина прошелся перед строем, как на подковах:

— Р-разойдись...

И смачно произнес, за какой нуждой разойтись. Со смехом, взбрыкивая сапогами, девчата бежали через шоссе, на бегу снимали через головы карабины. Старшина, довольный собой,

подошел, козырнул, сел рядом с Третьяковым на обочину: начальство с начальством. Из-под фуражки по его коричневому виску, по неостывшей щеке тек пот, прокладывая блестящую дорожку.

— Связисток гоню! — И подмигнул веселым глазом, белок его был воспаленный от пыли и солнца.— Должность — вредней не придумаешь.

Свернули по папироске. За шоссе в роще перекликались голоса. Постепенно взвод собирался. В пилотках, в погонах, с карабинами на плечах возвращались девчата из рощицы, кто сорванный цветок нес в руке, кто — пучок осенних листьев. Построились, подравнялись. Старшина скомандовал:

— С места — песню!

Хохот ответил ему. Он только показал издали: такой, мол, у меня народ.

Сидя на обочине, ожидая попутной машины, Третьяков смотрел вслед строю военных девчат, весело топавших по пыли.

## ГЛАВА III

Чем ближе к фронту, тем ощутимей повсюду следы огромного побоища. Уже прошли по полям похоронные команды, хороня убитых; уже трофейные команды собрали и свезли, что вновь годилось для боя; окрестные жители стаскивали каждый к себе, что оставила война, прогрохотавшая над ними, и теперь годилось для жизни. Ржавела в полях сгоревшая, разбитая техника, и над всем, над тишиною смерти — колючая ясность и синева осеннего неба, с которого пролились на землю дожди.

А мимо по грейдеру цокотала подковками пехота, позвякивала окованными прикладами о котелки, полы шинелей на ходу хлестали по ногам, тонковатым в обмотках. Солдаты всех ростов и возрастов, снаряженные и нагруженные, шли на смену тем, кто полег здесь. И самые молодые, ничего еще не видавшие, тянули шеи из необмятых воротников шинелей, со щемящим любопытством и робостью живого перед вечной тайной смерти вглядывались в поле недавнего боя. Там, куда они шли в свет заката, по временам словно растворяли паровозную топку: доносило усиливающееся гудение и вздрагивал воздух. И в себе самом, удивляясь и стыдясь, чувствовал Третьяков это беспокойство. Увидел сожженный немецкий танк у самого шоссе, остановился поглядеть. Танк был какой-то новый, громадней тех, что видел он на Северо-Западном фронте. Синяя оплавленная пробоина в броне: снаряд, должно быть, подкалиберный, как сквозь масло прошел. А броня мощная, толще прежней.

Ветер шевелил вдавленные в чернозем сырые клочья нашего серого шинельного сукна. В осколках луж, в танковом следу блестело похолодавшее небо, свежо и ясно сиял закат, покрываемый рябью. Третьяков смотрел и волновался, и мысли всякие, как впервые... Восемь месяцев не был на фронте, отвык, заново надо привыкать.

Последнюю ночь вместе со случайным попутчиком ночевал он на краю большого, сожженного немцами села. Попутчик был уже не молод, рыжеват, лицо мятое, на котором брить почти нечего, кисти рук в крупных веснушках, в белом волосе.

— Старший лейтенант Таранов! — представился он и четко, словно ожегшись, отдернул ладонь от лакового козырька фуражки. По выправке — строевик. Все на нем было не с чужого плеча: суконная зеленоватая гимнастерка, синие диагоналевые галифе — цвет настольного сукна и чернил. Сапоги перешиты на манер хромовых. А на руке нес он шинель офицерского покроя из темного неворсистого сукна. Даже на руке она сохраняла фигуру: спина подложена, грудь колесом, погоны на плечах, как дощечки, разрез от низу до хлястика. В такой шинели хорошо на параде, на коне, а укрыться ей невозможно: какой стороной на себя ни натягивай, ветер гуляет и звезды видны. Вот с нею на третьем году войны добирался старший лейтенант Таранов из запасного полка на фронт.

— Сами понимаете, как все это время не терпелось участвовать,— сказал он, при этом строго глянул в глаза и с чувством пожал руку.

Таранов сам выбрал дом для ночевки и очень удачно. Хозяйка, лет сорока, украинка, статная, гладко причесанная, черноволосая и смуглая, обрадовалась офицерам: по крайней мере, не набьется полная хата войск. И вскоре Таранов, поперек повязавшись полотенцем, помогал ей на кухне организовать ужин, вскрывал консервные банки, и женщина старалась рядом с ним. А за спиной ее, привлеченный запахом еды, ходил мальчонка лет трех, тянулся заглянуть на стол

— Та лягай спать, горе мое! — прикрикнула хозяйка и, как будто злясь на него, сунула ему со стола кусок американского колбасного фарша. А сама приниженно, испуганно глянула на Таранова.

Сбегав через дорогу к шоферам, Третьяков заправил бензином керосиновую лампу, всыпал в нее горсть соли, чтобы бензин не взорвался, а когда вернулся, за столом сидели уже трое.

— Ты гляди, лейтенант, кого хозяйка от нас скрывала! — поблескивая золотыми коронками из-под бледных, как отсыревших изнутри губ шумно встретил его Таранов. И подмигивал, указывал глазами.

Рядом с хозяйкой сидела дочь лет семнадцати. Была она тоже крупна, хороша собой, но сидела, как монашенка, опустив черные ресницы. Когда Третьяков садился около, подняла их, глянула на него с любопытством. Глаза синие-синие. Заговорила первая:

— Мы не взорвемось?

— Что вы? — стал успокаивать Третьяков.— Проверено на фронте. Соли всыпал в бензин, ни за что не взорвется.

И споткнулся о ее взгляд. Она снисходительно улыбалась:

— Я ж така трусиха, усего боюсь...

А мать черными глазами стерегла ее и рассказывала, рассказывала, сыпала словами, как из пулемета:

— Тут нимцы увходять, тут я писля операции уся, уся разрезанная лежу. Ой, боже ж мий! Оксаночке четырнадцять рокив и тэ, малэ... Шо мэни робить?

— Тебя Оксаной зовут? — спросил Третьяков тихо.

— Оксана. А вас?

— Володя.

Она подала под столом свою руку, мягкую, жаркую, влажную. Сердце у него пропустило удар и заколотилось, как сорвавшись.

— Оксаночка! — позвала хозяйка, встав из-за стола. Та вздохнула, улыбнулась лейтенанту, нехотя пошла за матерью.

— Ты не теряйся, лейтенант! — шепнул Таранов. Они двое сидели за столом, ждали. За дверью слышен был приглушенный голос хозяйки: она что-то быстро говорила, ни одного слова не разобрать.— На фронт едем.

Он подмигнул. По очереди прикурили от лампы.

— Может, последний день так, может, завтра убьют, а? — И громко позвал: — Катерина Васильевна! Катя! Что ж вы нас бросили одних? Нехорошо, нехорошо. Мы ведь обидеться можем.

Голоса за дверью смолкли. Потом хозяйка вышла одна, сияя улыбкой.

— А где же Оксаночка? — забеспокоился Таранов.

— Спать полягали.— Хозяйка близко села с ним рядом, полным плечом касалась его плеча.— От если б вы были врачи...

— А что? Какая болезнь? — спрашивал Таранов.

— Та не болезнь. Дороги гоняют строить. От если б вы были врачи, дали б освобождение дивчине.

— А мы и есть врачи! — Таранов усиленно подмигивал ему, глазами указывал на дверь, за которой была Оксана.

— То вы шуткуете! — И полной ручкой махала на него. Таранов ручку перехватил, к себе потянул.— У врачей погоны зовсим не такие.

— А какие же они у врачей?

— Манэсеньки, манэсеньки.— И пальцем другой руки рисовала у него на плече, на погоне.— Манэсеньки, манэсеньки...

— А не большесиньки? — У Таранова влажно поблескивали золотые коронки, к нижней беловатой изнутри губе присохла болячка.— Не большесиньки?

Разговор уже шел глазами. Третьяков встал, сказал, что пойдет покурить. В коридоре нащупал в темноте шинель, вещмешок. Закрывая наружную дверь, слышал приглушенный голос Таранова, женский смех.

Спиной опершись об уцелевший стояк забора, он стоял во дворе, курил. На душе было погано. Женщина, конечно, заслоняет собою дочь. Может, и при немцах вот так заслоняла, собою отвлекала от нее. А этот обрадовался: «На фронт едем...»

Беззвучно, артиллерийскими зарницами вздрагивало небо в западной стороне. Обмытый дождем узкий серп народившегося месяца, до краев налитый синевою, стоял над пожарищем, корявая тень заживо сгоревшего дерева распласталась по двору. Гарью наносило с соседнего участка: там обугленные яблони, когда-то посаженные под окнами, окружали обвалившуюся печную трубу на пепелище.

Слышно было, как через улицу во дворе колготятся шоферы у машин. Третьяков пошел туда. В доме на полу спали вповалку. Он влез по шаткой лестнице на сеновал, сгреб на ощупь охапку сена, пахнущего пылью, лег, укрылся шинелью с головой. Хотелось уже к месту — и скорей бы. Засыпая, слышал внизу голоса шоферов, медленное гудение самолета где-то высоко над крышей.

А на другой день он встретил старшего лейтенанта Таранова в штабе артиллерийской бригады. Прошагав на восходе солнца километров шесть пешком, Третьяков явился рано, писаря только еще рассаживались за столами. После завтрака им ни за что браться не хотелось до прихода начальства, они с деловым видом открывали и захлопывали ящики.

Полки артиллерийской бригады, подивизионно, побатарейно приданные стрелковым полкам и батальонам, разбросаны были на широком фронте, а штаб стоял в хуторе, в четырех километрах от передовой. Дальние артиллерийские разрывы сотрясали тишину и лень, повисшие под низким потолком хаты. Когда ветер поворачивал оттуда, доносило частую строчку пулеметов, но слышней жужжала на стекле оса. В раскрытой наружу пыльной створке окна ползла она снизу вверх по стеклу, удерживая себя трепыхающимися крылышками, и писарь на подоконнике перегибался, сладострастно и опасливо нацеливался раздавить ее.

Дымком летней кухоньки наносило со двора: там, под вишнями, в деревянном корыте стирала хозяйка. Горой лежали на траве штаны и гимнастерки, вываривался на огне полный чан портянок. Писарь Фетисов, молодой, но уже лысоватый, добровольно вызвавшись помогать, похаживал вокруг корыта, как на коготках. То сук разломит о колено, подкинет в огонь, то помешает в чану, а сам глаз не мог отвести от каменно колыхавшихся в вырезе рубашки грудей, от рук хозяйки, голых по плечи, сновавших в мыльной пене. Из окна ему подавали советы. И только старший писарь Калистратов, готовясь дело делать, прочищал наборный мундштучок, протягивал соломину сквозь него. Вытянул всю как в дегте, коричневую и мокрую от никотина, понюхал брезгливо, покачал головой.

Писарю на окне удалось наконец задавить осу. Довольный, обтер пальцы о побелку стены, достал яблоко из кармана, с треском разгрыз — белый сок вскипел на зубах.

— Так какие тебе, Семиошкин, часы разведчик припер? — спросил Калистратов. А сам прилежно клонил к плечу расчесанную чубатую голову, осторожно, чтоб не оборвать, протягивал новую соломинку через мундштук, начисто прочищал.

Семиошкин поерзал штанами по подоконнику:

— «Доксу»!

— Им везет... разведчикам.— Калистратов на свет поглядел в отверстие прочищенный мундштучок.— Впереди идут, все ихнее. Чего им?..

Третьякова писаря не замечали вовсе. Мало ли таких лейтенантов, обмундированных и снаряженных, проходит через штаб по дороге из училища на фронт. Иной и обмундирования не успевает износить, а уже двинулось в обратный путь извещение, вычеркивая его из списков, снимая со всех видов довольствия, более ненужного ему.

И еще он сам виноват был, что писаря не замечают его, и вину свою знал. Перед завтраком заскочил в штаб начальник разведки бригады — писарей из-за столов как выдернуло. Сами откуда-то явились бумаги на столах, за пишущей машинкой в углу возник писарь в очках, которого до этих пор вовсе не было, словно он под столом сидел. Ползая очками по клавишам, он печатал одним пальцем: тук... тук...— литеры надолго прилипали к ленте.

Чем-то понравился Третьяков начальнику разведки бригады: «Калистратов, скажешь, беру лейтенанта! Здесь останется, у меня, командиром взвода». И вместо того чтобы обрадоваться, вместо благодарности, Третьяков попросился в батарею. С этого момента писаря дружно перестали его замечать. Собравшись скопом, они разглядывали сейчас часы Семиошкина, лежавшие на

столе. Даже писарь в очках, как видно низший в здешней иерархии, вылез было из-за машинки тоже поглядеть, но ему сказали:

— Печатай, печатай, нечего тут...

Ножичком Калистратов вскрыл заднюю крышку часов, обнаженный, пульсировал маятник на виду у всех.

— Ие-ве-ли-сы...— по складам читал Калистратов нерусские буквы. Проглотил слюну, утвердился, чубом тряхнув.— Евельс! Это что?

— Эти камни еще лучше рубиновых,— похвастался Семиошкин и сладко причмокнул яблоком.— На шестнадцати камнях!

— «Евельс»... Везет разведчикам.

Кто-то хохотнул:

— Оно у них не долго задерживается.

Третьяков вышел во двор ждать связного из полка, чтобы не плутать зря. Хозяйка, сняв чан с плиты, опрокинула его, ком вываренных портянок в мыльном кипятке вывалился в корыто, оттуда в лицо ей ударил пар. А на траве, на ворохе гимнастерок, расставя босые ноги, сидел при ней мальчонка лет двух, прижав кулаками ко рту помидор, высасывал из него сок. Вся рубашонка на животе была в помидорных зернах и в соке. «Наверное, без отца родился»,— лениво соображал Третьяков. Он рано встал сегодня, и на утреннем солнце под отдаленное буханье орудий его клонило в сон. Головки сапог из выворотной кожи, которые он смазал солидолом, были все ржавые от пыли. Подумал было почистить их травою, даже глянул, где сорвать поросистей, но тут издали заметил связного.

С карабином за плечами, поглядывая вверх на провода, сходившиеся к штабу, солдат быстро шел увалистой походкой, тени штакетника и солнечный свет катились через него. Обождав, Третьяков следом за ним вошел в штаб. Успевший вручить донесение связной пил воду у двери. Допил, насухо за собой стряхнул капли, вверх дном перевернул рядом с ведром жестяную кружку. Тут же, у дверей, присевши на корточки, вытер снятой с головы пилоткой враз вспотевшее лицо, мягкие погоны на его плечах вздулись пузырями.

Старший писарь, для солидности подальше отнеся от глаз, строго читал донесение, а связной, оперев карабин о стену, пригрозив ему пальцем, чтоб стоял, сворачивал курить.

— Из триста шестнадцатого? — спросил Третьяков.

Связной слюнявил языком край газетки, доброжелательно мигнул снизу. Прикурил, сладостно затянулся, спросил, щурясь от дыма:

— Это вас, товарищ лейтенант, сопровождать?

Сожженные солнцем брови его были белы от насевшей пыли, распаренное лицо — как умытое. Мокрые, потемнели, прилипли

отросшие на висках волосы. Затянувшись несколько раз подряд, окутавшись висячим махорочным облаком, связной вдруг спохватился:

— Вот ведь забыл совсем... Как отшибло память...— И, вставши, расстегивал карман гимнастерки. Вытащил оттуда серую от пыли тряпицу, развернул на ладони — в ней была серебряная медаль «За отвагу».

Писаря, сойдясь, читали сопроводительную, разглядывали медаль, как недавно разглядывали часы. Была она старого образца, с красной замаслившейся лентой на маленькой колодке. Серебро почернело, словно закоптилось в огне, а посреди — вмятина и дырка. Пуля косо прошла через мягкий металл, и номер на обороте нельзя было разобрать.

— Это какой же Сунцов? — спрашивал старший писарь Калистратов, как видно гордясь своим знанием личного состава.— Который к нам в Гулькевичах с пополнением прибыл?

— А я не знаю,— доброжелательно улыбался связной и сложенной пилоткой вновь утер лицо и шею. Он рад был отдыху, остывал перед тем, как вновь идти по солнцу, и выпитая вода выходила из него по́том.— Приказали: снеси в штаб, отдай, мол.

— Так как же его убило?

— А как? На НП, должно. Разведчик.

— Телефонист. Вот сказано: связист.

— Разве связист? Ну, значит, по связи...— еще охотней согласился солдат.— Связь обеспечивал...

Старший писарь отчего-то нахмурился, отобрал у писарей медаль, подколол к ней сопроводительную бумагу. И когда открывал заскрипевшую крышку железного ящика, был торжествен и строг, словно некий обряд совершал. Серебряная медаль звякнула о железное дно, и снова со скрежетом и лязгом опустилась крышка.

Вскоре — вслед за связным — Третьяков шел в полк. Они свернули в проулок. Навстречу во всю ширину его — от плетня до плетня — шли с завтрака офицеры. Солнце светило сбоку, и тени головами дотягивались по пыли до плетня, а ближние и за него перевалили.

Старший по званию, майор, что-то рассказывал уверенно, а шедший с правого края офицер заглядывал вдоль строя, улыбкой участвуя в разговоре. И с удивлением Третьяков признал в нем старшего лейтенанта Таранова, его золотой клык блеснул из дряблых губ. Но видом, выправкой строевой он весь так пришелся в этой шеренге возвращавшихся с завтрака, словно всегда и был здесь.

# ГЛАВА IV

Той же ночью Третьяков вел орудия к фронту. Весь их дивизион перекидывали куда-то левей. Заскочил в сумерках командир батареи капитан Повысенко, ткнул ногтем в карту:

— Вот этот ложок видишь? Высотку видишь? Поставишь орудия за обратным скатом.— Железный ноготь, обкуренный до черноты, провел черту.— Ясно? Мой НП будет на высоте плюс сто тридцать два и семь. Поставишь батарею, потянешь ко мне связь.— И опять: — Ясно?

— Ясно,— сказал Третьяков. На карте все было ясно.

Рядом рокотал трактор, из выхлопной трубы выпархивали искры, яркие в сумерках. Зачехленные, в походном положении, орудия были уже прицеплены, но батарейцы все что-то грузили на них сверху, все что-то несли. У прицепа с батарейным имуществом суетился старшина. Повысенко поглядел туда неподвижным взглядом, подошел.

В прицепе, под брезентовым верхом, стоял в темноте на четвереньках командир огневого взвода Завгородний, мучился болями. Его хотели отправлять в медсанбат, но на фронте заболевший поневоле чувствует себя кем-то вроде симулянта. Тут либо ранит, либо убивает, а какая может быть болезнь на фронте? Сейчас ты жив, через час убило — не все равно, здорового убило или заболевшего? И Завгородний превозмогал себя. В последний момент старшина вспомнил испытанное средство: намешал полстакана керосина с солью, дал выпить: «Оно сначала пожгеть, пожгеть, потом отпу-устит...»

Подойдя к заднему борту, Повысенко заглянул внутрь прицепа, в темноту:

— Ну как, полегчало?

И старшина всунулся:

— Жгеть? Жгеть?

Он чувствовал себя ответственным — и за средство и за болезнь.

— Легча-ает,— через силу простонал Завгородний. И переступил коленями на шинелях: лечь он не мог.

— Средство верное,— обнадежил старшина.— Пожгеть, пожгеть — и отпу-устит...

И погладил себя по душе, до самой ременной пряжки, где и должно было отпустить.

Давило низкое небо, все серое, как одна сплошная туча. И угольными тенями под ним несло разорванные облака. Притихло перед дождем. Трактора с прицепленными орудиями стояли в посадке; правей за кукурузным полем глухо выстукивали пулеметы, взвивались над землей трассы пуль, все уже яркие.

— Значит, так.— Комбат подумал, пожевал шелушащимися, обветренными губами.— Твой взвод управления беру с собой. Случ-чего Паравян, помкомвзвода, с тобой будет. Все ясно? Действуй!

Козырнул и зашуршал плащ-палаткой, удаляясь.

Дождались темноты. Тронулись. Взрокотав, трактора потянули за собой орудия, подминая под гусеницы кустарник, давя на выезде из посадки молодые деревца. По рыхлой земле глубокий развороченный след оставался за батареей.

Двигались без света. Сверху — черное небо, под ногами и впереди светлела пыльная дорога. Спустился дождь. На тяжелые колеса пушек, на резиновые ободья валом наматывался чернозем.

Фронт все время оставался правей; по нему и ориентировался Третьяков. Невысоко взлетали там ракеты и гасли, задушенные дождем. В смутных движущихся отсветах каждый раз видел Третьяков батарейцев в мокрых плащ-палатках, идущих за пушками. И обязательно несколько человек, нахохлившись, сидели на каждой пушке, дремали, а сверху дождь сыпал.

— Паравян! А ну сгони с пушек! Тряхнет, попáдают сверху, подавит сонных.

Паравян, статный, красивый помкомвзвода, смотрел на него из-под намокших выгнутых ресниц своими черными глазами, молча не одобрял и шел выполнять.

— Хочешь, чтоб людей подавило? Сколько раз говорить!

И знал Третьяков, что говорить ему столько, сколько будут двигаться. Он тоже был бойцом, и тоже его вот так сгоняли, а он заходил с другой стороны и, как только не видел командир, опять влезал на пушку, потому что хотел спать, а спать сидя лучше, чем на ходу. Но сейчас не кто-то другой, кого в душе чертыхать можно, отвечал за него, а он сам командовал людьми и отвечал за них и потому приказывал сгонять сонных бойцов. И Паравян неохотно шел выполнять.

Никого из них, кроме все того же Паравяна, не знал ни в лицо, ни по фамилии. Он вел их, они шли за ним. Он и в своем-то взводе управления еще никого не успел узнать. Дело было перед самым обедом, вызвали в штаб командира отделения разведки Чабарова, который заменял убитого командира взвода, приказали сдать взвод ему, лейтенанту Третьякову. Чабаров, старый фронтовик, глянул на девятнадцатилетнего лейтенанта, присланного командовать над ним, ничего не сказал, повел к бойцам.

Весь взвод, все, кто в этот момент не находился на наблюдательном пункте, рыли за хатой щели от бомбежки: не для себя рыли, для штаба дивизиона. Над стриженными головами, над мокрыми подмышками, над втянутыми от усилия животами

взлетали вразнобой и падали кирки. В закаменелой от солнца земле кирка, вонзаясь, оставляла металлический след и вновь взлетала, блещущая, как серебряный слиток.

Освещенные солнцем солдатские тела даже после целого лета были белы, только лица, шеи и кисти рук черные от загара. И все это были молодые ребята, начинавшие наливаться силой: за войну подросли в строй; только двое, трое — пожилых, жилистых, с вытянутыми работой мускулами, начавшей обвисать кожей. Но особенно один из всех выделялся, мощный, как борец, от горла до ремня брюк заросший черной шерстью; когда он вскидывал кирку, не ребра проступали под кожей, а мышцы меж ребер.

Пройдя взглядом по этим блестевшим от пота телам, увидел Третьяков у многих отметины прежних ран, затянутые глянцевой кожицей, увидел их глазами себя: перед ними, тяжело работавшими, голыми по пояс, стоял он, только что выпущенный из училища, в пилотке гребешком, весь новый, как выщелкнутый из обоймы патрон. Это не зря Чабаров вот таким представил его взводу, нашел момент. И не станешь объяснять, что тоже побывал, повидал за войну.

После уж, когда подошло время за обедом идти, построил Чабаров взвод, с оружием, с котелками в руках, подал список, собственноручно накорябанный на бумаге. А сам, подбористый, коренастый, широкоскулый, с коричневым от загара лицом, в котором ясно различалась монгольская кровь, стал правофланговым, всем видом своим давая понять, что дисциплину он уважает, а его, нового командира взвода, пока что уважать подождет. И вот взвод стоял, глядел на него, а на листе бумаги перед Третьяковым — фамилии.

— Джеджелашвили! — вызвал он. Поразило, зачем два раза «дже», когда и одного вроде бы хватило. И еще успел подумать, что это, наверное, тот самый, заросший по горло черной шерстью.

— Я!

Из строя выступил светлый мальчик, морковный румянец во всю щеку, глаза рыжеватые, глядит весело: Джеджелашвили. А у того, борца, фамилия оказалась Насруллаев. И кого ни вызывал он из строя, ни одна фамилия как-то не подходила к человеку. Так и осталось у него на первых порах: список сам по себе, взвод сам по себе.

Этот его взвод увел с собой командир батареи — оборудовать новый наблюдательный пункт, а он вел пушки и огневиков Завгороднего, которого везли в прицепе. И уже сам не представлял толком, куда он их ведет. К трем ноль-ноль пушки должны были стоять на огневых позициях, а они пока что и Ясеневки не про-

ехали. «Там будет хутор Ясенивка чи Яблонивки,— сказал комбат, на стертом сгибе карты пытаясь разобрать названия.— В общем, сам увидишь... От него вправо и вправо...» Но они шли и час и два часа, а никакого хутора не было видно, сколько ни вглядывался Третьяков при смутных отсветах ракет, в дожде приподымавших над передовой мокрый полог ночи. И, ужасаясь мысли, что он ведет не туда, сбился, страшась позора, он делал единственное, что мог: не подавал вида, шел тем уверенней, чем меньше уверенности было в нем самом.

Что-то зачернело наконец впереди неясно. Взошла ракета, и, присев, успел Третьяков разглядеть на фоне неба: какие-то сараи длинные, низкие, что-то еще высилось за ними. Должно быть, тополя... Ракета погасла, сплошная сомкнулась темень.

Заторопившись, обрадованный, оскользаясь сапогами по размокшему чернозему, он обогнал передний трактор, махнул трактористу рукой: за мной, мол. Все равно голоса не было слышно.

То, что он принял издали за сараи, оказалось вблизи батареей стодвадцатидвухмиллиметровых пушек. Увязанные, как возы, стояли сбоку дороги длинноствольные пушки с тракторами одна другой вслед. И оттуда уже шел к нему кто-то в плащ-палатке. Подошел, взял под козырек, отряхнув капли с капюшона, подал мокрую холодную руку:

— Глуши моторы!

— Зачем глушить?

— Не видишь, что впереди?

Ничего еще не различая, поняв только, что это не хутор, значит, не туда куда-то они вышли, Третьяков спросил:

— А Ясеневка тут должна быть, Ясеневка... До Ясеневки далеко?

Лицо человека, смутно различимое под капюшоном, показалось старым, сморщенным. Но на груди его, где плащ-палатка разошлась, воинственно блестели пряжки боевых наплечных ремней, надетых поверх шинели, тоненький ремешок планшетки пересекал их, и еще болтался мокрый от дождя бинокль.

— Километров пять до нее будет.

— Как пять? Было четыре, мы уже два часа идем...

— Ну, может, четыре,— человек безразлично махнул рукой.— Взводный? Вот и я сам такой Ванька-взводный. У тебя стопятидесятидвух гаубицы-пушки? То же, что мои, один черт. Пятнадцать тонн вместе с трактором! А мост впереди — плечом спихнешь.

Вместе пошли смотреть мост. От обеих батарей потянулись за ними бойцы. По мокрым, скользким бревнам настила дошли

до середины. Внизу то ли овраг, то ли пересохшее русло — не разглядишь отсюда.

— А Ясеневка на той стороне?

— Что, Ясеневка? Ясеневка, Ясеневка... У тебя этот мост есть на карте? И у меня нету.— Раскрыв планшетку, взводный ногтем щелкал по целлулоиду, под которым мутно различалась карта, рукавом шинели смахивал сыпавшийся сверху дождь.— На карте его нету, а он — вот он!

И для большей наглядности бил каблуком в бревна. Даже подпрыгнул на них. А вокруг стояли бойцы обеих батарей.

— На карте нет, значит, и на местности не должно быть. А раз он есть, на карту нанеси. Так я понимаю?

Он понимал правильно: на карту не нанесли, он воевать не обязан.

По откосу, вымочив колени о высокую траву, Третьяков сбежал под мост. Опоры из бревен. Схвачены скобами наверху. Когда вот так снизу глядел, все это сооружение показалось ненадежным.

В училище объясняли им, как рассчитать грузоподъемность моста. Майор Батюшков преподавал у них инженерное дело. Черт его рассчитает сейчас, когда не видно ничего. А в уши назойливо лез голос взводного — не отставая, тот шел за ним, в каждую опору бил кулаком:

— Вон они! Вон они! Разве ж выдержит такой груз? — И ногтем пытался уколупнуть: — Она еще и гнилая вся...

Как будто главней войны было сейчас убедить Третьякова.

Взошла ракета, не поднявшись над краем черной земли. Мутным светом налило овраг, и на нем всплыл мост: бревенчатый настил, люди под дождем. А они двое стояли внизу в траве. Остов грузовика валялся среди камней; по кабине, смятой, как жестянка, и мокрой, сек дождь. «Чего он меня убеждает?» — разозлился Третьяков. И за свою нерешительность остро возненавидев этого человека, полез наверх.

Он подошел к первому орудию:

— Где трактористы?

Бойцы начали оглядываться, потом один из них, ближний, который оглядывался живей всех, назвался:

— Я!

Словно вдруг сам себя среди всех нашел. Но не выступил вперед, остался среди бойцов стоять: так он прочней себя чувствовал.

— Командиры орудий, трактористы — ко мне! — приказал Третьяков, тем отделяя их от батареи.

Один за другим подошли и стали перед ним шесть человек. Трактористов сразу отличить можно: эти все закопченные.

— Значит, так, людей всех — от орудий. Командиры орудий: пойдете впереди. Каждый — впереди своего орудия. Трактористам: орудия поведете на первой скорости. Пройдет одно, тогда другое вести. Ясно?

Молчание. Один из двух командиров орудий был Паравян, который «случ-чего с тобой будет».

— Ясно я говорю?

Не сразу недружно ответили: «Ясно...» А позади стояла и молчала батарея. Они были вместе, а он, поставленный над ними, никому и ничем не известный, был один. И не столько даже мосту они не доверяли — выдержит, не выдержит,— как ему они не верили. И другая батарея ждала, уступала им дорогу идти первыми.

— Твой трактор? — Третьяков пальцем указал на тракториста, который поначалу больше всех оглядывался. И на трактор указал.

— Этот? — тракторист тянул время. На тракторе до малинового свечения раскалилась у основания выхлопная труба, капли дождя испарялись на лету.— Мой.

— Фамилия?

— А что фамилие, товарищ лейтенант? Семакин мое фамилие.

— Ты, Семакин, поведешь первое орудие.

— Я, товарищ лейтенант, поведу! — звонко заговорил Семакин и рукой махнул отчаянно: мол, ему себя не жаль.— Я поведу. Я приказания всегда выполняю! — При этом он отрицательно тряс головой.— Только трактор чем будем вытаскивать? Ему под мостом лежать. И орудие тож самое...

Он говорил, подпираемый сочувственным молчанием батарейцев. Все они вместе и по отдельности каждый отвечали и за страну, и за войну, и за все, что есть на свете и после них будет. Но за то, чтобы привести батарею к сроку, отвечал он один. А раз было кому, они не отвечали.

— Я под мостом буду стоять, если ты испугался, боишься вести. Надо мной поведешь орудие! — И, скомандовав: — Трактористам — по местам, всем бойцам — от орудий! — повел батарею к мосту.

Когда гусеницы трактора легли на первые бревна и они, зашевелясь, дрогнув, вдавились, Третьяков сбежал вниз. При командире батареи они не стали бы жаться, друг на друга оглядываться, а на него можно и свой груз переложить.

— Давай! — махнул рукой, крикнул он снизу, хоть там, рядом с трактором, слышать его не могли. И, как в свою судьбу, вошел под мост.

Все прогибалось над головой, над поднятым вверх лицом, с

бревна на бревно передавая катившуюся тяжесть. Показалось, опоры оседают. И тут пушка въехала на мост. Застонал, зашатался мост. «Рухнет!» — даже дыхание перехватило. Бревна терлись друг о друга, сверху сыпалась труха. Мигая запорошенными глазами, не видя ничего, он протирал их шершавыми пальцами, пытался разглядеть ослепленно, что над ним, но все мерцало. И сквозь выхлопы мотора слышен был треск дерева.

Не разглядев, он почувствовал, как вся эта огромная тяжесть съехала с моста на земную твердь, и мост вздохнул над ним. Только теперь и ощутил он, какая сила давила сверху: по своим напрягшимся мускулам ощутил, будто он сам спиной подпирал мост.

Третьяков вылез из оврага: не стоять же ему все время под мостом, не цирк все-таки. Приказав на всякий случай отцепить прицеп, везти его на длинном тросе, он, не ожидая, перешел мост. Он шел мимо орудия, мимо стоявших около него батарейцев, он был прав, он делал то, что должен делать, но отчего-то смотреть на них ему сейчас было неприятно и уже стыдновато становилось за себя. Под мост полез, чего-то кричал... Проще было сесть рядом с трактористом и спокойно вести батарею: и шуму меньше, и толку больше.

К середине ночи, на хуторе, достучавшись в хату, подняли старика показывать дорогу. В одном белье, ничего на себя не надев, сидел он на тракторе: надеялся, наверное, так жальче будет его, отпустят скорей. Ему дали на плечи ватный бушлат, пропахший соляркой, и он, запахнувшись рукавами, грел ногу об ногу.

— Ось, ось... по тэй стежечке...— Голая цыплячья шея его с клоками белого пуха высовывалась из воротника.

— «Осесь, осесь»,— передразнивал тракторист, весь мокрый, в мокрой, натянутой на голову пилотке.— Где ты меня ведешь? Тут бабы до ветра ходят. Ты веди, где пушка пройдет!

Старик покорно мигал слезящимися глазами, и опять вытянутая из бушлата трясущаяся рука его указывала вперед, на дождь. Он вывел батарею в посадку, и его отпустили.

Заглушили моторы. И близко резко вдруг застучал пулемет. Из черноты земли засверкали трассы пуль, возникая и исчезая. Передовая была где-то недалеко. И он с тяжелыми пушками заперся сюда.

Подошли трактористы:

— Горючего нет, товарищ лейтенант.

— Как нет?

— Пожгли.

— Всю ночь ездим-ездим...

Слабый хлопок выстрела. Прочертив искрящийся дымный след, взвилась ракета. Вспыхнула, раскрылся свет над ними,

и посадка, пушки, люди — все поднялось к свету, как на голой ладони.

— Как же нет горючего? — спрашивал Третьяков, чувствуя полнейшую свою беспомощность и отчаяние.— Как нет, когда должно быть?

Они стояли перед ним, глядели в землю и молчали. И могли так стоять бесконечно, это он видел. Свет погас. Не зная, что теперь делать, что еще говорить,— а кричать, ругаться вовсе было бесполезно,— Третьяков отошел. Показалось, что из прицепа Завгородний позвал его, стон какой-то послышался, но он сделал вид, что не слышит. Утешений ему не надо, да и что он, больной, оттуда мог сделать?

Какие-то лошади бродили в посадке. Одна, светлой масти, прижмурив глаза, обгрызала кору с дерева. От мокрого крупа ее подымался пар. Третьяков только сейчас увидел, что дождь кончился. И от земли, из травы исходит туман.

Он услышал голоса, подошел ближе. Тяжело дыша, приглушенно ругаясь, расчет закатывал пушку в свежевырытый окоп. Придерживая за ствол, налегая на станины, на резиновые колеса, полуголые, мокрые от дождя батарейцы скатили орудие. Сдержанно возбужденные стояли вокруг него. Это были позиции дивизионных пушек. Он разыскал командира взвода. Стариковатый с виду, в пехотинских обмотках и ботинках, на каждый из которых налипло по пуду чернозема, тот поначалу недоверчиво слушал Третьякова. Наконец понял, в чем дело. Сличили карты. И вдруг, словно местность повернулась перед глазами, все понятно стало. С полкилометра отсюда был тот скат высоты, за которым следовало поставить батарею.

Торопясь, пока не рассвело, он отыскал позиции батареи, все там облазил, сообразил, какой дорогой поведет сюда орудия, и вернулся в посадку. Бойцы спали, только Паравян, завернувшись в плащ-палатку, ходил у орудий. Скомандовали подъем. Озябшие, в сырых бушлатах, не согревшиеся и во сне, подходили трактористы, зевали с дрожью. Он объяснил, как поведет орудия, и горючее нашлось.

— Там в канистрах было немного...

И отводили глаза. Он так расстроился, когда сказали, что горючее кончилось, что даже по бакам не проверил. А теперь не только в канистрах, но еще и бочка солярки обнаружилась. Ну что ж, трактористы тоже были правы: ездить всю ночь неведомо куда — и правда все горючее пожжешь.

Перед рассветом, когда сгустилась сырая тьма, Третьяков, оставив огневиков рыть орудийные окопы, привел связь на НП. Чабаров в свежевырытом ровике устанавливал стереотрубу.

— Где комбат?

— Спит вон наверху комбат.

Взлетела ракета на передовой, и Третьяков увидел: укрывшись с головой плащ-палаткой, выставив мокрые сапоги наружу, спал комбат за бруствером.

— Товарищ капитан! Товарищ капитан!..

Повысенко сел на земле, жмурясь от света ракеты, глянул мутными глазами, не соображая в первый момент. Зевнул до слез, вздрогнул, потряс головой:

— Ага... Привел связь?

Уже в темноте долго глядел на светящиеся стрелки циферблата.

— Где ж ты столько ездил? Тебя как по фамилии, Четвериков?

— Третьяков.

— Ага, Третьяков, верно. Тебя за смертью посылать.

Встал во весь рост, потянулся, зевнул с подвывом, просыпаясь окончательно.

— Орудийные окопы вырыли?

— Роют.

У Третьякова все еще стоял в ушах рев тракторов, а ноги как будто шли по вязкому чернозему. Только голова после всей этой бессонной ночи была легкая, ясная, и огромный в своей плащ-палатке комбат то близко был виден, то отдалялся в красноватый свет пожара.

## ГЛАВА V

Несколько дней на этом участке велись вялые бои. Неубранное поле пшеницы между немецкими и нашими окопами все больше осыпалось от разрывов, черные воронки пятнили его. Ночами по хлебам уползала разведка: к немцам — наша, к нам — немецкая. И подымалась вдруг всполошная стрельба, начинали скакать ракеты, светящиеся пулеметные трассы секли по полю, осадисто и звонко ударяли минометы. И кого-то волокли по траншее в общий счет безымянных жертв войны, а он чертил по земле каблуками сапог, пожелтелыми пальцами уроненной руки.

В жаркий полдень вспыхнуло от снаряда хлебное поле. Вихревой смерч взметнулся, огонь погнало ветром, перебросило через окопы, и по всей передовой и на высотке, где с разведчиком и телефонистом сидел Третьяков на наблюдательном пункте, сменив командира батареи, осталась выжженная до корней трав земля, прах и пепел. Жирный чад горелого зерна пропитал все насквозь: и воздух, и еду, и одежду.

Когда, обойдя свой круг над многими полями сражений, в

дым и пыль садилось в тылу у немцев отяжелелое солнце и под пеплом облаков остывал багровый закат, в небе уже высоко стоял месяц. Он наливался светом, холодно блистал над черной землей.

При зеленом его свете, глядя на свои руки, в которые въелась гарь, черной каймой окружала обломанные ногти, вспоминал иногда Третьяков, какие они отмытые были у него на болоте под Старой Руссой — кожа сморщенная, отмякшая, как после стирки. А станет переобуваться, чтоб хоть в голенище сапога подсушить край портянки, нога из нее — как неживая, как из воды нога утопленника.

Сколько сидели они тогда посреди болота на крохотном островке между нашим и немецким передним краем, огня не разводили ни разу, и все на них было сырое. А весна затяжная стояла в том, сорок втором году, холодная. На майские праздники повалил вдруг снег, крупными хлопьями при солнце понеслась косая метель, зарябило над хмурой водой, весь их островок стал белым. Потом еще зеленей заблестела вытаявшая из-под снега трава.

И не забыть, как среди ночи подскочил он от свистящего шепота: «Немцы!» Вышний ветер растянул облака, с вечера обложившие небо, вода смутно блистала. Весь сотрясаемый ознобной дрожью, зубом на зуб не попадая спросонья, больше всего в свои семнадцать лет боясь, что еще за труса сочтут, Третьяков вглядывался из-за бруствера и ничего не мог разглядеть. Только от напряжения, от холода слезы текли из глаз. Вдруг от кустов неслышно откачнулась волна. Еще одна. И пошли по воде, укачивая на себе лунный свет. Тень за тенью, без всплеска, из куста в куст — четверо. Только волна возникала и отделялась.

Там, в кустах, всех четверых положили из карабинов. И по молодой своей глупости полез он поглядеть на немцев: какие они? Что-то в самом себе хотел выяснить. Полез и едва не погиб: один из разведчиков оказался живой еще. На себе Третьяков притащил его и, когда перевязывал, уже слабевшего, покрывавшегося смертной испариной, с удивлением не находил в себе ни злобы к нему, ни ненависти, хоть немец этот только что в него стрелял.

Он до сих пор так и не выяснил для себя многого, но война шла третий год, и, что непонятно, стало привычно и просто. По своим законам текло время на войне: что было давно, иногда приблизится ясно, словно это вчерашнее, а самое долгое, самое нескончаемое то, что происходит сейчас. Казалось, он уже полжизни сидит на этой выгоревшей высотке, втянувшись в привычное фронтовое состояние, когда, спал — не спал, в любой час и спать готов и подхватиться по тревоге. И многое он знал

уже про своих бойцов, сидевших с ним вместе. Младший, Обухов, рыжеватый и чернобровый, весь по смуглому лицу осыпанный коричневыми пятнами веснушек, в свои неполные восемнадцать лет воевал охотно. Все он посмеивался над связистом Суяровым, который больше, чем вдвое, был старше его:

— Ты расскажи, расскажи лейтенанту, за что тебе срок впаяли?

И сам же начинал рассказывать, светя синеватыми белками глаз:

— Ему водку на нюх подносить нельзя. Он весь проспиртованный: грамм выпьет, за себя не отвечает. Сколько ты лет получил до войны?

Суяров пригнетенно отмалчивался. Было что-то ненадежное в нем, в его улыбке, временами искательной, обнажавшей черные от табака зубы. Но чаще он только мигал, когда разговор шел про него, и сосредоточенно сосал мокрую иссосанную цигарку, до синевы напиваясь табачным дымом. И почему-то неприятно было смотреть, как у него сам по себе вздрагивает, копошится обрубок безымянного пальца.

Когда уже обжились и на слух начали различать, откуда какая стреляет немецкая батарея, пришел приказ смотать связь, срочно возвращаться на огневые позиции. Сорвали плащ-палатку, заменявшую вход, наспех переворошили сено на нарах, оглянулся Третьяков напоследок, и так вдруг жаль стало кидать эту тесненькую их землянку, словно с ней что-то от души отрывал. На фронте всегда так: место, где с тобой ничего не случилось, кажется уже особенно надежным.

Под высокой луной, светившей ярко, они ползали по обгорелой земле, сматывали провод. Немец постреливал беспокойно, одну за другой швырял ракеты. Когда весь ты на виду на голой земле распят, стрельба кажется ближе, и каждая ракета над тобой зависает. Вспомнишь тут, как в окопе хорошо было сидеть, как безопасно.

За обратным скатом высоты, в низине, пошли в полный рост. Здесь, в сыром логу, трава была высокая, вся в росе, и Третьяков мыл об нее руки, умылся на ходу, отчего-то даже рассмеявшись. Он так свыкся с запахом гари, что перестал его замечать, а тут, на свежем воздухе, почувствовал, как весь он прокопчен насквозь.

Нагруженные катушками провода, лопаты, стереотрубу, все имущество и оружие неся на себе, они догнали батарею на марше. В сплошной пыли, поднятой ногами и колесами, двигались массы пехоты, перемещаясь вдоль фронта. Когда по траншеям, по окопам, по ямкам сидят поредевшие роты, кажется — и нет никого, и вроде бы воевать некому. Но когда вот так вывалит

войско на дорогу — и конец его и начало,— все теряется в пыли, многолюдна Россия. Ведь третий год идет война, вновь по тем самым местам, где в сорок первом году столько осталось зарытых и незарытых.

Голубой луч прожектора беззвучно стриг в вышине, падал отсвет, в нем гуще клубилась пыль над людьми, колыхалась в пыли горбатая от ноши пехота. И возникало на миг: высокий, на голову выше всех пехотинец, в белой на свету пилотке, прижал к груди плоский котелок, хлебает из него на ходу, блеснуло смазкой вороненое длинное противотанковое ружье на плече у бронебойщика, скуластое его лицо, узкие щелочки глаз. Луч сместился, и в темноте, задушив все запахи керосинной вонью, промчались танки, облепленные по броне пехотинцами. Когда опять упал на грейдер отсвет прожектора, среди пехоты, втекавшей в рубчатый след танков, увидели впереди свою батарею: медленно двигались тяжелые зачехленные орудия. Перегрузив на них лишнюю ношу с плеч, пошли налегке.

Рассвет встретили в лесу. Где-то позади еще тянулись пушки, а его взвод управления, за ночь уйдя вперед, спал на земле. Прохладно грело осеннее солнце, опавшая листва была мокрой от ледяной росы. Сняв сапоги, расстелив на солнце портянки, Третьяков задремывал сидя, босые ступни его пригревало в затишке. Густо-синее небо над головой, желтые, шелестящие на ветру вершины деревьев плывут, плывут навстречу белым облакам... Он засыпал, просыпался... Пахло в лесу осенью, костром, вокруг костра спал его взвод. Над огнем, горевшим без дыма,— закопченное ведро. Боец помешивает в нем, пробует с ложки над паром. За неделю, что он в полку, Третьяков еще не всех запомнил в своем взводе, но этого бойца узнал. Плоское лицо маслено блестит от близкого жара, глаза сожмурены... Кытин! Фамилия сама выскочила: Кытин.

Огонь лизал сальное дымящееся ведро. Попробовав с ложки еще раз, Кытин засомневался, подумал, досолил и помешал. Гуще повалил из ведра мясной пар, захотелось есть.

— Ты чего варишь, Кытин?

Тот обернулся:

— Проснулись, товарищ лейтенант?

— Варишь, говорю, кого?

— Да бегало тут о четырех ногах... С рожками.

— А как оно разговаривало?

У Кытина глаза сошлись в щелочки:

— Бе-еэ,— проблеял он.— Давайте портянки к огню, товарищ лейтенант, теплыми наденете.

— Они на солнце просохли.

Размяв портянки в черных от копоти пальцах, Третьяков

обулся, встал. По всему лесу, поваленная усталостью, спала пехота. Еще подтягивались отставшие, брели как во сне; завидев своих, сразу же валились на землю. И от одного бойца к другому бегала медсестра с сумкой на боку, смахивала слезы со щек.

— Один градусник был, и тот украли,— пожаловалась она Третьякову, незнакомому лейтенанту, больше и пожаловаться было некому.

Немолодая, лет тридцати, завивка шестимесячная набита пылью. Кому нужен ее градусник... воровать? Разбился или потерялся, а она ищет. И плачет оттого, что сил нет, этот пеший ночной марш проделала со всеми. Солдаты спят, а она еще ходит от одного к другому, будит сонных, заставляет разуваться, чем-то смазывает потертые ноги, чем-то присыпает: мозоль хоть и не пуля, а с ног валит. Вот кого Третьякову всегда жаль на войне — женщин. Особенно таких, некрасивых, надорванных. Этим и на войне тяжелей.

Он отыскал в лесу воронку снаряда, налитую водой. Вокруг нее лежали молодые деревца; какие-то из них, может быть, еще и оживут. Снял пилотку, шинель, стал на колени. Клок белого облака скользил по зеркалу воды, и в нем он увидел себя: кто-то, как цыган черный, глядел оттуда. Щеки от пыли, набившейся в отросшую щетину, темные; запавшие глаза обвело черным, скулы обтянуты, они шелушащиеся какие-то, шершавые. За одну неделю сам на себя стал непохож. Он отогнал к краю упавшие на воду сухие листья и водяного жука, скакавшего невесомо на тонких паучьих ногах. Вода, как на торфянике, коричневая, но когда зачерпнул в ладонь, прозрачна оказалась она, чиста и холодна. Давно он так не умывался, даже гимнастерку стянул с плеч. Потом, вытерши подолом рубашки и шею и лицо, надел пилотку на мокрые расчесанные волосы и, когда застегивал на горле стоячий воротник, чувствовал себя чистым, освеженным. Только пыль из легких никак не мог откашлять — столько он ее наглотался ночью.

Все это время над лесом подвывало с шуршанием в вышине: наша тяжелая артиллерия била с закрытых позиций, слала снаряды, и от взрывов осыпалась листва с деревьев.

Выйдя на опушку леса, он спрыгнул в песчаную, обрушенную во многих местах траншею и чуть на ноги не наступил пехотинцу, лежавшему на дне. Во всем снаряжении, подпоясанный, лежал тот, будто спал. Но бескровным было желтое его нерусское лицо, неплотно прижмуренный глаз тускло блестел. И вся осыпана землей остриженная под машинку черная круглая голова; уже убитого, хоронил его другой снаряд.

Третьяков отошел за изгиб траншеи. Тут тоже много зияло свежих воронок — и впереди, и позади, и прямые попада-

ния,— огонь был силен. Этот грохот и слышали они на подходе.

Опершись локтями о песчаный бруствер, он рассматривал поле впереди. Оно стекало в низину, там перестукивались пулеметы, блестела, как стекло, мокрая крыша коровника, часовыми стояли пирамидальные тополя, заслонив собою синеватую вершину кургана. И ярко, нарядно желтел обращенный к солнцу клин подсолнечника.

Он смотрел в бинокль, соображал, как в сумерках, когда сядет солнце за курганом, потянет он отсюда связь в пехоту, если будет приказано туда идти, где лучше проложить провод, чтобы снарядом не перебило его. А когда уходил, наткнулся еще на одного убитого пехотинца. Он сидел, весь сползший на дно. Шинель на груди в свежих сгустках крови, а лица вообще нет. На песчаном бруствере траншеи кроваво-серые комки мозга будто вздрагивали еще. Много видел Третьяков за войну смертей и убитых, но тут не стал смотреть. Это было то, чего не должен видеть человек. А даль впереди, за стволами сосен, вся золотая, манила, как непрожитая жизнь.

Взвод его завтракал на траве, когда он вернулся. Стоял эмалированный таз, головами к нему лежали бойцы, зачерпывали по очереди, и всех их вместе гладил ветер по стриженым головам. Помкомвзвода Чабаров, скрестив ноги по-турецки, почетно сидел у таза. Завидев лейтенанта, стукнул ложкой, бойцы зашевелились, кто лежал, начал садиться.

— Ешьте, ешьте,— сказал Третьяков.

Но Чабаров строго глянул вокруг себя, и Кытин вытащил специально отставленный в горячую золу котелок, подал лейтенанту. Они были все вместе, свои, а он пока еще не свой. Постелив шинель под бок, Третьяков лег и тоже начал есть. Наварист был суп из молодого козленка, и мясо — сладкое, сочное.

— А что, товарищ лейтенант,— спросил Кытин, ласковыми глазами хозяйки, всех накормившей, глядя на него,— на нашем фронте и воевать можно?

И все заговорили о том, что лето не зима, летом вообще воевать можно, не то что в мороз или в талом снегу весной. Были они повеселевшие от еды. Огневики еще где-то тянутся со своими пушками или роют сейчас орудийные окопы, а они уже и поспать успели, и поели — вот это и есть взвод управления: разведчики, связисты, радисты. Он всю войну служил во взводе управления и любил его за то, что здесь свободней. Чем ближе к опасности, тем человек свободней душой.

Он смотрел на них, живых, веселых вблизи смерти. Макая мясо в крупную соль, насыпанную в крышку котелка, рассказывал, к их удовольствию, про Северо-Западный фронт, мокрый и голодный. Закурил после еды, сказал Чабарову назначить с

ним в ночь двух человек — разведчика и связиста,— и тот назначил Кытина и вновь Суярова, который знает — за что. И все это делалось, и солнце подымалось выше над лесом, а своим чередом в сознании проходило иное. Он все видел осыпанную снарядами песчаную траншею. Неужели только великие люди не исчезают вовсе? Неужели только им суждено и посмертно оставаться среди живущих? А от обычных, от таких, как они все, что сидят сейчас в этом лесу,— до них здесь так же сидели на траве,— неужели от них от всех ничего не остается? Жил, зарыли, и как будто не было тебя, как будто не жил под солнцем, под этим вечным синим небом, где сейчас властно гудит самолет, взобравшись на недосягаемую высоту. Неужели и мысль невысказанная, и боль — все исчезает бесследно? Или все же что-то остается, витает незримо, и придет час — отзовется в чьей-то душе? И кто разделит великих и невеликих, когда они еще пожить не успели? Может быть, самые великие — Пушкин будущий, Толстой — остались в эти годы на полях войны безымянно и никогда ничего уже не скажут людям. Неужели и этой пустоты не ощутит жизнь?

## ГЛАВА VI

За полчаса до начала артподготовки Третьяков спрыгнул в свой окоп. Дремал Кытин, подняв воротник шинели, затылком опершись о земляную стену; он приоткрыл глаза, и опять закрыл. Суяров на корточках жадно насасывался махорочным дымом, сплевывал меж колен жидкую слюну. Узнав лейтенанта, из вежливости поколыхал рукою табачное облако над головой у себя.

В рассветном сумраке плоское лицо Кытина со смеженными глазами было точно монгольским. А сам он из-под Тамбова, из деревни. Вот куда предки его дошли убивать других его предков. А в нем обе эти крови помирились и не воюют друг с другом. Кытин зевнул, как щенок, показав все нёбо. Глаза влажные: похоже, правда спал.

Третьяков глянул на часы. Вот они, последние эти необратимые минуты. В темноте завтрак разнесли пехоте, и каждый хоть и не говорил об этом, а думал, доскребая котелок: может, в последний раз... С этой мыслью и ложку вытертую прятал за обмотку: может, больше и не пригодится. Оттого, что мысль эта в тебе, все не таким кажется, как всегда. И солнце дольше не встает, и тишина — до дрожи. Неужели немцы не чувствуют? Или затаились, ждут? И уже не остановить, не изменить ничего нельзя. Это в первые месяцы на фронте он стыдился себя, думал, он один так. Все так в эти минуты, каждый одолевает их с самим собой наедине: другой жизни ведь не будет.

Вот в эти минуты, когда как будто ничего не происходит, только ждешь, а оно движется необратимо к последней своей черте, ко взрыву, и уже ни ты, никто не может этого остановить,— в такие минуты и ощутим неслышный ход истории. Чувствуешь вдруг ясно, как вся эта махина, составившаяся из тысяч и тысяч усилий разных людей, двинулась, движется не чьей-то уже волей, а сама, получив свой ход, и потому неостановимо.

Все в нем было напряжено сейчас, а Суяров, на дне окопа кресалом высекавший огонь, смутился, увидев снизу, какое до безразличия спокойное лицо у лейтенанта: опершись спиной о бруствер, он рассеянно отбивал глину носком сапога, словно чтоб только не заснуть.

Ночь эту, остаток ее, Третьяков просидел в землянке у командира роты, которого ему предстояло поддерживать огнем. Не спали. В бязевой нательной рубашке, утираясь грязноватым, захватанным полотенцем, командир роты пил чай и рассказывал, как лежал он в госпитале, аж в Сызрани, какая хорошая женщина была там начмед.

Под низким накатом землянки глаза его посвечивали покорно и мягко. Он слизывал пот с верхней бритой губы, шея была вся мокрая, пот вновь и вновь копился в отсыревших складках, а повыше ключицы, где глянцевой кожицей стянуло след страшной раны, заметно бился пульс, такой незащищенный, и временами что-то напухало.

Третьяков слушал его, сам говорил, но вдруг странно становилось, словно все это происходит не с ним: вот они сидят под землей, пьют чай, ждут часа. И на той стороне, у немцев, тоже, может быть, не спят, ждут. А потом как волной подхватит, и выскочат из окопов, побегут убивать друг друга... Странным все это покажется людям когда-нибудь.

Он выпил одну за другой три кружки чаю, пахнущего от котелка комбижиром, и случайно в разговоре выяснилось, что этот полк и есть тот самый стрелковый полк, в котором служил отчим. Но только теперь номер его другой, потому что в сорок втором году в окружении осталось знамя и полк был расформирован и переименован. У матери хранилось письмо однополчанина; тот своими глазами видел, как убило отчима, когда прорывались из окружения, и написал ей. А все-таки надежда оставалась: ведь столько самых невероятных случаев было за войну. И, обманывая судьбу, боясь оборвать последнюю надежду, Третьяков спросил осторожно:

— Дядька у меня был в вашем полку. Командир саперного взвода, младший лейтенант Безайц... Под Харьковом... Не знал случайно?

Само так получилось, что сказал «дядька», словно бы это еще не про отчима, если скажет «убит».

— Безайц... Фамилия, понимаешь, такая... Ты вот кого спроси: Посохин, начальник штаба батальона, адъютант старший. Безайц... Должен помнить. А я под Харьковом не был, я только после госпиталя в этом полку.

В мае сорок второго года, когда началось наше наступление под Харьковом, так закончившееся потом, он послал отчиму из-под Старой Руссы восторженное мальчишеское письмо, писал, что завидует ему, что и они, мол, у себя тут тоже скоро... А уже замкнулось кольцо окружения под Харьковом.

У матери так жалко дрогнуло лицо, когда она попросила его на вокзале: «Ты ведь там будешь, на Юго-Западном фронте... В тех самых местах... Может быть, хоть что-то удастся узнать про Игоря Леонидовича...»

Она всегда в его присутствии называла отчима по имени-отчеству и даже теперь постеснялась назвать иначе.

Впервые в нем что-то шевельнулось к отчиму, когда началась война и Безайца призвали. Втроем, с матерью и Лялькой, пошли они на сборный пункт, помещавшийся на проспекте, в Лялькиной школе. И он увидел, как все переменилось. Отчим ждал их, сидел прямо на тротуаре, спиной опершись о кирпичный столб школьных ворот. Инженер-конструктор, которого многие знали здесь, он в своем городе, словно в чужом, где его не знают и не запомнит никто, сидел прямо на асфальте, оперев руки об острые колени. Увидел их, идущих к нему, встал, равнодушно отряхнул штаны сзади и обнял мать. Высокий, худой, в хлопчатобумажной гимнастерке, в пилотке на голове, он прижал мать лицом к пуговицам у себя на груди и поверх ее головы, которой касался бритым подбородком, смотрел перед собой и гладил мать по волосам. И такой был у него взгляд, словно там, куда он глядел, видел уже все, что ее ожидает.

Поразило тогда, какие тонкие у него ноги в черных обмотках. И вот на этих тонких ногах, в огромных солдатских ботинках ушел он на войну. Все годы, что жили вместе, как квартиранта, не замечал он отчима, а тут не за мать даже, за него впервые защемило сердце.

Мать в этот раз, когда после училища увидал ее, такая была постаревшая, вся плоская-плоская стала. И жилы на шее. А Лялька за два года переменилась — не узнать. Война, едят неизвестно что — и расцвела. Когда уходил на фронт, посмотреть было не на что: коленки и две косюльки на худой спине. А тут она шла с ним по улице — офицеры оборачивались вслед.

Третьяков глянул на часы и поспешно схватился за кисет. Но понял: свернуть уже не успеет.

— Дай докурить!

Он взял у Суярова цигарку, глубоко, как воздух, вдохнул, затянулся на все дыхание несколько раз и выпрямился в окопе. Когда глянул назад, солнце еще не всходило, но на лице почувствовал его свет. И свет этот дрогнул, толкнуло воздух, грохнуло и засверкало. Стал ощутим воздух над головой: в нем с шелестом проносились снаряды — и ниже и выше, в несколько этажей.

Они стояли в окопе все трое, глядели в сторону немцев. Из поля подсолнухов впереди плеснулась земля, обвальный грохот сотряс все, и с этой минуты грохотало и тряслось безостановочно, а над передовой стеною подымались вверх пыль и дым. И, оглушая, звонче всех садила батарея дивизионных пушек, стоявшая позади их окопа.

Вдруг ширкнуло над головами низко. Пригнулись раньше, чем успели сообразить.

— Связь проверь! — крикнул Третьяков, сознавая радостно: жив!

Опять визгнуло. Били по батарее. Откуда — не разглядеть: все впереди в дыму. И в дым с ревом пронеслись наши штурмовики, засновали в нем черными тенями: перед их крыльями сверкало. Казалось, там, впереди, они стремительно снижаются к полю. Мелькнули над крышами фермы — из крыш взлетело к ним несколько взрывов.

Еще грохотало и рушилось, а все почувствовали, как над передовой словно сомкнулась тишина. Вот миг, вот она, сила земного притяжения, когда пехота подымается в атаку, отрывает себя от земли.

— Ррра-а-а! — допахнуло стонущий крик. И сразу треск автоматов, длинные пулеметные очереди.

Выплеснутые из окопов наружу, согнутые, будто перехваченные болью, бежали по полю пехотинцы, скрываясь в пыли разрывов, в дыму.

Когда они трое, волоча за собой по полю телефонный кабель, спрыгнули в траншею, пехота уже мелькала впереди в подсолнухах.

Поразило, как всякий раз в немецкой траншее: била, била наша артиллерия, а убитых немцев почти нет. Что они, уволокли их с собой? Только рядом с опрокинутым пулеметом лежал мертвый пулеметчик.

В следующий момент все они трое повалились на дно траншеи. Лежали, прикрыв головы руками, чем попало. Суяров навалил катушку на голову, отползал в сторону. Переждав налет, Третьяков приподнялся. Немецкий пулеметчик, тепло одетый, в каске, в очках, все так же лежал навзничь в траншее, как кукла увязанная. Слепо блестели запыленные стекла очков,

целые, не треснутые даже; белый нос покойника торчал из них.

Сел Кытин, отплевываясь — в рот, в нос набилась земля. Удушливо пахло взрывчаткой. Низко волокся дым. По одному выскочили из траншеи. Уцелевшие подсолнухи на поле, ярко-желтые в дыму, все шляпками повернуты им навстречу: там, позади, всходило солнце над полем боя.

Лежа на спине, Третьяков пригнул тяжелую шляпку подсолнуха. Набитая вызревшими семечками, как патронами, она выгнулась вся. Смахнул ладонью засохший цвет, отломил край:

— Пошли!

Кинул горсть семечек в рот и бежал по полю, выплевывая мягкую, неотвердевшую шелуху. Он издали заметил этот окопчик — между подсолнухами и посадкой.

В сухой траве впереди него ползала пехота. Чего они там ползают? Бой уже к деревне подкатился, а они тут ползают. Но окопчик был хорош, из него все поле открывалось. Третьяков махнул ребятам:

— По одному — за мной!

И побежал, вжимая голову в плечи. Несколько пуль визгнуло над затылком. Спрыгнул в окоп. И тут же — пулеметная очередь поверху. Выглянул. В траве, вихляясь, полз Кытин. Прикладом автомата заслонил голову, катушка провода на спине, как башня танка.

Один за другим они ввалились в окоп. По щекам — черноземные потеки пота. Сразу же начали подключаться.

Только теперь Третьяков понял, почему пехота елозит в траве: пулемет положил ее на этом поле и держит. Подымется голова, пулемет шлет из посадки длинную очередь, и шевеление затихает.

— «Лебеда», «Лебеда», «Лебеда»! — вызывал батарею Суяров испуганным голосом, а слышалось: «Беда, беда, беда...»

Не надо было в этот окоп соваться. Поле видит, а толку что? Даже пулемет уничтожить не может. У тяжелых пушек, стоящих за два километра отсюда, рассеивание снарядов такое на этой дальности, что раньше он по своей пехоте угодит.

— «Лебеда»?! Слышь меня? Это я, «Акация»! Товарищ лейтенант! — Суяров снизу подавал трубку, смигивал мокрыми веками, плечом размазывал грязь по щеке. Рад был, что связь цела, не лезть ему под пули.

В трубке — сипловатый голос Повысенко. И тут же командир дивизиона отобрал трубку: сидит на батарейном НП. Слышно было, как он спрашивает Повысенко: «Кто у тебя там? Новенький? Как его?..»

А он тоже комдива в глаза еще не видал, только голос его слышал.

— Третьяков! Где находишься? Докладывай обстановку! И не врать мне, понял? Не ври!

— Я тут на поле, товарищ третий. Левей посадки. Пехота тут залегла.

Впереди окопа от пехотинца к пехотинцу ползал в это время командир взвода в зеленой пилотке, хлопал каждого по заду малой пехотной лопаткой.

— По-пластунски — вперед!

А пока к другому отполз — «По-пластунски — вперед!» — этот уже замер. Зеленая пилотка его гребешком высилась из травы. «Пилотку бы снял...» — мелькнуло у Третьякова, а сам докладывал командиру дивизиона обстановку. На дне окопа отдышавшийся Кытин грыз семечки, шелуха звеньями висела с нижней губы.

Визг мины. Пригнулись дружно. Несколько мин разорвалось наверху. Сжавшись, Третьяков и клапан трубки прижал, забыл отпустить.

— Что там у вас? — кричал командир дивизиона, которому слышно было в трубку, как здесь грохочет.— Где ты находишься?

— На поле, я ж говорю.

— На каком на поле? На каком на поле?

— Тут пулемет держит...

— Ты воевать думаешь? На черта тебе пулемет?

— Он пехоте не дает...

— Я тебя спрашиваю: ты думаешь воевать?

Визгнуло коротко. Откуда-то недалеко бьет: визг — разрыв! Визг — разрыв! А выстрела не слышно. Но батарея — не далеко. Высунулся и еле успел присесть: так низко пронеслось, казалось, голову собьет. Выглянул. По звуку — из-за деревни откуда-то.

На поле от свежей воронки расползались в стороны пехотинцы. Один остался неподвижно лежать ничком. Ее если не уничтожить, эту батарею, она всю пехоту перекалотит. Пулемет они сами уничтожат, а минометная батарея... И не выскочишь отсюда. Вот если б на крышу коровника забраться...

Одним ухом он ловил полет мины, в другом раздавался накаленный голос командира дивизиона. А Третьякову орать не на кого, дальше — одна пехота.

— Крыши коровников видите, товарищ третий?

На миг дыхание пресеклось: показалось, вот она летит, твоя... Рвануло так, что окоп встряхнулся.

— Крыши коровников видите? — кричал Третьяков, оглушенный. Пошевелился, отряхивая с себя землю.— Там буду находиться.

Донеслось неясно, сквозь глушь:

— Там наши? Немцы? Кто там?

А черт их знает, кто там. Пехота наша мелькала. Если на крышу залезть, оттуда все должно быть видно.

— Буду там, доложу!

— Ты гляди...

А что глядеть — не разобрал: уши забило звоном. Тряхнул головой, еще сильней зазвенело. Крикнул Суярову отключаться. Тут сидеть нечего. Зачем только сюда сунулся, всех за собой потащил... Они сидят, а пехота на поле под огнем лежит. Досидятся, что их тоже здесь ухлопает зря. Но до чего вдруг спасительным показался этот окоп, когда надо теперь вылезать из него!

— Кытин! Давай первым.

Первому особенно неохота лезть. Но первого и пулеметчик не ждет, он после изготовится, других ждать будет.

— Бери катушку, аппарат — и пулей в подсолнухи!

Кытин смахнул с губ шелуху, обтер ладони о колени, посерьезнел. Закинул автомат за спину, смерил прищуренным глазом расстояние.

— Я пошел.

Лег животом на бруствер, перекинул ноги, вскочил и побежал, метя полами шинели по траве. Они смотрели. Не добежав, кинул вперед себя тяжелую катушку, нырнул за ней следом головой в подсолнухи. Когда ударил пулемет, только шляпки раскачивались, указывая след.

— Суяров! Давай ты.

Тот сосредоточенно куском напильника по кремню высекал огонь. Торопился. Прикурил. Несколько раз подряд жадно затянулся. Цигарка вздрагивала в пальцах, а он сосал ее, сосал.

— Ждать, пока ты накуришься?

— Щас, товарищ лейтенант, щас...

Руки копошатся у рта, дергается обрубок безымянного пальца.

— Долго ты?

— Сейчас, товарищ лейтенант...

Лицо опавшее, все мокрое от пота, как облитое. Он стал вдруг отползать, сидя, заслоняться локтем.

Вии-уу! — потянулось к ним из-за поля.— Бах! Бах! Бах!

— Ты пойдешь, нет? Пойдешь?

И сапогами подымал его с земли, а тот ложился на спину.

— Пойдешь? Пойдешь?

Суяров охал изумленно, внутри у него охало. Опять разорвалось наверху. А они тут возились в дыму, в окопе. Не владея собой, Третьяков схватил его за отвороты шинели, поднял с земли, притянул:

— Жить хочешь?

И тряс, встряхивал его. Близко перед глазами — облитые потом веки, вздрагивающий, мерцающий взгляд.

— Больше всех хочешь жить?

И чувствовал дрожь в себе и сладостное нетерпение: бить. Пхнул от себя, Суяров глухо ударился спиной о стенку окопа, выронил из носа кровь, яркую, как сок недозрелой вишни. Распахнутыми глазами глядел с земли, а сам опять валился на спину, поднимал над лицом копошащиеся пальцы.

— Живи, сволочь!

Третьяков схватил его автомат, схватил катушку, большую восьмисотметровую немецкую катушку красного телефонного провода, выкинул наверх.

Кто-то стонущий свалился в окоп. Зеленая пилотка. Испуганный, мутящийся взгляд. Руками в крови, в земле зажимает живот сбоку. Увидел это, когда уже разгибался бежать. На миг спасительная мысль: остаться, перевязать... Но уже бежал, в руке гремела катушка, провод сматывался на землю. И тут возник из-за поля вой мины. Ни выстрела, ни толчка — только этот отдельный, самый из всех слышный вой. И, пригибаясь все ниже по мере того, как возвышался вой, Третьяков с разматывающейся катушкой в руке бежал под него, как в укрытие, ноги сами несли быстрей, быстрей. И быстрей, быстрей, неотвратимей понеслось сверху. Снижался железный визг, в него одного нацеленный. Упал на землю. Всем своим распятым на земле телом, спиной между лопатками чувствовал его, ждал. И когда сделалось нестерпимо, когда дыхание перехватило, визг оборвался. Смертная зависла тишина. Зажмурился... Рвануло сзади. Вскочил живей прежнего. Отбегая, глянул назад. Дым разрыва стоял над окопом. Добежал до подсолнухов, упал. Глянул еще раз. Из самого окопа исходил дым разрыва. Там были Суяров и командир взвода в зеленой пилотке.

## ГЛАВА VII

Прижимаясь к бревенчатой стене коровника, Третьяков ощупью дошел до угла, выглянул. Свистнуло у виска. Переждал, собрался. Вжав голову в плечи, перебежал пустое пространство. Упал. Жирная от навоза, перемешанная парными копытами засохшая земля. Вскочил, скидывая доску, запиравшую ворота, увидел, как под жердями загона проползает Кытин, весь вывалянный в соломе и навозе. Потянул ворота на себя, внутрь шарахнулись овцы.

Вбежал Кытин, разматывая за собой провод.

— Аппарат подключай, быстро!

И полез наверх. Мешала шинель. Торопясь, обрывая крючки, скинул ее на землю. Грохнуло за стеной, из пробоины в крыше, солнечный столб косо уперся в солому. Третьяков опять влез на загородку, подпрыгнул, схватясь руками за балку, подтянулся, сел верхом. Слой птичьего помета, бархатный слой пыли лежал на ней. Вставши на балке во весь рост, прикладом автомата вышиб над собой шифер, полез наружу. По рубчатой крыше, придерживаясь рукой, взбежал на резиновых подошвах, лег за коньком на горячий шифер. Вот откуда распахнулось все!

Внизу он видел бой в деревне. На огородах, за домами накапливалась пехота, по одному перебегали улицу. Пыльная улица, как смертная черта, по ней непрерывно мели пулеметы. Уже несколько человек распласталось в пыли. И все равно то один, то другой пехотинец отрывался от дома, бежал стремглав, вжимая голову, падал на той стороне. За деревней, за садами, так близко, что лица различались в бинокль, увидел Третьяков минометную батарею в логу. Дюжий немец в каске, стоявший меж двух задранных вверх минометных стволов, с обеих рук поочередно опустил в них мины, пыхнуло раз за разом, и в траве приподнялся телефонист. Стоя на коленях, он ждал с трубкой. Что-то закричал, взмахнул рукой: немецкий наблюдатель, лежавший где-то с биноклем, передал ему команду.

Третьяков ударил в крышу прикладом автомата, пробил шифер рядом с собой:

— Кытин!

С яркого солнца глаза не различали, что там внизу — тьма, косые пыльные полосы света из пробоин в крыше.

— Связь есть, Кытин?

— Есть!

Кытин возился в соломе, что-то делал с телефонным аппаратом. В углу коровника сбились овцы.

— Батарею вызывай!

С вечера еще, когда садилось солнце, приметил Третьяков невысокий курган. Срезанный понизу туманом, он парил над полем, а на освещенной его вершине, показалось, копошатся немцы. Он дал по кургану один снаряд и приказал записать установки: репер номер один. От него он сейчас выведет снаряды на цель.

Командир дивизиона некоторое время путал его вопросами: проверял, не отсиживается ли он где-либо. Потребовал ракетой указать свое местонахождение, но ни ракеты, ни ракетницы у Третьякова не было.

На минометной батарее немец в каске тем временем поочередно опускал мины в стволы минометов. Ему подавали их

снизу, а он — левой-правой, левой-правой — хвостами вниз опускал их и поспешно зажимал уши. Из стволов пыхало, и, пока мины летели в воздухе, он успевал другие покидать в стволы и что-то весело кричал и зажимал уши под каской. И дальше, за кустами, невидимые отсюда, били из оврага минометы. Там вздрагивали верхушки кустов, от них отскакивали летучие дымки, подхватываемые ветром, и каска то появлялась там, то исчезала. Минометная батарея вела губительный беглый огонь, мины рвались на том самом поле между посадкой и подсолнухами, где лежала наша распластанная пехота.

Наконец разрешили открыть огонь. Третьяков передал команду. Бахнуло позади, будто не орудие выстрелило, а тяжким чем-то саданули в землю. Разрыва своего он ждал не дыша. Из всего боя, из всей войны только и было сейчас для него то место на земле, где должен был взлететь разрыв снаряда. Немцы-минометчики попáдали вдруг на землю. Потом начали подыматься. Но разрыва он так и не увидел.

Третьяков убавил прицел, взял левей. Пока ждал от Кытина «Выстрел!», увидел случайно, как от угла дома оторвался пехотинец, бежал через улицу, быстро мелькая подошвами окованных ботинок. Под ноги резанула пулеметная струя, как черту по пыли провела. Пехотинец упал.

— Выстрел! — раздалось снизу. Ловя ухом полет снаряда, он мысленно направлял его в цель, а сам уже стоял на крыше на коленях и не замечал этого.

Немцы еще дружней попáдали на землю, но разрыва опять не было. Машинально глянул на то место, где упал пехотинец. Пусто. Никого. Но как-то не связалось в сознании: увидел и забыл.

В третий раз он передал команду, и снова все то же повторилось. Облитый потом — три снаряда выпустил и не только в вилку не взял цель, разрыва своего не нашел,— он резко убавил прицел. Пока ждал, увидел сверху, как из-под сарая, из-за телеги у стены, высунулась голова, плечи немца. Скрылся, опять выглянул. Третьяков лег за коньком крыши, потянул через голову автомат. Ремнем скинуло пилотку, успел только глянуть вслед, как она скользнула вниз по шиферу.

Немец уже вылез весь. Никем не видимый, он выбирался к своим. Сгибаясь, сильно припадая на левую ногу, побежал. Единственно боясь упустить, Третьяков повел следом ствол автомата. Он уже нажимал спусковой крючок, когда немец, словно ощутив, обернулся, показал лицо. Тревога и боязливая радость были на нем: спасся, жив! И тут же лицо дрогнуло непоправимо. Немец начал распрямляться, распрямляться, мучительно-сладко потянулся спиной, куда вошла очередь, выгнул

грудь; поднятые, судорогой сводимые руки завело за плечи. И рухнул, роняя автомат.

В тот же самый момент увидел Третьяков свой разрыв. Среди других разрывов на поле, позади батареи, из кустов встал дым. Овраг там, низина — вот почему он не видел своих разрывов: в овраге рвались. Он изменил прицел.

— Выстрел! — прокричал снизу Кытин.

С биноклем у глаз Третьяков ждал. Солнце отвесно пекло затылок, мокрую спину между лопаток.

В логу немцы вдруг кинулись от минометов. Падали на бегу, распластывались кто где. Долгий, бесконечный миг ожидания длился. Отчетливо видел сейчас Третьяков в бинокль брошенную огневую позицию: ящики с минами, задранные вверх стволы минометов, блеск солнца на пыльных стволах,— пусто, время остановилось. Один минометчик не выдержал, вскочил с земли... И тут рвануло из низины.

— Батарее три снаряда — беглый огонь! — кричал Третьяков. И пока там рвалось и взлетало, под ним дрожала крыша, на которой он лежал.

А когда опала выкинутая взрывами земля, когда дым потащило ветром, на огневой позиции, открывшейся вновь, ничего не было. Только перепаханная земля, воронки.

Потом заметил: что-то живое шевелится на той стороне оврага. Вгляделся. Одолевая гребень, выползал из оврага минометчик, через силу волочил себя по земле, как передавленный.

## ГЛАВА VIII

В пыли и дыму, заслоняющих солнце, сражение шло не первый час. Уже танки, застрявшие перед противотанковым рвом, перебрались через него, и один горел посреди поля. Был слух, что левей прошла панцирная пехота: в стальных касках, со стальными пластинами на позвоночнике, со стальным панцирем в груди, они будто бы раньше танков первыми форсировали противотанковый ров. За всю войну такой нашей пехоты Третьяков не видел, но говорили, что она прошла левей.

У противотанкового рва, расковырянного снарядами, стояла подбитая тридцатьчетверка, а по полю остались лежать пехотинцы. В своих выгоревших гимнастерках, со скатками через плечо, кто в пилотке, кто стриженой головой в жесткой, посохшей траве, сливались они с этим рыжим полем. И уже ничей голос — ни взводного, ни ротного, ни командующего, окажись он тут,— не способен был поднять их. Никому не подвластные отныне, лежали они в траве перед противотанковым рвом, будто

все еще ползли. И внизу, скатившись туда от разрыва, чуть не наступил Третьяков на полузасыпанного глиной бойца. Чей-то зеленый телефонный провод пролег через него поперек.

Когда вылезли изо рва и бежали с Кытиным по полю, разматывая за собой провод, пули высвистывали так близко, что Третьяков на бегу дергал головой, будто отмахивался от них. Внезапный артналет положил обоих. В какой-то миг, оторвав лицо от земли, увидел впереди угольно-серую, снеговую в жаркий день тучу. Клубящейся грозовой стеной стояла она, а перед ней высоко метались голуби, ослепительно белые. И вдруг увидел, как одного срезало пулей, впервые в жизни Третьяков увидал это. Голубя подкинуло выше стаи, закружась, он падал вниз, оставлял в воздухе перья из раскрывшегося крыла. И — холодом по сердцу: «Убьет меня сегодня!..» Подумал и сам испугался, что так подумал. В следующий момент, вскочив, он бежал по полю с автоматом в опущенной руке. Согнутые, бегущие впереди пехотинцы в своих гимнастерках казались белыми перед черной стеной тучи, как на негативе.

Нырнув головой в дым разрыва, падая, Третьяков поймал на лету снижающийся вой мины. И стон чей-то близко, захлебывающийся, жалобный: «Ой! О-оо! Ой-е-е-ей!..» Стремительный вой мины. Больней стон. И еще два голоса лаются поспешно: «Дай, говорю... Отдай!» — «Вот она тебе щас даст... Щас отдаст...» Показалось, один голос — Кытина. Грохнуло. Стон оборвался. Когда Третьяков вскочил, Кытин и пехотинец в пыли разрыва тянули друг у друга из рук катушку немецкого телефонного провода, топтались на месте. Пехотинец был здоровей, рослый, в распахнутой шинели. Кытин, успевая перехватываться, ударял его по рукам сверху. И еще ногой доставал. При этом кричал отчаянно:

— Товарищ лейтенант! Лейтенант!

Железный скрежет снаряда. Оба присели, катушку ни один не выпускал из рук.

— Товарищ лейтенант!..

— А ну брось! — набежав, закричал Третьяков. Пехотинец неохотно отпускал руки.

— Моя катушка. Я ее нашел на поле...

Взрывной волной качнуло всех троих. Вытряхивая землю из-за шиворота, Третьяков видел, как Кытин на корточках уже подсоединяет конец добытого провода:

— Нашел — еще найди. Их вон сколько...

А сам прятал довольную улыбку.

Они спрыгнули в траншею, когда над ней еще стояли пыль и дым. Усевшись на катушку с проводом, словно и тут охраняя ее, Кытин подключал аппарат. Третьяков лег локтями на бру-

ствер, оглядывал поле в бинокль. Стекла окуляров запотевали, пот щипал растрескавшиеся губы, тек по ложбине груди под гимнастеркой.

Впереди спешно окапывалась пехота. Среди переползавших по земле, распластанных на ней пехотинцев столбом взлетали разрывы, дымы шатало над полем, и безостановочно, не давая пехоте подняться, секли пулеметы. И над головой, за толщей воздуха — дрр!.. дрр!..— глухо раздавались пулеметные очереди, то снижаясь, то отдаляясь, завывали моторы — клубком перекатывался воздушный бой.

По траншее все время перебегали люди. Один раз, прижавшись к стенке, мельком увидел Третьяков, как протащили под мышки кого-то. Задравшаяся гимнастерка, впалый желтый живот... Знакомой показалась стриженая голова с залысинами, чья-то рука надевала на нее пилотку.

Прибежал исчезнувший было Кытин:

— Товарищ лейтенант, там такие туннели под землей! Метров десять глубины, ага! — А сам уже что-то жевал.— Хлеба хотите? Он там все побросал. Идите гляньте. Над головой метров десять глины, ни один снаряд не возьмет.

За поворотом траншеи в боковой щели друг на друге лежали убитые немцы. Верхний раскинул ступни в продранных носках, мундир разорван у горла, вместо лица — запекшаяся черная корка земли и крови, а над ней ветром шевелило волнистые светлые волосы. Несколько раз переступал Третьяков через убитых немцев, пока спускался вниз, в темноту после яркого солнца, хватаясь за стены руками.

Тут все звуки глуше, от взрывов — они, как удары, отдавались под землей — подскакивали огни свечей и сыпалось с мощного глиняного свода. На полу, в желтом сумраке, белели бинты раненых. Среди них увидел он командира роты. Голый по пояс, коричневый в этом свете, сидел он на земле, а санитар, стоя на коленях, обматывал ему грудь бинтами. Узнав Третьякова, командир роты поднял бессильно клонившуюся залысую голову:

— Вот... опять стукнуло... На один бой меня не хватило...

Туннель, как дымом, наполнялся пылью, удары отдавались непрерывно, и уже казалось, что-то происходит наверху. Стоя над командиром роты, Третьяков спрашивал:

— Старшой, ты говорил, начальник штаба у вас был под Харьковом. Здесь он, а? Не видал? Про дядьку хотел узнать...

И взглядом торопил, помогал вспомнить. Но командир роты, подняв голову, смотрел на свод потолка, откуда на лицо ему сыпалась глина. Среди раненых возникла тревога. Они ощупали вокруг себя оружие, некоторые куда-то поползли.

Наверху все грохотало. Пока пробирался туда, повсюду в проходах толклось множество набежавшего откуда-то народа. И в траншее — толкотня, крики, испуганные лица. Визгнуло коротко. Разрыв. Разрыв. Танки! Еще и голову не высунув из траншеи, понял: они. Бьют прямой наводкой: выстрел — разрыв. Опять визгнуло коротко, всех пригнуло в траншее. Осыпанный сверху, Третьяков выглянул из-за бруствера: танки. Низкие, длинноствольные, они появились из-за бугра, на котором вращались крылья мельницы. Два танка... Еще за ними — один, два, три... У переднего пушка сверкнула огнем. Дало так, что звоном уши заложило.

— Кытин!

Валялся засыпанный землей аппарат. Катушки с проводом нет. И Кытина нигде нет. Третьяков схватил трубку. Нет связи. Неужели убежал?

На поле лежала неокопавшаяся пехота. Танки шли, и перед ними, как ветром, снимало с земли людей. Они вскакивали по одному, бежали, пригибаясь, словно на четвереньках, разрывы сметали бегущих.

— Я те побегаю! Я те побегаю! — яростно кричал в трубку командир батальона и тряс матерчатым козырьком фуражки над глазами, а сам весь под землей стоял, в проходе в туннель.

Лейтенант-артиллерист беспомощно суетился с картой у телефона, белый-белый. Оправдывался в трубку, огня не открывал.

— Какие у тебя пушки? — крикнул Третьяков.

— Гаубицы... Стодвадцатидвух...

— Где батарея?

— Вот. Вот,— показывал лейтенант на карте, смотрел с надеждой.

Третьяков прикинул расстояние:

— Открывай огонь! — И стал передавать команду.

Какой-то парень, чубатый, в сержантских погонах, неизвестно почему толкавшийся здесь, восхищенно смотрел на Третьякова.

— Вот молодец лейтенант!

И тут Третьяков услышал в трубке задыхающийся голос Кытина:

— «Акация», «Акация»!..

— Кытин?

— Я! Тут порыв на поле...

И сейчас же голос командира дивизиона:

— Что там у вас происходит? Третьяков! Что делается там у вас?

— Немец контратакует танками! Надо заградительный огонь...

— Танки, танки... Сколько видишь танков? Сам сколько видишь?

— Пять видел... Сейчас...

Он хотел сказать «посчитаю», его ударило, сбило с ног. Комья земли рушились сверху, били по согнутой спине, по голове, когда он, стоя на коленях над аппаратом, сдерживал тошноту. Тягучая слюна текла изо рта, он рукавом вытирал ее. Подумал: «Вот оно...» И поразился: не страшно.

На дне траншеи ничком лежал чубатый сержант, выкинув перед собой руку. Пальцы на ней шевелились. А там, где только что комбат кричал и тряс козырьком, дымилась рыхлая воронка.

Поднявшись на слабых ногах, не понимая, ранен он, не ранен,— но крови на нем нигде не было,— Третьяков увидел поле, разрывы, бегущих, падающих на землю людей. Медленно, словно это голова кружилась, вращались на бугре пробитые полотнища — крылья ветряной мельницы, то заслоняя нижним краем, то открывая идущие танки. И, чувствуя неотвратимость надвигающегося и остановившееся время, сквозь звон и глушь в ушах, как чужой, слыша свой голос, он передавал команду дивизиону. Вскинул бинокль к глазам. Резче, ближе все стало, притянутое увеличительными стеклами. Взблескивая гусеницами, надвигался вырвавшийся вперед танк, и крыло мельницы с оторванным полотнищем, опускаясь сверху, отделяло его от остальных.

Вскинулся разрыв. Что-то дернуло телефонный аппарат, поволокло с бруствера. Подхватив его, прижимая коленом к стенке окопа, Третьяков прокричал новую команду. Сильней дернуло аппарат. Обернулся. Над бруствером — черное, белозубое улыбающееся лицо.

— Насруллаев!

Еще шире, радостней улыбка, зубов сто выставил напоказ, и все белые, крепкие. Насруллаев, его связист, лежит на земле. Приполз. И две катушки телефонного провода на нем. И провод в руке, за который он дергает.

— Вниз прыгай! Быстро!

Улыбается, как будто не понимает русского языка.

— Вниз, кому говорю! Кытин где?

Потянулся сдернуть Насруллаева в окоп, но ударило под локоть, болью прожгло руку. От подхватил левую руку другой рукой, в которой была телефонная трубка, не понимая, кто его ударил, чувствуя только, что не может вдохнуть. И раньше, чем он увидел свою кровь, увидел страх и боль на лице Насруллаева, смотревшего на него. Потом закапало из рукава шинели. Сразу ослабев, чувствуя, как обморочно немеет лицо, губы, он сел на дно траншеи, зачем-то здоровой рукой нашаривая рядом с собой автомат.

*К стр. 248*

# ГЛАВА IX

Горела деревня, вдали за нею горела станция Янцево. Там все рвалось, из огня, как искры из костра, взлетали в черное небо трассы пуль. Все это возникало то позади, то сбоку, то спереди откуда-то. Машина бездорожно ползла по полю во тьме, в сумрачных отсветах пламени, проваливалась в воронки, раненые катились друг на друга, стонали, копошились в кузове, пока полуторка, завывая слабым мотором, выбиралась на ровное. И опять кружили по полю, то отдаляясь, то будто вновь приближаясь к бою. Один раз, как видение, возникло: догоравшая мельница распадалась на глазах, рушились огненные куски; словно раскаленный проволочный каркас, светился остов.

От толчков и тряски у Третьякова пошла кровь горлом, он вытирал рот рукавом. Вытрет, посмотрит — черный мокрый след на сукне. Из всех ран только одну и почувствовал он в первый миг, когда ударило под локоть по самому больному, по нерву, вышибло автомат из руки. А потом еще четыре дырки насчитал на нем санитар. Дышать не давал осколок, вошедший меж ребер. Из-за него и шла кровь ртом. Весь сжимаясь в ожидании боли, он приготавливался к новому толчку, когда опять машина провалится и отдастся во всех ранах.

— Ой, о-ой! — всхлипывал рядом с ним младший лейтенант.— Ой, боже мой, что ж это! Ой, хоть бы скорей бы уж...

Один раз, когда особенно резко тряхнуло, Третьяков от собственной боли закричал на него:

— Имей совесть в конце-то концов! Тебе что, хуже всех?

И тот замолчал. И опять кружили по полю, кружению этому не было конца, мотор то завывал с надрывом, то глох, свет ракет опускался в кузов до самого дощатого пола, и вновь смыкалась темнота. А время измерялось толчками и болью.

Стали. Раздались голоса в темноте, шаги. Заскрежетало железо. Откинулся борт. По одному начали снимать, сводить раненых. Когда снимали младшего лейтенанта, он не стонал. И голоса замолкли. Его отнесли в сторону, положили на землю в темноте.

Незнакомый старшина помог Третьякову слезть, суетился, подставлял под него плечо:

— На меня, на меня обопрись. Сильней наваливайся, ничего.

Присохшая к ране штанина оторвалась, горячее потекло по ноге. Значит, еще одна дырка. Ее не чувствовал до сих пор. Быстро подошел кто-то решительный, маленький, в ремнях. Третьякова остановили перед ним.

— Вот ты какой, лейтенант... Сейчас мы тебя отправим, медицина подлечит, опять вернешься в полк. Будем ждать.

Сверху Третьяков увидел на нем погоны капитана, понял: командир дивизиона. Из боя по голосу не таким он представлялся маленьким.

— Я на тебя кричал сегодня.— Капитан нахмурился строго.— Все мы в бою нервные. Ты не обижайся, нельзя.

— Я не обижаюсь.

Все плыло перед глазами, деревья над головой качались, а может, это он качался. И трудно было дышать.

— Нельзя обижаться, вот именно — нельзя.

Опять старшина повел его, а он просил, плохо слыша свой голос:

— Меня туда... Туда отведи...— Осколок меж ребер не давал вдохнуть.— Туда... старшина...

И тянул к кустам. А тот, не понимая, от старательности только сильней подпирал плечом, взваливал его на себя:

— Щас мы придем, недалеко тут, щас...

— Старшина...

— Ничего!

Наконец догадался, засуетился, сам начал снимать с него ремень, распустил ремешок на брюках.

— Отойди,— просил Третьяков.

— Чего там!

— Отойди... прошу...— Вдохнуть глубоко не мог, голос от этого был совсем жалобный.— Да отойди же.

Рукой держась за деревце, он качался с ним вместе, слабый, хоть плачь. Но и это готов был перенести, только б не стыд. А старшина, дыша махоркой, повторял: «Чего там!» — и не обидно, охотно, просто обходился с ним.

— А мне доведись? — говорил он, за таким делом окончательно перейдя на «ты».— Неужли не помог бы? Тут друг дружке помогать надо как-либо.

И не отходил, поддерживал его все это время. После сам застегнул на нем штаны — у Третьякова уже и сил не осталось сопротивляться, оправил гимнастерку, поглядел на командирский ремень у себя в руках, на пряжку со звездой, застеснялся:

— Ремень у тебя хороший... Они, в госпитале, знаешь как? Что на ком прибыло, то им и найдено. Лежал, знаю.

Вздохнул, помялся: очень ему не хотелось расставаться с ремнем.

— А если который без памяти, так и концов потом не найдет и спросить не знай где.

— Бери,— сказал Третьяков, будто рукой махнул. Не ремня ему сейчас было жалко. Чего-то совсем другого по-человечески было жаль. Да и это уже становилось безразлично. А тот

радостно засуетился, запоясывал его своим ремнем, говоря невнятно:

— Мой тоже годный еще. А что потрепался, так его солидольчиком смазать...

Заправил, обдернул — болью каждый раз отдавалось в ранах,— заверил с легкостью:

— Тебе там новый дадут!

Опять Третьякова куда-то вели, везли, трясли. Потом он сидел на земле. Сквозь лес прозрачное светилось зарево: красное зарево, черные деревья на нем. И всюду под деревьями лежали, сидели, шевелились на земле раненые. Погромыхивало. Из палатки невдалеке выводили перевязанных, свежие бинты на них резко белели. И пока санитары, ступая меж людьми, выбирали, кого следующего взять, раненые с земли смотрели на них, стоны становились жалобней. Вынесли человека на носилках. Брезентовый полог проехал по нему от сапог до головы в бинтах.

Третьяков слышал все сквозь звон в ушах. По временам звон начинал отдаляться, проваливался... Вздрогнув, он просыпался. Сердце колотилось с перебоями. Он знал: спать нельзя. Это как на морозе: заснешь — не проснешься. И крепился, чтоб не заснуть. А в нем слабело все, сердце уже не билось, дрожало. Он чувствовал, как жизнь уходит из него. Один раз услышал над собой голоса:

— Не спи, лейтенант!

Черная тень заслонила зарево, нагнулась ниже:

— Э-э, ну-ка давай. Давай, давай, вставай... Пособи, Никишин. Вот так. Во! Идти можешь?..

Жесткий брезент, ободрав по лицу, скинул с головы пилотку. Санитар поднял, сунул ему в карман шинели. Внутри, под белым провисшим пологом, свет керосиновых ламп ослепил.

Пока раздевали его, все возникало отдельно. В углу — голый по пояс человек, поддерживая одну руку свою другой рукой, смотрел сверху, как сестра вытягивает пинцетом у него из локтя, из черной дыры, пропитанный коричневый бинт.

Над столом нагнулись врачи в масках. Там, под руками у них,— остриженная круглая голова, вместо виска и скулы — масленые сгустки крови, сплошная рана. Никелированными щипцами врачи копошатся в ней, вынимают что-то, звякает металл в тазу под столом. Глаза человека, блестящие сильно, черные, нерусские в разрезе, смотрят перед собой отдельно от боли, отдельно ото всего, а желтая нога, вылезшая из-под простыни, дрожит мелкой дрожью.

Третьяков тоже дрожал, раздетый догола. Теплым был стол, когда его туда положили. Хирург у отодвинутого полога курил

из чужой руки. Свои руки в перчатках держал поднятыми на уровень плеч. Завязанный по глаза нагнулся сверху, маска притягивалась дыханием, обозначая рот, нос, притягивалась и отпадала. Чем-то тупым повели по телу. Звякнул металл в тазу. Опять будто тупым скальпелем провели, тело само сжималось от ожидания боли. Еще несколько раз звякало в тазу. И — резанула боль.

— Ноги прижмите! — сказал хирург.

Раскаленное вошло внутрь до самого сердца, задохнулся.

— Кричи, не терпи! Кричи!

Женский голос то пропадал, то рядом дышал, над ухом. Кто-то промокал ему бинтом лоб, лицо. Один раз близко возникли глаза хирурга, глянули зрачки в зрачки. Что-то сказал. И просторней вдруг стало сердцу.

Когда уже перевязывали, женщина подала в ватке кровавый сгусток:

— Осколок на память возьмешь?

— Зачем он мне?

И этот звякнул о таз.

Слабого, дрожащего отвели Третьякова в палатку. И под шинелью, под одеялом он продрожал полночи. Закроет глаза и опять видит: бегут согнутые пехотинцы в сухой траве, впереди стеной — черная туча, гимнастерки на пехотинцах и трава — белые. А то вдруг видел, как дрожит на операционном столе желтая нога, каменно напрягшаяся от боли, со сжатыми в щепоть пальцами. И не раз в эту ночь видел он Суярова, зажмуривался и все равно видел, как бил его там, под обстрелом, на гиблом этом поле, а тот повалился на спину, мигает, заслоняясь руками. Ведь это последнее, что было у того в жизни: как били его. На черта он взял себе это на душу!.. И еще палец на руке, безымянный,— отрубленный, как у мамы...

Пехота бежала среди взлетающих разрывов, и туча дыбилась стеной за противотанковым рвом. Что-то заклубилось в ней, как пыль закрутило смерчем. Покачиваясь, оно приближалось. И вдруг со сладкой болью в груди все в нем раскрылось навстречу:

«Мама!»

Печальная-печальная стояла она на той стороне, смотрела безмолвно. Он чувствовал ее, как дыхание на щеках.

«Мама!»

И, задыхаясь от любви к ней, радуясь, что впервые за взрослую жизнь он может сказать ей это и ничего между ними не стоит, он устремлялся к ней, а его тянули за плечо, не пускали, оттягивали назад. Он дернулся с болью и проснулся. В сером рассвете чья-то забинтованная голова, как белый шар, качалась над ним.

— Чего тебе? — спросил Третьяков и отвернулся: щеки его были мокры от слез.

— Кричал ты. Может, нужно что?

— Ничего мне не нужно.

Он жалел, что его разбудили. Долго лежал так. Светало. В палатке началась суета. Санитары срочно поили раненых горячим чаем, подбинтовывали, проверяли повязки. Несколько раз, взволнованный, заходил врач. Что-то готовилось. Наверное, отправка в тыл.

Снаружи, за пологом, когда его открывали, всё было в росе. И они лежали вровень с росой. Холодное солнце поднялось и стояло над лесом. Раненые прислушивались к недальнему громыханию боя, шевелились беспокойно на соломе, застеленной плащ-палатками.

Рядом с Третьяковым, спеленутый бинтами, сидел командир батареи противотанковых пушек. Обеих рук у него не было выше локтей. Третьяков чувствовал парной, железистый запах его крови, пропитавшей бинты в тех местах, где кончались обрубки рук. Поддерживал комбата под спину боец его батареи, тоже раненный в этом бою, поил чаем из кружки, кому-то рассказывал за его спиной, как пошли на них немецкие танки, как все получилось.

— Главное, он ведь портной был до войны,— громко говорил боец, словно бы без рук комбат теперь уже и не слышит, и кружкой не попадал ему в губы. А тот сидел, ждал покорно.— Как ему без рук? Без рук он и на хлеб себе не заработает,— все так же при нем, как без него, говорил боец.

Что-то кавказское или еврейское было в лице комбата: белый нос с горбинкой, глаза навыкате, рыжеватые пониклые усы на бескровном лице. Отчима оно напомнило Третьякову, только тот усов не носил.

Резко раздернули вход в палатку и, заслоня солнце, вместе с длинными тенями, двинувшимися впереди них по земле, толпой вступили в палатку несколько офицеров. Первым — полковник в орденах. Из-за голов испуганно выглядывал врач.

— Здоро́во, орлы! А кто первым из вас в бою вскочил в немецкую траншею?

Молчание было некоторое время. Полковник ждал. Шелестом прошло по раненым: «Командир дивизии!..» У входа в палатку поднялся с соломы легкораненый боец, молодой, бравый — хоть под знамя ставь.

— Я, товарищ полковник!

Командир дивизии оглядел его:

— Молодец! Герой!

И только повернул назад тугую шею, а уже адъютант из ящичка, который перед собой держал, подавал большую серебряную медаль «За отвагу». Она покачивалась на колодке. Командир дивизии собственноручно приколол ее солдату на грудь.

— Заслужил! Носи!

Еще один поднялся, не такой бравый на вид. Под гимнастеркой, натянутой поверх, прижата к животу согнутая в локте рука. И сам он весь над ней согнулся.

— Я тоже, товарищ полковник...

И ему прикрепили медаль на гимнастерку. Больше никто встать не решился. Только слабый чей-то голос спросил из угла:

— Станцию самою взяли, товарищ полковник? Как ее, станцию эту?..

— Взяли, взяли, орлы! Выздоравливайте. Медицина у нас хорошая, всех, кто способен, вернет в строй!..

И так же стремительно вышел. За ним толпой — остальные. Последним догонял врач, оглядывался на раненых строго.

## ГЛАВА X

Нескончаемо скользила земля под насыпью, сизая пряжа паровозного дыма повисала на телеграфных проводах, кружили, кружили, исчезая, возникая вновь, осенние перелески. И засыпал он под скрип вагона, под стуканье, толчки колес внизу, и просыпался — все так же расстилает ветром по жнивью паровозный дым, поворачиваются поля, и под осенним пронзительно-синим небом маячит лес вдали, ярко-желтый, когда упадет на него солнце.

Где-то на севере снег, наверное, уже выпал: холодом наносило в дверь вагона. А здесь, сколько едут, все так же прощально греет солнце эту осеннюю землю, по которой дважды прокатилась война и в ту и в эту сторону.

Проснулся он — санлетучка стоит в поле. Тишина. Дверь вагона откатили, в проеме, свесив босые ноги на ветерок, сидит на полу боец в галифе, в бязевой рубашке с оторванным левым рукавом. Руку разбинтовал, нагнув над ней стриженую голову, выбирает из раны червей тоненькой щепочкой. Другой боец стоит внизу, смотрит внимательно, сматывая бинт. Еще один подошел, прохрустев костылями по осыпающейся щебенке:

— На что ты их выбираешь? Они полезные, рану очищают.

— Ага... Знаешь, как под повязкой щекотят!

Тонко засвистел паровоз в голове состава. В открытую дверь полезли раненые, совали внутрь по полу костыли, кто-то прыгал снаружи, схватясь руками. Его втянули в вагон.

И опять скользит земля под насыпью, садится дым на провода. Тишина в полях.

С верхних нар Третьяков смотрел, смотрел на эту осеннюю красоту мира, которую мог бы уже не увидать. Ненамного хватило его в этот раз, на один бой и то не до конца. А на душе спокойно. Сколько же это надо народу, если война длится третий год и одному человеку в ней так мало отмерено?.. Перед училищем он все же год пробыл на фронте, и ранило его тогда по глупости: не ранило — ушибло. Конечно, тот Северо-Западный фронт, где все велись бои местного значения, не равнять с этим. Но и там убивало, много там осталось в болотах, в тех сырых, заболоченных лесах.

Паровоз потянул на подъем, дым снаружи стал угольно-черный. Живой колышущейся тенью занавесило солнце в вагоне. Сквозь тяжкое, как из туннеля, пыхтение паровоза доносился с нижних нар чей-то веселый голос. Временами его забивал перестук колес, скрип вагонного дерева. А то вдруг голос слышней становился:

— ...Они рубашки поскидали, вшей на них!.. Расстелили на столе, сидят друг перед другом, каждый на своей ногтем давит: «Айн рус капут! Цвай рус капут!..» Обхохочешься с печи глядеть. И сами смеются.

Рассказывал тот парень, который недавно щепочкой вынимал червей из раны, Третьяков по голосу узнал.

Одолев подъем, паровоз тяжко выдохнул из себя долгий гудок, опять стал слышен голос под нарами:

— ...Бой... Да никакого боя не было! Наши с вечера отошли, склад запалили, бабы всю ночь растаскивали, кому что досталось. Утром они входят. Я как раз на крыльце сидел, лепешку молоком запивал. Гляжу — едут на велосипедах. Жара, едут в одних трусах. Сапоги только и автоматы на голых шеях висят — во война! Я уж большой был, испугался, убежал в хату. Пацаны после рассказывали, они бегали глядеть: эти выезжают на плотину за деревней, а по оврагу два красноармейца идут, песни орут: оба пьяным-пьяны. И еще в карманах по бутылке. Эти сразу автоматы наставили: «Рус, хенде хох!» Они и подняли руки.

Под покачивание и скрип дерева голос то громче слышался, то выпадал, и в какой-то момент Третьяков, слабый от потери крови, провалился в сон.

Он увидел себя под мостом: лежал в траве, затаясь за огромным камнем, а по мосту ехали немцы на мотоциклах.

Он слышал треск и выхлопы мотоциклов, видел, как шевелятся над ним бревна настила.

Стихло... Выглянул из-за камня. Впереди — сухое русло оврага, кусты. И вдруг почувствовал — не увидел, лопатками, спиной почувствовал на себе взгляд. Обернулся — немец. Стоит наверху, смотрит на него. Без шапки, мундир на потной груди расстегнут, из пыльного голенища торчит запасной магазин автомата. Не слезая с велосипеда, только повалив его себе на ногу, немец на верху оврага следил, как он вылезает на свет из-под моста. Враз обессиленный жутким сознанием непоправимости случившегося, он, не разогнувшись, снизу вверх смотрел на немца, а мысль металась загнанно: только что все было по-другому, и уже не изменишь, не исправишь ничего. Немец снимал с потной шеи автомат, помаргивал белыми ресницами. И, чувствуя, как отнялись ноги под наставленным дулом, он дернулся, крикнул и от своего крика проснулся.

Лежал, оглушаемый толчками крови в ушах, еще не веря себе, что жив. Почему во сне всегда так страшно бывает? Ни разу в бою не было ему так страшно, как приснится потом. И всегда во сне ты бессилен перед надвигающимся.

Несколько дней спустя из окна санитарного поезда, из простынь, под мягкое покачивание рессор, увидел он из тепла мелькнувший за стеклом, прибитый заморозком, еще не опавший сад. И ясно вспомнилось — даже запах почувствовал холодных осенних яблок,— как они всем классом ездили в подсобное хозяйство. На мокрой от росы желтой листве стояли старые, корявые деревья, яблоки на них были ледяные, из кучи листьев подымался горьковатый дымок костра, ветром разносило его по саду.

А когда среди дня из серых туч повалил снег с дождем и стало темно, они собрались в сторожке при огне, озябшими красными руками выхватывали горячие картофелины из чугуна, стоявшего на столе, макали в соль. И молоко, налитое в кружки...

Все это так давно было, словно в другой жизни.

## ГЛАВА XI

Здесь уже легла ранняя уральская зима. И таким белым был по утрам свет на потолке палаты, а солнце искрилось в мокрых стеклах, с которых обтаивал лед. Однажды раненые взломали заклеенное окно, сгрудились в нем, хлопали в ладоши, кричали сверху, били костылями по жести подоконника:

— Дорожную давай!

Внизу, во дворе, у пригретой солнцем кирпичной стены бывшей школы, а теперь у госпиталя, школьный струнный оркестр на прощание выступал перед теми, кто вновь отправлялся на фронт.

— Дорожную давай! — кричали из окна.

Третьяков еще не ходил, но и на другом конце палаты хорошо было ему слышно, как в несколько мандолин и балалаек дернули во дворе понравившийся мотив. И молодой, радостный голос звучно раздавался на морозе:

Не скучай, не горюй,
Посылай поцелуй у порога...

Слепой капитан Ройзман шел на свет к окну, хватаясь за спинки кроватей, опрокидывая табуретки по дороге.

Широка и светла
Перед нами легла путь-дорога-а...

Три раза подряд исполняли внизу все ту же песню. Никакую другую раненые не хотели слушать: понравилась эта, вновь и вновь требовали ее. И опять ударяли по струнам и, радуясь своей молодости, звучности, силе, высоко взлетал над всеми голосами чистый девчоночий голос:

Не скучай, не горюй...

Набежали в палату сестры, захлопнули окно, распихали раненых по кроватям:

— С ума посходили! На дворе мороз, воспаления легких захотелось?

В тот же день прихромал на протезе одноногий санитар. Когда-то и он отлежал здесь свой срок, выписался, а ехать некуда: дом его и вся их местность под немцами; так в госпитале и прижился. Он гвоздями накрепко забил окно, чтоб уж не раскрыли до весны: тепло тут берегли. Но до самого вечера все летал по палате этот мотив: один забудет, другой мурлыкает, ходит, сам себе улыбается. А в углу, поджав ноги, как мусульманин, сидел на своей койке Гоша, младший лейтенант, тряс колодой карт, звал сыграть с ним в очко.

По годам почти такой же, как эти школьники, успел он в своей жизни только доехать до фронта. Здесь эшелон попал под бомбежку, контуженного, увезли Гошу в госпиталь. Но он опять сбежал на фронт и попал уже не под бомбежку, а под артналет. В себя пришел он в госпитале. Врачи говорили, что это прежняя его контузия отдалась. А может быть, контузило вновь. Сам Гоша ничего толком ни разу не рассказал: начинал волноваться, за-

икался так, что слова промычать не мог, только сотрясался весь, как всхлипывал.

Каждый день с утра он уже сидел посреди кровати с колодой карт: ждал, кто сыграет с ним в очко. И вся вдаль угадывалась его судьба. Видел Третьяков таких ребят на базарах, у пивных, когда случалось в училище получить увольнительную: сидели безногие на земле, играли в «колечко», «веревочку», что-то меняли из-за пазухи, жили одним днем. Или, зажав в синих култышках рук вскрытую пачку папирос, тряслись на морозе, торговали поштучно. Оттого-то врачи не спешили выписывать Гошу.

А видно было по всему, что парень он геройский и рвался на фронт подвиг совершить, но не выпало ему ни совершить ничего, ни погибнуть с честью.

По пятницам мимо госпиталя гнали в баню курсантов пехотного училища. Из бани возвращались с песней. Над колышущимся строем, над паром от серошинельных спин, от мокрых веников, дрожал не набравший мужества, ломкий на морозе голос запевалы:

Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Угрюмый танк не проползет...

Хруп, хруп — сапоги по снегу. Ожидающая тишина. Один над всеми в середине строя — голос запевалы, страшно за него: вот-вот не хватит дыхания, обронит песню. А он на последнем взлете и себя не щадит:

Там пролетит сталь-на-я пти-ца-а...

Как отрубив, заглушая шаг, лихо рявкали курсантские голоса кем-то присочиненный припев:

Прощай, Маруся, дорогая,
Я не забуду твои ласки.
И, может быть, в последний раз
Смотрю я в голубые глазки.

И снова на морозе звон-хруст кованых сапог, пар изо ртов, пар над ушанками. А снежная улица пуста, широка, запертые ворота обмело снежком, белые дровяные дымы стоят над печными трубами, и некому в окна глядеть, как они идут и поют: война, кто не на фронте, работает для фронта по двенадцать часов. Разве что присунется к стеклу старушечье лицо в платочке, слепо смотрят вслед выцветшие глаза.

Мороз поджимает, курсанты идут быстро. Не шинелька греет сейчас, а песня и шаг: хруп-хруп, хруст-хруст. За строем, как

воробьята,— ребятишки, забегают с боков поглядеть, им бы тоже — в ногу! в ногу! Да раненые в окнах госпиталя улыбаются, словно в прошлое на самих себя глядя.

Через полмесяца, когда окреп, сделали Третьякову еще одну операцию: вынули из руки мелкие осколки, сшили нерв и завернули его в целлофан. «Как конфетку тебе его завернули»,— сказал хирург.

Операцию делали под местным наркозом, а на ночь, когда самая боль должна была начаться, оставили сестре для него ампулу морфия. Почти до утра проходил он по коридору, но укола делать себе не дал. В их офицерской палате лежал старший лейтенант, тоже артиллерист, кости рук у него были перебиты разрывными пулями. Пока его трясли в санлетучке, везли в санитарном поезде, кололи ему морфий, чтобы спал и давал спать другим. И теперь он выпрашивал морфий у сестер, выменивал, врал, клянчил униженно. Насмотревшись, Третьяков решил лучше терпеть, чем вот в такого превратиться, хоть сестры и смеялись над ним, говорили, что от одного укола морфинистом не становятся.

Под утро, пожалев, налили ему полстакана спирту, он выпил, лег, навалил подушку на голову и спал оглушенный. Снилось ему, будто слышит он голос, тот самый голос, что пел во дворе: «Не скучай, не горюй...» И хорошо ему было слушать, как она говорит над ним, и боялся проснуться. А проснулся — и не знал, спит он или не спит: голос был слышен, не исчез. Он осторожно сдвинул подушку. Белый свет снега в палате, белые ветки качаются за окном, и такая во всем ясность, как бывает после бессонной ночи. А через две койки спиной к нему сидит девочка в белом халате, косы до табуретки. Валенки на ней солдатские, серые, подшитые толсто. Косы шевельнулись на спине, она повернула голову — на миг увидел ее взволнованно блестевший глаз.

На койке, около которой она сидела,— капитан с орденом Красного Знамени. Единственный в их палате, он держал орден не под подушкой, а носил его привинченным к нательной рубашке под халатом, так и ходил с ним. Был он уже не молод и ранен тяжело: осколок мины остался у него в мозгу. От врачей знали, что может он и жизнь прожить с этим осколком, но может в любой момент внезапно умереть. У него бывали такие приступы головной боли, что он ложился пластом и лежал весь белый.

В палате постукивали костяшки домино, забивали «козла» на обеденном столе. Шаркал туфлями по полу, натыкался на койки слепой капитан Ройзман. Девочка говорила тихо, Третьяков не все разбирал:

— Простить себе не могу... не понимала совершенно... И страшно нервничает. «Ты что забыла?» Тут только поняла, ведь у него всего полчаса осталось... Курил одну папиросу за другой... Сказать хотел... Прибегаю, все наши давно на перроне...

Третьякову показалось на слух, что она повернулась в его сторону.

— Он спит,— сказал капитан.— Ему вечером делали операцию.

И обидно вдруг стало, что она даже не спросила ничего, что он для нее только помеха в разговоре.

Кровать резко толкнуло: это Ройзман наткнулся боком. Опять зашаркали шаги, отдаляясь. Она заговорила тише:

— А потом, когда раздались свисток и гудок, мать бросилась целовать его. Как она его целовала! В шею, в затылок, в голову... Я только тогда почувствовала, только тогда поняла, что это такое. Мне было приятно, что он пришел, а у меня волосы распущены по плечам. А он умирать ехал.

Третьякову хотелось увидеть ее лицо, но видел косы на халате, большие серые валенки под табуретом. Вдруг вспомнил, где он эти валенки видел однажды. Их санитарный поезд стоял у перрона, лежачих выносили на носилках, ходячих под руку вел санитар. И вот, когда сводили его со ступенек, из-под вагона вылезли двое: девочка, вся замотанная платком — мороз был сильный,— и парнишка в черной кожаной ушанке. Они оглядывались, не видит ли их кто,— оба радостные, удачливые, и полное ведро чадящего непрогорелого угля было при них: на путях собирали. И он заметил валенки солдатские на ней, точно такие, огромные. Может быть, это она и была?

— Ребята,— позвал Ройзман. Подняв руку — серый фланелевый рукав халата опал вниз,— он ощупывал край окна.— Это окно, да?

Перестали стучать костяшками домино. Темный против света, Ройзман трогал стекло, трогал раму. Глаза его, ничуть нигде не поврежденные, ясные и незрячие, растерянно оглядывали палату, глядели мимо всех.

— Свет отличаю. Вот... Вот он...

И дрожащей рукой ловил свет в стекле.

## ГЛАВА XII

Из коридора вблизи перевязочной, где холодом веяло от стекол, были видны вдаль железнодорожные пути, вокзал, белые от мороза окна. Когда-то в простоте душевной он думал, глядя на вокзальные окна, огромные, как ворота, что через них и вы-

шел ночью погулять тот паровоз из детского стишка: «Дверь толкнул стальною грудью, вышел, а кругом безлюдье, даже стрелочник заснул, пододвинув к печке стул...»

Было ему тогда года четыре, и отец еще был с ними. Отец сказал ему не спать, стеречь вещи, а сам вместе с матерью ушел куда-то. И он сидел на чемодане среди спавших вповалку людей, и представлялось ему, как задремал стрелочник в углу, у печки, как паровоз толкнул окно стальной грудью...

Вернулся отец, взял вещи, взял его за руку, и они пришли в большой зал. Все здесь сверкало при электрическом свете, множество людей весело разговаривали за накрытыми столами, папиросный дым подымался к потолку, и среди этого шума и праздника сидела мама, одна за накрытым белой скатертью столом, ждала их. Все было невиданное, не такое, как дома. Впервые они обедали среди ночи, и обед подавала не мама, а пришел человек с полотенцем на руке, отец говорил ему, он все записывал и был очень доволен. Поразило, как быстро здесь готовят. Мама, бывало, полдня стоит у примуса, а этот человек ушел и сразу все приготовил и принес.

Потом они ехали на телеге, и близко над лицом качались звезды. И мир был беспределен. Что — космос, иные миры!.. Беспределен только один мир — детство. И жили в этом мире бессмертные люди: он, мама, отец. А Ляльки тогда еще не было на свете.

Когда вот так метет и мороз, он всякий раз об отце думает. Последнюю посылку мать отправляла отцу перед самой войной, а последнее письмо от отца, о т т у д а, было еще раньше.

То, что у матери есть муж, когда отец — т а м, что вообще кто-то, кроме отца, может быть ее мужем, этого он не мог ей простить. И не мог видеть, как она заботится о Безайце, как временами смотрит на него. Бессознательно он отыскивал в ее муже все самое неприятное и никогда не называл его: «Вас к телефону... Вам там письмо...» Но чаще действовал через Ляльку: «Его там спрашивают, скажи ему...»

Лялька, маленькая дурочка, она и к Безайцу привязалась, она и отца помнила. Однажды он видел, как она крошками печенья кормила фотографию отца: сидит на полу за кроватью, шепчет что-то и крошки эти подносит к фотографии, к губам.

Из них троих он один оставил себе фамилию отца: Третьяков. И все отцовские фотографии, даже те, на которых мать рядом с отцом, выкрал у нее. Все они теперь — и Лялькины письма к нему в училище, и материны письма,— все это вместе с полевой сумкой осталось на огневой позиции батареи в фургоне старшины. Он еще подумал, когда его увозили: «Но я же вернусь в полк...» Как будто на войне можно загадывать вперед.

По коридору от окна к окну переходил хромой санитар. Постоит, примерится, вынет гвоздик из-под усов, потихоньку постукивая, вобьет в подоконник сбоку. Опять посмотрит, постоит — и подвесит на гвоздь бутылку. Потом, уминая негнущимися пальцами, долго прокладывает по подоконнику фитиль из стиранного бинта, чтобы вода, натаявшая со стекол, текла не на пол, а по фитилю сбегала в бутылку. Он свое отвоевал, ему этой тихой работы в тепле теперь до конца войны хватит.

Когда-то мама вот так зимой подвешивала бутылки к подоконникам. Утрами стекла высоко обмерзали, бывало, он нагреет в ладонях большой медный пятак, впаяет в лед. Нагреет еще раз, притиснет: орел — решка, орел — решка. И тают на солнце его ледяные пятаки, стекают со стекол. Исчезнувший мир. Все довоенное сейчас как исчезнувший мир.

Недавно лежал он в палате и вспомнилось: осень, он сидит в классе у окна, смотрит со второго этажа на улицу. Там узкоколейка к маслозаводу, а рядом с насыпью — огромная куча подсолнуховых семечек. На ней лежат парни и девчата в стеганых ватниках, греются, подставив лица холодному солнцу. А машинист паровика в окне будки, как в раме, смотрит на них, проезжая мимо. Потянул за веревку, белый пар рванулся из свистка. И словно разбуженные, стали перекатываться друг по другу парни и девчата, обхватываясь ватными рукавами и смеясь... Все это было в исчезнувшем мире. Может быть, никого из них сейчас нет в живых: ни парней тех, ни машиниста, который проезжал мимо и смотрел.

Из дверей вокзала на снежный перрон повалил вдруг народ, все закутанные, обвязанные до глаз. Мороз сильный, все серо: и воздух и снег серый. Только намерзший на стекла лед просвечивал краснинкой. Не знать времени, не догадаешься, восходит солнце или садится: растекшееся, оно светило из-за серой мглы, не слепило, светило без лучей.

Весь в пару надвинулся к перрону поезд. Обындевелые крыши вагонов, натеки льда с крыш, белые слепые окна. И словно это он нанес с собой ветер, помело с крыши вокзала, закружило. В снежном вихре, в пару метались люди от дверей к дверям, бежали вдоль состава. Каждый раз вот так бегают с вещами и детишками, а везде все закрыто, ни в один вагон не пускают.

Санитар, стоявший рядом, тоже смотрел. Осторожно выплюнул гвозди в горсть:

— Вот бы Гитлера сюда этого! Сам-то он в тепле сидит. А народу такие мучения принимать... Да с детишками...

И зябко ежился, будто и его тут мороз пронял. Глупым показался Третьякову этот разговор. Срывая на санитаре зло,

потому что ему тоже было жаль метавшихся по морозу баб, которых гнали от поезда, сказал:

— Что ж, по-твоему, захотел какой-то Гитлер — и война началась? Захотел — кончилась?

И сам от своего командирского голоса распрямился под халатом.

Санитар враз поскучнел, безликим сделался.

— Не я ж захотел,— бормотал он себе под нос, переходя к другому окну.— Или мне моя нога лишней оказалась?

Третьяков посмотрел ему вслед, на один его сапог и на деревяшку. Что ему объяснишь? Не приставишь оторванную ногу и не объяснишь. А самое главное, что он и себе не все уже мог объяснить. В школе, со слов учителей, он знал и успешно отвечал на отметку, почему и как возникают войны. И неизбежность их при определенных условиях тоже была объяснима и проста. Но в том, что он повидал за эти годы, не было легких объяснений. Ведь сколько раз бывало уже — кончались войны, и те самые народы, которые только что истребляли друг друга с такой яростью, как будто вместе им нет жизни на земле, эти самые народы жили потом мирно и ненависти никакой не чувствовали друг к другу. Так что же, способа нет иного прийти к этому, как только убив миллионы людей?

Какая надобность не для кого-то, а для самой жизни в том, чтобы люди, батальонами, полками, ротами погруженные в эшелоны, спешили, мчались, терпя в дороге голод и многие лишения, шли скорым пешим маршем, а потом эти же люди валялись по всему полю, порезанные пулеметами, разметанные взрывами, и даже ни убрать их нельзя, ни похоронить?

Мы отражаем нашествие. Не мы начали войну, немцы на нашу землю пришли — убивать нас и уничтожать. Но они зачем шли? Жили-жили, и вдруг для них иная жизнь стала невозможна, как только уничтожив нас? Если б еще только по приказу, но ведь упорно воюют. Фашисты убедили? Какое же это убеждение? В чем?

Трава родится и с неизбежностью отмирает, и на удобренной ею земле гуще растет трава. Но ведь не для того живет человек на свете, чтобы удобрить собою землю. И какая надобность жизни в том, чтобы столько искалеченных людей мучилось по госпиталям?

Конечно, не один кто-то движет историю своей волей. Просто людям так легче представить непонятное: либо независимо от них совершается, либо кто-то один направляет, кому ведомо то, что им, простым смертным, недоступно. А происходит все не так и не так. И бывает, что даже всех совместных человеческих усилий мало, чтобы двинулась история по этому, а не по другому пути.

Еще до войны прочел он поразившую его вещь: оказывается, нашествие Чингисхана предварял целый ряд особо благоприятных лет. Шли в срок дожди, небывало росли травы, плодились несметные табуны, и все вместе это тоже дало силу нашествию.

Быть может, разразись над этим краем многолетняя засуха, а не сойдись все так благоприятно, и не обрушилось бы страшное бедствие на народы в других краях. И история многих народов пошла бы по-другому.

На фронте воюет солдат, и ни на что другое не остается сил. Сворачиваешь папироску и не знаешь, суждено ли тебе ее докурить: ты так хорошо расположился душой, а он прилетит — и накурился... Но здесь, в госпитале, одна и та же мысль не давала покоя: неужели когда-нибудь окажется, что этой войны могло не быть? Что в силах людей было предотвратить это? И миллионы остались бы живы... Двигать историю по ее пути — тут нужны усилия всех и многое должно сойтись. Но чтобы скатить колесо истории с его колеи, может быть, не так много и надо, может быть, достаточно камешек подложить?

Когда уж оно скатилось и пошло с хрустом по людям, по костям, тут выбора не оставлено, тут только одно: остановить, не дать ему и дальше катиться по жизням людей. Но неужели могло этого не быть? Санитар сказал, что думал, а в нем все расшевелилось заново. Только ни к чему это сейчас. Не время и ни к чему. Сейчас война идет, война с фашистами, и нужно воевать. Это единственное, что ни на кого другого не переложишь. А все равно думать себе не запретишь, хоть и ни к чему это.

Люди по размерам события судят о его причинах: огромное событие, значит, и причины такие, что не могло этого события не быть. А может, все проще? Сделать доброе дело для всех людей, тут многое нужно. А напакостить в истории способна даже самая поганая кошка.

Каждый из своего окна — и санитар и он — смотрели, как тронулся поезд, оставив народ у края платформы. Качало из стороны в сторону хвостовой вагон с площадкой и дверью, от которой будто оторвана часть поезда. Устремившийся следом снежный вихрь заметал все.

А все равно, сколько бы в этом клубке ни сплелось нитей, у каждого человека там свое место, своя правота и своя вина, и можно распутать этот клубок, можно. Всей жизни для этого не жаль. И уже сейчас хотелось с кем-нибудь поговорить. Только с кем? Такой разговор не с каждым начнешь. Он как-то заговорил со Старыхом, тот глянул на него с таким усилием мысли, как будто не только смысла слов, но и языка, на котором к нему обращались, не понимал:

— Чего-о?

Весь исковырянный, четырежды раненный, он сейчас для себя, кроме войны, все как отрезал, чтобы душу не бередить зря.

Вот Атраковский — другое дело. Но тот все молчит. И видел Третьяков, молчит не оттого, что сказать нечего, а оттого, что не каждому и не все, что знает, может сказать.

Дня два после того, как у кровати капитана Атраковского сидела девочка с косами, оставались на полу следы ее валенок. Потом, широко возя мокрой тряпкой, санитарка вымыла масленый пол, и он заблестел. Третьяков и сейчас видит, как она уходила в своих подшитых валенках, в белом халате, стянутом в талии пояском, как обернулась в дверях. Случайно и он попал в поле зрения ее серых глаз, но никак в них не отразился.

С неясным для себя любопытством приглядывался он к капитану Атраковскому. Тот давно уже лежал здесь, и школьники, приходившие в госпиталь читать вслух книги, писать письма за тех, кто сам не мог по ранению, знали его. Но как она рассказывала ему про себя! Может быть, потому, что он уже старый?

В палате, как всегда после ужина, играли в шахматы, чтобы время убить. Медленно тянется оно в госпитале, каждый вынужденно перебывает здесь часть жизни: кто — перед новой отправкой на фронт, а кто — перед тем, что для него настает отныне. Но и к этому неведомому стремятся: не временного хочется уже, а определенности, хоть, может быть, здесь, в госпитале, заканчиваются для кого-то из них и навсегда остаются позади лучшие, славные годы его жизни.

Играли в шахматы командир роты Старых и слепой капитан Ройзман. Счет партий у них перевалил уже за сотню, но Старых все не терял надежды отыграться. Они сидели за столом друг против друга, а ходячие столпились вокруг. Тут же и Атраковский стоял, придерживая халат рукой. Осторожно прошелся по палате, будто боясь колыхнуть в себе боль, и опять остановился, смотрит вместе со всеми, но чем-то отдельный ото всех. Знал Третьяков по рассказам, что в сорок первом году попал Атраковский в плен, бежал, долго проходил проверку. И в сорок втором году повезло ему попасть в окружение, выходить оттуда. Раз уж после всего этого награжден орденом Красного Знамени, что-то немалое совершил этот человек, таким людям давались награды нелегко. А жизнь в нем еле-еле держалась, каждый день могла оборваться.

Когда уже лежали по кроватям, заговорили о ранениях — кто, как, при каких обстоятельствах был ранен, и Третьяков вспомнил вдруг:

— А я знал, что меня в тот день ранит.

Он действительно подумал тогда, что его либо ранит, либо убьет, увидев случайно, как в воздухе пулей сбило голубя на лету. На него это почему-то подействовало как примета. Но потом забылось в бою, и вот сейчас только вспомнил.

— Как же это ты заранее знал? — спросил Старых, не очень веря.

— Знал.

Но о примете рассказывать не стал, побоялся, что засмеют.

— Нет, я не знал,— сказал Ройзман и вслед своим мыслям покивал головой.

Третьяков представил как-то, что вот бы ему досталось, как Ройзману: сутки с лишним слепому лежать в деревне, занятой немцами, слышать немецкую речь вокруг себя и ждать каждую минуту, что сейчас тебя обнаружат. Даже не видеть, спрятан ты или весь на виду... Не дай бог так попасть.

— Нет, я не знал,— повторил опять Ройзман.

И вдруг заспорили, может ли это быть, чтобы человек всю войну воевал в пехоте и ни разу не ранен?

— Значит, не в пехоте! — зло рубил Старых, как будто от него от самого что-то отнимали.

— Здорово живешь... Да вот я! — И Китенев, начальник разведки стрелкового полка, стал посреди палаты, всего себя представляя на обозрение. Он уже выздоравливал, дело шло к выписке, и на кровати его, помещавшейся между кроватями Третьякова и Атраковского, иной раз до утра ночевала шинель, уложенная под одеялом как спящий человек.— С первого дня в пехоте и ранен впервые. И то случайно.

— Значит, не в пехоте!

— В пехоте!

— Значит, не с первого дня!

— А ты возьми мое личное дело.

— Знаю...— отмахнулся Старых.— Мое личное дело все на мне. Все мое прохождение на моей шкуре записано, вон она — вся в дырах,— и он ткнул пальцем в спину себе, в плечи.— Этот раз, если б каску на голову не надел...

Замычал что-то, пытался сказать, Гоша, младший лейтенант. Сидя посреди кровати под одной из двух ламп, свисавших с потолка, от которых все тени были вниз, он заикался так, что подсигивал на сетке. Все мучительно ждали, опустив глаза. Про себя каждый мысленно помогал ему, от этого и сам вроде бы начинал заикаться.

— Да обожди ты! — крикнул Старых, махнув на него рукой.— Немец — это я поверю: с начала войны и не ранен. Немец в каске ест, в каске спать ложится. Он ее как надел по приказу, так с головы не сымает. А наш рус Иван...— и с полнейшей

безнадежностью махнул рукой. Но в том и гордость была «рус Иваном», который хоть вроде бы и делает себе хуже, зато уж воюет, не мудря.— Я, например, до этого госпиталя раненных в голову вообще не видал. Где, мол, они, в голову раненные? А они все на поле остались, там и лежат. Вон она как мне обчертила.

Старых сел, свесив гипсовую ногу, и обвел пальцем вокруг своей наклоненной головы, лысой смолоду. Он в самом деле был ранен чудно́: пуля, закрутившись под каской, словно скальп с него снимала, прорезала след вокруг всей головы. Ровный шрам вылег на лбу.

— Мне, главное, то обидно, через подлюгу мог бы уже в земле сгнить. Нам на пополнение этих пригнали... Ну, этих... Из освобожденных местностей. Зовет меня мой связной: «Глядите, товарищ старший лейтенант, опять этот руку из окопа выставил...» Он всю войну с бабой на печке спасался, освободили его, так он и тут воевать не желает. И ведь на что хитер: знает, самострелы — в левую, так он правую руку выставил над окопом, ждет, пока немец ему... Нет, обожди, я тебя щас не в руку, я тебе щас черепок твой поганый расколю. Взял винтовку, приложился уже... И вот как под локоть толкнуло! «Дай, говорю, каску». Всю войну, поверишь, ни разу не надевал, а тут вот как что-то сказало мне. Взял у связного с головы, только высунулся — и прямо мне в лоб! — Старых крепко ткнул себе в лоб пальцем.— Снайпер, не иначе. А был бы я без каски...

— Это он тебе в лысину целил, чтоб не отсвечивала,— смеялся Китенев.— Он тебя за командующего принял.

— А я тоже однажды из-за снайпера чуть под членовредительство не попал,— сказал Третьяков. И пока не перебили, начал быстро рассказывать, как на Северо-Западном фронте послали его с донесением с батарейного НП и по дороге снайпер чуть не положил его.— У нас там оборона давно стояла, снайпера и с нашей и с ихней стороны действовали. Иду, день ясный, солнце, снег отсвечивает... Фьють — пуля. Лег, только шевельнулся — фьють!

— Такой и снайпер! — Старых махнул на него рукой, словно Третьякову теперь вообще следовало помолчать.

— Так ведь не на передовой.

— Два раза стрелял, а он жив. Снайпер...

Но Третьякова поддержали:

— Снайпера тоже когда-то учатся.

— Вот он на мне и учился. И место такое: везде снег глубокий, а тут ветрами обдуло. И сосна позади меня. Как раз в створе получаюсь, ему легко целиться. Час прошел — лежу.

Чувствую: пропадаю. Мороз не такой большой, но потный был, пока по снегу шел. И — в сапогах.

Старых слушал презрительно, как ненастоящее. В нем самом нетерпение: рассказать.

— Дождался, пока солнце на эту сторону перешло, в глаза ему засветило, вскочил, побежал. В дивизион являюсь, губы заледенели, слова не выговорю.

— Снайпер... Таких снайперов...

Но Китенев заступился:

— Дай человеку рассказать!

— Снайпер... Х-ха!

— А в дивизионе, конечно, своего связного гонять не стали, пакет мне в руки — шагом марш в штаб полка. Штаб полка в деревне Кипино стоял. Ночь уже. Днем просто по проводам, а ночью где штаб?

Ощупывая рукой спинки кроватей, подошел Ройзман, сел:

— Вы в какой армии были?

— В Тридцать четвертой.

— Ну да, вы с этой стороны действовали: Дворец, Лычково...

Неловко становилось Третьякову всякий раз, когда капитан Ройзман смотрел на него вот так своими ясными, будто зрячими глазами и — не узнавал: ведь Ройзман у них в училище преподавал артиллерию, к доске вызывал его не однажды. А теперь даже по голосу не узнает. Но сказать ему почему-то Третьяков не решался.

— Тридцать четвертая,— Ройзман покивал,— генерал Берзарин. Все правильно...

И словно тем удостоверил наперед, слушали уже Третьякова не прерывая.

— Там как раз в Кипино десант готовился: аэросани вдоль всей улицы стоят, моторы работают. И десантники все в белых маскхалатах. Я еще позавидовал этим ребятам... Из них потом, между прочим, почти никто не вернулся, говорили, будто немец знал, что десант готовится. Не знаю. А тогда они стояли на снегу, иду мимо, вихрь в спину толкает. И у одних аэросаней позади дрожит лучик света. Там — пропеллер, а мне почему-то подумалось, что вокруг пропеллера должно быть еще ограждение. Так ясно представилось: никелированное. Просто увидал. Я до этих пор ни разу аэросани вблизи не видел. Потом-то я догадался: дверь дома неплотно была прикрыта, свет проникал, пропеллер вращается, перерубает его концом. А мне это ограждение представилось, иду смело. Ка-ак рубанет мне по локтю. Аж дыхание перехватило. Присел — и молчком, молчком от него, на корточках. Между прочим, все мне по этому локтю попадает.

— Что ж он, пропеллер, и руку тебе не отрубил? — Старых со своей догадкой в глазах обернулся ко всем.

— Так мне самым кончиком попало.

— Ин-те-рес-но!..

— И потом на мне была шинель, под шинелью — телогрейка, под ней — гимнастерка. Да еще фланелевая теплая рубашка, а под рубашкой — еще рубашка.

— Вот вшам раздолье,— сказал Китенев.

— Мы их на Северо-Западном фронте вообще не считали. Даже не били по одной. Есть возможность, скинешь нательную рубашку — какое-то время жить можно.— Третьяков повернулся к Старыху: — А так бы он, конечно, руку мне отрубил! Я пришел в штаб, под локоть ее несу, пакет отдал, а рассказать стыдно, не поверят еще...

— И я бы не поверил! — гордо припечатал Старых.— Какое-то ограждение, черт-те чего...

Сразу в несколько голосов заспорили:

— Что ж он, сам ее подсунул?

— По миллиметрам рассчитал?

— А я не обязан знать. Х-ха — никелированное!..

— Ну человеку привиделось!

— У нас тоже одному привиделось: через березу сам себе в руку пальнул. Дурак-дурак, а догадался: через березу! Чтоб по ожогу самострела не обнаружили...

— Правда всегда... Правда всегда...— не видя спорящих, пытался воткнуться в разговор слепой Ройзман, и получалось у него, как у заики. Все же пробился, удалось...— Ничто так не похоже на ложь, как сама правда,— сказал он, будто из книги прочел.

— Ты, Старых, заладил как сорока!

— Интересно, как он ее под пропеллер подсовывал?

— Пропеллер есть пропеллер, хоть спереди, хоть сзади его приставь! Какие могут быть ограждения? Х-ха!..

— Ты знаешь, на кого похож? — сказал Третьяков.— На нашего ПНШ-1. Он тоже не поверил.

— Был бы я на ПНШ похож, мне бы шкуру столько раз не продырявили! — задергался вдруг, закричал Старых.— А я небось в штабах не сидел, как некоторые! Вы вот лежите здесь...— Он подхватил под мышку костыль, допрыгал до середины палаты своей тяжелой гипсовой ногой. И тут под лампой, свет которой был до того тускл, что матовый плафон только желтел изнутри, закрутился на месте, пристукивая костылем, тень свою топтал ногой.— Вы тут лежите? И полеживаете! А пехота в окопах сидит,— указывал он на окно, хоть оно и выходило на восточную сторону.— Кого позже всех в палату

привезли? А-а-а... То-то! А кого первого выпишут? Вы еще лежать будете, чухаться, а на Старыхе как на собаке все заживет!..

И, подпираясь костылем под плечо, взлетавшее вверх, попрыгал на одной ноге в коридор, грохнул за собой дверью.

— Чего он дергается как судорога?

— Он самый здесь нервный...

— Один воевал, другие не воевали?

— Вот заметьте, ребята,— Китенев понизил голос, но говорил серьезно.— Это он уверенность потерял. Хуже нет, когда уверенность потеряешь. Ранит — ранит, ранит — ранит, вон уж в голову стукнуло — и жив. Когда-то же должно убить?.. Боится возвращаться на фронт, чувствует, оттого и злой.— Глянул на часы, соображая, пора ему или еще не пора. Спросил: — Так чем там у тебя с рукой кончилось? Орден получил?

— Чуть было не дали, чтобы помнил всю жизнь... Положили меня на печку, к утру локоть в тепле во как раздуло — в рукаве гимнастерки не помещается. Вся рука тонкая, а он, как мяч, надулся. Врач в полку — хороший был мужик — поглядел: «Будем в госпиталь отправлять». А мне из полка уходить неохота. И стыдно, как будто я сам себе придумал. «Ничего, поедешь». Но только потом вижу, стало все вокруг меня как-то не так. Все меня обходят, в глаза не глядят. «Разрешите, говорю, я тогда к себе на батарею пойду». Старший писарь тоже строгий стал: «Никуда не пойдешь, сиди здесь...» Сижу, как под арестом. И в санчасть не берут, и ничего со мной не делают, и из штаба не отпускают. И уж все равно становится, так рука болит. Оказалось, ПНШ-1 майор Бряев... Он давно на этой должности без продвижения, в майорах засиделся... Вот он пошел к начальнику особого отдела и представил свои соображения: хорошо обдуманное членовредительство.

Третьяков вдруг почувствовал, что Атраковский слушает его. Он все так же безучастно сидел в позе человека, привыкшего ждать подолгу, голову опустил, руки со вздувшимися венами зажаты в коленях, но сейчас он слушал.

— Начальник особого отдела в полку не положен,— авторитетно заявил Китенев.— Положен оперуполномоченный. Старший лейтенант или капитан.

— У нас был артиллерийский полк армейского подчинения.

— Значения не имеет. Мог быть в крайнем случае старший оперуполномоченный. Капитан. А начальник особого отдела не положен в полку,— доводил до точности Китенев. И с такой же точностью выкладывал на своей кровати шинель, которая под одеялом должна была изображать спящего человека.— Называть начальником особого отдела могли. Но — не положен.

— Ну, значит, не положен. Факт тот, что сорок второй год. Зима. Время, сами помните, какое: после приказа... Между прочим, начальника этого особого отдела Котовского я видел один раз. Тоже послали меня с донесением, самый молодой был, гоняли меня. Сунулся в землянку — там он сидит. Вот такой лоб с залысинами, над каждой бровью как желваки надулись. Глянул на меня из-подо лба...— Третьяков засмеялся.— К нему, оказывается, должны были мародера ввести, а тут я свою голову сунул...

Атраковский странным взглядом внимательно посмотрел на него, а все засмеялись, и Третьяков вместе со всеми — еще раз.

Всю эту историю он рассказывал весело, как вообще рассказывают про фронт задним числом, что бы там ни случилось...

— С этим мародером вот что вышло... У нас там никак не могли взять станцию Лычково. Один раз уже ворвались, на путях за составами стрельба шла. Опять выбили пехоту. И вот курсантов пригнали, фронтовые курсы младших лейтенантов. Все в дубленых полушубках, в валенках. А мороз — больше сорока. Раненые, кого вытащить не удалось, потом позамерзали на снегу. Так этот ночью лазал часы обирать с убитых. Между прочим, разведчик нашего полка. Из второго дивизиона,— и Третьяков, когда говорил сейчас, ясно увидел заново, как вели того мародера в широкой, без пояса и, должно быть, без хлястика, шинели, его желтое в белый зимний день лицо, резко вырезанные ноздри плоского носа, антрацитно поблескивающий пригнетенный взгляд. И как сам он весь внутренне отстранился от этого человека.— Ка-ак глянул на меня Котовский из-подо лба!.. Вот ему майор Бряев стукнул про мое членовредительство. А он не поверил. Я ведь в этот полк... Мне, в общем, лет не хватало, я сам пошел. Он знал это и не поверил. Приказал оставить в санчасти и лечить, а то, мол, пошлют в госпиталь, там тоже кто-нибудь такой бдительный найдется... Я-то ничего не знал, только, вижу, опять все переменилось вокруг меня, переводят в санчасть. После уж писаря рассказали.

Китенев тем временем осторожно укрыл шинель одеялом, получилось, будто спит человек, укрытый с головой. Полюбовался на свою работу:

— Ребята, в случае чего — «он спит». Будить не давайте: «У него сон ужасно плохой. Разбудите — до утра спать не будет»...

Выходя из палаты, столкнулся со Старыхом. Тот прихромал к столу, сел:

— Капитан, давай в шахматы сгоняем.

— Расставляй,— сказал Ройзман.

Все ходячие опять потянулись к столу — смотреть. Старых

расставлял на доске, Ройзман все так же сидел на кровати, готовясь играть на память, издали. Открытые глаза его блестели.

Несколько дней спустя вечером в коридоре увидел Третьяков стоявшего у окна Атраковского. Подошел, стал рядом. Хотелось ему расспросить про ту девушку: кто она? Придет ли еще?

— Метет как! — сказал он. За окном ничего не было видно, только у самого стекла снег летел снизу вверх. А дальше все как в дыму: ни вокзала, ни фонарей. И холодом дышало от окна.

— Метет,— сказал Атраковский.

Рядом в операционной шла операция. Там ярко горел свет, на матовом стекле возникали силуэты.

— Пехоте сейчас в окопах... Хуже нет — воевать зимой. И весной тоже.— Третьяков засмеялся.— Нам еще повезло.

За окном в сплошной метели что-то смутно мерещилось или раскачивалось, как тень. И оба они в своих госпитальных халатах отражались в стекле изнутри.

— Вы даже не понимаете, как вам повезло,— сказал Атраковский.— Всей меры везения. Это защитное свойство молодости: не все понимать. Одно слово стоило сказать, одно только слово... Даже не сказать, молча согласиться, и вся ваша жизнь...— Он говорил, не меняя выражения лица, одними губами. Со стороны никто бы не определил, что он говорит.— Смерть в бою покажется прекрасной по сравнению с бесчестием.

У Третьякова вдруг сжало в душе, как от испуга: спросить его про отца! Атраковский мог знать, чего не знают другие. Но не спросил, побледнел только. Отец ни в чем не виноват, он знает, и все равно, когда касалось отца, он и на себе чувствовал позорное пятно и пустоту, вокруг себя возникавшую.

Из операционной выскочила сестра в белой марлевой косынке — стук, стук, стук каблуками,— пробежала по коридору. За окном мело, как в целом мире.

## ГЛАВА XIII

В тот вечер, когда они стояли у окна в коридоре, а за окном мело и теплым казался желтый электрический свет в матовых стеклах операционной и выскочившая оттуда сестра пробежала по коридору в белом халате,— в тот вечер ампутировали ногу артисту местного театра. Они еще стояли, когда его вывезли оттуда, и прошел по коридору хирург, сдержанно-возбужденным, профессиональным взглядом глянул на них, а потом в марле вынесли отрезанную ногу: она была согнута в колене и без стопы.

Артист этот с бригадой артистов ездил на фронт выступать перед бойцами и командирами и был ранен при бомбежке. Никто из офицеров, лежавших с Третьяковым в палате, ни разу за всю войну не видел артистов на фронте. Они приезжали и выступали, но где-то там, на аэродромах, во фронтовом тылу, который для этих офицеров, тем более для бойцов, был почти такой же далью, как тыловой госпиталь. Артисты всюду потом говорили, что побывали на передовой, сами в это верили; возвратясь, в подаренных белых дубленых полушубках расхаживали фронтовиками перед своими товарищами, которые оставались здесь и не побывали, а фронтовикам все это смешно было слушать. И потому, наверное, про то, как артисту отрезали ногу, рассказывалось в госпитале больше со смехом, словно и в самом деле было что-то смешное в том, что человек потерял ногу. Гоша, младший лейтенант, если разобраться, тоже всего-то успел доехать до фронта, ни разу по немцу не выстрелил, но все понимали и жалели его, навсегда загубленного войной. В общем счете войны, когда самолеты и на фронте бомбят и за фронт летают, должны быть и такие, кто даже и до фронта не доехал. Все это понятно: и общий счет, и неизбежность таких потерь,— понятно, пока речь про кого-то и эта потеря не ты сам. Гоше, наверное, легче было бы, если б хоть знал, что не напрасно, что хоть успел что-то совершить.

Недели через три, под самый Новый год, пришли в госпиталь местные артисты с концертом, и перед сценой, на каталке, как на столе, на виду у всех почетно лежал их товарищ, потерявший ногу на фронте.

Концерт уже начался, когда с шумом ввалились в коридор школьники, которые тоже должны были выступать. Третьяков, сидевший у двери, услышал и понял, что он все время ждал этого. Он дождался конца номера и вышел в коридор. Толпой в белых халатах они стояли, говорили все разом:

— Но зимой-то ведь собаки не кусаются!

— Даже не лаяла, вот что интересно.

— А почему именно Сашу?

— Нет, почему именно ее?

— Слушайте, она, может быть, бешеная?

— Саша, не кусайся!

— Смешно вам... А мне вот не смешно. Вон как чулок вырван. И почему-то больно ужасно.

И тоже смеялась, чтоб не расплакаться. Она стояла одним валенком на полу, над другой ее ногой нагнулась медсестра, а все обступили их. Саша... Надышавшаяся с мороза, щеки разгорелись. В этом свежем снеговом воздухе, который они внесли с собой, Третьяков особенно почувствовал запах госпиталя,

к которому притерпелся и не замечал: запах лекарств, госпитальной еды, плохо проветриваемого помещения, где постоянно дышит столько больных людей. Он от себя ощутил этот запах, от своего байкового стираного-перестираного халата.

Почувствовав чужой взгляд, девочка подняла мохнатые ресницы, такие густые, что серые глаза ее показались черными, взглянула с той радостью жизни, которая была в ней. И тут же словно тень прошла по ее лицу, в глазах что-то затворилось, не впуская чужой взгляд в эту ее жизнь.

Потом, по оставшемуся впечатлению, она взглянула еще раз, уже с интересом, но он этого не видел. Он вернулся в палату. Здесь были только лежачие и несколько пустых кроватей. А за обеденным столом под электрической лампочкой на ощупь брился капитан Ройзман.

— Это вы, Третьяков? — спросил он, узнав по шагам.— Вы не поправите мне виски?

— Давайте попробую.

Ощупывающими движениями Ройзман нашел на столе помазок, намылил щеку. Третьяков окунул бритву в стаканчик с теплой мыльной водой, хотел нагнуться, но рана в боку не дала. Хотел присесть, не дала рана в ноге. А Ройзман ждал, подставляя щеку.

— Я согнуться не могу, вы встаньте,— сказал Третьяков.

— Сейчас, сейчас.

На двоих было у них три здоровых руки и два зрячих глаза. Ройзман придерживал пальцами кожу у виска, Третьяков с опасной бритвой в руке осторожно дышал у его костистого лица:

— Держите... Сейчас... Брею.

Отстранился, поглядел:

— Еще вот здесь чуть-чуть.

Потом стал подбривать левый висок, и Ройзман другой рукой через голову натягивал кожу. Прямо перед лицом были его осмысленно глядящие глаза. Они следовали за ним, казалось, они видят. И только зрачки не сходились к переносью, когда Третьяков приближал лицо.

— Вы меня не узнаете, товарищ капитан? — спросил он, вытирая бритву о халат на колене.

— Что-то мне показалось по голосу...— не сразу и неуверенно сказал Ройзман. И стоял к нему лицом.

— Помните, в училище вошли вы на занятия, дежурный курсант подал команду, а вы услышали его петушиное «смирно», подозвали к себе командира взвода: «Товарищ лейтенант, чтобы этот курсант больше никогда при мне команды не подавал...»

— Да, да, да,— радостно вспоминал Ройзман.— Это были вы?

— Я.

— Постойте, это было, значит...

— А я вам точно скажу. Наступление под Сталинградом началось девятнадцатого ноября. Соединились фронты двадцать третьего. Мы были на вокзале в Москве и услышали сводку. Мы как раз с фронта ехали в училище, и тут сводку передают. Потом в Куйбышеве мы трое суток пили. С нами старшина был из Куйбышева, мы у него трое суток пробыли, пиво ведрами носили. Мы бы еще гуляли, да у нас продукты кончились. Так вот, это был конец ноября. А в декабре, в самом начале, я и подавал перед вами команду. Вы у нас артиллерию преподавали.

— Да, да, да...

— А в конце января или в феврале вы от нас убыли.

— Третьего февраля.

— Ну, я же помню. Убыли на фронт. Только у вас еще тогда после ранения одна нога в колене не сгибалась. Правая, по-моему? Вы еще с палочкой ходили.

— Да, да, да,— кивал Ройзман и улыбался. Потом спросил: — Вы, наверное, на меня обиделись в тот раз?

— Тогда обиделся,— честно сказал Третьяков.— А теперь вот даже вспомнить как-то приятно.

— Ну что же, команды научились подавать?

— Так ведь нас часами гоняли по плацу попарно. Идешь друг другу навстречу: «Смирно! Напрра-ву! Нали-иву! Крругом марш!..» И отбиваешь строевым шагом. Теперь это на всю жизнь.

— Мне что-то по голосу показалось вначале...

И опять Ройзман кивал, тихо улыбался, думал о своем. И Третьяков о своем думал. «Есть во мне что-то противное,— думал он и видел опять, как девочка, взглянув на него, сразу нахмурилась.— Что-то отталкивает от меня людей, я знаю...»

Но, выкурив в коридоре папироску, опять пошел в зал. Места все были заняты. Он стоял у дверей и смотрел, как артист на сцене изображает Гитлера. С приклеенными усиками, с косой челкой на лбу, он припрыгивал, как обезьяна, выкрикивал что-то бесноватое. В зале смеялись, стучали костылями в пол, кричали: «Давай еще!» — никак не хотели отпускать артиста, словно это и правда живой Гитлер отдан им на потеху. И отчего-то Третьякову было сейчас стыдно за них и стыдно за себя. До Гитлера еще — фронт и тыл, и не одну дивизию вышлет он оттуда к фронту, и пехотную и танковую. И многих из тех, что смеются сейчас самозабвенно, может быть, и на свете не будет к тому времени. Он сам толком не знал, почему ему стыдно, но в этой простодушной потехе, в недосягаемости Гитлера было что-то

такое, что унижало его, Третьякова, в собственных глазах. А может быть, просто у него настроение сейчас такое.

Когда на сцену вышла эта девочка в валенках, в белом халате, а двое мальчишек с мандолиной и балалайкой вышли за ней, как почетная стража, сели на краешки табуреток, она кивнула, мальчишки, согласно тряхнув чубами, ударили по струнам и она запела, Третьяков, словно испугавшись чего-то, поспешно опустил глаза. И стоял так, волнуясь все больше, чувствуя мурашки по щекам. Песнь рассказывала про то, что и ему виделось не однажды:

Ты ждешь, Лизавета, от друга привета
И не спишь до рассвета, все грустишь обо мне,
Одержим победу, к тебе я приеду
На горячем боевом коне...

Неважно, что не так виделось и не такая война шла: не на горячих боевых конях, а проще и страшней, все равно песня волновала и грустно становилось. Кроме матери и сестренки, некому его ни встречать, ни грустить о нем. И отчего-то совсем расстроили хвастливые слова песни: «Улыбнись, повстречая, был я храбрым в бою...» Да, такая девочка может спросить: был ты храбрым в бою? Стоя у дверей, глядя в пол, он дослушал песню до конца.

Потом лежал в палате, думал. И ворочался, и все никак улечься не мог, и уже не знал, душа это ноет или раны разболелись, которые растревожил. И вспомнился ему лейтенант Афанасьев, который на Северо-Западном в их полку позорно застрелился из-за любви. Двое суток никто ничего не знал о нем, и пошел слух, что он перебежал к немцам. Нашли его в километре от огневых позиций. В бязевых кальсонах с завязками на щиколотках, в суконной гимнастерке, лежал он в талой снеговой воде в лесу. Кисть правой руки, в которой зажат был пистолет, вся исцарапана, висок обожжен выстрелом.

Его и жалели и ругали. На фронте, где стольких убивает каждый день, застрелиться самому. Не хочешь жить, вон — немцы, иди убивай. А эта, из-за которой он застрелился, жила с командиром дивизиона: у комдива была своя отдельная землянка. Ходила она в ватных брюках, шлепала сапогами по воде, голос от табака сиплый. И вот из-за нее смелый, красивый парень сам себя жизни лишил. Но теперь подумалось: а может, он совсем не такой видел ее, какой видели ее все? И совсем другое про нее знал?

# ГЛАВА XIV

Через несколько дней они сидели с Сашей на подоконнике в коридоре, и Саша рассказывала ему о его ровеснике, которого тоже звали Володей и который погиб два месяца назад.

— Мне его товарищ написал, он видел, как Володин танк загорелся. Они сюда вместе приезжали после училища, Володя и Игорь, условились: если что случится, написать. И он мне написал. Все успели выскочить из танка, и Володя тоже выскочил, когда загорелся танк. Но он лег и начал отстреливаться, чтобы все могли убежать. Может быть, если бы он тоже побежал сразу... Но он был командир танка.

— Это не угадаешь,— сказал Третьяков. Для нее сказал. А про себя подумал: еще хорошо, если все так было, как написали ей. Хуже, если сгорел в танке.— Тут невозможно угадать. Вот у меня боец ни за что не хотел вылезать из окопа. Что-то случилось с ним, это бывает. Страх нашел, не мог вылезти, и только. Те, кто вылез, живы, а он погиб. Прямое попадание в окоп. Это вообще-то редкость: прямое попадание. А вот такая его судьба.

— Ему как раз девятнадцать исполнилось.— Она посмотрела на Третьякова, сравнивая.— Вам уже двадцать лет?

Он кивнул. Ему еще не было двадцати, но было приятно в ее глазах выглядеть на год старше.

— А ему исполнилось девятнадцать. Он, когда получил извещение, что отец убит, он скрыл от матери, он только Женьке сказал, младшему брату. Они оба очень любили мать. Она большая, красивая женщина. Такое русское, русское лицо. Но и что-то цыганское, может быть. А сыновья на нее похожи. Оба с карими глазами, волосы у обоих густые и вились.

Она посмотрела на его волосы; он стоял перед ней, и она снизу вверх посмотрела. Нет, у него и не черные, неизвестно какие отрастают из-под стрижки. Лялька, глупенькая, преданная его сестренка, для которой все в нем хорошо, приложит, бывало, к его волосам кончик своей косы: «Мама, почему у меня волосы не такие, как у Володьки? Почему он у нас красивый, а я некрасивая?»

Глаза у Саши взволнованно блестели, как в тот раз, когда она рассказывала Атраковскому:

— ...Мать так просила его: «Пойми, мне ничего не стоит. Ты по закону имеешь право, ты можешь не идти». Но он прямо как железный. Она действительно все могла. Буханка хлеба на базаре — восемьсот рублей. Бутылка водки — восемьсот рублей. А она начальник орса. Она все могла. Но он скрыл от медкомиссии, что у него астма, что у него бывают приступы. И матери запретил. Он сказал ей: «Если меня забракуют, знай, ты мне

врагом станешь на всю жизнь». Она теперь не может себе простить.

По коридору прошла медсестра Тамара Горб, несла горячий автоклав в полотенцах, посмотрела на них на обоих. Саша спрыгнула с подоконника, стояла в своих подшитых валенках, пока Тамара проходила. Была она ему до плеча, как раз бы доставала раньше головою до погона. Две пепельные ее косы, каждая толщиною в руку,— ниже пояса. Стриженая Тамара, проходя, посмотрела на эти косы.

Из кармана, из помятой пачки «Бокс», Третьяков достал папироску. Ему не столько хотелось курить, как он стыдился несвежего госпитального запаха, который все время чувствовал от своего халата.

— Давайте я пойду поищу огня,— просто предложила Саша и хотела взять у него папироску — идти прикуривать: она уже привыкла тут ухаживать за ранеными.

— Сейчас выйдет кто-нибудь,— сказал он.

Действительно, появился в конце коридора согнутый пополам раненый. Незапахнутый его халат отвисал до полу. Он ткнулся головой к черному стеклу, и сейчас же в оконном проеме потянулся от его затылка вверх сизоватый дымок. Третьяков прикурил у него. Когда возвращался, дверь палаты спинальников, в которую прошла Тамара, была приоткрыта. На крайней койке раненый разглядывал себя в маленьком зеркальце. Он лежал навзничь, водил над собой зеркальцем в руке, брал в щепоть не отросшие на стриженой голове волосы, разглядывал, пытался причесывать их. Этот раненый, парнишка-минометчик, был еще моложе Гоши. Осколок задел ему позвоночник, и весь он от пояса вниз был парализован.

Папироса догорела раньше, чем он успел вернуться, Саша помогла ему прикурить от нее другую.

— Вот и Володя Худяков на перроне тоже вот так одну за другой курил,— сказала она.— Бросит и закуривает, бросит и закуривает. Мне мать простить не может, что он такой расстроенный уехал. Он в дверях стоял, когда поезд тронулся, и мне в этот момент страшно за него стало. Я прямо почувствовала, что с ним что-то случится, такое у него было лицо.

— Это сейчас кажется,— сказал Третьяков, а у самого радостно отозвалось: «Мне мать простить не может, что он такой расстроенный уехал».— Ничего никому не известно заранее.

— Нет, предчувствия бывают.

— Бывают, только сбывается одно из тысячи. И хорошо, что никому ничего про себя не известно заранее. Если б знали, воевать бы не смогли. А так каждый надеется.

Он видел, она хочет верить, а все равно будет винить себя: живые всегда виноваты перед теми, кого нет.

Он стоял у окна и смотрел, как они все собрались под фонарем во дворе бывшей своей школы, как шли гурьбой через двор. На Саше была тесная шубка, из которой она выросла. Третьяков ждал, что она обернется, посмотрит на окна. Кто-то отставший догонял их, и они все весело побежали от него. Еще раз остановились, пережидая маневровый паровоз. Саша так и не обернулась. Он стоял, смотрел, как они идут через освещенные пути, перепрыгивая рельсы.

— Володя! — позвала его Тамара Горб.

Тамаре за тридцать, и она выдумала себе совершенно безумную любовь к Китеневу и сейчас будет жаловаться на него. Он подошел, осторожно вытягивая раненую ногу, сел за ее столик:

— Ну!

Тамара смотрела на него, а выпуклые, черные, маленькие глаза ее уже набухали слезами, увеличивались. Слезы пролились сразу из обоих глаз, просто перелились через край.

— Зачем же ж так нехорошо поступать? — говорила Тамара, промокая марлевым тампоном слезы на столе.— Зачем же ж он с живым человеком так поступает? Я ж ничего не требую, но ты скажи! Пришла давать лекарства, а вместо него шинель под одеялкой... Ну? И я ж ему ту шинель, тот бушлат ему доставала. Для того я доставала? Мороз вон двадцать четыре на градуснике, в чем он пошел?

У Тамары лицо как у цыганской богоматери, если только своя богоматерь есть у цыган. Желтый угловатый лоб обтянут глянцевой кожей, и некрасива Тамара безнадежно, потому и выдумала себе эту безумную любовь. Но когда вот так плачет, глаза ее со слезами удивительно хороши. Завтра она увидит Китенева, улыбнется он мимолетно, и все забудет Тамара, все простит.

— ...Она ж теперь сама ко мне пришла. То ходила выше всех, никого не замечала, а то сама пришла: «Тамарочка, как ты была права, как я в нем жестоко ошиблась!..»

И в горьком сознании своей правоты, хоть в этом была для Тамары своя сладость.

Мокрым марлевым тампоном Тамара вытирает последние слезы на столе, на щеках они уже сами высохли. И глаза опять ясные, как летний вечер после дождя.

— Ты ж, Володичка, ничего ему не рассказывай, ладно?

И бежит на легких ногах делать уколы.

Такое, видно, его назначение здесь: ему рассказывают и тем облегчают себе душу, а он слушает. Рассказывают, будто он уже

прожил свою жизнь или как попутчику в поезде, перед которым не стыдно: сойдет на остановке и унесет с собой.

Он вернулся в палату. Здесь, как всегда вечером, играли в шахматы.

Похаживал из угла в угол капитан Атраковский, осторожно покашливал в горсть. Рука у него большая, ширококостная, когда-то она сильной была, эта его рука. Атраковский глянул на него с интересом, но ничего не спросил, опять стал удаляться.

Свет в палате тусклый, читать вечером почти невозможно. Да и не читается в госпитале почему-то, ненастоящим каким-то все выглядит в книгах. А вот Атраковский читает. Все подряд читает: газеты, книги. Прошлый раз увидал у него Шекспира: «Король Лир». Даже руки затряслись, когда брал книгу, вдруг домом повеяло. У отца в книжном шкафу стояли рядом за стеклом Шекспир и Шиллер. Тяжелые темно-зеленые тома, кожаные корешки, картинки под папиросной бумагой. Он их еще в школе прочел, а картинки рассматривал, когда и читать не умел. Начал сейчас читать — ничего не понимает. Слова все понятны, но из-за чего трагедия, не может понять. Неужели так отупел за войну? Или раньше чего-то главного не понимал? А ведь сколько веков прошло, люди все переживают за этого короля, как он, безумный, ходил по степи. И он мальчишкой переживал.

Попалась на глаза ремарка: «За сценой шум битвы. Проходят с барабанами Лир, Корделия и их войско...» — и тут как споткнулся. Шум битвы. Ведь это убитые лежат там, за сценой истории. И побили друг друга неизвестно за что: король не так поделил наследство между своими дочерьми, а эти убиты. Но переживают не за них, как будто они и не люди, а за короля...

В углу палаты отдельно ото всех сидят Гоша и Старых. Гоша, как всегда, поджал ноги по-турецки, сидит посреди кровати. Старых с соседней койки наклонился к нему, поскребывает свою коричневую лысину, что-то тихо говорит. Гоша в палате — старожил, и койка его у окна считается самая лучшая. Долго он перекочевывал к ней, пока не освободилась. А выписываться ему из госпиталя некуда, никто его не ждет: Гоша — детдомовец, родителей своих даже не помнит. На войну уходил — радовался, контузило — из госпиталя на фронт убежал. А в тыл, в жизнь возвращаться боится. Так и осталось для него мигом несбывшимся, единственным, как он два раза убегал на фронт воевать.

Третьяков лег поверх одеяла, с трудом уложил себя по частям: руку раненую, ногу, пробитый бок. Движется по стене тень Атраковского. Отчего ему сегодня всех жаль? Гошу жаль, Тамару жаль и жаль, так жаль эту девочку с косами.

*К стр. 345*

# ГЛАВА XV

Дни заметно стали прибавляться, и в один из солнечных январских дней проводили Гошу. Он еще позавтракал вместе со всеми в палате, и этот завтрак его здесь был последний. Ушел Гоша и вернулся обмундированный. Они стояли в халатах, в госпитальных тапочках, а он уже в сапогах, в шинели, шапку держал в руке, словно снял ее перед ними.

Пронизанный утренним солнцем, искрился, обтаивал лед на стеклах; крашеный пол блестел, как свежевымытый, и кровати стали выше над полом — солнце и тонкие тени ножек под ними. Никем не занятая, пустовала Гошина койка. Он посмотрел на нее от дверей: уже и простыни сняты с тюфяка, подушка без наволочки.

Пошуршав газеткой, подошел Китенев, сунул Гоше сверток за пазуху:

— Некоторым штатским!

Гоша понял, замычал, затрясся, хотел выдернуть из-за пазухи, но Китенев держал кисти его рук; вроде и не крепко держал, но не вырвешься:

— Бери, бери, на гражданку идешь. Ладно, чего там!

Это собрали по палате, что проиграл Гоша в карты в последние дни. В картах не было ему счастья, быть может, в мирной жизни в любви повезет.

Сквозь проталину в стекле было видно, как снаружи в безветрии опускался редкий снег: каждая снежинка подолгу летала в воздухе. Вот Гоша вышел к воротам, резиновые подошвы печатали за ним четкий след. От ворот — и направо, налево, и прямо — все дороги лежат перед ним. А он стоял, ни на одну не решаясь ступить. Сверкало солнце, снег садился ему на шапку, на плечи, еще украшенные погонами. По погонам — младший лейтенант, по годам ему еще призываться рано. А он уже отвоевал свое.

Без Гоши невесело стало, каждый задумался о себе. Среди дня где-то умудрился напиться Старых, кричал, что все они здесь ненастоящие раненые, он один настоящий, махал костылем, и налитые глаза были бешеными. Силой уложили его спать.

А ближе к вечеру открылась дверь палаты, и в закатном свете из коридора, как в розовом дыму, затоптались, затоптались на пороге двое санитаров, разворачиваясь с носилками, и внесли на Гошину койку нового раненого. Из свежих бинтов, как из высокого шлема, глядело желтое лицо, желтый горбатый нос. Раненый лежал тихо, открывал и закрывал устало черные, похоже, армянские глаза с голубыми белками. Тут же стало известно — и трудно было в это поверить,— что пуля навылет

прошла у него через голову, через мозг: над этим ухом вошла, над этим вышла. А он — живой, только тихий-тихий, совсем покорный.

В коридоре, вынеся на ваточке из операционной, Тамара Горб показывала часть удаленной у него черепной кости. Была она как скорлупа грецкого ореха изнутри. И — яркая, свежая кровь на ватке.

— Ему воздушную повязку сделали,— объяснила Тамара.— Там же ж все такое, ни до чего не доторкнуться.

И вот так, держа ватку, робкими глазами снизу вверх взглянула на Китенева. А он улыбнулся ей. Он и в халате был красив, широкогруд, высок, словно не ходил недавно еще перегнутый болью. Скоро он наденет гимнастерку, боевые наплечные ремни... Глаза Тамары стали увеличиваться, засияли слезами.

Ночью Третьяков проснулся от внезапной тревоги. Темно. В окне, в изморози, зеленый свет месяца. Под дверью электрический свет из коридора. Все как всегда, а ему беспокойней и беспокойней. Вдруг понял: раненый умер, тот, на Гошиной койке.

Нашарив осторожно тапочки под кроватью, в одном белье тихо подошел к нему. Заострившийся нос торчал из бинтов. Желто-зеленое при свете месяца лицо покойника. В черной глубине глазниц — навсегда слипшиеся веки. И весь тяжело, неподвижно и плоско вдавился в сетку кровати. Третьяков как нагнулся над ним, так и стоял, смотрел. Дрогнули глазные яблоки под веками. Открылись глаза, живые, влажные от сна, глянули на него.

— Попить хочешь? — спросил Третьяков; у него чуть было голос не отнялся.

Из носика поильника он осторожно поил его, смотрел, как тот слабо глотает, и в эту минуту был благодарен ему за то, что он жив. Тот два раза прикрыл глаза веками: хватит, мол, спасибо.

— Спи. Позови, если что, не стесняйся,— сказал Третьяков.

Накинув халат на плечи, вышел в коридор покурить. Холодно здесь было: ветер переменился, дуло с этой стороны. Юго-западный ветер, с их Юго-Западного фронта. Только не донесет он сюда с тех полей ни голосов, ни выстрелов, ни разрывов. Здесь война грохочет только в кино. И мальчишки после кино бегают с палками-ружьями. А там, где фронт прошел, там уже и дети не играют в войну.

Спала сестра на своем посту, щекою на тумбочке. Он вернулся в палату, в спертое, надышанное тепло, подрожал, озябший, под одеялом. Уснул не сразу. И днем отчего-то ему было беспокойно, томило предчувствие беды. Когда опять пришли в

госпиталь школьники, он сразу увидел: Саши нет с ними. «А у ей мать в больницу отвезли дак...» — сказал ему паренек, который с мандолиной выходил за ней на сцену. Сам еще не зная зачем, Третьяков расспросил, где живет Саша, как этот дом найти, а после ужина решился. Он попросил Китенева, не глядя в глаза:

— Капитан, дай мне твою шинель сегодня.

— Ого! — повеселел Китенев. — Вот что значит овсянкой стали кормить.

Общими силами собрали Третьякова. Только теперь он видел, какой он беспомощный с одной своей рукой: ни гимнастерку надеть, ни портянки навернуть. Старых, сам с гипсовой ногой, навертывал ему портянки. И даже Атраковский принял в этом участие: из немногих сберегавшихся у него под подушкой газет, где он что-то отмечал себе карандашиком, что-то подчеркивал, отобрал две, проглядев каждую из них напоследок:

— Вот этими оберни ему ноги.

— Не надо,— стыдился Третьяков принимать такую жертву.— Там и мороз несильный.

А Китенев, как господь бог, всех наделивший, говорил, стоя над ними:

— Вот выпишусь, глядите, сколько вам всего от меня останется: шинель — остается, бушлат — остается, сапоги...

— Это что! Я в армейском госпитале лежал, у нас там,— Старых весь кровью налился от наклонного положения, даже лысина побурела,— у нас там два пистолета под тюфяками сохранялись. И все знали. Начальник госпиталя в любую палату смело идет, а к нам заходить боялся. А чего боялся? У нас капитана одного стали в тыловой госпиталь отправлять, обрядили, как покойника: шинелька обезличенная не хуже Гошиной, еще ишь без рукава. «Ах ты, падла такая! Да я из тебя сейчас трех сделаю, и Родина мне за это спасибо скажет...» После этого, как заходить к нам, он пальчиком стучался.

А с Гошиной койки, из бинтов, лимонно-желтый, обросший черной бородой, как арестант, безмолвно смотрел раненный в голову старший лейтенант Аветисян, голоса которого в палате еще не слыхал никто. На Третьякова надели шинель, затянули ремнем, прихватив левый пустой рукав, и тут Китенева осенило:

— Обожди! Я сейчас у Тамарки шерстяную кофту попрошу. Она даст. А то в одной гимнастерке пронижет насквозь.

Третьякова даже в пот бросило при одной мысли, что Саша увидит его в женской кофте.

Как и полагается, вперед по всем правилам была выслана разведка, и только тогда уж Китенев безопасными ходами вывел его из госпиталя.

За воротами, на голубом снегу, под холодной россыпью звезд, он впервые с тех пор, как заперли его в палате, вдохнул морозного воздуха, и глубоко свежим холодом прошло в легкие, даже закашлялся с непривычки. Он шел и радовался сам себе, радовался, что видит зиму, своими ногами идет по снегу, радовался, что к Саше идет.

Повизгивал смерзшийся снег под каблуком, мороз был градусов пятнадцать: когда вдыхал глубже, чуть слипались ноздри. Неся под шинелью прижатую к груди забинтованную руку — ей тепло там было,— он другой рукой поочередно грел уши на ходу, смахивал ладонью слезы со щек: встречным ветром их выжимало из глаз, отвыкших от холода.

Парный патруль, в такт мерным шагам покачивая дулами винтовок, торчавшими у каждого над погоном, прошел по вокзальной площади под фонарем. На всякий случай он переждал за домом — начнут спрашивать: кто? зачем? почему? Вид у него беглый: шинель без погон, пустой рукав прихвачен ремнем,— откуда такой выскочил? Чем объясняться, лучше за углом перестоять.

Они прошли не спеша, самые главные на всей площади: в вокзал шли греться. Пока он пережидал их, накатило от паровоза белое облако, обдало сырым теплом, каменноугольной гарью. Бухнула вокзальная дверь, пропустив патруль внутрь. Третьяков вышел, держась тени, перешел пути. И вот они, два четырехэтажных дома, окнами смотрят на железную дорогу, как объясняли ему.

У крайнего крыльца, где на снегу лежал перекрещенный рамой желтый свет окна, он вдруг оробел: собственно, кто его ждет здесь? То спешил, радовался, а сейчас со стороны взглянул на себя, и вся решимость пропала.

Поверх занавески в окне был виден закопченный керосинками потолок кухни. Третьяков потоптался на крыльце, на мерзлых, повизгивающих досках, взялся рукой за дверь. Она была не заперта. В подъезде натоптано снегом, холод такой же, как на улице. Голая на морозе, горела над входной дверью лампочка с угольной неяркой нитью. Две двери в квартиры. Каменная лестница на второй этаж. В какую постучать? Одна обита мешковиной для тепла, на другой — потрескавшийся черный дерматин. Он одернул шинель под ремнем, расправился, пересадил ушанку на одно ухо и наугад постучал по ледяному глянцу дерматина. Вата глушила звук. Подождал. Постучал еще. Шаги. Женский голос из-за двери:

— Кто там?

Третьяков для бодрости кашлянул в горсть:

— Скажите, пожалуйста, Саша здесь живет?

Молчание.

— Кака Саша?

Только тут он спохватился, что ведь и фамилии ее не знает. «С косами такими красивыми»,— хотелось сказать ему, но сказал:

— У нее мать в больницу отвезли...

— Отвезли, дак чо?

«Дак чо, дак чо»... Дверь бы лучше открыла.

— Сашу позовите, пожалуйста. Что же мы через дверь разговариваем? Из госпиталя к ней по делу.

Опять долго молчали. Лязгнула цепочка, дверь приоткрылась; полная голая женская рука из-под пухового платка держала ее. Лицо припухшее. Печным теплом, керосином пахнуло из-за ее спины.

— Нам сказали, мать у нее в больницу отвезли,— говорил Третьяков, словно бы он сюда от имени всей Красной Армии явился. И одновременно старался расположить к себе улыбкой, стоял так, чтобы при неярком свете лампочки было видно его всего от шапки до сапог: вот он весь, можно его не опасаться.

Женщина смотрела все так же настороженно, цепочку с двери не снимала:

— Сам-то ты кто ей будешь?

— Вам это совершенно не нужно. Саша здесь живет?

— Зде-есь.

— Позовите ее, пожалуйста.

— А ей не-ет.

Он все никак не мог к уральскому говору привыкнуть: она отвечала, как будто его же спрашивала.

— Где же Саша?

— В больницу и пошла-а.

Вот этого он почему-то не ожидал, что ее может не быть дома. Уже на крыльце подумалось: надо было хоть спросить, давно ли ушла? Когда будет? Он оглянулся, но возвращаться не стал.

Зайдя от ветра за угол дома, решил ждать. Стоял, притопывал, чтоб ноги не оледенели. Мороз был хоть и не так силен, но в одной шинели долго не простоишь. Особенно рана на спине зябла. Только на этих днях впервые сняли с нее повязку, все там еще чувствительное, оголенное.

Часов у него не было, чтобы хоть время представлять: когда ждешь, оно всегда долгим кажется. Часы с него снял санитар там еще, в траншее, когда его ранило. Он наложил жгут остановить кровь, сказал: «Заметь время. Через полчаса надо снять жгут, а то рука омертвеет, отомрет вовсе». Третьяков достал часы, а он еще спросил: «Наши?»

Часы эти были первые в его жизни. Три недели подряд ходил по утрам отмечаться в очереди. Очень хотелось ему наручные, с решеткой поверх стекла. Такие, с решеткой, были в их классе у Копытина. Носил он их на пульсе, часто поглядывал на уроке: отставит руку и глядит издали, словно бы иначе ему плохо видно. А когда наконец подошла очередь, наручные все разобрали, и ему достались большие круглые и толстые 2-го госчасзавода карманные часы. Стоили они семьдесят пять рублей, тех, довоенных семьдесят пять рублей. Он сам заработал эти деньги: в учреждениях к праздникам писал плакаты на кумаче. Только уже в полевом госпитале, после операции, он обнаружил, что часов нет. И не так ему часы было жаль, как всего с ними связанного, что они из дому.

Ему удалось наконец прикурить одной рукой. Стоял, грелся табачным дымом, притопывал. Когда почувствовал во рту вкус горелой бумаги, бросил окурок. Ветер из-за угла подхватил его, выбитые искры заскакали по снегу. Нет, долго так не простоишь. Злясь на себя, он неохотно побрел к госпиталю.

Вдали над путями, над семафором — четко вырезанный, огромный, будто ненастоящий месяц. Дорога пошла вниз, месяц впереди начал опускаться за семафор. Где-то далеко на путях прокричал паровоз, осипший на морозе. И, разбуженный его криком, Третьяков повернулся, пошел обратно, торопясь, словно боялся растерять решимость. Он постучал опять в ту же дверь. Она открылась сразу.

— Вы простите, пожалуйста, я не спросил, где помещается это, куда Саша пошла? Больница эта?

Женщина скинула цепочку с двери:

— Заходи, чего дом-то выстужать.

Он вошел. С безбрового лица смотрели на него рыжевато-карие глаза. Они одни и были на белом припухлом лице. Смотрели с любопытством.

— Давно Саша туда ушла?

— Давно-то не шибко давно, а уж порядочно будет.

И оглядывала всего его, чем дальше, тем жалостливей.

— Далеко отсюда до этой больницы?

— Дак не больница, больница-то в городе, а это бараки совсем. Для инфекционных которы. Саша из школы пришла, а матерь увезли. Ой, плоха была, плоха совсем. Она по следу и побежала за ей. Гляжу — вернулась. «Саша, ты обожди, Василий мой с работы придет, мы Иван Данилыча спросим».

— Кто это Иван Данилыч?

— Иван-то Данилыч? — Она изумилась, что можно его не знать.— Дак райвоенком ведь Иван Данилыч, мужа моего брат старший. «Ты, Саша, обожди, спросим его дак...» Она ничо не

говорит и есть не стала нисколько. Бегат по дому по углам, ровно мышка. Темно уже, слышу, побежала опять.

— Так как же бараки эти найти?

— Да просто совсем.

И опять с сомнением оглядела его шинель, пустой рукав под ремнем.

— Улицу Коли Мяготина зна-ашь небось?

— Знаю,— кивнул Третьяков, надеясь из дальнейшего понять, где это улица Коли Мяготина. А сам отогревался тем временем, чувствовал, как набирается тепло под шинель.

— Ну, дак по ей да по ей до самого до Тобола.— И, придерживая на себе пуховый платок, левой рукой показывала в окно через пути — в обратную от Тобола сторону.

— Значит, если от вокзала, это будет широкая такая улица?

— Ну да. А как до Тобола дойдешь, дак вправо и вправо.

Перехватив платок левой рукой, она махала вправо от себя. Мысленно он все переставил, поскольку, сама того не подозревая, она стояла к Тоболу спиной и показывала все наоборот.

— Понятно. Значит, до Тобола и вправо. Тобол — на западе? Я хочу сказать, солнце за Тоболом садится?

— За Тоболом. Где ж ему еще западать?

— Понятно.

Он начинал ориентироваться. Из окна коридора в госпитале каждый день было видно, как в той стороне садилось солнце.

— Можно вовсе просто: по Коли Мяготина пойдешь, дак и свернешь вправо по Гоголя. И опять — прямо. И опять — вправо: по Пушкину ли, по Лермонтова. Так, лесенкой, лесенкой...

— И там бараки будут?

— Не сразу они. Сначала — кладбище. Тобол-то в сторону уйдет.

Кладбище — это верный ориентир. В случае чего кладбище укажет ему каждый.

— А за кладбищем и они уже. Дальше вовсе ничего нет, один обрыв.

— Спасибо,— сказал Третьяков. Хоть смутно, а что-то он уже представлял. И, взявшись за дверь, попросил: — Если Саша раньше вернется, вы ей ничего не говорите. Искал, не искал, вы ей не говорите этого. А то думать будет...

И по недоуменному ее взгляду понял: непременно тут же и расскажет. Еще и в дом не даст войти, как все расскажет.

# ГЛАВА XVI

Не будили его даже к завтраку. Сквозь сон слышал Третьяков какие-то голоса, один раз близко над собой услыхал голос Китенева:

— У него сон ужасно плохой. Всю ночь промучился...

Вновь проснулся он от суматохи. Посреди палаты у стола сгрудилось несколько человек, звякало стекло о стекло, булькало из графина. Что-то разливали.

— Так... Кому теперь? — быстро спросил Китенев.— Атраковскому нельзя. Ройзман!

Он взял Ройзмана за рукав, дал ему в пальцы стакан, мутноватый на свет:

— Давай!

Увидев стакан, Третьяков сразу почувствовал сивушный запах самогонки, сел в кровати:

— За что это вы пьете с утра пораньше?

Китенев глянул на него:

— Ты б еще дольше спал. Наши к Берлину подходят, а он только проснулся.

— Нет, в самом деле, что случилось?

Но ему уже налили:

— Действуй! Спрашивать будешь потом.

И тут же рассказали:

— У Аветисяна дочка родилась.

В сонном сознании не сразу связалось одно с другим: что Аветисян и есть тот самый старший лейтенант, раненный в голову навылет, который ночью напугал его. Он поднял стакан, показывая, что за него пьет, пил, стараясь не поморщиться, мужественности своей при всех не уронить. По мере того как донышко стакана запрокидывалось кверху, Старых взглядом провожал его и даже сглотнул, помогая издали. Тут и ему поднесли полный до краев. И хоть спешили все, на дверь оглядывались, он сразу строг стал: святая минута наступила. Просветлевшими глазами оглядел всех, мыслью сосредоточился:

— Ну!..

И, сам себе кивнув, выдохнул воздух, потянул, потянул, благодарно зажмурясь. Вдруг начал синеть, закашлялся, выпученные глаза полезли из орбит.

— С-сволочи! Кто воду налил?

Грохнул хохот. Китенев ладонью вытирал слезы:

— Не будешь жадней всех. Другому наливаю — он ее уже глазами пьет. Тебе по правилу вообще бы не давать. Вот у нас в обороне порядок был четкий: четыре стакана нальют, в трех — спирт, в одном — вода. Где что налито, знает кто на-

ливал. Подняли. Выпили. Ни за что по лицам не различишь, кому что досталось. А этот интеллигентный очень: от воды кашляет.

И поровну себе и Старыху налил остатки из графина. Как раз два стакана получилось.

— Держи, не кашляй!

После этого срочно был вымыт графин, заново налит из-под крана. Китенев насухо обтер его полотенцем, водрузил на прежнее место посреди стола. И еще шахматы расставил на доске: люди в шахматы играют, полезным умственным делом заняты. И радиоточку включили погромче.

Оказывается; вчера вечером Аветисян заговорил вдруг: дождался тишины и заговорил. Из самых первых слов, сказанных им в палате, было: «У меня дочка маленькая родилась». А огромные глаза на худом лице спрашивали: будет ли у дочки жив отец? По общему мнению, выходило, что будет жив. И решено было два таких события отметить. Когда уже собрались, приготовились, нагрянула в палату начмед, прозванная ранеными «Танки!». Была она лет двадцати пяти, муж ее воевал где-то на севере, в Карелии, и хоть она иной раз неявно поощряла взглядом, храбрых что-то не находилось проводить ее до дому. Даже среди выздоравливающих ни одного такого храбреца не нашлось: была она вся крепкая, как налитая, портупеи едва хватало перехлестнуть через грудь к ремню.

Вот она и вошла в палату, пока Третьяков спал. А посреди стола стоял графин, налитый самогонкой. Прятать что-либо в палате — быстрей только попадешься, а так стоит графин на своем месте, никому в голову не стукнет проверять, что там. Но начмеду показалась вода мутноватой. И, обнаружив непорядок, заботясь исключительно о здоровье ранбольных, она при общей сгустившейся тишине взяла графин в руку, еще раз посмотрела на свет, нахмурилась грозно, пробку стеклянную вынула, понюхала и изумилась. Самой себе не поверив, налила на донышко стакана, отпила и в тот же момент выскочила искать замполита госпиталя.

Третьяков доедал застывшую, как студень, синеватую овсяную кашу в тарелке, а все в палате такие серьезные сидели, такие серьезные, вот-вот смех грянет. Оттого, что он полночи не спал, от выпитой самогонки все у него сейчас перед глазами было проясненное, словно другое зрение открылось. И свет зимний казался сегодня особенным, и белое небо за окном, и снег, подваливший к стеклу снаружи. Каждая ветка дерева была там вдвое толще от снега, который она качала на себе.

Он смотрел на всех и видел одновременно, как они с Сашей идут по городу и месяц им светит. А может, этого не было?

Он ведь уже не надеялся найти эти бараки. Под конец злился на себя: чего он идет? Кто ждет его? И возвращался несколько раз, а потом снова шел. И представлялось мысленно, как Саша увидит его, обрадуется, поразится. А Саша не узнала его. Она стояла одна перед крыльцом, сильно мело с крыши, фонарь над дверью светил, как в дыму.

— Саша! — позвал он.

Она обернулась, вздрогнула, попятилась от него.

— Саша,— говорил он и шел к ней. Потом догадался остановиться.— Это я, Саша, это же я. Мне соседка сказала, что у тебя мама заболела.

Только тут она поняла, узнала, заплакала. И плакала, вытирая варежками слезы.

— Мне страшно уходить отсюда. Она такая худая, такая худая, одни жилочки. У ней сил нет бороться.

Он загораживал ее от ветра спиной, а сам замерз так, что губы уже не могли слова выговорить. Когда шли обратно по городу, Саша спросила:

— У тебя есть что-нибудь под шинелью?

— Есть.

— Что?

— Душа.

— Ничего не пододето? — ужаснулась Саша.— Пошли быстрей.

Он шел как на деревянных ногах, вместо пальцев в сапогах было что-то бесчувственное, распухшее. А Сашины валенки мягко похрустывали рядом, и месяц светил, и снег блистал. Все это было...

Подошел Старых, сел к нему на кровать:

— Ноги не поморозил?

— Нет, немного только.

— Его благодари,— Старых указал на Атраковского.— В любой мороз иди и валенок не надо.

Он рукавом байкового халата утер вспотевшее лицо:

— Молодые, учить вас... Запоминай, покуда я живой!

А Третьякову с тем, что было у него сейчас на душе, как богатому, казалось, каждый из них чем-то обделен.

Шлепая тапочками, пришаркал Ройзман, сел к нему на кровать:

— Так вы, Третьяков, в училище были в первой батарее? Знаете, мне кажется, я вас помню.

Ройзман теперь всю свою жизнь заново проходил по памяти и то, что зрячим не замечал, хотел задним числом увидать. Только вряд ли он помнил Третьякова: среди курсантов ничем особенным он не отличался. А в памяти крепче всего застревают

те, с кем что-нибудь смешное случалось. Был, например, у них во взводе курсант Шалобасов, тот с первого построения запомнился. Вышел от батареи с ответной речью, голос — будто каждым словом врага разит. И сказал так: «Мы прибыли сюда хватать верхушки артиллерийской науки...»

Этого уже никто не забыл. Только трудно давались ему «верхушки артиллерийской науки». В сорок первом году, когда брали Калинин и ворвались наши танки с десантом автоматчиков, был в том десанте и Шалобасов, в валенках сидел на броне. Взрывом снаряда сбросило его с танка, ударило о мерзлую землю. В себя он пришел, но память отшибло накрепко. Иной раз ничего невозможно было ему вдолбить. И помогали ему, и помирали над ним со смеху. А разыграть его вообще ничего не стоило. Подойдут с серьезными лицами: «Слыхал, Шалобасов, вчера Белан опять азимут потерял...» Тому дурная кровь в голову, глаза выпучит и уже готов идти требовать, чтобы курсанта Белана привлекли за утерю казенного имущества. Вот Шалобасова и Ройзман не забыл, заулыбался сразу.

— А помните, у нас на уроке артиллерии одному курсанту налепили бумагу на стекла противогаза?

— Да, да, да! Это были вы?

— Нет. Акжигитов.

Тут все заговорили о противогазах. В училище как только не мудрили над курсантами! У Третьякова это еще в памяти было как вчерашнее. И бегать заставляли в противогазах по морозу с полной выкладкой. И спали в них. Спать, правда, курсанты быстро приладились: вынул клапан — и дыши... Но у старшин они тоже были не первое поколение. Подкрадется ночью старшина, пережмет гофрированную трубку, а курсант дышит хоть бы что, спит себе, сны видит. Утром в бязевых нательных рубашках все бегут на зарядку, пар от них валит на морозе, а провинившийся скалывает саперной лопаткой желтый лед, за ночь намерзший на углу казармы.

— Акжигитов мастер был спать с открытыми глазами. За день и так намерзнешься в поле, а тут придумали еще на занятиях сидеть в противогазах. Лицу от резины тепло, стекла от дыхания запотевают, спят все, один Акжигитов глядит. Вот и налепили бумажки на стекла. Его вызвали к доске, он вскочил — все как в дыму. Идет, на столы натыкается...

Ройзман смеялся вместе со всеми, словно самое дорогое вспомнив. Для него теперь только то зримо, что было в прошлой жизни. А тогда ледяного взгляда голубых его глаз побаивался Третьяков. Входил капитан Ройзман на занятия, щеки после бритья блестят, раздражение на шее припудрено. Вызовет к доске, а взглядом держит на дистанции. Но особенно гордой

была у него походка: на прямых ногах, не сгибая колен. После узнали: в самые первые дни отступления, в Прибалтике еще, был он ранен в обе ноги. Оттого и походка у него такая — поневоле журавлиная.

Майор Батюшков, самый пожилой из преподавателей, по-детски не выговаривавший ни «р», ни «л», за что и получил от курсантов прозвище «Посраник божий», жаловался как-то на Ройзмана во время тактических занятий, когда весь взвод, промерзнув, грелся табачным дымом, спинами от ветра заслоняясь: «У меня доче'и — девушки, а к нему женщины ходят по вече'ам. Каждый 'аз — новые. И мы с ним в общей ква'ти 'е живем...»

И невдомек было ему, что этим только подымает капитана в курсантских глазах.

Побритый на ощупь, с клочками оставшихся кое-где волос, сидел сейчас Ройзман в халате, задумавшийся, как старец. Есть ли у него семья? Или на оккупированной территории остались все? Письма к нему не приходили в госпиталь ни разу, иначе бы просил прочесть вслух.

А у окна, в углу, как, бывало, он сиживал на Гошиной койке, сидел Старых в ногах Аветисяна, расспрашивал громко, как глухого:

— Дочка — это как же будет по-вашему?

Что-то неслышно сказал Аветисян. Старых в изумлении зашевелил губами, складывал их по-чудному, что-то выговорить пытался:

— Ну, что ж... Ничего. Тоже и так можно.

## ГЛАВА XVII

Теперь Фая, соседка, открывала ему как своему и, если Саши не было дома, звала обождать. У нее в комнате всегда жарко натоплено и бело от накидок, скатерок, скатерочек, развешанных, разложенных повсюду. А у теплой стены — кровать, пышная гора подушек.

Ног не вынимая из чесанок, разрезанных позади, чтобы на икры налезали,— не каменных фабричных валенок, а из дому присланных мягких деревенских чесанок,— сидела Фая посреди обрезков материи, шила что-то маленькое или вязала крючком крохотный какой-нибудь башмачок. И вздыхала. Прокричит паровоз на путях, Фая повернет голову к окну, долго слушает: он уж замолк, а она все слушает. И опять замелькал крючок в руке. Под успокоительный Фаин голос, под ее вздохи, от металлического мелькания перед глазами Третьяков засыпал наяву, а уши в тепле горели.

— ...Вакуированных понагнали, ой, чо делаться стало! — вздыхает Фая.— Денег у всех помногу, во по скольку денег, цены-те сразу поднялись.

Фланелевый халат на животе у Фаи уже не сходится, тонкие, блестящие под абажуром волосы причесаны гладко, а чтобы пучок на затылке не распадался, полукруглый гребень в него воткнут. И тишина в комнате, будто мир вымер, не верится даже, что где-то война идет.

— Чо на базар ни вынесут — вакуированные все хватают. Так и хватают, так и хватают, прямо из рук рвут. Деньги-те подешевели, людям ни к чему не подступись.

Фая свое говорит, а он свое видит. «Вакуированные»... Вначале и слова этого не было — эвакуированные; говорили, как от прошлой войны осталось: беженцы. Он шел по Плехановской, и вдруг разнеслось: селедку дают. Это было самое начало войны, еще только карточки вводили. А тут, как до войны, без карточек.

Прямо на улице скатили на тротуар бочки, поставили весы, и продавщица в фартуке, мокром на животе от селедочного рассола, продавала развесную селедку: за головы вытягивала из бочки рукой и шлепала на весы. Сразу настановилась очередь, и еще подбегали, подбегали люди, радовались удаче.

Странно теперь вспомнить, назад оглянуться: немцы были уже в Минске, столько людей погибло уже и гибло, гибло ежечасно, а тут радость: селедку дают. И он тоже радовался, заранее представляя, как принесет домой: без карточек достал! И разговоры в очереди: «Хватит на всех? Становиться? Не становиться?»

А вперемежку другие разговоры: что где-то на юге идет огромное танковое сражение, наших больше тысячи танков уже разгромили немцев. И верят, хочется верить: все так удачно сразу сошлось. И кто-то знающий доподлинно, из первых рук, разъясняет авторитетно, теперь немцы покатятся назад...

Вот тут словно страшным ветром подуло на людей, словно хлопья сажи принесло с пожара. Прямо по трамвайным путям двигались посреди улицы какие-то повозки, запряженные лошадьми, люди шли нездешние, одетые кто во что — кто в шелковом платье, кто в шубе среди лета, дети закопченные выглядывали из халабуд.

Это были беженцы, первые беженцы, которых увидели здесь: война пригнала впереди себя. Всех их стали пускать за селедкой, очередь отступилась от весов, а они только пить спрашивали.

Когда он в этот раз по дороге из училища на фронт заехал на станцию Верещагино, где мать и сестренка жили в эвакуации, он снова этих беженцев вспомнил. Мама была такая же худая,

как те женщины; губы заветренные, растрескавшиеся до крови. А на левой руке вместо безымянного пальца увидел он вздрагивающий обрубок. Мать, словно застыдясь перед ним, спрятала руку: «Зажило уже...» Лялька рассказала ему потом, что это на лесоповале случилось. И еще у мамы страшный шрам на плече и на лопатке во всю спину.

Фая — как детство человечества, у нее не война виновата, а «вакуированные»: у них у всех денег помногу, цены из-за них поднялись. И большинство людей так: видят, что к глазам поближе, что их коснулось самих. И так останется, и не переубедишь. Причины не многим понятны и не многим интересны.

— Первые-то самые все больше из Орши были.— Фая вздыхает, лицо у нее сейчас осмысленное.— Где это Орша?

— В Белоруссии.

— И Данилыч мой так говорит. И чо люди думали? Нисколько даже в руки не взяли с собой. Чо надето на них, то и при них. А детей помногу у каждой.

— Они, Фая, из-под бомбежки бежали. Тут живыми вырваться, детей спасти.

— Ой, страх, страх! — Углом гребня Фая почесала широкое переносье. И хоть брови высоко в этот момент подымала, ни одной морщины на лбу не наморщилось, только весь он выпер подушечкой. Провела гребнем по волосам, воткнула в узел на затылке.— Морозы-те как ударили, Данилыч, бывало, придет с дежурства: «Опять утром мерзлых у вокзала подбирали...» Дак чо Данилыч, я и сама видала, вокзал — вон он...

Прохрустел снег за окном под чьими-то валенками. И Фая и он прислушались: Данилыч? Саша? Каждый своего ждал. Бухнула входная дверь; Саша, к себе не зайдя, сюда заглянула, румяная с мороза, белой изморозью опушен платок вокруг лица. Увидела его — обрадовалась. В коридоре сказала:

— Я маму видела. Горло завязанное, такая несчастная в окне. Говорить не может, кивает мне из-за стекла.

На пушинках платка, на ресницах иней уже растаял от тепла и блестел. Такой красивой он не видел ее еще ни разу.

Она размотала платок, скинула шубку, в ситцевом платье бежала на кухню умываться. Рядом со своей шинелью он повесил Сашину шубу, теплую ее теплом, посмотрел, как они висят. Стоя посреди комнаты в гимнастерке без ремня, ждал. Саша вернулась, вытирая лицо полотенцем, говорила невнятно:

— Мы с мамой спали вместе, и то я не заразилась, а теперь вернусь оттуда — умываюсь... На улице стою, не пускают туда, а все равно кажется, все микробы на мне.

Она достала из-под подушки кастрюлю, завернутую в телогрейку, делала все быстро:

— Сейчас печь затопим.

И, накидав на руку сушившиеся у печи дрова, понесла их в коридор, к топке.

— Я без мамы теперь на ночь топлю,— говорила она, присев на корточки, обдирая с поленьев бересту на растопку.— Целый день меня дома нет, так по крайней мере утром из тепла выходишь на мороз.

— А что же ты ешь, Саша?

— Что ты! У нас картошка есть.

Они вместе уложили щепки, дрова на них и подожгли. Запахло березовым дымком, коридор осветился из топки.

— Обожди курить,— предупредила Саша, очищая ему от кожуры остывшую картошку.

— Я не хочу,— говорил он.— Я после ужина.

— Как это можно не хотеть картошку? По-моему, от одного ее запаха... Своя у нас картошка, не покупная, своя.

Крупная очищенная картофелина сахарно искрилась при огне.

— На.

Он держал ее в руке, ждал, пока Саша очистит себе.

— Ты любишь такую, в мундире? Я ужасно люблю. А если с молоком? — Она откусила, не утерпев.— Ешь. Я тут одной молочнице вышила платье, целый месяц вышивала. Заберусь с ногами на кровать, одним глазом — в учебник, а сама вышиваю. Васильки по серой парусине: вот так на рукавах, на груди, по подолу.— Она обчертила в воздухе, и он увидел ее в этом платье: васильки к ее серым глазам.— Она принесла нам целую четверть молока... Я же соль забыла!

— Она и без соли вкусная.

— И мне тоже. Тут какой-то совершенно особенный сорт. Поверишь, мы одни глазки сажали — и вот такие клубни. Один куст — полведра.

Она сбегала в комнату, блюдечко с солью поставила на железный лист перед печью. Красный огонь из топки плясал на их лицах, на светлом железном листе. Они сидели перед топкой на низкой скамейке, макали картошку в соль, розовую от огня.

— Ты ведь был совершенно не такой,— сказала Саша.— И лицо у тебя было другое.

— Какое?

Она рассмеялась:

— Я уже не могу вспомнить сейчас. Просто лицо чужого человека. Нет, один раз — не чужое. Знаешь когда? Мне перевязывали ногу, а ты прошел по коридору. Ты прошел, а я посмотрела тебе вслед. Ты сделал вид, как будто прошел просто так. Мне стало тебя жалко. Но все равно это был не ты.

Я даже могла бы тебя не узнать. А помнишь, мы сидели на подоконнике?

— Ты тогда вообще смотрела сквозь меня.

Саша помолчала. На лице ее сменялись отсветы огня из печи.

— Знаешь, когда ты впервые,— она посмотрела на него,— вот такой был, как сейчас?

— Когда?

— Нет, я не тогда увидела, я на другой день вспомнила и подумала, что ты обморозился и, наверное, заболел. Ты такой заледенелый был в шинели и еще меня загораживал от ветра.

Они говорили и смотрели в огонь, и это было их общее, что они видели там.

— Помнишь, я еще спросила: «У тебя есть что-нибудь под шинелью?» А ты засмеялся: «Душа!» А у самого губы не могут слова выговорить. Я потом весь день думала, что ты заболел.

— Так ты ж меня тогда испугалась.

— Это не тогда. Я испугалась, когда ты вышел из-за барака. Ты не видел, какой ты был страшный. Весь заметенный, как волк. Мне даже показалось, у тебя глаза блестят. И никого кругом. Я ужасно испугалась.

Бухнула входная дверь на кухне. Через коридор прошел вернувшийся с дежурства Василий Данилович Пястолов, Фаин муж. Жестяные пуговицы на его железнодорожной шинели — белые от инея: мороз на улице был сегодня силен. Данилыч прошел, не кивнув: в форме он высоко себя нес. Но из комнаты вышел другим человеком: в телогрейке, в растоптанных валенках, в руке — топор, старая ушанка примяла одно ухо. Он шел в сарай за дровами, остановился около них:

— Маруся не лучше?

— Сегодня в окне ее видела,— похвасталась Саша.

— Значит, на поправку тронулась.

В пляшущих отсветах долгоносое лицо Данилыча то светлело, то думой омрачалось.

— Плоха была, совсем плоха.— Поскреб ногтями подбородок, сощуря на огонь стеклянный взгляд, потянул себя за нос.— Повезли ее — нет, думаю, не выживет. Гляди-ко, жива...

Саша и Третьяков посмотрели друг на друга, удержались, чтоб не рассмеяться. Он не видел. Постоял еще над ними и пошел с топором в руке, мягко ступая разношенными валенками.

Увидев, что она очищает картошку, Третьяков прикурил из печи.

— Подожди,— опять сказала Саша.

— Все. Не могу уже. Когда закурил, не могу

— Не можешь?

— Не могу.
— Нет, как ты честно врешь. И глаза святые.
— Я не вру.
— Не врешь. Вот эту, когда покуришь, съешь.
Она очистила себе.
— Мы когда осенью выкопали картошку, дождались ее наконец, я думала, мы никогда не наедимся. А капуста тут какая! Даже в Москве на базаре я такой не видала. Заморозок уже, воздух свежий, холодный, и вот такие огромные белые кочаны на грядке лежат. Я этот запах, мне кажется, на всю жизнь запомню. Нам дали участок, одну сотку, мы с мамой пришли копать, а там вскопано. Мама так напугалась, бегает: «Отобрали у нас, кому-то отдали...» А я вижу: смятая пачка «Беломора» валяется. Володя курил «Беломор». Я сразу догадалась: это они с Женькой вскопали.

Непросохшие березовые поленья сипели в печи, на закопченных торцах накипал желтый сок. Заслонясь рукой от жара, Саша передвигала поленья, пальцы ее против огня насквозь светились.

— Мама до войны совсем не такая была. А теперь чуть только что — сразу беззащитная становится.— И посмотрела ему в глаза.— У меня мама... Моя мама — немка.

У него вырвалось простодушно:
— Ты не похожа.
— Я с мамой — одно лицо.
— Саша, я не то хотел сказать.— В душе у него шевельнулась к ней жалость.— Ведь сейчас быть немкой...
— Ты понимаешь это? Немка, когда война с немцами. Но она так родилась, в чем она виновата? И она вообще даже не немка. Бабушка была русская. А дед... Он всех детей тайком возил в Финляндию крестить в лютеранскую веру. До революции еще. Клал в корзину и тайком от бабушки вез. Если бы не это, мама сейчас и по паспорту была бы русская. А с таким паспортом куда она? И из Москвы мы бы не уезжали ни за что. Но папа очень за нее боялся. Он с фронта писал тете Нюсе, своей сестре, чтобы мы вместе были; вместе эвакуировались. А когда он погиб, мама все время мне говорила: «Если со мной что случится, ты по крайней мере останешься с тетей Нюсей. А так ты совершенно одна». У нее все время этот страх, она за всех немцев, за все, что они сделали, себя чувствует виноватой. На ней это — как пятно какое-то. Не пережив, нельзя это понять.

Но он понимал и чувствовал. В его семье не было немцев. И мать и отец его — русские люди. Но отец арестован. Четыре года оставалось до войны, слово «немец» не означало то, что оно

теперь значит, но уже тогда на нем было пятно, и он чувствовал это. Саша ему ближе стала, когда рассказала сейчас.

— У меня еще стыд перед мамой,— говорила она.— Тут первая весна такая страшная была, я просто не знаю, как мы пережили ее. Папа погиб, аттестата нет, все, что привезли с собой, продали. Я утром выпью стакан теплой воды и иду на экзамены. И вот один раз... Стыдно ужасно! Эти дни, когда ей плохо было, я прямо отделаться от этого не могла. Понимаешь, я выкупила хлеб по карточкам. На два дня сразу. На маму и на себя. Вышла из магазина и чувствую — не могу. От него так пахнет! Вернулась, попросила продавщицу отрезать кусочек. А она своим огромным этим ножом вот такой кусок отхватила! И я съела. Не могла утерпеть. Мама увидела, конечно. Она же, главное, не работала.— У Саши в глазах были слезы.— У нее иждивенческая карточка. Я работала вечерами после школы, она как бы на моем иждивении, и я у нее отрезала и съела тайком. И сказать постыдилась. А она вообще такая, что с себя последнее отдаст. Мы еще когда не все продали, а морозы страшные в ту зиму... Вот придут просить, тоже эвакуированные, особенно если с детьми... Она тайком от меня отдаст что-нибудь, а потом такая передо мной виноватая! «Доченька, мы с тобой все же в тепле...»

Саша встала, ушла в комнату. Когда вернулась, лицо было хмурое, глаза сухие, щеки горели.

— Там еще холодно,— сказала она,— давай здесь чай пить.

Она принесла чашки, вынула закоптившийся чайник из печи. В коридоре сразу стало светлей от незаслоненного огня. Они сидели лицами к топке, две огромные их тени колыхались за спинами по стене, терялись в красноватом сумраке под потолком.

— Ведь она почему заболела? — сказала Саша.— У тети Нюси Ленечка заболел дифтеритом. Так она уговорила не отдавать его в больницу, а то он умрет там. Где-то добыли сыворотку, она сама ухаживала за ним. И меня заразить боялась, все хлоркой мыла. И заразилась.

Он шел в этот вечер под косматым зимним небом, под толстыми, как тросы, белыми от инея проводами, шел и думал. Он думал о Саше, о войне, о крови, которая третий год льется на всех фронтах, а в ней так чудно слилась.

Какой-то дед возил детей крестить, клал, как котят, в корзинку и вез. Какая связь? А связь есть, только незримая; во всем, что происходит, есть связь всех с каждым. Согласись он тогда остаться при штабе бригады, как лейтенант Таранов остался, и никогда бы он не встретил Сашу. Только на отдалении видишь, как связано одно с другим.

Сильный луч прожектора осветил снег, далеко вперед кинул

его тень. Третьяков оглянулся. По лезвиям рельсов мчался на него слепящий свет, втягивал в себя из тьмы блестки изморози.

Он сошел с полотна. Налетел, промчался мимо него с грохотом по прогибающимся рельсам тяжелый состав, увлекая с собой морозный ветер: товарные вагоны, платформы, туши танков на платформах под заметенным брезентом, часовые в валенках на площадках вагонов, отвернувшиеся от ветра, платформы с пушками, вагоны, площадки, часовые — мелькало, мелькало, мчалось в грохоте, в стуке колес, и выше, выше над мчащимся составом вздымалась снежная пыль. В этом взметенном снегу, в снежной мчащейся метели мелькнул и скрылся последний вагон. Туда умчался, к фронту. И устремилось вслед, с ним вместе унеслось что-то, как оторвалось от души. И ощутимой стала пустота.

## ГЛАВА XVIII

— Ну, пожили мы дружно, госпитальной каши поели, пора и честь знать. А то тут с вами воевать разучишься,— говорил Китенев, по грудь укрытый одеялом. Как раз с вечера всей палате сменили белье — и постельное и нательное,— и он в чистой клейменой бязевой рубашке лежал высоко на подушке, заложив руки за голову, край белой простыни отвернут поверх одеяла. Потянулся, разведя локти, сладко зевнул до слез.— Будете тут радио без меня слушать, где чего на свете делается. Я на Украине в госпитале лежал...

— А говорил, ни разу не раненный,— на слове поймал его Старых.

— Ни разу. Это меня при бомбежке привалило. Вот начнут с утра по радио — чудно слушать: захоплэно лэтакив, гармад, рушныць... Мы возьмемся считать, сколько у немца «захоплэно»... Да ему уж воевать нечем! У него за всю войну столько не было, сколько у него «захоплэно».

— Не ранен, а в госпитале лежал.

— Не ранен.

— А контужен — не один черт? Нет таких в пехоте, чтобы воевал и нигде не раненный, не побитый.

— И не контужен. Меня землей привалило! — с достоинством говорил Китенев.

В госпитале месяцы мелькают быстро, а каждый день долог. Вот Китенев и старался с утра пораньше «завести» Старыха, благо тот «с пол-оборота заводится». Они еще попрепирались со скуки: «Присыпало... А если б не откопали?» — «Второй раз закапывать не пришлось бы...» — и Китенев повернулся на бок, подпер голову, стал глядеть на Третьякова. Тот спокойно сгибал

и разгибал поверх одеяла раненую руку. Врач еще на первых перевязках сказала ему: «Хочешь, чтоб рука осталась крючком?» — «Зачем же мне?» — испугался Третьяков. «Тогда разрабатывай сустав, а то так и срастется». И хоть больно бывало вначале, кровью промокала повязка, оставаться инвалидом ему не хотелось.

— Ну?

Глаза у Китенева светлые, как вода, прозрачные. Третьяков ждал.

— Вот не знаю, оставлять тебе шинель в наследство, не оставлять? Может, зря только трепешь казенное имущество? Похоже, что зря.— В светлых глазах его смех играет.— А вообще как?

Третьяков, улыбаясь, ждал.

— Я спрашиваю, как в смысле морально-политического состояния?

— Бодрое.

— А ведь какой был юноша! — Китенев подложил подушку под спину, сел повыше.— Его когда в палату привезли, я думал, к нам девушку кладут. Глаза ясные, мысли чистые и все устремлены на разгром врага. А полежал с вами, и вот чего из него получилось. Это он от Старыха понабрался. Не учись у него, Третьяков, он уже лысый. Между прочим, ты, Старых, своей лысине жизнью обязан. Ты ведь от стыда прикрылся. А будь у тебя чуб, как у некоторых военных, стал бы ты каску на голову надевать?

Китенев процедил сквозь пальцы волнистый свой чуб, заметно отросший в госпитале. Медсестра, с ложечки кормившая Аветисяна гречневой размазней, сама рыженькая, круглолицая, румяная, так заслушалась радостно, что ложку уже не в рот совала, а в ухо.

— А ну, руку мне сожми! — Китенев протянул Третьякову свою руку. Тот полюбовался, как на ней от кисти до засученного по локоть рукава играют все мускулы.

— Зачем?

— Старшего по званию спрашивают «зачем»? Приказано жать — жми! Может, ты симулянт.

Посмеиваясь, Третьяков слабыми пальцами сжал сколько мог.

— И все? Ты что, вообще такой слабосильный? А ну, правой жми! Нет, силенка есть. А ну, левой еще разок! А ну, смелей!

— Все.

— Как все?

— Все. Сильней не могу.

Тут Старых прискакал, подпираясь под плечо костылем, сел на койку с разбегу, обнял костыль. Лицо, жаждущее рассказать.

— Это тоже привели одного на медкомиссию, рука не хуже твоей, не разгибается... Ты слушай, слушай, опыта набирайся, плохому не научу. Приводят его, ага... «А ну, руку разогни».— «Она у меня такая...» Пробуют силом разогнуть. Все точно, отвоевался парень, надо списывать по чистой. А тут хирург-старичок не зря нашелся: «Ну-ко покажи, как она у тебя прежде была?» — «Прежде-то во как!» И сам разогнул. Гляди, Третьяков, будут спрашивать, мимо ушей пропускай.— Старых махнул себя по уху.— Врачи, они теперь до-ошлые...

Белые двери палаты раскрылись, в белых халатах вошли двое. Передний, солидный, подымал плечи, очки его гордо блеснули на свету. При нем суетился начхоз.

Начхоз был вольнонаемный. На нем под халатом — мятые гражданские брюки в полосочку, не достающие до ботинок. Нестроевой, ограниченно годный по какой-то статье, он в их офицерскую палату входил, пресмыкаясь, понимал, как должны раненые смотреть на него, не безрукого, не безногого. И хоть ничего в его судьбе от них не зависело, готов был услужить каждому. «Жить хочет»,— определил Старых. И даже про то, что начхоз шепелявит от рождения, сказал: «Придуривается! Нестроевой... С женой спать, тут он строевик, а как на фронт — ограниченно годный».

Третьякову всегда стыдно было за этого человека, не стыдящегося унижать себя. Как можно жить от освидетельствования до освидетельствования, ждать только, чтобы опять признали ограниченно годным, отпустили дослуживать в тылу... Ведь мужчина, война идет, люди воюют.

Но сегодня начхоз нес службу при начальстве. Никого в отдельности не замечая, строгим взглядом прошел по головам:

— Здесь он, здесь. Разве что если на перевязку... Третьяков! Подводите вы нас. Вами вот интересуются.

Что-то знакомое почудилось Третьякову в солидном человеке, которого начхоз пропускал вперед, в его манере подымать плечи. Но тут Старых неохотно поднялся с кровати, загородил обоих. А когда отскакал в сторону, они уже стояли в ногах.

— Володя!

— Олег!

В портупее косо через плечо, в распахнутом белом халате стоял перед ним его одноклассник Олег Селиванов, смотрел на него и улыбался. И начхоз улыбался, родительскими глазами глядел на обоих. И вся палата смотрела на них.

— Как ты разыскал меня?

— Да понимаешь, совершенно случайно.

Олег сел на ребро кровати, полой халата прикрыл полное колено, обтянутое суконным галифе. Военная форма, погоны под халатом, портупея, ремень. А в стеклах очков те же кроткие, домашние глаза. Бывало, стоит Олег у доски, весь перепачканный мелом, потный от стыда: «Спросите у мамы, я, честное слово, учил...»

— Слушай, по виду ты прямо «товарищ командующий».

— Главное, ты здесь столько лежишь, а я лишь вчера узнал. В бумагах попалось...

— Представляешь, капитан, вместе в школе учились,— сказал Третьяков, отчего-то чувствуя некоторую неловкость за Олега: того так почетно вели, такой он сидел здоровый, свежий с улицы.

— Бывает,— сказал Китенев и встал, надевая халат.

— Олег, но как ты здесь?

— Я — здесь.

— Здесь?

— Здесь.

И оба в этот момент почувствовали тишину палаты.

— Пошли, ротный, покурим,— сказал Китенев громко. Вместе со Старыхом пошли они в коридор. И начхоз удалился, для порядка еще раз оглядев палату.

Шелестел газетой Атраковский на своей койке, заложив руку за голову. Оголившийся белый худой локоть его с опавшими синими венами, как неживой, торчал вверх.

Олег протирал стекла очков полой халата, слепо мигал будто припухшими глазами. Смутно вспоминалось Третьякову — мать писала ему на фронт или Лялька писала,— что призвали Олега вместе с ребятами из их класса, с Карповым Лешкой, с братьями Елисеевыми, Борисом и Никитой, куда-то их погнали уже обмундированных, а потом Олег вернулся. И что-то угрожало ему. Но будто бы вмешался отец, известный в их городе врач-гинеколог, и Олега по зрению признали негодным к строевой службе. В школе он действительно видел плохо.

— Знаешь, кого я здесь встретил на базаре? — Олег надел очки, взгляд за стеклами прояснился.— Мать Сони Батуриной, помнишь ее? Она еще голову тебе бинтовала на уроках военного дела. По-моему, Соня была в тебя немножко влюблена. Она ведь убита, ты не знал?

— Разве она была в армии?

— Она сама пошла. Такой тогда был подъем в первые дни!

— Так я ее в августе встретил. Какие ж первые дни?

— А ты не путаешь?

Нет, он не путал. Он встретил Соню Батурину в самом конце августа: уже астры продавали. Соня сказала: «Смотри, астры!

Скоро в школу. Только уже не нам. Какие синие!» Он купил ей букет. Как раз у Петровского спуска. Потом они стояли на мосту. Соня спиной оперлась о перила, распушивала астры, смотрела на них. Под мостом текла мутная от глины, быстрая вода, и две их тени на мосту, казалось, плывут, плывут навстречу. «А ведь мне еще никто никогда не дарил цветов,— сказала Соня.— Ты — первый». И посмотрела на него, держа букет у подбородка. Он поразился еще, какие синие у нее глаза. И весь подбородок, и кончик носа она выпачкала желтой пыльцой. Он хотел достать платок, но платок был грязный, и рукой осторожно стирал пыльцу, а Соня смотрела на него. Сказала вдруг: «Интересно, каким ты будешь после войны, если встретимся?»

Значит, она тогда уже знала, что уходит на фронт, но не сказала ему. Потому что он, парень, был еще не в армии.

— Она сама подошла ко мне на базаре, а так бы я ее, наверное, не узнал,— рассказывал Олег.— У нее вот эта часть лица... Нет, вот эта... Подожди, я сейчас вспомню.— Он пересел на кровати другим боком к окну, подумал.— Да, вот эта. Она отсюда подошла. Вся вот эта часть лица у нее перекошена, и глаз открыт, как мертвый. Это парез, паралич лицевого нерва. Я потом был у нее, она мне читала Сонины письма. Очень тяжело... А помнишь, как у меня на галерее мы играли в солдатики? У тебя была японская армия, а у меня были венгерские гусары. Помнишь, какие красивые были у меня венгерские гусары?

Из-за стекол очков с широкого мужского лица смотрели на Третьякова детские глаза, в которых время остановилось. Они смотрели на него из той жизни, когда все они еще были бессмертны. Умирали взрослые, умирали старые люди, а они были бессмертны.

В коридоре, пожимая огромную ладонь Олега, Третьяков сказал: «Приходи еще», а сам очень надеялся, что больше Олег не придет.

Старых сразу же спросил в палате:

— Кореш?

— В школе вместе учились. Вот разыскал меня.

— Большой человек.— Старых радостно ощерился.— Нужен родине в тылу.

— Что ты знаешь? У него зрение...

— Плохое!

— Он ночью вообще, если хочешь знать...

— Фронт с тылом перепутал! — под смех палаты закончил за него Старых.— Сослепу! Это не хуже того, летом в сорок втором везли нас в санлетучке. Как раз самое он на Сталинград

пер... Какая же это станция, вот не вспомню... Ну, шут с ней. Тут эшелон с оборудованием на путях, тут бабы, детишки, кого взяли, кого брать не хотят, слезы, визг, писк. Набились к нам в товарные вагоны. Не положено, а не оставлять же. Тут гражданин вот такой солидный вперся с чемоданами. Его выпихивать. «Товарищи, товарищи, что вы делаете? Я нужен нам!»

— Врешь! — хохотал Китенев.— Ведь врешь!

— Я нужен нам!

## ГЛАВА XIX

Для тяжелораненых самые трудные часы ночью, для выздоравливающих самое тягостное время — вечер. Вечером в палате сумеречный желтый свет электричества, хлопья теней по углам, и все, кого отделила война,— и мертвые и живые — все они в этот час с тобой.

Этой ночью снился ему отец. Смотрел на него издали, непохожий на себя, поникший, стриженный наголо, старый, каким он не видел отца ни разу в жизни. И в то же время он знал, что этот жалкий человек со шрамом через всю голову — это его отец.

Он ведь даже не простился с ним. Когда это случилось, он был в пионерском лагере. В воскресенье, как обычно, ко всем приехали родители, к нему почему-то не приехал никто. Потом среди недели приехала мать. Была она как после болезни, и всякий раз, когда смотрела на него, он видел в глазах у нее близкие слезы. Она сказала, что отец в командировке, что уехал надолго. И только когда смена в лагере кончилась, он вернулся домой, увидел опечатанную дверь во вторую комнату, мать рассказала, как это было...

Никогда прежде он так не любил мать, как в эти дни, когда несчастье обрушилось на них. И он решил для себя твердо: кончит седьмой класс, пойдет работать. Отец бы тоже так поступил и так бы сказал ему. Лялька маленькая, пусть учится, а он — старший. Но потом появился Безайц. Этого он не мог матери простить: ни за отца, ни за себя.

Но если он воюет честно и на фронт пошел сам, когда их год еще не призывали, если он все прошел, как положено, так ведь это отец его воспитал. Мысленно он представлял не раз, как вернется с войны, придет и скажет, и судьба отца изменится. Он не знал толком, куда он придет, как все будет, но верил: кончится война, он придет с фронта, и разберутся, поймут, что произошла страшная ошибка, отец его ни в чем не виноват. Даже с матерью он не говорил об этом, а с Атраковским временами

хотелось поговорить. Они как-то стояли у окна вблизи операционной, и он спросил, за что у Атраковского этот орден. Тот сверху глянул себе на рубашку: «Это мой пропуск в жизнь». И усмехнулся.

Атраковский ходит сейчас по палате, думает о чем-то, думает. И Старых думает над шахматной доской. С кровати, из сумерек, Третьякову видно, как он сидит, подперев голову, уминает пальцами розовый шрам на лбу.

— Конем, конем походи, старшой,— громко советует повар. А сам, весь перекривляясь, подмигивает на слепого Ройзмана, что-то другое показывает на доске. Старых вскочил белый:

— А вот костылем сейчас в лоб похожу! — И на всех: — А ну, раздвинься! Обступили — дыхнуть нечем.

— И чего намахивается? — пристыженно оправдывался повар.— Человеку добра желают, в воду пихают, а он как оглашенный на берег лезет...

Повар каждый вечер здесь, в их офицерской палате: стоит смотрит, жаждет сыграть. Он разъевшийся, выбритое лицо блестит, как безволосое, рыхлая грудь необъятна. Но это не от вольных хлебов. У него ранение, в котором стыдно признаваться. Редкий не засмеется, узнав, куда он ранен, повар уже привык к этому, не обижается. Он как раз перед самой войной женился, руки у него целы, ноги целы, но приехал домой, жена поплакала-поплакала и честно сказала, что жить с ним не сможет. И он вернулся обратно в этот госпиталь вольнонаемным, по вечерам приходит в их палату, переживает: «Пешкой походи...» Как-то сказал он: «Пока война — ничего. А кончится война, разъедетесь вы все...»

И впервые тогда Третьяков поразился мысли: человек боится, что кончится война. Пока они здесь, он как все, будто и для него ничего не кончилось. Не дай бог, чтобы так ранило, пусть лучше сразу убьет. И все равно у Третьякова к нему почему-то гадливое чувство.

— Старшой, дай одну сгоняю,— просит повар и суетится, чтобы пустили к доске.

— Обождешь!

Старых вновь расставляет шахматы, пристукивая фигурами по доске.

— Давай, капитан, в шашки.

— В шашки? — переспросил Ройзман.— Нет, в шашки трудно, они все одинаковые.

— Как он их запоминает! — поражается Старых.— Я мыслью вперед устремлюсь, эти ходы забываю...

Кто-то неуверенно открывал дверь палаты. Третьяков приподнялся на здоровом локте, в дверях — Саша.

— Саша,— говорил он, обе ее озябшие руки грея в своей одной руке. Ткнулся губами в ледяные кончики пальцев и все их один за другим перецеловал, оторваться не мог. Когда поднял голову, сердце колотилось. Сияющими глазами Саша смотрела на него.— Саша,— говорил он пьяный.— Саша.

Не надеялся, ждать не мог, а она пришла.

— Как же ты догадалась?

— Я думала, ты заболел. Морозы, а он в одной шинели.

— Нет шинели, отобрали у меня шинель, в том-то все и дело. Сижу — выйти не могу.

— ...Схватил, думаю, воспаление легких. Я даже к маме не пошла.

— Саша!

Она сидела на подоконнике — в белом халате, коса перекинута на грудь,— а он стоял перед ней, держал ее руки, смотрел на них, как на чудо в своей руке.

— Там сторожа нового поставили... Я говорю, мне надо насчет художественной самодеятельности договориться. А я, говорит, не обязан из-за тебя места лишаться, у меня приказ.

— Так там две доски в заборе оторваны. Они только на гвозде висят. Их раздвинуть...

— Если б не они, я бы не прошла. Хорошо, Тамара Горб дежурит, дала мне халат.

Какие крошечные у нее пальцы. Озябшие. И почему-то пахнут паровозным углем.

— Так я же уголь собирала,— говорит Саша.— Это счастье, что мы рядом с железной дорогой живем, а то бы вовсе топить было нечем. Пока поезд стоит, обязательно из топки под паровозом насыплется. Иногда целое ведро наберешь.

— Под вагонами?

— А иначе гоняют, не дают собирать.

— А если тронется?

— Я однажды знаешь как напугалась! Ведро там оставила...

Она вдруг соскочила с подоконника: в конце коридора показалась белая шапочка врача. По лестнице они побежали от него наверх, на третий этаж. И смеялись, и весело было обоим. Но и там наткнулись на палатного врача. И всюду, куда они прибегали, натыкались на кого-нибудь. Только на холодной лестнице, под самым чердаком, никого не было. Они прибежали сюда запыхавшиеся. Тут стояли огромные снеговые лопаты, движки с деревянными ручками, прислоненные к стене, что-то валялось. Окно, как в нетопленом помещении, было все изнутри в мохнатом инее. Около этого голубого снежного окна он обнял Сашу и поцеловал. Целовал вздрагива-

ющие под его губами веки, щеки, пальцы, пахнущие углем.

Дрожа, они стояли на холоде, грелись общим теплом. Бухнула дверь внизу, затопали вверх шаги.

## ГЛАВА XX

Проводили Ройзмана. И, глядя, как он палочкой ощупывает впереди себя дорогу, как неуверенной ногой ищет порог, опять Третьяков видел его прежним: бывало, входил гордо на негнущихся ногах, глянцевые от бритья щеки припудрены, взгляд холоден.

На его место привела сестра под локоть тоже капитана, согнутого какой-то болезнью, желтого, желчного, всем недовольного. Призванный осенью сорок третьего года, когда с него сняли бронь, капитан Макарихин до фронта еще не добрался, все воевал с врачами по госпиталям. В палате он сразу начал устраиваться надолго. «Я вас не потесню, если займу еще вот эту полочку?» — спрашивал он Аветисяна. А тому и челюстью шевельнуть больно, он только мигал огромными своими мохнатыми ресницами. «Вот и хорошо»,— сам за него соглашался Макарихин и занимал еще одну полочку.

Он обнюхал подушку со всех сторон, брезгливо держа ее на весу, перетряс тюфяк, напустив пыли на всю палату.

— Им лишь бы в строй, лишь бы в строй выпихнуть,— говорил Макарихин, кулаками разбивая комья ваты в тюфяке,— годен, не годен — в строй.

И вскоре уже ходил между койками, раздавал статьи, по которым каждого из них должны комиссовать.

— Твоя — одиннадцать бе,— указал он пальцем на Третьякова.— Ограниченно годный первой степени, что в мирное время означает инвалид третьей группы.

«Сам ты инвалид ушибленный»,— подумал Третьяков, которому никто еще никогда этого обидного слова не говорил. И с этой минуты возненавидел Макарихина. А Старых, когда капитан вышел к сестрам что-то требовать для себя, сказал, глянув вслед:

— Вполне может не успеть на войну. «Жизнь отдам за Родину, а на фронт не поеду...» Из таких.

И долго качал лысой своей головой, которая потому только сидела у него на плечах, а не сгнила в земле, что вовремя каска на ней оказалась.

За обедом Макарихин ел, дрожа челюстью, всхлипывал над горячим.

— Воруют,— говорил он, тяжело дыша.— Половину воруют

из котла. У нас в запасном полку устроили ревизию повару — во сколько за две недели наворовал! И смеется, мерзавец: «Я за две недели столько, а до меня по стольку — за день...»

Байка была старая, всем известная, но Макарихин рассказывал ее как свою:

— Вон у вас повар какой размордельый. Для начальства надо украсть? А для себя? А для семьи?

— Слушай, Макарихин,— позвал его Китенев. Тот поднял от миски замутненные едой глаза.— У тебя как, на ногах не отразилось?

— Не понял.

— Пешком ходишь нормально?

— Если не на далекие расстояния... Вообще-то у меня, конечно, плоскостопие — раз, варикозное расширение — два...

— На близкие.

— На близкие? — Макарихин взял себя за колено, пристукнул ногой об пол.— На близкие могу.

— Тогда иди ты...— и Китенев кратко и четко послал его «на близкое расстояние». Предупредил: — И не задерживайся!

Макарихин оглядел всех, молча взял свой хлеб, взял миску и отсел отдельно к себе на кровать.

— Соскучитесь вы здесь без меня,— говорил Китенев дня через два, явившись в палату в полном боевом, в наплечных ремнях, в сапогах. Выписывался он из госпиталя не утром, как обычно, и не днем даже, а под вечер, чтобы последнюю ночку здесь, в городе, переночевать. И у Тамары Горб все в этот день валилось из рук. Она то плакать принималась, то глядела на всех мокрыми сияющими глазами: к ней уходил он прощаться.

Теперь оставалось их трое из прежней палаты: Атраковский, Старых и Третьяков. И еще Аветисян своим стал за это время, хоть по-прежнему слышно его не было. Все трое они чувствовали себя здесь недолгими гостями, подходил их срок.

— Давай сразу на мою койку переселяйся, будешь рядом с Атраковским,— говорил Китенев, помогая Третьякову перебраться, и сунул ему под подушку сложенную шинель.— Пользуйся. Твоя.

Они сели колено к колену. Лицо у Старыха вдруг обмякло.

— Пехота, ты что? — смеялся Китенев, сам растрогавшись, и хлопал Старыха по гулкой спине. Тот хмурился, отворачивался.— А еще хвалился: я раньше вас там буду.

— Все там будем.

— Просись на наш фронт, вместе будем воевать. Роту тебе не дадут, ты в голову ушибленный. Дивизией сможешь наворачивать вполне.

Они шутили напоследок, а сами знали, что расстаются на-

всегда: на долгую ли, на короткую, но на всю жизнь. Хотя чего в этой жизни не бывает!

В тот же вечер в шинели, оставленной ему в наследство, Третьяков был у Саши. Фая показала ему, где ключ от комнаты, похвасталась:

— Иван Данилыч посулился прийти.

Она мыла на кухне картошку, тесно напихивала ее в котелок. Лицо у Фаи припухло сильней, по нему пятна пошли коричневые — над бровями, на верхней губе, так что белый пушок стал виден. Она заметила его взгляд, застыдилась:

— Ой, чо будет, чо будет, сама не знаю. Таки сны плохи снятся. Эту ночь,— Фая махнула на него рукой, будто от себя гнала,— крысу видала. Да кака-то больна, горбата, хвост голый вовсе. Ой, как закричу! «Чо ты? Чо ты?» — Данилыч мой напугался. У меня у самой сердце выскакиват.

— Серая была крыса?

— Будто да-а.

— Ну, все! Жди, Фая, сына и дочку. Примета верная.

Фая даже зарумянела:

— Смеешься ли, чо ли?

— Какой смех! Вот напишешь мне тогда. У нас в госпитале один человек...— И не выдержал, улыбнулся.

— А я рот раскрыла, уши развесила,— хотела было обидеться Фая, но он, веселый, похаживал по кухне, и ей с ним было не скучно.

Он шел сюда показать себя Саше. Впервые сегодня в оба рукава надел он гимнастерку. Увидел себя в оконном стекле не в опостылевшем халате, а подпоясанного, заправленного и понравился сам себе. И шел, чтобы Саша увидала его таким.

Сбив огонь, вспыхнувший на тряпке, примяв хорошенько тряпку о плиту, Фая оглянулась на дверь, шепотом сообщила:

— У Саши-то, мать у ей — немка!

— Знаю.

— Призналась? — обомлела Фая.

— А в чем ей, Фая, признаваться? В чем она виновата?

— Дак война-то с немцами.

— И Сашин отец с немцами воевал, на фронте погиб.

— А я чо говорю! Сколь домов в городе, дак похоронки ведь в каждом дому. Народ обозленный! — И взглядом пригрозила. А потом словно бы вовсе тайное зашептала ему: — Не знать, дак и не подумаашь сроду. Женщина хороша, роботяща-роботяща. Ой, беда, чо на свете-то делатся!

И тут увидала руку его в рукаве:

— Ты чо? Не на войну ли собрался?

— Тихо, Фая, враг подслушивает!

Она и правда оглянулась, прежде чем поняла. Закачала головой:

— Вот Сашу обрадуешь... О-ей, о-ей...

С тем ушла к себе, а он сидел в коридоре на корточках, курил в холодную топку, ждал.

Стукнула входная дверь, тяжелое что-то грохнуло на кухне. Саша, вся замотанная платком, обындевелая, перетаскивала от порога ведро с углем, улыбнулась ему:

— А я знала, что ты придешь. Иду и думаю: наверно, ждет уже.

И смотрела на него радостно. Он подхватил ведро у нее из рук:

— Как ты его несла, такое тяжелое?

— Бегом! Пока не отобрали.

— Опять под вагонами лазала?

— Под вагонами и собирала.

И оба рассмеялись, так ясно прозвучал у нее Фаин выговор.

— Говори, что с ним делать?

— Поставь. Я сейчас из ковшика оболью...

— А вот мы его под кран!

Он встряхнул ведро на весу, не стукнув, поставил в раковину, открыл кран. Зашипело, белый пар комом отлетел к потолку, запахло паровозом. Радостная сила распирала его. Отнеся ведро к топке, огляделся:

— Так! Сейчас мы щепок наколем...

— У нас нечем колоть,— из комнаты сказала Саша.— Я ножом нащеплю.

— Найдем.

Он отыскал на кухне под столом у Пястоловых ржавый косарь; без шапки, с поленом и косарем в руке выскочил на улицу. Смерзшийся снег у крыльца был звонок, полено далеко отскакивало, как по льду. Он гнался за ним, когда прошли в ногу братья Пястоловы. Старший был пониже ростом, коренаст и нес себя с большим достоинством. Он что-то спросил у брата и рукою в перчатке поощрительно потряс над шапкой у себя:

— Р-работникам!

Это и был военком, Третьяков разглядел у него на погонах по одной большой звезде. И, помня, что в тылу младшего по званию украшает скромность, приветствовал его, как положено:

— Здравия желаю, товарищ майор.

Василий Данилович так и засветился гордостью за брата, приотстал, всего его открывая обозрению. А тот с высоты крыльца бросил поощрительно:

— Уши отморозишь!

— Хах-ха-ха! — смехом подхватил шутку младший брат.

Пока наколол, собрал — озяб. В кухню вскочил — ни ушей, ни пальцев рук не чувствует. На примерзшем к подошвам снегу поскользнулся у порога в тепле, чуть не рассыпал все.

— Как от тебя морозом пахнет! — сказала Саша и вдруг увидела его руку: — Тебя выписывают? Ты уже здоров?

— Да нет, нет еще! — И честно сознался: — Это я просто хотел показаться тебе.

Но еще не раз в этот вечер ловил он на себе ее взгляд, совсем не такой, как прежде. А когда растопили печь и сидели рядом, Саша спросила:

— Ты на кого похож, на отца или на маму?

— Я? Я — на отца. У нас Лялька — одно лицо с матерью. Вот жаль, фотографии в полевой сумке остались, я бы показал тебе.

— Она младше тебя?

— Она малышка. На четыре года младше.

И Саша увидала, каким добрым стало у него лицо, когда заговорил о сестренке, какая хорошая у него улыбка.

Опять огонь плясал на их лицах и пахло из печи березовым дымком. У Пястоловых все громче слышались голоса за дверью.

— Мне почему-то все время так спокойно было за тебя,— сказала Саша.— Конечно, все эти приметы — глупость. Но когда от тебя ничего не зависит, начинаешь верить. Считается, если сын похож на мать, будет счастливым. Володя Худяков одно лицо был с матерью... Может, потому и было спокойно за тебя, что впереди столько времени! А сейчас увидала твою руку...

— Саша,— сказал он,— со мной ничего не случится.

— Не говори так!

— Я тебе обещаю. А ты мне верь. Я если что-нибудь пообещаю...

Тут Фая появилась в коридоре, поманила Сашу в кухню. Он сидел у печи, смотрел в огонь, пошевеливал прогоравшие поленья, взяв совок, засыпал на них уголь. Затрещало, запахло паровозом, черный спекшийся пласт задушил огонь. Постепенно из него начали пробиваться синие угарные язычки.

Саша вернулась чем-то обрадованная и смущенная.

— Пойдем к ним.

— Чего мы там не видели, Саша?

— Неудобно, зовут все-таки.

— Послушать, как товарищ майор шутят? Я чего-то не соскучился.

— Мы ненадолго. Пойдем, а то обидятся.

Он видел, она почему-то хочет пойти, что-то недоговаривает. Встал, заправил гимнастерку.

— Загонит меня майор на гауптвахту, передачи будешь носить?

— Буду!

— Помни, сама отвела.

У Фаи, как всегда, жарко натоплено. Пахло кислой капустой, она стояла в миске на столе. Последний раз он ел кислую капусту дома, до войны. И еще пахло жареным свиным салом. Но им только пахло.

Фая захлопотала, усаживая их за стол:

— Чайку попьете?

Братья сидели оба красные, подбородки масленые.

— Вот она, эта рука его, погляди,— говорила Фая и брала Третьякова за скрюченные пальцы левой руки, показывала Ивану Даниловичу. Тот глянул снисходительно круглыми, будто усмехающимися глазами:

— Левая?

И тут только заметил Третьяков, что правая рука военкома, лежавшая на столе,— в черной кожаной перчатке и рукав на ней, как на палке, обвис.

— Вместе-то вам как раз двумя руками управляться,— захохотал Василий Данилович.— Твоя лева, его — права, во как ладно!

— Точшно! — сказал военком.

— Он, как знал, с детства левша. Бывало, отец ложку выдернет: «Правой люди едят, правой!» И в школе ему за нее доставалось. А как на финской праву руку оторвало, вот она, лева-то, не зря и пригодилась.

И опять военком сказал:

— Точшно!

Круглые его глаза сонно усмехались. По выговору был он, наверное, из-под Куйбышева откуда-нибудь; в училище у них старшина, родом из города Чапаевска, вот так же выговаривал: «Точшно».

— Да он в одной левой побольше удерживает, чем другой в двух руках! — похвалялся братом Василий Данилович, а тот молча позволял.— Надо тебе сотню врачей — на другой день сто и выставит. По скольку их каждого готовят в институтах? Лет по пять? По шесть? А он даст двадцать четыре часа на всю подготовку — и вот они готовые стоят. Надо двести инженеров, двести и выстроит перед тобой!

Иван Данилович слушал, посапывая, дышал носом, сонно усмехался. Качнул головой:

— Погляди-ко в буфете, может, и ты перед нами выстроишь чего-нибудь?

Василий Данилович заглянул за стеклянную дверцу, вытащил на свет заткнутую пробкой четвертинку водки.

— Три пятнадцать до войны стоила! Шесть — пол-литра, три пятнадцать — четвертинка. Еще коробка папирос «Казбек» была три пятнадцать.

— Да ты их курил ли тогда, казбеки-то? — спросил старший брат.

— Оттого и запомнил, что не курил. А пятнадцать лишних копеек они за посудину брали,— как особую хитрость отметил Василий Данилович.— Это во сколько же раз она поднялась? О-о, эта она во сто раз подскочила! — говорил он, наливая в маленькие рюмки, которые Фая недавно, видно, убрала, а теперь одну за другой ставила, стряхивая предварительно.— Еще и побольше, чем во сто раз!

И, словно теперь только узнав ей настоящую цену, он каплю, не стекшую с горлышка, убрал пальцем, а палец тот вкусно облизнул.

Неловко было Третьякову принимать рюмку. В палате у них кто бы что ни принес, считалось общее. А тут он ясно чувствовал: не свое пьет. Но и отказываться было нехорошо.

Выпили. Фая положила ему капусты:

— Капустки вот бери, закуси.

— Спасибо.

И незаметно пододвинул Саше. А она, не ожидавшая этого, покраснела. Братья захохотали:

— Здорово это у них получается: он пьет, она закусывает!

А Фая, будто сердясь, будто швырком, еще подложила на тарелку.

— Я не хочу, Фая, правда,— говорила Саша.

— Врозь, что ль, положить?

— Нет, мы вместе.

Они и были вместе сейчас, хоть старались друг на друга не смотреть. И незаметно один другому отодвигали капусту по тарелке. А Фая, подойдя и будто еще больше осердясь, брала в свою руку нечувствительные, скрюченные, вялые пальцы его раненой руки, показывала их Ивану Даниловичу:

— Чо он ей навоюет, рукой етой? — Она, как тряпки, разминала бессильные его пальцы.— Чо он может ей?

Он отобрал руку, отшутился:

— У меня, Фая, работа умственная: не пехота, артиллерия. Тут можно вовсе без рук.

— Ты, может, думашь чего? — горячо напустилась Фая.— По закону ведь, по закону! Иван Данилыча, если не по закону, лучше не проси!

И младший брат любимым словцом старшего подтвердил:

— Точно!

Теперь Третьяков понял, зачем их позвали сюда, что Фая шептала там Саше на кухне. Чудная она, Фая. Ее если сразу не испугаешься, так разглядишь, что человек она хороший. Вот если б можно было дров для Саши попросить. Ну что ж, по крайней мере, эту рюмку он мог выпить с чистой совестью.

Иван Данилович, от которого Фая и Саша ждали слова, взял живой, красной, мясистой кистью левой руки деревянный свой протез в черной перчатке, переложил поудобней. Вот и на правой была бы у него такая же сильная, красная кисть. Но может быть, потому он и жив сейчас, что одна рука у него деревянная. А уж младшего брата наверняка она от фронта заслонила.

— Ну что, Василий, есть у тебя там или вся? А то пожми, пожми.

И Василий Данилович «пожал», и как раз три рюмки налилось. Крупными пальцами старший брат взял свою рюмку, сказал неопределенно и веско:

— Который человек кровь свою за Родину пролил, имеет право! И будет иметь!

И первым махнул водку в рот.

На улице Саша спросила виновато:

— Ты не обижаешься на меня?

Он улыбнулся улыбкой старшего:

— Чудные вы обе с Фаей. А я еще понять не мог, чего мы туда идем? Заговорщицы...

— Но почему всегда — самые лучшие? Вот и отец мой, и Володя бедный. В девятнадцать лет успел только погибнуть. Ты не сердись, что я все о нем говорю. Я вот уже лица его не вижу. Помню, какое оно, а не вижу.

Они подошли к госпиталю. Фонарь у ворот освещал снег вокруг себя.

— А чего мы туда идем? — спросил Третьяков.

— Но ведь тебя искать будут.

— А я сам найдусь. Саша, дальше фронта не пошлют! Идем к Тоболу. Не замерзла?

И, обрадовавшись, поражаясь только, что им раньше это в голову не пришло, они быстро пошли назад, снег только звенел под его коваными каблуками.

## ГЛАВА XXI

С улицы, с мороза, духота в палате показалась застойной. Третьяков осторожно притянул за собой дверь, пошел на носках. Когда глаза начали различать, увидел, раздеваясь, что с со-

седней кровати, с подушки, улыбается Атраковский. И самому смешно стало, когда увидел со стороны, как он крался в темноте между кроватями.

— Капитан,— шепотом позвал он,— потяните рукав.

Атраковский сел на кровати, босые ступни плоско стали на пол. После недавнего приступа был он совсем слабый, почти не вставал. А тогда забегали врачи по этажу, зачем-то внесли ширму из простынь, отделили его от палаты. Он лежал холодный, изредка открывал тусклые глаза.

— Не напрягайтесь, держите только, держите,— говорил Третьяков.— Я сам из него вылезу.

Вылез, отдышался, поправил повязку:

— Спасибо.

— Курить хочешь?

— Помираю! Все искурил.

Слабой рукой Атраковский полазил у себя под подушкой, начал надевать халат.

— Пойдем, я тоже постою с тобой. Все равно не сплю.

— А чего не спите? Болит?

— Мысли всякие.

— Мысли! — Третьяков радостно улыбнулся. Ему все время отчего-то хотелось улыбаться.— Думать будем после войны. Вон Старых спит, как святой, ничего не думает.

Старых спал ничком, свесившаяся рука доставала до полу. И ничуть ему не мешало, что рядом с ним шепчутся в темноте. Повернулся на бок, хрястнул сеткой — он хоть и невысок, а весь как каменный,— чмокнул губами во сне и мощно захрапел. Белый гипсовый сапог высунулся из-под одеяла.

— Я вот так спал на фронте,— говорил Третьяков, пряча обмундирование под тюфяк.— Где приткнулся, там и сплю, сейчас даже удивительно. У нас комбат спал в землянке, снаряд под землянку угодил. Грунт болотистый, снаряд фугасный, ушел в глубину, выбросить землю силы взрыва не хватило, вспучило нары, а он и не проснулся. Утром глядит, земляные нары под ним горбом. Вот я тоже так спал. А здесь и вшей нет, и как будто что-то кусает по целой ночи. Меня тут не хватились?

— Нет.

Раскатав тюфяк поверх обмундирования, Третьяков надел халат:

— Пошли?

Свыкшиеся с темнотой глаза резанул по зрачкам свет в коридоре. Отошли к операционной, к дальнему окну. Отсюда видны были огни вокзала, огни на путях. Окно это было такое же, как все, а вот около него почему-то происходили самые откровенные разговоры. И с Сашей они тут сидели.

Третьяков так долго не курил, что от первых затяжек на всю глубину легких ударило в голову и губы занемели. Он смотрел в окно и сам себе улыбался, не замечая. А на Атраковского хорошим от него веяло. При нем привезли этого мальчика, на глазах оживал. Щеки синеватые с мороза — от госпитальной жидкой кормежки во всех в них кровь не греющая,— а улыбается, весел. Но даже когда улыбается, есть во взгляде серьезность, глаза повидавшие. Он и жалел его, и завидовал.

В сорок первом году, когда сам он, раненный, попал в плен и гнали под конвоем, увидел он с холма всю колонну. Прошел дождь, солнце светило предвечернее, свет его был такой щемящий, словно не день, а жизнь догорает. И по всей дороге под автоматами брели пленные, растянувшийся, колышущийся строй. А там, куда их гнали, посреди голого болота, сидели люди, сотни, может быть, тысячи людей, земли под ними не было видно: головы, головы, головы, как икра. Вот такие мальчики, стриженные наголо,— сколько из них могло бы сейчас жить! Впервые тогда он понял, увидав, как мало в этой войне значит одна человеческая жизнь, сама по себе бесценная, когда счет идет на тысячи, на сотни тысяч, на миллионы. Но вот эти так мало значащие жизни, эти люди, способные в бою сражаться до последнего, а там доведенные до того, что скопом, отпихивая друг друга, кидались на гнилые очистки, и охрана, сытые молодые солдаты, забавы ради, потому что это позволено, можно, лениво стреляли в них из-за проволоки,— вот эти люди, а не какие-то особые, другие, и есть та единственная сила, способная все одолеть. С какой беззаветностью, с какой готовностью к самопожертвованию подымается эта сила всякий раз в роковые мгновения, когда гибель грозит всему.

Там, в плену, был с ним летчик, вот такой же мальчик, постарше немного. Его подбили над самой целью, над переправой, куда он один долетел. И он, не дрогнув, направил свой самолет в железнодорожный мост, на верную смерть. И жив остался, отброшенный взрывом. Он умер от заражения, а до последнего момента все мечтал бежать из плена. И тоже, если б бежал, доказывал бы, что никого не предал, не изменил, как не раз приходилось это доказывать Атраковскому, и тоже осталось бы на нем незримое, несмываемое пятно.

В плену ничто Атраковскому не было обидно: враг есть враг, от него он не ждал для себя ничего хорошего, и сердце у него было как каменное. Но когда не верят свои, вот этого нет тяжелей и обидней.

Приглушенное двойными окнами, раздалось гудение идущего поезда. Минуя станцию, мчался товарный состав; два паровоза,

вместе гудя, мощно тянули его. Он все шел и шел, все возникали на свету, возникали и исчезали вагоны, платформы; мчался тяжелый воинский эшелон туда, к фронту, и здесь, на отдалении, вызванивали стекла. А когда словно оборвался состав и пусто стало на путях, они с одинаковым выражением глаз посмотрели друг на друга. И впервые увидел Третьяков, что Атраковский не стар, просто худ очень, один костяк остался.

Однажды, когда меняли белье в палате и Атраковский, сидя на койке, стянул с себя через голову бязевую рубашку, обнажив могучий, выгнутый дугою, весь из острых позвонков хребет, Третьяков случайно увидел эту его руку, которой он сейчас оперся о подоконник. Перемятая, со страшными ямами, затянутая глянцевитой сморщенной кожицей, словно мясо из нее вырвано клоками,— и вот с такой рукой воевал человек, орден Боевого Красного Знамени заслужил, «пропуск в жизнь», как он однажды назвал его.

— А ведь еще будем вспоминать это время,— сказал Атраковский, и глаза его блестели особенно.— Кто жив останется, будет вспоминать. Тянет уже туда?

— Тянет! — Третьяков поражался, что капитан говорит то самое, что и он чувствовал.— Там, когда уж совсем прижмет, думаешь другой раз: хоть бы ранило, хоть бы перебило что-нибудь! А тут...

Атраковский смотрел на него, как отец на сына:

— Там головы не подымешь, а душа разгибается в полный рост.

— Вот потому я люблю взвод управления,— перебил Третьяков, ему тоже хотелось сказать.— Оторвался от батареи, и никого нет над тобой. Чем к передовой ближе, тем свободней.

— Через великую катастрофу — великое освобождение духа,— говорил Атраковский.— Никогда еще от каждого из нас не зависело столько. Потому и победим. И это не забудется. Гаснет звезда, но остается поле притяжения. Вот и люди так.

Они еще долго стояли у окна, курили, взволнованные, и когда молчали, тоже разговаривали. Глядя в добрые глаза этого мальчика, в глубине суровые, Атраковский всю его судьбу в них прочел.

## ГЛАВА XXII

Олег Селиванов, как был в шинели, заглянул в палату, выманил Третьякова в коридор:

— Пошли!

— Привез?

— Сейчас сваливают.

Нажженное ветром лицо Олега было красно, в порах толстой кожи золотилась щетина на подбородке.

— Пошли быстрей. Я начальнику госпиталя сказал, тебя отпустят.

Шаг в шаг, звеня каблуками сапог по смерзшемуся снегу, они шли по улице. Мороз был в тени; снег, доски заборов, лавочки у калиток — все, как золой, серым инеем покрыто с ночи. А на солнце снег, притертый до блеска полозьями саней, слепил. И пахло в зимний день весной.

Впервые Третьяков открыто шел днем по городу: Олег Селиванов, блистающий очками, перетянутый портупеей, был ему и конвой и защита.

— Как же тебе удалось, Олег?

Тот улыбнулся:

— Думаешь, если я здесь, так все знаю и умею? А я ничего не умею. И не знаю. Хорошо, человек такой подвернулся, как будто знал, сам предложил.

— Спасибо, Олег.

— Мне теперь самому приятно, если хочешь знать.

Они шли быстро, говорили на ходу, пар коротко вырывался изо ртов. Вот, никогда не зарекайся вперед. Провожая Олега в тот раз, Третьяков искренне надеялся, что больше тот не придет. Не знал, что еще самому придется разыскивать Олега, что обрадуется, когда начхоз приведет его.

«Олег,— сказал он, потому что больше некого было просить,— мне нужна машина дров». У того глаза стали круглей очков: «Володя, но где же я возьму? Да еще машину целую».— «Не знаю». И оба знали: должен. Из всего их класса, из всех ребят, один Олег оставался в тылу.

Для себя Третьяков не просил бы, но Сашу не мог он оставить собирать уголь под вагонами. И не сомневался: захочет Олег — сможет. Люди, которые на третьем году войны шли через военно-врачебную комиссию, жизнь свою ценили дороже машины дров, а Олег — секретарь ВВК. «У него печать»,— сказал начхоз. Для Третьякова печать ничего не значила, но по священному трепету, с которым это было сказано, понял: судьбы людские у него в руках. И еще больше уверился: сможет. И вот смог. И пришел гордый. А что ж, сделать доброе дело для другого человека — это тоже стоит испытать.

Когда, задохнувшиеся от быстрой ходьбы, они подошли к дому, машины там уже не было. Гора скинутых двухметровых кряжей перед сараем на снегу, и Саша ворочает их. Она ра-

зогнулась с березовым комлем в обнимку, радостная, смотрела на них.

— Я думала, Фае привезли. Я Фаю зову, а они прочли по бумажке, говорят — мне.

— Ты б еще отказалась!

— Они уехали? — спрашивал Олег.

— Они почему-то очень торопились. Скинули быстро, даже денег не взяли.— Саша шла к ним, варежка о варежку отрясая опилки.— Володя, я ничего не понимаю.

— Вот, знакомься: Олег Селиванов.— Он под спину рукой выдвинул вперед Олега.— Человек великий и всемогущий. И учился со мной в одном классе. Это все — он.

Саша мягко подала теплую из варежки руку, взглянула серыми в черных ресницах глазами, и Олег, поздоровавшись, смутился, стал протирать очки.

— Главное, почти одни березовые! — восхищалась Саша.— Ты смотри, березовых сколько!

— А мы смотреть не будем.— Третьяков снял с себя ремень, повесил его через плечо. Он видел, что дрова произвели на Сашу куда большее впечатление, чем Олег.— Мы их сейчас распилим, расколем, сложим в сарай и скажем: так и было!

У Пястоловых в сарае нашлись козлы. Накинув на себя пуховый платок, Фая вынесла двуручную пилу. Еще раз вышла, вынесла в голой руке колун. Когда вот так, по-хозяйски, это было ей по душе, она радовалась помочь, рада была за соседей.

Притоптали снег вокруг козел, взвалили для начала ствол потолще.

— Ну, Саша!

Когда отпал на снег первый отпиленный кругляк, Олег Селиванов вызвался колоть. Как был в шинели, в ремне, портупее, взмахнул над собой колуном и уронил очки с носа. И теперь сидел на чурбаке, удрученный своей неловкостью, трогал пальцами, смотрел на свет слепое от трещин стеклышко. А они пилили вдвоем.

Белые опилки брызгали из-под пилы: Саше на валенок, ему — на полу шинели, на выставленный сапог. Желтым слоем лежали они под ногами, на истоптанном снегу, свежо и сильно пахло на морозе распиленным деревом.

Саша раскраснелась, распустила платок, волосы у пылающих щек закурчавились. Он спрашивал:

— Устала?

Саша трясла головой:

— Нет!

Легко шла острая пила, двумя руками в варежках Саша

тянула ее на себя, потом и варежки скинула: жарко сделалось. Позади нее, как не оторвавшиеся от земли дымы, стояли в небе березы, все в инее, окованные тишиной.

К полудню потеплело, нашла туча, густо повалил снег и зарябило все, закружилось, сильней запахло распиленной березой, словно это от свежего снега так пахло. Саша стряхивала его с себя варежками, а он все валил.

От станции, то убыстряясь, как за последним вагоном, то опять ровно, вновь и вновь ударяя на том же стыке, слышен был мчащийся перестук колес, он отдавался от земли. Нанесло паровозный дым. И показалось, это не снег летит, а они сквозь него мчатся, мчатся... Скоро и ему загудит паровоз, застучат под полом колеса. Он посмотрел на Сашу, вот такой будет помнить ее.

Чье-то лицо, белое в черном окне кухни, несколько раз уже возникало за стеклом. Саша перехватила его взгляд.

— Это мама! — крикнула она сквозь шарканье пилы.— Я маму вчера взяла. Такая странная стала, все спрашивает. Ходит по дому, как будто ничего не узнает.— Саша перевела дыхание.— Она там, оказывается, воспалением легких болела. Мне не сказал никто.

В окне махали белой рукой. Саша убежала в дом, а Олег, замерзнув, сменил ее. Потом они сели покурить на бревнах. Снег, поваливший из тучи, так же быстро перестал. Опять светило солнце. Третьяков смерил глазом, хватит ли у них сил распилить все, и положил Олегу на колено горячую от работы руку, ладонь ее как будто припухла.

— Спасибо, Олег.

Тот обрадовался:

— Ну что ты! Я же вижу. Я просто не знал как. Жаль, ты раньше не сказал.

Саша вынесла им напиться и вновь ушла в кухню. Выбежала оттуда, размахивая длинными рукавами телогрейки, полы доставали ей чуть не до колен.

— Это Фая меня нарядила! — смеялась она, отворачивая стеганые рукава. Она и в телогрейке была хороша, Третьяков видел, как грустно залюбовался ею Олег.

Саша взялась относить в сарай, а они пилили вдвоем. Солнце обошло круг над вершинами берез, оно теперь светило в окно кухни, оттуда несколько раз уже звали, но он понимал, что второй раз им не взяться, с непривычки сил не хватит. И только когда допилили все, унесли козлы в сарай, когда Саша смела со снега щепки, кору, древесный мусор, они подхватили пилу и топор, все вместе пошли к дому.

Шапкой сбивая с себя опилки и снег, Третьяков оглянулся

с крыльца: он берег для себя этот момент. Пусто перед сараем. Смогли, одолели за один раз. Постукивая негромко сапогами, они друг за другом вступили в кухню, топор и пилу поставили у дверей.

— Это не работники, а угодники! — басом встретила их Фая и качалась, сложа руки на животе, полкухни заслоняя собой. А у плиты увидел он худую старушку в Сашином платке на спине. Саша обняла ее, прижалась к ней, украшая собою:

— Это моя мама!

И ревниво схватила: что у него на лице? Потом сказала матери:

— Мама, это Володя.

— Володя,— повторила мать, стыдливо прикрыв рот, в котором не хватало переднего зуба. Рука была белая, бескровная, даже на вид холодная, с белыми ногтями.

— Маму там зачем-то остригли,— говорила Саша, прихорашивая, поправляя ей волосы над ушами.— У мамы косы были длинней моих, а она дала остричь себя коротко. Ни за что бы я не согласилась, если б знала.

Два рослых человека стояли у порога: один совсем солидный, в очках, в погонах, в ремнях; другой — в солдатской расстегнутой шинели, и дочь сказала: «Мама, это Володя».

— Раздевайтесь,— говорила мать.— У меня как раз все горячее. Раздевайтесь, садитесь к столу. Саша, покажи, где раздеться.

Когда снимали и вешали в комнате шинели, Саша мимолетно заглянула ему в глаза, он улыбнулся, кивнул. И, радуясь, что ее мама понравилась, утверждая его в этом, Саша сказала быстро:

— Она совсем не такая была, это она оттуда потерянная какая-то вернулась, я даже ее не узнаю.

В кухне, где всю войну не белилось и черным стал закопченный керосинками потолок, а стены и подоконник потемнели, весь свет садившегося в снега солнца был сейчас на столе, на старенькой, заштопанной, розовой от заката скатерти. И глубокие тарелки блестели розовым глянцем.

Фая отказалась садиться за стол, ушла к себе. Одну за другой брала мать тарелки к плите и, полные горячих щей, ставила перед каждым. Щи эти, совсем без мяса, без масла, из одних мороженых капустных листьев и картошки, были так вкусны и пахучи, как никогда они сытому человеку вкусны не будут. И все время, пока говорили и ели, Третьяков чувствовал на себе взгляд матери. Она смотрела на него, подливала в тарелки и все смотрела, смотрела. А Олег сидел расстроенный

и грустный, солнце блестело в слепом стеклышке его очков. И оттого, что был расстроен, по рассеянности один ел хлеб, не замечая, что другие не берут хлеба: брал с тарелки, крошил на скатерти и рассеянно ел.

В окно видны были верхушки берез. Только самые верхние, красноватые веточки огнисто светились, а стволы в прозрачном малиновом свете стояли сиреневые. Проходил состав, толчками подвигался дым за крышами сараев, и свет над столом дрожал.

Солнце садилось, день гас, стены темнели, и лица уже плохо различались против света. Но он все время чувствовал на себе взгляд матери.

Совсем темно было, когда, проводив Олега, они с Сашей шли к госпиталю. Она спрашивала:

— Тебе правда понравилась моя мама?

— Ты на нее похожа,— сказал он.

— Ты даже не представляешь, какие мы похожие! Она с косами молодая была, нас все за сестер принимали, верить не хотели. Это она из больницы такая вернулась, старенькая, прямо старушка, я не могу на нее смотреть.

У ограды они постояли. Ветер завивал снег у его сапог, хлестал полами шинели. Спиной загораживая Сашу от ветра, грел он руки ее в своих руках, мысленно прощался с нею.

«Мама,— писал он в тот вечер, согнувшись над подоконником, откуда обычно смотрел на вокзал, на уходящие поезда,— прости меня за все. Теперь я знаю, как я тебе портил жизнь. Но я этого не понимал тогда, я теперь понял».

Мать однажды в отчаянную минуту сказала ему: «Ты не понимаешь, что значит в наши дни взять к себе жену арестованного. Да еще с двумя детьми. Ты не понимаешь, каким для этого надо быть человеком!..»

«Меня не надо брать! — сказал он тогда матери.— Мне не нужно, чтобы меня кто-то брал!» И ушел из школы в техникум, чтобы получать стипендию. Он хотел и в общежитие перейти, но туда брали только иногородних. Теперь он понимал, как был жесток в своей правоте, что-то совсем иное открывалось его пониманию. И он подумал впервые, что, если отец жив и вернется, он тоже поймет и простит. И неожиданно в конце письма вырвалось: «Береги Ляльку!»

# ГЛАВА XXIII

В облаке пара, накрывшего перрон, бабы метались вдоль состава, дикими голосами скликали детишек, лезли на подножки, проводники били их по руками:

— Куда? Мест нет!

— Володя, Володя! В этот вагон! — кричала Саша. Ей тоже передалась вокзальная паника.

Проводница грудью наперла на него:

— Полно, не видишь?

Сверху, из тамбура, кричали:

— Лейтенант, сколько стоим?

Он стряхнул с погона лямку вещмешка, над головой проводницы кинул вещмешок в тамбур, видел, как там поймали его на лету. Мимо бежал народ, толкали их.

— Я напишу, Сашенька. Как получу номер полевой почты, сразу напишу.

И впрыгнул на подножку уже тронувшегося поезда, отодвинул проводницу плечом.

Саша шла рядом с подножкой, махала ему. Все прыгало у нее перед глазами, в какой-то момент она потеряла его.

— Саша!

Она глядела мимо, не находя. Он вдруг соскочил на перрон, обнял ее, поцеловал крепко. Выскакивающие из вокзала офицеры в меховых жилетах оглядывались на них на бегу, прыгали в вагоны. И они с Сашей бежали, она отталкивала его от себя:

— Володя, скорей!.. Опоздаешь!

Поезд уже разгонялся. Мелькали мимо оставшиеся на перроне люди, все еще устремленные к вагонам. Внизу бежала Саша, отставая, что-то кричала. Поезд начал выгибаться дугой, Саша отбежала в сторону, успела махнуть последний раз — и не стало ее, исчезла. Вкус ее слез остался на губах.

Проводница, не глядя, надавила на всех спиной, оттеснив внутрь, захлопнула железную дверь с закопченным стеклом. Стало глухо. Кто-то передал вещмешок:

— Из госпиталя, лейтенант?

Третьяков внимательно посмотрел на говорившего:

— Из госпиталя.

— Долго лежал?

Он опять глянул, смущая пристальным взглядом. Слова он слышал, а смысл доходил поздней: Саша была перед глазами.

— Долго. С самой осени.

И достал из кармана кисет:

— Газетка есть у кого?

Ему дали оторвать полоску. Третьяков насыпал себе табаку и пустил кисет по рукам: вступив в вагон, он угощал. Кисет был трофейный, немецкий, резиновый: отпустишь горловину, и она сама втягивалась, скручивалась винтом. Табак в этом кисете не пересыхал, не выдыхался, всегда чуть влажноватый, хорошо тянулся в цигарке. Старых подарил на прощание. Когда Третьяков оглянулся от ворот госпиталя, они двое стояли в окне палаты: Старых и Атраковский.

Обойдя круг — каждый одобрительно разглядывал,— кисет вернулся к нему. Задымили все враз, будто на вкус пробовали табак. Стучали колеса под полом, потряхивало всех вместе. А Саша идет сейчас домой, он видел, как она идет одна.

Опять появилась проводница, всех потеснив, погромыхала кочергой. Была она плотная, крепкая, глядела хмуро. Когда нагибалась, солдаты перемигивались за ее спиной.

Докурили. Третьяков накинул лямку вещмешка на погон, кивнул и толкнул внутрь дверь вагона. Здесь воздух был густ. Он шел по проходу, качаясь вместе с качающимся полом. На нижних, на верхних, на багажных полках — везде лежали, сидели тесно, все было занято еще с начала войны. И на затоптанном полу из-под нижних полок торчали сапоги, он переступал через них. Все же над окном, где под самым потолком проходила по вагону труба отопления, увидел место на узкой, для багажа полке. Закинул туда вещмешок, влез, повалился боком. Только на боку тут и можно было поместиться. Придерживаясь то одной, то другой рукой за потолок, он снял шинель, расстелил ее под собой, мешок подложил под голову. Ну, все. А ночью пристегнуться ремнем к трубе отопления — и не свалишься, можно спать.

Он лежал, думал. Весь табачный дым поднимался к нему снизу. Мелькал, мелькал в дыму солнечный свет, вспыхивал и гас мгновенно: это за окном, внизу, мелькало что-то, заслоняя солнце; поезд шел быстро.

В духоте под это мелькание и потряхивание он задремал.

Проснулся — светло над ним на потолке. Свет уже закатный, золотит каждую дощечку. Он расстегнул мокрый воротник гимнастерки, вытер потную со сна шею. И вдруг почувствовал ясно, как оборвалось в нем: теперь он уже далеко. И ничего не изменишь.

Он осторожно спустился вниз, пошел по вагону, рукой придерживаясь за полки; они блестели снизу вечерним светом. Под ними курили, разговаривали, ели, мгновенные выражения лиц возникали, пока он шел.

В тамбуре был громче железный грохот. Не отставая от

поезда, катилось по краю снежной равнины красное солнце. Через закопченное стекло тамбур насквозь был пронизан его дрожащим светом. Под этой световой завесой — на железном полу, среди узлов, которыми завалили заиндевелую дверь,— женщина поила двух детей, совала им жестяную кружку. Она глянула на него испуганно — не прогонит ли? — заметила, что он, достав уже кисет, не решается закурить, обрадовалась:

— Курите! Они привыкши.

Дети казались одного возраста, мокрые губенки одинаково блестели у обоих.

— Они привыкши,— слабым для жалостливости голосом обратил на себя внимание старик. Только услыша голос, Третьяков увидал его: бороду и шапку среди узлов. Он понял, дал закурить.

— Чего на него табак тратить! — говорила женщина, похорошев от улыбки.— Зря только переводит.

Нигде, ни на одной остановке не брали гражданских в этот поезд. И после каждой станции они оказывались в вагонах, в тамбурах, на площадках: им надо было ехать, и они как-то ухитрялись, ехали. И эта женщина ехала с детьми, с вещами, со стариком, который всем был обузой. Он, видно, и сам сознавал это. Закурив, он закашлялся до синевы, до слез, весь дрожащий. И после каждой затяжки все посматривал на цигарку в кулаке: сколько осталось.

А у другой двери тамбура лицами друг к другу стояли капитан-летчик и молодая женщина. Капитан рассказывал про воздушный бой, рука вычерчивала виражи в воздухе, женщина следовала за ней глазами, на лице — восторг и ужас. Капитан был статный, затылок коротко подстрижен, шея туго обтянута стоячим воротником, а по белой кромке его подворотничка, как по белой нитке, срываясь и цепляясь за нее, ползла крупная вошь. И Третьяков не знал, как сказать капитану, чтоб женщина не заметила.

Со свернутым флажком в руке вошла проводница; потянуло запахом уборной из вагона. Приближалась какая-то станция.

— Их бы в вагон взять,— тихо сказал Третьяков, указав глазами на детей, на обметанную инеем дверь. Мать услышала, замахала на него рукой:

— Что вы, нам тут хорошо! Чего лучше!

Проводница разглаживала ладонью свернутый, черный от копоти флажок, сгоняла складки к одному краю. Мелькнуло снаружи здание, мгновенно кинув тень, и опять красный свет солнца пронизал тамбур. Четко были видны у закопченного

стекла двое: молодая женщина держалась обеими руками за железные прутья, подняв лицо, восхищенно смотрела на капитана.

— Себя-то не жаль? — спросила проводница и глянула на Третьякова, сощурясь.— А мне вас вот таких жалко. Всю войну вожу, вожу и все в ту сторону.

## ГЛАВА XXIV

Костер шипел, просыхала вокруг него оттаявшая земля, пар и дым сырых сучьев разъедали глаза. Закопченные, суток двое не спавшие батарейцы сидели, нахохлясь, спинами на ветер, размазывали грязные слезы по щекам, скрюченными от холода пальцами тянулись к огню. И, сидя в дыму, дымили махоркой, грели душу. Мокрый снег косо летел в костер, на спины, на шапки.

Набив полное ведро снега, Кытин понес его к костру. Там больше дымило, чем горело.

— Фомичев! — крикнул он.— Плесни еще разок.

Подошел тракторист, шлепая по талому снегу растоптанными, черными от машинного масла валенками. Все на нем было такое же, в масле и копоти. Из помятого жестяного ведра плеснул в костер холодной солярки. Пыхнуло, жаром дало в лица. Кто спал, очнулся, обалделыми глазами глядел в огонь; снег, не долетая до огня, исчезал в воздухе.

Заслонясь рукавицей, Кытин боком, боком подступал к костру. С остатками солярки в ведре ждал Фомичев, весь черный стоял в косо летящем снегу, словно плечом вперед плыл ему навстречу. Глянув на его разбухшие от снеговой воды валенки, Третьяков подумал: переобуться надо. Он сидел на снарядном ящике, кашель сотрясал его; лоб, грудь, мышцы живота — все болело от кашля, слезящимся глазам больно было глядеть в огонь. Сколько раз на фронте — мокрый, заледенелый весь, и никакая простуда не берет. А попал в госпиталь, повалялся на чистых простынках в человеческих условиях, и вот на первом же переходе простыл.

Он с трудом стянул сырой сапог, размотал портянку. Босую ногу охватило ветром, озноб прошел по позвоночнику, во всем теле почувствовался жар. Укрыться бы сейчас шинелью с головой, дышать на озябшие пальцы, закрыть глаза...

Подошел к костру комбат в длинной шинели. Новый был в батарее командир, переведенный из другой части,— капитан Городилин. Говорили, что занимал он там должность помнач-

штаба полка, и поначалу казалось, не может он этой должности забыть, низко ему в батарее, оттого и держит всех на дистанции — и командиров взводов и бойцов,— с одним только старшиной советуется, и старшина уже перестал замечать командиров взводов. Но вскоре и через расстояние разглядели: комбат просто не уверен в себе. И как он ни хмурился грозно, ни покрикивал, приказания его, даже дельные, выполняли неохотно. Это уж всегда так, неуверенность в приказе рождает еще большую неуверенность в исполнении. И все вспоминали Повысенко: вот был комбат! Он и не приказывал, скажет только, а выполняли бегом.

Но Повысенко не было в полку, под самый Новый год его ранило. И во взводе у Третьякова несколько человек было новых. Присылали и на его место младшего лейтенанта, но не долго держатся командиры взводов управления, убило его раньше, чем фамилию успели запомнить. Кто Шияхметовым называл, кто Камамбетовым: «В общем, так как-то...» Все тот же Чабаров передал ему взвод, а приняли его в этот раз так, словно полвойны вместе провоевали, пошло сразу по взводу: «Наш лейтенант вернулся...» Даже тронуло, как встретили, почувствовал: вернулся домой.

Так же всеми своими белыми зубами на смуглом лице улыбался Насруллаев. Так же добровольно исполнял Кытин должность кухарки. Только Обухова, самого молодого во взводе, было не узнать. И он за это время побывал в медсанбате, но уложили его туда не пуля, не осколок: на одном из хуторов заразился Обухов болезнью, которую оставили немцы. Будь сорок второй год, угодил бы он за этот свой подвиг искупать кровью, брать какую-нибудь высотку, которую и дивизия взять не смогла. Но, на его счастье, времена помягче. «Обухов у нас награжденный,— говорили про него во взводе,— его и к медали представлять не надо». А он отчего-то возмужал, даже бас у него прорезался.

Подойдя к костру, комбат вынул дымящийся сучок, прикуривал от него, длинный в длинной шинели, с планшеткой на боку, а все уже чувствовали, что он сейчас скажет. Наступление шло не первый день, тылы отстали: продукты, горючее, снаряды — все осталось позади. По всем дорогам в мокром снегу и грязи буксовали завязшие машины, их вытаскивали, надрывая силы, и они еще глубже садились в грязь. В их артиллерийском дивизионе из трех батарей отстали две. Сначала шестая батарея обломалась. У нее забрали трактор, слили горючее, забрали снаряды и двумя батареями двинулись вперед. Потом и четвертая осталась позади — без горючего и снарядов. Пришлось бы их, пятой, тоже бросать одно орудие, если бы в прежней МТС

не обнаружили ржавый трактор ЧТЗ-60, такой же точно, как у них. Все годы простоял он при немцах среди железного лома. Трактористы из двух собрали один целый, и он, словно тут и был, потянул за собой пушку. Два орудия, два трактора, семнадцать снарядов — вот весь их дивизион, поспевавший за фронтом.

По дороге, в косо летящем снегу тянулись пехотинцы, все свое снаряжение и мины для минометчиков неся на себе. Их средство транспорта — жилистые, натруженные ноги в ботинках с обмотками, привыкшие месить грязь,— было самым надежным по этой погоде: человек не трактор, он и без горючего может идти. Пехотинцы тянулись на расстоянии друг от друга, оглядывались на огонь. Ветер толкал их в спины; там, куда они шли, ничего не было видно, даль как туманом заволокло. Низко над головами пыталась осилить ветер взлетевшая ворона, дергалась, дергалась толчками, будто вспрыгивала на ветер. Ее кособоко отнесло в сторону.

Комбат прикурил, кинул дымящийся сучок в огонь под ведро. В черной воде, тяжелой на вид, крутился в ведре последний нерастаявший комок снега.

— Обедать собрались? — Сощурился, послушал, как погромыхивает где-то слева: — Не придется обедать. Приказано занять огневые позиции. Командиры взводов — ко мне!

Кытин все еще смотрел в ведро. Потом с сердцем выплеснул воду в огонь. Пар взвился от зашипевших черных углей. И как ошпарило комбата, покраснел, подстриженные белые усики стали резко видны.

— Р-разговорчики мне!

Но никто не разговаривал. Вымотавшиеся до последней степени, когда уже и себя не жаль — суток двое без сна и почти без еды,— они были сейчас злы на комбата, что не дал сварить обед, злы друг на друга, как надо бы злиться на войну.

Третьяков натягивал сырой сапог, когда мимо проспешил командир огневого взвода Лаврентьев, самый старый из командиров по годам, тоже присланный в батарею недавно. Огромного роста, затянутый по животу на последнюю дырочку, он спешил к комбату с испуганным лицом, оскользался ногами по мокрому снегу, отчего казалось, приседает на бегу. Полы его шинели, как у пехотинца, были пристегнуты спереди к ремню. «Как баба»,— подумал Третьяков и встал. Он подошел к Городилину, сказал тихо, чтобы не слышали бойцы:

— Комбат, надо дать людям сварить обед.

И закашлялся.

— Вы что, больны? — спросил Городилин, брезгливо по-

морщась. Проверенный способ заставить подчиненного замолчать: ткнуть пальцем в его недостатки.

— Я не болен, я здоров. Люди уж сколько времени без горячего.

Он стоял, подчеркнуто готовый выполнять приказания, но говорил твердо. И видел, что не отменит Городилин приказания. Чем неуверенней в себе командир, тем непреклонней, это уж всегда так. И советов слушать не станет, и приказа своего не отменит ни за что, боится авторитет потерять.

— Карту достаньте,— сказал Городилин, как бы устав напоминать. Все было ясно. Третьяков достал карту. И тут комбат не удержался: — Я, между прочим, тоже без горячего все это время, как вы могли бы заметить. И ничего.

А если ты командир, так ты хоть вовсе не ешь, а бойцов накорми. Но снизу вверх учить не положено, смолчал Третьяков.

Тем временем Городилин ставил задачу:

— Вот — мы. Вот — противник. Предположительно! Пойдете в пехоту, узнаете, какая стрелковая часть впереди, связь установите. Задача ясна?

— Задача ясна.

— Выполняйте. Четырех разведчиков возьмете с собой.

Третьяков козырнул. По дороге к взводам Лаврентьев догнал его, пошел рядом. Он все же чувствовал себя неловко.

— Конечно, можно было обед сварить, чего там,— пристыженно за комбата сказал он.

Третьяков ничего не ответил, подумал про себя: «То-то ты и молчал». Но не ему переучивать Лаврентьева. Этот всю войну провоевал в противотанковой артиллерии, в гиблых сорокапятках, попал после ранения к ним в тяжелый артполк и не нарадуется, чувствует себя здесь, как в глубоком тылу. Он не станет возражать комбату.

Перебрели лощину. Сюда смело снег ветрами, подтаявший, он то пружинил упруго под ногой, то вдруг обваливался, и вылезали из него, черпая голенищами. Поле подымалось впереди, там хмурой стеной стояло небо, как будто все в копоти, перед ним свежевыпавший снег на гребне светло белел. Где-то слева глухо, отдаленно слышалась стрельба. Авиация не летала: при такой видимости отсиживаются летчики на аэродромах, играют в домино со скуки. У них, наверное, и аэродромы развезло: ни взлететь, ни сесть.

На гребне, в реденьких кустах, легли оглядеться. Закурили.

Сколько ни вглядывался Третьяков воспаленными от простуды глазами, нигде поблизости пехоты не было видно: ни окопов, ни землянок, никаких следов. Снежное поле, теряющаяся в испарениях сырая даль.

Пока лезли по снегу, потные, кашель перестал. Теперь он опять драл горло.

— Снегу поешьте,— посоветовал Обухов.

— Скажешь тоже!

Третьяков глотал теплый дым, задерживал его в горле. Слышно было, как с веток с шуршанием обваливается подтаявший снег, лицо ощущало рассеянный свет и тепло невидимого солнца, бродившего высоко где-то.

— Гляди! — показал он Обухову.

Над кустом, над мокрыми, тускло блестевшими голыми ветками, толклась в воздухе мошкара.

— Ожили, тепло чуют,— сказал Обухов.— Снег вон уже весной пахнет.

— Я сейчас запахов никаких не чувствую, заложило все.

Они говорили приглушенными голосами, все время прислушиваясь. Обухов раскопал под снегом у корня прошлогоднюю, замерзшую зеленую траву, пучком, как лук, сунул в рот, жевал, зажмуриваясь: зелени захотелось. А Третьяков всем своим воспаленным горлом почувствовал ледяной холод. Колени его, оттого что он становился ими на снег, были мокры, его знобило все сильнее, потягивало тело и ноги.

— На немцев не напхнемся, товарищ лейтенант? — спросил Обухов строго.— Похоже, что пехоты нет впереди.

— Похоже.— Третьяков встал первым.

Они отошли шагов тридцать, и затемнело что-то. Скинув ремень с плеча, Третьяков взял автомат на руку, махнул Обухову идти отдельно. Он правильно сделал, что не четверых разведчиков взял с собой, а одного. Позади небо было светлей поля, в темных своих шинелях они четко виднелись на снегу; подпустят немцы близко и положат всех четверых.

Из колышущейся, редеющей пелены проступал прошлогодний темный стог сена, подтаявшая снеговая шапка на нем. Если тут у немцев под стогом пулемет... Но никаких следов не было вокруг. Подошли.

— У нас тут случай без вас был в дивизионе, товарищ лейтенант.— И Обухов охотно присаживался спиной под стог.

— Хватит спину греть, пошли!

— Как раз только увезли вас...

— После войны расскажешь!

И опять они шли по полю, смутно различая друг друга. Их обстреляли, когда из сырой мглы уже проступили голые, мокрые тополя хутора. Оттуда засверкало, понеслись к ним трассы пуль: немцы и днем били трассирующими. Они уже лежали на снегу, а пулемет все не успокаивался, стучал над ними. Расползлись подальше друг от друга. Третьяков для верности, чтобы вызвать огонь еще раз, дал несколько очередей. И засверкало с двух сторон. Потом ударил миномет. Переждали. Вскочив, наперегонки бежали к стогу. Вслед пулеметчик слал яркие в тумане, сверкающие веера.

— Я говорил, пехоты нет впереди! — повеселев от близкой опасности, хвастался Обухов.

Третьяков набивал патронами плоский магазин немецкого автомата:

— Дураки немцы, могли нас подпустить.

У него в груди отлегло и вся простуда куда-то девалась.

— Вот погодите, жиманут немцы оттуда,— пообещал Обухов, будто радуясь.

— Если есть чем.

— У него есть!

Обратно шли веселей. И путь показался короче.

На огневых позициях ковырялись в грязи, рыли орудийные окопы. Комбат Городилин выслушал недоверчиво, снова и снова переспрашивал: «А наша, наша пехота где?» И опять заставлял рассказывать, как они шли, откуда их обстреляли: все никак не мог принять, что их батарея, тяжелые их пушки, стоят здесь без всякого прикрытия, почти без снарядов, а впереди — немцы.

— Давайте, комбат, мы левей пойдем, узнаем, кто там? — предложил Третьяков. Но тот отчего-то разозлился:

— Вы чем советы подавать... Советчики!

Сырой день рано стал меркнуть. Там же, на гребне, где они с Обуховым курили в кустарнике, заняли в сумерках наблюдательный пункт, дотянули сюда связь. Разведчики, греясь, по очереди долбили землю лопатой, по очереди вели наблюдение. Темнело. Туман сгустился, закрыл поле, и вскоре не видно стало ничего.

Земля, промерзшая в глубине, плохо поддавалась лопате. Насыпали небольшой бруствер впереди, наломали веток, натаскали сена. Сидели, вслушивались. Третьяков чувствовал, как жар подымается в нем. Сильно зябла спина, временами он не мог унять дрожь.

Было совсем темно, когда услышали шаги, тяжелое дыхание нескольких человек: кто-то шел к ним со стороны огневых позиций. Ждали молча. Тяжелое дыхание приближалось. Мутно посветлело у немцев: там, не взойдя, гасла ракета, задушенная туманом. При этом брезжущем свете разглядели четверых. Шли по связи. На полголовы выше других — Городилин, кто-то малорослый рядом с ним. Когда подошли ближе, узнали в нем командира дивизиона. Двое разведчиков сопровождали их.

Оказалось, подошла четвертая батарея, становится на огневые позиции. Комдив расспросил, что тут слышно. Расспрашивал и вглядывался в лица. Подумал.

— Ну что ж, комбат,— сказал он Городилину.— До утра останемся тут мы с тобой.

И, отправляя Третьякова на огневые позиции, чтобы там, в хуторе, он отлежался в тепле, сказал:

— А утром сменишь нас. Вот так будет правильно.

И сам себе кивнул.

## ГЛАВА XXV

Долгой была эта ночь. Он выпил за ночь полуведерный чугун воды, а жар не спадал, спекшиеся губы растрескались до крови. Казалось ему, что он не спит совсем, бред и явь мешались в сознании. Откроет глаза: при красном свете углей сидит у костра Лаврентьев, пишет что-то, подложив полевую сумку на колени, шевелит губами. И опять — красный сумрак между стропилами, кто-то другой у костра, черная тень колышется позади, заслонила полсарая: снится это ему или он видит? И все не кончалась ночь.

Несколько раз выходил наружу. Туман, в котором трудно было дышать, клубился от самой двери; из темноты сарая казалось, ступает он не через порог, а в белое облако; нога неуверенно щупала перед собой землю.

Утром проснулся мокрый от пота и слабый. Но чувствовал: здоров. Все как просветлело перед глазами, пустой сарай стал выше, больше. У стены умывался голый по пояс Лаврентьев, вздрагивал кожей. Пар шел от его мощного тела, от волосатых лопаток, он покряхтывал, с удовольствием плюхал себе под мышки, с груди и живота текло.

Третьяков сел на земляном полу. Лицо обтянуло за ночь, глаза ввалились, он чувствовал это. Подумал, глядя на кучку золы и пепла от костра: там жар остался, чаю бы согреть. И увидел, как сняло воздухом, повлекло легкий пепел. В двери

сарая, распахнутой рывком, стоял боец. Он еще сказать не успел, а Третьяков уже на ощупь искал шапку в соломе.

— Танки!

В дверях замелькали на свету бойцы. Пробегая, Третьяков видел, как Лаврентьев натягивает на мокрое тело гимнастерку: влез в нее до половины, а дальше плечи не проходят, машет руками вслепую.

Снаружи оглушил железный стрекот. Бежавший впереди боец поскользнулся на мокром снегу, испуганно вставал. И вдруг метнулся в сторону, пригибаясь к земле.

— Куда? — крикнул Третьяков, как кнутом стегнул.— Назад!

Ниже пригнувшись под криком, боец кинулся к орудийным окопам. Там уже топтались расчеты, разворачивали тяжелые орудия, множество напрягшихся ног месило сапогами мокрый снег с грязью.

— Вон! Вон они! — из-за щита указывал рукавицей Паравян и обернул красивое лицо, бледное до желтизны.

Туман невысоко поднялся над землей, в непрозрачном от испарений воздухе было видно метров на сто пятьдесят от орудий. И там, как тени, мокрые деревья означили дорогу: с холма в низину и снова на холм. За этой чертой все сливалось: и серый, осевший за ночь снег, из которого вытаивала земля, и пасмурная, как перед вечером, даль. Третьяков глянул туда, сердце в нем сорвалось, мгновенно ослабли ноги. Возникая за деревьями, двигались по дороге бронетранспортеры; тупые, тяжелые туши их были как сгустки тумана. И сразу, только увидал, слышней, ближе стал рев моторов.

— Один, два, три...— считал Паравян.

Бронетранспортеры выходили во фланг, а с фронта, куда тянулся провод к наблюдательному пункту, было все так же тихо.

— К бою! — закричал Третьяков, обрывая в себе минуту растерянности, и вспрыгнул на бруствер. И от второго орудия эхом отдалось: «...бою!» Там стоял Лаврентьев, рукой попадал в рукав шинели.

Бронетранспортеры все возникали на холме, шли в тумане, смутно перемещаясь за деревьями.

«Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать»,— считал про себя Паравян.

Звонко била кувалда по металлу: это Насруллаев в одной гимнастерке забивал сошники в мерзлую землю. Он косо взмахивал из-за плеча, ударял и вскрикивал. Расчет ждал за щитом, оглядывались на него. Ствол орудия, нацеленный на дорогу, медленно перемещался.

— Упреждение — один корпус! — сверху сказал наводчику Третьяков, а сам вглядывался, встряхивал головой. Что-то мешало ему, хлопало по щекам. Только тут заметил: как спал в шапке с опущенными наушниками, так и стоит в ней. От нетерпения, чтоб руки занять, снял с головы ушанку, прижав к груди, заворачивал наушники. Стоя с непокрытой головой, смотрел на дорогу, дышал тяжело. Пальцы дрожали, никак не могли завязать тесемки. Он уже видел, знал, каким коротким будет этот бой. Девять снарядов у их орудия, восемь — у второго. А бронетранспортеры все возникали из-за холма. Звон кувалды отсчитывал время. В тот момент, как Насруллаев отбросил кувалду, он махнул шапкой: — Огонь!

Полыхнуло, дрогнула земля под ногами. Огонь взлетел за дорогой, там, падая, качнулось в тумане дерево. Еще несколько раз взлетал огонь: то на поле, то за дорогой. Наводчик торопился, нервничал. «Сейчас погоню его!» Сыпануло по щиту, с шипением зачмокали в грязи раскаленные пули. Отовсюду над полем понеслись к орудию огненные трассы пуль. Развернувшись от дороги, бронетранспортеры шли на батарею. Они вылезали из тумана, редел клоками перед ними туман, и от каждого сверкало, сверкало огнем, низко рубили по полю огненные трассы. Видно было, как из бронетранспортеров выпрыгивают автоматчики, бегут позади толпой и от них тоже неслись трассирующие нити.

— Чабаров! — закричал Третьяков, спрыгнув в окоп. Он увидал мелькнувшее по другую сторону орудия побитое оспой нахмуренное лицо Чабарова.— Пехоту отсекай огнем! — А сам дышал над ухом наводчика: — Не торопись. Целься. Не торопись.

И в уме свой счет шел: пять снарядов осталось. Пять выстрелов. Бахнуло второе орудие. Где-то позади грохотала четвертая батарея. Значит, там тоже прорвались немцы.

Завыло низко. Мина! У наводчика дрогнула спина. Не отрывая глаза от панорамы, продолжая целиться, он весь поджимался спиной, чувствовал эту летящую мину. По мокрой щеке его тек пот, мутные капли дрожали на подбородке.

Мина еще выла над ними, когда орудие выстрелило. Из-за щита Третьяков видел: вырвавшийся вперед бронетранспортер, прыгающие через борта автоматчики — один, в каске, с поднятым над собой автоматом, подогнутыми ногами в прыжке, уже в воздухе был — все это взорвалось белым огнем, огненные брызги летели далеко во все стороны — в лоб влепило.

И тут же одна за другой разорвалось несколько мин. Когда

Третьяков поднялся, весь в жидкой грязи, кто-то шевелился слепо между станинами, стонал. Живые подымались один за другим. А от второго орудия уже хлынул расчет. С расставленными станинами, нацеленное на поле, оно стояло в окопе, а они бежали, и крупней, выше других — Лаврентьев в распахнутой шинели. Плеснулся плоский разрыв, разметав бегущих. Хватал себя за спину руками, перегибался на бегу, падал Лаврентьев.

И опять чей-то крик:

— Танки!

Они выходили от деревни, от Кравцов,— в тыл батарее. Рухнул сарай, в котором ночевали, двинулся вперед, разваливаясь. Под ним ворочался танк, поворачивая башню с пушкой, бревна катились с него, сползала набок соломенная крыша. Брошенное в окопе орудие подпрыгнуло, словно выстрелило само, и осело в дым разрыва.

Пригибаясь под пулями, Третьяков увидел это, увидел опять бронетранспортеры, идущие по всему полю, полыхающие огнем, страх на лицах заметавшихся людей. Замок снять с орудия... И не успел крикнуть: разрыв мины кинул всех на землю. Лежа, вжимаясь в грязь, ловил на слух звук мины, летящей в окоп. И страшная мысль давила: положили, а сами ворвутся сейчас. Близкий вой мины. Рычание моторов. Третьяков приподнялся на руках.

— К оврагу бегите! К посадке! Там снег...

Упал раньше разрыва. Грохнуло. Оторвал голову от земли:

— К посадке! Там снег глубокий! Туда всем!..

Рвануло на бруствере. Лежал, зажмурясь. Провизжало над головой. Вскочил:

— Паравян! Замок снимай! Быстро!

Паравян стоял в окопе, рукой держался за орудие, лицо синело. А в боку... Увидел и глазам не поверил: в боку его, свежекрасное, сочащееся, раздувалось, дышало оголенное легкое. Оно дышало, а Паравян задыхался без воздуха, хватал его мертвеющим оскаленным ртом.

Чьи-то трясущиеся руки мешали снять замок. Насруллаев. Детски ласковые, бесстрашные глаза преданно глянули на него.

— Беги, Эльдар!

Прижав тяжелый замок к животу, Насруллаев выглянул, побежал.

Паравян сидел на земле. Лицо облито слезами и по́том, тусклый блеск меркнущего зрачка. Стоя на коленях, весь напряженный, Третьяков сыпал в карман шинели автоматные патроны. Наверху стукали выстрелы. Накинул на шею ремень

автомата. Пригибаясь, выскочил из окопа. По всему полю бежали люди. Озирались на бегу, падали, вскакивали, бежали. Бронетранспортер сбоку налетел на Насруллаева. Тот бросил замок, помчался, выгибаясь. Трассирующая очередь срубила его. Распластанный, он еще пытался встать. Третьяков не видел, как его накрыло гусеницей, но крик его нечеловеческий полоснул по сердцу.

Он бежал под пулями, задыхался, чувствовал, как слабеют, отнимаются ноги. Воздуху не хватало. В глазах темнело, плыло, и манил, тянул к себе свежий клин снега. Под конец уже не бежал, шел на подгибающихся ногах, всасывал в себя воздух обожженными легкими. Упал лицом в снег. Рев мотора с неба мчался на него.

## ГЛАВА XXVI

В великом весеннем наступлении 1944 года, развернувшемся на юге Украины, немецкий контрудар в районе Апостолово ничего уже не мог изменить — ни хода войны, ни хода истории. Он только временно замедлил наступление на этом участке и ничего не значил в масштабе происходивших событий. Но у людей, которые отражали этот нацеленный на них удар, была у каждого одна, единожды дарованная ему жизнь.

Необычайно ранняя весна за месяц до срока превратила зимние дороги в черноземные топи, тяжелая техника тонула в них, увязали машины со снарядами, тылы растянулись на полтысячи километров, и горючее, которое везли к фронту, сжигалось на дорогах. Но подтянули артиллерию, подошел танковый корпус, погнал прорвавшуюся группировку, и те же самые немецкие танки и бронетранспортеры, которые прошли через огневые позиции артиллеристов, расстреливая и давя живых, теперь, подбитые, сожженные и целые, увязшие в грязи, брошенные, стояли по полям.

На третий день хоронили погибших батарейцев. Снег стаял совсем, только в низине и у посадки, куда зимой намело его ветрами, сохранились грязно-серые клочья. Блестели на солнце лужи, и среди них по всему полю лежали убитые. В шинелях, впитавших в себя воду, в мокрых ватниках, окоченелые, лежали они там, где настигла их смерть. Пахотное поле у хутора Кравцы, на котором из года в год сеяли и убирали пшеницу и куда каждую осень выгоняли на стерню гусей, стало для них последним в жизни полем боя. И живые, оскользаясь по жирному чернозему, с трудом вытягивая из него сапоги, ходили, разыскивая и узнавая убитых.

Недалеко от посадки, метрах в двухстах пятидесяти от того места, где сам он упал в снег и где последняя пулеметная очередь прошла над ним, разыскал Третьяков Насруллаева. Тот лежал в облепленных пудами чернозема сапогах, раздавленные ноги были неестественно вывернуты. Лежал он навзничь, ватник над оголенным желтым животом сбился к подбородку, кисть руки, которой он в последнем усилии заслонил глаза, закостенела над ним на весу и отражалась неподвижно в спокойной снеговой воде лужи, по которой скользило белопенное облако. Как он кричал тогда! Темная раковина мученически оскаленного рта, казалось, и сейчас хранит немые отзвуки того крика.

А впервые Третьяков увидел его, когда принимал взвод, и запомнил с того раза. Бойцы, голые по пояс, рыли щели за хатой, и среди облитых потом, лоснившихся на солнце тел заметно выделялся Насруллаев, могучий, как борец, грудь по самое горло заросла черным волосом. Попалась еще в списке фамилия Джеджелашвили, и Третьяков почему-то подумал, что это он и есть.

В орудийном окопе, между раздвинутых станин, спиной опершись о станину, сидел Паравян, голову без шапки уронил на грудь. Со стриженого затылка к уху — засохшая полоса крови. Значит, был еще жив, кто-то из немцев, зайдя сбоку, дострелил его.

Девятнадцать человек подобрали на поле и похоронили у Кравцов. Лаврентьева среди них не было. Многие видели, как падал он, запрокинувшись, хватая себя руками за спину. Может быть, жив был и немцы угнали его в плен. Дострелили где-нибудь по дороге, когда на них нажали. Всю войну пробыл он в противотанковой артиллерии, радовался, что после госпиталя попал в тяжелый артполк, старался очень, все ему тут было хорошо. Говорил: «Тут у вас воевать можно!»

Яркий, весенний день. Мокрый блеск солнца. А у Третьякова что-то опустилось на глаза, притемняет сверху и день и небо — тень легла на все.

На хуторе во дворах набито войск. Всюду машины, кони, пушки, снуют бойцы из двора во двор, костры горят на земле, дымят кухни. Какая-то часть подошла ночью. Пахнет дымом костров, конским навозом, бензином.

Из ближнего двора Третьякова окликают:

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!

Весь его взвод сидит у пригретой солнцем белой стены хаты. Перевернутая бричка без колес, как стол, вокруг нее разместились кто на чем. Ему освободили место. Рыжеватый, с морковным румянцем во всю щеку боец сбегал к кухне, в угол двора, где гуще народа, толкотня и крик, принес котелок супа. Он без шине-

ли, широк в плечах, узкобедрый, сильно затянут ремнем. Беря котелок, Третьяков пристально глянул ему в лицо. Под белыми ресницами — рыжие веселые глаза. Джеджелашвили. А все еще видел Насруллаева, давило ему на лоб, незримый козырек нависал над глазами, застил свет солнца. Нет, он не контужен, но какой-то оглушенный он, никак в себя не придет: видит все, слышит, а понимает с опозданием.

Только отхлебнув, он посмотрел, что ест. В котелке — суп-пюре гороховый, густой и желтый. И с этой ложкой, закрыв глаза, он мысленно помянул тех, кого уж нет с ними сегодня. Они все еще были здесь, вот так же могли толкаться сейчас у кухни, сидеть на солнце.

Глиняная, побеленная стена хаты была побита осколками. На ней жужжали, ползали облепившие ее мухи. Изумрудно-зеленые, синие, вялые после зимы, они оживали на весеннем солнце. Зачем погибли люди? Зачем гибнут еще? Ведь кончена война, кончена. И уже не изменить это: победили мы. Но вот оттягивают час своей гибели те, кто ее начал, и еще вышлют они к фронту не одну дивизию, и пехотную и танковую, и люди убивают друг друга и погибают, и скольким еще погибнуть суждено.

— «Рама»! — кричат во дворе. И по всему хутору из двора во двор перекидывается крик: — «Рама»!

Двухфюзеляжный немецкий разведчик «фокке-вульф» кружит высоко в небе, гудит. Солнце слепящее, кучно вспыхивают в синеве белые зенитные разрывы, сопровождая самолет, а его самого не видно, только иногда взблеснет коротко на солнце что-то алюминиевым блеском. И все, подняв лица, смотрят с земли. Сколько за войну видел Третьяков сбитых самолетов, но ни разу не видал, чтобы сбили «раму». Белые хлопья зениток всё вспыхивают и вспыхивают, отставая от них, отдельно и глухо слышны за толщей воздуха в вышине частые разрывы.

Вспрыгнув на бричку, Кытин палит вверх из карабина.

— Слезь! — говорит ему Чабаров.— Что ты ее, собьешь?

И Третьяков, которому надоело хлопанье над ухом, говорит:

— Слезь!

Расстреляв обойму, Кытин смеется, довольный:

— Подыхать полетел.

Джеджелашвили собирает котелки, идет мыть их в луже: сегодня он «за кухарку». Все закуривают махорку. Солнце размаривает у стены. Живым — живое. Чабаров рассказывает, как у них в Татарии вялят гусей весной:

— Вот самое такое солнце у нас в марте. Снег еще, солнце

яркое, пыли нет, мух нет. Гуси жирные ходят по двору. Вяленого гуся поешь, никакой другой закуски не захочешь.

— Ну! — торопит Обухов.

— Чего ну? — Чабаров не любит, чтоб его перебивали.

— Вялите их как?

— Совсем просто...

В конце улицы показался из переулка «виллис» командира полка. И уже кричит кто-то:

— Первый дивизион!..

— Эх, сержант,— говорит Кытин,— только мы твоих гусей распробовались...

В соседнем дворе взрокотал мотор трактора, пронзительно заржала лошадь.

## ГЛАВА XXVII

Влажные, теплые ветры с моря гнали весну на север, обнажая от снега обширные равнины, а на юге подсыхали дороги, и по всему правобережью Украины шло наступление наших войск. Уже и Кривой Рог и Никополь остались позади, уже форсировали Ингулец, смело устремившись в прорыв, шли освобождать Одессу.

«...У нас вся жизнь от сводки до сводки,— писала мать.— Вот не было от тебя писем, и прямо камень на сердце. Днем как-то услыхала твой голос, ясно услышала, как ты позвал меня. И ходила сама не своя. Потом Ляля прибегает с улицы, почтальона встретила. Мы с ней обревелись от радости, читаем обе и ничего сначала не поймем. Ты, конечно, обманываешь меня, чтобы я не волновалась, а бои у вас были, наверное, страшные, если даже по радио про это Апостолово упоминали...»

И Саша писала: «...Я все уговариваю маму не сажать огород этой весной, а она боится. И Фая говорит: «Накопаете картошки осенью, с ней и поезжайте, а без нее вы — чо?» А я уже не могу, домой хочется. Самое страшное пережито, теперь как-нибудь. Да! Совсем забыла написать: у Фаи — девочка. Такая веселенькая, такая разумная, меня уже знает. И совершенно ни на кого из них не похожа».

Теплый ветер трепал в пальцах два тетрадных листка: из Лялькиной и Сашиной тетрадей.

Невысоко поднявшееся над степью солнце пекло спину сквозь шинель, зимняя шапка на затылке парила голову. Потряхивало на тракторе, укачивало в сон. Отяжелевшие веки сами закрывались.

Позади, повернув лицо к солнцу, командир орудия Алавидзе

пел по-грузински что-то красивое, похожее на молитву — должно быть, встречал всходившее солнце. Оборачиваясь, Третьяков видел: Алавидзе сидит на орудии, а внизу, рядом с ним, идут по дороге Джеджелашвили и замковый Кочерава, густо заросший черным волосом по самые брови. Оба ждут страстно, пока Алавидзе выводит мелодию, смотрят снизу на него. Кочерава взмахивает шапкой, и в два тонких женских голоса они подхватывают песню, идут нахмуренные, решительные, как на бой. И уже кто-то бежит к ним от другого орудия.

Фомичев, управляясь с рычагами трактора, крутит головой:

— Должно, на погоду. У их так: один запел, все — как по команде. Вон еще двое бегут, опоздать боятся.

Ему завидно немного, он усмехается, чтоб себя не уронить.

Солнце нежарко пригревает, воздух колеблется над степью, беззвучно встают дымы разрывов. Когда сидишь на тракторе рядом с мотором, странная, беззвучная война кругом. Временами рокот мотора выпадает из слуха; вздрогнув, Третьяков просыпается. Складывает письма по сгибам в два треугольничка. Где-то его письма разминулись с ними в дороге, долго они будут идти по почте полевой; наверное, Одессу раньше возьмут.

Брошенное немецкое орудие стоит у самой дороги. Почему-то немецкие пушки всегда выглядят массивней, тяжелей наших. Камуфлированное, желто-пятнистое, оно увязло, а вытянуть уже не успели. И танк немецкий стоит, башня с орудием далеко отброшена. Вот так в сорок первом году поле боя оставалось за ними, и все, что подбито, цело или вновь будет восстановлено, все оставалось у них. Теперь поле боя — за нами. И те бронетранспортеры, что давили батарею у Кравцова, наверное, недалеко ушли.

Третьяков прячет письма в нагрудный карман гимнастерки, достает оттуда зеркальце в кожаном футляре. Зеркальце хорошее, двустороннее, небьющееся: полированная сталь. Вчера на закате солнца его разведчики вместе с пехотой ворвались в рощицу. Какая-то немецкая тыловая часть стояла там. Бежали, все побросав: горючее осталось в бочках, врытых в землю, ящики консервов; в повозке, в сене, нашли бочонок вина и там же — брошенный офицерский мундир с железным крестом и вот этим зеркальцем в кармане. Наверное, бежал — об одном бога молил: живым остаться. А теперь, если жив, креста жаль: новый, наверное, не выдадут. Железным крестом Обухов забавляется, говорит: вернусь с войны, повешу собаке на ошейник — пусть гавкает.

Сняв шапку, положив на колени, Третьяков разглядывает себя в стальном зеркальце, обрывками сонных мыслей думает о Саше, о матери, о Ляльке, о том, что впереди Одесса, Черное море. Ни разу в жизни он еще там не бывал. Возьмут Одессу — и спать! Суток двое. А что, правда, объявили бы так и нам и немцам: спать! Повалились бы все и спали беспробудно. Только на войне так не бывает. На войне — кто первый не выдержит. Страшно подумать, сколько всего было за эти годы. И это еще он в сорок первом году не воевал. Из тех, кто воевал тогда, мало сегодня осталось. Вот их, погибших в сорок первом, когда все рушилось, особенно жаль. Ведь они даже издали не увидели победы.

Мама и Лялька заранее поздравляют его в письме с днем рождения: двадцать восьмого апреля ему двадцать лет. Когда-то казалось: двадцать пять лет — это уже старый человек. А что было в этот день год назад? Был он тогда в училище, стоял на посту, охранял артпарк. На посту, если не в мороз, лучше всего стоять ночью. Стоишь себе один, звезды над тобой светят, а ты думаешь о чем хочешь. Только ночью у курсанта мысль свободна, так ночью он как раз спит. А днем и минуты нет подумать о себе.

Трактор идет тряско, все скачет в зеркальце: то лоб мелькнет, поделенный загаром пополам, свалявшиеся под шапкой волосы, то — подбородок.

Над дорогой, над головами, беззвучно уходят в зенит три звена наших истребителей. С высоты им видно все, что делается на земле. Виден, наверное, их тяжелый дивизион, растянувшийся на марше. Вместе с мотопехотой, с легкой артиллерией он кинут в прорыв поддерживать танки. Видно, наверное, как впереди танки ведут бой.

Этой ночью они въехали на станцию, а там под парами стоял немецкий эшелон. Оказалось, он прибыл с ранеными уже после того, как наши танки с ходу проскочили станцию. Немцы разбежались по хатам, попрятались, жителей не выпускают. После пехота переловила их на огородах, по погребам, кого-то и постреляли в ночной суматохе. А многие до сих пор бегают, где-то скрываются, ночами будут пробиваться к своим.

Под тарахтение трактора от равномерного потряхивания Третьяков задремывает и тут же, как показалось ему, просыпается. Но местность уже другая, вся накрененная под скат, и близкий горизонт теснит глаз.

Что-то происходит впереди на дороге. Там на коне, высоко над всеми,— командир дивизиона. Он маленького роста, потому всегда старается взобраться на что-нибудь повыше. Конь кру-

тится под ним, переплясывает, офицеры стоят вокруг, комдив над их головами указывает рукой. И уже шестая батарея, которая шла впереди, сворачивает в сторону, трактора поволокли орудия по полю.

Спрыгнув, Третьяков бежит туда, а оттуда бежит ему навстречу Городилин, кричит издали:

— Алавидзе где?

Он это последнее «дзе» произносит так, что получается у него «Алавидзя».

— Здесь Алавидзе!

— Давай с ним вместе орудия вон в ту балку. Развернешь на дорогу. Сектор обстрела...

Подвывавший над ними снаряд разорвался на поле. И сразу слышно недалекую строчку пулеметов. Может, они и все время строчили, только за рокотом мотора слышно не было?

— Что случилось, комбат?

— Приказано занять оборону. Правей где-то немцы прорываются к своим.

— А наши танки?

— Танки — впереди. В общем, так: батарею я сам поставлю. Кустарник видишь? Давай машины со снарядами туда. Укрытие найди. Быстро!

Третьяков бежит к машинам, на бегу созывая взвод:

— Чабаров! «Форда»-восьмерку — вон в тот кустарник!

А сам впрыгнул на подножку ЗИСа. По другую сторону впрыгивают на ходу Обухов и Кытин с автоматами. ЗИС старый, кабина деревянная, полвойны прошел. Удерживаясь рукой за дверцу, вместе с подножкой подпрыгивая над пахотой, Третьяков указывает дорогу шоферу, а сам из-за кабины оглядывает местность, хочет понять, что происходит. Видно, как расползаются по полю батареи. Еще несколько разрывов встают на поле. Тяжелыми бьет. Кто-то на коне прожег по дороге, только пыль схватывается следом. И все уже иное стало, как перед боем, и солнце строже светит.

Наклонясь к шоферу, Третьяков показывает ему, с какой стороны заезжать. Он высмотрел крутой склон, надо стать на него, самое хорошее укрытие. Шофер кивает, а он, спрыгнув с подножки, бежит назад: там забуксовал трофейный «форд».

Он и ста метров не отбежал, когда одна за другой полоснули автоматные очереди. Машина стояла, Обухов на подножке ее держал перед собой автомат, Кытин с наставленным автоматом в руках пятился от машины, боком, боком, подвигался к кустам, как будто что-то обходя. Третьяков уже бежал к ним, выхватывая пистолет на бегу, слышал, как Обухов, сам бледный, палец держа на спуске, кричит чужим голосом:

— Хенде хох! — И поторапливает издали стволом автомата: — Шнель, шнель!

Увидел, что лейтенант бежит к ним, крикнул радостно:

— Мы на них чуть колесом не наехали!.. Лежат... Чуть не подавили всех!

Из кустов подымались головы немцев, нерешительно тянули руки над собой. Набежав, махая на них пистолетом, Третьяков отогнал немцев на поле, Обухов, Кытин и вылезший с карабином шофер, сам перетрусивший не меньше немцев, нацеленными дулами сопровождали их. Прибежали разведчики от другой машины, рыскали по кустам. Еще откуда-то бежал народ.

— Где их взяли?

— Гляди, гляди! У-у, зверюга! У-у, глядит как!..

— Тут и лежали?

— Колесом чуть не наехали.

— Тут вот в кустах?

— А я слышу — стрельба...

Четырнадцать боящихся расправы немцев стояли на поле, жались в кучу, по лицам пытались понять, что их ждет, испуганно опускали глаза под взглядами. Все лица, стирая на них человеческое выражение, комкал страх. Озирались. Затаенно вслушивались в недалекую стрельбу. На нескольких белели бинты.

Еще двоих поднял в кустах Чабаров и гнал пинками, бегом. С поднятым в руке автоматом бежал за ними, успевая пинать с обеих ног. Бойцы — кто с хохотом, кто зло посверкивая глазами — ждали. Немцы беспокойно пожимались. Добежав, двое ткнулись в толпу, толпа дрогнула. И сейчас же офицер, стоявший ближе других к Третьякову, улыбкой выпрашивая позволение, опустил единственную поднятую вверх руку — другая, толсто обмотанная бинтами, на перевязи висела перед ним,— суетливо доставал что-то из полевой сумки, достал, протягивал издали Третьякову, лопоча по-своему. С лица его, как умытого, падали мутные капли. Немец держал в руках целлулоидный круг и артиллерийскую координатную мерку, не такие, как у нас, непохожие, совал их, поощряя взглядом, кивал, кивал. Третьяков инстинктивно отстранялся. И неожиданно для самого себя громко сказал немцам:

— Нихт шисен! — И жестами показывал, что их не расстреляют.— Арбайтен! Нах Сибирь!

Пленные зашептались, засквозили на лицах бледные улыбки. Недалеко разорвался прилетевший из-за гребня немецкий снаряд, и чей-то потаенный злорадный взгляд из толпы поймал на себе Третьяков.

Расталкивая пленных, Чабаров отбирал у них оружие, в общую кучу кидал на землю полевые сумки, ранцы.

— Чего с ними делать со всеми? — спросил он.

— Что делать? — И, разозлясь на себя за внезапную жалость, Третьяков крикнул, чтоб все слышали: — Сколько в них будет во всех лошадиных сил? А ну, гони, пускай «форд» вытолкнут.

Под хохот бойцов Обухов погнал пленных к застрявшей в пахоте машине:

— Арбайтен! Арбайтен!

Не сразу поняв, что от них требуют, немцы облепляют машину, не столько выталкивают, как жмутся к ней.

Бойцы кричат:

— А ну, рраз-два! Рраз-два!

— Раскачивай! Раскачивай!

Просвистело над головами, несколько разрывов взлетает недалеко. В кузове — снаряды. Если в них попадет и они рванут, от немцев, облепивших машину, от бойцов, помогающих криками, останется одна общая воронка. Немцы налегают осмысленно, кто-то свой командует им, и грузовик, завывая мотором, дрожа от усилий, несколько раз почти выезжает наверх и опять скатывается в яму, вырытую колесами. Налегают снова, открыв дверцу, шофер что-то кричит, опять машина, вся сотрясаясь, ползет наверх. В последний момент, не выдержав, набегают бойцы, вместе толкают плечами, руками, сапоги упираются в отъезжающую из-под ног землю. Задрожав в последнем усилии, грузовик выкатывается, отрывается, и все вместе по инерции бегут за ним несколько шагов и останавливаются. Общие от общей работы улыбки сходят с лиц.

— А ну, давай их... Кытин, Обухов! — хмурясь, оттого что слышит летящий снаряд, приказывает Третьяков.— В тыл их... Давайте... Быстро! — продолжает говорить он и слышит, что снаряд летит сюда, и немцы тоже слышат это, и все слышат.

Кузов грузовика, тяжело переваливаясь, удаляется, будто оседает в кустах. Два взрыва один за другим встают на поле, заслонив его. «Мимо!» — успел подумать Третьяков. И тут сильным ударом, так, что он еле устоял на ногах, швырнуло в сторону левую его руку. Закричали пленные, расступились. На земле корчился немец. Третьяков попробовал поднять руку, она странно переламывалась, свисала в рассеченном рукаве. И вот когда началась боль, замутило до дурноты. Зажмуриваясь, как от горячего, стиснул зубы, пытаясь болью задавить боль. Увидел мгновенно, как в занесенной руке Чабарова блеснул приклад автомата, высокий немец шатнулся от него, пальцами закрыл разбитое лицо.

— Не бей! — крикнул Третьяков и не осилил себя, застонал.

Часа через полтора врач полка, совместив перебитые кости, прибинтовал ему шину к руке.

— Выше подтяни ему,— говорил он сестре, которая вешала руку на косынке.— Еще вот так.

И полюбовался на свою работу.

— Отрежут мне руку? — спросил Третьяков, не сумев скрыть испуга.

Врач улыбнулся, привычно бодрым тоном сказал:

— Вы еще этой рукой повоюете. Еще будете немцев бить этой рукой. Если, конечно, война не кончится раньше.

— Спасибо, доктор! — поблагодарил Третьяков.— Третий раз и все в эту руку.

— Третий — значит, последний. В жизни все до трех раз.

Раненых было не много, все они, кто мог ходить и ползать, сползлись на солнечную сторону дома, ждали отправки, и врач тоже вышел на улицу постоять.

— А что, много там немцев? — спросил он, прислушиваясь к недалекому погромыхиванию орудий.— Большими силами прорываются?

Теперь Третьяков уловил в его голосе некоторую тревогу.

— Да нет, непохоже. Но вы на ночь все же выставляйте посты.

— Из кого?

— Да хоть из легкораненых, которые при санчасти.

— Раненые должны выздоравливать,— сказал врач, и на лице его с поднятыми бровями появилось философское выражение.

— Захотят жить, постоят.

Третьяков неловко пошевеливал плечом, боль прожгла насквозь. Хмурясь, он наблюдал за сержантом, усатым, здоровым, крепким, который, с веником выйдя из дома, подметал у крыльца, согнувшись, старательно пылил.

— Лодырей своих не жалейте,— сказал он врачу.— Тут немцы бродят, учтите. Днем остерегаются, мы чуть колесом их не подавили, спасались в кустах, а ночью... Оружие валяется везде.

Подошла санитарная повозка, начали грузить раненых. Решив для себя, что ехать ему во вторую очередь, потому что есть тут раненые похуже, Третьяков в шинели внапашку сидел на ступеньках крыльца, смотрел, как распоряжается у повозки санинструктор, молодая, властная, резкая; ездовой только вздрагивал от ее голоса, опрометью кидался исполнять, и все — не в ту сторону.

Погрузили тяжелораненого. Его положили в солому на дно повозки, он слабо постанывал. Кто мог, ковылял сам, стараясь

казаться жальче, чем есть. Достав зажигалку из кармана, Третьяков закурил, глубоко и сладко вдохнул дым, рассматривал полу своей шинели, вкось забрызганную его кровью, уже присохшей, ржавой. Он попробовал оттирать ее, сминая сукно в пальцах. Боль, приглушенная новокаином, сейчас не слишком тревожила его, такую боль терпеть можно. Не раз еще будут с кровью отрывать бинт от живой раны, пока она не загноится и повязка сама начнет отставать. Мысленно он уже видел весь путь, который ожидает его. В этот раз, наверное, загипсуют руку. Вспомнился парень в санлетучке, как он щепочкой вынимал червей из раны. Вот что, наверное, терпеть трудно, когда чешется под гипсом...

— Лейтенант! Иди!

От повозки врач звал его и махал рукой. Решив с самого начала, что места ему не будет, и настроившись так, Третьяков обрадовался. Подошел.

— Садись,— говорил врач.— Езжай.

И в путь осторожно похлопал по спине.

Теперь, когда его отправляли в тыл, он почувствовал смутную вину перед теми, кто оставался. И тут заметил пожилого бойца у стены хаты. Он сидел на земле, вытянув ногу в свежих бинтах, усмехнулся нехорошо и сразу опустил глаза. Третьяков помедлил.

— Возьмите вот этого,— сказал он врачу негромко.— Я ходячий.

Но боец услышал, закопошился на земле, весь перегорбившись, опираясь на палку, запрыгал к повозке. Все так же с опущенными глазами лез в нее, как человек, который отбирает свое. И сразу заторопил ездового:

— Ну, чего? Поехали...

— А ты не командуй! — сорванным голосом закричала на него санинструктор. Она сидела рядом с ездовым.— Раскомандовался... А то погоню сейчас!

Тот как не слышал, словно все это — не ему. Она подвинулась на доске, лежавшей поперек, сердито сказала Третьякову:

— Садись, лейтенант. Всякий командовать тут начинает...

Он пожал руку врачу, зачем-то огляделся последний раз, влез, сел с ней рядом. Ну, все. Какой-то свой круг завершила жизнь.

И вот он ехал спиною к фронту. Взвод его, война — все оставалось позади. Запахом конского пота наносило от лошадиных спин, короткая рыжая шерсть на них лоснилась по-весеннему ярко. Светило солнце, вся дымчатая лежала степь, тени облаков паслись на ней, голубым видением вставали вдали то ли

холмы, то ли горы. И высоко над головою, в высоком ослепительном небе, строй за строем шли белые кучевые облака. Как хорошо в мире, боже ты мой, как просторно! Он словно впервые вот так все увидал.

Тень облака скакнула на спины лошадям, лицом, сощуренными от солнца глазами он мгновенно почувствовал ее.

— Придержи чуть,— сказал он ездовому и, когда тот натянул вожжи, слез, пошел пешком. Ему растрясло рану, она болела опять. Но рана, он знал, поболит и перестанет, а на душе у него было спокойно и хорошо. Он шел, держась здоровой рукой за повозку. Санинструктор глянула на него сверху тяжелыми от недосыпания, остановившимися глазами, подвинулась на край доски, на его освободившееся место.

— Давно воюешь? — спросил он, чтобы разговором отвлечься от боли. Она зевнула:

— Достань закурить.

Она была совсем молодая, губы пухлые, рот маленький. Прижмуривая один глаз, она привычно прикурила от цигарки ездового, закашлялась хрипло с первой затяжки.

Тень облака, идущая по степи, накрыла овражек. И что-то вдруг там насторожило Третьякова. Он не знал что, но это было как предчувствие опасности. Всё время по привычке сознавая себя старшим, он наблюдал за местностью: и сверху, когда ехал, и теперь, когда шел.

Лошади ступали по дороге, ездовой вожжами поторапливал их, курили раненые, держась за край повозки рукой, шел он рядом. И все вместе они подвигались к оврагу. Так же строго, как он вглядывался туда, посмотрел он снизу на санинструктора; он не хотел зря испугать ее.

Тень облака сдвинулась, солнце вновь осветило овражек. Нет, зря он насторожился.

— Воюешь давно? — спросил опять Третьяков, забыв, что уже спрашивал ее об этом.

— Давно,— сказала она прочистившимся после кашля голосом.— У нас вся семья воюет. Старшая сестра пошла сразу, как мужа убили. Братишка тоже. Одна мама с младшими сидит, ждет писем.

Он шел рядом и снизу посматривал на нее. Если бы это Саша была? Или Лялька? И жаль ему было сейчас ее, как будто это их жалко.

Он не слышал автоматной очереди: его ударило, подбило под ним ногу, оторвавшись от повозки, он упал. Все произошло мгновенно. Лежа на земле, он видел, как понесли лошади под уклон, как санинструктор, девчонка, вырывала у ездового вожжи, взглядом измерил расстояние, уже отделившее его от них.

И выстрелил наугад. И тут же раздалась автоматная очередь. Он успел заметить, откуда стреляли, подумал еще, что лежит неудачно, на дороге, на самом виду, надо бы в кювет сползти. Но в этот момент впереди шевельнулось.

Мир сузился. Он видел его теперь сквозь боевую прорезь. Там, на мушке пистолета, на конце вытянутой его руки, шевельнулось вновь, стало подыматься на фоне неба дымчато-серое. Третьяков выстрелил.

Когда санинструктор, остановив коней, оглянулась, на том месте, где их обстреляли и он упал, ничего не было. Только подымалось отлетевшее от земли облако взрыва. И строй за строем плыли в небесной выси ослепительно белые облака, окрыленные ветром.

НОДАР ДУМБАДЗЕ

# Я ВИЖУ СОЛНЦЕ

*Повесть*

*Перевод с грузинского*
*З. Ахвледиани*

# ТЕТЯ

Кедровка на сухой ветке шпанской вишни пела так самозабвенно, с таким упоением, что тетя прервала работу, вынесла во двор треногий стульчик, уселась под деревом и обратилась в слух. Я прилег тут же на траве и закрыл глаза. Кедровка пела не переводя дыхания. Я стал было молча, про себя, повторять нехитрый мотив птичьего напева, но мне не хватало воздуха. А кедровка продолжала свистеть, временами поглядывая искоса на катившееся к закату солнце. Огромное, красное, похожее на медное блюдо светило медленно опускалось к горизонту, и разбросанные в долине Супсы[1] деревни под его лучами алели, словно охваченные пламенем.

— Кето́! — раздался крик у ворот.

Кедровка умолкла.

— Сосо́!.. Сосойя! — повторил тот же голос.

— Кто там? Входите! — ответил я недовольно и встал.

Во двор вошел бригадир нашего колхоза Датико́.

— Здравствуйте! — приветствовал он нас.

— Здравствуй! — ответила тетя.— Заходи!

Тетя направилась к кухне[2]. Датико последовал за ней, а

---

[1] Су́псa — название реки. (Здесь и дальше — примеч. переводчика.)

[2] Характерный для Западной Грузии жилой дом — о́да — обычно строится двухэтажным. В нижнем этаже расположена кухня, в верхнем — жилые комнаты.

я снова прилег и взглянул на дерево, где только что сидела кедровка. Но ее и след простыл.

Я встал и пошел на кухню. Бригадир, горячо о чем-то толковавший с тетей, при моем появлении умолк. А тетя так и осталась сидеть — обхватив руками колени и уставившись на затухающий в камине огонь. Бригадир достал из кармана кисет, свернул цигарку, прикурил от тлеющей головешки. В кухне запахло горьким, вонючим табаком.

— Сосойя, будь другом, дай напиться! — попросил меня бригадир.

Я взял кувшинчик с водой.

— Да нет, принеси-ка свеженькой!

Я вышел во двор.

Когда я вернулся, Датико опять о чем-то говорил тете и опять вдруг замолчал.

Я налил воду в стакан, подал бригадиру.

Он нехотя выпил.

— Налить ещё?

— Нет, спасибо.

— Чего там! Налью еще...

Тетя улыбнулась.

— Нет, нет, достаточно! — Датико помолчал, потом вдруг обратился ко мне: — Сосойя, посмотри, на кого это там собака лает?

— А пусть себе лает... Если гость — позовет.

Датико помялся. Потом решился:

— Слушай, Сосойя, будь человеком, выйди на минутку, дай поговорить с Кето!

— А я мешаю? Говори при мне! — ответил я и уселся так прочно, что сдвинуть меня с места смогли бы разве только вместе со стулом.

— И это ты называешь уважением младшего к старшему, хозяина — к гостю?! — Бригадир взглянул на меня так, что я понял: не будь здесь тети, он с удовольствием оборвал бы мне уши.

— Какой ты гость? Торчишь здесь каждый божий день!

— Замолчи, Сосойя! — прикрикнула на меня тетя.

— На то я и бригадир, чтобы навещать всех членов своей бригады,— объяснил Датико.

— Вот и прекрасно! Навестил нас, теперь ступай к другим!

— Чего это он грызет меня, Кето? — обратился Датико к тете.

— Говори, Датико, что у тебя за дело?

— А вот что: завтра после полудня наша бригада едет в Мерия... Будем кукурузу мотыжить... Может, отпустишь парня?

Как-никак помощник... Понял теперь, почему я пришел? — обернулся бригадир ко мне.

— Понял! — огрызнулся я.

Тетя опять улыбнулась. Потом она встала, подошла к камину, сбросила с кеци[1] жестяной лист, покрытый слоем горячих углей, проверила, испеклось ли мча́ди, завернула его в полотенце и положила на стол. Затем достала из бочонка головку сыра покрупнее, отжала ее и положила на мчади.

Поняв, что тетя готовит мне завтрак в дорогу, Датико улыбнулся.

— Договорились, значит?

— Договорились,— ответила тетя,— а теперь... извини, Датико, дела у меня...

Датико направился к двери. Переступив порог, он обернулся и сказал:

— В полдень соберемся у почты. Придешь туда, Сосойя, ладно? И перестань, ради бога, дуться на меня! Что нам с тобой делить, а? Ну как, помирились?

Я кивнул.

— А трудодень ему я выпишу полный, как всем,— сказал Датико тете.

— Как знаешь.

Бригадир ушел.

Я вышел на двор, взял прислоненную к мушмуле мотыгу, отнес ее к ручейку и опустил обухом в воду. Тетя вынесла из кухни лампу, прикрыла дверь, продела в петлю запора палочку, и мы поднялись ночевать в оду.

* * *

Моя тетя — преподавательница грузинского языка. Она самая образованная и красивая женщина в нашем селе. Зовут ее Кетева́н, Кето, и она как две капли воды похожа на матерь божью Марию, изображенную на нашей иконе (икона эта давно уже хранится в нашем старом сундуке). И поэтому, наверное, никто до сих пор не осмелился признаться тете в любви. Так и ходит она в незамужних девках. Я очень люблю свою тетю и боюсь, чтобы она не вышла замуж. Тетя, видимо, догадывается об этом и потому не спешит с замужеством. Иначе за чем же дело стало?

Я лежу навзничь в своей кровати, и сна ни в одном глазу.

— Тетя,— зову я шепотом.

— Ну?

---

[1] К е́ ц и — круглая глиняная сковородка для выпечки мча́ди — кукурузной лепешки.

— Спишь?

— Чего тебе?

— Отчего это Датико-бригадир заладил каждый день ходить к нам?

— А я почем знаю!

— Пусть не ходит!

— Гнать человека из дому, что ли?

— Не знаю... Пусть не ходит... Сидит командует: воду ему принеси, узнай, почему собака лает, пойди туда, пойди сюда... Знаю я, что ему нужно!

Тетя молчит.

— Тетя, сколько тебе лет?

— Да спи ты, чертенок!

— Скажи!

— Ну тридцать пять.

— А почему ты не выходишь замуж?

Тетя не отвечает. Я слышу ее ровное дыхание и жду. Но проходит минута, другая, а она все молчит.

— А, тетя?

— Спи, Сосойя, завтра тебе на работу!

— Почему ты не выходишь замуж?

— Вот пристал! Да не берет меня никто! Не нравится твоя тетя никому!

— Врешь! Ты всем нравишься, и Датико любит тебя!

— А он не нравится тебе. Так?

— Так!

— Ну и отлично. А теперь засни!

Я засыпаю. Я вижу сон: перед нашей сельской церковкой в белом подвенечном платье стоит тетя — стройная, красивая, как божья матерь. У ее ног — на коленях — все мужчины нашего села. Я тоже подхожу к ней, опускаюсь на колени и прошу, умоляю ее не выходить замуж. И тетя соглашается. Она снимает подвенечное платье, обнимает меня, и мы идем домой.

* * *

Утром я занимался дома по хозяйству. Потом уложил завтрак в школьную сумку, сбежал к ручейку, взял мотыгу, продел ее черенок сквозь ручку сумки и помчался к почте.

Вся наша бригада уже была в сборе. Задрав головы, люди слушали радио. Висевший на столбе старый, изодранный репродуктор дрожал и хрипел. Как только я подошел к столбу, репродуктор умолк.

— Здравствуйте, земляки! — приветствовал я собравшихся.

Никто мне не ответил.

— Здравствуйте, люди! — повторил я.

Снова молчание.

— Дядя Герасим! — встряхнул я соседа.— В чем дело?

Герасим посмотрел на меня отсутствующим взглядом, присел на ступеньки лестницы, скрутил цигарку и, не произнеся ни слова, закурил.

— Дядя Асало́, что случилось? — бросился я к другому соседу.— Что здесь происходит?

Асало оглядел меня с ног до головы, потом отвернулся и тихо сказал:

— Война, Сосойя, война!

— Какая война, дядя Асало?

— Обыкновенная: драка, убийство, кровопролитие... Понял?

— С кем?

Асало махнул рукой.

— С кем? — повторил я и огляделся. Люди вокруг меня стояли притихшие, испуганные, бледные.

— С Германией! — ответил наконец кто-то.

— С какой Германией?

— О господи! — вздохнул Асало.— С зеленой!

Я понял, что случилось нечто страшное, пришла великая, небывалая, необычайная беда. Столько испуганных, онемевших людей я никогда еще не видел. И я испугался. Меня обуял страх, какой находит на мальчишку, которого в полночь заманили на кладбище и оставили там одного. Я подсел к дяде Герасиму и положил руку ему на колено. Герасим удивленно взглянул на меня, потом погладил по голове и сказал:

— Иди, сынок, домой и не бойся!

Я встал и поплелся.

— Сумку и мотыгу забыл!

Я вернулся, забрал свои манатки и пошел домой.

Солнце уже стояло высоко над Толебскими горами, когда я миновал мост через Супсу и свернул на тропинку.

— Сосойя Мамала́дзе — мой привет!

Я поднял голову. Передо мной стоял Лука́ Поцхишви́ли с огромной корзиной за спиной. Пот лил с него ручьями.

— Будь другом, Сосойя, помоги-ка снять корзину!

Я помог. Лука, кряхтя, сел, рукой показал мне место рядом с собой и начал:

— Яблоки вот несу на базар. Знаешь ведь мою яблоню? Ну да, у свинарника... А свинью мою видел? Супоросая... И корова стельная... Ты погляди-ка на яблоки... Вынь, посмотри. Только не ешь! Этих — не ешь, они для базара, а завтра приходи ко мне и нарви сколько душе угодно... Табачок у тебя найдется? Вот спасибо!.. Хороший сегодня день. Мне бы с утра да в поле!

Но что поделаешь! Деньги-то тоже нужны. Дай-ка бумажку... Вот спасибо!.. Спросить нашего бригадира, так... Спички есть? Вот спасибо!.. Ему-то что? Ни жены, ни детей! Мальчика, говорит, пришли с утра. Вот еще! Мальчик в этом году в институт поступает, а я его пошлю поле мотыжить? Как же! Только и думаю! Прав я? Что ты молчишь, дурень? Скажи хоть слово!

— Война, дядя Лука!

— Что? Какая война?

— Германия напала!

— На кого?

— На нас.

— На кого на нас?

— На нас, на Советский Союз.

— Когда?

— Сегодня!

Лука вдруг побледнел, поперхнулся дымом и зашелся от кашля. Он схватил меня за руку и сжал ее так, что пальцы у меня посинели. Отдышавшись, он с трудом выговорил:

— Кто это сказал?

— Радио...

— Не может быть!

— Радио сказало...

— Ты шутишь! Шутишь, ведь, а? — В голосе Луки прозвучала мольба.

— Да нет, дядя Лука... Передали по радио...

Лука не ответил. Он долго сидел, уставившись в землю, потом поднялся, словно побитый, взвалил на спину корзину и пошел. Отойдя несколько шагов, он остановился, обернулся и собрался было что-то сказать, но передумал. Так он стоял и смотрел на меня.

— Что, дядя Лука?

Лука махнул рукой и, так и не вымолвив ни слова, побрел домой.

...Тетя одной рукой месила в корыте кукурузное тесто, другой подливала горячую воду из кувшинчика. Дверь в кухню была открыта, и я вошел, не замеченный тетей.

— Тетя, сегодня утром Германия напала на нас!

Тетя в недоумении взглянула на меня.

— По радио объявили, что Германия начала войну с нами!

У тети задрожали руки. Она не сводила глаз с меня, вода из кувшинчика лилась в корыто, потом густая белая жижа стала переливаться через край корыта и стекать к ногам тети. Я остолбенело глядел на ее дрожащие руки.

— Ты понимаешь, что говоришь? — донесся до меня голос

тети откуда-то издалека. Я отрицательно покачал головой. Я не понимал, что говорил, но чувствовал, что случилось нечто страшное, что в наш дом пришла великая, небывалая, необычная беда.

## ОТЛИВ

Во дворе районного клуба полно народу. Люди поют, плачут, о чем-то просят, что-то обещают друг другу, обнимаются, целуются, вновь возвращаются к уже сказанному, договариваются, еще раз обнимаются, и так без конца.

На траве под ветвистой шелковицей сидит дядя Герасим. Он курит и не сводит глаз со своего сына, который с громкими возгласами «Гоп-па! Гоп-па» подбрасывает в воздух и ловит маленькую дочь. Девчурка смешно дрыгает ножками, визжит и хохочет. Здесь же стоит невестка Герасима, чернобровая Машико́. Она кусает губы и украдкой смахивает слезы.

Асало Гудава́дзе пристроился на лестнице клуба. Рядом с ним — сын, у ног парня — молодая женщина. Она уткнулась лицом в колени мужа и не переставая плачет.

— Ты ее к родителям не отпускай, батя! — наставляет парень Асало и нежно гладит жену по голове.

— Никуда я ее не отпущу, сынок! — обещает Асало.

— Слышь, Маргарита, не оставляй папу! Жалко старика!

Женщина плачет.

— Я скоро вернусь, отец!

— Конечно, сынок!

— Ну, хватит, перестань! Не я один иду в армию!

Маргарита плачет громче. Парень обнимает, ласкает жену.

— А ты, сынок, не очень-то... того... Не погуби себя по глупости, будь осторожен! — просит сына Асало.

— Не бойся, батя! Вот те крест: привезу тебе голову Гитлера! — улыбается парень.

— Брось ее свиньям! Сохрани-ка лучше собственную!

Женщина плачет.

— Так ты присмотри за ней, батя, ладно? — просит сын.

— Да ты что! Одурел? — обижается отец.

— Батя!..— мнется сын.

— Говори, сынок!

— Месяц-другой еще ничего... А потом... Не посылай ее за водой и дровами... И на мельницу...

Асало кивает головой.

— Сама не скажет, знаешь ведь ее характер... Не позволяй ей таскать тяжести...

Асало понимающе улыбается:

— Да ладно... Что я, маленький?

Лука свертывает и никак не может свернуть цигарку. Руки у него дрожат, бумага рвется, табак рассыпается. Я беру из его рук кисет, кручу самокрутку, протягиваю. Лука глазами благодарит меня и жадно затягивается. Теперь у него дрожат губы.

— Сосойя, как мне быть с моим Кукýри, а? — спрашивает меня Лука.

Что ему ответить? Кукури стоит, окруженный подвыпившими сверстниками, и рассказывает им что-то смешное. Ребята ржут.

— Обреют их всех! — сокрушается Лука.

— Подумаешь! Нам в классе тоже велят стричь головы наголо! — успокаиваю я его.

— Герасиму что? У него вон какая крепенькая внучка на руках. А у меня кто? Кто остается у меня?

— Кукури скоро вернется, дядя Лука!

— Эх, Сосойя, дорогой мой, все не вернутся...

— Все вернутся! — говорю я, потому что уверен: так оно и будет. Я еще не знаю случая, чтобы не вернулся человек, призванный в армию.

Я направляюсь к группе молодых. Они обступают меня, улыбаются, обнимают, целуют. И я тоже улыбаюсь и целую их.

— Уходишь, Анзóр?

— Ухожу, Сосойя!

— Вернешься?

На груди у Анзора плачет его невеста Маквáла. Она повторяет мой вопрос:

— Скажи, Анзор, ведь вернешься?

— А как же!

— А ты, Никýша?

— И я вернусь, Сосойя! А ты не поедешь с нами?

— Кому он нужен! — смеется Абúбо.

— Не моя же вина! — оправдываюсь я.

— Гляди, Сосойя, сколько здесь девок! Оставляем этих коз на твое попечение! Побереги их, как бы шакалы не съели! — смеется Джумбéр.

— Все шакалы, сколько вас тут, едут в армию, кто же их съест? — отвечаю я.

Девушки смеются. Я иду дальше.

— Кого ты провожаешь, Сосойя? — спрашивает Тамáз.

— А ты разве не едешь?

— Еду, конечно!

— Вот тебя и провожаю!

Тамаз обнимает меня, целует и спрашивает шепотом:

— А кого провожает твоя тетушка Кето?

Тетя и Датико-бригадир стоят у ограды. Датико что-то говорит тете, которая внимательно слушает его. Я смотрю на них. Датико бледен. Он берет тетю за руку, и тетя не пытается отстранить его. Так стоят они, почти касаясь друг друга, и тетя, как никогда, напоминает мне изображенную на старой иконе богоматерь. Но теперь я не боюсь, что она выйдет замуж, что кто-то посторонний отнимет ее у меня. И потому я не подхожу к ней. Тетя чувствует мой взгляд, оглядывается. Оглядывается и Датико.

— Сосойя, иди сюда! — зовет он.

Я подхожу и становлюсь рядом с тетей.

— Ты что, обижен на меня? — спрашивает Датико и треплет меня за волосы.

— Очень мне нужно обижаться... на тебя! — отвечаю я и собираюсь уходить.

— Погоди, побудь с нами!

Я остаюсь.

— Ну вот, я иду на войну!

— Все идут!

— Так ты присмотри за тетей! Ты уже мужчина!

— Обойдусь без твоих советов!

— Знаешь ведь, как я люблю твою тетю!

— Я сам ее люблю больше тебя!

— Я скоро вернусь, Сосойя, и потом мы будем всегда вместе!

— Все вернутся и все будем вместе!

— Нет, Сосойя, вернутся далеко не все!

— А вот увидим!

Во двор входит новая группа молодежи. Окружив тесным кольцом красивую, с огненно-рыжими волосами девушку, ребята громко поют

На войну мой милый едет,
Я за ним последую,
Вместе мы домой вернемся —
Ждите нас с победою!

После полудня на балкон клуба вышел военком района и произнес речь. Запутавшись в причинах и последствиях первой мировой войны, он с ходу переключился на анализ фактов, обусловивших начало второй. Он сровнял с землей фашистскую Германию. Крепко доставалось также Италии и Японии. Военком так убедительно рассказывал об успехах наших войск, о сокрушительных ударах нашей авиации, артиллерии и, особенно, кавалерии, которая, по его словам, вот-вот должна была вступить в Берлин, что готовые к отправке на фронт парни чуть было не разошлись по домам.

Как только военком закончил свою речь, духовой оркестр грянул туш. А потом оркестр вдруг умолк. Музыканты бережно сложили инструменты на траву, по очереди расцеловали старика маэстро и вскочили на грузовики.

Народ хлынул к автомашинам. Раздались возгласы:

— Значит, едешь, Анзор?

— Не ленись писать письма!

— Смотри, сынок, будь осторожен!

— Побереги себя, не губи старика, дорогой!

— Лезь скорей в машину, Амира́н, а то кончится без тебя война.

— Заводи же, черт тебя возьми, нет больше моих сил!

И вдруг словно померкло солнце, словно наступила ночь, словно в мире что-то изменилось... Десять грузовых автомашин увозили в неведомое часть нашей крови и плоти — цену той огромной любви, которой мы, люди, любили родную землю. И теперь, мы, матери, жены, отцы, сестры, дети, принесшие эту жертву, толпились у грузовиков, и лишь старик маэстро стоял одиноко, закрыв лицо руками, среди лежавших на зеленой траве инструментов, и плечи у него дрожали.

Машины двинулись.

В тот день впервые увидел я столько испуганных людей со слезами на глазах, впервые увидел плачущую тетю.

День этот был похож на морской отлив, после которого на берегу остаются рыбы, раковины и щепки...

* * *

Я лежу с раскрытыми глазами в темной комнате и шепчу:

— Тетя!

— Да?

— Спишь?

— Нет.

— Уехал Датико...

— Все уехали!

— Поедут еще?

— Многие поедут.

— А если Датико не вернется?

— Спи!

— Что, если он не вернется?

— Многие не вернутся...

— А занятия в школе будут?

— Будут...

— А свадьба Жо́рика завтра будет?

— Будет, все будет!

— Тетя!
— Отстань, Сосойя!
Я засыпаю. На этот раз я не вижу снов.

## ХАТИЯ

Начало войны прежде всего сказалось на делах нашего магазина. С прилавка исчезли сперва сахар, спички, затем — одно за другим — масло, мыло, соль, керосин, хлеб.

Наконец исчез сам продавец Ла́са.

Потом стали зарастать травой кукурузные поля... Перестал вертеться один из трех мельничных жерновов... Кончились дрова, и тетя Матрена попросила меня срубить у нее во дворе дерево с вьющимся по нему «а́десой»[1]. Люди забыли про традиционные гулянья и праздники... Опустели лари с мукой, и настал день, когда тетя испекла мчади из непросеянной муки... А спустя месяц нас взбудоражили душераздирающие причитания женщины, и на селе появилась первая вдова в трауре...

По утрам не будил сельчан повелительный крик бригадира Датико:

— Выходи, Андро́йя!
— Не ленись, Эдёмика!
— Сосойя, протри глаза!
— Мина́дора, окати-ка водой своего бездельника!

Теперь каждый день с рассветом на пригорке появлялась бригадир Ксеня и, приставив ко рту руки трубой, начинала вопить на все село:

— Матрена-а-а, хватит спать!
— Машико-о-о, выходи на чай![2]
— Маргарита-а-а, ступай на ферму!
— Сосойя-а-а, чтоб ты оглох, паршивец!
— Гера-а-а-сим, у-у-у-у!

На работу звали всех, и на работу выходили все, кто мог работать... Не звали лишь Ха́тию — дочь Виссарио́на Шаликашви́ли. Но в этом не было нужды: Хатия вставала раньше всех. Уложив венцом на голове золотистые косы, она шла на чайную плантацию, громко здоровалась со всеми, становилась в ряд и начинала осторожно срывать нежные побеги, ощупывая каждый из них своими красивыми, тонкими пальцами.

Если мы работали на прополке кукурузы, Хатия, став на колени, руками вырывала траву. Или же садилась на краю делянки и молча всматривалась куда-то вдаль, в бескрай-

---

[1] «А д е с а» — сорт винограда.
[2] Подразумевается чайная плантация.

нюю синеву неба. И улыбалась огромными голубыми глазами.

Хатия улыбалась всем и всему. Она без слов понимала всех. Она радовалась чужим радостям и переживала чужое горе. Она была удивительно умна и на редкость сообразительна, знала все, что происходило на селе, и умела давать людям советы, всегда добрые, правильные и удачные. И потому все любили Хатию.

Хатия была моей ровесницей. Мы вместе ходили в школу, сидели рядом на задней парте, повторяли хитроумные уравнения, выводимые учителем мелом на доске. Хатия никогда ничего не записывала. Она все запоминала наизусть и считалась лучшей ученицей в нашем шестом классе, лучшей и самой красивой. Хатия никогда не смотрела людям в лицо — взор ее был устремлен в пространство.

Она была от рождения слепой.

* * *

Было раннее утро. Я еще нежился в постели, тетя пришивала пуговицу к моей блузке. На балконе послышались шаги. И тут же раздался робкий голос:

— Тетя Кето!

Мы, конечно, сразу же узнали Хатию.

— Входи! — крикнула тетя.

— Доброе утро! — сказала Хатия и стала в дверях.

— Здравствуй, моя девочка! — ответила тетя.— Ты что так рано? Проснулась с первыми петухами, что ли?

— А я и не спала вовсе, тетя Кето...

— Почему же?

— Сосойя здесь?

— Здесь я, чего тебе? Я спать хочу!

— Пусть он встанет и выйдет, тетя Кето!

Тетя удивленно взглянула на меня, потом сказала:

— Вставай, Сосо!

— О-о-о-о,— протянул я недовольно,— самой не спится, так и другим не дает спать... Отвернись!

Хатия улыбнулась и отвернулась.

Я встал, надел штаны, вышел, громко хлопнув дверью, на балкон, так же громко стуча ногами, сделал несколько шагов, потом на цыпочках вернулся к двери и приник к ней ухом.

— Отойди от дверей, Сосойя, я слышу твое дыхание! — крикнула Хатия.

Мне ничего не оставалось, как спуститься во двор.

Спустя несколько минут я вернулся в комнату.

Бледная как полотно, тетя сидела у стола, приложив к вискам ладони и тупо глядя на лежавшую у нее на коленях

мою рубашку. За тетей, обняв ее за плечи, стояла Хатия.

— Да ты понимаешь, что говоришь? — прошептала тетя, не поднимая головы.

Хатия не ответила.

— Может ты ошиблась, девочка?

— Нет, тетя Кето, что-что, а голоса наших людей я узнаю́ точно...

— Нельзя поверить в такое, Хатия! — воскликнула тетя.

— Выйдя с мельницы и поднявшись на горку, я остановилась передохнуть... Послышались шаги, и он спросил: «Кто здесь?» — «Это я, Хатия!» — ответила я. «Что ты шатаешься по ночам!» — проворчал он.

Хатия умолкла.

— А потом? — спросила с нетерпением тетя.

— Я ответила, что для меня ночь и день — все одно, и назвала его по имени. «Что за чепуху ты порешь,— прикрикнул он.— Я Тара́си. Тараси Анти́дзе!»

— А может, это и вправду был Тараси? — в голосе тети прозвучала мольба.

— Прежде чем прийти к вам, я была у него...— тихо ответила Хатия.

— И что же?

— Болен Тараси... Третий день лежит в постели...

— Может, тебе все померещилось, Хатия?

— Нет, тетя Кето, не померещилось. Он придет к вам, и вы убедитесь сами...

Хатия направилась к двери. Я опередил ее и открыл дверь. Она осторожно вышла на балкон, спустилась во двор и ушла...

* * *

С тех пор тетя, казалось, потеряла дар речи. С утра до ночи ходила она понурив голову, словно разыскивая что-то дорогое, и молчала. Она не слышала меня, пока я не дотрагивался до нее. Собирая чай, вдруг застывала с протянутой к кусту рукой. Работая в поле, вместо травы начинала начисто срезать кукурузные стебли, пока я не выводил ее из оцепенения. По ночам она лежала с раскрытыми глазами, прислушиваясь к каждому шороху, вскакивая при каждом собачьем лае. Она ждала кого-то, а он все не шел. Тетя похудела, осунулась, таяла на глазах. Наконец я не выдержал и пошел к Хатии.

Виссарион Шаликашвили, взобравшись на огромное бревно, топором вытесывал давильню[1]. Хатия сидела на балконе и с улыбкой смотрела на солнце.

---

[1] Давильня — большое полое бревно, в котором давят виноград.

— Здравствуйте, дядя Виссарион!

— Здравствуй, сынок! — ответил Виссарион, не прерывая работы.

— Сосо, это ты? — спросила Хатия.

— Я.

— Где сейчас солнце, Сосо?

— Где ему быть? На небе.

— А в каком месте?

— Гм... над черешней.

— Если над черешней, то я вижу солнце!

— Точно, над черешней!

— Папа,— обратилась Хатия к отцу,— что тебе сказал врач в Батуми?

— Сколько раз тебе повторять?

— Повтори еще раз. Пусть услышит Сосо!

— Врач сказал, что, если незрячий человек видит солнце, ему можно возвратить зрение.

— Слышишь, Сосойя?

— Слышу, Хатия... Спустись-ка на минуту, есть дело.

Хатия спустилась во двор, подошла ко мне и остановилась.

— Я знаю, зачем ты пришел, Сосойя!

— Что ты сказала тете такое, что женщина потеряла покой?

Хатия не ответила. Она отстранила меня, направилась к калитке, открыла ее, вышла на дорогу и медленно зашагала к нашему дому. Я последовал за ней.

Хатия остановилась во дворе и спросила:

— Где тетя Кето?

— Тетя! — позвал я.

Тетя вышла на балкон.

— К тебе пришла Хатия.

Тетя вздрогнула. Она быстро сбежала по ступенькам лестницы и подошла к нам.

— Что случилось, Хатия? — спросила она, и голос ее задрожал.

— Здравствуйте, тетя Кето... Ничего не случилось... Просто я соскучилась по вас... Вот и пришла...

Тетя улыбнулась, обняла Хатию за плечи и повела ее в дом.

— Может, помочь вам по хозяйству, тетя Кето?

— Нет, девочка, спасибо тебе!

— Кукурузу молотить...

— Эх, детка, была бы кукуруза, найдется кому ее молотить...— вздохнула тетя.— Есть же у меня Сосо...

— Сосо лентяй,— улыбнулась Хатия.

Я слушал их и ничего не понимал.

— У нас есть кукуруза, тетя Кето, много кукурузы. Папа велел передать вам: если нужно, мол, одолжу...

Хатия присела на травку, мы — рядом с ней.

— Спасибо тебе, Хатия, и отцу твоему большое спасибо! Не нужно нам кукурузы, она вам больше пригодится...

— Вечером папа принесет вам пуд кукурузы...— Хатия помолчала, потом тихо, почти шепотом, сказала: — А знаете, тетя Кето, то, что я тогда сказала вам, оказалось неправдой!

— Что?! — вскрикнула Тетя.

— Да. Неправдой. Ошиблась я, показалось...

Тетя подозрительно посмотрела на меня, потом на Хатию.

— А теперь ты говоришь правду?

Тетя встала. Я смотрел на Хатию разинув рот.

— Теперь я говорю правду, а тогда ошибалась. Я долго потом думала и поняла, что ошиблась! — ответила Хатия с улыбкой.

— Поклянись, Хатия! — сказала тетя, и я почувствовал, что у нее от волнения сперло дыхание.

Улыбка исчезла с лица Хатии. Она медленно встала и выпрямилась перед тетей.

— Кем мне поклясться, тетя Кето?

— Поклянись матерью, Хатия!

Хатия долго молчала. Потом она отчетливо произнесла:

— Клянусь могилой матери, тетя Кето!

— Девочка моя дорогая! — тетя обняла Хатию, осыпала поцелуями ее лицо.— Значит, ошиблась ты? А я-то...— Она вдруг разрыдалась, закрыла лицо руками и бросилась в дом.

Хатия стояла не двигаясь и улыбалась своей милой, чарующей улыбкой. Хатия улыбалась, но никогда раньше я не видел на ее лице столько печали и страданий.

## НЕ ТАК УЖ СТРАШЕН ЧЕРТ

После обеда мы работали на склоне, на кукурузном поле. Внизу на дороге показался наш почтальон Ко́ция.

— Здоро́во, бабы! — крикнул он, словно не замечая нас — меня, дядю Герасима, Лука́йю Поцхишвили и Виссариона Шаликашвили.

— С чем пожаловал, Коция? — отозвалась за всех бригадир Ксеня.

— Да вот, привез вам сахар, масло, крупчатку, икру, балык, мед... Для керосина и мыла сегодня не хватило места, привезу завтра... А пока нате вам газету, кладу ее вот здесь, под камнем, забирайте!

— Писем нет?

— Письма в пути!

— Чтоб тебе!..

Коция ушел, покачивая головой. Я сбежал вниз, принес газету. Все окружили меня.

— Ну-ка прочти, Сосойя, что нового на свете! — попросил дядя Герасим, удобно усаживаясь под деревом.

Я начал:

— «...После ожесточенных боев наши войска оставили города...»

Закончив чтение, я отложил газету. Никто не проронил ни слова. Наконец после долгого молчания заговорил Виссарион Шаликашвили:

— Прет, значит, сукин сын?!

Он в сердцах стал выколачивать трубку об черенок мотыги.

— Прет, да еще как!..— вступил в разговор Лукайя. Он оторвал кусок газеты, насыпал туда табак, свернул самокрутку, закурил, выплюнул приставшую к губам табачную пыль и продолжал: — Вся Европа работает на них... Здесь тебе и Франция, здесь тебе и Австрия, и эта... как она называется, Сосойя, страна рядом с ними?

— Чехословакия.

— Вот. И Чехословакия... А кто работает на нас?

— На нас работаем мы! — сказал дядя Герасим.

— Кто «мы»? — переспросил Лукайя.

— Я, ты, он, вот эта золотая девочка — Хатия, вот этот прохвост — Сосойя, бабы наши...

— Вот-вот, бабы, оно и видно по нашим делам! Работяги!.. А Гитлер — у порога! — махнул рукой Лукайя.

— В воскресенье ходила я на базар...— начала Като.

— Было, конечно, полно всего, выбирай что душе угодно! — хмыкнула Ага́ти.

— Да погоди ты! — прикрикнул на нее дядя Герасим.— Ну и что дальше?

— Был там один...— продолжала Като.— Так он рассказывал...

— Что же он рассказал?

— Оказывается, Гитлер выдумал новое оружие: за десять верст кругом сжигает все...

— Кто сказал это? — спросила Маргарита.

— Этот самый... Министр Гитлера... Как его?

— Геббельс?

— Да. Геббельс, чтоб ему околеть!..

— А что еще?

— А еще говорил, оказывается, этот... Фамилия у него вроде нашего Рубе́на Трапа́идзе...

— Риббентроп?

— Он самый, пропади он пропадом! Мы, мол, будем кормить вас белым хлебом и маслом... И никого, мол, трогать не собираемся, кроме коммунистов.

— И что ты ему сказала? — спросила Ксеня.

— Кому, Риббентропу?

— Дура! Не Риббентропу, а тому мерзавцу, который плел эту околесицу и которого ты слушала развесив уши!

— А что я должна была говорить! Весь народ затаив дыхание слушал его, а когда он закончил речь и обещал, что людоеда Гитлера скоро повесят вниз головой, хлопали так, думала, обрушится небо!

— Слушай, где же ты была? — спросила удивленная Ксеня.

— Как где? На базаре. А потом там состоялся митинг, этот самый мужчина выступил на митинге!

— Тьфу ты, рассказать и то толком не можешь! — махнула рукой Ксеня.

— Кето, ты женщина образованная. Растолкуй нам, что же такое происходит? — попросил тетю Виссарион.

— Что вам сказать, Виссарион... Происходят неприятные вещи... Но ничего! Скоро наступит зима, и тогда Гитлеру придется туго, как Наполеону...

— А как по-твоему: зимой нам будет теплее? — спросил Лукайя.

— Нет, теплее нам не будет, но Гитлер не готов к зиме!

— А ты почем знаешь?

— Он надеялся закончить войну до наступления зимы, потому и не подготовился к ней.

— А что ему мешает подготовиться сейчас?

— Уже поздно, Лукайя!

— А если он пожалует сюда до наступления зимы? Куда ты тогда денешься? — не отставал Лукайя.

— Мы не должны допустить этого!

— Кто это «мы»? Ты да я?

— И я, и ты!

— Да кто его остановит? Видишь, он берет город за городом!

— Должны остановить!

— Ну давай, давай! Останавливай! — осклабился Лукайя.

— Да что это ты, проклятый старик, раскаркался?! — вскочила Ксеня.— Ежели стать так да сложить руки — конечно же, быть беде!

— Чего ты орешь, баба? А я о чем толкую? Как бы не быть беде, вот что меня пугает!

— Смотри у меня, Лукайя! Вырву я твой язык! — пригрозила Ксеня.

— Да что говорить с тобой! Баба есть баба...

Лукайя опять свернул цигарку.

— Ладно, я баба... А ты? Ведь ты мужчина?.. Ах да ох! Заладил одно и то же... Ты как думаешь, Коция-почтальон приносит только похоронные? Маргарита! Получила письмо от своего?

— Получила, Ксеня, позавчера получила.

— И еще получишь!

— Что он пишет? — спросил Лука.

— Сидим, говорит, в окопах... Стреляем... Если, говорит, запоздает письмо, не волнуйтесь...

— А что еще?

Маргарита покраснела.

— Да говори, чего там!

— Если, мол, родится мальчик, назови его моим именем...

— Вот и назови! Если даже родится девочка, и ее назови по батьке! — посоветовал Виссарион.

— А от моего мальчика нет и нет ничего! — вздохнул Лука.

— Получишь, Лукайя, не волнуйся! — сказал дядя Герасим.

— Когда же?

— Получишь, говорю тебе! Пришло ведь письмо от моего мальчика! Придет и от твоего! Так, Сосойя?

— Конечно! — улыбнулся я.

— Мда-а-а... Не так уж страшен черт...— начал Виссарион Шаликашвили.— Сидим мы здесь, как в норе, не видим ничего дальше своего носа и пищим... А вы подумали о том, сколько Виссарионов и Ксений мотыжат поля в нашей стране? Сыновья скольких Герасимов и Лукайев держат в руках винтовки? Сколько бегают Хатий и Сосойев? Вы думали о том, как велика наша земля? Кто такой Гитлер, чтобы одолеть нас? Да у него ведь не хватит крови, не хватит сил для этого! — Виссарион уперся в колени огромными жилистыми, мозолистыми руками, встал, выпрямился во весь рост, окинул взглядом раскинувшиеся внизу поля.— Вон, взгляните на нее! Земля родная! Наша земля!.. Коротки руки у Гитлера, скажу я вам, коротки!..

Необозримая долина под нами дышала паром земли и белоснежными дымками, поднимавшимися над крестьянскими домами. По долине полнокровной артерией текла Супса. Вобрав в себя всю пролитую людьми кровь и пот, она щедро поливала ими землю, поила почву, катила свои волны все дальше и дальше и наконец вливалась в море неиссякаемым, неисчерпаемым жизненным потоком.

Отсюда, с крохотного клочка земли на склоне горы, напоминавшего узкую бойницу в огромной крепостной стене, я взирал на бескрайние просторы и чувствовал, что за доступным моему глазу горизонтом лежат другие, такие же безбрежные земли, за ними — новые, другие за ними — еще и еще, и так без конца, и что все это — моя, родная земля, и что золотой диск солнца, льющий на землю животворящие лучи,— это моя жизнь, мое счастье, и что нет и не может быть на свете силы, способной отнять у меня эту землю, это солнце, это счастье, эту жизнь...

Люди, окружавшие меня, смотрели туда же, на лежавшие под нами поля, и молчали. И я знал, каждый из них — Герасим и Виссарион, Ксеня и Лука, тетя Кето и Маргарита,— каждый из них думал так, как думал я. И стоящая рядом со мной улыбавшаяся Хатия думала и видела то, что думал и видел я...

...Солнце медленно садилось за долиной Супсы. Утомленные за день люди вместе с блеявшим стадом возвращались по домам.

В ту ночь село еще раз всколыхнули раздавшиеся вдруг крик и вопли. Мы с тетей выскочили на дорогу. Со всех сторон бежали перепуганные соседи.

— У кого это, Герасим? — спросила тетя шагавшего рядом с нами Герасима.

— Кажись, у Лукайи Поцхишвили... Вот несчастье...— проговорил Герасим.

## УРОК ВОЕННОГО ДЕЛА

Время берет свое...

За июнем наступил июль, затем — август, за августом — сентябрь. Начались занятия в школе. В наших дневниках стали появляться двойки, тройки, четверки и — реже пятерки. Ничего как будто не изменилось. Тетя по-прежнему преподавала грузинский язык. Хатия по-прежнему сидела на парте рядом со мной. Учитель географии все так же упрашивал нас сидеть на уроке спокойно и обещал за это играть после уроков с нами в камушки. Учительница русского языка по старой привычке называла меня бичо[1]. Заметная перемена заключалась в том, что все наши учителя сильно похудели. И еще одна новость: в школе появился участник хасанских боев Лева́н Гуриели́дзе. Он был назначен преподавателем военного дела и физкультуры.

На первый свой урок он явился в зеленых брюках галифе, кожаных крагах, военной фуражке, с противогазом, мелкокали-

---

[1] Б и́ ч и — мальчик. Б и́ ч о — полуласковое-полупренебрежительное обращение: «Эй, мальчик!»

берной винтовкой через плечо и свернутым плакатом под мышкой. Он подошел к столу, взял под козырек и застыл. Мы встали, потом сели и, когда учитель не изменил своей позы, снова встали.

— Вольно! — скомандовал он, снял фуражку, положил ее на стол, повесил на доске противогаз и винтовку. Потом развернул плакат, извлек из кармана четыре здоровенных гвоздя, взял валявшийся у камина кусок кирпича и стал приколачивать плакат к стене. Покончив с этой операцией, он повернулся к нам с лицом победителя.

— Что он сделал? — спросила меня Хатия.

— Прибил к стене плакат! — прошептал я.

— А что на нем нарисовано?

— Не нарисовано, а написано красными буквами: «Смерть немецким захватчикам!»

— А он не мог сказать это наизусть?

Я пожал плечами.

— Теперь познакомимся! — объявил учитель.— Меня зовут Леван Гуриелидзе.

— Хорошая у вас фамилия! — сказал Отия Каланда́дзе.

— Разговоры! Военный предмет любит дисциплину!

— Ботаника тоже любит дисциплину! — сообщил Тамаз Керка́дзе.

— Кто это сказал? Встать!

— Это сказал учитель ботаники.

— Садись! — Тамаз сел.— Что я люблю? Я люблю дисциплину, порядок, тишину, чтобы слышно было, как летит муха! Что я еще люблю?

— Вареные каштаны, учитель? — подсказала Хатия.

— Кто это сказал? Встать!

Никто не ответил.

— Вы должны помнить: я не родился учителем. Кем я был в вашем возрасте? Оболтусом, бездельником, дураком... Вроде вас!

— А вы и сейчас выглядите молодым, учитель! — сказал Нода́р Каланда́дзе по прозвищу «головастик».

Учитель самодовольно улыбнулся.

— Потом я сел за книгу. Что такое книга? Книга — друг человека! Читал, читал и стал человеком. А по происхождению я танкист!

— Ты смотри! — удивился Тамаз.

Учитель нахмурился.

— Я вам не обыкновенный учитель! Я шкуру с вас спущу! — хлопнул он рукой об стол.

— Так говорят все учителя,— сказал Отия.

— Перехожу к функциям взвода в обороне!

— Ну-ну, давайте! — подбодрил кто-то учителя.

Учитель вспыхнул, но сдержался и продолжал:

— Что такое взвод?

— Вот именно, что такое взвод? — повторил Коте́ Гогиберидзе.

— Кто это сказал? Встать!

Класс замер. Учитель подошел к доске, взял мел.

— Вот это — взвод фашистов! — сказал он и начертил на доске двадцать небольших кружочков.

— Спасайся, ребята! — воскликнул Тамаз Керкадзе, хватаясь за голову.

— А это — наш взвод! — учитель начертил еще двадцать кружков.— Между взводами находится водный рубеж, то есть река.

Ты на том берегу...
Я — на этом.
Нас разделяет река...[1] —

подхватил Отия.

Учитель побледнел.

— Кто это сказал? — прошипел он.

— Важа Пшавела, учитель! — встал Отия.

— Садись!..— Учитель стал мелом выбивать дробь по доске.— Что я делаю?

— Стучите мелом! — ответил Яго Антидзе.

— Садись!

— Ставите точки! — встал Головастик.

— Садись!

— Стреляете! — выпалил я.

— Молодец! Я стреляю! Наш взвод держит под огнем взвод противника, не дает ему возможности подняться из окопов. Противник просит у командования помощи. И вот...— Учитель вдруг согнул руку в локте, поднял ее вверх, повел над головой и загудел: — У-у-у-у... Что я теперь делаю? — обратился он ко мне как отличившемуся.

— Крутите рукой и рычите! — ответил я.

— Садись! Болван! — взорвался учитель.

В классе поднялся хохот. Учитель побагровел. Энергичным движением руки он стер все кружочки на доске, сел за стол и обиженно замолчал.

Класс жужжал, словно улей. Учитель долго молчал. Наконец

---

[1] Слова из стихотворения грузинского поэта Ва́жа Пшаве́ла (1861 — 1915).

он поднял голову, и... мы поняли, что происходило сейчас в душе этого человека. Мы поняли, что, с тех пор как он когда-то давно последний раз покинул свою школу, сегодня ему впервые пришлось перешагнуть порог классной комнаты. Он вошел к нам как дрессировщик, забывший прихватить с собой куски сахара, и теперь он сидит растерянный и ждет, когда же его растерзают эти сорванцы, напоминающие голодных зверенышей.

— А ты почему стоишь? И чему ты улыбаешься? — набросился вдруг учитель на Хатию.— И куда ты, собственно, смотришь? Смотреть надо на учителя, а не... Садись!

Хатия села, все так же улыбаясь своими огромными голубыми глазами... В классе наступило неловкое молчание. Учитель почувствовал, что сказал что-то не к месту, невпопад, но что именно, этого понять он не мог.

— Что случилось, дети? — спросил он надтреснутым голосом.

Мы молчали.

— Я не вижу, учитель! — сказала Хатия.

— Что?.. Вы издеваетесь надо мной?!..

— Да нет, учитель, я и вправду не вижу!

Учитель встал, подошел к Хатии и долго изучающе всматривался в ее лицо. Хатия спокойно моргала ресницами и улыбалась. Учитель вернулся на свое место, сел и задумался.

В классе воцарилась гробовая тишина.

— Как тебя звать, дочка? — спросил вдруг учитель.

— Хатия! — ответила Хатия, вставая.

— Ты сиди, сиди, пожалуйста!

Хатия продолжала стоять.

— Кто тебя водит в школу?

— Сосо, учитель... Но я могу и сама...

— Я освобождаю тебя от моих уроков. Можешь уйти.

— Мне интересно послушать... Я останусь.

— Оставайся, дочка...

У меня запершило в горле.

— Родители у тебя есть? — спросил снова учитель.

— Отец.

— Ты совсем ничего не видишь?

— Вижу солнце... Врач сказал папе, что раз я вижу солнце, то мне можно возвратить зрение.

— Конечно, можно! Я сам ослеп на Хасане... Ничего не видел!

— А солнце видели?

— Солнце видел. И меня вылечили...

— Ну и я вижу солнце...

Долго еще учитель всматривался в красивые улыбавшиеся

голубые глаза Хатии. Трудно, очень трудно было поверить, что эти глаза не видят света, товарищей, не видят его — учителя военного дела, низенького, невзрачного человека, по щекам которого сейчас стекали слезы и который не старался скрыть, что он плачет.

Раздался звонок. Учитель вышел из класса, не проронив ни слова. Мы молчали и не двигались с места. Заговорили лишь тогда, когда в класс вошла учительница грузинского языка и стала читать список.

— Что с вами? — спросила тетя Кето, удивленная непривычной тишиной.

— У нас был новый учитель военного дела,— ответила Хатия.

— Понравился?

— Кабы все вы были такими! — ответил я.

В тот день урок грузинского языка проходил необычно: говорили ученики, а преподаватель молчал и слушал их.

## БРИГАДИР ДАТИКО

В полночь на балконе что-то загромыхало. Я проснулся. Тетя, присев в кровати, с испугом смотрела на дверь, скрипевшую под сильным напором. Потом осторожно постучали в окно.

— Сосойя, иди ко мне! — позвала шепотом тетя.

Я подошел к тете, обнял ее. Она была холодна и дрожала всем телом.

Стук в окно повторился.

— Кто там? — с трудом выговорила тетя.

— Кето, открой дверь!

— Кто это?

— Это я, Датико!

Тетя закрыла лицо руками.

— Открой, Кето!

Тетя не отвечала.

— Кето!

Дверь заходила ходуном. Тетя не шевелилась.

— Кето открой, это я, Датико!

— Какой Датико?

— Да я, Датико! Не узнала?

— Датико в армии!

— Открой, иначе взломаю дверь!

— Сосойя, зажги лампу! — попросила меня тетя.

Я зажег лампу. Тетя встала, накинула халат, подошла к камину и замерла в углу.

— Открой, Сосойя!

Я вынул из ручки дверей засов, попятился назад и стал рядом с тетей. Дверь медленно, со скрипом открылась.

Перед нами стоял бригадир Датико: в распахнутой на груди гимнастерке, гладко выбритый, с взъерошенными волосами, с пистолетом за поясом и коротким карабином в руке.

— Здравствуйте! — улыбнулся он.— Испугались?

Мы промолчали. Датико двинулся к нам.

— Стой на месте! — сказала тетя.

Датико остановился.

— Кето, что с тобой? Я сто лет тебя не видел...— Датико сделал еще шаг.

— Стой, говорю!

— Да чего вы боитесь? Я обещал вернуться, вот и вернулся!

Датико двинулся к нам.

— Говорю тебе — стой на месте,— повторила тетя,— иначе позову соседей!

— Зови кого угодно! Никого я не боюсь! Я вернулся из-за тебя и не стыжусь этого! Слышишь ты?!

— Не из-за меня, а из-за страха ты вернулся!

— Ты, ты меня вернула!

— Тебя вернул страх!

— Я никого и ничего не боюсь!

— Зачем же тогда тебе оружие? Почему ты скрываешься?

— Скоро перестану скрываться!

— Чего ты ждешь?

— Кето, ты ведь умная женщина... Видишь, что творится?

— Чего ты ждешь?

— Пойми ты, плевать я хотел на всех! Ради чего мне умирать? Меня никто не трогает! Мое дело — пахать и сеять! Зачем, во имя чего я должен погибать? Я хочу умереть своей смертью, рядом с тобой! И никто у меня не отнимет тебя! Ты понимаешь это?

Тетя слушала Датико, не сводя с него глаз.

Датико сел, поставил карабин между ног, достал табак, закурил и продолжал:

— Я не трус, это всем известно. Но умирать ни за что ни про что не хочется... Хорошо, вернусь я туда... Убьют меня... Поможет делу моя смерть?.. Кто вспомнит про меня: кем я был, чем я был...

— А кто ты есть сейчас?

Датико не ожидал такого вопроса.

— Я?.. Сейчас я политический противник власти...

— Бродяга и дезертир, вот кто ты такой! — сказал я и прижался к тете.

Датико побледнел. Он встал, снова сел.

— За такие слова другой поплатился бы жизнью... А ты забыл, как они поступили с твоими родителями? Забыл?

— Не твое это дело!

— Сопляк! Что ты понимаешь!.. Неспроста ведь твой отец стал троцкистом!

— Сам ты троцкист и сукин сын! Все, кто помнит моего отца, говорят, что он был замечательным человеком!

Датико пренебрежительно махнул рукой — дескать, стоит ли спорить с молокососом — и обратился к тете:

— Кето! Я мечтал о встрече с тобой, как умирающий от жажды — о глотке воды! Улыбнись хоть раз! Я знаю, ты любишь меня, но боишься... Боишься, что они уже узнали все и теперь выслеживают меня... (На лице тети не дрогнул ни один мускул.) Вы должны помочь мне... Нет у меня никого, кроме вас... Пока буду скрываться в лесу, а потом мы еще посмотрим, кто кого.

Я стоял у камина и с омерзением слушал разглагольствования превратившегося в животное человека, который когда-то назывался бригадиром Датико... Вдруг оставшаяся открытой дверь скрипнула. Датико вскочил, схватил карабин и расширенными от ужаса глазами уставился в черное пространство. Убедившись, что за дверью никого нет, он успокоился.

— Накормите меня,— сказал вдруг он,— голоден я!

— Мы тоже голодны! — ответил я.

— Что, кусок мчади для меня пожалели?

— Еще бы! У нас собака с голоду дохнет...

— Благодари тетю, подонок, а то расшиб бы я твою глупую башку!

— Нашелся герой! Небось у самого поджилки трясутся от страха...

— Змееныш ты этакий! Вырастешь — погляжу, как ты себя будешь чувствовать в армии!

— По крайней мере, не стану шататься по ночам и просить кусок мчади!

— Сосойя, не выводи меня из терпения!

— А ты уходи! Зачем к нам пожаловал?

— Я не к тебе пришел!

— А к кому же? Тетя тебя не любит!

— Любит! Это ты меня не любишь и никогда не любил!

— Знал, что ты за птица!

У Датико побагровело лицо и запрыгала бровь. Он положил карабин на стол, встал и решительно направился к нам. Мы прижались к стене.

— Не подходи, закричу! — предупредила его тетя.

— Не закричишь! — Датико подошел к нам вплотную.— Не

закричишь! — повторил он и вдруг схватил тетю за плечо.— Почему ты не кричишь? Боишься? Кричи! Созови все село! Погубила меня, а теперь я тебе не нужен, да? Теперь ты меня гонишь, да? Говори!.. Говори, иначе я убью себя и кровь моя ляжет на тебя!.. Говори!..

Датико изо всех сил тряс тетю. А она молчала и не сводила глаз с этого обезумевшего, забывшего про опасность, оравшего, как раненый зверь, человека. Вдруг Датико схватил тетю за голову и стал осыпать поцелуями ее щеки, лоб, глаза. Я набросился на Датико сзади и впился зубами ему в плечо. Датико, взвыв от боли, оттолкнул тетю, повернулся и закатил мне такую оплеуху, что я отлетел в угол комнаты, ударился головой об стену и упал, на миг потеряв сознание.

Очнувшись, я увидел испуганное лицо склонившейся ко мне тети, которая холодными как лед пальцами растирала мне виски. Датико стоял поодаль и исподлобья глядел на нас.

— Что ты сделал? — тихо сказала тетя.

— Ничего, не умрет! — ухмыльнулся Датико.

— Что ты сделал с моим мальчиком? — повторила тетя и выпрямилась. Она подошла к камину, протянула руку к прислоненному к стене топору. Датико нахмурился.

— Положи топор! — сказал Датико и двинулся к тете. Тетя подняла топор над головой.

— Ты что, с ума сошла?! — Датико попятился. Тетя двинулась вперед.

— Кето!

— Вон отсюда! — тетя приближалась к Датико. Тот шаг за шагом отступал, не сводя глаз с топора. Так он добрался до стола, взял карабин, не поворачиваясь, ощупью нашел дверь и вышел, оставив ее открытой. Тетя опустила топор, закрыла дверь, продела в ручку вместо засова топор, потом, не раздеваясь, бросилась на кровать и зарыдала.

Я прикрутил фитиль лампы и лег.

Тетя затихла. Я молчал.

Спустя долгое время я услышал тихий голос тети:

— Сосойя!

— Что, тетя?

— Спишь?

— Нет, тетя!

— Иди ко мне...

Я вскочил, подбежал к тетиной кровати и прильнул к ее лицу. Лицо было холодное, и губы у тети дрожали...

# БЕЖАНА

Виски Бежа́ны Эса́дзе уже заметно серебрятся, но во всем селе нет веселее и беззаботнее его человека.

...Много лет тому назад залез, оказывается, маленький Бежана на соседскую грушу полакомиться янтарными плодами да и полетел вниз головой с двухсаженной высоты. Бросились добрые люди к незадачливому воришке, стали растирать ему виски и поливать водой, кое-как привели в чувство. Раскрыл, оказывается, Бежана глаза, икнул, улыбнулся и... с тех пор никто его не видел расстроенным или огорченным. Ходит теперь по селу босоногий Бежана, весело улыбается встречному поперечному и напевает свою любимую песенку:

Минадора черноокая —
Ты звезда моя далекая...

Бежана готов прийти на помощь каждому, кто позовет его, готов за миску лобио[1] и стакан вина выполнить любую работу по хозяйству. Бежана силен, как буйвол. Поспорьте с ним — и он, впрягшись в плуг, перепашет полгектара земли. Он головой разбивает грецкие орехи и шутя таскает пятипудовые мешки с кукурузой от конторы до самой церкви... Не дай бог испытать на себе удар Бежаниного кулака! Но трудно представить себе Бежану, поднявшего руку на человека! Единственное больное место Бежаны — Минадора... Стоит намекнуть, что Минадора вышла замуж, и тогда Бежана теряет голову. Он рвет на себе одежду, бьется головой об стену, выворачивает камни, ломает на деревьях сучья толщиной в руку... Как-то Афрасио́н Чанту́рия попросил Бежану расчистить заброшенный кусок каменистой целины, где он собирался посадить виноградник. В тот день Бежане нездоровилось, и работа у него не спорилась. Смотрел, смотрел на него Афрасион и вдруг выпалил: «А ты знаешь, Минадора-то вышла замуж!» Что тогда стало с Бежаной! Он взвыл, завертелся, запрыгал, потом схватил заступ и перекопал участок так, словно по нему прошла танковая армия... И лишь вечером, когда обессиленный, задыхавшийся Бежана упал навзничь, он понял, какую с ним сыграл шутку Афрасион. И с тех пор Бежана избегает встречи с Афрасионом.

Бежана обожает детей. Придет к соседке, присядет у порога и попросит:

— Ма́ка, одолжишь мне своего пацана?

— Зачем он тебе, Бежана?

---

[1] Ло́био — фасоль.

— Да так, поиграюсь с ним... Хочешь играть в лошадки, Тариэ́л?

— Хочу!

— Ну давай! Садись сюда, мне на шею... Вот тебе хворостинка, только не бей меня больно... Ну? Готов? Поехали!..

Став на четвереньки, Бежана с мальчуганом на шее носится по двору. Ребенок визжит от восторга... Бежана ржет... Забавы Бежаны ни у кого не вызывают опасений. Все знают, что ребенку с Бежаной не грозит никакая опасность — он ласков и осторожен с ним, как родная мать. Но Бежана сам чувствует неловкость за свое пристрастие к детским шалостям, и потому просьба его звучит робко и застенчиво:

— Машико́, одолжишь мне своего пацана?

Ко мне Бежана питает особую любовь и уважение. Я — единственный поверенный всех его тайн, а сам Бежана — единственный на селе человек, который считает меня самым умным и достойным среди наших соседей. Я очень люблю Бежану.

В прошлое воскресенье Бежана вошел к нам во двор и позвал:

— Сосойя!

Я и тетя вышли на балкон.

— Иди сюда, Бежана! — пригласила тетя Бежану.

— Неси сюда, если есть чем угостить! — ответил он и прилег под шпанской вишней.

Тетя собрала на подносе ломоть сыра, половину мчади, стакан вина и спустилась во двор. Я последовал за ней.

— Доброе утро! — приветствовал нас Бежана, взял из рук тети поднос и стал с аппетитом уплетать мчади с сыром.— Дрова не нужно наколоть, Кето? — спросил Бежана.

— Нет, Бежана!

— Отлично! Может, сходить на мельницу?

— Нет, Бежана, не нужно ходить на мельницу! — улыбнулась тетя.

— Еще лучше! А может, корову погнать на выпас?

— Нет, Бежана, не надо!

— Совсем хорошо!..— Бежана отпил глоток вина.— А почему, Кето, дорогая, сыр у тебя несоленый?

— Нет соли, Бежана...

— Вот-вот! Нет соли!.. И что же? Меня называют дураком, а нашего дурака — председателя Кишва́рди — умным человеком!

— Не поняла тебя, Бежана! При чем тут председатель?

— Как при чем?! Что он сеет? Кукурузу да просо! А почему бы ему не посеять соль или сахар? А? Ведь вздохнет народ! Что, не прав я, Сосойя?

— Прав, конечно, Бежана! Но почему ты сам не сеешь соль?

— Все хорошие земли — у колхоза. Что мне делать? В прошлом году я все же посеял соль на моем истощенном участке, да ничего не взошло! А хотя бы и взошло, разве напасешься соли на стольких голодных людей?

Тетя вздохнула и ушла.

Бежана проводил ее взглядом и обратился ко мне:

— Ну как, выходит она за Датико или нет?

— За какого Датико?!

— За бригадира Датико, какого же еще! Недавно встретил я его в лесу. Ого! Обвешан оружием, как николаевский стражник! Он по секрету сказал мне, что его прислали сюда по сверхсекретному заданию правительства и что об этом нельзя никому говорить!..

— А ты что?

— Что «что»? Я сообщил двум доверенным лицам — нашему председателю и Ба́дрии, который в милиции работает. Они ведь партийные, им можно. Они не выдадут... А впрочем, мне-то что!.. У меня другое к тебе дело, Сосойя!

— Что за дело, Бежана?

— Понимаешь, человек один там, в плантации... Не знаю, что с ним делать...

— Какой человек? О чем ты, Бежана?

— Ты что, Сосойя, перестал понимать грузинскую речь? Говорю тебе — там, в чайной плантации, у меня человек!

— Кто он такой?

— А я почем знаю?

— Спросил бы его!

— Спрашивал! А он молчит! Лежит с закрытыми глазами, улыбается и молчит.

— Дышит?

— Не знаю.

— Может, он мертвый?

— Дурак! Где ты видел улыбающегося покойника?

— Так что же с ним?

— А я почем знаю!

— Что же ты знаешь, болван! — взорвался я.

— Сегодня воскресенье, завтра будет понедельник! Это я знаю!

— Ох, Бежана, беда мне с тобой!.. Идем, покажи, где этот твой живой мертвец!

Бежана встал и пошел, напевая свою любимую:

Минадора черноокая,
Ты звезда моя далекая...

Мы миновали несколько домов, свернули на тропинку и подошли к раскинувшейся на склоне плантации чая, вдоль которой тянулся ряд тунговых деревьев.

— Во-он там, под последним тунгом! — показал Бежана рукой.

Я сбежал по склону и остановился как вкопанный у дерева.

В высоких зарослях папоротника лежал исхудалый, мертвенно-бледный, заросший бородой русский мужчина в военной гимнастерке. Я нагнулся, приложил ухо к груди незнакомца и уловил слабое биение сердца. Я дотронулся рукой до его щеки — она пылала жаром.

— Когда ты нашел его, Бежана?

— Утром.

— И молчал до сих пор?!

— Я сразу же побежал к тебе, дорогой мой, но по дороге забыл... Плохо без сахара. Сосойя! Люди стали забывчивыми... Вчера утром встретил я Аквирин́э... Посмотрела она на меня, улыбнулась, а поздороваться забыла... Говорят, что...

— Ладно, ладно!.. Помоги-ка поднять его! Видишь, умирает человек!

Бежана в два счета сгреб мужчину.

— Куда его?

— Домой!

— Ты что, ошалел? Покойников выносят из дома, а я его понесу домой?

— Да не к тебе! К нам домой!

— К вам — пожалуйста!

Бежана несколько раз подбросил мужчину на руках, обнял его поудобнее и стал вприпрыжку подниматься по склону, приговаривая:

— Нно-о-о, лошадка, нно-о-о... А как его зовут? — спросил вдруг он меня.

— Откуда мне знать?

— Сосоин русский он! Сосоин русский! — нашелся Бежана.

Мы пришли домой, поднялись на балкон. Незнакомца уложили на мою кровать. Тетя в недоумении глядела на нас.

— Кто это? — спросила наконец она.

— Сосоин русский! — ответил обрадованно Бежана.

— Мы нашли его в плантации... Помоги ему, тетя! — попросил я.

— Да кто он, этот несчастный?

Тетя положила руку на лоб незнакомца, покачала головой и отошла от кровати.

— Сосойя, принеси уксус!

Я сбегал на кухню. Когда вернулся в комнату, тетя сидела

у изголовья больного. Она распахнула ему на груди гимнастерку и отшатнулась: под правым соском незнакомца краснела свежезарубцевавшаяся рана с человеческий кулак. Тетя осторожно поставила больному термометр, потом налила уксус в глубокую тарелку, разбавила водой, смочила полотенце, отжала и наложила ему на лоб.

— Нужен ему твой уксус! — вмешался Бежана.— Напои-ка ты его вином и накорми чем-нибудь, видишь — человек умирает от голода!

— Ох, Сосойя, Сосойя, впутал же ты меня в историю! — вздохнула тетя.— А если, не дай бог, умрет он, что мне тогда делать? Ты подумал об этом?!

Она вынула термометр и ахнула:

— Сорок и шесть!.. Беги, Сосойя, за врачом!

— Ему не врач, ему вкусная пища нужна! — продолжал свое Бежана.

— Да иди ты!..— прикрикнула на него тетя.— Ступай, Сосойя!

Я побежал. В медпункте врача не оказалось... «Вызвали в район, сегодня не вернется»,— сообщила уборщица. Тогда я направился к Хатии и рассказал ей все. Хатия посоветовала сходить к бабке Аквиринэ. Пошли к бабке. Я рассказал ей все сначала. Аквиринэ прихватила с собой какие-то настои в маленьких аптечных пузырьках, и втроем мы вернулись домой.

— Русский! — удивилась Аквиринэ, взглянув на больного.

— Русский! — подтвердила тетя.

Больной был по-прежнему без сознания, но теперь он дышал спокойнее и чему-то улыбался.

— Вот дурак! Нашел время улыбаться!.. А ты почему вчера утром не поздоровалась со мной? — упрекнул Бежана Аквиринэ.

— Да ну тебя! — отмахнулась старушка.— Битый час ты болтал со мной, забыл?

— А-а-а, ну хорошо...

— Принеси-ка стакан «адесы», Сосойя! — попросила Аквиринэ.

Я принес. Аквиринэ намочила кусок ваты в вине и провела им по губам больного. Спустя минуту он чуть раскрыл губы. Аквиринэ снова намочила вату и накапала в рот больному несколько капель. Тот сделал глотательное движение и застонал.

— Дай-ка мне это вино, если ему не хочется! — Бежана протянул руку.

— Пропади ты пропадом, Бежана! Не такой уж ты дурень, чтобы не отличать больного от здорового! Пошел вон!

После нескольких попыток Аквиринэ удалось заставить

больного проглотить один, затем другой, третий глоток вина. Наконец он опорожнил стакан, но тут же зашелся от судорожного кашля. Он кашлял долго и надрывно. Наконец отошел, успокоился и задышал ровно, но вдруг заерзал, застонал, стал размахивать руками.

— Ну-ка, женщины, выйдите из комнаты! — приказала Аквиринэ.

— Что с ним? — вскрикнула тетя.— Ему плохо?

— Нет, хочу растереть его.

Тетя вышла. Хатия осталась. Она стояла в углу комнаты и молчала.

Аквиринэ раздела больного догола. Потом она налила себе на ладонь жидкость из пузырька, растерла другой ладонью, нагнулась к больному и стала не спеша натирать ему грудь.

— И не щекотно ему? — расхохотался Бежана.

— Переверните! — сказала Аквиринэ.

Мы перевернули больного. Аквиринэ так же не спеша, основательно натерла ему спину и поясницу. Когда мы снова переворачивали больного, я посмотрел на Хатию. Она по-прежнему стояла не двигаясь в углу.

— Пошла отсюда! — прикрикнул я на нее.— Не видишь, что ли, голый же он!

— Ничего, Сосойя, я постою,— улыбнулась Хатия.

У меня больно сжалось сердце, стало стыдно, и я заорал во весь голос:

— Убирайся отсюда!

Аквиринэ и Бежана удивленно посмотрели на меня.

— Ты что, ненормальный? — спросил Бежана.— Или забыл, что она слепая?.. Стой здесь, детка,— обернулся он к Хатии,— не слушай этого дурака!

Хатия, не ответив, вышла из комнаты.

Аквиринэ поправила под больным подушку, погладила его по голове, дала отпить еще несколько глотков вина.

— Позови Кето!

Я вышел на балкон и вернулся вместе с тетей и Хатией.

— Надо переодеть его,— обратилась Аквиринэ к тете,— а его одежду выварить как следует!

Тетя принесла и положила на кровать белье, оставшееся от деда.

— Ну и пустота, что в нашем магазине! — раздался вдруг недовольный голос Бежаны.

Мы оглянулись и увидели, как Бежана с разочарованным видом рассматривал вывороченные карманы брюк и гимнастерки больного.

— А документы есть, Бежана? — спросила тетя.

— Нету, Кето, ничего здесь нету!

— Вот тебе и на! Как же узнать, кто он такой, как его фамилия? — забеспокоилась тетя.

— Как кто? Сосоин русский он! — объяснил Бежана.

— А может, он вовсе не русский, а украинец? — сказал я.

— Какая разница? Фамилию его я все равно бы не запомнил! Сосоин русский — и все тут! — настаивал на своем Бежана.

— Аквиринэ,— обратилась тетя к старушке,— как по-твоему, удастся спасти его?

— А он уже спасен, дорогая! — ответила Аквиринэ.— И спасен благодаря этому вот непутевому! Слышь, Бежана, это ты спас его!

Польщенный Бежана самодовольно улыбнулся, подошел к кровати больного, присел, взял его за плечи, встряхнул и громко позвал:

— Сосоин русский!

Больной зашевелился.

— Что, не слышишь? Здравствуй, Сосоин русский! И хватит тебе валяться в постели! Вставай! — Бежана еще раз встряхнул больного.

— Отстань от него! — оттолкнул я Бежану.

— Погоди! — заупрямился он.— Кто его спас, Аквиринэ? Я? (Старушка кивнула головой.) Так дайте мне поговорить с ним!.. Тебе говорю, Сосоин русский! Очнись! Вставай!

И вдруг больной действительно открыл глаза.

— Ну вот, а что я говорил! — обрадовался Бежана.

Больной долго смотрел на Бежану, потом по очереди оглядел каждого из нас. Красивые карие его глаза воспаленно блестели.

— У, сволочи...— пробормотал он тихо.

— Чего это он? — удивился Бежана.

— Он принимает нас за немцев!

— Вот дурак! Слышь, Сосоин русский, это я, Бежана, не узнаешь меня? — Бежана ласково потрепал больного по щеке. Тот закрыл глаза.

— Ночью он будет бредить. Дай ему попить вот этого... Утром свари кашу, попробуй накормить помаленьку... Если жар не спадет, пусть Сосойя еще раз натрет его. Ну, не расстраивайся, Кето, моя дорогая! — Аквиринэ встала, поправила подол платья и обратилась к Бежане: — Пошли, Бежана, никуда твой русский не сбежит!

— Здрасти, русо! — Бежана приложил к голове растопыренную пятерню, повернулся и, напевая песенку, последовал за Аквиринэ.

* * *

Всю ночь мы с тетей и Хатией не сомкнули глаз. Больной беспокойно ворочался, метался, бредил. В полночь он вдруг присел в постели, вперил в нас отсутствующий взгляд лунатика, потом посмотрел на дверь и позвал:

— Сестра!

— Что тебе, милый? — спросила тетя по-русски.

— Сестра, жалко тебе глотка мышьяка? — простонал больной.

Тетя дала ему отпить вина. Больной затих.

Под утро я натер его. Тетя прилегла на кушетке и заснула. Я и Хатия продолжали бодрствовать.

— Сосойя, что с ним будет? — спросила Хатия.

— Ничего не будет. Сказала ведь бабушка Аквиринэ, что он спасен.

— А вдруг она ошиблась?

— Ничего не ошиблась! Он же фронтовик! Видишь, какая у него рана? Если он от такой раны не умер, от болезни и подавно не умрет!

— А где у него рана?

Я откинул одеяло на груди больного, взял руку Хатии и дал ей пощупать рану.

— Ух ты!.. А если б попало влево, убило бы его, правда?

— Конечно!

Хатия нежно провела обеими руками по лицу, по плечам больного.

— Он красивый?

— Не знаю. Наверно, красивый. Зарос он, как поп, разве поймешь?

— А худой какой!

— Димка! — выкрикнул вдруг больной.— Слышишь меня, Димка?!

Я и Хатия обратились в слух.

— Тебе говорю, Димка! Слышишь?

— Слышу! — ответил я тихо.

— Смотри, Димка, сейчас все спят... Утром сюда придут немцы... Вывезти всех не успеют... Мы с тобой — ходячие... Или ты хочешь сгнить в постели?.. Надо бежать!..

— Ты о чем?

— Да, да, бежать!.. Эвакуация мне не по душе... Пусть сам врач эвакуируется, если он боится... Ты чего молчишь? Сейчас все спят и никто не дежурит... Гляди!..

Больной привстал.

— Погоди,— обнял я его,— дождемся утра!

— Нет, я уйду! — он оттолкнул меня и встал.

— Куда ты? Постой!

Я постарался удержать больного, но, поняв, что это мне не под силу, крикнул:

— Хатия, помоги!

Хатия ощупью подошла к нам и сзади схватила больного за плечи.

— Пустите! — взревел он и рванулся так, что мы все втроем оказались на полу. Перепуганная тетя бросилась к нам.

— Пустите меня! У-у-у...— Вопя и ругаясь, больной катался на полу, мы наседали на него и никак не могли справиться с этим обескровленным, ослабшим от голода и жара человеком, которому страх придал удивительную силу. После получасовой возни он обмяк и заплакал:

— Отпусти меня, сестра, сделай доброе дело, отпусти...

Наконец он, видно, примирился с судьбой, опустил руки, всхлипнул и уже спокойно дал нам уложить себя в постель. Спустя минуту он заснул...

Я улегся на полу у камина, тетя и Хатия — вместе, на кровати.

После долгого молчания я тихо позвал:

— Тетя...

— Да?

— Спишь?

— Сплю!

— Ты не обижайся, тетя, завтра я схожу в сельсовет и попрошу, чтобы его отправили в больницу...

— Не мели чепухи! Хатию разбудишь!

— А я не сплю.

— Сходим, Хатия, в сельсовет? — спросил я Хатию.

— И куда он хотел бежать? — спросила в свою очередь она.

— Засните, черти! Вставать скоро! — зашикала на нас тетя.

— Нет, серьезно, тетя, что нам делать?

— А что, собственно, надо делать? Привели его — значит, должны выходить. И все! При чем тут сельсовет?

— Чем его кормить?

— Тем же, чем кормимся мы сами.

— Ему бы молока побольше...— сказала Хатия.

— Да, мчади с сыром тоже неплохо! — сказал я.

— Откуда и как он попал сюда? — спросила Хатия.

— Война, Хатия, война... Сейчас всякое бывает,— ответила тетя.

— Тетя!

— Что еще?

— Значит, оставляем его?

— Сперва вылечим, а там видно будет... Да засни ты наконец!

...Я сплю и вижу сон: перед нашей сельской церковкой в белом подвенечном платье стоит тетя — стройная, красивая, как божья матерь. У ее ног на коленях все мужчины нашего села и среди них наш русский. Все молчат. Молчит тетя. И лишь русский, воздев руки, молит тетю:

«Отпусти меня, сестра, сделай доброе дело, отпусти...»

Я прошу тетю не отпускать нашего русского. Тетя подходит к нему, берет его за руку, потом берет за руку меня, и мы втроем идем домой...

...Целую неделю больной боролся со смертью. Все эти дни он не приходил в сознание. Днем лежал спокойно, устремив в потолок блестящие глаза, ночью начинал метаться и бредить. Каждый день Бежана приходил проведать больного. Он садился у изголовья и заводил с ним беседу, словно со старым знакомым.

— Когда же ты встанешь, Сосоин русский, а? Видишь, ноги уже не держат Кето!.. Что? Не понимаешь по-грузински? Так я тоже по-русски не понимаю, но это ничего не значит! Хочешь, поспорим? На что? На что желаешь! Кто больше съест. Кто больше поднимет. Кто лучше споет. Что? Спеть по-русски? По-русски я не умею, дорогой! Спою тебе по-нашему, а ты поддержи басом! Не можешь? Ладно, пой вторым голосом! Тоже не можешь? Хорошо, тогда я один спою! — И Бежана пел:

Девица-красавица
В загляденье платьице
Днем покоя не дает
И во сне является...

Недавно наш Лукайя Поцхишвили получил похоронную на сына... Стыдно, конечно, петь, когда у соседа такое горе... Но я чокнутый, мне можно... Почему мне поется, говоришь? Поется, и все тут! А почему поет наше радио? Дела у нас, сам знаешь, не так уж веселы... А все же поем и будем петь! Песня, брат, помогает в беде! Так-то!..

Каждый день с утра до вечера к нам приходили соседи — проведать больного. Приходил врач — поил его какими-то лекарствами, делал уколы. И в конце недели наш больной наконец-то пришел в себя. Он открыл глаза, присел в постели и долго удивленно оглядывал меня, тетю, Хатию и Бежану.

— Где я? — спросил он.

Мы объяснили.

Больной попытался встать, но силы изменили ему. Он снова лег и закрыл глаза. Лицо его нахмурилось, и на скулах заходили

желваки. Мы поняли, что больной впал в тяжелые воспоминания, и молча покинули комнату. Я и Хатия вышли со двора и, взявшись за руки, бесцельно зашагали по проселочной дороге.

— Знаешь, Сосойя, ему теперь ох как нужно козье молоко! Сразу встанет на ноги! — сказала Хатия.

— Привет! А где ты его возьмешь — козье молоко?

— Сходим к Ми́не. У нее есть коза.

Соседка Мина подметала двор. Двое полуголых детишек неотступно следовали за ней и хныкали:

— Ма-а-ам, дай варе-е-енья!

— Чтоб вам повылазило, обормоты!.. Ишь чего захотели!.. А палкой по одному месту не хотите?

— Не-е-е, варенья хотим!

Мы зашли во двор. Я присел у калитки, а Хатия направилась к Мине. Женщина, продолжая подметать двор, не заметила Хатию, а дети тотчас же окружили ее.

— Мам, мам, Хатия пришла!

Мина бросила веник, выпрямилась и заулыбалась.

— Здравствуй, моя девочка!

— Здравствуй, Мина!

— Как поживаешь, Хатия?

— Спасибо, Мина... У меня есть дело к тебе.

— Говори, детка!

— Нам с Сосойей нужно молоко!

— Молоко?

— Да. Козье молоко. Для больного.

— Хатия, девочка моя дорогая, откуда у меня молоко? Разве напасешься на этих извергов? У, черти ненасытные! — прикрикнула она на детишек.— Как мне быть?

— Ничего. Мина, ты не беспокойся, мы попросим у других,— ответила Хатия,— извини, пожалуйста! До свидания!

— Погоди, погоди, Хатия! — Мина бросилась под навес, выволокла оттуда за рога упиравшуюся и отчаянно блеявшую козу.— Вот, Хатия, посмотри сама, есть ли у нее в вымени хоть капля молока!.. Нет, ты потрогай, пожалуйста! — Она схватила руку Хатии и насилу заставила ее пощупать тощее вымя козы.

— Верно, верно, Мина... Разве я не понимаю? Я не подумала о детях... Извини меня...

— Хатия, детка моя, не обижайся! Знаешь ведь, я души не пожалею для тебя, но тут я бессильна!

— Знаю, Мина, извини!.. Ну, мы пошли! До свидания!.. Идем, Сосойя!

Мы обошли все село, но достать молока так и не сумели. Козу держали почти в каждом доме, но лишнего молока не нашлось ни у кого. Эдеми́ка Горделáдзе даже объяснил нам, что

в военное время кровь и козье молоко ценятся одинаково... А Васáси Сосéлия на наших глазах накрошила мчади в горшочек с козьим молоком и, когда ее внучок во мгновение ока вылакал горшочек до дна, вздохнула и сказала:

— Видели? Вот так каждый день. Коза — все для мальчишки: мать, завтрак, обед и ужин... Другой пищи нет у меня для него... Скоро он, наверно, начнет блеять по-козлиному...

Так мы возвратились домой без молока.

...Назавтра к полудню Хатия пришла к нам, вызвала меня во двор и тихо сказала:

— Сосойя, я знаю, где достать козье молоко!

— Где?

— Бери посуду, и пошли!

Я вынес из кухни глиняный горшочек и последовал за Хатией. Мы пересекли чайную плантацию, миновали заросли орешника и вышли к огромному грушевому дереву, росшему над обрывом.

— Слышишь? — спросила Хатия.

Я прислушался. Снизу доносился глухой рокот.

— Ну и что? Шумит водопад...

— Прислушайся хорошо!

Я напряг слух и среди однообразного шума воды различил дребезжащее позвякивание колокольчика.

— Да, слышу...

— Козы со всего села к полудню собираются у водопада...

— Ты с ума сошла, Хатия!

— Немножко, всего полгоршка!

— Увидят нас!

— Твоему русскому нужно молоко, Сосойя!

...Целую неделю я и Хатия ровно в полдень появлялись у водопада. Начиналась погоня за козами. Козы с громким блеянием разбегались во все стороны, продирались сквозь колючки, скатывались по скалистому склону. Мы возвращались домой в разодранной одежде, с окровавленными руками и ногами и полным горшочком молока. Растроганная тетя благословляла добрых соседей. За эту неделю я наловчился так, что мог на ходу выдоить самую быструю из коз. Не знаю, до каких бы пор продолжалась наша молочная эпопея, если бы в один прекрасный вечер село не взбудоражил истошный крик Эдемики Горделадзе:

— Люди, выходите!

— В чем дело, Эдемика? — сбежались перепуганные соседи.

— Вот! Глядите все! Кто-то выдоил мою козу!

— Чтоб ему провалиться сквозь землю! Вчера выдоили мою! — крикнула Мина.

— Машико жаловалась мне: третий день, говорит, коза возвращается с пустым выменем! — добавил кто-то.

— Мою выдаивают через день!

— И мою!

— Что же это такое, люди?

— Такого не бывало даже во время русско-японской войны, а ведь тогда тоже нуждались в молоке!

— Знаю я, чьи это штучки, да только пока молчу! — помахал пальцем Эдемика.

— Говори, если знаешь! — набросились на него соседи.

— Знаю! Молоко ворует тот, кому оно нужно!

— Ну, ты скажешь! А кому оно не нужно?

— Дайте срок, и я раскрою это дело!

— Давай, Эдемика, выручай нас!

Между тем владельцы коз приняли меры предосторожности. Коз перестали выпускать со двора, а если выпускали, то обязательно в сопровождении кого-либо из членов семьи. Я и Хатия ходили убитые горем — нашему промыслу пришел конец.

Однажды вечером, когда нам чудом удалось выдоить чью-то зазевавшуюся козу и принести домой глоток молока, тетя подозвала нас.

— Хатия, подойди ко мне!

— В чем дело, учительница?

— Покажи свои руки!

Тетя приложила к лицу обе ладони Хатии. То же самое проделала она со мной.

— Что ты делаешь, тетя? — спросил я удивленно.

Хатия молчала.

— Ваши руки пахнут козьим молоком, дети!

За весь вечер тетя больше не проронила ни слова.

## В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЗАДАЧА?

Колхозные собрания у нас, как правило, созывались по вечерам, но колокол начинал звонить уже с полудня. Уставшие за день люди всячески старались увильнуть от собрания. Приходилось чуть ли не за руки вытаскивать их из домов.

— Просили же тебя, Архип? Забыл про собрание?

— Эдемика, именно сегодня у тебя разыгрался ревматизм?!

— Не идешь, Диомид? Ладно, поговорим с тобой в другом месте! Не будь я Зосимом!

— Зосим зобастый. Не ори ослом и дай мне отдохнуть, а то возьму вот двустволку и отправлю тебя в такое место, откуда нет возврата!

— Маргарита, выходи, я знаю, ты дома!

— Иди на собрание, Ксеня, да прихвати своего инвалида!

Нас, детей, на собрание не приглашали, но мы и не нуждались в приглашении. Собрание было для нас единственным местом развлечения. Оно обычно проводилось в школе, и нам доставляло огромное удовольствие видеть, с каким трудом рассаживаются за партами седовласые загорелые дяди и тети. Мы устраивались на полу, с наслаждением наблюдая за ходом этого странного урока, во время которого не читали списка, отвечали с места, не вставая, свободно курили, перебивали друг друга, к учителю обращались на «ты», и никого за это не выставляли за дверь. Я мечтал о том времени, когда и меня будут звать на собрание, когда и я смогу послать зовущего к черту, когда при голосовании председатель объявит: «Сосойя воздержался!..»

...Я и Хатия сидим на полу, перед тетей, за нами, также на полу,— Бежана. Мы ждем начала собрания. Класс гудит. Все окна распахнуты настежь, но в комнате все же жарко. От запахов табака, пота и земли першит в горле. Надрывно кашляют старики. Судачат бабы. А народ все валит.

— Ну что ж, пора начинать! — объявил колхозный счетовод Зосим, постучав карандашом по надтреснутому колокольчику.— Кого изберем председателем?

— Будь сам, какая еще с тебя польза? — съязвил Диомид.

— Пожалуйста, становись председателем ты! Убедишься, какое это удовольствие!

— Что ты! Отбивать кусок хлеба у любимого соседа!

— Пропади ты пропадом с твоим соседством!

— Да начинайте же, черти проклятые, утро скоро! — прервал дискуссию Зосима и Диомида дядя Герасим.

Зосим кашлянул, надел очки, раскрыл бумажную папку, извлек оттуда лист бумаги, поднес его к носу и вдруг вспомнил:

— А секретаря? Надо же избрать секретаря собрания!

— Будь заодно и секретарем! — предложил Диомид.

— Не справится с двумя обязанностями! — сказал Бежана.

Зосим нахмурился, снял очки и посмотрел на Бежану, однако, увидев его серьезное лицо, промолчал.

— Голосовать?

— Хоть голосуй, хоть пой в три голоса, только начинай! — крикнул выведенный из терпения отец Хатии.

Зосим еще раз кашлянул и объявил:

— На повестке дня у нас один вопрос: о лодырничании и отвиливании от работы отдельных, так сказать, изменников общего дела и родины. Слово предоставляется председателю нашего колхоза товарищу Кишварди Спиридоновичу Вашакмадзе!

При упоминании фамилии председателя раздалось несколько жидких аплодисментов. Кишварди встал, выпил полграфина воды, затянул пояс потуже и начал:

— Товарищи! Нынешний год сложился для нас очень неблагоприятно. Что происходит сейчас? Происходит смертельная борьба. Две стороны — красная и черная — ведут между собой — что? Они ведут между собой войну. Беспощадную войну. Кто мы? Мы — серп и молот, то есть звезда. Кто они? Они — ад и бездна, тьма-тьмущая и беда нескончаемая! Что делает Гитлер? Гитлер продвигается вперед. Он достиг уже кислых минеральных вод. Кисловодск! — перевел он на русский язык.— Каково приходится народу? Трудно приходится, товарищи, народу! И правительству нашему нелегко, и армии нашей нелегко. А нам? Нам тоже трудно, товарищи! Не хватает пищи, одежды, обуви... Вот ты, Христофор Баси́лия! Думал ли ты о том, что твоему мальчику, который с винтовкой в руках бьет Гитлера, нужна еда, нужна одежда?

— О чем же я думал, если не об этом, дорогой Кишварди!

— А ты, Герасим? Попал твой сын в госпиталь, и ладно? А о том, что таких, как он, тысячи и каждого из них надо накормить и напоить, ты знаешь об этом?

— Знаю, Кишварди, знаю...

— Ражде́н! Как по-твоему? Танк, в котором сидит твой парень, растет в саду на дереве?!

— Да что ты нам байки рассказываешь! Говори о деле! — раздались недовольные голоса.

— Скажу о деле! Стране нужен хлеб, нужно мясо! Лобио и мчади нужны народу! Вы как думаете, зачем нас оставили здесь? Или мы стрелять не умеем? Да я за пояс заткну любого... как его... снайпера! Ан нет! Велели сидеть здесь, дома! Почему? Потому что мы сегодня нужны здесь! У войны ненасытный желудок, ох и ненасытный! И заполнить этот желудок должны мы с вами! Понятно это?

— Кишварди! Вот тебе нож — режь нам горло! Что мы, не работаем, что ли? — подал голос дядя Герасим.

— Я не про всех... Мужиками я доволен. И на баб я не в обиде... Однако есть отдельные лица...

— Назови, назови конкретно! — зашумело собрание.

Кишварди извлек из нагрудного кармана сложенный вчетверо лист бумаги, развернул его. В классе люди затаили дыхание. Кишварди долго всматривался в листок, потом решился:

— Где Амба́ко, где Кирилл, где Кики́тия, где Феодосия Барами́дзе и невестка ее Маквала?

— Ну-ка, Шакро, отвечай, где твоя мамаша и жена твоего брательника? — толкнул кто-то Шакро Барамидзе.

Тот встал, провел ладонью сперва по парте, потом по собственному лицу и нехотя ответил:

— В Батуми они... За сахаром...

— Ага, за сахаром? Архип, как давно ты видел сахар? — спросил Кескинэ.

— Видеть-то видел, да вот есть не приходилось! — улыбнулся Архип.

Шакро закашлялся, закрыл лицо руками.

— Что ты раскашлялся, точно Бегларов пес! — прикрикнул на него Зосим.— Скажи-ка лучше, зачем их в Батуми потянуло?

— Да они... У них там... В общем, они там достают сахар, а потом...

— А потом здесь продают втридорога, так, что ли? — спросил кто-то.

— Так...

— И это говорит сын про собственную мать! Язык надо вырвать у такого сына! — запричитала Машико.

— А что, мне за них садиться в тюрьму, да? — огрызнулся Шакро и сел.

— Никого я не собираюсь сажать в тюрьму! — продолжал Кишварди.— Кому работа не по душе, пусть идет в лес, к Датико, и ночует там с волками... Просить и упрашивать мы не намерены... Война только начинается, и никто за нас не постоит, кроме нас самих... Лукайя Поцхишвили, скажи что-нибудь!

С того дня, когда Лукайя узнал о гибели единственного сына, он словно онемел. Он выходил в поле до восхода солнца, работал за троих, возвращался домой после захода солнца, ложился под навесом и лежал не двигаясь до утра. Обрушься небо и разверзнись земля — Лукайя не моргнул бы даже глазом.

Сейчас, услышав свое имя, Лукайя вздрогнул от неожиданности, встал, подошел к столу, выпил воды и прохрипел:

— Табаку...

Человек десять, сидевших за передними партами, полезли в карманы, и на столе выросла горка табака. Человек десять зашуршали газетами, и стол покрылся кусками бумаги. Человек десять зачиркали самодельными зажигалками, и комната наполнилась сладковатым запахом жженого трута. Лукайя дрожащими руками свернул толстую, с палец, цигарку, раскурил ее, глубоко затянулся. Лоб его покрылся испариной. Класс молчал.

— Я... Что я...— начал Лукайя.— Для меня война давно уже кончилась... Будь у бога справедливость, я сейчас должен гнить в могиле... Но не берет бог мою душу... Что ж, подожду... Накладывать на себя руки не стану... Всю свою кровь обращу в пот, все свои слезы обращу в кровь — найдут они путь к костям моего мальчика... Так и буду жить, пока не свернем

шею Гитлеру... Или я, или он... Вместе нам нет места на земле... Вот и весь мой сказ.

Собрание молчало. Лукайя сел и закрыл лицо руками.

— Пиши, Зосим! — встала вдруг бригадир Ксеня.

Зосим вопросительно взглянул на председателя.

— Пиши, говорю! — повторила Ксеня.

Председатель кивнул головой.

— Пиши! — продолжала Ксеня.— Пусть померкнет свет в глазах того, кто без причины уйдет с работы! Пусть отсохнет у него рука и поразит его пуля в сердце!

— Ну и ну...— потянул Алиéс Сосéлия.

— Вот тебе и ну! Кстати, говорю я это к твоему сведению! — огрызнулась Ксеня.

— А что я! Работаю, как вол, видят все! Мычать мне, что ли?

— Да, должен мычать!

— Записать это? — спросил Зосим.

— Послушайте, люди, чем сыпать здесь проклятиями, вы бы лучше поинтересовались, кто выдаивает наших коз! — вскочил Эдемика Горделадзе.

Я и Хатия похолодели.

— Я в Ксениных понуканиях не нуждаюсь,— продолжал Эдемика,— работаю на совесть! А тех, кто не работают, нет и на собрании!

— Об этом-то и речь! Это нас и интересует: где они? — встал Кишварди.

— Меня интересует, кто ворует наше молоко! — крикнул Эдемика.

— Правильно! — поддержали его Мака, Мина, Машико, Васаси и другие.

Народ заволновался, зашумел. Зосим вовсю стучал карандашом по колокольчику, но его никто не слушал.

— Да тише вы! — крикнул Кишварди.— Эдемика Горделадзе, о каких козах идет речь? Говори ясно!

— Я скажу про свою!

— И про мою скажи! — попросила Мина.

— Пусть каждый заботится о своей козе! — бросил кто-то реплику.

— Правильно! Слово предоставляется козе... то есть Эдемике! Выходи, Эдемика!

— Я скажу с места!

— Ну, начинай!

— Не знаю даже, с чего начать...

— С хвоста, Эдемика!

Эдемика почесал в затылке, потом посмотрел на меня. Я не

выдержал его взгляда, потупился. Эдемика покачал головой — дескать, попляшешь ты у меня,— и глубокомысленно изрек:

— Соседи! Коза — это вам не корова!

— А ты почем знаешь? — спросил недоверчиво Бежана.

В комнате захохотали.

— Кишварди, скажи этому дуралею, пусть заткнет глотку, иначе я отказываюсь говорить! — обратился Эдемика к президиуму.

— Бежана! Еще одно слово, и я выведу тебя! — предупредил председатель Бежану.

Тот прикрыл рот рукой и обратился в слух.

Эдемика продолжал:

— Моя коза — вы знаете ее, она хромает на заднюю ногу,— в день дает две бутылки молока...

— И тебе не стыдно эксплуатировать козу-инвалида? — спросил кто-то.

— Ногу ей сломал не я, а молоко одинаковое у всех коз... Я продолжаю. Дает, значит, она две бутылки молока: одну — утром, вторую — вечером... Что же теперь получается? Утром я надаиваю одну бутылку, а вечером коза возвращается без молока! То есть бутылка молока пропадает! А что такое бутылка молока? Это все равно что бутылка крови! Так говорит наш врач.

— Ну, послушать нашего врача, так один королек[1] равен двум яйцам, а два королька — одной курице...— сказал Виссарион.

— А что, разве не так? — набросился на него Эдемика.

— Так, конечно. Вот я посадил у себя одно корольковое дерево, и теперь не нужны мне ни куры, ни курятник... Придет гость — подам ему вместо курицы королек!

— Я не знаю, кому что ты подашь, но бутылка молока — это, по крайней мере, полбутылки крови! — сбавил Эдемика.

— Уступи еще немного! — крикнул кто-то.

— Не могу! Это установлено наукой! — заупрямился Эдемика.

— Скажи в конце концов, кто отнимает у твоей козы эти полбутылки крови? — не вытерпел Зосим.

— Не у козы, а у меня! У меня этот негодяй высасывает кровь! — взорвался Эдемика, ударив себя в грудь. Он подошел к столу, схватил графин с водой, отпил несколько глотков, хотел еще раз ударить себя, но Зосим перехватил его руку, опустил ее и обратился к собранию:

— Кто еще среди вас пострадавший?

---

[1] Королёк — разновидность хурмы.

— Я! Я! Я!..— повскакивали с мест Мина, Мака, Машико и Васаси.

— Пострадавшие пусть крикнут «мэ-е-е!»,— предложил Бежана.

В комнате опять поднялся хохот.

— Слышишь, Кишварди? Он еще и издевается над нами! — побагровел Эдемика.

— Бежана! Выгоню тебя вон! — пригрозил председатель. Бежана затаил дыхание. Председатель жестом велел Зосиму продолжать.

— Сколько литров крови дает твоя коза, Мина?

— Четыре!

— Твоя, Машико?

— Моя — три.

— Твоя, Мака?

— Моя — всего литр, она беременна...

— Твоя, Васаси?

— Два!

— Сколько же это получается? Четыре, да три, да один, да два, да еще Эдемиковых два...

— Двенадцать! — крикнул колхозный бухгалтер.

— Раздели теперь двенадцать на два!

— Это еще почему? — насторожился Эдемика.

— Потому! Половину-то молока берете сами?

— Берем...

— Ну вот... Следовательно, в чем заключается задача?

— Узнать, чем доятся козы — кровью или молоком! — ответил Бежана.

— Заткнись, олух! Задача заключается в том, чтобы определить, кто выдаивает чужих коз!

Грянули аплодисменты.

— Нечего тут определять и устанавливать! Мне все известно! — заявил Эдемика.

— Ну так говори, черт!

— Я бы сказал, да неудобно...— и Эдемика искоса взглянул на тетю.

— Говори, Эдемика! — проговорила побледневшая тетя.

— Кето, ты знаешь, ради тебя я готов идти в огонь и в воду...— сказал, запинаясь, Эдемика,— но если я промолчу, будет хуже для твоего мальчика...

В классе наступила напряженная тишина. Все повернулись ко мне и вдруг зашумели:

— Врешь, бессовестный!

— Кто тебе поверит!

— Сам лопает молоко, а сваливает на других!

— Садись, Эдемика, и молчи!

— Докажи, что это так!

— Погодите, люди! Дайте ему досказать!.. Говори, Эдемика, что тебе известно? — сказала спокойно тетя.

— Мне, дорогая Кето, известно одно: пришел как-то ко мне утром Сосойя, с ним была и Хатия...— Эдемика взглянул на Хатию. Она сидела не двигаясь и улыбалась.— Попросили они у меня козье молоко, сказали — для больного... Я отказал им. А вечером моя коза вернулась с пустым выменем... Дети в тот день побывали и у Маки, и у Машико, и их козы также пришли домой выдоенными... Так продолжается вот уже неделю... Правду я говорю, женщины? Отвечайте!

Но женщины молчали. Молчали все — то ли от неожиданности, то ли из-за уважения к тете.

— Да врет он! — встал вдруг Бежана.— Сочиняет все! При чем тут Сосойя и Хатия? Коз выдаиваю я!

— Записать? — спросил растерявшийся Зосим.

Председатель кивнул.

— А что мне остается делать? В колхозе я не состою, трудодней не вырабатываю... А насчет того, что, мол, кто не работает, тот не ест,— неправда это! Козы ведь тоже не работают в колхозе, однако жрут дай бог! Надо мне кушать или нет? Вот я и стал выдаивать коз! Вот так! — Бежана засунул в рот оба больших пальца.— Сказал ведь сегодня наш председатель, что у войны ненасытное брюхо? У меня тоже есть брюхо, и тоже ненасытное. И я стараюсь наполнить его... Правда, козье молоко без соли — не очень вкусно, но что поделаешь... А ты, Эдемика, повесил бы своей козе вместо дурацкого колокольчика кусок мчади и щепотку соли, было бы лучше... И не приставайте, ради бога, ко мне — как, да почему, да по какому праву я выдаиваю ваших коз! Ничего вы со мной не сделаете,— я сумасшедший! Я даже в выборах не участвую! Понятно? Если вы не отстанете от меня, я начну бушевать, вам же будет хуже! А ты, Эдемика, встань и держи ответ за клеветничество, за оскорбление неповинных детей! Вот так!

Огорошенный Эдемика не нашелся что ответить. Молчали и соседи.

— Ты закончил, Бежана? — нарушила тишину тетя.

— Да, дорогая Кето! — улыбнулся ей Бежана.

— Ну так садись...

Бежана, подмигнув мне, сел. Тетя встала и глухо заговорила:

— Простите меня, соседи! Это я во всем виновата. Сосо и Хатия каждый день приносили молоко и говорили, что это от соседей. Я верила им... А молоко действительно нужно было для

раненого... Бежана нашел его в плантации и приволок к нам — голодного, полумертвого... Благодаря вашему молоку и заботам Аквиринэ нам удалось выходить человека... Простите меня, соседи... Я постараюсь отплатить добром...

Тут вскочил Эдемика и, задыхаясь от волнения, набросился на меня:

— Что же это ты опозорил меня, Сосойя, перед честным народом? Сделал меня посмешищем? Сказал бы, сукин ты сын, в чем дело, да я бы подарил тебе эту проклятую козу! Что мне теперь делать! Бежана и тот смеется надо мной! Эх ты, Сосойя!..

— Сосойя Мамаладзе! Встань и доложи собранию, как было дело! Мы-то уверены, что на дурной поступок ты не способен! — сказал мне с улыбкой Кишварди.

Я встал, подошел к столу.

— Дядя Кишварди, дядя Эдемика... Я и Хатия... Дядя Эдемика... Клянусь памятью матери... Мы не выпили ни одной капли того молока...

У меня потемнело в глазах, люди стали двоиться, к горлу подступил горький комок... Потом комната исчезла... Кто-то подошел ко мне, обнял. Я прислонился головой к его плечам и тихо заплакал...

Вдруг дверь с шумом распахнулась и в комнату ворвался наш сельский почтальон Коция с огромной сумкой за плечом. Он еле стоял на ногах. Натыкаясь на стены, он с трудом добрался до стола, оперся на него руками, расставил ноги и окинул собрание мутным взглядом.

— Что, боитесь смотреть мне в глаза? — произнес он заплетающимся языком.

— Здравствуй, Коция! — приветствовал его дядя Герасим.

— Здравствуй! Где председатель? — спросил Коция стоявшего рядом Кишварди.

— Вот же я, не узнаешь? — Кишварди хлопнул почтальона по плечу.

— Ты — Кишварди? Ну да, узнал! Это ты меня назначил почтальоном?

— Я!

— Коли так, открывай собрание!

— Да оно уже открыто, Коция!

— Тогда дай мне слово!

— Ишь ты, чего захотел! Да облейте его водой! Где это он так нализался? — рассердилась Ксеня

— Требую слова! — настаивал почтальон.

— Какое еще слово, Коция, кончилось собрание!

— Дайте слово! Прошу вас! — обратился Коция к народу.

— Налей ему, Кишварди!

— Дали же говорить мне? Теперь пусть скажет он! Сейчас он сумасшедший вроде меня! — крикнул Бежана.

— Говори, Коция! — разрешил председатель.

Почтальон поклонился ему в знак благодарности и повернулся лицом к собравшимся.

— Кто начал войну? — выпалил вдруг он.

Люди остолбенели.

— Я вас спрашиваю, кто начал войну?

— Войну начал Гитлер, Коция! Или ты обвиняешь нас? — сказал кто-то.

— Неправда! Войну начал не Гитлер!

— Геббельс!

— Нет!

— Геринг!

— Нет!

— А кто же? Бежана, что ли?

— Война у нас началась с меня, с моего сообщения, безбожники вы этакие...— прошептал Коция.

— Но при чем тут Гитлер?

— Люди, мы погибли! Что скажет правительство, когда узнает, что у нас почтальоном работает Гитлер, а председатель начисляет ему трудодни! — крикнул Бежана.

В комнате раздался хохот. Коция подождал, пока успокоится народ, и продолжал:

— Да, соседи, войну начал я!..

— Хватит тебе валять дурака! — подал голос Эдемика.— За такое преступление — расстрел!

— Не верите? Хорошо!.. Кесария Соселия, встань, если ты здесь!

— Здесь я, Коция! — встала побледневшая вдруг Кесария.— Что... что ты хочешь сказать мне?..

— От кого ты впервые узнала о начале войны? Скажи честно, Кесария!

— Да ты при чем? Не ты — сказал бы другой...

— Садись, Кесария!.. Лукайя Поцхишвили! Кто сообщил тебе о гибели твоего мальчика? Не я ли, отсохни мой язык?! Отвечай! Евгений! Кто принес тебе похоронную на твоего сына? Кто? Я! Я! Я! — голос у почтальона сорвался.

Мне захотелось кричать, выть, плакать, и, чтобы не дать волю охватившему меня чувству, я плотно прикрыл рот обеими руками. Люди вокруг молчали, словно навалившаяся вдруг на них тяжесть лишила их дара речи.

Отдышавшись, Коция продолжал:

— Зачем я должен смотреть на ваши слезы?.. Зачем мне жизнь, если сосед боится увидеть меня?.. Не хочу! Не хочу быть

почтальоном! Слышите, вы?! Побойся бога, Кишварди! Мой мальчик тоже на фронте! Пожалейте меня! Сжалься хоть ты надо мною, господи! Спускайся сюда и сам раздавай людям эти проклятые бумаги! Ты — бог, ты вынесешь все! А я всего лишь простой смертный, и нет больше моих сил! Ты создал этот мир, ты и неси ношу эту! А меня избавь! Хватит с меня! — Коция снял сумку и поднял ее вверх.— Слышишь меня, господи? Хватит с меня! — Он изо всех сил шмякнул сумкой об стол. Посыпались треугольники писем, газеты, журналы, несколько конвертов с напечатанными адресами. Коция с минуту пристально вглядывался в эти конверты, которых народ боялся как чумы, потом сел, уронил голову на стол и разрыдался.

Я был уверен, что люди, с нетерпением ожидавшие каждой весточки с фронта, бросятся к столу, разберут все эти письма и конверты, чтобы здесь же, сейчас же узнать о приготовленной им судьбой радости или горе. Однако произошло непонятное: застывшие от ужаса женщины и мужчины вставали, чинно, как на панихиде, обходили стол и молча покидали комнату, словно в ней находился покрытый саваном покойник, которого оплакивал почтальон Коция.

* * *

Было раннее утро. Наш больной сидел на балконе и, глядя в надтреснутое зеркало, намыливал щеки. Я стоял тут же и правил на старом ремне бритву, а тетя зашивала мои многострадальные изодранные за день брюки.

— Доброе утро, Кето! — к балкону подошла Мина с небольшой корзинкой в руке.

— Утро доброе, Мина!

— Это и есть ваш больной! Здравствуйте, батоно[1], как вы себя чувствуете? — обратилась Мина к русскому. Тот улыбкой поблагодарил женщину и выразительно взглянул на меня — выручай, мол.— Хороший, видать, парень! — сказала Мина, потом спохватилась, достала из корзины бутылку с молоком и поставила ее на лестнице.— Не обижайся, Кето, на большее моей козы не хватило!

Не успела тетя опомниться, как Мина повернулась и ушла.

Спустя минуту во двор сломя голову вбежал внук Эдемики Роман.

— Тетя Кето, это прислал дедушка для вашего больного

---

[1] Ба́тоно — вежливая форма обращения к старшему, незнакомому, вообще к уважаемому человеку; по смыслу — сударь, господин.

солдата! Вот! — он поставил на лестнице бутылку.— До свидания! — и мальчик ускакал.

Целый час сидел на балконе с намыленными щеками наш больной и с разинутым от удивления ртом смотрел, как во двор один за другим входили соседи, улыбаясь и кивая головой говорили ему какие-то непонятные слова, ставили на лестнице бутылки с молоком и, все так же улыбаясь, уходили.

Последним пожаловал Бежана. Взглянув на батарею бутылок, он ничуть не удивился, лишь озабоченно сказал тете:

— Где бы нам достать хорошую закваску? Получится отменный сыр!

## АНАТОЛИЙ

У нашего больного оказались красивое имя — Анатолий и царская фамилия — Романов. Но все село, кроме меня, тети и Хатии, называло его по-прежнему — Сосоин русский.

Однажды утром, почувствовав себя окрепшим, Анатолий попросил свою одежду. Тетя вынесла ему выстиранное и выглаженное обмундирование и вышла из комнаты. Ничего не подозревая, я помог Анатолию умыться, подал полотенце, гребенку. Когда же он оделся, обулся, подошел ко мне, обнял, потрепал по щеке и поцеловал в лоб,— я все понял. Я выскочил на балкон и заорал:

— Тетя! Иди сюда, тетя!

Прибежала перепуганная тетя.

— Что случилось, Сосойя?

— Он уходит!

— Кто?

— Анатолий уходит, тетя!

— Как уходит? Куда? — тетя оглянулась на дверь.

Свежевыбритый, причесанный, похорошевший Анатолий стоял в дверях и неловко улыбался.

Тетя поднялась на балкон.

— Что вы надумали, Анатолий?

— Пора мне, хозяюшка!.. Чувствую себя, слава богу, хорошо. А вам сердечная благодарность за все! Спасибо всем, вам — особенно! Никогда не забуду вас!.. Извините меня за причиненные хлопоты... До свидания, дорогая!

Анатолий протянул руку, тетя пожала ее. Так они стояли, молча глядя друг на друга. Наконец Анатолий повернулся ко мне:

— А ты проводи меня, Сосо!

Он спустился по лестнице и не спеша, размеренными шагами

направился к калитке. Я и тетя не двигались с места. Подойдя к калитке, Анатолий ухватился за колья, приподнялся да так и остался с занесенной над порогом ногой — переступить его не смог. Он обернулся, посмотрел на нас с виноватой улыбкой и присел на пороге. Я и тетя подошли к нему.

— Не хватило пороху...— проговорил Анатолий.

— Вы еще слабы,— сказала тетя,— и потом, куда вы идете, к кому? Останьтесь у нас! Не стесняйтесь! Будем делиться, чем бог послал... Месяц, два, а там видно будет...

Анатолий не отвечал.

Тетя взяла меня за руку, и мы вернулись в дом. Тетя прошла в комнату, я остался на балконе. Анатолий еще некоторое время сидел на пороге калитки, потом встал и медленно побрел обратно...

...Спустя несколько дней, вернувшись из школы, я и тетя заметили в нашем хозяйстве странные изменения: дрова были наколоты, повалившийся плетень выглядел как новый, все прогнившие столбики в винограднике заменены. С того дня и началось... Анатолий нашел себя... У него в руках спорилась любая работа. Благодаря его заботам наш виноградник стал лучшим во всем селе. Единственное, чему он так и не сумел научиться,— мотыжить кукурузу... Вскоре он стал появляться и на колхозном дворе, на плантациях, в поле... Полюбил Анатолий наше село, его людей. Все его интересовало, ко всему он приглядывался. Он безошибочно определял дома фронтовиков, приходил туда и, ни к кому не обращаясь, сам находил для себя работу.

— Сосойя,— спрашивала меня удивленная хозяйка,— как мне быть? Заплатить ему деньгами или как?

— Не смей и заикаться об этом! Разнесет в щепки весь дом! Он ведь контуженый! — пугал я растерявшуюся вконец женщину.

— Ради бога, не оставляй его одного! Разбушуется, чего доброго, не свяжешь его! — просила она.

Я пересказывал Анатолию наш разговор, и он хохотал до упаду.

Объясняться с сельчанами Анатолию было трудновато, и потому он не отпускал меня от себя ни на шаг. Особой разговорчивостью Анатолий не отличался, спрашивали — отвечал коротко, но он был первым человеком, возвратившимся с фронта, и поэтому от желающих поговорить с ним не было отбоя. Его спрашивали о положении на фронте, о вооружении нашей армии, о планах Гитлера, о событиях во всем мире и, хотя Анатолий не мог знать ничего сверх того, о чем сообщалось в прессе и по радио, к каждому его слову прислушивались с огромным интересом.

Когда я и Анатолий впервые прошлись по селу, за нами увязалась целая орава ребят.

— Сосойя, он герой?

— А то нет?!

— Сколько он убил немцев?

— Миллион!

— А ты взаправду с ним по-русски разговариваешь или обманываешь нас?

— Обманываю!

— А стреляет он хорошо?

— Птичку сбивает на лету!

— В зяблика попадет?

— С двадцати шагов в глаз!

— А в кольцо?

— В самое отверстие!

— Ух! Вот молодец!

Когда Анатолий впервые увидел вывешенное на балконе Лукайи Поцхишвили черное полотно с бронзовыми буквами[1], он удивленно посмотрел на меня:

— Что это такое, Сосо?

— Сын у него погиб на фронте...

— Ну?

— Ну, здесь написано, что они оплакивают безвременно погибшего сына Кукури...

Анатолий промолчал. Потом он стал останавливаться у каждого дома с такой же траурной лентой и хмуро разглядывать буквы, выведенные неумелой рукой, но с неимоверной любовью и старанием.

Мы вернулись домой поздно вечером.

— Где вы пропадали целый день? — спросила за ужином тетя.

— Осматривали село,— ответил я.

— И что же, понравилось? — обратилась тетя к Анатолию.

— Нет! — покачал он головой.

— Что ты ему показал, Сосойя?

— А ничего. Он ходил и рассматривал траурные надписи...

— Тяжело...— вздохнула тетя.

— Много! — сказал Анатолий.— Тринадцать!

— Много...

---

[1] В селах Грузии есть обычай вывешивать траурную ленту с именем скончавшегося члена семьи.

# РЫБАЛКА

После преображения, когда вода в Супсе становится холодной как лед, усач и сельдь залегают на спячку. Они разыскивают в реке пустотелый валун покрупнее, забираются туда и до самой мартовской оттепели лежат без движения, тесно прижавшись друг к другу. Об этой рыбьей повадке известно каждому сельскому мальчику и, конечно же, мне. Есть у меня на примете и соответствующее место на реке. Называется оно Напица́ра. Здесь с незапамятных времен лежит в воде огромный замшелый валун — «чертов камень». Летом мы с утра до вечера лежим на этом камне, загораем, прыгаем с него в глубокий, темный омут, который образует здесь Супса. Но сейчас не время для купаний. Сейчас мы ищем рыбу. Я лежу в ледяной воде у «чертова камня», дрожа всем телом, лязгая зубами. Одной рукой я прикрываю отверстие в камне, другую просовываю туда по самое плечо.

На берегу сидит Хатия, тут же Анатолий разводит костер, а Бежана сидит на корточках у самой воды и поучает меня.

— Есть рыба, Сосойя?

Я киваю головой.

— Сельдь или усач?

— Усач.

— Хватай его за усы! Да пощекочи его! Усач что твой поросенок, любит, когда его щекочут!.. Смотри, Сосойя, простудишься! Посинел весь! Вылезай, согрейся маленько!

— Отстань, Бежана!

— Много рыбы?

— Много, много, отстань!

— Хватит всем? Ее ведь надо разделить на четыре части!..

Я киваю головой.

— А то, помнишь, третьего дня ты надул меня! Отдал каких-то жалких головастиков! Смотри у меня! — предупреждает Бежана.

Есть! Попался наконец! Я хватаю здоровенного усача, глажу его по животу. Рыба ложится на бок. Пальцами нащупываю жабры, вытаскиваю ее и крепко стискиваю зубами его голову. Усач извивается, больно бьет меня хвостом по лицу, но я терплю. Я тащу второго усача, потом обоих кидаю на берег и вновь погружаюсь в воду по грудь. Рыбы много! Я с трудом выволакиваю из камня третьего, четвертого, пятого усача. Некоторым удается бежать — они быстро зарываются носом в песок и исчезают. Но ничего, на нас хватит!

Я выхожу на берег.

Хатия выбрала из кучи самого крупного усача, поднесла его

к уху и прислушалась. Рыба бьется у нее в руке, разевает рот, задыхается.

— Что она говорит, Хатия? — спросил Бежана и принялся зубами сдирать кожуру с ивового прута — нанизывать на него свою долю рыбы.

— Отпусти, говорит, меня! — ответила Хатия.

— Если б ты видела, как она жалко разевает рот, не стала бы мучить ее!

Хатия встала, подошла к реке, и не успел я схватить ее за руку, как усач оказался в воде.

— Ты что, обалдела? — набросился я на Хатию, но было уже поздно. Усача и след простыл, а Хатия стояла и улыбалась.— Чего ты зубы скалишь, дура?! Поди попробуй, каково лежать битый час в ледяной воде!

— Иди к огню! — позвал меня Анатолий.

Я присел у костра. Подошла Хатия, села рядом со мной и нежно погладила рукой по спине.

— Холодно? — спросила она.

— А то нет? — ответил я грубо и придвинулся к огню.

Спустя минуту я взглянул на Хатию, и сердце мое больно сжалось: она сидела опустив голову, с обиженно надутыми губами, из глаз ее капали слезы.

— Погладь еще, Хатия, у тебя теплая рука! — попросил я.

Хатия тотчас же повернулась ко мне, положила руки мне на спину и медленно провела ими сверху вниз. Я сидел затаив дыхание и чувствовал, как по всему моему телу разливается приятное тепло.

— Хватит, теперь одевайся! — сказала Хатия и подложила мокрые руки себе под мышки. Поддавшись охватившему вдруг меня сильному, как никогда желанию, я нагнулся к Хатии, стиснул ладонями ее головку, привлек к себе и поцеловал в уголок губ. Она вытерла губы тыльной стороной ладони и покраснела.

— Помирились? Ну и отлично! А теперь давайте делить рыбу! — сказал Бежана.

Я быстро оделся, и мы приступили к дележу.

— Это тебе! — и я положил перед Бежаной крупного усача.

— Нет, не так! — возразил он.— Сперва разделим всю рыбу на четыре части, а потом бросим жребий — кому какую часть!

— Не надо никакого жребия, не бойся, не обманем тебя.

— Ну ладно, только не обманывай! У меня желудок вдвое больше твоего, надо же мне жрать? Сумасшедшие всегда едят больше нормальных людей! Так что не обманывайте меня!

— Как же, обманешь тебя! Да ты умнее всех нас! — сказала Хатия.

— Если я умнее тебя, это еще не значит, что я нормальный... А ты бы помолчала! Тебе вообще ничего не полагается! Какого усача она выпустила, а? — обратился Бежана ко мне, с сожалением качая головой.

— Так вот,— продолжал я,— это тебе, это Хатии, это мне, это Анатолию.

— Даешь ей все же, да? — пробормотал недовольно Бежана.

— Бежана, замолчи, а то останешься без рыбы! — пригрозил я.

Бежана двумя пальцами схватил себя за горло, скроил жалкую рожу и умолк.

— Это Бежане, это Хатии, это мне, это Анатолию...

— Ты кого обманываешь, бичо! — подскочил вдруг Бежана.

— В чем дело, Бежана?

— Почему ты отдаешь рыбу Сосойному русскому?

— Как это почему?!

— Вот именно почему? Я, дорогой мой Сосойя, сумасшедший, но не дурак!

— Что с тобой, Бежана?

— Слушай! Хатия — отдельная семья, я — отдельная семья, ты — тоже, а этот русский? Разве у него есть своя семья?

— Нет.

— Он ведь живет с вами?

— Живет.

— Значит вам вдвоем полагается одна доля!

— Ошибаешься, Бежана!

— Так вы же живете вместе!

— Жить-то живем вместе, но кушает ведь он сам, собственным ртом!

Бежана призадумался, почесал в затылке, потом рассмеялся:

— Об этом я не подумал!

Анатолий, не понимавший слов Бежаны, видно, догадался, о чем тот толкует. Он стал со смехом передавать Бежане свою рыбу:

— Бери, бери, Бежана! Ешь на здоровье!

— Бежана, не стыдно тебе? — сказала укоризненно Хатия.

Бежана смутился.

— Стыдно, конечно, стыдно! — Он отложил обратно Анатолину долю рыбы и добавил: — Ты что, Сосоин русский, шуток не понимаешь? Это твоя рыба, бери ее! Твоя, понимаешь?

Анатолий кивнул головой.

— Продолжаю: это Бежане, это Хатии, это...

— Здравствуйте! — раздался вдруг чей-то голос, и на нас упала тень. Мы втроем подняли головы и вскочили от неожиданности. На большом камне стоял заросший загорелый муж-

чина в пиджаке с перекинутой через плечо винтовкой. Я узнал бригадира Датико.— Здравствуйте! — повторил он, спрыгнув с камня, и подошел к нам.

— Датико-бригадиру привет! — осклабился Бежана, протягивая руку.

Датико не обратил на него внимания.

— Ты что, Сосойя, разучился здороваться?

— Здравствуй! — буркнул я и стал нанизывать на прут рыбу.

— А ты, девчонка?

— Я не вижу, не узнала, кто ты! — ответила Хатия равнодушно.

— Тогда, ночью, небось хорошо узнала!

Хатия не ответила.

— А этот? Кто он такой? — спросил Датико меня.

— Это Сосоин, русский! — ответил Бежана.

— А-а-а... Это он, да?

— Он!

Датико не сводил глаз с Анатолия.

— В чем дело, Сосо? Здесь нельзя ловить рыбу? — спросил меня Анатолий, который принял Датико за лесничего.

— Да нет... Он спрашивает про тебя...

— А кто он?

— Он? Так, никто...

— Что он говорит, бичо?

— Спросил, кто ты такой.

— Что ты ответил?

— Что я могу ответить? Скажи мне, кто ты есть, и я отвечу...

Датико опешил. Подумав немного, он проговорил:

— Не его это дело...

— Скажи, что ты выполняешь правительственное задание, а то он принимает тебя за дезертира! — вмешался Бежана.

— Заткнись, болван! — прикрикнул на него Датико.

Бежана пожал плечами.

— Дайте закурить! — потребовал Датико.

— Нет у меня! — отрезал я, хотя еще утром набил себе карман табаком.

— Что он говорит? — спросил Анатолий.

— Просит закурить.

— Так дай ему, есть ведь у тебя табак!

— Для него — нету!

— Дай, дай! — толкнул меня Анатолий.

— Сосойя, дай закурить, говорю тебе! — прохрипел Датико.

— Дай! — попросила Хатия.

Я достал из кармана табак, протянул Датико. Он быстро свернул цигарку, прикурил от головешки, глубоко затянулся несколько раз и сказал как бы про себя.

— Значит, это и есть ваш русский?.. Остался, значит, с вами? Кето его оставила?.. И ты его зовешь дядей, да?

— Шел бы ты своей дорогой! Вот пристал!

— На селе так и говорят: Сосойя, мол, на собственной спине приволок домой дядю! — съязвил Датико.

— Слушай! Катись-ка ты отсюда! — Я встал.

Анатолий внимательно присматривался к нам.

— Да, так и говорят: Сосойя нашел бугая для своей тетки! — продолжал Датико.

Я подскочил к Датико, и тут же сильный толчок в грудь опрокинул меня навзничь. Анатолий подбежал ко мне, поднял на ноги.

— Кто этот человек, Сосо? — спросил он.

— Кто? Вор, бродяга, дезертир! Не видишь разве? — меня душили слезы.

— Уходи! — сказал Анатолий Датико вполголоса. Тот, будто не расслышав, продолжал:

— Думали, сдохнет Датико без вас? Отвернулись от меня! Да нужны вы мне, как... Иди донеси на меня! Чего ты ждешь? Плевать я хотел на вашу милицию и вашу безопасность! Передай Володьке Джаши и Бадри Гагуа: не снести им головы, если не перестанут гоняться за мной! И вы все, берегитесь все! Не доводите меня до бешенства! Иначе запылают ваши дома, слово Датико!..

— Наступит зима, выйдешь из леса! А нет, так сдохнешь с голоду!

— Не дождешься моей смерти! А тетке своей передай: или прогонит она этого русского пришельца, или умоюсь я его кровью! Так и передай!

— Что это он? Про меня, что ли? — спросил Анатолий.

— Про тебя и про тетю.

— Какое ему до нас дело?

— Что он болтает, бичо?

— Он говорит, что ты бездельник, и велит тебе убираться отсюда! Вот что он говорит!

Датико посерел, и глаза его налились кровью. Он медленно приблизился к Анатолию.

— Послушай, что я тебе скажу... Уйди ты с моей дороги! Не видать тебе Кето как собственных ушей, понятно? Она моя! А не уйдешь, так пеняй на себя! Супса окрасится твоей кровью, понятно?!.

Анатолий вопросительно взглянул на меня.

— Он говорит, что любит тетю Кето, и грозится убить тебя, если ты не уйдешь!

Анатолий рассмеялся.

— Во-первых, я не боюсь этого индюка, во-вторых, Кето я ни у кого не отбираю, в-третьих, уходить отсюда я не собираюсь, мне и здесь очень нравится...

Датико весь напрягся в ожидании перевода сказанного. Я начал:

— Я и Кето, говорит, любим друг друга, и никуда отсюда я не уйду. И Кето, говорит, не пара такому бродяге, как ты. Не я, говорит, а ты сам убирайся отсюда...

Датико не дослушал меня. Он снял с плеча винтовку, взвел курок и стал надвигаться на Анатолия. Тот не сдвинулся с места.

— Стой, Датико! — крикнул я.— Я обманул тебя!

Но Датико был невменяем. Он подошел к Анатолию вплотную. Ноздри его раздувались, глаза сузились, он тяжело дышал.

— Опусти ружье! — сказал Анатолий спокойно.

— Повтори, что ты сказал!

— Опусти ружье!

— Убью! — прошипел Датико, и я понял, что он действительно убьет его.

— Уйди, Анатолий! — попросил я.

— Сосоин русский, иди сюда! — повторил Бежана.

Анатолий не двигался. Тогда Бежана сорвался с места и заслонил собой Анатолия.

— Ты что надумал, Датико? С каким трудом мы спасли человека, сколько на него ушло ворованного козьего молока, а ты хочешь теперь убить его? Хе-хе, шутишь, брат!

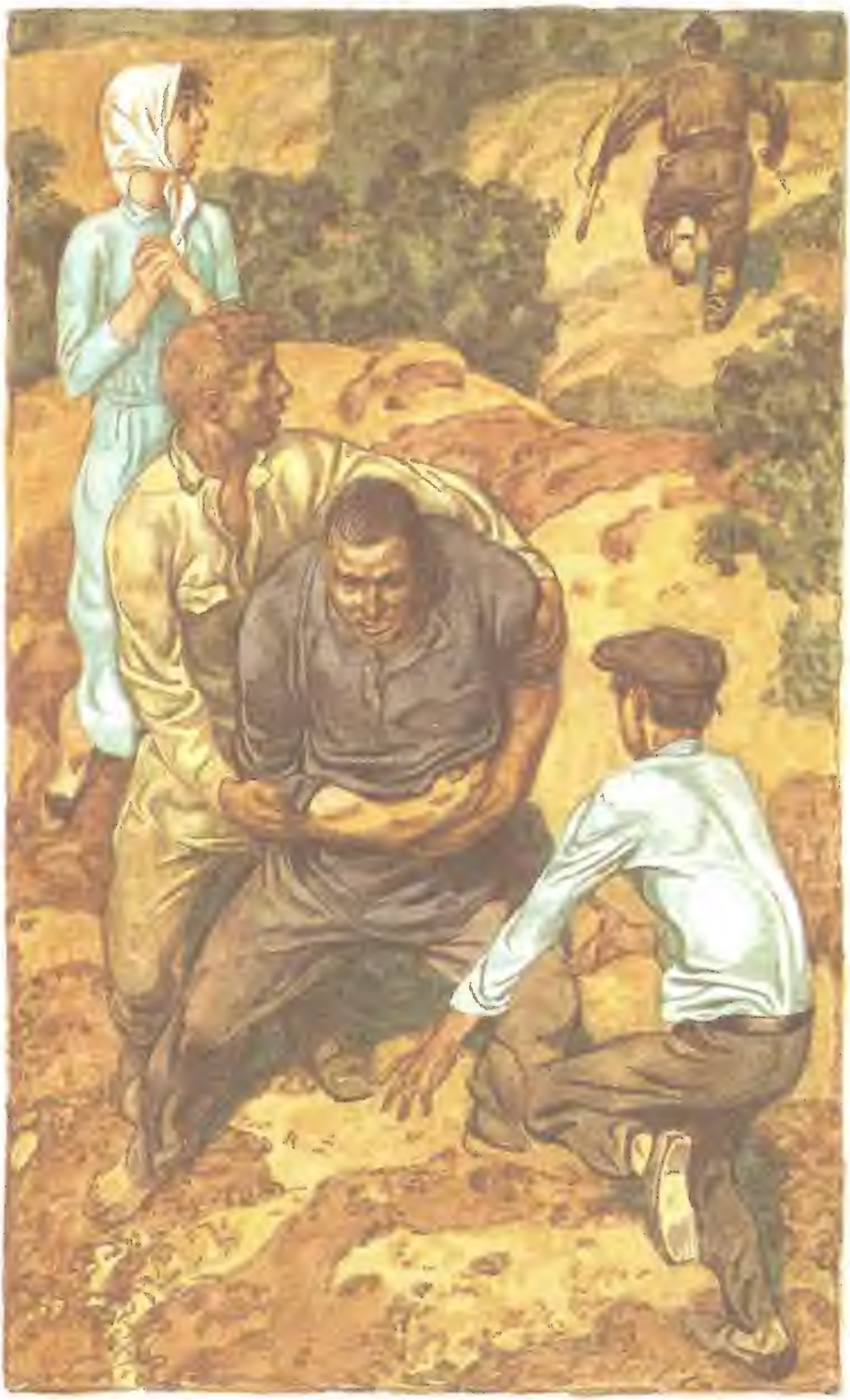
Но Датико не шутил.

— Эй, ты, тронутый! Сгинь отсюда, иначе прихлопну тебя, а скажут, что я убил человека! — Он дулом винтовки отстранил Бежану и вновь оказался лицом к лицу с Анатолием.

— Опусти, говорю ружье! — крикнул вдруг Анатолий, схватил винтовку за дуло и быстрым движением вырвал ее из рук Датико. Ружье отлетело на несколько шагов. Не дав Датико опомниться, Анатолий потянулся к винтовке, но тут же Датико схватил его за руки, сжал, привлек к себе.

Анатолий постарался вырваться из объятий Датико, но не смог. Датико ловкой подсечкой сбил его с ног, навалился на него и закатил сильную оплеуху. Анатолий плюнул ему в лицо. Датико взвыл и ударил Анатолия кулаком по лицу. Из носа Анатолия хлынула кровь, и он еще раз плюнул в лицо Датико кровью. Взбешенный Датико выхватил нож.

— Что ты делаешь, негодяй! — заорал Бежана, бросился



*К стр. 417*

к дерущимся, схватил Датико своими медвежьими лапами, сильно встряхнул, опрокинул и вцепился ему в горло.

Лицо Датико посинело, глаза выкатились. Я и Анатолий кинулись было к Бежане, но он вдруг вскрикнул, потом застонал, разжал руки, встал и застыл на месте с открытым ртом и расширенными глазами. Потом он медленно поднес руки к животу, согнулся и сделал несколько шатающихся шагов в сторону. Датико вскочил, подобрал ружье. В правой его руке мы увидели окровавленный нож и поняли все. Датико уже не угрожал нам, он растерянно смотрел то на нас, то на Бежану. Бежана повернулся, поднес руки к лицу — они были в крови. Тогда он выпрямился и, улыбаясь странной улыбкой, пошел на Датико. Тот попятился назад.

— Убил меня, бригадир? — чуть слышно проговорил Бежана.

Датико вздрогнул, остановился, потом крикнул что-то нечленораздельное и бросился к лесу.

Бежана поморщился и снова схватился за живот. Я и Анатолий подбежали к нему, обняли.

— Что с тобой, Бежана?

— О-о, внутренности горят!

— Хатия, помоги! — крикнул я.

Бедная девочка, не видя ничего, но понимая, что происходит что-то страшное, приблизилась к нам.

— Сосо... Что здесь случилось? — спросила она, и голос ее дрогнул.

— Садись, Хатия!

Она покорно села.

Я и Анатолий осторожно уложили Бежану на песок так, что голова его покоилась на коленях Хатии. Она погладила рукой покрывшийся испариной лоб Бежаны. Бежана не отрывал рук от живота. Сквозь его пальцы сочилась кровь.

— Сосо, что случилось? — повторила Хатия.

Я не ответил, меня душили слезы.

— Убил меня Датико, моя девочка! — простонал Бежана.

Я припал к его груди и громко заплакал.

— Ну, ну, ты что, дурачок! Сейчас все пройдет! — сказал Бежана.

— Помоги мне, Сосо! — Анатолий опустился на колени перед Бежаной.— Подсоби-ка мне поднять его на спину! Надо спешить домой!

— Что говорит твой русский, Сосойя? — спросил Бежана.

— Хочет взять тебя домой,— ответил я рыдая.

— А-а-а, долг платежом красен... Но для Бежаны все одно умереть здесь или дома... Погодите, дайте мне вздохнуть...

Может, утихнет боль... Вот сволочь, убил-таки меня...

— Я виноват во всем! — сказал Анатолий и принялся разрывать свою сорочку.

— Что он сказал, Сосойя?

— Я, говорит, виноват...

— Не смей и думать, Сосоин русский! Ты при чем? Бандит для того и носит нож и ружье, чтобы пустить их в ход. Потому что он боится. Разве он справился бы со мной без ножа? То-то... Ты не горюй. Если я останусь жив, напляшется он у меня, ох и напляшется! А нет, так... Что ж, пусть бродит по лесу голодным шакалом... А моя смерть — не такое уж важное событие. Одним ртом на селе станет меньше...— Бежана сомкнул веки.

— Бежана! — крикнул я.— Не умирай, Бежана!

— Молчи, Сосойя!..

— Это я убил тебя, Бежана, я! Это я его разозлил!

— Вот еще! Нашелся убийца!.. Ты думаешь, он хотел убить? Нет, это страх его заставил поднять нож! Вот и боль прошла. Теперь у меня шумит в голове и ноги... Ног я не чувствую...

Приподняв халат на животе Бежаны, Анатолий туго перевязал ему рану.

— А ты что делаешь, девочка? — взглянул Бежана на Хатию.

Хатия плакала, и слезы ее капали на лоб Бежаны.

— Сосойя, уйми девочку и перестань сам скулить. Взгляните-ка на солнце. Вот оно скоро спустится за горой Ко́нцхоула, и наступит ночь. А завтра оно поднимется из-за Су́реби, и настанет день. День настанет для всех. Даже для того бандита. А для меня уже никогда не будет ни солнца, ни дня... Ты видишь солнце, Хатия?

— Вижу, Бежана, вижу!..— Хатия заплакала громко.

— Не плачь, детка... Это хорошо, если ты видишь солнце. Дай бог тебе, всем вам здоровья. Я оставляю вам свою долю и солнца и воздуха. И свою рыбу тоже. Зачем я спорил с вами? Ведь все равно мы съели бы все вместе. Вот только свою долю земли я возьму с собой... А он-то зачем плачет? Зачем плачет твой русский, Сосойя? Холодно мне и пить хочется. Дай напиться, Сосойя...

— Нельзя тебе пить, Бежана! Потерпи немного, придем домой, вылечит тебя бабушка Аквиринэ, тогда и пей, сколько тебе захочется.

— Сосойя, дай перед смертью испить глоток нашей супсунской воды. Мне теперь все можно... Бежана часто задышал. Я испуганно взглянул на Анатолия.

— Он просит пить, что делать?

Анатолий встал, зачерпнул ладонями воду из реки и дал напиться Бежане.

— Что ты делаешь? Нельзя ему!

— Вот спасибо тебе! — поблагодарил Бежана Анатолия.— Твой русский умнее тебя, Сосойя, знает он, что теперь мне ничем уже не помочь...— Он вдруг привстал и пристально посмотрел на меня.— Сосойя, где ты?

— Здесь я, Бежана, не видишь разве меня?

— Не вижу, Сосойя, не вижу... Кажись, умираю я, Сосойя...— Бежана опустил голову на колени Хатии.

— Не умирай, Бежана, не умирай, дорогой! — взмолился я.— Что я скажу людям? Слышишь, Бежана, милый мой, потерпи еще немного! Все будет хорошо, Бежана! Вот я здесь, рядом с тобой! Видишь меня, Бежана?

— Успокойся, Сосойя... А что солнце? Оно уже закатилось?

— Нет еще, Бежана...

— Хатия, ты видишь солнце?

Хатия никого и ничего не видела. Она рыдала.

— А я не вижу солнце...— сказал Бежана.

— Видишь, как не видишь! Вон оно, над Концхоулой! Скажи, что видишь солнце, Бежана! — просил я Бежану и гладил его похолодевшие руки.

— Сосойя, слышишь?

— Что, Бежана?

— Слышишь? — Бежана прислушался к чему-то и вдруг тихо запел:

Девица-красавица
В загляденье платьице...

Бежана пел и улыбался. Потом голос его постепенно стал угасать. Я припал к его груди.

Бежана ничего уже не чувствовал и не слышал...

Долго еще я обнимал и ласкал Бежану. Потом почувствовал прикосновение руки Анатолия и поднял голову. Солнца на небе уже не было, но гора еще пылала оранжевым отблеском его лучей.

Бежана больше не пел.

## СНЕГ

В конце декабря наступили сильные холода. Однажды вечером подул низовой ветер и пошел снег. Потом ветер улегся, а снег продолжал сыпать без конца. Сухие, пушистые снежинки, медленно кружась, ложились на землю. За ночь снег

покрыл все вокруг таким толстым слоем, что утром куры, слетев с насеста, провалились в снег по самый клюв. Снег шел не переставая весь следующий день. И потянулись нескончаемые зимние вечера... Топанье ногами на балконе... Шипенье сырых дров... Вареная ветчина... Протяжный лай собак... В сплошном снежном покрове появились протоптанные тропинки — от домов к колодцам, от соседа к сосе́ду, от села к селу. В школе стихли шум и гомон: дети отсиживались по домам, ожидая, когда уляжется снег. А школьный колокол по утрам звал, звал нас...

Снег сровнял холмы и впадины... Полегли плетни. Лишь кое-где торчал вбитый недавно кол, да и того уносил случайный прохожий, кто — на дрова, кто — чтобы отбиться от собак или набежавшего ненароком проголодавшегося зверя.

...Пригорюнившийся Анатолий сидит у камина и ворчит:

— Глупая выдумка — камин. Дрова пожирает что твой паровоз, а тепла от него — на грош! Лицо горит, а спина мерзнет!

— Повернитесь теперь спиной! — учит тетя.

— Вот нашу бы русскую печь сюда!..

— А разве у вас зимой не холодно? — спрашиваю я.

— Понимаешь, мороз у нас суше, здесь так и пробирает до мозга костей...

— Завтра надо смести снег, а то чего доброго, обвалится крыша,— говорит про себя тетя.

Снег валит и валит...

— Сосойя, сходи за дровами!

Я накидываю полушубок и спускаюсь во двор. Приношу дрова, кидаю их в камин и усаживаюсь тут же на козлиной шкуре. Сырые дрова долго шипят и дымятся, потом вдруг вспыхивают ярким пламенем. В комнате светлеет. Я замечаю, что Анатолий смотрит на тетю, смотрит пристально, не отводя глаз. Тетя сидит склоня голову и вяжет теплые носки для меня. Я отворачиваюсь, но все же замечаю, что тетя украдкой смотрит на Анатолия.

Анатолий — блондин, худощав и очень красив. Он выглядит немного моложе тети. Теперь он уставился на огонь и думает что-то свое. Потом он вздыхает и опять переводит взгляд на тетю. Я вижу все и — как ни странно — не обижаюсь. Анатолий тоже видит все. Он смущенно улыбается и кладет руку на мое плечо. Я не двигаюсь, мне приятно прикосновение руки Анатолия. Тетя тоже видит все, и — я чувствую это — она рада. Я счастлив оттого, что тетя рада, и улыбаюсь Анатолию. Потом я долго не отрываясь наблюдаю за игрой огня в камине — пусть тетя и Анатолий смотрят не смущаясь друг на друга. «Сосойя на собственной спине приволок домой себе дядю»,— вспоминаю

я и подбрасываю в камин дрова. «Это — Сосоин русский»,— вспоминаю я слова Бежаны и вижу Бежану с прижатыми к животу окровавленными руками... В камине танцует пламя, и в пламени я вижу улыбающуюся Хатию. Хатия стоит в пламени, и я не удивляюсь, что огонь не причиняет ей никакого вреда...

До меня доносится глухой голос Анатолия:

— Сожгли все, сровняли с землей... Людей угнали в Германию... А мы отступали... Были вынуждены отступать... Нет, Кетеван, я уйду, обязательно уйду.

Анатолий каждый день собирается уходить, но не может... Он потеет и кашляет ночи напролет... Я не отговариваю Анатолия: знаю, что рано или поздно он уйдет. Я боюсь этого дня, боюсь потому, что очень люблю тетю. Я знаю: тетя тоже боится этого дня. В языках пламени улыбается Хатия. «Я вижу солнце, Сосойя!» — говорит она, и я ничего на свете больше не боюсь...

## КУКУРИ

— Здравствуй, Бежана! Это я, твой Сосойя! Я не спрашиваю о твоем житье-бытье, знаю сам, как ты живешь. И потом, ты ведь все равно скажешь, что у тебя все хорошо, что ты ни в чем не нуждаешься... Но мне известно все... Я вижу тебя каждую ночь и навещаю тебя каждый день. Правда, последние дни я не смог прийти к тебе,— ты уж извини меня. Снег лежит по пояс, трудно подниматься в гору. Спроси хоть Анатолия — еле добрался сюда... Сейчас мы все здесь приведем в порядок. А потом сходим к тебе домой, сметем снег с крыши, иначе провалится крыша. Ты не бойся, Бежана, пока я жив, твой дом будет стоять. Ну, ты знаешь, Бежана, какая вчера была каланда[1], кое-кто палил из ружья. У Сидо́нии Чхаи́дзе даже пели. У них справляли свадьбу. Сидония вышла за Ва́жа Джибу́ти. Да-да, за того самого Важа, что вернулся с фронта без руки. Мы с тетей были приглашены, но не пошли. Нечем было поздравить молодоженов, да и не очень-то хотелось идти. Сегодня уже новый год, Бежана, сорок третий. Тут вот снег повалил розу. Ничего, сойдет снег, Хатия подставит розовому кусту колышек. И траву расчистит... Да, насчет креста. Я не хотел ставить крест, но бабушка Аквиринэ пристала: как это можно, говорит, могила христианина — без креста!.. Ты не думай, Бежана, это не простой крест. Помнишь наши ворота? Да, из красного дерева. Так

---

[1] Ка́ланда — так в Гурии (Западная Грузия) называют новогоднюю ночь.

вот, я разобрал ворота и велел сбить крест... Ну, теперь мы пойдем, Бежана, к тебе домой, сметем крышу... А завтра я снова приду к тебе...

Мы поправили покосившийся крест на могиле Бежаны и присели тут же на снегу.

— Холодно,— сказал Анатолий.

Я достал из кармана пол-литровую бутылку с водкой и протянул Анатолию. Он отпил несколько глотков и возвратил бутылку мне. Я тоже отпил. Потом мы вскинули на плечи лопаты и направились к Бежаниному дому...

...Над селом уже спускались сумерки, когда мы, продрогшие и проголодавшиеся, возвращались домой. У ворот Лукайи Поцхишвили Анатолий остановился. Дом утопал в снегу почти до самых перил балкона, на крыше снег лежал метровым слоем. Над дверью висела давешняя траурная лента. Скулившая и прыгавшая на балконе собака при нашем появлении с лаем сбежала вниз, но сразу же по живот увязла в снегу и, тявкнув ради приличия еще несколько раз, вернулась обратно.

— Зайдем! — предложил Анатолий.

— Зачем?

Анатолий молча направился к воротам, открыл калитку и вошел во двор. Я последовал за ним. Собака снова залаяла. На балкон вышел Лукайя.

— Кто там? — крикнул он, приставив к глазам ладонь козырьком. Я посмотрел на Лукайю и поразился: как быстро и беспощадно сломило горе этого сильного, кряжистого мужчину.

— Это мы, дядя Лукайя! Здравствуй! — ответил я.

— Пожалуйте в дом! Привет Сосойе и Сосоиному русскому!

Анатолий оглядел прислоненную к дому лестницу и стал взбираться.

— Сосойя, куда он лезет? — забеспокоился Лукайя.— Пригласи человека в комнату!

— Сперва сметем крышу, дядя Лукайя,— ответил я и тоже полез на лестницу.

— Зачем беспокоитесь, дети, дай бог вам здоровья! Эх, старость не радость. Да еще такая старость, как у меня. Нет больше моих сил. А снегу-то навалило! Еще ночь, и рухнул бы дом! Дай бог вам радости и здоровья! И баба моя совсем скисла. Эй, хозяйка, принимай гостей! — Лукайя открыл дверь. Воспользовавшись этим, собака вмиг шмыгнула в комнату.

Почти час мы сметали снег с крыши. Руки у меня окоченели. Я подобрался к дымовой трубе и протянул руки к вившемуся из нее дыму. Вместе с приятным теплом я почувствовал нечто более соблазнительное.

— Анатолий! — крикнул я.— Поди сюда!

— Ничего, мне не холодно! — ответил он, продолжая лопатой сгребать снег.

— Иди, говорю, сюда!

Анатолий нехотя подошел.

— Ну?

— Смотри! — Я взял Анатолия за голову и наклонил ее к самому отверстию трубы.— Чуешь?

Из трубы несло сногсшибательным ароматом мчади и ветчины. Спустя несколько минут я, Анатолий и дядя Лукайя сидели за низким столиком у камина и уплетали дымящийся мчади и поджаренную ветчину. Жена Лукайи, тетя Варвара, сидела на тахте и молча смотрела на нас.

Дядя Лукайя разлил в стаканы водку, подал Анатолию.

— Выпей, Сосоин русский, хорошо с мороза!

— Спасибо, не хочу! — Анатолий передал стакан мне.

— Первый раз вижу солдата, не пьющего водку,— удивился Лукайя.— Неси вино, хозяйка!

Тетя Варвара вышла и вскоре вернулась с кувшином. Лукайя разлил вино.

— Тамада́ из меня — никудышный,— сказал он.— Не случись со мной этого несчастья, не померкни в моем доме свет и счастье,— знаешь ли, Сосойя, был мой Кукури и тамадой, и надеждой, и кормильцем в доме. А теперь... что ж, видно такова судьба моя. Благодарю вас, дорогие мои. Да избавит вас бог от всех бед и да будет ваша жизнь полна радостей и благополучия!

Лукайя поднес стакан ко рту, взглянул на висевший на стене портрет сына и выпил.

С портрета улыбался Кукури, улыбался так весело, так заразительно, что, прочти я хоть сотню похоронных, поверить в его гибель было невозможно.

— Этот, да? — тихо спросил меня Анатолий. Я кивнул. Анатолий молча опорожнил свой стакан и сам налил себе.

— Пей, сынок, пей на здоровье!

— Дядя Лука, будьте здоровы, тетя Варвара, у вас хорошее русское имя, будьте здоровы! — сказал Анатолий и выпил.

— Будьте здоровы! — сказал я и тоже выпил.

Анатолий тут же наполнил стаканы.

— Погоди, сынок,— остановил его Лукайя. Он капнул из своего стакана на кусок мчади.— Обычно в моем доме первый стакан поднимается за него,— и он взглянул на портрет Кукури.

— Сынок, сынок...— простонала тетя Варвара и поспешно покинула комнату.

— Чтоб не видать в жизни света и счастья моему губителю,— продолжал Лукайя,— чтоб в доме его не переводились траур и слезы...— Из соседней комнаты донеслись глухие рыдания тети Варвары.— Чтоб плакали о нем жена и дети его... За память моего Кукури! — Лукайя выпил и посмотрел на Анатолия. Тот отвел глаза.

— Выпей, Анатолий! — попросил я.

— Будем здоровы! — Анатолий быстро опрокинул стакан.

— Не так, Анатолий, надо выпить за память Кукури! — подсказал я и наполнил его стакан.

— Нет, за его память я пить не стану! — Анатолий отодвинул стакан.

Лукайя изумленно посмотрел на меня.

— Не может больше,— постарался я сгладить неловкость.

— С чего ты взял? — Анатолий выпил, потом снова налил и выпил еще.

— Напился... Ты извини, дядя Лукайя...— Анатолий встал.— Кто я? — спросил он и пошатнулся.

— Анатолий! Неудобно... Садись! — попросил я.

— Сосо, скажи, кто я! — повторил он.

— Как кто? Ты — Анатолий!

— А тогда, в плантации?

— И тогда ты был Анатолием! — улыбнулся я.

— Тогда я был мертвецом. Для кого-то я и теперь мертвец, и потому пьют, наверно, за мою память. Но я не хочу быть мертвецом! Потому что я жив! Никто не хочет быть мертвецом! Дядя Лука, ты уже стар, ты должен помнить мое рождение. Расскажи, прошу тебя, как я появился на свет!.. Вспомни, пожалуйста!

— Что тебе сказать, сынок,— растерялся Лукайя,— я, конечно, старик, но... ты родился в России. Не могу я помнить...

— Родился, верно! А мой дом сожгли! Всех угнали в Германию! Мы бежали... Не было выхода... Дядя Лука, жив я или нет? — Анатолий ударил себя кулаком в грудь.

— Жив, сынок, конечно же жив! Дай бог тебе долгих лет жизни!

— А для родителей своих? Для них я покойник... Плачет по мне моя мать или нет?

— Да уж не смеется, конечно!

— Но я ведь жив? Зачем оплакивать меня? Справка? Да что справка! Справка — бумажка! Бумага не может убить человека! Человек гибнет от пули. Покажи-ка мне пулю, которая убила твоего Кукури! Где она, эта пуля, дядя Лука?! Нет ее!.. А почему ты не хочешь поверить, что твой сын, так же как я, где-то там, в русском селе... Раненый... Не может быть этого?

Может! Все может быть! Да ты... не любишь своего сына, вот что я тебе скажу, дядя Лука! — Анатолий махнул рукой.

— Садись, Анатолий! — снова попросил я.

— Сними ту черную ленту! — вдруг сказал Анатолий.

— С ума он сошел! — подскочил Лукайя.

— Сними! — повторил Анатолий.— Сними! Получил бумажку и похоронил сына? Как ты мог так легко примириться со смертью своего Кукури?! Не любишь ты его! Справку, говоришь, получил? А я тебе дам сто справок, что он жив!

— С ума он сведет меня! — проговорил дядя Лукайя, глотая слезы.

— Сто справок, слышишь, дам тебе, сто справок, что твой сын жив и невредим! И не стыдно тебе? А еще старый человек! Бумажке веришь, а мне не веришь? Сними! — Анатолий сел.

Лукайя налил еще. Рука у него дрожала, половина вина разлилась на стол.

— Сосойя,— обратился он ко мне с мольбой в голосе,— скажи, что мне делать?

— Прав он, дядя Лукайя, сними!

— Опозорюсь на все село!

— А если он вернется? Вот тогда действительно опозоришься! — сказал я и вдруг понял, что все мы пьяны, и больше всех — я. Со стены все так же улыбался Кукури, и никто не убедил бы меня и Анатолия в том, что его нет в живых. Я встал и, шатаясь, пошел к стене, но добраться до нее так и не сумел. Я присел на тахту. Комната закружилась, на стене вместо одного появились два, три, четыре, сто портретов, и теперь нам улыбались сто Кукури.

— Здравствуй, Кукури! — сказал я.

Дядя Лукайя вздрогнул, потом обхватил голову руками, уткнулся ими в колени и так и застыл.

Комната продолжала крутиться, стол повалился набок, а камин кувыркнулся так, что я испугался, как бы на меня не посыпались угли. Но камин продолжал мирно гудеть и светиться неярким светом.

Потом все успокоилось, улеглось по своим местам. Я зажмурился, а когда открыл глаза, понял, что приступ опьянения прошел.

Потом я помню, как встал дядя Лукайя, как он направился к двери, как из соседней комнаты вышла тетя Варвара, подсела ко мне и положила на колени две чурчхелы и как я поцеловал ее в морщинистую щеку. Потом вернулся дядя Лукайя со свернутой черной лентой в руке. Он подошел к камину, опустился на колени, с минуту колебался и вдруг бросил сверток в огонь. В комнате вдруг потемнело. Прошла секунда, другая,

третья, сверток постепенно стал воспламеняться, потом вспыхнул, озарив комнату. Я увидел, как улыбался Анатолий, как текли слезы по щекам тети Варвары и как дрожали руки у дядя Лукайи.

...Мы вернулись домой поздно. Тетя сидела у камина, читала книгу. Я и Анатолий были с ног до головы в снегу, однако холода не чувствовали — выпитое вино все еще согревало нас.

Увидев нас, тетя отложила книгу, подбросила в огонь дрова и поставила перед камином два трехногих стульчика.

— Идите к огню! — позвала она.

Шатаясь, я подошел к камину, опустился прямо на пол и положил голову на колени тети.

— Что с тобой? — спросила она.

— Я пьян, тетя!

— Где вы были?

— Анатолий тоже пьян, тетя!

Анатолий, хватаясь за стену, кое-как добрался до камина, плюхнулся на стульчик, взял руку тети и погладил ее. Тетя осторожно высвободила руку и посмотрела на меня.

— Он пьян, тетя!

Анатолий опять взял руку тети, но я не обратил на это внимания. Меня разморило от тепла и захотелось петь.

— Ложись-ка лучше спать, завтра тебе в школу! — сказала тетя.

Драные ботинки,
Рваное пальтишко,
В школу мне не хочется —
Вольный я мальчишка! —

пропел я в ответ и закрыл глаза.

— Мария, моя Мария...— донесся до меня сквозь дрему голос Анатолия. Я приподнял голову.

Анатолий нежно гладил тетю по волосам и приговаривал:

— Ты прости меня, Мария... Добрая моя, милая Мария... Отыскал-таки тебя... Мария моя... А где девочка? У мамы?.. Слава богу, конец всему... Конец скитаниям... Теперь мы всю жизнь будем вместе... А нашего села больше нет, Мария. Сожгли его немцы. Дотла. Никого там не осталось. Ни живой души... Где ты была, Мария? Измучилась, бедная моя. Как девочка и мама? Теперь все! Конец нашим мукам...

Тетя осторожно отвела руку Анатолия.

— Меня зовут Кетеван,— сказала она тихо.

— Нет, ты — Мария. Такая добрая, такая красивая. Скажи, ты ведь Мария?

— Я — Кетеван...

Анатолий долго и пристально всматривался в тетю, потом снова начал:

— Я уйду. Я уже могу ходить и воевать могу. Я дойду до края света, а тебя найду, Мария...

Он закрыл лицо руками и заплакал.

Я и тетя кое-как уложили Анатолия. Он скоро успокоился и заснул.

Я лежу с открытыми глазами и думаю. Хмель выветрился из головы. Сон не идет.

— Тетя! — зову я.

Тетя молчит.

— Тетя, не спится мне...

— Засни, Сосойя...

— Тетя, кто такая Мария?

— Не знаю. Наверно, жена...

— Она что, пропала?

— Наверно...

— А он найдет ее?

— Не знаю...

— Он сказал: дойду до края света, а найду...

— Дай бог!..

— Тетя, уйдет Анатолий?

— Уйдет, обязательно уйдет...

Я понял, что расспрашивать дальше тетю не следует, поэтому перевернулся на бок и уставился в затухающий камин. Он напоминал ночное небо, на котором сквозь тучи кое-где проглядывали звезды. Пепел постепенно обволакивал тлеющие угольки, и они гасли один за другим. Глаза начали смыкаться, и я уснул, не видя, как в камине угасла последняя звезда.

## БЕГЛАРОВА МЕЛЬНИЦА

Если вам не доводилось ночевать в Бегларовой мельнице, болтать и сплетничать с Бегларом до утра, есть выпеченную им в золе соленую кукурузную лепешку, потом мучаться во сне от жажды, вскакивать чуть свет, припадать к мельничному желобу и с наслаждением пить супсинскую воду,— не говорите, что вы бывали в деревне!

Я не знаю, могло бы существовать наше село без Беглара и его мельницы! Здесь не найдется человека, который поговорил бы с вами пять минут и не упомянул бы хоть раз Бегларову мельницу. Повстречался вам сосед, поздоровался с вами, угостили вы его табачком, а табак — домашний, нарезан крупно. Сосед тотчас же:

— Ты что, у Беглара табак молол, что ли?

Рассказали вы соседу какую-то новость, да получился ваш рассказ бессвязным, путаным. Сосед — без обиняков:

— Что ты мелешь, словно Бегларова мельница! Говори толком!

Кашель и тот у нас связывают с Бегларом:

— Раскашлялся, как Бегларов пес!

А пес у Беглара действительно мастер кашлять. И не удивительно: ничем иным, как заплесневелыми отрубями, Беглар несчастную собаку не кормит.

Вся жизнь Беглара связана с мельницей. Она ему заменяет дом, жену, детей, родственников. Мельница, разумеется, колхозная, и избран Беглар мельником общим собранием колхозников, но вряд ли осмелится кто-либо из председателей даже заикнуться об освобождении Беглара от этой должности. Почему? Да потому, что никто во всем селе не захочет занять место Беглара. Знает об этом Беглар, знают об этом нынешний и будущие председатели нашего колхоза, и потому мельница, хоть она, конечно, колхозная, называлась и называется Бегларовой.

Беглар живет в своей мельнице, спит на огромном мучном ларе, изголовьем ему служит мешок, набитый сухими листьями кукурузы. Над ларем висит кремневая одностволка, которую Беглар почему-то называет «Зауэром». На стене красуется вырезанный из какого-то журнала портрет Мичурина. Если спросить Беглара, кто этот старик, он ответит с неподдельным удивлением:

— Как, ты не знаешь Мичурина? Это ведь тот человек, который в Сибири вырастил мандарины и виноград!

С началом войны тематика художественной галереи Беглара изменилась. Лучшие места в ней заняли военные деятели: на первом месте Чапаев, на втором — Буденный, затем — Тимошенко, Суворов, Петр Багратион и, наконец, Киквидзе.

Беглар имеет также собственную библиотеку. На специальной деревянной полочке в заведенном раз и навсегда порядке лежат «Витязь в тигровой шкуре», Евангелие, горшок для лобио, кувшинчик с водкой и «Женщина и социализм» Бебеля.

Беглар всегда искренне рад моему приходу. Всеми правдами и неправдами он отводит мне последнее место в очереди. Я не возражаю, потому что беседа с Бегларом доставляет мне не меньшее удовольствие. И вот сидим мы до утра у горящего очага и решаем дела мирового масштаба: формируем и распускаем правительства, строим дворцы, разрушаем замки, арестовываем генералов, выигрываем битвы, отступаем, вновь наступаем, критикуем новые направления в современном искусстве. Попутно мы

печем в золе кукурузные лепешки, едим, курим и обмениваемся любезностями.

— Погоди, Сосойя! Вот ты доказываешь, что война продлится еще несколько лет. Какие у тебя к тому основания? — спрашивает Беглар, засыпая в сусек очередную партию кукурузы.

— Захватил Гитлер нашу территорию? Захватил! Должны мы отнять у него эти земли? Должны! Потребуется для этого время?

— Потребуется!

— Ну вот! Чтобы изгнать немцев с нашей территории, нужно не меньше двух лет!

— Значит, по-твоему, войну мы выиграем?

— Конечно!

— Решено, значит?

— Безусловно!

— Хорошо... Вот перешли мы в наступление, а Гитлер не отступает! Что ты прикажешь делать?

— Отступит!

— Не хочет отступать!

— Заставим!

— Хорошо... Отступил он... А летом собрался с силами и вновь пошел на нас! Что тогда?

— Не пойдет!

— Допустим, пошел!

— Не посмеет!

— Ну а если посмеет?

— Слушай, ты за кого? За меня или за Гитлера?

— За тебя, болван, за тебя! Но ты как думаешь: Гитлер — доходяга вроде меня, что ли?

— Хуже тебя!

— Сосойя, ты не очень-то того... Не заговаривайся! Вот ткну тебя головой в кадку, будешь знать, как честного человека с Гитлером сравнивать!

— Ладно, извини. Так вот смотри сюда!..— Я провожу палочкой линию в слое золы.— Я — Советский Союз, ты — Германия. Я стою здесь, ты — здесь. Сейчас зима. Я привык к зиме, одет тепло, сыт, а главное — я у себя дома!

— Хорошо. Согласен...

— А ты что? Ты раздет и разут, мерзнешь, а главное: ты в чужом доме, и хозяева дома тебя бьют — один по лицу, другой по заду.

— Это кто же меня бьет по заду?

— Партизаны!

— Хорошо. Согласен. Пусть бьют.

— Ну и что тебе остается делать?

— Да... ничего, пожалуй. Должен уносить ноги!..

— Вот тебе и все мои доводы!

Раздался кашель Бегларовой собаки.

— Чтоб тебе сдохнуть!

Беглар встал, открыл дверь. В мельницу вошли бабушка Аквиринэ, Матрена и Федосия. Они поздоровались с нами, сложили мешки с кукурузой и уселись у огня. Беглар запустил второе колесо, засыпал кукурузу Аквиринэ и вернулся на место.

— Присмотрите сами за своей кукурузой, бабы, некогда мне!

Беглар взял у меня палочку и провел другую линию.

— Хорошо, Сосойя, отступил я и дошел до старой границы. Вот она! — показал он на новую линию.— Что ты тогда сделаешь?

Я не нашелся что ответить.

— Вот, скажем, я, Гитлер, дошел до старой границы и стал. Как ты поступишь?

— С ума вы, что ли, посходили? — прикрикнула на нас Аквиринэ.

— Не мешай! — огрызнулся Беглар.

— Как я поступлю? А очень просто: нажму на тебя! — решил я.

— Хорошо. Но я, будучи Гитлером, скажу тебе: «На, брат, бери свою землю, я возьму свою, и разойдемся с миром. Хватит проливать кровь!»

— Нет, дорогой мой, я все равно буду нажимать! — заупрямился я. «До каких пор!» — испугается Гитлер. «До конца, подлец, до Берлина!» — «А что потом?» — «А потом я арестую тебя, твоих генералов, твое правительство, и вы поплатитесь за все зло, которое причинили нам!» — «А как Англия и Америка? Дадут они меня в обиду?» — «Не дадут, так и они получат по носу!» — «Смотри, Сосойя, как бы не хватил лишнего!» — «Ничего, за себя отвечаю я!..»

— Когда же ты заканчиваешь войну, сынок? — спросила с улыбкой Матрена.

— В сорок пятом!

— Нельзя ли ускорить немного? — попросила Федосия.

— Не получается! — вздохнул Беглар.— Вот мы судили-рядили, всю золу тут перерыли, не получается раньше сорок пятого!

— Эх вы, бездельники! — покачала головой Аквиринэ.— Допустим, Сосойя — дите зеленое, но ты-то, старый дурень! Что за чепуху ты порешь? «Я, Гитлер...» Обалдел совсем, да?

— Ничего себе «дите»! — усмехнулся Беглар.— Он тут та-

кие планы развернул, что Гитлер, будь у него в голове мозги, уже сейчас должен сам лезть в петлю!

Наступила моя очередь. Я развязал мешок, подтащил его поближе к сусеку, подождал, пока смололась последняя горсть кукурузы, и засыпал в воронку свое зерно.

Жернов вращался медленно — воды в желобе было мало. Ждать, пока смелется моя кукуруза, не имело смысла.

— Беглар, я посплю немного... Бабушка Аквиринэ, посмотри, пожалуйста, чтобы он не содрал с меня минди[1] больше положенного. Знаешь ведь Беглара, ему нельзя доверять...

— Язва ты этакая! Погоди попляшешь ты у меня!

— Ты что, Беглар, шуток не понимаешь? Я знаю, с меня ты вообще не возьмешь минди!

— Это еще почему?

— Как же! Мы только что вместе выиграли войну! Что тебе стоит обслужить меня бесплатно!

— Дудки! Политика политикой, а кукуруза кукурузой! Это, брат, государственное дело!.. Минди я беру не для себя — для государства, так что ты не толкай меня на преступление! Тебе уступить — чем они хуже тебя? Прав я, женщины?

Те закивали головами. Беглар занялся своими мельничными делами. Я подтащил к огню припасенную Бегларом для таких случаев широкую доску, положил в изголовье чей-то мешок с кукурузой и улегся.

...Гудит мельница, поет на разные и все же однообразные голоса... Над жерновами, на полке выстроились в ряд мешки с помолом. О многом рассказывают они мне: о событиях на селе, о новостях в жизни моих соседей, об урожае, о войне... Вот стоит большой, наполненный до самого верха мешок с кукурузой. Донести до мельницы его не могли ни ребенок, ни женщина. Он наверняка принадлежит мужчине, причем сильному мужчине. Кому же? Ну конечно, Макару! У него и силенок достаточно, и кукурузы вдоволь. И не спешит Макар с помолом, потому и не ночует здесь. Заберет муку завтра или даже послезавтра... А вон махонький, синий в горошинку, ситцевый мешочек. Сколько в нем кукурузы? Фунтов десять, не больше. Мужчина не стал бы тащиться на мельницу из-за такого пустяка. Значит, принес его ребенок. Среди полновесных мешков этот крохотный мешочек напоминает куклу в синем платьице. А-а-а, вспомнил, точно такой, синий в горошинку, ситцевый халат видел я летом на сынишке Ла́дико — Да́туне. Конечно, мешочек принес Датуна! Понятно и то, почему он не ночует на мельнице: кукурузы-то

---

[1] М и́ н д и — определенное количество зерна, взимаемое в качестве платы за помол.

в мешочке всего на две-три выпечки... Какая разница, когда их съешь, сегодня или завтра? Лучше уж продлить это приятное ожидание на день... Мешки, мешочки — большие, малые, целые, залатанные, заполненные до отказа и наполовину — они рассказывают о себе, о своих хозяевах, и я знаю, который из них кому принадлежит, когда за которым придут и когда еще их принесут на Бегларову мельницу...

Глаза мои слипаются. Я уже в сладком полусне. А мельница гудит, поет на разные и все же однообразные голоса. Поет о чем-то своем, неповторимом. Так умеют петь только мельницы. Поезда тоже поют, но иначе. Их песня — шумная. Мельница гудит вовсю, но все же тишина здесь такая, что слышишь, как в углу скребется мышь, как где-то далеко лает собака, а в камышах жалобно воет шакал. А вот возни Беглара в мельнице не слышно! Переверни он здесь все с ног до головы, ты и не заметишь этого, потому что сам Беглар — часть мельницы, неотъемлемая ее часть. Он поет вместе с мельницей, и мельница не может петь без Беглара... Сквозь сон я вижу, как Беглар выбирает меркой кукурузу из моего мешка и ставит мерку на пол, как он украдкой оглядывается на женщин, потом на меня и, убедившись, что ни женщины, ни я не замечаем его манипуляций, засыпает кукурузу обратно в мой мешок.

Я вижу это, но если б даже я спал мертвым сном и не видел бы ничего, я знаю, что Беглар не возьмет ни грамма кукурузы ни из моего мешка, ни из мешков дремлющих у огня женщин, ни из того крохотного, синего в горошинку, мешочка. Потому и пустует частенько «казенный» ларь в Бегларовой мельнице и потому любит Беглара все наше село.

Я тоже очень люблю моего Беглара, и, согретый этим чувством, я засыпаю... Я проснулся от злобного лая собаки. Кто-то изо всех сил стучался в дверь. Я встал. Кряхтя и ворча, Беглар подошел к двери и откинул засов. Дверь со скрипом распахнулась, и в мельницу вступил высокий, покрытый снегом мужчина с мешком на плече. Беглар попятился назад, женщины повскакивали. У меня что-то застряло в горле, я весь похолодел: перед нами стоял бригадир Датико.

— Здравствуйте, чего вы переполошились? — Он сбросил мешок на пол и протянул к огню озябшие руки.

Мы молчали. Я не видел Датико с того страшного дня. Он не показывался нигде. Теперь, увидев его, я онемел от удивления, ненависти, страха и возмущения. Во рту у меня пересохло, язык прилип к нёбу, колени задрожали, и, чтобы не упасть, я сел.

Датико снял с плеча ружье, поставил его в углу, стряхнул с одежды снег и сел рядом со мной. Я отодвинулся.

— Не чумной я, чего ты боишься? — сказал Датико недовольно.

Я не ответил. Беглар и женщины продолжали стоять и молчать, не отрывая глаз от Датико.

— Вы что, человека не видели? — обратился Датико к ним.

— Почему же, человека мы видели...— ответил Беглар и присел на ларь. Женщины сбились в углу.

— Давненько у нас не бывало такой зимы... Народится кукуруза — дай бог! — нарушил Датико неловкое молчание и стал скручивать цигарку.

— Тем более — у тебя...— вставила Аквиринэ.

— Смеешься, старая?

— Зачем мне смеяться? Ты, эвон, приволок два пуда кукурузы, а мне эта горсть муки должна хватить до нового урожая!..

— Ну, знаешь! Я тебя не грабил, ничего у тебя не отбирал...

— Не знаю... Человека ты убил, теперь, наверно, начнешь грабить людей...

— Будь ты мужчиной, заставил бы я тебя проглотить свой ядовитый язык! — Датико сильной затяжкой ополовинил цигарку.

— Будь я мужчиной, показала бы я тебе, что такое кровь, и как надо резать людей, выродок ты этакий! — ответила Аквиринэ и плюнула в огонь.

Датико побледнел, но ничего старушке не ответил.

— Спешу я очень,— обратился он к Беглару,— после этого,— он показал на жернов, где мололась моя кукуруза,— засыпь мою.

— Теперь очередь Макара.

— Макар подождет!

— Он придет на рассвете...

— Ничего, подождет, а я спешу!

Беглар смолчал. Датико поднял свой мешок, подтащил к жернову.

— Давно я не ел твоих лепешек, Беглар! — улыбнулся Датико Беглару.

— Может, еще прикажешь подать тебе жареного поросенка?

Датико обмер.

— Беглар, не растравляйте меня... Взял я грех на душу, теперь мне уже нечего терять...— сказал он и бросил взгляд на свою винтовку. Беглар придвинулся к своей кремневке. Тогда Датико подошел к стене, снял кремневку, подбросил ее в воздух, схватил за ствол и со всего размаху ударил прикладом об землю. Потом открыл дверь, забросил ствол в снег, а приклад швырнул в огонь.

Беглар не сдвинулся с места, лишь проглотил слюну. Датико взял свою винтовку и уселся у огня.

— Видал? — показал он Беглару на начавшийся дымить приклад.

— Чтоб тебя увидела смерть, и чтоб не было тебе в жизни счастья и радости, и чтоб сгнили в земле твои кости, как гниют кости моего мальчика! Чтобы оплакали тебя и надели траур по тебе твои родные! — сказала Матрена, и губы у нее задрожали.

— Да кто станет оплакивать его? Кто наденет траур по нем? — добавила Федосия.

— Федосия, не выводи меня из терпения... Теперь я зверь! Остерегайтесь меня! — привстал Датико.

— Чтоб ты пропал и исчез, чтоб не приняла тебя земля! Душегуб! Ты еще грозишься? Что со мной может стать хуже того, что уже стало? Изверг ты! Убийца!

— Не я убил ваших сыновей... Будь они поумнее, ходили бы сейчас живыми и невредимыми, вроде меня!

— Что?! Что ты говоришь?! Да им... Да они... Они и сейчас, мертвые, живее тебя, падаль ты этакая! Как ты смеешь даже заикаться о наших мальчиках?! — Матрена хотела сказать еще что-то, но подступившие рыдания не дали ей договорить. Она закрыла лицо руками.

Моя кукуруза сошла вся. Жернова загрохотали громче. Датико стал развязывать свой мешок.

— Теперь очередь Макара,— сказал тихо Беглар. Датико продолжал развязывать мешок.

— Теперь очередь Макара,— повторил Беглар.

— Подождет Макар!

— Нет. Его очередь!

— Подождет!

— Его очередь! — Беглар вплотную подошел к Датико.

— Подождет, говорю, Макар! — Датико оттолкнул Беглара и стал засыпать в сусек кукурузу. Беглар налетел на ларь, выпрямился, долго пристально смотрел на Датико, потом присел к огню. Я стал заполнять мукой свой мешок, искоса поглядывая на Беглара. Вдруг он встал и, не сказав ни слова, вышел из мельницы. Датико, схватив винтовку, вышел вслед за ним, но скоро вернулся.

— Гм, обиделся на меня...

Наступило молчание.

— Позови его, Сосойя,— сказал Датико.— Ничего я ему не сделаю... Простудится еще!

Я не ответил ему и не сдвинулся с места.

Датико взорвался.

— Ты что, не слышишь?! Сопляк! Тебя еще не хватало!

Я продолжал молча заполнять мешок мукой. Прошла минута, другая, третья... И вдруг вода в желобах мельницы умолкла. Жалобно взвизгнув, стали жернова. Наступила непривычная тишина.

Датико растерялся. Он вопросительно взглянул на меня, потом на дверь. Он стоял, нагнувшись над мешком, и не знал, что делать. Дверь открылась, и появился мокрый по пояс Беглар с металлическим беркетом в руке. Он весь посинел и дрожал, губы его выбивали дробь.

— Что... что ты сделал? — спросил Датико.

— Иди своей дорогой, Датико... Пока я жив, не видать тебе муки из моей мельницы... Я разбил желоб. Хочешь, убей меня! Пожалуйста, я здесь... А потом можешь поправить желоб и молоть, сколько тебе угодно...

Датико долго, очень долго молчал, не сводя глаз с Беглара. Потом подобрал свой пустой мешок, повертел его в руках, бросил на пол, повернулся и направился к двери. В дверях он остановился, немного постоял с опущенной головой и, не оглядываясь, вышел...

Я видел, как он пошел по заснеженному полю, как пересек его, как стал взбираться по склону Концхоулы и как постепенно исчезло темное пятно на белоснежном фоне горы.

— Извините меня, женщины, осталась ваша кукуруза несмолотой...— неловко улыбнулся Беглар.

— Беглар, накорми меня своими лепешками, проголодался! — сказал я и поцеловал Беглара в озябший нос.

— Дай отогреться, сукин сын! — проворчал Беглар, потер рукой нос и сел у огня.

## ЦУЦА

— Здравствуй, Бежана! Да, это я. Ты, наверно, думаешь, что я забыл тебя. Нет, дорогой, просто у меня не остается времени поболтать с тобой. Дома по хозяйству уйма дел. И в колхозе надо поработать. А уроки? Их ведь тоже надо готовить. Что? Пятерки? Какие там пятерки, Бежана! Дай бог вытянуть на тройки! Школу-то как-никак, надо кончать, не ходить же мне всю жизнь босоногим оборванцем! Дома? Дома все живы-здоровы. А наш русский ушел, Бежана! Вот так, встал в одно прекрасное утро и ушел. На фронт, конечно! А как он заставил Лукайю снять траурную ленту, я тебе не рассказывал? Да, заставил! А потом и остальные поснимали эти проклятые черные ленты. Теперь все только и живут надеждой, что рано или поздно возвратятся их пропавшие сыновья и мужья... А сам он

пропал, наш русский, Бежана! Ни письма, ни весточки от него. Когда мы провожали его, тетя все шутила, смеялась. А ночью проснулся я, и что ты думаешь? Плакала тетя, Бежана! Да, плакала. Как, по-твоему, любила она его? Я думаю, любила! На дворе уже весна, Бежана! Вот-вот лопнут почки на твоей розе. Что я делаю? Да вот, сколачиваю скамейку. Сядем я и Хатия на скамеечке и будем делиться с тобой новостями...

Дела на фронтах идут хорошо. Остановили мы немца, Бежана! Ей-богу! И даже гоним обратно помаленьку! Да! Ну, знаешь, трудно все же приходится нашим. Вернувшиеся с фронта ребята рассказывают — наши готовятся к крупному наступлению. А для наступления, сам понимаешь, нужно людей втрое больше. Да потому! Враг — что? Он сидит в окопе и целится в тебя. А ты бежишь, неприкрытый, прямо на него. А он из окопа стреляет в тебя. Вот то-то и оно! Если его выкурить из окопа, потом уже станет легче. Теперь он удирает, а ты бежишь за ним и стреляешь! Так вот, ребята говорят, скоро наши погонят их вовсю! Так что ты не волнуйся, все будет хорошо, Бежана!

— Здравствуй, Сосо!

Я вздрогнул и оглянулся. Передо мной стояла Цуца. Цуца, соседская дочь, была замужем за парнем из другой деревни. Я хорошо помню день ее свадьбы. Ох и палили подвыпившие дружки! Скакали и гарцевали на конях как сумасшедшие! Снесли половину плетней на селе. Цуцина мать даже разрыдалась — за кого, мол, выдаю свою единственную!

Потом умоляла зятя — оберегать молодую жену как зеницу ока... А после свадьбы просила восседавшую на белом коне дочь не забывать родной дом, почаще наведываться к матери...

Вот и вернулась Цуца к матери навсегда. Спустя месяц после свадьбы началась война, а еще через месяц Цуца получила похоронную.

Теперь она стояла передо мной — сильная, красивая, полногрудая, упершись рукой в бедро и улыбаясь пунцовыми губами.

— Здравствуй, Цуца!

Я забил последний гвоздь, положил топор и присел на скамейку.

— Смотрю я на тебя целый час. С кем ты тут разговаривал?

Цуца села рядом со мной.

— Да так... Сам с собой,— сказал я и отодвинулся.

— О чем же ты разговаривал с собой?

— Так... Спросил о чем-то.

— И что он ответил? — рассмеялась Цуца.

— Ничего... Не знаю, говорит.

— А ты спроси меня, Сосойя, я знаю все,— сказала Цуца и погладила меня по голове.

Я не ответил ей. Цуца провела ладонью вниз по моей щеке, потом — тыльной ее стороной — вверх.

— Вырос ты, Сосойя, борода уже растет...

— Да-а-а... Пух один,— пробормотал я и почувствовал, что краснею.

— И усы вот растут,— Цуца погладила указательным пальцем мою верхнюю губу.

— Да-а... Тоже пух,— сказал я и быстро встал, испугавшись, как бы Цуца не услышала биения моего сердца. Цуца смотрела на меня своими большими красивыми глазами, и я был уверен, что она слышит, как стучит мое сердце.

— Ты уходишь, Сосойя? — спросила Цуца и тоже встала.

— Пойду, пожалуй, поздно уже... А ты куда шла, Цуца?

— Я — за листьями шкери...[1] — Цуца показала на корзину.— Может, пойдешь со мной? У тебя, кстати, топор.— Я заколебался.— А то стемнеет, могу и испугаться одна! — добавила она.

— Ладно уж, пойдем, только ненадолго.— Я взял корзину.

Тропинкой мы сбежали по склону кладбища и стали подниматься на покрытый густым кустарником пригорок.

Я выбрал куст шкери покрупнее и в два счета начисто остриг его. Цуца присела под кустом, я — рядом с ней. За далекой горой медленно спускался огромный медный диск солнца. Он напомнил мне выпеченный на кеци дымящийся мчади, и я пожалел, что этот исполинский мчади опустится где-то в другом месте. Впрочем, сейчас, ранней голодной весной, все круглое: и мельничный жернов, и точильный камень, и солнце, и луна — все мне напоминало мчади. Этим сходством больше всех обладала луна,— то полная, то ущербная, она выглядела совсем как мчади, то целый, только что снятый с раскаленного кеци, то уже съеденный наполовину. И потому, наверно, наши голодные собаки все ночи напролет яростно лаяли на луну...

Цуца не спеша срывала с веток листья и аккуратно складывала их в корзинку. Чтобы ускорить дело, я взял одну ветку и стал очищать ее от листьев.

— А я ведь знаю, с кем ты там разговаривал. С Бежаной,— сказала Цуца.

— Да, Цуца, с Бежаной,— признался я.

— И часто ты ходишь на кладбище?

— Часто.

— Бежана очень тебя любил...

---

[1] Шкéри — по-грузински альпийская роза, рододендрон.

— И я его очень любил.
— Тебя все любят.
— Да-а-а...
— Я знаю, любят.
— И ты тоже? — вырвалось у меня. Цуца смутилась.
— Почему ты не ходишь к нам, Сосойя? Ты бываешь у всех, всем помогаешь...
— Приду и к вам.
— Когда?
— А когда мне прийти?
— Когда захочешь.
— Хорошо.
— А почему эта девчонка бегает за тобой?
— Кто, Хатия?
— Да, Хатия.
— Почему бегает? Я вожу ее в школу... И потом, ей приятно бывать со мной.
— А тебе?
— Мне тоже.
— Она любит тебя?
— По-моему, любит.
— Как она любит тебя, Сосойя?
— Ну как?.. Как все...
— А ты любишь ее?
— Очень!
— И не боишься?
— Чего мне бояться, Цуца?

Цуца не ответила. Я положил листья в корзину и случайно прикоснулся рукой к руке Цуцы. Она не убрала ее.

— А тебя никто не любит, Цуца?
— Не знаю... не знаю... По крайней мере, никто в этом не признается.
— Не может быть!
— Нет, Сосойя, никто меня не любит, никто! — Цуца придвинулась ко мне. Я почувствовал себя неловко.— А ты любишь меня, Сосойя? — спросила вдруг Цуца и взяла в свои руки мою руку.
— Я? Не знаю...
— Эх, ничего ты не знаешь, Сосойя! Ты знаешь, что такое женщина? Женщина, которая лишилась мужа на первом месяце замужества? Ты знаешь, что такое овдовевшая в моем возрасте женщина?..

Цуца тяжело дышала. Я приподнялся, но Цуца удержала меня.

— Сосо, ты умный парень, ты поймешь меня... Ты не

станешь смеяться надо мной?.. Слышишь?.. Пожалей меня, Сосойя! Никто меня не любит! Одна я, понимаешь, одна! — Цуца обняла меня...

Не знаю, почему я это сделал, я тоже обнял ее и припал губами к ее груди, шее, губам... Цуца закрыла глаза...

— Сосойя, мой Сосойя, хороший мой мальчик... Ты поймешь меня, ты не будешь смеяться надо мной... Или же возьми свой топор и убей меня... Сосойя...— шептала она, и я ощущал дрожь ее горячего тела.

Цуца в изнеможении опрокинулась на траву.

— Сосойя, дорогой мой, скажи, что любишь меня! Делай со мной, что хочешь, режь меня, души меня, но только скажи, скажи, что любишь! — шептали ее дрожащие губы.

Я нагнулся к Цуце, обнял ее, раскрыл для поцелуя губы, и вдруг мною овладел страх. Я испугался так же, как и тогда, в первый день войны, при виде онемевшего народа, как при первом известии о гибели, пришедшем в наше село, как при виде окровавленного Бежаны. Я испугался, как боятся люди собственной смерти. Я вскочил, отпрянул назад, зацепился за куст, упал, снова вскочил и, не оглядываясь, побежал. Я мчался, не разбирая дороги, продирался сквозь колючие кусты, бежал по полям, виноградникам, перемахивал через плетни... С трудом переводя дыхание, я ворвался во двор Виссариона Шаликашвили, взлетел на балкон и ткнулся головой в колени мирно сидевшей на лавке Хатии.

— Что с тобой, Сосойя, что случилось? — испугалась Хатия.

— Хатия, я люблю тебя! — выпалил я и заплакал.

— Из-за этого ты мчался сюда? Я тоже люблю тебя, и все тебя любят! Может, сказал кто-нибудь, что не любит тебя, и потому ты плачешь?

— Дура ты, тупица, ничего ты не понимаешь!

— Скажи наконец, что произошло?

— Ничего, Хатия, я был на кладбище и испугался.

— И не стыдно тебе?

— Стыдно...

— Не надо было тебе ходить без меня, Сосойя! — сказала Хатия.

— Не надо было мне ходить без тебя, Хатия! — сказал я.

* * *

И опять я лежу в постели и гляжу в потолок. Весна. Мы уже не топим камин, смотреть в комнате не на что — мигающая лампа да дощатый потолок... На потолке что-то ползет — то ли

муха, то ли жук какой-то. Скорее всего — сверчок. Он то скрывается в щели, то появляется снова. Сверчок не спит. Почему? Кто его знает! Может, он ищет, кому еще не спится этой тихой весенней ночью? Вот он опять исчез в щели. Надолго. Видно, нашел-таки кого-то и делится с ним своими думами. А может, и никого он не нашел, а просто заснул. Может, и не заснул, а лежит вроде меня с открытыми глазами и думает о чем-то своем. Кто его знает?..

Я слышу мерное дыхание тети.

— Тетя, спишь?

Она не отвечает. Спит, конечно. Но я все же начинаю беседовать с ней.

— Три года уже длится война, тетя... Сколько в нашем селе осталось женщин без мужей! Многие из них вышли замуж перед самой войной... Что им теперь делать, тетя? Ждать? Да, знаю, мужей надо ждать... А тем, мужья которых погибли, им как быть? Не знаешь? А я знаю. Жаль, тетя, этих женщин! Те, у которых погибли мужья, должны выйти замуж. Ты знаешь Цуцу? Она совсем еще молодая, здоровая, красивая. А муж у нее погиб. Как же теперь? Что ей делать? А ведь жалко Цуцу, тетя, очень жалко, ну просто плакать хочется!.. Что, всех жалко? Права ты! И тебя тоже жалко! Ты думаешь, я ничего не соображаю? Нет, тетя, я теперь большой, я все понимаю. Я знаю, ты не выходишь замуж из-за меня! Да, все так говорят — мол, Кето пожертвовала собой ради единственного племянника. Не надо так, тетя! Я уже большой, я сам присмотрю за собой, а ты выходи замуж! Ты не бойся, я всегда буду по-прежнему любить тебя! Ты должна иметь собственных детей! Выходи, тетя, замуж! И пусть Цуца тоже выходит замуж! Все, у кого нет мужей и детей, должны выйти замуж! Жалко их! И тебя жалко, тетя!

— Слушай, Сосойя, ты заснешь, наконец, или нет? Где ты так нализался, бездельник? — прерывает тетя мой монолог.

— Тетя, ты разве не спишь? — мне стыдно, и я укрываюсь одеялом.

— Спи, спи, Сосойя!

Хорошо бы заснуть, но сон не идет!..

## ТРИУМФАЛЬНЫЙ МАРШ

Каюсь: преподавателя военного дела мы изводили, как никого другого из наших учителей. Но полюбили его больше всех остальных педагогов. Поэтому нашей радости не было границ, когда его назначили к нам классным наставником. Теперь он

обходился с нами, словно с родными детьми,— кричал, орал на нас, иногда даже угощал оплеухами. И в то же время он до хрипоты спорил и бушевал на заседаниях педсовета, когда обсуждался вопрос о наказании кого-либо из нас.

Не было случая, чтобы Гуриелидзе вызвал в школу родителя провинившегося ученика.

— Здесь — я ваш родитель! Или перестреляю всех вас, бездельников, или сделаю из вас людей! — кричал он и колотил по столу кулаками так, что потом целую неделю не мог двинуть рукой.

Мы обожали уроки военного дела: Гуриелидзе проводил их на берегу Супсы. Он разбивал класс на два вражеских лагеря — наших и фашистов, из девчонок формировал отряд санитарок, себя назначал начальником объединенного штаба обоих лагерей и... начиналась братоубийственная битва. Мы бросались друг на друга, рвали волосы, до крови царапали лица, наставляли синяки, оглашали берега Супсы криками «Сдавайтесь!» и «Ура!». Мне почему-то всегда доставалась должность немецкого главнокомандующего, пост же советского маршала занимал Нодар. Поскольку победу должна была одержать советская сторона, в мою армию определялись самые слабые, малорослые и никчемные ребята, и наоборот, войско Нодара составляли лучшие наши драчуны. Естественно, победителями каждый раз выходили они. Таким образом, все эти годы, до окончания войны, я неизменно выступал в ролях пленного, раненого, шпиона, диверсанта или покойника...

...Сегодня нам опять предстоит смертный бой: первые два урока — военный предмет. После боя все оставшиеся в живых должны идти на чайную плантацию — помогать женщинам. На дворе — май. Плантация колышется молодыми побегами чая. Женщины не успевают собирать их. А запоздать хотя бы на час — плеши перезреют, огрубеют — и тогда пиши пропало. Вот потому и гонят нас на плантацию. Но мы отбываем эту повинность с великим удовлетворением: во-первых, нас радует сознание того, что мы тоже помогаем фронту; во-вторых — нам начисляются трудодни; в третьих... что такое чай?! Мы готовы впрячься в плуг и перепахать весь супсинский берег, лишь бы уйти с занятий в школе!..

Итак, рядами по два мы шагаем по направлению к Супсе. Девочки ведут Хатию. Она рассказывает что-то смешное — девочки хохочут вовсю.

— Раз-два-три!.. Раз-два-три!..— Гуриелидзе шагает рядом. Иногда он подпрыгивает на месте, подстраивается к нам и вновь продолжает считать: — Раз-два-три!.. Мамаладзе, выше ногу!.. Раз-два-три!.. Каландадзе, выше голову!..— Он забегает вперед,

поворачивается лицом к нам и, пятясь назад, подбадривает нас: — Молодцы, орлы! Шире шаг, герои! А ну, запевай!..

Песня наша звонко льется,
Ох, врагу и достается!
Пулемет наш молодец,
Фриц, капут тебе, конец! —

запеваю я.

Пулемет наш молодец,
Фриц, капут тебе, конец! —

подхватывают ребята.

Шагаем мы, орлы Левана Гуриелидзе: кто в отцовских, кто в дядиных брюках и блузах, кто в лаптях, кто в калошах, а кто и босиком, вдыхаем удивительно вкусный утренний аромат, настоянный на запахах пробуждающейся земли и первой зелени, и орем во всю силу молодых легких:

Пулемет наш молодец,
Фриц, капут тебе, конец!

— Группа-а-а-а...— раздается команда Гуриелидзе. Мы громче чеканим шаг.— Стой, раз-два-три! — Мы застываем на месте.— Нале-е-е-во! — Мы поворачиваемся — кто налево, кто направо.— Вольно, чтоб вам провалиться, болваны! Разойдись!..

После пятиминутного перерыва Гуриелидзе объявил:

— Задача сегодняшнего дня заключается в следующем: фашисты занимают левый берег Волги,— он показал рукой сперва на меня, потом на Супсу,— наши войска,— он ткнул пальцем в сторону Нодара,— выбивают немецких захватчиков из окопов, вступают с ними в рукопашную схватку, уничтожают их основные силы, преследуют остатки до правого берега Волги и дальше на шестьдесят километров. Задача ясна?

— Шестьдесят километров — это много! — испугался Нодар.

— Да ты не бойся, столько и мы не сможем бежать! — успокоил я его.

— Девочки! — продолжал учитель.— Полевой госпиталь развернется здесь, под орехом. Главным врачом назначается Хатия. Ната, Какано, Тина — медицинские сестры. В десять ноль-ноль открываю боевые действия. Учитель извлек из кармана огромные, с колесо арбы, часы на полуметровой металлической цепи, поднес их к уху, встряхнул раза два, покачал безнадежно головой, спрятал часы и продолжал:

— Сосо Мамаладзе, забирай свою армию и занимайте окопы на берегу Волги!

— Тоже мне армия! Подсунули мне всякую шваль!.. Одол-

жите мне, учитель, Нодара, и тогда мы посмотрим, чья возьмет!

— Разговорчики! Нодар Каландадзе, занимайте свои места в верхних окопах!

— Я не хочу так! — запротестовал я.— Дайте хоть раз и мне побыть красным!

— Погодите немного, станут ваши рожи и красными и лиловыми! — заржал Нодар.

— Чего вы кобенитесь? Сдавайтесь сейчас же, и все тут! — предложил мне Тамаз Керкадзе.

— Цыплят по осени считают! — отпарировал я.

Я и Нодар собрали свои войска и направились на отведенные нам места.

Я выстроил перед окопом своих бойцов и обратился к ним с исторической речью:

— Солдаты и офицеры! Вы находитесь перед событием всемирного масштаба. Сегодня вы должны доказать Нодару Головастику, что вы не являетесь трусами и слабаками! Перед вами раскинулись берега Супсы, изобилующие майской черешней и июньской грушей. Правда, груша еще не поспела, но есть ее можно, я пробовал вчера... Так вот, вы голодны, раздеты и разуты. Победите в этом бою, и я обещаю вам хлеба и одежду! А если мы проиграем бой, нас ждут позор, плен и барахтанье в ледяной Супсе. Понятно вам?

— Понятно! — простонало войско.

— Тогда вооружайтесь комьями и лезьте в окоп!

Красные проделали тот же маневр.

Леван Гуриелидзе дал сигнал, и операция началась. Перед нами была открытая позиция: кругом ни одного кустика, лишь несколько ветвистых ореховых деревьев.

Мы сложили деревянные винтовки на бруствере окопа, приготовили комья и затаили дыхание. Из окопа противника первым вылез Нодар Каландадзе. Взмахом руки он приказал своему войску следовать за ним и пополз в нашу сторону. Голова его перекатывалась с места на место, словно спелая тыква.

— Вот я его сейчас по башке! — произнес мечтательно Отия Каландадзе, выбирая ком покрупнее.

— Без моего приказа не стрелять! — распорядился я.

— Если они встанут, потом их не остановишь! Лучше перебить их в окопе! — посоветовал Соломон Жгенти.

— Далековато... Подпустим их ближе! — сказал Ромéо Чунквáдзе.

Противник приближался. Я понимал, что, ползя, ребята не могли нести с собой более одного-двух комьев, поэтому надеялся отбить первую их атаку. Я предупредил своих:

— Не торопитесь! У них не хватит боеприпасов! Стреляйте только по моему приказу! И не вздумайте преследовать их: в рукопашной они нас побьют как пить дать!

— Ура-а-а! — заорал вдруг Нодар, вскочил и помчался к нам.

За ним последовала вся его ватага. Уроки нашего военрука, видать, не прошли даром,— неприятельские солдаты бежали пригнувшись к земле, зигзагами.

— Ура-а-а! — крикнул еще раз Нодар.

— Захрума-а-а![1] — не вытерпел Отия Каландадзе и запустил в противника здоровенный ком земли. Ком угодил в голову Нодару, да с такой силой, что он выронил ружье и упал словно подкошенный.

— Огонь! — завопил я, и на наступающих обрушился шквальный огонь нашей артиллерии. Ряды неприятеля дрогнули, остановились, потом поспешно откатились назад и укрылись в окопе.

— Нодар Головастик, не смейте больше показываться, иначе перебьем всех! — крикнул я.

— Поглядеть бы сейчас на его лоб! — сказал Отия.

— «Лоб, лоб»...— проворчал Эдуард Джáбуа.— Попадем им в руки — не жди пощады!

— Без паники! — сверкнул я глазами.

— Нодар сейчас зол, как сто чертей... Съест он нас! — предупредил меня Кажýра Гáгуа.

— Кто трусит — вот белый флаг! — Я достал из кармана платок.

— Сосойя Мамаладзе,— донесся крик из окопа неприятеля,— сдавайся, пока не поздно!

— Покажись, если ты такой герой! — крикнул я в ответ и вылез из окопа.

— Вот я! — поднялся Гурам Тавберúдзе.

— А где этот болван?

— Который?

— Ваш маршал!

— Я здесь, а тебе последний раз предлагаю сдаться, пока ты жив! — крикнул Нодар и тоже вылез из окопа.— Считаю до трех! Потом перехожу в рукопашную!

— Попробуй только!

Нодар отдал распоряжение, и тотчас же все его войско поднялось во весь рост.

— Ребята, вставайте и приготовьте гранаты! — приказал я своим.

---

[1] Зáхрума — непереводимое междометие: «Чтоб тебе провалиться! Чтоб ты сдох!»

— Ну, теперь крышка нам! — заскулил Ромео Чануквадзе.
— Один! — начал Нодар.
— Черт тебе господин! — ответил я.
— Два!
— Пустая твоя голова!
— Два с половиной...— сжалился над нами Нодар.
В наших рядах подозрительно зашептались.
— Сосойя, пока есть время, переходи на нашу сторону! — крикнул Тамаз Керкадзе.
— Я не изменник!
— Переходи, говорю, и мы простим тебя!
— Не нуждаюсь в твоем милосердии!
— Тогда сдавайся! Пленных мы кормим сливочным маслом и белым хлебом! — предложил Нодар.
— Подавитесь сами вашим белым хлебом!
— Три! — крикнул Нодар, и неприятельское войско с громовым «ура» двинулось на нас.
— Огонь! — взвизгнул я. Три кома подряд рассыпались на голове Нодара, но сдержать натиск красных было уже невозможно.
— Бей его! — раздался боевой клич, и началось...
Все перемешалось. Пошли в ход подножки и пинки, оплеухи и кулаки, щипание и укусы, комья земли и палки.
— Что ты делаешь, осел!
— Ухо-о-о!..
— Не рви штаны, сволочь, они отцовские!
— Сдаешься?
— Убит я!
— Подними руки!
— Опусти палку — подниму руки!
— Бросай оружие!
— Какое еще оружие?
— Отпусти рукав, собака!
— Ты что, за настоящего немца меня принимаешь?!
— Чего ты плюешься?
— А ты не тяни меня за нос!
— Учитель! Он и впрямь меня убивает!
Потом первый пыл битвы остыл, слышалось лишь тяжелое дыхание уставших бойцов. Меня тащили за ноги, а деморализованное вконец мое войско с поднятыми вверх руками шагало рядом.
Меня потащили к учителю.
— Товарищ начальник штаба! — вытянулся Нодар.— Ваше задание выполнено, неприятельская армия разбита, левый берег Волги захвачен нами, наши войска триумфальным маршем сле-

дуют на запад, жертв с нашей стороны почти нет! Кроме того, захвачен в плен фашистский генерал Сосойя Мамаладзе. Вот он!

— Сосойя, горе ты мое луковое, опять ты угодил в плен? — спросила Хатия.

Победители и побежденные разразились дружным хохотом. Я встал, отряхнулся и... расхохотался.

— Теперь отдохните полчаса, а затем — марш на плантацию! — объявил военрук.

С веселым гиканьем бросились мы к реке и с удовольствием бултыхнулись в холодную воду. Потом мы лежали в тени и молча наслаждались покоем, тишиной и прозрачным, без единого облачка, голубым небом. Леван Гуриелидзе лежал здесь же с нами и с нескрываемым удовольствием курил «Темпы». Приятный аромат папироски щекотал нам ноздри. Табак, разумеется, был у каждого из нас, но городские папиросы, да еще «Темпы», да еще в военное время, имели для нас особую привлекательность. Мы горели желанием выпросить у учителя одну-единственную папироску, чтобы выкурить ее всем классом, по одной затяжке на брата, и затем хвастаться на все село: вот, мол, мы курили «Темпы». Наконец Нодар не выдержал, подмигнул мне и толкнул — пойди, дескать, попроси. Я выразительно покрутил указательным пальцем у своего виска. Нодар с непередаваемой гримасой повторил просьбу. И я решился.

— Леван Петрович...

— Чего тебе, Мамаладзе?

— Леван Петрович, это правда, что последняя просьба приговоренного к расстрелу человека удовлетворяется?

— Правда! — ответил он с такой уверенностью, словно сам раз десять побывал в роли осужденного на смерть.

— Я ведь пленный фашистский генерал?

— Точно!

— Значит, вы расстреляете меня?

— Если дашь правдивые показания, может, и помилуем...

— Никогда! — заявил я твердо.

— Ну, значит, будешь расстрелян! — нахмурился военрук.

— В таком случае выполните мою последнюю просьбу!

— Что вы скажете? — обратился начальник штаба к своему штабу.

— Считаю, что было бы подло с нашей стороны отказать ему! — ответил со всей серьезностью Нодар.

— Так и быть! Говори, Мамаладзе, в чем заключается твоя последняя просьба? — смягчился начальник штаба.

— Дайте одну папироску на обе армии... Мы выкурим ее в окопе, вы даже не увидите нас...

Гуриелидзе остолбенел от неожиданности. Придя в себя, он заговорил, задыхаясь от возмущения и глотая слова:

— Что?! Что ты сказал?! Да как ты... Кому ты... Как ты посмел?! Чтобы я, Леван Гуриелидзе... педагог... ветеран войны... чтобы я своей собственной рукой... дал папироску... своим ученикам?! Отравил бы ваши легкие, сердце, кровь?! А?! Скажите, что это было шутка!.. Иначе я сойду с ума!..

Я перепугался не на шутку. Ребята затаили дыхание.

— Конечно... Мы пошутили, уважаемый Леван Петрович!

— Извините нас! — пробормотал я и поспешно пересел подальше от учителя.

Долго еще бушевал наш военрук, наконец он стал успокаиваться, приговаривая время от времени:

— А? Папирос им захотелось!.. Я вам покажу папиросы!..

И вдруг произошло нечто совершенно непредвиденное и непонятное. Хатия, не проронившая во время вышеописанной бурной сцены ни одного слова, подошла к учителю и сказала:

— Уважаемый Леван Петрович! Никогда в жизни я не была ябедой, но теперь не могу скрыть от вас: пока вы руководили боем на берегу Супсы, мальчики достали из вашего кителя папиросы и одну из них начинили порохом,— все равно, мол, нам он не даст закурить... Они думали, что раз я не вижу, то и не услышу ничего...

— Да ты с ума сошла! Что ты брешешь? Врет она, Леван Петрович! — заорал я вне себя от искреннего возмущения.

— Испугался? — спросила иронически Хатия, моргая глазами.

— Ах, вот оно что...— проговорил учитель и оглядел нас испепеляющим взглядом.

— Врет она все, Леван Петрович! Признайся, дура, врешь ведь? — вмешался Нодар.

— Сам ты дурак, и сам ты врешь! — сказала спокойно Хатия.

Изумленный класс разинув рты смотрел на заупрямившуюся Хатию.

— Так... Не двигаться с места! — приказал шепотом побледневший учитель и встал. Он подошел к висевшему на дереве кителю, достал из кармана коробку папирос, внимательно осмотрел каждую папироску и, не заметив ничего особенного, повернулся к Хатии:

— Порохом, говоришь, начинили?

— Порохом, Леван Петрович!

— Прекрасно... Теперь слушай мою команду! — Учитель подошел ко мне.— Сосо Мамаладзе! Закуривай! — и протянул мне раскрытую коробку.

— Что вы, Леван Петрович! Не хочу!

— Не хочешь? Бери сейчас же!

— Хотите взорвать меня, Леван Петрович?

— Говорю тебе, закуривай!

«Черт с ним,— подумал я,— закурю с закрытыми глазами, в худшем случае опалю себе нос!» Протянул руку, достал из коробки папироску, закурил и жадно затянулся.

А учитель продолжал обходить ребят:

— Ну-ка, закуривай, Яго Антидзе!.. Бери папироску, Отар Тавадзе!.. Не стесняйся, Кажура Гагуа!.. Посмотри мне в глаза, Отия Каландадзе! Возьми папироску!

— Я не курю, Леван Петрович!

— Что-о-о?

— Не курю я!

— Закуривай, если тебе дорога жизнь!

Отия закурил и закашлялся.

— Убиваете меня, Леван Петрович? — прохрипел он.

...В коробке осталась одна-единственная папироска. Учитель отошел в сторону и стал наблюдать, кто же станет жертвой нашего неслыханного вероломства. А мы курили — осторожно, небольшими затяжками и тем не менее с огромным наслаждением.

— Быстрей! Что вы тянете? — торопил нас учитель.

— Между прочим, никуда я не спешу...— заявил Отия.

— Мда-а-а... Отличный табак! — добавил Нодар, затянулся последний раз и бросил окурок.

— Прекрасные папиросы! — подтвердил Яго Антидзе.

Вслед за ними бросили докуренные папиросы Отар Тавадзе, Ромео Чануквадзе и другие.

Остались я и Отия Каландадзе. Вскоре Отия тоже избавился от адской машины, и теперь весь класс с затаенным дыханием смотрел на меня. Учитель сгорал от нетерпения. Я взглянул на свою папироску — ее оставалось всего на одну затяжку. Я зажмурился, медленно затянулся, набрал в рот ароматный дым, проглотил его и... открыл глаза. Папироска догорела до мундштука. Взрыва не произошло. Я вздохнул полной грудью и щелчком далеко отбросил окурок.

Класс ахнул. Теперь начальник объединенного штаба и его войско стояли друг против друга и не знали как поступить дальше. Наконец учитель приблизился ко мне и произнес голосом, от которого дрогнули сердца даже самых отчаянных наших головорезов:

*К стр. 435*

— В коробке лежит одна папироска, и ее выкуришь ты, Сосо Мамаладзе!

— Не могу больше, Леван Петрович! Благодарю вас!

— Мамаладзе...

— Эту папироску можете выкурить вы, Леван Петрович, она не взорвется! — сказала вдруг громко Хатия.

Все обернулись к ней.

— Как?..— прошептал учитель.

— Не взорвется,— повторила Хатия,— не было никакого пороха...

И тогда взорвались мы. В припадке смеха мы катались по земле, кувыркались, вопили, дрыгали ногами и становились на головы. Учитель долго сдерживал себя и наконец захохотал так, как, наверно, не смеялся никогда в жизни...

...Когда все успокоились, он подошел к Хатии и сказал:

— Ты думаешь, мне жалко для них папирос?

— Нет, Леван Петрович, этого я не думаю,— ответила Хатия.— Просто мне хотелось доставить мальчикам это удовольствие... Простите меня, Леван Петрович...

Учитель погладил Хатию по щеке, обнял ее за плечи и медленно повел к дороге.

— Мамаладзе! — крикнул он, не оборачиваясь.— Собери класс и следуйте за нами!

— Класс, стройся! — гаркнул я.— Равняйсь! Смир-р-р-но! К колхозной плантации ша-а-агом... марш! Раз-два-три!.. Раз-два-три!..

Я побежал вперед и встал во главе отряда.

— Молодцы, орлы!.. Молодцы!.. Строевым шагом!.. Запевай!

И затопали опять по долине Супсы наши орлы — кто в отцовских, кто в дядиных брюках и блузах, кто в лаптях, кто в калошах, а кто и босиком... И огласились опять берега реки нашей веселой, задорной песней:

Я в тебе души не чаю,
Повелительница чая.
Если замуж пожелаешь,
Сам тебя я обвенчаю...

...В ту майскую ночь Советская Армия перешла в генеральное наступление по всему фронту.

# ТАКОВА ЖИЗНЬ

Наступили каникулы. Июнь — самая пора купания, футбола, лело[1], борьбы, лапты. Но июнь сорок третьего мало похож на довоенные каникулы... Какой там футбол!.. Ребят словно подменили.

— Бондóйя, сыграем в лапту?

— С ума сошел! А кукурузу полоть?

— Пошли, Нодар, погоняем в мяч?

— Некогда, Сосойя, иду за дровами...

— Отия, зови своих, поборемся!

— Не до борьбы мне, еле ноги волочу...

Мы отлично понимали, что сейчас нам не до игр и забав, но привычка брала свое. Кроме того, очень хотелось хоть на один день забыть про наши нужды и горести, вернуться к счастливым дням беззаботного детства. Бывало, мы собирались на лужайке, разбивались на партии, уже подбрасывался в воздух мяч, но тут то один, то другой из ребят вспоминал про неотложное дело и, помявшись, уходил. За ним уходили второй, третий, и постепенно лужайка пустела... Иными глазами смотрели теперь мы на жизнь своего села, иными глазами смотрело на нас село.

Однажды утром зашла к нам соседка Мака и попросила тетю:

— Кето, дорогая моя, сегодня у меня нади[2]. Одолжи, пожалуйста, твоего Сосойю!

— Иди, Сосо! — сказала тетя.

И я, как взрослый, работал у Маки с утра до позднего вечера, за ужином ел и пил, как взрослый, и напился, как взрослый... И тетя перед сном помыла мне ноги теплой водой точно так, как когда-то бабушка мыла ноги возвращавшемуся с поля дедушке.

...Теплый июньский вечер сорок третьего... Тетя на кухне собралась испечь мчади. Она взяла кадку с мукой, встряхнула, опрокинула ее над корытом. Высыпалось несколько горстей муки. Тетя налила в корытó теплой воды и стала одной рукой месить тесто. И вдруг я увидел, как в тесто одна за другой капнули слезы...

— Почему ты плачешь, тетя? — спросил я, хотя прекрасно догадывался о причине ее слез.

— Это все, Сосойя, больше нет...— показала она комок теста.

---

[1] Л е́ л о — грузинский национальный вид игры в мяч.

[2] Н а́ д и — народная традиция: коллективная помощь, оказываемая сельчанами одному из соседей в той или иной хозяйственной работе.

Я промолчал. Тетя вытерла руки и тихо сказала:

— Как нам быть, Сосойя?

— Тетя Кето! — раздалось вдруг со двора.

— Заходи, Хатия! — крикнул я.

Вошла Хатия.

— Здравствуйте!

— Здравствуй, детка! — ответила тетя.— Сосойя, подай Хатии стул!

Я принес треногий стульчик, усадил Хатию, а сам поднялся в оду, прошел в заднюю комнату и остановился у нашего старого семейного сундука. Долго стоял я и раздумывал, потом решительно ухватил сундук за ручку и поволок его вниз по лестнице, затащил на кухню и поставил перед очагом.

— Что это, Сосойя? — удивилась тетя.

— Здесь одежда папы и мамы.

— Ну и что?

— А то, что я продам ее!

— Ты с ума сошел?! — испугалась тетя.

— Сошел. Отвезу в Набегла́ви и обменяю на кукурузу!

— Слышишь, Хатия, что он говорит?

— Слышу, тетя Кето...

— А что же нам делать? Помирать с голоду, что ли! — сказал я.

— Сосойя! Возьми сию же минуту сундук и поставь на место! — приказала тетя.

Я откинул крышку сундука... Сердце у меня дрогнуло и больно сжалось... Я извлек из сундука кожаный полушубок отца. Каждое лето мы проветривали хранившуюся в сундуке одежду, и никогда ничего, кроме чувства любви и уважения к этому полушубку, я не испытывал. Теперь я вдруг испугался, словно сдирал его с покойника.

— Возьму это, и это, и это! — крикнул я, заглушая подступившие рыдания.

— Не делай этого, Сосо! — взмолилась тетя.

— Возьму, возьму! Плачь сколько хочешь! И сапоги возьму, и брюки, и халат! — кричал я, выбрасывая вещи одну за другой. Вдруг я осекся и замолчал. На самом дне сундука лежало сложенное вдвое розовое платье. Я достал платье, развернул его, потом снова сложил, опустил на дно, положил сверху халат и брюки отца и захлопнул крышку.

— Хорошо, тетя, не плачь... Возьму только сапоги и полушубок... Одолжу у Мана́сэ Тавартклила́дзе осла и утром отправлюсь в Набеглави.

Тетя молчала.

— Я пойду с тобой! — сказала Хатия.

* * *

Утром, чуть свет, я и Хатия стояли во дворе Манасэ и поглаживали по спине тощего, костлявого осла. Манасэ вертелся тут же, седлал осла и наставлял нас:

— У осла, дорогие мои, длинные уши, но человека он слушает плохо... Осел любит ласку, вежливое к себе отношение...

— Станет еще Сосойя объясняться в любви твоему ослу! — вставила Хатия.

— Не станет, так осел умеет и лягаться! Осел это тебе не лошадь — свистни, она и побежит за тобой... Нет, брат, осел знает себе цену!

— Да ладно, дядя Манасэ, осел есть осел!

— Нет, дочка, не так! Наполеон, скажу я тебе, покорил Египет благодаря ослам! А бои на Кавказе? Не будь ослов, кто бы тащил пушки и боеприпасы через скалы? Автомашины? Или лошади? Так что...

— А если предложить тебе обменять осла на хорошую лошадь... Согласишься? — спросил я.

— Что я, осел, что ли? Ишь ты! Осла на лошадь! Да я, если хочешь знать, этим ослом и живу!.. Все, готово! — Манасэ отступил на шаг, критическим взглядом оглядел оседланного осла, потом добавил: — Вдвоем на него не садитесь, он этого не любит, обязательно сбросит вас! Садитесь по очереди... Если он заупрямится, не бейте и не понукайте его! Он этого не любит!

— Не волнуйся, дядя Манасэ, все будет хорошо! — успокоила его Хатия.

— В тебе-то я уверен, умница моя, но вот твой отец, видно, спятил! Доверить ребенка Сосойе — сумасшедшему!

— Ничего, дядя Манасэ, ничего с нами не станет!

— Ну ладно, счастливого вам пути!.. Значит, договорились, Сосойя: плата за осла — полпуда кукурузы. Так?

— Так, дядя Манасэ, так!

— Ну, с богом!

Мы завернули к Хатии. Дядя Виссарион битый час слезно умолял меня оберегать Хатию, потом снял со стены двустволь-ную «централку»:

— Прихвати-ка ружье, Сосойя, авось найдется дурак, даст за него пуда полтора кукурузы...

Наконец мы тронулись. Дядя Виссарион проводил нас до околицы и стоял там, пока мы не скрылись с глаз.

* * *

В те времена осел в Гурии считался такой же диковинкой, как и иностранные туристы... Мы шагаем по шоссе, ведущему в Набеглави, и вся детвора встретившегося по пути села с гиканьем несется за нами. Мне стыдно, я огрызаюсь на детей. Осел — ему-то начхать на всех — топает себе, смешно шевеля ушами. Хатия восседает на осле, как царица Тамара на белом скакуне, и блаженно улыбается.

— Что им нужно, Сосойя? Они что, осла не видели? — спрашивает Хатия.

— Отстань, ради бога, а то пошлю тебя обратно домой!

— Вернусь, если хочешь...

— Сиди и не болтай много!

— Сосойя, может, остановиться у кого-нибудь?

— У кого ты здесь остановишься? Село беднее нашего!

Мы наконец миновали село и вздохнули свободно.

К вечеру вступили в Набеглави. Я остановил осла у первых же ворот и крикнул:

— Эй, хозяин!

Из дома вышли среднего роста рябой дядька и носатый мальчик моих лет.

— Пожалуйте! — пригласил рябой, распахивая ворота.

Я завел осла во двор, ссадил Хатию и поздоровался с хозяевами.

— Вы кто будете? — спросил рябой.

— Да вот, меняем сапоги и полушубок на кукурузу...

— Покажи!

Я показал. Рябой стал внимательно рассматривать вещи.

— Осел твой? — спросил носатый мальчик.

— Мой.

— А девочка кто?

— Никто.

— Ее тоже меняешь на кукурузу? — осклабился носатый.

— Заткнись, а то получишь по зубам!

— Кто это, Сосойя? — спросила Хатия.

— Никто. Нос!

— Она что, слепая? — удивился мальчик.

— Слепая, но не глухая, дурак!

— Ты, парень, пришел сюда ругаться или торговать? — спросил меня рябой.

— Пусть он не болтает глупостей, и я не буду ругаться!

— Замолчи ты! — прикрикнул рябой на сына и вновь обратился ко мне: — С чего ты решил в такую жару продавать полушубок?

— Не хочешь — не бери!
— Сколько ты просишь за него?
— Денег мне не надо, меняю на два пуда кукурузы.
— Обалдел?!
— Да.
— Даю полпуда.
— Полпуда — это один карман полушубка.
— Ну вот, наполню все карманы, и конец делу!
— Сосойя, как он одет, этот дядя?
— Как? Да... Рубашка на нем рваная...
— Ну и пусть ходит в рубашке! Дай сюда полушубок!
Я передал полушубок Хатии.
— А за сапоги? — спросил рябой.
— Наполним ему сапоги кукурузой, и хватит! — выступил из-за спины отца носатый.
— Говори, сколько просишь за сапоги? — повторил рябой.
— Ничего!
— Даром, что ли, отдаешь?
— Даром растет у тебя вот этот балбес, присмотри-ка лучше за ним! — я вырвал сапоги из рук рябого.
— Слушай, ты! Ты чего это здесь раскричался? Думаешь, я боюсь твоего ружья? — вспылил рябой.
— Идем, Сосойя! — сказала Хатия.
Я усадил ее на осла, и мы направились к воротам.
— Одну минуточку, Сосойя!.. Они еще во дворе?
— Да. А что?..
— Погоди... Дядя,— крикнула Хатия,— а осла ты не купишь?
— Зачем мне осел? — удивился рябой.
— Будешь иметь в доме двух ослов! — расхохоталась Хатия.
Рябой разинул рот. Носатый начал было искать на земле камень, но я снял с плеча ружье, и он тотчас же укрылся за спиной отца.
Мы продолжали путь. Когда добрались до конца села, осел замедлил шаг.
— Где мы, Сосойя? — спросила Хатия.
— Выходим из села.
— А какое сейчас время?
— Темно уже, Хатия.
— Ну так остановимся, Сосойя... Устала я.
— Ладно.
Мы остановились у крайнего дома. На мой крик вышел старик с лампой в руке.
— Кто там?
— Я, Сосойя Мамаладзе!

— Какой еще Сосойя?

— Ну я не знаю, какой... Одним словом, Сосойя!

Старик проворно спустился по лестнице, пересек двор, подошел к нам, осветил лампой и удивленно осмотрел нас.

— В чем дело, детки?

— Хотим переночевать у вас, дядя...

— Так пожалуйте, пожалуйте! — пригласил старик и широко распахнул ворота.

Мы вошли во двор. Я помог Хатии слезть с осла.

— А как с ослом, дядя?

— Распряги его, и пусть себе пасется во дворе. Никуда он не денется!

Я снял наш хурджин[1], распряг осла, взял Хатию за руку, и мы пошли за стариком.

— Кака́но! Какано! — позвал он.

На балкон вышла женщина в платке.

— Принимай гостей, Какано!

— Пожалуйте, батоно! — засуетилась женщина.— Сюда пожалуйте!

Мы поднялись на балкон, вошли в комнату. Я усадил Хатию на тахту и сел рядом.

— Мир дому сему! — спохватился я.

— Дай бог тебе мира и счастья! — ответила хозяйка.

Наступило неловкое молчание. Хозяева разглядывали нас, я и Хатия молчали и не догадывались, что старикам не терпелось узнать, кто мы, откуда, зачем пришли сюда.

Я осмотрелся. Вдоль противоположных стен комнаты стояли две тахты, на одной из которых сидели я и Хатия, посередине — стол, вокруг него — четыре стула; у камина — несколько треногих стульчиков. На стене висел фотопортрет солдата в застегнутой на все пуговицы гимнастерке. Собственно, не один, а два портрета в одной рамке. Солдат с портрета глядел на меня сердито. Но удивило меня не это — каждый волен хмуриться или улыбаться перед объективом,— а другое: почему хозяину понадобилось помещать в одной рамке два портрета?

— Вы откуда, детки? — нарушила наконец тишину хозяйка.

— Мы, тетя, взяли кое-что из одежды... обменять на кукурузу. Ну вот... Если можно, разрешите переночевать у вас,— ответила Хатия.

— Деточка моя дорогая!.. Да я вас вообще не отпущу отсюда, если вам понравится у нас!

— А какая у вас одежда? — спросил деловито хозяин.

Я поставил перед ним хурджин.

---

[1] Хурджи́н — переметная сума.

— Бабило Вашакмадзе! Нашел время заниматься одеждой! Дети, наверно, умирают с голоду! — напустилась хозяйка на мужа.

— Ну и ступай на кухню! Я, что ли, приготовлю ужин?

Бабило стал разглядывать полушубок, потом надел его, посмотрел в висевшее на стене зеркало, покачал головой, скинул полушубок и бережно положил на тахту. Потом взял сапоги, повертел в руках.

— Можно примерить?

Я кивнул головой. Бабило скинул чувяки, подтянул шерстяные носки, надел сапоги, прошелся по комнате, выставил вперед правую, затем левую ногу и снова сел.

— Отличные сапоги!.. Сколько, сынок, хочешь за них?

— Пуд кукурузы, дядя Бабило.

— Пуд кукурузы,— повторила Хатия.

— Гм, почти даром... Да вот беда: где ее взять-то, кукурузу? — проговорил Бабило и стал скидывать сапоги.

Какано поставила у камина низенький столик, разложила молодой сыр, мчади, маринованный лук-порей и кувшинчик с вином.

— Идите, детки, поужинайте чем бог послал! — пригласила она нас.

Я не стал отнекиваться, взял Хатию за руку, подвел к столику, сел сам. Бабило не сводил с Хатии удивленных глаз; Какано, подперев рукой щеку, сокрушенно качала головой.

Бабило разлил в стаканы вино.

— Ну, с богом! Выпьем! — сказал он и выпил.

Я положил Хатии мчади и сыр и чокнулся с ней.

— Будьте всегда здоровы! — сказала Хатия и выпила тоже.

— Что ж, давайте знакомиться. Кто вы, дети? — спросил Бабило.

— Я — Сосо Мамаладзе, это — Хатия.

— Кем вы приходитесь друг другу? — спросил он снова.

— Никем,— ответил я.

— Как никем? Мы соседи, я и Сосойя учимся вместе, в одном классе,— поправила меня Хатия.

— Ты тоже учишься, детка?

— Да. Меня Сосойя водит в школу.

— А глаза... Давно они у тебя болят?

— Не болят вовсе. Просто я не вижу...

— Деточка, деточка, бедная! — запричитала Какано.— Как же допускает бог, чтобы такой ангел не видел солнца да луны! — Она привлекла к себе Хатию и поцеловала ее в голову.

— Она видит солнце. Врач сказал, что раз она видит солнце, то ее можно вылечить,— сказал я.

— Правда, дочка?

— Да, дядя Бабило... Когда война кончится, папа отвезет меня в Батуми, там мне сделают операцию.

— За твое здоровье, дочка!.. Раз врач обещал, конечно, вылечит!.. Но как это мать отпустила тебя в такую даль? Не боится она?

— У меня нет матери, дядя Бабило. А с Сосойей папа меня отпускает всюду.

— Видно, ты очень любишь своего Сосойю!

— Его все любят!

— Она ведь не пешком — на осле! — сказал я.

— Ну а если достанете кукурузы, как же тогда? Осел-то ваш не выдюжит!

— А я пойду пешком, потихоньку, дядя Бабило, пешком мне даже приятнее,— сказала Хатия.

— Дай поесть детям, человек! Что ты пристал к ним! — упрекнула мужа Какано.

— Ешьте, ешьте, дорогие! Успеем поговорить потом! — Бабило пододвинул к нам тарелки и налил вино.

После ужина Бабило продолжал:

— Сапоги, пожалуй, я возьму... Но уступи немного, Сосо!

— Сколько уступить, дядя Бабило?

— Ты только не подумай, что я рвач какой-нибудь!.. Цену этим сапогам я знаю лучше тебя... Но... сам понимаешь, трудно сейчас с кукурузой... Если б не так, стал бы ты продавать такой золотой товар? Прав я, Хатия?

— Правы, дядя Бабило! — согласилась Хатия.

— Так вот, возьми за сапоги полпуда кукурузы...

— Мало полпуда, дядя Бабило... Полпуда я должен отдать Манасэ... За осла...— сказал я, сгорая от стыда.

— Эх, жизнь...— вздохнул Бабило,— добавлю еще четверть...

— Если возьмете полушубок...

— А за сколько отдашь? — спросил Бабило и посмотрел на полушубок... такими глазами, что я понял: он пришелся ему по душе.

— За два пуда...

— О! — воскликнул Бабило.

— Это полушубок его отца! — сказала Хатия.

— Как же он расстался с ним? — удивился Бабило.

— Да так уж получилось...

— Что, он не носил его?

— Надел только раз...

— Ладно, дам тебе пуд... Сами перебьемся как-нибудь до осени...— Бабило взял в руки полушубок.

Я колебался.

— Дядя Бабило, тетя не разрешала Сосойе брать вещи... Ведь они отцовские... Пуд кукурузы мало...— сказала Хатия.

Бабило насторожился.

— Отец что, на фронте?

— Нет.

— Он... жив?

— Не знаю.

— А мать?

— Не знаю.

— Погоди, погоди... Объясни мне толком, в чем дело?

— Его родителей арестовали в тридцать седьмом году,— сказала Хатия,— Сосойю воспитывает его тетя, учительница Кето.

Бабило покачал головой, снял полушубок, положил его на тахту.

— В тридцать седьмом, говоришь?

— Да, в тридцать седьмом...

— Ночью взяли?

— Ночью...

— Вместе?

— Нет, сперва папу, потом маму...

— И ничего про них не слышно?

— Ничего...

— Бедный мой мальчик...— вздохнула Какано.— Ты хоть помнишь их?

— Так, смутно... Маму помню лучше...— Я сложил полушубок.— Мы уйдем рано утром, дядя Бабило,— постарался я переменить тему.

— Хорошо, сынок, хорошо... Какано, приготовь для детей три пуда кукурузы!

Какано молча вышла из комнаты, прихватив два моих мешка.

— Да, сынок... Трудное было время...— начал Бабило,— много тогда пропало хороших людей... Из нашего села тоже забрали двоих — Гаврила-мельника и Яки́нте Кунчу́лия, счетоводом он работал в конторе... Так и исчезли оба...

Из соседней комнаты доносился приятный звук засыпаемой в мешок кукурузы.

— Дядя Бабило, а ружье вы не купите? — спросил я.

— Что?

— Ружье, говорю, не купите?

— Ружье? Ружье... А зачем мне ружье? Тут даже птица перевелась... Хотя нет, зимой, бывает, голодный зверь иногда спускается с гор... Пригодится ружье... А сколько ты хочешь за

него? — Бабило взял «централку», раскрыл ее, посмотрел через стволы на свет.— Хороший товар!

Я сжал руку Хатии. Ружье принадлежало ей, и цену должна была назначить она.

— Сколько? — спросил Бабило.

— Нисколько! — сказала Хатия.

Я разинул рот.

— Что, не продается?

— Нет, дядя Бабило, не продаем, а дарю вам ружье, если оно вам нравится,— ответила Хатия.

— Очень даже нравится, детка, но бесплатно я его не возьму... Влетит тебе дома! — сказал Бабило и ласково погладил Хатию по голове.

— Ну а продавать ружье вам я не стану... И ничего мне не влетит! Ружье — мое, и я хочу подарить его вам! Сосойя, скажи, ведь ружье мое? — Хатия заморгала глазами. Я понял, что откажись сейчас Бабило от ружья, Хатия разревется. Я выразительно взглянул на Бабило и сказал:

— Ружье принадлежит Хатии, дядя Бабило, и раз она дарит его вам, вы должны принять этот подарок!

Хатия радостно закивала головой.

— Что ж, спасибо тебе, дочка! Большое спасибо! Дай бог тебе здоровья и счастья! — Бабило поцеловал Хатию в щеку.— Какано! — позвал он жену.— Приготовь детям постель!.. И взгляни-ка, какое мне ружье подарила Хатия! Хоть в разбойники иди!

Вошла Какано. Бабило протянул ей ружье.

— Убери, ради бога! — испугалась Какано. Она стала стелить постели, а я еще раз посмотрел на двойной портрет в рамке.

— Дядя Бабило, как зовут вашего сына? Это, наверно, ваш сын?

Бабило поднял голову, взглянул с затаенной грустью на портрет и, улыбнувшись, спросил:

— Который тебя интересует, сынок?

— Дядя Бабило... Да вы что... Как это «который»?..

Бабило вынул из кармана трубку, долго набивал ее табаком, закурил, еще раз сквозь голубоватый дымок взглянул на портрет, почесал у себя в затылке и сказал мне:

— Двадцать лет я сам их спрашивал об этом... Двадцать лет Какано, чтобы не ошибиться, за одну провинность колотила их обоих...

— Почему у меня не отсохли руки!..— вздохнула Какано.

— Измучили они, прохвосты, учителей! На выпускном экзамене один получил по литературе пятерку, другой — тройку...

Как там в школе ни уточняли, а при заполнении аттестата все же напутали... Мы отличали их только по родимым пятнам. У Насии пятно было на правом бедре, у Бату — на левом. Ну а в школе... не стали бы там снимать с них штаны... Насия был старше на двадцать семь минут... Вместе они пошли в армию... Этот снимок прислали оттуда... В первый месяц... А потом они пропали... И ничего нам о них не известно...

— Горе мне, горе несчастной!.. Как я еще живу и дышу на свете! — Какано кончиком платка вытерла слезу.

— Сосойя, а все же который из них — который? — спросила Хатия.

— Одинаковы они, Хатия!

— Красивые?

— Красивые! Только рассержены как будто.

— Дети мои дорогие! Где вы теперь? Сыты ли, голодны?.. Может, больны, может, ранены?.. А несчастная ваша мать и ест, и пьет, и не сдыхает! Не берет бог мою душу!..— Какано заплакала.

— Ладно уж, старая, хватит! — прикрикнул Бабило на жену, потом обратился к нам: — Вот так три года прошло с тех пор, а она каждый день воет и воет...

— Дети мои ненаглядные!.. Хоть раз бы мне взглянуть на вас и умереть тотчас же!.. Мальчики мои золотые!..— плакала Какано.

— Тетя Какано, парень один из нашего села тоже вот так пропал, три года о нем не было ни слуху ни духу... А вот позавчера... Как раз накануне нашего отъезда...— сказала вдруг Хатия.

— Получили письмо? Счастливая его мать! Что он пишет? — подняла голову Какано.

— Да не письмо, а сам он приехал!

— Ты про кого, Хатия? — изумился я.

— Как про кого? Про Важико́, сына Яки́нте Джа́буа! Забыл?

— И что он? Ты говорила с ним, дочка? — поинтересовался Бабило.

— Плохи, говорит, дела Гитлера... Наши, оказывается, выдумали какое-то новое оружие, у него такое, знаете, женское имя — «катюша». Сжигает, оказывается, все вокруг...

— Да, я тоже слышал об этом... Что он еще сказал? — оживился Бабило.

— Сосойя, расскажи ты, ты же был там? — пихнула меня локтем Хатия.

Я не знал, что сказать. Ничего подобного в нашем селе не происходило, никто с фронта не возвращался, а именно позав-

чера Якинте получил сообщение о гибели сына... Что это сочинила Хатия? Что она выдумала?

— Говори, сынок, говори! — Бабило приготовился слушать.

— Да... Сжигает, оказывается, все вокруг... Теперь, говорит, наши самолеты бомбят Берлин... Скоро, говорит, откроется второй фронт...

— Когда же? Когда? — воскликнул недовольно Бабило.

— Бедные мои мальчики, доживут ли они до этого? — проговорила Какано про себя.

— А почему мы не получаем писем? — спросил Бабило.

— До писем ли им сейчас, дядя Бабило?!

— Говори, Сосойя, что еще рассказал Важико! — пристала ко мне Хатия.

— Забыл я, Хатия...

— Эх, ты!.. Важико говорил, что там с ним было много грузин... Среди них, кажется, два брата...

У Бабило задрожала в руке трубка, Какано опустилась перед Хатией на колени, дернула за подол платья.

— Да, точно, теперь я вспомнила... Два брата, говорит, были с нами, похожие друг на друга, как две половины одного яблока...

— Близнецы, что ли? — прошептала Какано.

— Близнецы!

— А... фамилия? Как их фамилия?

— Фамилию я не спрашивала, дядя Бабило...

— А звали как?

— Сказал он, только я забыла...

— И... Живы они, говоришь? — спросила Какано.

— Ну-у-у... Их, сказал Важико, пули не берут!

— Пойду-ка я с вами, детки, покажите мне этого парня! — попросила Какано, молитвенно сложив руки.

— Сосо, Важико приехал на один день, не так ли? — спросила меня Хатия.

— Ага, на один день!

— Значит, я не застану его? — застонала Какано.

Хатия кивнула головой.

— Что же мне делать? — Какано взглянула на меня.

— Он сказал, что еще приедет.

— А если не приедет?

— Я напишу ему и все узнаю, тетя Какано! — обещал я, отводя взгляд.

— Сделай доброе дело, сынок, бог отблагодарит тебя! — взмолилась Какано.

— Обязательно, тетя Какано!

— Боже великий! Значит, живы мои мальчики?! Близнецы?

Похожи друг на друга, говорит?.. Матерь божья! Много близнецов на свете, дай бог всем им жизни и здоровья... Но сделай так, чтобы эти двое были бы моими мальчиками! Матерь божья! — Какано воздела руки.

За все это время Бабило не проронил ни слова. Я ждал, что вот-вот он встанет, схватит нас за шиворот и вышвырнет за дверь как бессовестных обманщиков. Но он сидел молча, удивительно спокойно, с улыбкой наблюдал за Хатией, и лишь подрагивание правой брови выдавало его сдерживаемое волнение.

— Боже справедливый, за что ты так наказал этого милосердного ребенка?..— проговорил наконец он, встал, обнял Какано за плечи и повел ее к дверям.

— Ложитесь теперь, дети, дай бог вам приятного сна! — И он закрыл за собой дверь.

Спать нам не хотелось.

— Спустимся во двор, Сосойя! — попросила Хатия.

...Я усадил Хатию под орехом, лег сам и положил голову ей на колени. Была теплая, тихая июньская ночь. Над нами простиралось усеянное звездами черное небо. Доносились убаюкивающее верещание сверчков, шум реки, кваканье лягушек, ленивый лай собак. Сейчас у нас точно такая же ночь, так же лают собаки, так же шумит река. Тетя так же лежит под деревом, смотрит на небо и думает о том же, о чем и я. Как было бы хорошо, если б люди могли видеть в небе, как в зеркале, друг друга. Я увидел бы тетю, свое село, весь мир, познакомился бы с несметным количеством людей, своих сверстников. И мир узнал бы меня. Мы увидели бы, кому на свете живется хорошо, а кому плохо, и первые помогли бы вторым... Люди увидели бы друг друга и поняли бы, что не такие уж мы плохие, как нам это иногда кажется, что нет у нас основания ссориться и враждовать меж собой, и не стало бы на земле войн и кровопролитий...

— О чем ты думаешь, Сосойя?

— Сам не пойму, Хатия...

— А все же?

— О небе.

— Что — о небе?

— Думаю, если бы небо было зеркалом...

— А зачем тебе, чтобы небо было зеркалом?

— Эх, это было бы здорово!..

— Сосойя, теплая ночь, правда? — спросила Хатия после минутного молчания.

— Да. Скажи, Хатия, с чего это ты наговорила с три короба вранья? Я был готов провалиться сквозь землю!

— Ничего я не наврала...

— Ну, знаешь!

— Все, что я сказала, было правдой. Ты просто забыл...

— Хатия, или ты рехнулась, или меня принимаешь за круглого дурака!.. Ты думаешь, Бабило поверил в твою сказку?

— А он поверил бы, если б я сказала, что его сыновья погибли?

— Нет!

— Почему?

— Да потому, что это неправда!

— А если бы сказала, что они живы?

— Это ведь тоже неправда?

— Сосойя, двух неправд не бывает. Сыновья Бабилы или живы, или погибли... В их гибель Бабило и Какано не верят, значит, они должны поверить, что они живы.

— Но ты...

— Что — я?

— Я не сказала, что эти ребята — их сыновья... Пусть они думают, что это так. Что в этом плохого?

— Да нет, плохого ничего...

— Тогда в чем же я виновата?

— Ни в чем, Хатия...

Пусть Бабило и Какано думают, что живы их дорогие мальчики, что в этом может быть плохого? Ничего. Это неправда? А если правда? Если это правда, тогда — хорошо? Хорошо! Вот в том-то и дело! Всякая правда хороша? Этого не может быть! Ну а всякая ложь? Плоха ли всякая ложь? Нет, конечно! Но ведь хорошая ложь лучше плохой правды? Лучше! В том-то и дело!..

— А сейчас о чем ты думаешь, Сосойя?

— А сейчас я думаю о том, как завтра тетя испечет большой-пребольшой мчади и как я наброшусь на него!

— Сосойя, какого цвета небо?

— Синее, Хатия.

— А какого цвета синий цвет?

— Синий?.. Ну... Синий — это цвет неба.

— А это красивый цвет?

— Очень красивый, Хатия!

— А что это значит — красивый? — не отставала Хатия.

— Красивый? — Я привстал и посмотрел в лицо Хатии.— Красивы большие синие глаза... Черные брови... Черные ресницы...— Я провел пальцами по глазам Хатии.— Красивы каштановые волосы... Маленький нос... Пухлые губы... Белые зубы... Красивы прозрачные уши, высокая шея... Вот ты, например, Хатия, красивая...

— Значит, я — синяя, цвета неба?

Я вздохнул.

— А ты какой, Сосойя?

— Я? Я — обезьяна!

— А какая она, обезьяна?

— Точно такая, как я!

Хатия погладила мое лицо.

— Какого цвета у тебя волосы?

— Черные.

— Глаза у тебя большие. И ресницы длинные. А глаза у тебя какого цвета?

— Карие.

— Нос — прямой, небольшой... И губы пухлые. А зубы?

— Зубы у всех белые, Хатия.

— Ты красивый, Сосойя?

— Хорошо, что ты не видишь меня!

— Я вижу тебя, Сосойя! Тебя и солнце. И больше ничего.

Я лег опять. Хатия склонилась ко мне, приложила ухо к груди. Наверно, она прислушивалась к биению моего сердца. А я наслаждался теплом ее рук и щеки и, как тогда, на берегу Супсы, чувствовал, как это тепло вливается в меня. Я слушал шум реки, верещание сверчков, лай собак и не видел ничего, кроме Хатии и усеянного звездами неба. Я знал, что Хатия видит только солнце и меня, и был уверен, что и небо, наверно, видит нас — Хатию и меня.

* * *

Я проснулся с первыми лучами солнца. Быстро вскочил, оделся и подошел к постели Хатии. Подложив под щеку обе ладони, она мирно спала. Я стал легонько тормошить ее.

— Хатия!

— А? Это ты, Сосо? — Хатия присела на кровати.

— Да. Вставай, пора уходить.

— А какое сейчас время?

— Утро уже. Одевайся, я пойду оседлаю осла.

— Хорошо.

Я спустился во двор. Наш осел, помахивая хвостом, щипал траву. Я оседлал осла и поднялся в комнату. Хатия была уже одета.

— Пошли! — сказал я шепотом.

— Почему ты шепчешь, Сосойя?

— Они еще спят.

— Разве еще так рано?

— Да. Идем!

— Так и уйдем, не попрощавшись?

— Не надо их беспокоить. Пошли.— Я вывел Хатию на балкон.

— Неудобно, Сосойя!

— А будить чуть свет стариков удобно? Идем!

Мы спустились с балкона. Потом я вернулся в комнату, стащил во двор мешки с кукурузой, кое-как навьючил ими осла.

— Ну, тронулись! — Я взял Хатию за руку.

— Ах вы разбойники! Хотите улизнуть?

На балконе стоял заспанный, взлохмаченный дядя Бабило.

— Вы что же, хотите опозорить меня? Куда это вы не евши?! — погрозил он пальцем.

— Спасибо вам, дядя Бабило, но лучше нам отправиться пораньше, дорога все же длинная, вы уж не обижайтесь, пожалуйста! — попросил я.

— Да, пожалуй, твоя правда...— согласился Бабило.

— Ну, мы пошли, дядя Бабило! До свидания и большое вам обоим спасибо!

— Погоди, сынок, погоди!

Бабило вошел в комнату и почти тотчас же вернулся обратно. У меня потемнело в глазах: в руках он держал полушубок и сапоги. Бабило не спеша спустился по лестнице и подошел к нам. Я не мог вымолвить слова, язык одеревенел во рту. С трудом я сдерживал себя, чтобы не разреветься.

— Вот, сынок, твои сапоги! — Бабило протянул мне сапоги.

Я взял их и проглотил горькую слюну.

— А вот и полушубок!

— Передумали, дядя Бабило? — пролепетал я.

— Да, сынок, передумал...— Бабило положил руку мне на голову.— Не нужны мне ни полушубок, ни сапоги... А вот ружье я оставлю. Подарок Хатии оставлю обязательно!

— Что, дорого, дядя Бабило? — Я почувствовал, как у меня скривилась губа.

— Нет, сынок, не дорого... Просто я передумал.

Что мне оставалось делать? Я повернулся и стал снимать мешки.

— Что ты делаешь? — испугался Бабило.

— Как что? Вы ведь передумали?

— А зачем ты снимаешь мешки?

— Так надо же вернуть вам кукурузу...

— Убей меня бог! Да как ты мог подумать такое! При чем кукуруза? Я возвращаю тебе полушубок и сапоги, а кукурузу

ты бери себе, на черта мне кукуруза? Смотри-ка, что он подумал! — Бабило потрепал меня за волосы.

— Дядя Бабило...

— Что, сынок?

— Дядя Бабило... Я так.. Я... Я не нищий! — выговорил я с трудом и покраснел до корней волос. Бабило быстро убрал руку с моей головы и отпрянул.

— Ты что сказал? Повтори, какие ты слова сейчас произнес? Ах ты, сукин сын! Как ты смел? Кто тебя научил так разговаривать со старшими? Нищий? Я же взял у вас ружье? Значит, я нищий? Принять от старшего пару зернышек кукурузы — это, по-твоему, нищенство? Нет, ты слышала, Хатия, что он тут сболтнул?

Я больше не мог сдержать себя и заревел, словно побитый мальчишка.

— Ну вот еще! — Бабило обнял меня.— Постыдился бы! Перестань сейчас же! Кукуруза! Подумаешь! Нужна она мне, как... Да у меня, если хочешь знать, амбар полон этой самой кукурузой, не знаю, куда ее девать!.. Хоть выбрасывай!.. А сапоги пригодятся тебе, да еще как! Бог даст, возвратятся мои мальчики, сыграем свадьбу, придешь к нам в этих сапогах! Смотрите не подведите меня! Ты и Хатия должны быть первыми на свадьбе!.. То-то!.. Ну а теперь... с богом!..— Бабило нежно отстранил меня.

— Дядя Бабило! — крикнула Хатия и пошла к Бабило.

— Что, дочка? — Бабило шагнул навстречу Хатии.

Она руками нащупала лицо Бабило, поднялась на цыпочки и крепко поцеловала его в щеку.

Я повел Хатию к калитке, осел сам вышел из ворот и не спеша поплелся по дороге.

— Не забывайте меня, детки! Будете в наших краях, обязательно загляните к нам, подбодрите старушку! — крикнул на прощанье Бабило и закрыл ворота.

— До свидания, дядя Бабило-о-о!..

— До свидания, дети!

Пока мы не скрылись за поворотом, Бабило стоял у ворот и смотрел на нас.

...Я и Хатия шли молча. Село пробуждалось. Над крышами домов вились белые дымки. Со всех сторон слышались хлопанье крыльев и пронзительный крик петухов. Мычали коровы. Потягиваясь, лениво лаяли заспанные собаки. По дороге вместе с нами шагало утро...

Выйдя за околицу и поднявшись на пригорок, Хатия остановилась.

— Что? — спросил я.

Хатия не ответила. Она стояла не двигаясь, как изваяние, и смотрела на восток.

Из-за Суре́бских гор поднималось огромное оранжевое солнце.

## ВЕЖЛИВОСТЬ

Тропинка петляет, вьется между дворами, вливается в проселочную дорогу, которая тянется дальше, вниз, к берегам Супсы... Куда ты идешь, дорога? Куда ты ведешь нас? Я видел, как в сорок первом ты, живая, грозная, печальная, увела моих односельчан на войну... Многих ты увела тогда, дорога!.. Но... есть же предел твоему движению вниз? Есть же граница, откуда ты должна вернуться обратно? Так возврати мне моих людей, возврати соседей, друзей, возврати мне всех и все, что ты отняла у меня тогда, в грозном и печальном сорок первом... Я знаю, настанет день, когда ты возьмешь меня, дорога... Но я вернусь! Вернусь сам! Я не хочу, чтобы весть обо мне донесли в мой дом чужие уста!.. Я вернусь и скажу: «Это я, люди! Я вернулся к вам!» Я молю тебя, дорога: сделай так, чтобы каждый вернулся сам, пусть на костылях, вернулся бы и сказал: «Это я, люди! Я, муж Цуцы — Важико, я сын Лукайи — Кукури!..» Ты слышишь меня, дорога? Верни мне всех и все, что ты отняла у меня тогда, в грозном и печальном сорок первом! Пора уже, давно пора: настал сорок четвертый год!

* * *

Вернувшись с войны, Захарий Кигура́дзе успел уже жениться и даже произвести на свет мальчонку, которого в честь союзников назвал Рузвельтом... На селе участились пирушки, песни и танцы до утра, приглашения соседей, нескончаемые рассказы фронтовиков, прерываемые также нескончаемыми вопросами: «А моего парня ты не встречал?..»

Люди, покинувшие село в сорок первом году, возвращались по той же дороге. Возвращались увешенные орденами и медалями. Возвращались раненые, обескровленные, изуродованные, но несломленные, сильные духом, полные веры и надежд.

Они шли в истоптанных сапогах, выцветших гимнастерках по чужим, пыльным дорогам Европы, но возвращались домой по родной проселочной дороге, по которой ушли в тот далекий, жаркий июньский день... И эта дорога была похожа на урез заброшенной в большой водоворот сети, которую сейчас упорно и медленно вытягивала на берег окрепшая жизнь.

* * *

Последний урок в тот день был тетин. Она крупными буквами вывела на доске тему контрольной работы: «Образ людоеда Гитлера в грузинской художественной литературе периода Великой Отечественной войны». Потом повернулась к классу и предупредила:

— Дети, сегодня вечером все придете в школу. Лектор из центра прочтет лекцию «Вопросы морали, этики и вежливости». Понятно?

— Прийти всем или только невежам? — спросил я.

— Всем!

Мы приступили к письму. За какие-то пятнадцать минут я заполнил две страницы тетради всеми ругательными цитатами из стихов и рассказов о Гитлере, какие только мне приходилось слышать или читать. Облаяв и охаяв фашистского главаря, я положил тетрадь перед тетей, взял за руку Хатию и вместе с ней вышел из класса.

Вечером в школьном дворе собралось все село. Со всех сторон доносились смех, шутки, споры. Вдруг толпа расступилась. В сопровождении нашего председателя Кишварди шел городской лектор, высокий, худой мужчина с желтым портфелем под мышкой. Поскольку количество желающих послушать лектора превысило вместимость самой большой классной комнаты, трибуну вынесли на балкон, а слушатели расположились во дворе, на принесенных длинных скамейках. Мы, дети, расселись тут же на травке.

Лектор раскрыл портфель, долго копался в нем, наконец извлек мятую тетрадь, положил ее перед собой и начал:

— Товарищи! История развития человеческого общества насчитывает пять типов общественных формаций. Каковы эти формации?

Мы, разумеется, проявили вежливость и промолчали.

— Первый тип,— продолжал лектор,— первобытный родовой строй. Второй — строй рабовладельческий. Третий — феодальный строй. Четвертый — капиталистический. И наконец, пятый...

— Социалистический! — подсказали лектору.

— Правильно! — обрадовался он.— В эпоху первобытного родового строя, в те незапамятные времена...

— Пропали мы! — шепнула мне Хатия.— Когда он доберется до наших дней?!

— Тише вы! — зашикали на нас.

— ...человек, как вам известно, ходил голый...

— Совершенно голый? — усомнился кто-то.

Лектор смущенно улыбнулся.

— Прикрывался фиговым листом,— ответил задавшему вопрос сосед.

— Представьте себе, совершенно... В чем, так сказать, мать родила! — продолжал лектор.

— Дети Галактиона по сей день ходят в чем мать их родила! — сказал дядя Герасим.

Лектор выдержал небольшую паузу, затем вновь продолжал прерванную речь:

— Глубокие процессы интеллектуального совершенствования человека вкупе с географической средой обусловили появление одежды.

— Что-то не совсем понятно! — заявил Асало Гудавадзе.

— Что тут непонятного, темнота! Человеку стало холодно, и он надел одежды! — объяснил Беглар.

— А что, к примеру, появилось раньше — штаны или халат? — спросил Асало.

— По-моему, рубашка и подштанники!

— Почему, например?

— Потому что подштанники и рубашки надеваются под штанами и халатом! Не мог ведь человек поступить наоборот? Соображать надо!

— Это, конечно, так, но мало разве людей и сейчас ходит без подштанников?

— Нет у них чести, потому и ходят! — отрезал Беглар.

— Это еще вопрос, чего у них нет — чести или подштанников!

— Люди, дайте же человеку говорить! — прикрикнул Кирилл Джабуа на Беглара и Асало.— Неужто вы не понимаете: в военное время и при нехватке мчади такие лекции для нас крайне необходимы, иначе мы совсем отобьемся от рук!

— А вот, к примеру, я с утра до ночи крою матом Гитлера... Как это расценивается наукой: как невежество или как? — не отставал Асало от лектора.

— Ругаться громко вообще неприлично, тем более — в присутствии женщин! Прав я, женщины? — обратился Беглар к присутствующим женщинам.

— Чтоб тебе провалиться! — отмахнулась Машико.

— А можно ругаться про себя? — задал вопрос Макар.

— Да хватит вам, в конце концов! Стыдно!

— Непонятно: что стыдно, что невежливо?..— развел руками Асало.

— Что вы не поняли, друзья? — забеспокоился лектор.— Произошла этическая и моральная революция... В рафинированном аспекте агностицизма...

— Дружок, можешь ли ты ясно сказать, что тебе от нас нужно? — прервал лектора Герасим.

Лектор так и обмер. Он извлек из внутреннего кармана огромный платок и умоляюще взглянул на Кишварди. Председатель поставил перед лектором стакан с водой и обратился к аудитории:

— Так нельзя, товарищи! Что вы к нему прицепились? Он ведь тоже человек!

Лектор отпил воды и, оправившись немного от смущения, начал:

— Товарищи, выражаясь простым языком...

Он детально рассказал нам, как появилось на свете понятие вежливости, как в каменной пещере отец согнал развалившегося на каменном стуле сына, дал ему подзатыльника и сам занял его место, как после этого дети приучились уступать место старшим и стали, таким образом, вежливыми, как в дальнейшем менялись общественные формации, понятия о вежливости... Наконец лектор коснулся элементарных норм этики.

— Знание норм морали и этики необходимо человеку в его каждодневной жизни. Что такое этика? — поставил лектор вопрос.

— Простите, а что такое мораль? — раздался встречный вопрос.

— Существуют люди моральные и аморальные.

— Это как?.. Такими могут быть мужчины и женщины или только мужчины?

— Нет, почему же, встречаются и женщины...

— А скажите, эта мораль, или как там ее... Человек рождается вместе с ней или приобретает ее потом?

— Сейчас я вам отвечу: мораль, как таковая, не является врожденным качеством человека.

— А вежливость?

— Также и вежливость.

— А этика?

— Этика тоже!

— Получается, что несчастный человек рождается лишенным этики, морали, вежливости? — пожалел человека Макар.

— Приблизительно так,— улыбнулся лектор.

— А где же ему учиться этой самой морали и вежливости?

— Учиться у самой жизни... Жизненный опыт — лучший наш учитель!

— А как быть старикам? — спросил Асало.

— Для вас и проводится лекция, темнота! — ответил ему Беглар.

— Я так и не понял — что такое мораль? — проворчал Макар.

— Мораль — это атрибут, входящий скорее в сферу честности, чести...

— А-а, значит, это о человеке бесчестном, о невеже?

— Приблизительно так...

— А если, к примеру, у детей и мать и отец оба невежи или же, наоборот, дети сами звери и головорезы, чего путного ждать от такой семьи?

— Сейчас я вам отвечу: знания того правила, что нож должен лежать справа от тарелки, а вилка — слева, конечно, не сопутствуют ребенку с момента его рождения, однако постепенно, в результате интенсивной воспитательной и педагогической работы, ребенок усваивает эту элементарную истину.

— Извините, можно задать вопрос? — поднял руку Макар.

— Пожалуйста!

— Вот вы говорите насчет ножа и вилки, то есть где они должны лежать — слева, справа и все такое. А я сегодня вообще ел руками. Как же теперь быть со мной?

— А руки ты помыл? — крикнул кто-то.

— Помыл!

— Мылом?

— Еще чего? Не на свадьбу ведь шел!

— Значит, ты невежа. Садись!

Макар сел.

— А чихать громко можно? — поступил очередной вопрос.

— Если вы чихнете в обществе, следует извиниться! — ответил лектор.

— А почему чихнувшему говорят «будь здоров»?

— Ну, ему, кроме того, говорят еще «чтоб ты сдох»! — напомнили задавшему вопрос.

— Скажите, пожалуйста, икать громко — это вежливо или нет? — не унимался Макар.

Лектор, поняв, что над ним просто-напросто издеваются, взглядом попросил помощи у председателя.

— Товарищи! — сверкнул глазами Кишварди.— Где ваша вежливость? Человек читает лекцию о вежливости, дайте же ему говорить!

— Не надо лекции! Лучше мы будем задавать вопросы! — предложил Гераси́м.

Кишварди взглянул на лектора. Тот утвердительно кивнул головой.

— Хорошо, задавайте вопросы! — разрешил председатель.

— У меня вопрос! — опять поднял руку Асало Гудава-

дзе.— Скажем так: вежливо ли заставлять человека слушать рассказ о вещах, которые его не интересуют?

— Нет, конечно! — ответил лектор и осекся. Он понял все. И поняв, крикнул: — Товарищи, да что вы, в самом деле! Не сам же я к вам приехал! Мне поручено!.. А вы... Я...— Он смешался, замолчал и потянулся к графину с водой.

— Да ты не волнуйся, сынок! — сказал ему Герасим.— Учить нас вежливости — это дело десятое... Вчера ветром побило и повалило всю нашу кукурузу. У нас нет купороса, нечем опрыскать виноградники. Вот ты научи нас, как быть? Посоветуй, помоги нам! А чихать громко или не чихать, извиняться при этом или нет, это мы решим сами, без вашей помощи, твоей и твоего начальника...

Лектор стоял как пораженный громом.

— Ты, сынок, приехал из города. Так расскажи нам про дела на фронте. Когда же кончится эта проклятая война? До каких пор мы будем преследовать Гитлера? — спросил теперь Теофанэ Цуладзе.

— Вот-вот! Скажи что-нибудь радостное для сердца!

— О новостях расскажи! — раздались возгласы.

Лектор растерялся окончательно.

— Что же я вам расскажу? Вам все известно лучше меня...

— Ты скажи свое, мы — свое... А читать седовласым старикам лекцию о ножах и вилках... неудобно даже, сынок!

— Так вы же не дали договорить! — постарался оправдаться лектор.

— До пустых ли нам сейчас разговоров, сынок? — улыбнулся Беглар.— Ты скажи нам доброе, утешительное, дельное слово, мы и послушаем тебя с удовольствием!

— Ну, дела на фронте, товарищи, идут хорошо! Не в этом году, так весной сорок пятого война кончится... Судьба Германии решена!

— Кто первыми вступят в Берлин — наши или союзники?

— Наши! Теперь уже нас не остановить!

— Говорят, какую-то бомбу новую Гитлер выдумал...

— Вранье! Такого, как у нас, оружия сейчас нет ни у кого!

— Дай бог тебе здоровья!.. А как с Англией и Америкой? Не отступятся ли они от нас? Можно им верить?

— Сейчас не отступятся. А вообще-то, конечно, главные силы Германии сосредоточены на нашем фронте. Союзникам сдают они города без боя. Но все равно ничего теперь из этого не получится! Не на таких напали!

— Ясно, Германии выгоднее иметь дело с ними...

— А как будет дело с германским правительством?
— Будет суд. Уже готовятся материалы!
— А если они сбегут к американцам? Что ты попишешь?
— Мы потребуем, чтобы передали их нам.
— А они откажутся! Что тогда?
— Как это откажутся? Да вы не беспокойтесь, товарищи! Все будет так, как надо! Все, кто нам причинил столько зла и несчастий, все до одного ответят головой! Никто не уйдет от заслуженной кары! А как же! Мы еще встанем на ноги! Вернется радость в каждый наш дом! Вы не бойтесь, друзья! Столько вы вытерпели, столько совершили героических дел! Потерпите еще немного, еще самую малость, и воздастся вам за все ваши лишения и труды. Потерпите еще чуточку, прошу вас! — попросил лектор так, словно исход войны решали мы — сотни стариков, женщин, детей и инвалидов...

Я обвел взглядом собравшихся и убедился, что это было именно так, что именно от них, от этих суровых, грубых, добрых людей, зависела всецело судьба войны и моей страны.

Лектор замолчал и неловко улыбнулся.

— Лекция окончена! — объявил Кишварди.

Народ стал расходиться. Я взял Хатию под руку и подошел к балкону.

— Да ты, оказывается, отличный парень! — говорил Герасим лектору, похлопывая его по плечу.— Кишварди, сегодня вы — мои гости! Ты, наш уважаемый гость, и ты, Макар, и ты, Асало, и ты...

— Что вы, что вы... Спасибо...— стал отнекиваться лектор.

— Никаких «что вы»! Пойдешь ко мне, только... есть придется руками! — и Герасим по-дружески обнял лектора.

...Со двора дяди Герасима до утра доносились веселый шум, громкие возгласы и застольные песни.

## ДАНКЕ ШЁН

И опять в нашем доме опустел ларь, опять остыл кеци. А до осени — рукой подать. Еще неделя, и поспеет молодая кукуруза! И село ждало исхода этой недели, как мать в конце шестого месяца ждет прорезания первого зуба у своего первенца. Но пока кукуруза еще не поспела... А голод сосет, сосет под ложечкой...

— Сосойя, сбегай к Мине, возьми взаймы горшок муки! — попросила тетя.

— Никуда я не пойду, стыдно мне! Ступай сама!

— Я пока разогрею кеци,— нашла тетя причину.

— Кеци разогрею я.
— А кто наколет дрова?
— И дрова наколю я!
— Ольхи надо нарвать...[1]
— Я нарву!

Тетя задумалась. Я понимал, что ей не хочется идти к Мине, неудобно просить муку у матери своего ученика. Но я боялся, что мне Мина может и отказать, а с тетей поделится последним куском мчади каждый, к кому бы она ни обратилась с просьбой.

— Сосойя...— начала тетя.

— Не проси, тетя, все равно не пойду! — прервал я ее.— Пойми, стыдно мне, стыдно, стыдно!

— А мне не стыдно?

— Мне еще больше стыдно!

Тетя взяла горшочек и вышла из кухни.

Я выбежал во двор, выдернул из плетня несколько кольев, развел в очаге огонь, сунул туда кеци, поставил рядом медный кувшинчик с водой, набрал сухих ольховых листьев и стал дожидаться тети. Она скоро вернулась, поставила горшочек у очага и стала засучивать рукава.

— Что сказала Мина? — спросил я.

Тетя высыпала муку в корыто.

— А, тетя?

— Налей воды!

Я налил.

— Скажи, тетя!

Тетя стала месить тесто.

— Пусть, говорит, Сосойя снимет с огня кеци!

Я выполнил поручение.

— А еще что?

— Пусть, говорит, Сосойя выстелит кеци листьями.

Я выполнил и это поручение. Тетя положила тесто на раскаленный кеци. Тесто зашипело. Я проглотил слюну.

— А еще что?

— Еще? Не смей, говорит, кормить этим мчади бессовестного Сосойю!

Тетя накрыла кеци куском жести и посыпала горячей золой.

— А ты что ей сказала?

— Сказала, что не посмею!

— А что она сказала?

— Если, говорит, Сосойя не заткнется, сунь ему в рот

---

[1] Для выпечки мчади кеци выстилают листьями ольхи.

горячую головешку! — и тетя поднесла к моему носу головню.

Я заткнулся.

Трудно, очень трудно голодному мальчику сидеть у очага и ждать, пока выпечется мчади! Как медленно тянется время! А под ложечкой сосет, ох как сосет... Рот наполняется слюной, не успеваешь глотать ее!.. Я не в силах больше сдерживать себя. Я приподнимаю кусок жести. Из-под нее вырывается горячий, ароматный пар.

— Не лезь, Сосойя! Тесто еще сырое! — прикрикнула на меня тетя.

— Ну и что? Свиней и индюшек специально кормят сырым тестом! — оправдывался я.

— Мчади не только для тебя! Уйди, говорю!

Я пересел. И опять потянулись невыносимые минуты. Чаша терпения переполнилась. Не устояв перед соблазном, тетя сама приподняла жесть.

— Рано еще, тетя! — сказал я.

— Слава богу, готово! — проговорила тетя и вынула из кеци полусырой мчади.

Я приволок низкий столик. Тетя сбросила на столик дымящийся мчади, достала из банки последнюю головку сыра. Я принес бутылку вина, солонку с солью, несколько головок лука-порея и сел. Тетя разломила мчади пополам, потом одну половинку — еще на две части.

— Ну ешь, бездельник!

Я схватил свою порцию мчади и уже впился было в него зубами, как во дворе раздался чей-то робкий кашель.

Я и тетя обернулись к распахнутой двери.

Во дворе стоял и искательно улыбался худой, гладковыбритый, голубоглазый немец в зеленом вылинявшем форменном кителе и огромных чувяках.

— Немец, плен! — произнес он на ломаном русском языке.

Я вспомнил: ребята говорили, что в район на стройку пригнали двести немецких военнопленных. Люди со всех окрестных сел толпами валили поглядеть на диковинку — живых немцев. Для меня же это был первый «настоящий» немец, увиденный в жизни. Почему-то я встал. Встала и тетя.

— Гутен морген! — сказал немец и вежливо поклонился.

— Это военнопленный! — сказала тетя и невольно поправила волосы.

— Гутен морген! — повторил немец и еще раз поклонился.

— Гутен морген! — ответил я.

— Что ему нужно, Сосойя? — спросила растерявшаяся тетя.

— Не знаю. Пока что он только желает нам доброго утра... Чего тебе, фриц? — помахал я рукой.

— Гитлер капут! — выпалил немец, сложил правую ладонь наподобие револьвера и приставил к виску указательный палец.

— Это нам известно, газеты читаем. Ты скажи, что тебе нужно?

— Не понимай! — немец пожал плечами.

— Что нужно? — спросил теперь я по-русски.

— Иоган... Их бин Иоган! — немец несколько раз ткнул рукой себя в грудь.

— Чего он привязался? — повернулся я к тете.

— А я почем знаю...— развела она руками.

— Хенде хох! — вспомнил я уроки военного дела.

Немец испуганно взглянул на меня и поднял руки.

— Гитлер капут! — добавил я.

— Гитлер капут! — тотчас же подтвердил он, не опуская рук.

Я не знал, как по-немецки звучит команда «отставить», поэтому подошел к немцу и почти насилу заставил его опустить руки вниз.

— Что ты хочешь, что? — повторил я вопрос.

— Хлеб...— произнес тихо немец.

— А-а, хлеб? Белый или черный?

— Не понимай...

— С маслом или сыром?

— Хлеб... Бутер...

— Ага, бутерброд, значит?

— О, бутерброд! — обрадовался немец.

— А как насчет хачапу́ри? — улыбнулся я.

— Немец, плен! — улыбнулся немец.

— Подвело животы, сволочи? Иди к своему Гитлеру, пусть он угостит тебя!

— Гитлер капут! — сказал немец безнадежно.

— Неужели?! Вот огорчил меня! — покачал я головой.

Немец почувствовал иронию в моих словах и теперь обратился к тете:

— Хлеб, фрау, хлеб...

Губы у немца задрожали. Я проследовал за его взглядом и увидел, что он устремлен к нашему накрытому столику.

— С ума он сошел! Еще чего не хватало! Хлеба ему

подавай! — сказал я тете. Она стояла побледневшая и молчала. Вдруг тетя повернулась, бросилась на кухню, схватила свой кусок мчади и подала его немцу.

— О, данке шён, фрау, данке зеер! — Немец дрожащими руками принял мчади и стал за обе щеки уплетать его. С минуту тетя смотрела на жадно евшего немца, потом снова вернулась на кухню, вынесла весь оставшийся мчади и отдала ему.

— Тетя, ты с ума сошла?! — схватил я ее за руки.

— Отстань, Сосойя! — Тетя отстранила меня и опять побежала на кухню. Немец с недоумением смотрел на нас.

— На, немец, на! На тебе сыр, на тебе вино! Бери! — Тетя сунула в руки немцу весь наш обед и вдруг расхохоталась.

— Тетя! — испугался я.

— Молчи, Сосойя, молчи! Пусть берет все! Пусть! Что еще тебе, немец? Скажи, что еще дать тебе? — выговаривала тетя сквозь смех.

— Папирос, фрау...— расцвел немец.

— Дай ему табак, Сосойя!

— Нет у меня табака!

— Есть! Полный карман!

— Нету! — заупрямился я.

— Отдай сейчас же! — Тетя засунула руку в мой карман и протянула немцу полную пригоршню табака.— На, бери! Бери!

Руки у немца были заняты, поэтому тетя сама насыпала ему в карман мой табак, потом легонько подтолкнула его и сказала с улыбкой:

— Иди теперь, немец, иди!

— О, фрау, данке зеер, данке шён!

— Иди, иди, немец!

Я смотрел, вытаращив глаза, на смеявшуюся тетю и не мог понять, что с ней происходит.

— Данке, фрау! — еще раз поблагодарил немец и стал пятиться к калитке.

— Не за что!

Тетя обняла меня, крепко прижала к груди и вдруг разрыдалась. Перепуганный немец поспешно вышел со двора.

— Что с тобой, тетя? Почему ты плачешь? — спросил я еще более испуганно.

— Ничего, Сосойя, ничего! Посмотри на него! — и она показала на удалявшегося немца.

— Ну и что?

Тетя опять заплакала, потом засмеялась, снова заплакала.

— Видишь? Видишь, Сосойя? Видишь?!

Каждый, кто взглянул бы сейчас на тетю, принял бы ее за сумасшедшую. Но мне никогда еще не приходилось видеть на лице моей тети столько радости и счастья!

* * *

Ночь. Я лежу в своей постели и мечтаю о приятном сне. Я люблю сны; спящий человек, не видящий снов, все равно что покойник. Я считаю так: днем, когда мы ходим, разговариваем, спорим,— мы живем. Ночью, когда мы спим и не чувствуем ничего,— мы мертвы. Следовательно, тот, кто не видит снов, половину своей жизни проводит зря, в состоянии покойника. Я же все свои шестнадцать лет прожил сполна, потому что, за редким исключением, каждую ночь вижу сны. Во сне, как и днем, я хожу, разговариваю, смеюсь, плачу. Во сне, как и днем, мне бывает холодно и жарко, весело и скучно, радостно и грустно. Вот потому и хочется мне увидеть приятный, хороший сон. Я каждый раз перед сном разговариваю с тетей для того, чтобы продолжить этот разговор во сне. Тетя никогда не делится со мной своими мыслями до конца, а во сне она всегда откровенна, во сне она ласкает, целует, наставляет меня, говорит, что нет у нее на свете никого дороже меня... Вот и сейчас мне хочется поговорить с тетей, но что-то сдерживает меня. После сегодняшнего события я растерян, смущен. Потому и лежу я молча и мечтаю о приятном сне...

— Сосойя!

— Да, тетя?

— Спишь?

— Нет, тетя, какой там сон!

— Видел того немца?

— Лучше бы мне не видеть проклятого! — проворчал я, и опять под ложечкой у меня засосало.

— Конец войне, Сосойя, конец! — Тетя присела в постели.

— Кто это сказал?!

— Конец войне, Сосойя!.. Раз мы дожили до того дня, когда немецкий солдат пришел к нам и попросил кусок хлеба,— значит, войне конец! Неужели ты не понимаешь этого?

Я не ответил.

— Ты не обижайся на меня, Сосойя... Я была готова отдать ему весь дом, не то что мчади...

— Я тоже, тетя...

— Прости меня, Сосойя...

— Что ты, тетя!

— Подумай, Сосойя, что это значит! Немецкий солдат попросил у нас хлеба!

— Да, тетя!

Тетя помолчала, потом очень ласково спросила:

— Сосойя, ты голоден?

— Нет, тетя, ничуть! Мне совсем не хочется есть!

— И мне тоже...

— Ну тогда заснем, тетя...

И в комнате воцарилось долгое молчание...

...Сон не шел... Пропели первые петухи... Я встал, подкрался к тетиной кровати. Она спала и улыбалась во сне. Тете снился приятный сон.

Зачастили петухи.

Я вышел во двор. На склонах гор, крышах домов, плетнях таял легкий, прозрачный, фиолетовый туман. Над селом занималась заря...

## ПАВОДОК

Весной, когда на Суребских горах начинает таять снег, наша Супса свирепеет.

Она выходит из берегов, заливает всю пойму, бушует, ревет, с корнями вырывает столетние деревья, набрасывается на мосты, уносит их, словно щепки, куда-то вниз, и не только мосты — бывает, жертвой взбесившейся реки становятся и звери, и скот, и люди.

Потом Супса постепенно остывает, умиротворяется, возвращается в свое ложе, оставляя на берегах уйму дров и живительного ила. Река словно возмещает людям причиненное им зло.

Мы любим свою Супсу. Мы не боимся Супсы. Во время паводка люди наскоро сооружают земляные валы и насыпи, засыпают реку нанесенными ею же камнями и делают это с такой старательностью, словно им незнаком свирепый нрав Супсы. Или же вообще не делают ничего — стоят на берегу и наблюдают, на что еще способна эта небольшая сумасбродная река.

Паводок — лучшее время для ловли рыбы кошами.

Я, Нодар Головастик, Отия Каландадзе и Яго Антидзе поставили свой кош выше всех других кошей наших односельчан. И это не могло не вызвать общего возмущения.

— Разбойники! Это что же получается? Я должен жрать требуху вашей рыбы? Уберите отсюда кош, иначе перебью всех вас, чертей! — налетел на нас Венедикт Кутуби́дзе.

— А что, нам, что ли, есть требуху твоей рыбы? — спросил Венедикта довольно мирно Нодар.

— Слушай, говорю тебе: уберите отсюда кош!

— А где прикажешь ставить его? — вмешался Яго.

— Где хотите!

— Вот и прекрасно! Мы хотим именно здесь!

— Опять? Что я тебе сказал? — взвизгнул Кутубидзе.

— Чем ты недоволен, дядя Венедикт? — прикинулся я овечкой.

— Ты еще спрашиваешь? Христом-богом вас прошу — снимите ваш кош и перенесите его куда-нибудь вниз по течению! Вот и все!

— А что нам там достанется?

— Да какое мне дело? Что достанется, то и жрите!

— Э-э-э, почему так грубо, дядя Венедикт? — обиделся Нодар.

— Грубо? Ты посмотри на этого головастика!

— Не оскорбляй человека, дядя Венедикт! Хватит ему своего горя! — пожалел товарища Отия.

— А ты при чем?

— Как это при чем? Друг он мне или кто?

— Оно и видно! Все вы одним миром мазаны!.. Ну-ка соберите ваши манатки и убирайтесь отсюда!

— Товарищ Венедикт! — начал официальным тоном Яго Антидзе.

— Какой я тебе товарищ, сопляк! — взорвался Венедикт.

— Да что ты в самом деле, река это твоя, что ли? — спросил Нодар.

— А чья же? Тебя не было и в помине, когда я здесь ставил коши.

— Ну а теперь позволь нам! — попросил Нодар.

— Говорю вам: перенесите кош ниже или убирайтесь на тот берег!

— Послушай, дядя Венедикт, река не твоя и не наша, река принадлежит Советской власти и рыба в реке — тоже! — объяснил я.

— Ты кого учишь, болван, что мое, а что государственное?!

— В Конституции сказано, что все мы в равной мере пользуемся правом на отдых и на охоту! — уточнил Нодар.

— Не учи меня, что сказано в Конституции! Я на своем веку знал много конституций! — огрызнулся Венедикт.

— При чем тут я? Так сказано в Конституции!

— Что, что там сказано? Чтобы Нодар Головастик и Сосойя-бездельник отнимали кусок хлеба у Венедикта Кутубидзе?

— Нет, не совсем так... Чтобы ели все, вот что сказано!

— Так, да? — сощурил глаза Венедикт.

— Так! — кивнул головой Нодар.

— Значит, так? — обратился Венедикт ко мне.

— Точно! — подтвердил я.

— А разве о том там не сказано, что подобные вам сорванцы обязаны иметь честь и совесть и уважать старших?

— Видно, не читал ты Конституцию... Там нет такого указания.

— Нет?

— Нет.

— Значит, нет?

— Нет, дядя Венедикт, чего нет — того нет!

— Значит, об этом не сказано, а о том, что вы должны жрать, а я глядеть вам в рот, об этом сказано?

— Рыбы хватит на всех, дядя Венедикт!

— Нет, ты ответь мне! Не сказано, да? — не отставал Венедикт.

— Нет! — заупрямился я.

— И это называется Конституцией?! — Не ожидая ответа, Венедикт выхватил из-за пояса топор и направился к нашему кошу.

— Что? Что он сказал о Конституции? — спросил вдруг Отия Каландадзе.

— А что? — обернулся Венедикт.

— Сосойя, как он сказал? «Что это за Конституция»? Не так ли? А ты чего уши развесил? — напустился Отия на Яго.— А еще член комсомольского бюро!

— Что я такое сказал? — побледнел Венедикт.

— Он еще спрашивает! «Я знал много конституций! Что это за Конституция!» Значит, наша Конституция тебе не нравится? — голос Отии зазвучал угрожающе.

— Ты... Ты не болтай лишнего! Не говорил я этого! — струсил Венедикт.

— Как это не говорил? — повысил голос Отия. Ого! Пришел сюда, разорался: река, мол, моя, я с вами, мол, разделаюсь, то да се!.. Да ты, оказывается, самый настоящий собственник и вредный пережиток капитализма к тому же!

— Ты это про меня? Да... как ты... смеешь? — прошептал обескураженный вконец Венедикт.

— А что, не грозился разве? — подлил в огонь масло Яго.— Вместо того чтобы поддержать молодежь в трудное военное время, ты оскорбляешь нас, и не только нас, но и нашу Конституцию. Еще и запрещаешь ловить рыбу! Да если хочешь знать, немецкие фашисты ничего худшего и не делают!

— Вы что, с ума посходили, ребята? — застонал Венедикт.

— Не знаю, как вы, а я этого дела так не оставлю! — Нодар стал одеваться.

— Ты куда? — воскликнул Венедикт.

— Я знаю куда...

— Что ты знаешь?

— Да, дядя Венедикт, мы все любим тебя, но... простить оскорбления Конституции и проявления пережитков капитализма, извини, не можем. Вот так! — категорически заявил Отия и тоже потянулся к одежде.

— Да постойте, сукины дети! Не сводите меня с ума! Ничего я такого не говорил!

— Это выяснится там! — произнес Нодар многозначительно.

— Где там?

— Увидишь...

— Вы что, сволочи, задумали? Бога у вас в душе нет! Клевещете на меня! — обезумел Венедикт.

— Здесь нас четыре свидетеля. Устроят тебе очную ставку, что ты тогда запоешь? — сказал Яго.

— И совесть вам позволит сделать это, бессовестные?

— Позволит, да еще как! — ухмыльнулся Нодар.

— Из-за паршивой рыбы губите человека? — прослезился Венедикт.— И кто? Выросшие на моих глазах мальчишки! Нате! Подавитесь и рыбой, и кошем, и Супсой! Жрите, авось лопнут ваши утробы!..

— А ты отстанешь от нас?

— Я-то отстану, но бог вас накажет!

— С богом договоримся мы сами, а ты оставь нас в покое!

— Поднимитесь хоть чуть выше, безбожники!

— Чуть выше поднимемся, так и быть! — пообещали мы.

— А я ничего такого не говорил, сукины вы дети, и прикусите ваши поганые языки!

— Опять ты за свое?

Венедикт долго укоризненно смотрел на нас, потом вскинул на плечо топор, плюнул и пошел своей дорогой.

Мы прыснули. Венедикт обернулся.

— И в кого только вы уродились, черти полосатые?

— Иди к нам, дядя Венедикт, угостим тебя хорошим табаком! — позвал я.

Венедикт почесал в затылке, подумал, потом решился, вернулся и уселся на камне.

Закурили.

— Вот вы здесь дурака валяете,— начал Венедикт,— а простых вещей не понимаете... Потому — дети вы, несмышлеными... У реки, как и у леса,— свои законы. Это неважно, бьете вы слона иль зяблика, ловите рыбу или кита... Охотник должен уважать охотника... Слышали про такое растение — женьшень? Так вот, когда искатель найдет и пометит его, никто другой не имеет права даже дотронуться до того женьшеня. Нарушил правило — смерть тебе! Это — закон! А как же! Река эта — общая, и все мы имеем на нее равное право! Я разве против того, чтобы вы здесь ловили рыбу? Да ни боже мой! Ловите себе на здоровье, рыбы в реке хоть отбавляй! Но ловите по правилу! Эвон, сколько тут кошей выше моего! И ничего! Я ни слова! Почему? А потому, что поставлены они по правилу, люди держат расстояние! Я ведь тоже поставил свой кош выше Ладикоиного, а он что? Ни слова. Потому — знаю я, где и как ставить кош... А вы? Взяли да устроились в двух шагах от меня... Разве это дело? То-то...— Венедикт поднялся.— Ну ладно, пойду я... А вы тут будьте осторожны с рекой... Супса — она сумасшедшая... Бывайте, ребята!

Венедикт ушел. Мы подобрали свои манатки, сняли наш кош и перенесли его далеко вверх по течению реки.

...На берегу у нас разбита небольшая палатка. Отия и Яго отдыхают в тени палатки, я и Нодар устроились на коше и ждем, когда на сетку выбросится рыба. Мутные волны Супсы несут наглотавшуюся ила, потерявшую ориентацию рыбу, подбрасывают ее на сетку коша, а сами, вероломные, стекают сквозь сетку. Обалдевшая рыба бьется, извивается, разевая рот, прося помощи. Но какая уж тут помощь! Я и Нодар хватаем рыбу за жабры и бросаем на берег.

— Смотри, Сосойя, твоя красавица пожаловала!

Я посмотрел на берег. У палатки стояла Хатия.

— Хатия! — крикнул я.

Она помахала рукой и что-то крикнула в ответ, в шуме реки я не расслышал.

— Чего тебе, Хатия? Зачем пришла?

Хатия сложила у рта руки рупором и прокричала что-то.

— Иди к ней,— сказал Нодар.

Я вышел на берег.

— Ну что ты орешь?

— Здравствуй, Сосойя! — Хатия протянула руку.

— Будто не виделись сегодня... Знаю я, зачем ты пришла! — я пожал руку Хатии.

— Сосойя, дайте мне половить рыбу...

— Нельзя! Слышишь, как бурлит река? Куда тебе на кош!

— Сосойя, миленький, прошу тебя! — заскулила Хатия.

— Ты что, с ума сошла? — Отия вышел из палатки.

— Бессовестные! — обиделась Хатия.

— На вот тебе рыбы, бери сколько угодно! — Яго поставил перед Хатией ведро с пойманной рыбой.

— Что ты суешь дохлую рыбу! Я хочу сама ее поймать!

— Катись домой!

— Не уйду!

— Зайди хоть в палатку, сгоришь здесь! — попросил я заупрямившуюся Хатию.

— Не зайду!

— Ну и сиди здесь, черт с тобой!

Я вернулся на кош.

— Что ей понадобилось? — спросил Нодар.

— Просится на кош.

— Ну и тащи ее сюда!

— Да ты что!

— Я приведу ее.

— Не глупи!

— Не бойся, не утоплю! — рассмеялся Нодар и полез на берег.

Спустя несколько минут Нодар втащил Хатию на кош и усадил ее рядом со мной.

Мы сидели втроем и ждали, а рыбы все не было. Нодар от нечего делать бросал в воду прилипшие к сетке хворост и щепки и тихо напевал:

Сельдь сказала усачу:
«Коль того я захочу,
Я тебя, усач ты глупый,
Прямо в сеть заполучу!»

— Где же ваша рыба? — спросила Хатия.

— А мы послали ее за одним делом, она скоро вернется! — ответил Нодар.

— В самом деле, куда она исчезла, проклятая? Позор...

Вдруг перед нами шлепнулся подброшенный волной здоровенный усач. Мы с Нодаром схватили рыбу, но она вырвалась из рук и нырнула в воду. Волна снова выбросила усача на кош, а он снова выкрутился. Мы бросились в воду и с трудом удержали взбесившуюся рыбу. Просунув четыре пальца в жабры усача, Нодар вытащил его и поднес к лицу Хатии.

— На вот, на твое счастье!

Усач рванулся, ударил Хатию хвостом в грудь. Хатия ухватила рыбу обеими руками, прильнула к ней щекой.

— У, какая она холодная!

— Только не вздумай дурить, как в тот раз,— предупредил я Хатию.

— Не бойся, ее я не выпущу!

Я отвернулся, и вдруг в глазах у меня зарябило, я похолодел от ужаса: прямо на нас река несла огромное ветвистое каштановое дерево.

— Нодар! Бери шест! — заорал я.

Нодар вскочил как ужаленный.

— Хатия! — бросился я к Хатии.

Но было уже поздно. Мощный толчок опрокинул наш кош. Я успел увидеть, как из палатки, крича и размахивая руками, выскочили Отия и Яго, и тут же провалился в темную, холодную яму. В мгновенье ока рот, глаза, уши забило илом и вода понесла меня вниз по течению. «Вправо... Вправо... Вправо...— бьется мысль в затуманившемся сознании,— еще немного, Сосойя, продержись еще немного!» Я открываю глаза, но ничего, кроме мутной мглы, не вижу... Я глотаю воду и чувствую, что начинаю задыхаться... Вдохнуть хоть раз... А там будь что будет!.. Легкие больше не выдерживают. Я глубоко вдыхаю и...

Я открыл глаза на берегу... Жив? Жив! Но что это? Куда бегут ребята? Что такое? Ведь я жив и невредим?

— Э-э-эй! Ребята, сюда, я здесь! — крикнул я и сам не услышал своего голоса. Потом в ушах что-то лопнуло, зашуршало. До меня сперва донесся шум реки, потом я почувствовал биение собственного сердца и наконец услышал отчаянный крик ребят:

— Хатия-а-а!.. Хатия-а-а!..

— Хатия...— прошептал я и опустился на песок.

Я не помню, как очутился с ребятами. Помню лишь, как меня удерживали Нодар и Отия, как кричали сбежавшиеся люди, как Супса уносила Хатию и как никто не осмеливался вступить в единоборство с неминуемой гибелью...

Потом все увидели, как на противоположном берегу показался незнакомый мужчина, как он подбежал к реке и не раздеваясь бросился в воду. Он то скрывался в волнах, то вновь появлялся на поверхности. Рассекая воду сильными взмахами рук, он гнался за Хатией. Наконец он настиг ее, ухватил за волосы. Супса тащила их до самой нашей школы. Здесь незнакомец пересилил реку, выполз на берег, уложил Хатию на песок и припал ухом к ее груди. Потом он подхватил девочку, шатаясь, вошел во двор школы и осторожно опустил ее на траву. Спустя минуту все село окружило Хатию и ее спасителя. Припав на колено, он массировал Хатию. Я опустился рядом с ним и... обмер. Я узнал бригадира Датико. Он не обмолвился ни словом,

спокойно продолжал свое дело, потом стал растирать Хатии виски.

— Хатия! — позвал я.— Хатия! Хатия!

Ресницы Хатии чуть дрогнули. Потом она медленно открыла глаза и тихо, очень тихо прошептала:

— Сосойя...

— Жива? — спросил кто-то.

— Жива! — сказал Датико и встал.

В толпе пронесся ветерок шепота и тут же стих. Наступило гробовое молчание. Датико вступил на середину круга — исхудавший, заросший, в изодранной одежде и обуви. Он обвел собравшихся мутным взглядом. И каждый, с кем скрещивались глаза Датико, опускал голову и отступал назад. Датико стоял и ждал, когда заговорит село. Но народ молчал как могила, и я испугался этого молчания, испугался, как в тот страшный день, первый день войны. Долго ждал Датико, но никто не нарушил безмолвия. Тогда он сорвал с пояса кобуру с револьвером, бросил ее на землю и покорно опустил руки.

Люди по-прежнему молчали.

— Скажите хоть слово! — крикнул Датико с мольбой и дрожью в голосе.

Никто ему не ответил.

— Володя, где ты? Арестуй меня, чего ты ждешь? Ведь ты работник безопасности! Я бросил оружие, сдался. Бери же меня!

Володя Джаши выступил из толпы и остановился перед Датико. Народ напрягся в предчувствии крика, драки, стрельбы. Но случилось нечто более страшное и необъяснимое: Володя повернулся и вышел со двора, ни разу не оглянувшись.

Датико побледнел.

— Бадрия Таварткиладзе, а ты что? Милиция! Почему ты не арестуешь меня? — крикнул он.

Но Бадрии уже не было во дворе, он ушел вслед за Володей Джаши.

— Люди! — вырвался вопль у Датико.

И люди сделали то же, что и Володя и Бадрия. Один за другим они стали молча, не оглядываясь покидать школьный двор.

Датико закрыл лицо руками, упал на колени и громко зарыдал. Я смотрел на Датико и завидовал Хатии, которая не могла видеть, как плачет и тает на глазах этот огромный, сильный мужчина.

— Ты сможешь идти, Хатия? — спросил я.

— Смогу.

Я обнял Хатию за талию и осторожно повел ее со двора. Проходя мимо Датико, она остановилась.

Датико взглянул на нас полными слез глазами.

— Что мне теперь делать, Сосойя?

— Не знаю, Датико...

— И ты не знаешь?..

Я опустил голову.

Датико встал, посмотрел на дорогу. Она была пуста. Датико побрел пошатываясь к воротам. Прежде чем выйти со двора, он еще раз спросил меня:

— Куда мне теперь идти, Сосойя?

Я не ответил ему, ибо не знал, куда ему следует идти. Тогда Датико махнул рукой, повернулся и ушел...

Долго шагал он не поднимая головы. Дойдя до перекрестка, остановился, постоял с минуту и вновь зашагал, но не в сторону леса, а прямо по шоссе. Куда? Вряд ли он сам мог ответить на этот вопрос...

С ревом несла Супса свои мутные воды. По проселочной дороге, блея и мыча, позванивая колокольчиками, возвращалось домой стадо. Там, где скрылся Датико, медленно опускалось солнце.

## Я ВИЖУ ВАС, ЛЮДИ!

— Здравствуй, Бежана! Да, я это, Сосойя... Давно я не был у тебя, мой Бежана! Извини меня!.. Сейчас я все здесь приведу в порядок: расчищу траву, поправлю крест, скамейку перекрашу... Смотри, роза уже отцвела... Да, порядочно прошло времени... А сколько у меня для тебя новостей, Бежана! Не знаю, с чего и начать! Погоди немного, вот вырву этот сорняк и расскажу все по порядку...

Ну так вот, дорогой мой Бежана: война кончилась! Не узнать теперь нашего села! Ребята вернулись с фронта, Бежана! Вернулся сын Герасима, сын Нины вернулся. Минин Евгений вернулся, и отец Нодара Головастика вернулся, и отец Отии. Правда, он без одной ноги, но какое это имеет значение? Подумаешь, нога!.. А вот наш Кукури, Лукайин Кукури, не вернулся. Сын Машико Малха́з тоже не вернулся... Многие не вернулись, Бежана, и все же на селе у нас праздник! Появились соль, кукуруза... После тебя сыграли десять свадеб, и на каждой я был среди почетных гостей и пил здорово! Помнишь Георгия Церцва́дзе? Да, да отца одиннадцати детей! Так вот, Георгий тоже вернулся, и жена его Талико́ родила двенадцатого мальчика, Шукрию. Вот была потеха, Бежана! Талико была на дереве, собирала сливы, когда у нее начались роды! Слышишь, Бежана? Чуть было не разрешилась на дереве! Успела все же спуститься вниз! Ребенка

назвали Шукрией, но я зову его Сливовичем. Здорово, правда, Бежана? Сливович! Чем хуже Георгиевича? Всего у нас после тебя родилось тринадцать детей... Да, еще одна новость, Бежана,— знаю, она обрадует тебя. Хатию отец отвез в Батуми. Ей сделают операцию, и она будет видеть! Потом? Потом... Ты ведь знаешь, Бежана, как я люблю Хатию! Вот и женюсь на ней! Конечно! Справлю свадьбу, большую свадьбу! И у нас будут дети!.. Что? А вдруг она не прозреет? Да, тетя тоже спрашивает меня об этом... Все равно женюсь, Бежана! Нельзя ей жить без меня. И я не смогу жить без Хатии. Любил ведь ты какую-то Минадору? Вот и я люблю мою Хатию... И тетя любит... его... Конечно, любит, иначе не стала бы она каждый день спрашивать у почтальона, нет ли для нее письма... Ждет она его! Ты знаешь кого... Но ты знаешь и то, что он не вернется к ней... А я жду мою Хатию. Для меня безразлично, какой она вернется — зрячей, незрячей. А что, если я не понравлюсь ей? Как ты думаешь, Бежана? Правда, тетя говорит, что я возмужал, похорошел, что меня трудно даже узнать, но... чем черт не шутит!.. Впрочем, нет, не может быть того, чтобы я не понравился Хатии! Она ведь знает, каков я, она видит меня, сама не раз говорила об этом... Я окончил десять классов, Бежана! Думаю поступить в институт. Стану врачом, и если Хатии сейчас не помогут в Батуми, я сам вылечу ее. Так, Бежана?

— Рехнулся совсем наш Сосойя? Ты с кем это болтаешь?

— А-а, здравствуй, дядя Герасим!

— Здравствуй! Что ты здесь делаешь?

— Так, пришел взглянуть на могилу Бежаны...

— Сходи к конторе... Виссарион и Хатия вернулись...— Герасим слегка потрепал меня по щеке.

У меня сперло дыхание.

— Ну и как?!

— Беги, беги, сынок, встречай...

Я не дал Герасиму договорить, сорвался с места и помчался вниз по склону.

Быстрей, Сосойя, быстрей!.. Так — далеко, сократи дорогу по этой балке! Прыгай!.. Быстрей, Сосойя!.. Я бегу, как не бежал никогда в жизни!.. В ушах звенит, сердце готово выпрыгнуть из груди, колени подкашиваются... Не вздумай останавливаться, Сосойя!.. Беги! Если перепрыгнешь через эту канаву — значит, с Хатией все в порядке... Перепрыгнул!.. Если добежишь до того дерева не дыша — значит, с Хатией все в порядке... Так... Еще немного... Еще два шага... Добежал!.. Если досчитаешь до пятидесяти не переводя дыхания — значит, с

Хатией все в порядке... Раз, два, три... десять, одиннадцать, двенадцать... Сорок пять, сорок шесть... О, как трудно...

— Хатия-а-а!..

Задыхаясь, я подбежал к ним и остановился. Больше я не смог вымолвить ни слова.

— Сосо! — сказала Хатия тихо.

Я взглянул на нее. Лицо Хатии было белым как мел. Она смотрела своими огромными, красивыми глазами куда-то вдаль, мимо меня, улыбалась.

— Дядя Виссарион!

Виссарион стоял с опущенной головой и молчал.

— Ну что, дядя Виссарион?

Виссарион не ответил.

— Хатия!

— Врачи сказали, что делать операцию пока нельзя. Велели обязательно приехать будущей весной...— спокойно сказала Хатия.

Боже мой, почему я не досчитал до пятидесяти?! В горле у меня защекотало. Я закрыл лицо руками.

— Как ты, Сосойя? Что у тебя нового?

Я обнял Хатию и поцеловал ее в щеку. Дядя Виссарион достал платок, вытер сухие глаза, кашлянул и ушел.

— Как ты, Сосойя? — повторила Хатия.

— Хорошо... А ты не бойся, Хатия... Весной ведь сделают операцию? — Я погладил Хатию по лицу.

Она сощурилась и стала такой красивой, такой, что ей позавидовала бы сама богоматерь...

— Весной, Сосойя...

— Ты только не бойся, Хатия!

— А я и не боюсь, Сосойя!

— А если они не смогут помочь тебе, это сделаю я, Хатия, клянусь тебе!

— Знаю, Сосойя!

— Если даже не... Ну и что? Меня ты видишь?

— Вижу, Сосойя!

— Что еще тебе надо?

— Больше ничего, Сосойя!

* * *

Куда ты идешь, дорога, и куда ты ведешь мое село? Помнишь? В один из июньских дней ты отняла все, что было у меня дорогого на свете. Я просил тебя, дорога, и ты возвратила мне все, что могла возвратить. Я благодарю тебя, дорога! Теперь настал и наш черед. Ты возьмешь нас, меня и Хатию, и по-

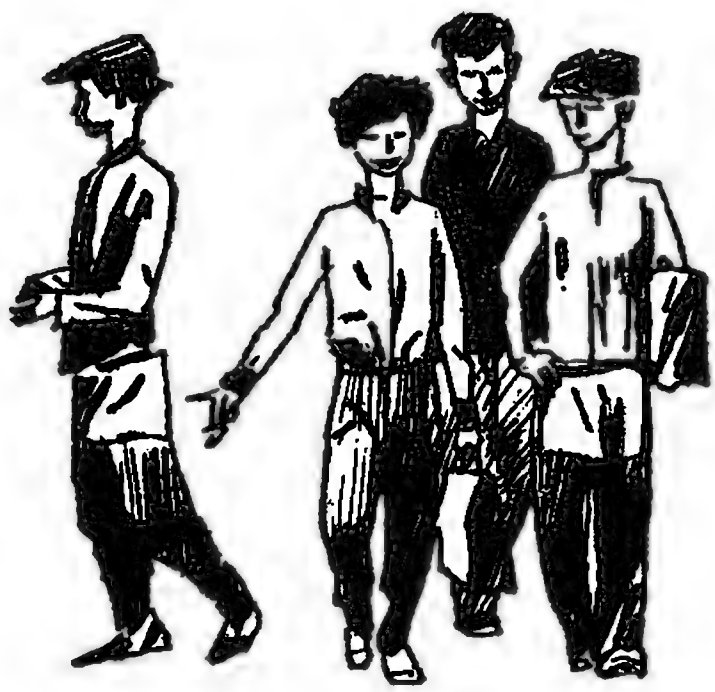
ведешь туда, где должен быть твой конец. Но мы не хотим, чтобы у тебя был конец. Рука об руку мы будем шагать вместе с тобой до бесконечности. Тебе никогда больше не придется доставлять в наше село вести о нас в треугольных письмах и конвертах с напечатанными адресами. Мы вернемся сами, дорога! Мы станем лицом к востоку, увидим восход золотого солнца, и тогда Хатия скажет всему миру:

— Люди, это я, Хатия! Я вижу вас, люди!

# ЮРИЙ КОРИНЕЦ

## Там, вдали, за рекой

### Повесть о дяде



# ПРО ОГОНЬ, ВОДУ И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Мой дядя — брат моей матери — был замечательным человеком. Он прожил очень бурную, тяжелую жизнь, но никогда не унывал. Это был удивительный человек. Чего он только не повидал! В каких только не побывал переделках! Мой дядя прошел огонь, воду и медные трубы.

Дядя был отличным охотником и рыболовом, любил природу и очень много путешествовал. Он путешествовал зимой и летом и круглый год ходил без шапки. Дядя был на редкость здоровым человеком.

Так, без шапки, он и вваливался к нам в дом: то с Памира, то с Дальнего Востока, то из Средней Азии. Но больше всего дядя любил Север! Север был его второй родиной. Так говорил мне сам дядя.

Вместе с дядей к нам вваливались две его любимые собаки — Ханг и Чанг. Это были замечательные собаки! Они всегда путешествовали вместе с дядей. Ханг был овчаркой, а Чанг — лайкой. Ханга дядя купил в Москве, а Чанга достал где-то на Севере. Я очень любил дядиных собак.

Дядя всегда привозил из путешествий что-нибудь удивительное: шкуру тигра, или скелет белухи, или живую гагару. Но самым удивительным был сам дядя. Он был ходячей энциклопедией. Живой семейной легендой.

Когда дядя приезжал к нам в гости, в доме всегда стоял дым коромыслом: дым стоял от рассказов дяди, от подарков дяди и от самого дяди.

Все в доме любили дядю, а я в нем просто души не чаял. И дядя меня тоже очень любил: больше всех на свете. Детей у дяди не было, он был холостяк.

— Подрастай скорее,— говорил мне дядя,— и мы с тобой пройдем огонь, воду и медные трубы!

Мне было восемь лет, и я еще не знал, как можно пройти огонь, воду и медные трубы.

— Какие трубы? — переспрашивал я.

— Медные! — отвечал дядя.— Медные!

— Во дворе не медная труба, я залезал в нее...

— В том-то и дело! — отвечал дядя.

— А медные где?

— Везде!

— За городом?

— За городом.

— В лесу?

— И в лесу.

— И в поле?

— И в поле.

— А в огне?

— Вот именно! — орал дядя.— Именно!

— А на море?

— О! На море их сколько хочешь!

— А в небе?

— В небе их видимо-невидимо!

Я смотрел в небо: там было пусто.

— А как их найти? — спрашивал я.

— Их не ищут! Ищут смысл жизни! Доннерветтер, как ты не понимаешь! Ищут свое счастье, чтобы насыпать ему соли на хвост!

«Доннерветтер» значило «гром и молния» — по-немецки. Когда дядя волновался, он всегда говорил по-немецки.

— А как насыпать ему соли на хвост? — спрашивал я.

— Надо пройти огонь, воду и медные трубы!

После разговора с дядей у меня всегда все путалось в голове. Я тоже хотел найти свое счастье. И насыпать ему соли на хвост. И пройти огонь, воду и медные трубы. Но как это сделать?

# ЭТВАС

Дядя жил на окраине Москвы — в Тушине. Там у него был сад и маленький домик. Сейчас в Тушине тоже Москва, а когда я был маленьким, Тушино было деревней. Там кричали по утрам петухи, мычали коровы и громыхали телеги по колдобистым улицам.

Много раз дяде предлагали квартиру в центре, но дядя всегда отказывался. Дядя любил тишину, потому что в его жизни и без того шума хватало. А еще он хотел быть ближе к природе.

«Опять стушевался дядя!» — всегда говорила мама, когда дядя уезжал к себе.

А вообще он бывал там редко. Он и у нас бывал редко. Сколько я помню дядю, он всегда ездил в командировки. Такая была у него работа. И такой он был непоседа.

Но когда дядя бывал у себя, я очень любил ходить к нему в гости. У дяди было лучше, чем дома, у него была настоящая свобода! У дяди можно было делать что хочешь: ходи хоть вверх ногами! Дядя все разрешал.

Дядя сам любил поиграть, когда он бывал свободен. Дядя строил со мной поезда из стульев, пускал корабли в корыте, или мыльные пузыри из окна, или катал меня на спине, как индийский слон своего раджу.

Мы переворачивали вверх дном весь дядин дом, пока не падали от усталости! Что и говорить! С дядей было всегда интересно!

Вечерами дядя сажал меня на колени и читал мне книжки с картинками или рассказывал сказки. Сказки он рассказывал замечательно! Но лучше всего дядя рассказывал истории *из собственной жизни.* Историй этих он знал миллион! Да это и не удивительно, если вспомнить дядину жизнь. Никто не умел рассказывать так, как дядя. В этом он не имел соперников.

Я помню много историй, какие рассказывал дядя. А особенно одну; я помню ее из глубокого детства. Я слышал ее много раз и знаю её наизусть. Как таблицу умножения. Как свои пять пальцев! Я слышал ее не только от дяди — все у нас любили повторять эту историю. Ее очень любил папа. И мама. И бабушка — дядина и мамина мама. И, конечно, я. История эта была принадлежностью нашей семьи, она была от нас *неотделима.* Она ко всем переходит в нашем роду по наследству от дяди. Ее нельзя не любить, эту историю, потому что она удивительна!

Случилось это очень давно — в начале двадцатого века, во

время русско-японской войны. Может быть, вы немножко слышали об этой войне. Война эта сложилась для нас неважно. Дело было не в солдатах — русские всегда были храбрыми солдатами,— дело было в царе и в его строе — царизме. Царизм был колóссом на глиняных ногах. Колосс — это что-то очень огромное. Вы представляете, что случится, если колосс будет стоять на глиняных ногах? Он, конечно, рухнет! Вот он и рухнул. Произошла революция. Так объяснил дядя.

А тогда, до революции, во время русско-японской войны, дядя служил рядовым на флоте. Потом-то он был в кавалерии. На флоте дядя был помощником кока — повара; дядиной обязанностью было рубить муку и продувать макароны. Дядя так хорошо продувал макароны и так хорошо рубил муку, что его повысили: сделали кочегаром. Служил дядя на славу! Но дело на фронтах складывалось все хуже и хуже, снарядов не хватало.

Однажды крейсер, на котором дядя служил кочегаром, попал в ловушку: его окружили четыре японских крейсера. С криками «Банзай!» они погнались за дядиным крейсером. Они решили взять его живьем. Снарядов на дядином корабле, конечно, уже не было. Дядя развел пары, и его крейсер устремился в открытое море. Японцы преследовали. Тогда дядя вызвал к себе в кочегарку командира. «Я спасу людей и уничтожу врага,— сказал дядя,— если вы дадите мне на один час двух заместителей, топор и осиновое полено». Командир, конечно, сразу согласился: у него была одна надежда — на дядю!

Дядя оставил двух заместителей поддерживать в кочегарке пары, а сам взял топор, осиновое полено и заперся в капитанской каюте. Никто об этом ничего не знал: матросы занимались своими делами, а царские офицеры закатили с горя банкет и пьянствовали в кают-компании.

Через час дядя вышел на палубу.

Командир еле стоял на ногах — он был совершенно пьян от шампанского. Крейсер к тому же сильно качало. Но дядя стоял на ногах твердо!

«Подпустите их поближе,— сказал дядя,— тогда я спущу на воду *вот эту штуку*...» В руках у дяди была *эта штука*.

Когда японцы подошли на расстояние пушечного выстрела, дядя спустил *эту штуку* на воду... Через секунду японцы взлетели на воздух!

Многие просили моего дядю рассказать, что это за *такую штуку* он сделал. Но дядя не мог этого открыть, потому что это была *слишком страшная штука*. Так это и осталось его тайной.

Даже мне дядя ничего конкретного не рассказал. Когда я спрашивал дядю, что это была за штука, дядя делал страшные глаза и кричал:

— Это было *этвас! Этвас!*

«Этвас» значило «нечто» — тоже по-немецки. Дядя очень любил это слово.

После этого дядя всегда погружался в молчание. Когда было нужно, мой дядя был нем как могила.

Вот какой это был человек!

## 8+5=13

С восьми лет это *этвас* не давало мне покоя. Оно причиняло мне очень много хлопот. Оно снилось мне по ночам. Я думал о нем днем. Думал дома. Думал во дворе. Думал, когда шел в школу. Думал на уроках.

Я без конца рисовал это *этвас* на бумаге. И всегда по-разному.

То это была огромная рыба, похожая на кита, которая глотала пароходы, шлюпки и острова. То это была многоглазая, многорукая и многоногая птица, вроде той, которую я видел у дяди на прялке. Я рисовал, как она глотала луну, звезды и дирижабли. Вы знаете, что такое *дирижабль?* Вам ничего не говорит это слово? Очень жаль! Мне это слово говорит много. Когда я был маленьким, дирижабли были в большой моде. Дирижабль — это прекрасная вещь! Это огромный пузырь, наполненный газом. Пузырь в форме сигары. Снизу к пузырю приделана кабина. В ней сидят люди. Так они и летают. Дирижабли бывают огромные — выше пятиэтажного дома!

Так вот, мое *этвас* глотало сразу по двадцать таких дирижаблей! Вот какое это было *этвас.* Рисовать его было очень трудно. У меня даже дух захватывало, когда я его рисовал. Но ни один рисунок не удовлетворял моего воображения.

Тогда я рисовал это *этвас* абстрактно. Что значит рисовать абстрактно? Рисовать абстрактно — это значит рисовать то́, о чем вы не имеете никакого понятия, и та́к, чтобы оно было ни на что не похоже. Это, конечно, ужасно трудно. Иногда у меня получались замечательные рисунки. Просто потрясающие! Но в них никто никогда ничего не понимал. Даже учитель рисования. За такие рисунки он ставил мне «оч. плохо». Но я на него не обижался: разве можно было на него обижаться? Ведь он не знал, что такое *этвас.* А я знал! Вернее, не знал, а догадывался. Знал это один

дядя. Иногда он узнавал это *этвас* в моих рисунках. Я приносил дяде рисунок и говорил:

— Вот!

— Что это? — спрашивал дядя.

— *Этвас*,— отвечал я шепотом.

— Чепуха! — сердился дядя.— Это просто чепуха, а не *этвас!*

— Не *этвас?* Разве это не *этвас?*

— Это чепуха! — кричал дядя.— Это бездарно!

— А как нарисовать *этвас?*

— Не знаю! Не имею понятия!

— Как же ты не знаешь! — говорил я чуть не плача.— Ты столько рассказывал мне про *этвас*, а теперь говоришь, что не знаешь!

— Я прекрасно знаю, что такое *этвас!* — орал дядя.— Но нарисовать не могу! У меня нет таланта!

— А у меня?

— А у тебя талант! У кого же еще талант, как не у тебя! Искать надо! Иди и ищи!

— Чего искать?

— *Этвас!* — ревел дядя.

— Где?

— Доннерветтер! — Дядя выходил из себя.— Ищи в себе! В себе! Рисуй! Работай! И тогда получится *этвас!*

Успокоенный, я убегал и опять принимался рисовать. Я рисовал как одержимый. Через некоторое время я приносил дяде сразу пятьдесят рисунков. Дядя внимательно рассматривал их.

Иногда, схватив какой-нибудь рисунок, дядя вскакивал и начинал бегать по комнате, размахивая этим рисунком.

— Молодец! — грохотал дядя.— Вот это *этвас!* Это прекрасно! Изумительно! Потрясающе! Это явление! Шедевр! Продолжай в том же духе, и из тебя получится человек.

И я продолжал. Самые лучшие рисунки, те, в которых было *этвас*, я отдавал дяде. Он хранил их в особой папке.

Я любил показывать свои рисунки друзьям. Я рассказывал всем, что у меня есть дядя, который прошел огонь, воду и медные трубы и увидел в конце страшное чудище. Называется это чудище *этвас*.

«Когда я вырасту,— говорил я,— дядя возьмет меня с собой. Мы пройдем огонь, воду и медные трубы. И тогда я увижу *этвас*. И притащу его домой».

Некоторые надо мной смеялись, но многие слушали с уважением. Особенно одна девочка, Валя, которая училась со мной в одном классе. Она только просила меня, чтобы я показал

ей это чудище, когда я его достану. И я ей, конечно, обещал. Я только просил ее подождать. И она обещала подождать.

А ждать надо было долго: до того самого дня, когда мне исполнится тринадцать. Так сказал дядя. Когда мне исполнится тринадцать, говорил дядя, мы с ним отправимся в путешествие. Мы поедем на Север! Сначала мы будем ехать поездом, потом пересядем на корабль и поплывем по Белому морю, потом пересядем в лодку и поплывем по рекам, водопадам и озерам — все дальше и дальше на Север! — потом вылезем и пойдем пешком. Между прочим пройдем мы огонь, воду и медные трубы. Их всегда проходят между прочим, специально их никогда не проходят.

Так сказал дядя.

А под конец мы еще будем продираться сквозь заросли. Потому что в этих зарослях и находится *этвас*.

Вы любите продираться сквозь заросли? Я очень люблю продираться сквозь заросли. Наверное, это во мне наследственное: мой дядя всю свою жизнь продирался сквозь заросли. Иногда он продирался сквозь заросли, даже не выходя из квартиры,— он продирался в самом себе... Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз.

Вы знаете, чему равняется 13 — 8?

13 — 8 = 5.

А 13 — 5?

13 — 5 = 8.

А чему равняется 8 + 5?

8 + 5 = 13.

Это математика, от нее никуда не денешься!

Поэтому я и ждал, когда мне исполнится тринадцать.

## ХАНГ И ЧАНГ

Многие спрашивали дядю — зачем ему две собаки?

— Разве вам не хватит одной? — говорили дяде.— Представляем, сколько с ними хлопот! Нужно их кормить, мыть, воспитывать. Как вы только справляетесь?

— В том-то и дело, что иметь несколько собак легче, чем одну,— отвечал дядя.— Надо только, чтобы у них был разный характер. И предоставить их самим себе. Тогда они сами будут друг друга воспитывать.

Конечно, я направляю это воспитание, я слежу за ними. Но, по сути дела, они сами друг друга воспитывают. Они даже меня воспитали, я уж не говорю о племяннике!

Это, значит, обо мне. И действительно, так оно и было. Ханг

и Чанг были прекрасными педагогами. Они учили меня плавать, лазать на деревья, ходить по буму, прыгать через плетни, ползать по-пластунски, маршировать, поворачиваться по-военному направо и налево, шагать в ногу, лаять и еще многому другому.

Это были замечательные собаки, я им очень многим обязан.

Но лучше всего они воспитывали друг друга.

Ханг, например, не любил купаться. И что же вы думаете? Когда дядя назначал банный день, кто, по-вашему, помогал дяде загонять Ханга в воду? Я? Как бы не так! Это делал Чанг!

В банные дни я всегда приходил к дяде. Конечно, если я был свободен. Мы с дядей раздевались и оставались в одних трусах. Я наливал воду и разводил в этой воде мыло. После этого я звал дядю — он проверял температуру воды.

— А ну, ребятки! — командовал дядя, когда все было готово.— Марш купаться!

Чанг не заставлял себя просить — он появлялся мгновенно. Зато Ханг всегда где-нибудь прятался.

— Безобразие! — кричал дядя.— Где Ханг?

Чанг тут же кидался на поиски Ханга и первым загонял его в ванну. Потом Чанг прыгал туда сам. Если же Ханг упирался, он получал от Чанга хорошую взбучку.

Купать собак было нетрудно: мыли они себя сами, мы с дядей только помогали.

По команде Ханг и Чанг залезали в воду и начинали там прыгать и кувыркаться. Дядя называл это «собачьей кувырколлегией». «Кувырколлегия» длилась долго.

Мы с дядей бывали в пене с головы до ног.

Когда собаки отмывались дочиста, мы вытирали их и выпускали в комнату, если во дворе была зима. Летом мы выпускали их во двор. После бани Ханг и Чанг долго носились друг за другом как угорелые. Не знаю почему, но после бани им всегда было очень весело.

После собак мылись мы с дядей. Потом мы ужинали. Ужинали мы на кухне, а после ужина пили в комнате чай. Собаки тоже ужинали на кухне, а после ужина тоже садились с нами пить чай. Но чай они, конечно, не пили. Они просто сидели на стульях у стола и составляли нам компанию.

Чанг вел себя за столом очень хорошо. Зато Ханг пытался иногда что-нибудь стащить. Он вообще был озорником. Иногда он забирался тайком на диван, что дядя категорически запрещал. Ханг ненавидел кошек — он всегда загонял этих несчастных на деревья.

Дядя никогда сам не делал замечания Хангу: он поручал это Чангу. Когда Чанг замечал, что Ханг стащил со стола конфетку, он тут же отнимал ее у Ханга и возвращал дяде. Чанг прогонял Ханга с дивана. И спасал от него несчастных кошек. Чанг всегда сам наказывал Ханга: ставил его в угол или трепал за уши.

Ханг был озорником, зато он был веселым и неугомонным.

Чанг был ленив, зато он был спокойным и уравновешенным. И очень красивым.

Ханг не был столь красив, зато он был смелым и сильным — он бесстрашно кидался на волков и медведей и не раз спасал дяде жизнь.

Но самым удивительным все же был Чанг: он был молод, умен и благороден. У него еще было много достоинств. Чанг был всеобщим любимцем.

Один раз вечером я был у дяди в гостях. Как раз передавали концерт по заявкам. Мы все — я, дядя, Ханг и Чанг — сидели у радиоприемника «СИ-235» и слушали этот концерт. Помню, как сейчас, объявили песню «Степь да степь кругом» по дядиной заявке. Дядя очень любил эту песню. Дядя вообще был очень музыкален — у него был отличный слух. Дядя мог напеть наизусть целую симфонию. При этом он подражал игре на разных инструментах. Дядя очень любил старые революционные песни, песни его молодости, и русские народные песни, а из них особенно «Степь да степь кругом». Когда дядя пел эту песню, он всегда был немного грустным.

Так было и сейчас. Дядя сидел в своем любимом кресле у радиоприемника, опустив голову. Ханг, Чанг и я смотрели на дядю. Свет в комнате был потушен, потому что было полнолуние и огромная луна светила прямо в окно.

По радио пел Лемешев, а дядя ему подпевал:

И, набравшись сил,
Чуя смертный час,
Он товарищу
Отдает наказ...

И вдруг запел Чанг!

Это было так неожиданно, что дядя замолчал. Мы оторопели.

Чанг выл, высоко задрав скорбную морду. Весь его вид выражал непомерную тоску и боль. После каждого куплета Чанг останавливался, стыдливо смотрел в сторону, а потом опять продолжал. Видно было, что он стесняется, но что не петь он не в силах...

Чанг пел очень выразительно, с душой. У него оказался глубокий бархатный голос. Его пение сразу захватило нас. Мы не могли пошевелиться. А Ханг от удивления поджал хвост и забился в угол.

Да скажи ты ей,
Пусть не печалится,
Пусть с другим она
Обвенчается.
Про меня скажи,
Что в степи замерз,
А любовь ее
Я с собой унес.

Когда Чанг дошел до этого места, он взял такую ноту, что у всех нас по коже забегали мурашки. Чанг закатил глаза, клыки его были оскалены, он весь дрожал... Было действительно страшно!

Когда Чанг кончил, дядя зарыдал и кинулся ему на шею.

— Доннерветтер! — рыдал дядя, обнимая Чанга.— Доннерветтер!

Я был растроган и тоже чуть не плакал. Я обнимал дядю и Чанга.

— Ну, Чанг! Ну, дядечка! Ну, Чанг! Ну, дядечка! — шептал я.

А Ханг прыгал вокруг нас, лизал меня, дядю и Чанга и жалобно повизгивал.

После этого случая дядя научил петь и Ханга. Вернее, петь его научил Чанг, дядя только помогал. В результате дядя создал неплохой собачий дуэт. Чанг пел баритоном, а Ханг дискантом. Дядя подыгрывал им на губной гармошке и дирижировал.

Я тоже иногда дирижировал. Дуэт в сопровождении дяди звучал красиво, очень слаженно. Собаки пели прекрасно, но лучше, конечно, пел Чанг. Он был в дуэте запевалой.

Слава о дядином дуэте разнеслась далеко. К дяде стали приходить разные темные личности и просить дядю, чтобы он продал им своих музыкальных собак. Но дядя всем отказывал. Когда они очень упорствовали, дядя спускал на них Ханга и Чанга, и тогда эти личности еле уносили ноги.

Не такой человек был мой дядя, чтобы продавать своих друзей.

# БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

У нас в квартире было несколько соседей. Наша квартира называлась «коммунальной» — мы жили коммуной. Жить коммуной — это у нас значило иметь все общее и всем делиться. В квартире, конечно, не все было общее: например, пальто, галоши, кровати, зубные щетки, полотенца и другие личные вещи. Ими мы пользовались сами и никому не давали. И соседи их тоже никому не давали. Зато у нас было много общего: кухня, коридор, ванная, телефон, щетка для подметания полов, электросчетчик и так далее. А остальным мы просто делились. Мы делились деньгами (давали друг другу взаймы), картошкой, хлебом, солью, чайниками, примусами, сковородками, чаем, кастрюлями, лыжами, спичками, папиросами, игрушками и еще разными другими вещами.

На праздники мы всегда ходили друг к другу с поздравлениями. И с подарками. И всегда помогали друг другу в беде. В квартире у нас было очень весело. Коридор мы называли «проспектом». На «проспекте» висел телефон — это был «Центральный телеграф». Здесь обычно собирались мужчины и курили. А кухня называлась «Большой хурал» — это значит общее собрание. Потому что на кухне всегда происходили коммунальные собрания, все там выступали с речами по разным вопросам.

На кухне было очень интересно! Там всегда все собирались и все обсуждали. Там составлялось общественное мнение, то, что о тебе говорят. Это тоже объяснил мне дядя. Например, ты живешь у себя в комнате, но все время выходишь из нее и бываешь в общественных местах. Ходишь на кухню, в ванную, на улицу, в скверик и так далее. Я уж не говорю о школе. И всюду встречаешь людей, которые тебя видят и с которыми ты разговариваешь. И из этого составляется общественное мнение. Потом ты приходишь к себе в комнату, пьешь чай, делаешь уроки, спишь, играешь в игрушки, а в общественных местах о тебе говорят... Ты можешь потом неделю не выходить из комнаты, а о тебе все равно говорят! Ты можешь уехать на месяц, на год, на несколько лет, ты можешь даже умереть, а о тебе все равно говорят! Как объяснил мне дядя: «Ты приходишь и ты уходишь, а мнение остается». Общественное мнение — очень важная вещь! Надо, чтоб оно было хорошим. То есть чтоб о тебе говорили хорошо. Например, если ты вышел в нечищеных ботинках или грязной рубашке, о тебе говорят, что ты неряха. И очень трудно это мнение переменить, даже если ты будешь потом долго ходить в чистой рубашке. Или представим себе такой случай: ты не вышел утром в ванную умыться — и опять

о тебе говорят! Говорят, что ты *не вышел утром в ванную*. Зато если ты всегда ходишь в чистой рубашке, аккуратный, всем говоришь «здравствуйте», не хулиганишь, о тебе составится хорошее мнение. Скажу вам больше: если ты попытаешься что-нибудь скрыть, например, не сделать уроки или тайком привязать к кошкиному хвосту какую-нибудь бумажку, общественное мнение все равно об этом узнает! Как оно об этом узнает, я объяснить не могу, но факт тот, что узнает.

Надо сказать, что обо всех наших жильцах в квартире составилось хорошее общественное мнение. Все наши жильцы были скромными и добрыми людьми и настоящими тружениками. Все, кроме одного человека. В нашей квартире жили: один бухгалтер с семьей, один монтер с семьей, одна бывшая певичка Театра оперетты без семьи, мы и еще один человек, о котором я сейчас скажу. Все, кроме этого человека, работали не покладая рук, даже бывшая певичка: она давала уроки французского языка. Обо всех у нас составилось хорошее мнение, кроме одного человека. О нас в квартире тоже составилось хорошее мнение, в том числе и обо мне.

Но самое хорошее общественное мнение составилось в квартире о дяде, хотя он у нас не жил. Зато дядя постоянно бывал у нас, когда приезжал откуда-нибудь, часто ночевал у нас и был в прекрасных отношениях со всеми жильцами квартиры. Дядю любили, потому что дядя вообще был интересный человек, а кроме того, он много хорошего сделал для нашей квартиры. Не то чтобы он производил иногда в квартире мелкий ремонт (хотя и это он тоже делал), дело не в ремонте — дядя очень много сделал для нашей квартиры в *высшем смысле*: заслуга дяди состояла в том, что он укреплял наш коллектив. К дяде все обращались за советами, и дядя всегда давал всем замечательные советы. Дядя часто выступал на «Большом хурале» по разным вопросам, и мнение дяди было решающим. Потому что у моего дяди был огромный авторитет. Да это и не удивительно: вы же знаете, что за человек был мой дядя! Дядя был цементом нашей квартиры — на нем все держалось. Я просто не знаю, что было бы с нашей квартирой, если бы не дядя!

Зато был у нас в квартире один человек, о котором у всех нас составилось не очень хорошее мнение. Звали этого человека «Благодарю за внимание». Он без конца всем говорил «благодарю за внимание» и «большое спасибо». Он был очень вежливым. Он был даже слишком вежливым.

Он был старый и странный. Ходил он всегда в рыжем пальто, в рыжей шляпе и в галошах «прощай молодость». Жил он один в маленькой комнате возле кухни, в самом конце

«проспекта». Говорили, что в его комнате *не было окна!* Я сам не видел: его комната всегда была на запоре. Когда он выходил, он ее тут же запирал — даже когда выходил на кухню. Когда он сидел в комнате, она тоже была на запоре. А еще он любил сидеть во дворе на лавочке. Наверное, ему не хватало воздуха.

Говорили также, что когда-то ему *принадлежал весь наш дом!* Мне всегда было его немножко жалко. И маме тоже. Но дядя говорил, что его жалеть не стоит. Потому что это бывший кровопийца и собственник. Вурдалак. Вы знаете, что такое вурдалак? Это оборотень. Его еще называют вампир. Это мертвец, который выходит из могилы и сосет кровь живых людей. Помните, как писал Пушкин: «На могиле кости гложет красногубый вурдалак...» Страшно! У меня прямо мурашки по спине бегают, когда я об этом думаю. Когда я услышал об этом впервые, я не мог заснуть целую ночь. Мне казалось, что вот-вот придет вурдалак и высосет всю нашу кровь! Потом дядя объяснил мне, что это надо понимать в переносном смысле. То есть некоторые вещи надо понимать в прямом смысле, а некоторые — в переносном. В прямом смысле этот вурдалак не сосал кровь. И кости на могилах он тоже не глодал. Он прекрасно обедал в самых лучших ресторанах. И очень чисто одевался. И ездил по городу на лихачах — на самых лучших извозчиках, которые неслись как ветер, потому что кони у них были замечательные, породистые, в яблоках и без яблок, очень красивые, с тонкими, перебинтованными ногами. Я еще застал таких лихачей в Москве, когда мне было лет пять; я их смутно помню — помню только, что они были очень красивы. Я с дядей даже раза два прокатился на таком лихаче, просто так, для интересу. Часто ездить на них нельзя было, потому что это было очень дорого. Один раз мы с дядей взяли лихача в Охотном ряду, там, где сейчас проспект Маркса. Где сейчас стоят такси, возле гостиницы «Москва», раньше была стоянка лихачей. Помню, я долго выбирал коня, а извозчики наперебой зазывали нас, каждый к себе, и каждый расхваливал свою лошадь. А еще они хлопали себя по бокам руками, как птицы крыльями, чтобы согреться, потому что это было зимой. Лошади были в инее, и из ноздрей у них шел пар. Я сам выбрал себе самого красивого коня. Это был замечательный конь — высокий, весь в яблоках, с маленькой гордой головой на тонкой шее, с тонкими, перебинтованными ногами! Мы сели в маленькие сани, укрылись медвежьей полостью — шкурой — и покатили по улицам. Вот было здорово! Конечно, на такси тоже здорово. Но на лихачах тоже здорово, тем более что их уже нет.

Мы с дядей сидели сзади, тепло укрытые медвежьей поло-

стью, обшитой по краям красной бахромой, а впереди сидел кучер-лихач, помахивал кнутом и покрикивал на прохожих: «Э-э-э-бр-гись!» На кучере была толстая шуба, зеленая, сукном наверх, перепоясанная красным кушаком, и зад у кучера был огромный, как подушка. Я смотрел то на этот зад, то на лошадь, то по сторонам, а по сторонам улиц были сугробы, хотя мы летели по самому центру Москвы, и снег сыпал нам в лицо, и я сразу стал весь красный, и дядя был весь красный, и на усах у него были сосульки, и когда к нам оборачивался кучер, он тоже был весь красный, а лошадь была вся белая от инея, она храпела и далеко выкидывала тонкие ноги, разбрызгивая по сторонам снег, и мы летели как ветер!

А когда мы приехали домой, лихач разрешил дать лошади кусочек сахару — я специально брал с собой сахар — и погладить лошадь по голове...

Так вот, этот Благодарю за внимание только и делал, что ездил на таких лихачах! А многие ходили пешком. И мой дядя ходил пешком. И мой папа. И мама. Потому что они были бедные. А Благодарю за внимание, этот вампир, был очень богатый. Ему принадлежал не только наш дом — у него был еще дом на Моховой и еще где-то были дома, в которых он сдавал комнаты разным бедным людям. И драл с них по три шкуры. Потому что он был *эксплуататор:* наживался на бедных. Вот в таком смысле он и сосал кровь. А после революции у него все отобрали и поселили его в маленькой комнате, возле кухни. А его комнаты отдали бедным, в том числе и нам, и нашим соседям. Вот какой это был человек, Благодарю за внимание! Конечно, ему было обидно, что у него все отобрали. Поэтому он и держался от всех в стороне. Дядя говорил, что он не любит людей. А такой вежливый он был просто потому, чтобы к нему не лезли. Чуть что — он сразу говорил «благодарю за внимание» и поворачивался к вам спиной.

## НА КРАЮ СВЕТА

Мы часто выезжали с дядей на рыбалку. Выезжали мы всей семьей, вместе с Хангом и Чангом. Обычно мы ездили в Мамонтовку, недалеко от Москвы. Там есть река Уча, в ней мы ловили рыбу. Недавно я случайно был в Мамонтовке — выступал там перед ребятами в школе. Потом я пошел прогуляться по Мамонтовке и вспомнил те далекие годы, когда мы ловили с дядей рыбу в Уче. Сколько с тех пор воды утекло! Очень изменилась с тех пор Мамонтовка! Она стала благоустроенной. Это уже не деревня, а поселок. Всюду там электричество.

И выросли каменные дома. А раньше там просто сеяли хлеб, жали хлеб, молотили хлеб, косили сено. Раньше это была просто деревня с пережитками прошлого. В ней даже были кулаки.

Один раз дядя показал мне настоящего кулака. Вот было интересно! Но я его почти не помню. Теперь там кулаков, наверное, никто не помнит, их давно уже не стало. С тех пор там все изменилось. И река изменилась.

Я долго ходил по Мамонтовке, ходил по берегу Учи и даже нашел тот холмик, под которым мы с дядей разводили костер. Только баньки я не нашел, там должна была стоять деревянная банька, наполовину в воде, на столбах. А может быть, это было в другом месте?..

...Помню, мы выехали из Москвы ночью и рано утром пришли на берег Учи, к маленькой деревянной бане, стоявшей наполовину в воде, на столбах.

Я первый сбрасываю рюкзак на белую от инея траву. Потом я снимаю рюкзаки с Ханга и Чанга. У них тоже были маленькие рюкзаки. Они носятся по берегу как угорелые. От радости. Я тоже прыгаю от радости, и мои новые сапожки сразу становятся мокрыми от росы. Солнца еще нет, но уже светло. Вокруг так красиво! Все в тумане. Туман такой сильный, что противоположного берега Учи совсем не видно. Вдалеке туман стоит сплошной стеной, а вблизи он все время шевелится, дышит, перемещается косматыми струями. Уча дымится. Кажется, что в реке горит невидимый огонь и дым от него поднимается из воды в небо. Иногда в разрывах тумана появляются то травяной холмик, то ивовый кустик, которые плавают в воздухе. Река бесконечна. Мы стоим на краю света, за которым уже нет ничего, кроме этой реки.

— Мы-ы на кра-ю све-ета! Мы на краю света! — пою я, приплясывая на скользкой траве, а вокруг меня пляшут Ханг и Чанг.

Потом мы вытаскиваем из рюкзаков вещи и раскладываем их на берегу, подстелив большую клеенку. Палатку мы тоже вытаскиваем и устанавливаем ее на берегу.

Устанавливает палатку дядя, а папа, мама и я помогаем. Потом я с дядей иду за глиной. Это очень важное дело!

Неподалеку от воды находим мы небольшой глинистый обрывчик, набираем мешочек глины и возвращаемся к палатке. Дядя готовит подкормку для рыбы. Он достает из палатки кусок фанеры и огромную деревянную коробку с пробитыми в крышке дырочками,— в коробке хранятся длинные толстые черви. Они называются выползками; дядя накопал их в нашем скверике в Москве.

Червей мы перемешиваем с глиняным тестом и лепим пироги. Потом мы лепим пироги с кашей — с перловкой и с гречкой. Кашу дядя тоже специально приготовил в Москве. А еще дядя привез мешочек пареной пшеницы, но из нее мы не делаем пироги — она нужна для насадки. Но это не все! Еще у дяди есть хлеб, белый и черный, перемятый на анисовом масле с ватой,— чтобы он лучше пахнул и лучше держался на крючке: если он без ваты, он быстро размокает в воде и слезает с крючка, а с волокнами ваты он держится крепко. Еще у дяди есть мотыль — мелкие тоненькие красные червячки с черными головками, такие блестящие, как будто они покрыты лаком. Вот сколько вкусных вещей приготовил дядя для рыбы! Еще бы — я же вам говорил, что мой дядя был замечательным рыболовом!

Дядя всегда тщательно готовился к каждой рыбалке. Поэтому он всегда ловил много рыбы.

Закончив стряпать, мы отходим вниз по течению и спускаемся к воде между ивовыми кустиками. Наша палатка, мама, Ханг и Чанг исчезают в тумане. Теперь мы одни. Мы видим только ивовые кустики, траву под ногами и темную, дымящуюся воду. Даже друг друга мы видим плохо — такой сильный туман.

Дядя знает, что выше нас на реке перекат, узкое место — там можно перейти речку вброд,— а здесь глубокое место с ровным и тихим течением. Здесь мы и открываем «рыбью столовую» — забрасываем в речку пироги с кашей и «бефстроганов». Но и это еще не все!

После всего этого дядя начинает читать *заклинание*.

Дядя всегда читал заклинание перед началом рыбалки.

Дядя присаживается на корточки перед водой, держа в руках длинную удочку. Мы с папой тоже садимся на корточки позади дяди, с удочками в руках.

Вокруг тихо-тихо. Только ивовые кустики едва шелестят острыми серебристыми листиками да за рекой, в тумане, щелкает соловей. Потому что весна...

Дядя начинает свое заклинание торжественно, тихим гортанным голосом. А мы повторяем за ним шепотом.

Слушайте, я открываю вам секрет своего дяди! Великий секрет великого рыболова!

Дядя начинает:

Выходи, плотва, из глыби
Да поведай разной рыбе...

— «...Да поведай разной рыбе...» — повторяем мы с папой.

Нынче всех под бережком
Угощу я пирожком!

— «...Угощу я пирожком!» — повторяем мы.

Выходи-ка со двора,
Густерочка-густера!

— «...Густерочка-густера!» — повторяем мы.

Выходи ко мне, подуст,
Я развею твою грусть!

— «...Я развею твою грусть!» — повторяем мы.

Выходи, бокастый лещ,
Мы-то знаем, что ты вещь!

— «...Мы-то знаем, что ты вещь!» — повторяем мы.

Всех сюда без лишних слов
Ждет великий рыболов!

— «...Ждет великий рыболов!» — повторяем мы.

После этого дядя встает и первый закидывает свою удочку. Я тоже закидываю свою удочку. И папа закидывает свою удочку.

Мы стоим на некотором расстоянии друг от друга, так, чтобы не мешать друг другу во время забросов, чтобы не зацепиться лесками. Потому что мы все время вытаскиваем и снова забрасываем свои удочки. *Мы ловим в проводку.* Это очень ответственная ловля. Не каждый умеет ловить в проводку! А я умею! Меня научил дядя.

Я закидываю снасть немного выше себя по течению, подальше от берега. А иногда и не подальше от берега — это смотря по тому, как скажет дядя. Дядя всегда тщательно вымеряет дно там, где мы начинаем ловить, и поднимает поплавок на такое расстояние от крючка, чтобы *насадка шла по дну.* Это тоже очень важно! А иногда немного выше дна. А иногда вполводы. Все зависит от того, в какое время ловить, где ловить, как ловить и какую рыбу. Дядя все это знал. И я это прекрасно знаю. Я с детства знаю все секреты рыбной ловли, потому что дядя меня *натаскал.* Натаскать — это значит хорошо научить. Просто мне повезло, что у меня был такой дядя.

А сейчас мы ловим со дна. Я закидываю снасть немного выше себя по течению, мой поплавок встает торчком и медленно проплывает мимо меня. У меня замечательный поплавок! Он сделан из пробки. Верхняя часть поплавка покрашена красной краской, а нижняя — зеленой. Это чтобы он был тебе виден, а рыбе не виден. Поплавок у меня замечательный, что и говорить! Он очень тонкий, нервный и чуткий, он точно откликается на любую поклевку. И у дяди замечательный поплавок, и у папы.

Потому что поплавки дядя делал сам. И грузила он отливал сам. Даже блесны он делал сам. Дядя сам выдумывал разные типы блесен и грузил. Некоторые типы даже были приняты на вооружение в рыболовных магазинах. Пойдите-ка в рыболовный магазин на Кузнецком мосту и спросите, есть ли у них блесна́ «власовка». Вам скажут, что есть. Эту блесну придумал дядя; он назвал ее так в честь своего друга Власова. Все наши снасти сделаны дядей собственноручно. Только лески дядя покупал в магазине. И удочки. И еще кое-что. Но все это он потом переделывал. Переделывал дядя отлично. Дядя всегда все делал отлично, с любовью. «Никогда, ни в каком деле нельзя халтурить!» — говорил дядя. Халтурить — это значит делать плохо. Дядя никогда не халтурил, даже в мелочах, даже что-то переделывая. А переделывать дядя любил.

Я смотрю только на поплавок. Но боковым зрением я вижу папу и дядю. Я вижу, как они закидывают свои удочки. Мы не разговариваем — разговаривать на рыбалке нельзя, потому что может услышать рыба. Она может услышать, что о ней говорят, и уйти. А напевать можно — но так, чтобы рыба не слышала. Напевать даже полезно — это помогает сосредоточиться.

— «Надо жизнь сначала переде...» — напеваю я и вдруг вижу, что мой поплавок вздрагивает и ложится на поверхность воды...

Это лещ! Лещ всегда так клюет. Я подсекаю и чувствую на крючке здоровую рыбу.

— Дядя! — кричу я.— Дядя!

Дядя уже бежит ко мне. Он бежит с подсачником. Дядя берет в руки мою удочку и осторожно вываживает рыбу. Ну конечно, это лещ! Вот он поворачивается боком в воде у берега. Какой здоровый! Удилище в руках у дяди изогнулось дугой. Одной рукой дядя держит удилище, а другой — подводит под леща подсачник. Выдергивать такого леща на воздух нельзя — он сорвется. Он слишком тяжелый. Наверное, килограмма два. Вот это рыба! Дядя подсачивает его и вынимает из воды.

Лещ прыгает на берегу, ударяя хвостом по яркой зеленой траве, серебристый, бокастый, широкий — как доска. Как он красив на зеленой траве! Как расплавленное олово!

Я дико пляшу вокруг леща.

— Перестань! — говорит дядя.— Ты распугаешь всю рыбу.

Дядя пускает леща в садок, к другим рыбам, которых поймали он и папа. Садок привязан в воде под кустиками. Там несколько здоровых лещей. И несколько плотвиц. Когда к ним подходишь, они начинают барахтаться.

Мы продолжаем ловить. Клюет хорошо. Я то и дело вытаскиваю на берег рыбу. Небольшую я вытаскиваю сам, а крупную — вместе с дядей.

## ЧЕТВЕРНАЯ УХА

А солнце уже сияло вовсю. Туман рассеялся, и я увидел, что мы вовсе не на краю света.

Я увидел далеко-далеко всю Учу, извивающуюся посреди зеленых берегов. Позади меня был луг, по которому бродило пять белых козочек, а за лугом была деревня, а за деревней был лес. На другом берегу реки тоже были луга и за лугами тоже лес. Леса стояли едва приодетыми, кое-где они были совсем серыми, а кое-где коричневыми, а кое-где лиловатыми, а кое-где зеленоватыми и желтоватыми — такими нежными-нежными, какими бывают только весной.

Я увидел нашу палатку на берегу возле баньки и кучу хвороста возле палатки, и маму, которая бродила по берегу и собирала хворост. Ханг и Чанг крутились возле нее — они тоже собирали хворост.

Позади мамы я увидел каких-то людей, которые приближались к нам с удочками в руках. Через некоторое время они остановились позади нас.

— Здравствуйте! — сказал первый.— Ни пуха ни пера!

— К черту! — сказал я.

— Ну как, плохо? — спросил второй.

— Да нет, ничего,— сказал дяля, не оборачиваясь и глядя на поплавок.— А у вас как?

— Плохо! — сказал первый.— Что-то не клюет...

— А у вас очень плохо? — спросил второй.

— У нас очень хорошо! — сказал я.

— Штук пять поймали?

— Мы больше поймали!

— Мелочь?

— Ничего не мелочь!

— Где?

— Да вон там, в садке,— сказал я небрежно.

И тут я вижу, что дядя смотрит на меня уничтожающим взглядом. Но уже поздно!

Эти двое подходят к садку, приподнимают его и ахают от удивления. Они сразу же располагаются рядом ловить. Вот почему дядя так на меня посмотрел. Теперь мне от дяди попадет...

— Вы идите подальше,— говорю я.— Всем тут тесно!

— Ничего не тесно! — говорит первый.— Поместимся.

— Вы что, это место купили? — говорит второй.

Они становятся между мной и дядей и забрасывают свои удочки. Дядя зловеще молчит. И те двое молчат. Мы все молчим.

У дяди клюет, и он вытаскивает большого леща. Просто огромного! У тех двоих глаза лезут на лоб. Они молча забрасывают свои удочки прямо дяде под нос. И, конечно, сразу зацепляются за дядину удочку.

— Не кидайте под руку! — сдержанно говорит дядя, отцепляя свою удочку.— Что вам, места на реке не хватает?

— Нам-то хватает! — говорит первый.— Это вам не хватает! Захватили лучшее место!

— Ты что, это место купил? — зло говорит второй.

— А ты мне не тыкай! — говорит дядя.— Все равно вы ничего не поймаете!

— Почему это мы не поймаем?

— Потому что вы не умеете ловить! — говорит дядя.

— Это мы еще посмотрим! — говорит второй.

Тут дядя опять вытаскивает леща. И я вытаскиваю. И папа вытаскивает. А те двое не вытаскивают. Они просто зеленеют от злости. И опять закидывают свои удочки прямо под нос дяде. Мы закидываем тихо, почти неслышно, а они размахивают своими палками, как цепами; снасть у них грубая, крючки с червяками болтаются под самым поплавком, и поплавки у них огромные, тяжелые — они оглушительно плюхаются в воду.

— Доннерветтер! Это уже слишком! — говорит дядя.— Пойдемте. А вы все равно ничего не поймаете! Попомните мое слово!

— Мы знаем слово,— говорю я.— А вы не знаете слова. Вот вы и не поймаете.

— Ишь колдуны какие нашлись! — говорит первый.

— Уматывайте лучше отсюда! — говорит второй.— А то мы вам сейчас покажем, какое слово!

— Ничего вы нам не покажете! — кричу я.

— Замолчи! — говорит папа.— Я запрещаю тебе разговаривать!

Дядя вынимает садок, и мы гордо идем мимо этих двух со своей рыбой. Я помогаю дяде нести садок. Он очень тяжелый. В нем, наверное, пуда два рыбы. Эти двое смотрят на нас с ненавистью. А мы на них не смотрим. Что нам на них смотреть! Пусть они на нас смотрят.

У палатки нас весело встречают Ханг и Чанг. И мама. Мама не любит ловить рыбу. А Хангу и Чангу запрещено появляться в том месте, где мы ловим рыбу. Так их выдрессировал дядя. Если бы их так не выдрессировать, они перепугали бы всю рыбу.

*К стр. 510*

Когда они были маленькими, с ними невозможно было ловить. Стоило только закинуть удочку, как они сразу прыгали в воду: они думали, что им кидают «апорт». И на лодке с ними тоже невозможно было плавать, потому что они все время прыгали в воду и плыли к берегу. А потом плыли назад и осаждали нашу лодку — «брали ее на абордаж», как говорил дядя. «Брать на абордаж» — это значит атаковать какой-нибудь корабль с воды. Я очень любил, когда они «брали нас на абордаж»,— это было очень весело! Я воображал себя матросом и отражал атаки, когда Ханг и Чанг пытались залезть в лодку. А дядя был адмиралом — он командовал. А иногда я тоже был адмиралом. Мы отпихивали Ханга и Чанга от лодки, а иногда вступали с ними врукопашную. Ханг и Чанг лаяли и поднимали вокруг лодки целую бурю, бестолково ударяя лапами по воде. Вот было весело! А потом они выбивались из сил и просили пощады, жалобно повизгивая, и мы сами втаскивали их в лодку: брали их в плен... Они сидели в лодке мокрые и дрожали, как настоящие пленные пираты. Но потом дядя выдрессировал их. Они научились спокойно сидеть в лодке и не рыпаться. В воду они прыгали только тогда, когда им приказывал дядя.

Когды мы подходим к палатке, Ханг и Чанг встречают нас радостным лаем. Они любят рыбу: сырую и вареную. Дядя сразу кидает им несколько рыбин, и они весело уплетают их. Потом дядя идет к реке чистить рыбу. Мама ему помогает. А мы с папой разводим костер, чтобы варить уху.

Я очень люблю разводить костер! Не каждый умеет развести костер, а тем более зажечь его одной спичкой. А я умею — меня дядя научил! Надо непременно зажечь костер одной спичкой... Почему? Во-первых, потому, что спички в путешествии надо экономить. Это закон всех настоящих путешественников. Это вам могли бы подтвердить и Амундсен, и Нансен, и Пржевальский, и Миклухо-Маклай. А уж это были настоящие путешественники!

Представьте себе, что вы остались где-нибудь в пустыне с одной спичкой в кармане. Или где-нибудь на Северном полюсе — это еще хуже, потому что в пустыне жарко, а на Северном полюсе холодно. И вот вы остались с одной спичкой, и вам нужно зажечь костер, чтобы сварить себе что-нибудь поесть или согреться. Можно, конечно, зажечь костер от солнца, с помощью увеличительного стекла. А если солнца нет? Если все небо закрыто облаками? Или ночью? А вам нужно развести костер! Можно, конечно, раздобыть огонь трением — по способу древних людей. Это я тоже умею. Но это очень долго, на это надо потратить несколько часов. А тут надо сразу развести костер.

Допустим, у вас кто-нибудь болен, и нужно срочно вскипятить воду, чтобы продезинфицировать шприц и сделать больному укол. Или просто напоить его чаем. И вы зажигаете свою последнюю спичку и подносите ее к дровам. А она обжигает вам пальцы и тухнет! И дрова не загораются. Это, конечно, позор! Вот почему так важно уметь зажечь костер одной спичкой. Это во-первых. А во-вторых, зажечь костер одной спичкой — это *мастерство*, это высший класс! А мастерство всегда вызывает уважение.

Мы с папой разводим свой костер мастерски. Сначала мы расчищаем для костра место. Потом мы берем самый тонкий, самый сухой хворост, ломаем его на мелкие кусочки и кладем в середину расчищенного места на землю, тесно прижав друг к другу веточки хвороста. Если у вас нет под рукой хвороста, можно нащепать щепок топором от бревна. Конечно, если у вас нет под рукой хвороста и бревен, если вообще нету дров, вы не разведете никакого костра. Чтобы развести костер, надо иметь дрова. Тут уже никуда не денешься!

Разводить костер надо не спеша, тщательно. «Поспешишь — людей насмешишь»,— всегда говорил дядя. Если поспешишь, все равно опоздаешь, потому что сделаешь что-нибудь не так и придется все начинать сначала. Только зря потеряешь время. А время идет, время никогда не стоит на месте!

Поэтому мы с папой все делаем тщательно. На мелкий хворост мы кладем хворост потолще, тоже сухой. А на него — еще потолще. А сверху мы кладем толстые полешки, толщиной в руку. Все это мы кладем крест-накрест. Еще мы следим за направлением ветра и складываем дрова так, чтобы самый сухой, пылкий хворост лежал с краю, а не в середине кучи, чтобы он лежал с *наветренной стороны*. Наветренная сторона — это та сторона, с которой дует ветер. С этой стороны и поджигают костер. Тогда огонь пойдет на дрова, и они быстрее загорятся. Если ветра нет, можно сухой хворост класть в середину — тогда огонь тоже пойдет на дрова.

Я зажигаю спичку и подношу ее к хворосту — хворост мгновенно вспыхивает и разгорается с веселым треском. Огонь лижет дрова. Сейчас нельзя их трогать — надо им дать разгореться. Когда они хорошенько займутся, мы соорудим нодью. Вы знаете, что такое *нодья*?

Это особый вид костра, который горит очень долго. Такой костер горит всю ночь, до самого утра, и дает очень много тепла, и вы можете спокойно спать у огня, забыв обо всем на свете, а когда вы утром проснетесь, костер будет гореть. Вот какой это костер!

Чтобы сделать нодью, надо найти два толстых бревна. Чем

толще, тем лучше. Мама нашла неподалеку два толстых сухих бревна. Мы все идем за этими бревнами: я, дядя, папа, мама, Ханг и Чанг. И притаскиваем их к костру.

Мы кладем их на костер параллельно, так, чтобы огонь приходился как раз на середину бревен. Когда бревна займутся, они начинают гореть медленно и верно — спокойным, ровным огнем. Теперь они будут гореть до утра. Когда они перегорят — а это не скоро,— надо их просто подсунуть с двух сторон на костер, и они опять будут долго гореть.

Теперь мы все сидим у костра. Наш костер горит очень торжественно. И солнце в небе горит торжественно — высоко над нами. Становится жарко. Мы все с себя снимаем и остаемся в одних трусах. Хангу и Чангу тоже становится жарко, но они не могут снять своих шуб, поэтому они ложатся в стороне от костра, высунув красные языки и оскалив клыки, и тяжело дышат.

Время обеда, и мы начинаем варить *четверную уху*. Вы знаете, что такое четверная уха?

Сейчас я вам расскажу.

Чтобы сварить четверную уху, надо иметь много рыбы. У нас-то ее достаточно! Мы набираем в котелок воды, укрепляем его над огнем и бросаем туда несколько луковиц, лавровый лист и перец горошком. А потом мелкую рыбу. Мы варим ее долго, пока она совсем не разварится. Когда рыба разварится, мы процеживаем уху через марлю, отдаем рыбу Хангу и Чангу, а юшку ставим опять на костер.

Теперь мы варим в этой юшке рыбу покрупнее. И опять все процеживаем. Третий раз мы варим головы и хвосты крупных рыб и опять все процеживаем. Под конец мы кладем в уху несколько картошек и, когда они сварятся, кладем туда большие, тщательно промытые куски крупной рыбы, а также молоки, икру и печенку.

Четвертый раз варим уху совсем недолго — мы даем ей закипеть три раза и снимаем с огня. Теперь она должна постоять закрытой минут двадцать — и уха готова!

Вот это и есть *четверная уха*. Вот это уха! Это, я скажу вам, уха! Потрясающая уха!

Если вы никогда не ели такой ухи, обязательно сварите ее и попробуйте. Ничего нет вкуснее такой ухи. Неплохо, конечно, сварить такую уху на ершиной юшке, а под конец уже добавить крупную рыбу. Это еще вкусней. Но для этого надо наловить много ершей. А можно и без ершей. Все равно будет здорово! Но обязательно надо, чтобы было много рыбы и чтоб она была свежая — только что из реки,— и нельзя во время варки добавлять воду. Вот тогда и получится настоящая четверная уха.

И еще надо иметь большую ложку, чтобы есть эту уху. И непременно деревянную — из деревянной ложки уха намного вкуснее, нежели из железной. И не такая горячая.

Вот тогда вы поймете, что это такое — четверная уха! Ух-ха-ха, что это за уха!

...Мы сидели прямо на земле возле костра и ели уху, обливаясь по́том. У меня на глазах даже выступили слезы — такая она была вкусная! «Крокодиловы слезы» — называл их дядя. У меня всегда выступали слезы, когда я ел такую уху. Уха была совершенно прозрачной, янтарного цвета, сверху на ней плавали плошки жира и несколько угольков, упавших в нее из огня, а пахла она дымом, и лавровым листом, и перцем... Но я не могу вам описать, какой вкусной была уха, вы должны ее сами попробовать.

Сначала мы ели одну юшку с картошкой, а мясо вынули, положили на крышку котелка и съели потом.

Мясо лещей было совершенно белое, а у плотвы желтоватое, а у подустов розоватое. Все оно было нежное-нежное и таяло во рту.

Ханг и Чанг лежали рядом на траве и смотрели, как мы ели уху. Они смотрели на нас совершенно равнодушно, потому что уже наелись. Мы тоже быстро наелись. Первым отвалился я. Потом отвалилась мама. А потом папа. Дядя отвалился последним, растянулся на траве и закурил свою трубку. Дядя всегда отваливался последним, потому что ел медленно и не спеша, и всегда заканчивал рыбьими головами; он всегда тщательно разделывал рыбьи головы и так обсасывал каждую косточку, что ее можно было сдавать в музей,— так говорил сам дядя. Дядя считал, что рыбьи головы — самое вкусное и что вкуснее ничего не бывает. Но я так не считал. Я быстро отваливался, и валился на землю, и раскидывал руки, лежа на спине, и смотрел в небо.

В небе текли облака; я лежал и смотрел на них и думал о том, как прекрасно жить на свете, когда у тебя есть такой дядя, который так здорово умеет ловить рыбу и делать из нее четверную уху и который вообще все умеет делать!

И тут вдруг заворчали собаки...

## ЧЕЛОВЕК С КОСТЫЛЕМ

Я приподнялся на локте и увидел, что мимо нас идут *те двое*. Они несли в руках свои удочки, а больше у них ничего не было. Они ничего не поймали!

— Ну как, поймали? — крикнул я им нарочно.

Ханг и Чанг смотрели на *этих двоих*, рыча и скаля зубы. Шерсть на них встала дыбом.

— Уберите собак! — сказал первый и остановился.

Второй тоже остановился. Он был совсем бледный.

— Идите...— крикнул им дядя.— Собаки не тронут!

*Те двое* снова двинулись, следя за собаками и далеко обходя нас по берегу.

— Ну как, поймали? — опять крикнул я.

Но они ничего не ответили. Я засмеялся.

— Перестань,— сказала мама.— Зачем ты их дразнишь?

Но *те двое* ничего не ответили. Да и что им было ответить?.. Но когда они отошли подальше, второй вдруг обернулся.

— А собак надо держать в намордниках! — крикнул он.— Шляются тут всякие! Мы милицию вызовем!

— Вот видишь! — сказала мама.— Теперь будут неприятности.

— Ничего не будет! — сказал дядя.— Никого они не вызовут. А вызовут — тоже не будет.

— А может быть, будет,— сказала мама.— Мало ли что они наговорят... И будут неприятности. Не надо было их дразнить. И показывать им свою рыбу. А уж если показали, научили бы их ловить!

— Вот еще! — сказал дядя.— Буду я каждому первому встречному открывать свои секреты!.. Правда, Чанг?

Чанг лизнул дядю в нос. И Ханг тоже лизнул дядю в нос.

Я тоже сказал:

— Правда, Чанг?

И собаки по очереди лизнули меня в нос

— Ты-то уж помолчи! — сказал дядя.— Это все ты виноват! Вечно лезешь не в свое дело!

— А что он сделал? — спросила мама.

— Подробности не имеют значения! — сказал папа.

— Сколько раз я тебе говорила,— сказала мама,— сколько раз я тебе говорила: не лезь в разговоры взрослых! Ты всегда все испортишь!

— Ну ладно,— сказал папа.— Ничего не произошло, а вы уже волнуетесь. Давайте лучше отдохнем.

Мой папа всегда всех успокаивал. Он был очень тихий человек.

Мы прилегли отдохнуть. Мы залезли в палатку — там была тень. Ханг и Чанг легли возле палатки.

Я лежал у входа в палатку на своем плаще на животе, положив локти на рюкзак, а подбородок — на руки, и смотрел на желтый одуванчик. Одуванчик рос прямо передо мной, у входа в палатку. У него были зубчатые остро-зеленые листья,

а сам он был ярко-желтый, ядовитого цвета, потому что он только что распустился. Это был первый весенний одуванчик. На его цветке ползала какая-то черненькая букашка. У букашки было блестящее, приплюснутое с боков тельце величиной с пшеничинку и маленькая-маленькая головка, величиной с булавочную головку. На головке торчало два тоненьких усика, тоненьких, как паутинки, и букашка все время шевелила этими усиками, барахтаясь в лепесточках цветка. Я опустил глаза и посмотрел *сквозь одуванчик*. Одуванчик сразу стал огромным; он заслонил собою весь мир: он заслонил толстые бревна костра, и огонь над ними, и маленькую березку позади костра, и луг позади березки, и пять белых козочек, бродивших по лугу, и деревню за лугом, и небо, и облака.

И я представил себе мир с точки зрения этой букашки. «Каким он должен представляться ей огромным, этот мир!» — подумал я о букашке и закрыл глаза... И увидел поплавок! Да, да, я увидел поверхность реки и на ней *мой поплавок*, который дергался, и по воде от него расходились круги, и он начинал тонуть...

Я открыл глаза — и опять видел темный силуэт одуванчика на фоне вспыхивавшего неба и пестрой земли, которые опять уплывали, когда я закрывал глаза,— и тогда я опять видел поплавок на воде, а потом опять одуванчик, небо и землю, а потом опять поплавок... И тут я заснул.

Я проснулся от шума.

— Ханг! Чанг! Ханг! Хачанг! Доннерветтер! Хачанг!..

«Что такое?» — подумал я. Я сначала подумал, что это мне снится. Но это не снилось. Это кричали папа, мама и дядя.

— Хачанг! — кричал дядя.— Хачанг!

Когда дядя звал двух собак сразу, он всегда кричал «Хачанг».

Я вскочил и огляделся по сторонам.

Я увидел на лугу потрясающую карусель! Вот это была карусель! Я увидел, как по широкому кругу носятся: маленькая беленькая козочка, за козочкой — Ханг, за Хангом — Чанг, за Чангом — дядя, за дядей — папа, за папой — мама, за мамой — *те двое, а за теми двумя — какие-то женщины*... Шум стоял страшный. Дядя орал, папа кричал, мама кричала, козочка блеяла, женщины причитали, *те двое* ругались. Только Ханг и Чанг мчались по кругу молча. Языки у них были вывалены, клыки оскалены, шерсть стояла дыбом, а глаза чуть не выскакивали из орбит.

А в середине этого сумасшедшего круга стояли еще четыре козочки, тесно прижавшись друг к другу и дрожа с головы до ног. И тоже блеяли.

Вот это была карусель, скажу я вам! Такой карусели я в жизни не видывал. Ни до, ни после. Вот это была карусель!

Потом-то я смеялся. И дядя смеялся, и папа, и мама смеялись, но в тот момент нам было не до смеха.

Я кинулся в этот круг наперерез собакам, прямо на Ханга, и через секунду Ханг сбил меня с ног. В тот же момент на нас налетел Чанг, и мы покатились клубком по земле. Ханг и Чанг кусали друг друга, и шерсть летела от них клочьями.

— Так ему! — кричал дядя.— Дай Хангу! Дай ему!

Я так и знал, что это подстроил Ханг. В нем пробудились звериные инстинкты. В нем часто пробуждались звериные инстинкты, когда он видел близко какую-нибудь кошку, козу или теленка. Такое уж он был существо!

И вдруг я увидел человека, который бежал к нам из деревни через луг, как-то странно припрыгивая. Он бежал, опираясь на костыль, в правой руке он держал ружье. Он хотел застрелить собак!

— Дя-дя-а! — заорал я.— Дя-дя-а! — и указал рукой на человека с костылем.

Но дядя уже его сам заметил. Мой дядя все замечал вовремя.

— Хачанг! — прошипел дядя одними губами.

В мгновение ока черный клубок превратился в Ханга и Чанга. Они встали и послушно подошли к дяде, зализывая свои раны.

— Сидеть! — прошипел дядя.

— Что здесь происходит? — крикнул человек с костылем.

Он подходил к нам. Он был в фуражке с красным околышем. И *те двое*, и три женщины тоже подошли к нам, возбужденно разговаривая и размахивая руками. Все они остановились на почтительном расстоянии, потому что Ханг и Чанг оскалили зубы и зарычали. Вид у них был внушительный!

— Что здесь происходит? — грозно повторил человек с костылем.

— Какие-то иностранцы! — крикнул первый из *тех двоих*. — Шляются тут по берегу!

— Что вы говорите! — сказала мама.— Какие мы иностранцы!

— Ясно, иностранцы!

— Костры палят! — крикнула женщина.

— Коз травят! — крикнула вторая.

— И рыбу травят! — крикнул один из *тех двоих*. — Я сам видел! Вон тот! — и показал пальцем на дядю.

— Боже мой! Этого еще не хватало! — сказала мама.

— Потрудитесь объяснить! — сказал человек с костылем.— А собак надо держать в намордниках!

— А вы кто такой? — спросил дядя.

Дядя был совершенно спокоен. Он только попыхивал своей трубкой.

— Я бригадир! — сказал человек, поправляя на плече ружье.— В чем дело?

— Ни в чем! — сказал дядя, не вынимая изо рта трубки.— Я не понимаю, что вы так разволновались! Просто мы здесь отдыхаем. И ловим рыбу.

— Вы лучше расскажите, как вы ее травите! — крикнул *один из тех.* — Я сам видел! Бомбами!

— Мы их прикармливали! — сказал я.— Глиняными пирогами!

— Помолчи! — сказал папа.— Подробности не имеют значения...

— Знаем мы эти пироги! — крикнул второй из *тех двоих.* — Травили! Я сам видел — бомбами!

— И коз травили! — крикнула одна из женщин.

— Никто их не травил! — сказал дядя.— Козы сами полезли к собакам. Они полезли первые! Собаки их немного погоняли, вот и все.

И тут все женщины затараторили разом: «Что это такое!.. Ну и дела!.. Иностранцы!.. Травили... Намордники... Забрать!.. Козы ели собак... Моя коза!..»

«Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р!» — сказали Ханг и Чанг.

И тут один голос покрыл все остальные:

— Моя коза! Моякозамоякозамоякоза! Где коза?

Это кричала хозяйка козы.

Дядя обернулся.

И все обернулись.

*Но там, куда все посмотрели, стояло только четыре козы. Пятой козы, той, которую гоняли по кругу, не было видно...*

— Они ее съели! — крикнула женщина.

— Утопили!

Все опять зашумели.

— Тише! — сказал человек с костылем.— Ваши документы! — обратился он к дяде.

Подойти он боялся из-за собак.

— Придется проследовать в контору! — сказал он.— Там разберемся.

— Место! — приказал дядя собакам и подошел к человеку с костылем.

Дядя отдал ему документы. Человек стал их просматривать.

Мы молчали, а женщины о чем-то перешептывались с *теми двумя* и смотрели на дядю. А мы смотрели на человека с

костылем. Вдруг его лицо прояснилось. Он посмотрел на дядю, но совсем по-другому. Он был смущен.

— Очень сожалею, товарищ,— сказал он дяде.— Но придется проследовать. И вам придется проследовать,— сказал он *тем двоим* и женщинам.— Там разберемся!

*Но тут вдруг раздалось блеянце — оно шло откуда-то с неба.*

Все посмотрели наверх...

— Вон ваша коза! — сказал дядя.

Он ткнул трубкой в небо. И все увидели козу...

*Коза стояла на трубе, на крыше деревянной баньки...*

Сначала все оторопели, а потом рассмеялись. Первым рассмеялся дядя, потом я, потом мама, потом папа, а потом человек с костылем, а потом женщины. А *те двое не смеялись* — они стояли мрачные.

— Ну и дела! — сказал человек с костылем.— Бывает! — и отдал дяде документы.

— Манечка! — крикнула хозяйка козы.— Подь сюда, Манечка!

Коза заблеяла, но не слезла.

— А насчет рыбы вы не сомневайтесь! — сказал дядя.— Мы ее не травили.

— Я и не сомневаюсь, товарищ начальник! — сказал человек с костылем.— Хорошие у вас собаки!

— Чудо собаки! — сказал дядя.

— Я вижу, что чудо!

— Породистые! — сказал я.— Медалисты!

— Я вижу! Можно погладить?

— Пожалуйста! — сказал дядя.— Они не тронут. Лежать! — приказал он.

Ханг и Чанг легли на траву. Человек с костылем осторожно погладил сначала Ханга, потом Чанга.

— А нам можно? — спросили женщины.

— Гладьте, гладьте! — сказал я.— Гладьте!

Женщины тоже погладили собак.

— Сроду таких не видывала! — сказала хозяйка козы.

— А конфетку возьмут? — спросил человек с костылем.

Он достал из кармана конфетку и по очереди протянул ее Хангу и Чангу. Те гордо отвернулись.

— Ну и собаки! — засмеялись женщины.— Умнее людей!

— Еще бы! — сказал человек с костылем.— Военные! Отдай им конфетки,— сказал он и протянул мне две конфетки.

Я кинул конфетки — Ханг и Чанг молниеносно лязгнули челюстями.

— Глянь-кось! — сказала одна из женщин, и все опять засмеялись.

— Разве можно таким умницам надевать намордник?! — сказал человек с костылем.— Разве можно! — И он опять погладил собак.

— А нам можно погладить? — спросил первый из *тех двоих*.

Но человек с костылем строго на него посмотрел.

— А ваши документы? — спросил он.

— С собой нет,— сказал первый.

— Как так?

— Нет с собой,— сказал второй.

— Ты знаешь их, Марья? — спросил человек с костылем у одной из женщин.

— Этих-то? — переспросила Марья.

— Не знаем! — сказала хозяйка козы.— Подь сюда, Манечка!

— Видать видели,— сказала третья,— а кто такие, не знаем. Мало ли кто...

Человек с костылем нахмурился.

— Придется пройти в контору! — сказал он *тем двоим*.

— Товарищ начальник!..— начал было первый.

— Да забрать их! — сказала хозяйка козы.— Мало ли кто тут шляется... Взбаламутили всех!

— Хороших людей обидели! — сказала другая.

Человек с костылем приложил к козырьку руку.

— Всего хорошего! — сказал он дяде.— Желаю приятно провести время! А вы пройдите...

## ШАРОВАЯ МОЛНИЯ

— Вот к чему приводят разговоры некоторых безответственных личностей! — сказал дядя, когда мы остались одни, и посмотрел на меня долгим взглядом.— Признаешь свои ошибки?

— Признаю! — сказал я тихо.

— Ну, раз признаешь, пойдем ловить! Хотя мы вряд ли что-либо поймаем...

— Почему?

— Кости болят,— сказал дядя.— К дождю...

Но мы все-таки пошли — «для очистки совести», как говорил дядя.

Мы опять заняли свои места возле кустиков. Было часов семь вечера. Должен был начаться вечерний клев. Но рыба не клевала. Очевидно, она предчувствовала перемену погоды. Рыба

это всегда остро чувствует. Тогда она не клюет: она уходит в глубину и там сидит, ожидая перемен.

Мой дядя тоже остро чувствовал перемену погоды. К перемене погоды у дяди всегда болели старые раны. И ныли кости. Дядя всегда очень точно предсказывал перемену погоды. Лучше всякого бюро погоды. Потому что дядя был очень нервный. И раненый. А спокойным дядя был просто потому, что у него была очень сильная воля. На самом деле он был очень неспокойный — внутренне. Но этого он никому не показывал. «Учитесь властвовать собою!» — часто говорил мой дядя разным невыдержанным людям. Сам-то он властвовал собою прекрасно! И погоду он предсказывал прекрасно! Дядя умел предсказывать грозу, дождь, снег, заморозки и жару. И все всегда точно сбывалось. И сейчас дядя тоже сказал:

— Будет гроза! — и показал на запад.

На западе над горизонтом появилась темно-синяя полоса, которая постепенно росла. Скоро полоса закрыла солнце и стала быстро приближаться, заволакивая все небо. Подул ветер, и стало прохладно. Зарябила река, сразу потемнев; испуганно затрепетали ивовые кустики. Ласточки носились над самой водой, тоже предвещая грозу. Я с трудом закидывал свою удочку — сильные порывы ветра отшвыривали леску назад. Ветер дул нам в лицо. За поплавком стало невозможно следить, потому что было непонятно: клюет ли рыба или поплавок просто дергается от ветра. Стал накрапывать дождь.

Мы побежали в палатку. Мама была уже там. И Ханг и Чанг тоже сидели там. Мы все залезли в палатку. В палатке было тесно, темно и уютно.

По брезенту барабанил дождь. Он барабанил все сильнее, и ветер дергал за край брезента, пытаясь повалить палатку. Но дядя поставил ее крепко.

Я опять лежал у входа и глядел наружу. И дядя глядел наружу. Потому что мы с дядей любили грозу. А мама не любила грозу. И Ханг и Чанг тоже не любили грозу.

— «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом!» — громко прочел дядя.— Вот как надо писать стихи! Это Тютчев! Прекрасный поэт. Он изумительно чувствовал природу. Запомни это, мой мальчик!

Но тут сверкнула молния и ударил такой гром, что все вздрогнули...

— Ничего себе «играя»,— сказала мама.

— Доннерветтер! — крикнул дядя.— Стихия! Это прекрасно! Это возвышает человека. А воздух! Какой воздух!

Меня тоже охватил восторг.

— «Дождик, дождик, пуще, дам тебе гущи!» — заорал я.

Опять сверкнула молния и ударил гром — прямо над нашими головами. Ханг и Чанг заворочались и жалобно заскулили.

— «Мы шли под грохот канонады...» — запел дядя.

— «Мы смерти смотрели в лицо!» — подхватил я восторженно.

Гром! Молния!

— «Вперед продвигались отряды...» — пел дядя.

Молния! Гром!

— «Спартаковцев, смелых бойцов!» — орал я.

Молния!! Гром!! Гром!! Молния!! Это наступают враги! Но мы с дядей не боимся!

Ветер рвет стены палатки! Удар! Еще удар! А мы поем!

— Ура-а! — кричу я.

Ханг и Чанг подняли морды и завыли.

— Замолчите! — кричит мама.— У меня лопнут перепонки! — Она закрыла уши руками.

Папа тоже что-то сказал, но его совсем не было слышно.

Мы с дядей не обращали на них внимания.

— «Вихри враждебные веют над нами...» — затянул дядя.

— «Темные силы нас злобно гнетут!» — подхватил я.

В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут!..

Взрыв!! Удар!! Еще удар!!

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!..

Грохочет канонада! Ослепительно вспыхивают разрывы! Пулеметы хлещут по стенам палатки! Но мы с дядей не обращаем внимания! Мы поем во все горло! Мама сидит, зажав уши руками. А папа тоже поет — одними губами. Ханг и Чанг смотрят на нас с удивлением. От удивления они даже выть перестали. Сидят и дрожат...

Так мы с дядей допели до конца. Под аккомпанемент грома и молнии. Мой дядя прекрасно поет! И я прекрасно пою, особенно вот так, во время грозы. И в ванной, когда течет вода. В ванной я тоже прекрасно пою. Но лучше всего я пою во время грозы! Во время грозы я пою замечательно.

Порывы ветра постепенно стихают, и дождь становится более ровным. И гроза удаляется.

Я выглянул из палатки. Стало совсем темно. Костер наш давно потух — его не слышно и не видно. Вообще ничего не

видно. И я опять чувствую себя на краю света. Опять в целом мире нет ничего, кроме этой палатки, затерянной в кромешной тьме, и никого, кроме меня, дяди, мамы, папы, Ханга и Чанга.

И вдруг я услышал какой-то жужжащий, посвистывающий звук...

— Что это? — спросила мама.

Дядя открыл полог и выглянул из палатки.

— *Шаровая молния!* — сказал дядя.

*У входа в палатку висела шаровая молния величиной с человеческую голову.*

Молния висела совсем низко над травой, сантиметрах в тридцати от земли. Она излучала мертвенный свет и выбрасывала искры, издавая жужжащий и посвистывающий звук. Казалось, она раздумывала, зайти в палатку или не зайти...

Чанг зарычал и хотел на нее броситься, но дядя вовремя схватил его за загривок.

— Лежать! — прошептал он.

Мы лежали и смотрели на молнию, как загипнотизированные.

— Хотите, я ее вам поймаю? — спросил дядя.

— Замолчи! — крикнула мама.— Ты сумасшедший! Я запрещаю тебе ловить эту молнию! Подумай о ребенке!

— Ты ее можешь поймать? — прошептал я.

— Запросто! — сказал дядя.

*И тут молния двинулась — она стала приближаться к палатке... Красивый светящийся шар медленно плыл в воздухе, жужжа и разбрызгивая искры, как огромный бенгальский огонь...*

— Нагните головы! — сказал дядя.

Мы прижались к земле. Собаки тоже прижались к земле. Молния стояла совсем рядом над моей головой, обрызгивая меня белыми искрами. Она была так близко, что если бы я протянул руку, *я бы достал ее рукой!*

Все вокруг осветилось таинственным светом: трава, край брезента, наши головы на земле... Позади молнии все было темным-темно. Молния опустилась, коснулась мокрой травы... Я услышал шипение пара... *И вдруг она исчезла! На месте молнии осталась легкая дымка...*

Я вскочил. Ханг и Чанг тоже вскочили и принялись рыть лапами землю в том месте, где исчез огненный шар.

— Где она? — спросил я.

— Ушла в землю,— сказал дядя.— Молния всегда уходит в землю.

— А почему она не взорвалась?

— Скажи спасибо, что она не взорвалась! Нам просто повезло! — сказала мама.

— Нам действительно повезло! — сказал дядя.— Как нам повезло! Такие вещи встречаются чрезвычайно редко! Можно прожить всю жизнь, так и не увидев шаровой молнии! Я считаю, что нам просто сногсшибательно повезло!

— Лучше бы нам так больше никогда не везло! — сказала мама.

— Ты ошибаешься! — сказал дядя.— Это такое счастье! Тем более для мальчика!

— Ты сумасшедший! — сказала мама.— Ты всегда был сумасшедшим и остался сумасшедшим! И всегда будешь сумасшедшим! Хоть я тебя и люблю!

— Я тебя тоже люблю! — крикнул дядя.— Раскрасавица ты моя!

Они поцеловались. Мама действительно была очень красивой.

— А ты ловил шаровую молнию? — спросил я.

— Ловил! — сказал дядя.

— Как?

Дядя достал свою трубку, набил ее табаком из кисета, раскурил и выпустил сквозь усы целое облако дыма.

— Один раз,— сказал он,— во время рыбалки я вот так же увидел шаровую молнию. Она остановилась метрах в трех от меня, она была еще больше этой, огромная — около метра в диаметре! Не то что эта малютка!

— А бывают еще больше? — спросил я.

— Еще бы! — сказал дядя.— Бывают до двадцати метров в диаметре. Но моя была небольшая — около метра. Так вот...

— А как ты ее поймал?

— Не перебивай дядю! — сказала мама.

— *На блесну! Я поймал ее на блесну!*

— Эх-хе-хе! — сказал папа.

— Я поймал ее на блесну! — повторил дядя и свирепо посмотрел на папу.— Правда, сначала я допустил ошибку...

— Какую ошибку?

— Сначала я схватил подсачник и хотел ее поддеть подсачником. Но это было глупо, потому что она его тут же прожгла! Тогда я сообразил! Я схватил свой спиннинг и показал ей блесну! И она пошла на блесну... Она таки клюнула, доннерветтер! — Дядя восторженно рассмеялся.

— А дальше? — спросил я.

— Она присосалась к блесне и повисла на спиннинге! Вот это было зрелище, скажу я вам! Она висела и кипела, а

я держал ее на весу. Мне совсем не было тяжело, потому что она была легкая, как пушинка!

— А куда ты ее дел? — спросил я.

— Вот в том-то и дело...— развел дядя руками.— В том-то и дело, что я не знал, куда ее деть! Рюкзак она бы прожгла. И ушла бы в землю! Вот если бы у меня был асбест или еще какой-нибудь изоляционный материал, можно было бы выложить этим материалом рюкзак и запихнуть ее туда... Можно было бы попробовать. Но ничего такого под рукой не было. Так я и ходил по берегу, как дурак,— с молнией на спиннинге... Хотя это было красиво! Видели бы вы, как это было красиво! Я очень долго ходил...

Дядя опять затянулся своей трубкой.

— Потом я придумал, куда ее деть!

— Куда? — выдохнул я.

— Я посадил ее в ведро! — засмеялся дядя.— В ведро с водой, предварительно насыпав туда чаю. И она в мгновение ока вскипятила мне чай! Вот это получилось здорово! Тем более, что костер затушило дождем. Сухих дров поблизости не было. Но молния прекрасно вскипятила мне чай. Что это был за чай, скажу я вам! У него был изумительный вкус! Но я не могу его вам описать, потому что на земле нет таких вещей, с которыми можно сравнить этот вкус! Это было восхитительно! Изумительно! Прекрасно! А запах! Как пах этот чай! Он пах чем-то... чем-то чуть-чуть пригорелым... железом, что ли, но таким железом, знаете ли... раскаленным! Он пах метеоритом! Вот именно! Вот чем он пах! И планетами! Он пах Марсом! Меркурием! Млечным Путем! И Солнцем! Вот что это был за чай!.. После десяти кружек этого чая я сразу почувствовал себя лет на двадцать моложе! Я взял его домой, разлил по бутылкам и добавлял по капельке в обыкновенный чай. Я пил его несколько лет, и он не портился! Помнишь, ты приходила ко мне, и я показывал тебе бутылки из-под этого чая? — спросил дядя у мамы.

— Конечно, помню! — сказала мама.— Я все помню!

— Эх-хе-хе! — сказал папа.

— А молния? — спросил я.

— Что же молния... молния ушла в землю! — сказал дядя.— Вскипятила мне чай и ушла...

# СОЧИНЕНИЕ НА ВОЛЬНУЮ ТЕМУ

Нам задали в классе сочинение на вольную тему. Это значит — писать можно было о чем хочешь. Сочинение было задано на дом.

Дело было осенью, в сентябре. Поэтому многие решили писать о том, как они провели лето. Они решили писать о море, о рыбалке, о пионерлагере. И учительница тоже советовала писать о пионерлагере.

А я решил написать о дяде, раз у меня такой замечательный дядя! Ни у кого нет такого дяди!

И лето, и пионерлагерь, и рыбалка есть у каждого. А дядя не у каждого. Тем более такой, как у меня. Я так и сказал на уроке:

— Я напишу о дяде!

— Это можно! — сказала учительница.— А кто твой дядя?

— Мой дядя — ответственный работник!

— Это очень хорошо! А чем он занимается?

— Он всем занимается!

— Ну, а все-таки?

— Он все время ездит в командировки! — сказал я.— Потом... потом он много путешествует... Рассказывает разные интересные истории... охотится... ездит на рыбалку...

Все засмеялись.

— Мой дядя тоже ездит на рыбалку! — сказала одна девочка.

— И мой папа ездит на рыбалку!

— И мой!.. И мой!..— зашумели ребята.

— А мой дядя прошел огонь, воду и медные трубы! — сказал я.

Все еще сильнее засмеялись. И учительница засмеялась. Мне стало очень обидно.

— Ничего вы не понимаете! — сказал я.— Вы не смеете так смеяться! — и сел на место.

— Тише! — сказала учительница.— Перестаньте смеяться!

Когда все успокоились, учительница сказала:

— Никто над тобой не смеется. Просто ты очень смешно сказал. Ты-то сам знаешь, что значит пройти огонь, воду и медные трубы?

— Конечно, знаю!

— Ну что же?

— Это очень трудно объяснить,— сказал я.

— А ты попробуй!

— А что мне пробовать! Я и так знаю: огонь, воду и мед-

ные трубы проходят для того, чтобы поймать свое счастье и насыпать ему соли на хвост!

Все опять засмеялись.

А учительница сказала:

— Вы не смейтесь. В общем-то, он прав. Все это не так просто. Пройти огонь, воду и медные трубы — это значит пройти тяжелые испытания. Каждый человек должен пройти в жизни свои испытания и в них закалиться. Не каждый может их выдержать. Некоторых это ломает. И тогда человек гибнет. Только тот, кто пройдет эти испытания и выйдет из них с честью, станет настоящим человеком. Каждый из вас должен стремиться к тому, чтобы стать настоящим человеком... А у твоего дяди, наверное, очень интересная биография,— обратилась ко мне учительница.— Кем он был в прошлом, до революции?

— Мой дядя сам делал революцию! — сказал я.— Мой дядя — старый большевик!

— Вот это уже интересно! — сказала учительница.— Я вот что предлагаю: давайте организуем пионерский сбор на тему об испытаниях в жизни, о смысле жизни. И поговорим обо всем подробно. Мы тебе поручаем это дело — организацию сбора. И пригласи своего дядю. Пусть он расскажет нам о себе, о революции... Ну как, согласен?

— Согласен,— сказал я.

Все посмотрели на меня с уважением. А некоторые даже с завистью. Я это видел по глазам. «Так им и надо,— подумал я,— нечего было смеяться!»

Я шел домой очень гордый и озабоченный.

Дома я сразу сел за стол и стал писать сочинение.

Я написал:

*Сочинение на вольную тему*

Потом я написал:

*МОЙ ДЯДЯ...*

И задумался. Я не знал, как начать...

Я не знал, как начать! Я хотел написать о дяде получше. Я хотел написать о том, как мой дядя был рядовым на флоте. И как он был в плену в Германии. И как он участвовал там в подпольном революционном движении. И как он бежал из плена. И пошел добровольцем в Красную гвардию. Как он примерял шинели, и все они были ему не по росту, потому что мой дядя был маленького роста. И как он потом отрéзал шинель и пошел на фронт. И остановил немцев под Нарвой. Это было в день рождения Красной Армии. Все это рассказывал мне сам дядя.

И как он был ранен. Мой дядя был ранен много раз. До сих пор он носил в своем теле осколки. Обо всем этом я хотел написать получше. И тут вдруг вошел дядя...

— Что это ты тут пишешь? — спросил он.

— Сочинение!

— О чем, если не секрет?

— О тебе!

— Обо мне? — удивился дядя.— Почему?

— Потому что ты ответственный работник... У тебя очень интересная биография.

— Этого еще не хватало! Прекрати это дело!

— Почему?

— Потому что это не скромно! Я не Юлий Цезарь! И не Александр Македонский! — Дядя был очень сердит.— Пиши о чем-нибудь другом!

— О пионерлагере?

— Можно о пионерлагере.

— Все пишут о пионерлагере!

— Тогда пиши о другом... Только не обо мне!

— А о чем?

— Писать можно обо всем! — крикнул дядя.— Например, вот об этой чашке!

— Как — о чашке?

— Очень просто! — заорал дядя.— Писал же Пушкин о чернильнице! И прекрасно написал! Конечно, надо иметь талант! Если ты бездарен, лучше не пиши! Читай, что написали другие!

— Но нам задали!

— Тогда пиши о чашке! Или о сапогах! — Дядя был в сапогах. Он опять куда-то уезжал.— Или вот об этой герани!

— Я не знаю, что писать о герани! — сказал я тоскливо.

— Доннерветтер! — заорал дядя.— Пиши *по ассоциации!* Это же так просто!

— По какой ас... ассоциации?

— По связи понятий! Импровизируй! Бери ручку! — Дядя встал за моей спиной.

Я взял ручку.

— Пиши: «Герань».

Я написал: «Герань».

— Что можно сказать об этой герани?

Я написал: «Что можно сказать об этой герани».

— Это не пиши! — сказал дядя.— Это я просто вслух размышляю. Надо сперва подумать, прежде чем писать!.. Итак, что можно сказать об этой герани? Герань — это комнатный цветок.

Бывают полевые цветы. И садовые. Мало ли какие бывают цветы! А наша герань растет в горшке на окне. Считается, что герань — это символ мещанства. Потому что мещане очень любили герань. Что такое символ? Символ — это условный знак, выражающий какую-то идею. Считается, что герань символизирует идею мещанства. Мещанство! Это отвратительная штука! Это мерзость! Ты никогда не станешь мещанином, мой мальчик! Мещанин — это человек с мелкими, куцыми интересами собственника. Нужно быть человеком полета, фантазии, самопожертвования! Нужно жертвовать собой для блага народа! Надо быть бескорыстным! Максим Горький изобличал мещан! Вспомни его «Песню о Соколе»! Я читал ее тебе. Там у́ж — символ мещанства! «Рожденный ползать — летать не может!» Запомни это, крепко запомни это, мой мальчик!

Я кивнул.

— При чем здесь герань? — спросил дядя.

— Не знаю! — сказал я тихо.

— Совершенно ни при чем! — заорал дядя.— Герань не виновата, что ее любили мещане! Герань — это прекрасный русский цветок! Надо реабилитировать герань! Да, да, так и пиши! Реабилитировать — это значит оправдать. Оправдать ее, потому что она не виновата! Вспомни, как мы покупали ее с тобой на базаре! Мы купили ее у какой-то старухи... Что это была за старуха! Потрясающая старуха! Вспомни ее морщины! Разве это лицо мещанки? Я тебя спрашиваю!

Я молчал.

— Это лицо труженицы! Рабочего человека! Матери! Но никак не мещанки! А она продавала герань! Вот так! Так и пиши!

Я так и написал. Я написал:

### *ГЕРАНЬ*

*Сочинение на вольную тему*

У нас на окне герань. Она цветет розовыми цветочками. Мы с дядей купили ее на базаре, чтобы ее оправдать. Потому что она ни в чем не виновата. Виноваты мещане. Они очень плохие люди. Они сделали герань своим символом, потому что думают только о себе. А надо думать о благе народа. И у́ж тоже не виноват. Потому что «рожденный ползать — летать не может». Это сказал Максим Горький. Я поливаю свою герань каждый день. Она очень красивая. А скоро дядя купит мне ужа. И я буду за ним ухаживать. Конец.

За это сочинение я получил «оч. пл.». Учительница сказала, что мое сочинение похоже на бред.

Я очень переживал из-за этой отметки. И дядя тоже. Но он сказал:

— Ты не горюй, брат! Мы еще с тобой оправдаемся.

И мы действительно оправдались. Оправдались мы на сборе. Я прочел доклад, который назывался «Огонь, вода и медные трубы». Я к нему очень долго готовился. И дядя тоже готовился: он выступал с воспоминаниями о революции.

Потом выступали ребята. Тоже с воспоминаниями — о разных случаях из своей жизни. О всяких ошибках в поведении. Все прошло очень хорошо. Все благодарили дядю. Даже директор школы. А мой доклад поместили в стенгазете.

## АЛХИМИК

Оказывается, у нас есть свой алхимик! Он живет в нашей квартире. Вы не знаете, что такое алхимик? Я раньше тоже не знал, что такое алхимик, а потом узнал... Сейчас я вам расскажу.

Я сидел дома и делал уроки, когда зазвонил «Центральный телеграф», то есть телефон. В квартире никого не было. Я побежал к телефону.

— Алло! — сказал я.

В трубке звучала какая-то музыка. Потом раздался смех, и женский голос спросил:

— Благодарю за внимание дома?

— Что? — Я сначала не сообразил.

— Это кто? — спросил голос.

— Это я.

— Ах, это ты! — В трубке опять засмеялись.— Я тебя не узнала, богатый будешь! Голос, как у мальчика!

— Я и есть мальчик!

— Ну ладно, мальчик, не дури!

— Я не дурю!

— Брось шутить, Мэри Пикфорд! Скажи лучше, не найдется ли у тебя пачек двадцать твоей дряни?

— Какой дряни? — спросил я.— И потом, я не Мэри Пикфорд. Я мальчик...

В трубке опять засмеялись.

— Ах, ты действительно мальчик! Послушай, милый мальчик, пойди и узнай, дома ли ваш старичок Благодарю за внимание.

— Старичок? — сказал я.— Сейчас!

Я положил трубку и побежал к двери Благодарю за внимание. Я постучал. Никто не ответил. Я еще сильнее постучал. Дверь подалась и медленно поползла настежь...

Я замер на месте: в комнате никого не было! *Никогда в моей жизни я не переступал порога этой вурдалачьей комнаты.* Потому-то и замер на месте.

Я оглядел комнату. Окна́ в ней действительно не было. Под потолком горела голая лампочка. Пол был грязный. На кровати, прямо напротив двери, валялись смятые тряпки. Налево висела черная занавеска, загораживавшая часть комнаты. Направо стоял очень смешной стол на гнутых резных ножках, на столе горела керосинка, а на ней что-то кипело, распространяя отвратительный запах. Вот почему из этой комнаты всегда так пахло! Стол вокруг керосинки был загромождeн какими-то банками, склянками, колбами, тюбиками и огромным количеством серебряной бумаги из-под шоколада. Она валялась даже на полу. «Неужели он варит шоколад?» — подумал я. Пахло совсем не шоколадом. И зачем ему столько серебра? Серебра было страшно много... Вот это богатство!

— Что ты тут делаешь? — услышал я за спиной.

Это был он. Очевидно, он вышел на кухню и забыл запереть комнату. А может быть, он тоже думал, что никого нет в квартире.

— Вас к телефону! — сказал я.— Я только постучал. А дверь открылась сама...

— Благодарю за внимание! Большое спасибо! — сказал он, быстро закрыл дверь и поспешил к телефону.

— Алло? Алло!.. Положили трубку,— сказал он и вернулся к двери.— Вот так! — Он почему-то улыбнулся мне — одними губами.

Это было очень смешно: как будто сам человек серьезный, а улыбаются одни губы.

— А что вы там варите? — спросил я.— Шоколад, наверно?

— Я *алхимик!* — сказал он.— *Алхимик!* Ясно?

— Не ясно!

— Это такая профессия. Я ставлю разные опыты и пишу об этом книги... Ну, в общем, я изобретатель. Только особый.

— А говорят, что вы вурдалак!

— Кто это говорит?

— Это все говорят!

Он рассмеялся.

— Я не вурдалак. Я алхимик! Но это тайна... Никому ни звука! Ясно? И мы будем дружить!

— Ясно. А зачем вам столько серебра?

— Для опытов. Хочешь, я дам тебе серебра?

— Немножечко,— попросил я.

Он вынес мне целую пачку серебра! (Все время тщательно закрывая за собой дверь.)

— Большое спасибо! — сказал я.

— Не стоит! Ты очень примерный мальчик.

— Я большевик! — сказал я.— Только юный. А мой дядя старый большевик. И папа.— Мне очень хотелось еще поговорить.

— О! — Он опять улыбнулся своей странной улыбкой.— У тебя очень интересный дядя. Приходи, я буду давать тебе сколько хочешь серебра.

— Благодарю за внимание! — сказал я.

— Это я благодарю за внимание! А теперь разрешите раскланяться.— Он мне действительно поклонился.— Надо трудиться! Всем надо трудиться! В поте лица своего! — Он это почти крикнул.— И ты иди и трудись!

Он опять растянул губы в улыбке, еще раз поклонился и скрылся в своей комнате.

Я тоже пошел трудиться: быстро кончил уроки и стал делать из серебра шхуну. Это такой корабль. Я видел его у дяди в бутылке.

Дядя привез эту бутылку откуда-то с Севера. В этой бутылке построен целый корабль. Уж как он там построен — не знаю, но факт, что построен.

Я вырезáл и клеил свою шхуну и думал о Благодарю за внимание. Какой он смешной! И добрый! И совсем он не вурдалак! Это он раньше был вурдалак, а сейчас он не вурдалак! Сейчас он алхимик. Подумать только! Надо рассказать об этом Вале — то-то она удивится. И подарить ей серебро. Все девочки очень ценят серебро. Серебро — это не шутка!

— Ах, Мэри, Мэри Пикфорд! Ах, двери, двери Пикфорд! Ах, Пикфорд, Пикфорд Мэри! Ах, двери, двери, двери! — бормотал я, клея свою шхуну.

Интересно, кто такая эта Мэри Пикфорд? Она, наверное, тоже любит серебро!

А что значит «двадцать пачек дряни»?

## ЧЕЛОВЕК НА КРЮЧКЕ

Я открыл дяде тайну: что вурдалак не вурдалак, а алхимик! Может, он раньше и был вурдалак, а сейчас он алхимик. Я не мог не открыть дяде эту тайну, потому что от дяди у меня вообще не было тайн. И у дяди от меня тоже не было тайн. Поэтому я и открыл дяде эту тайну. Конечно, под страшным секретом. Дядя сначала поклялся, что никому об этом не расскажет. Но когда я открыл ему эту тайну, дядя рассмеялся.

— Ты чудак, оказывается! — сказал дядя.— Ты простофиля!

— Никакой я не Филя! Я Миша!

— Простофиля — это значит простачок! Ты простачок, потому что никакой это не алхимик. Обыкновенный жулик! Тебя провели!

— Куда меня провели? Никуда меня не проводили!

— Тебя провели за нос!

— Никто не проводил меня за нос! — Мне было очень обидно.

— Ты ничего не понимаешь! Провести за нос — значит обмануть! Тебя обманули!

Дядя объяснил мне, что такое алхимик. Алхимик — это *лжеученый*, то есть не настоящий ученый. Такие лжеученые были когда-то очень-очень давно. В средние века. И даже раньше. Алхимики искали «философский» камень, такой волшебный камень, который все превратил бы в золото. Они хотели научиться все превращать в золото: дерево, булыжники, железо — все, все! Если бы они нашли такой камень, они бы страшно разбогатели. Потому что на золото можно было все купить. Это у нас сейчас на золото нельзя все купить, а раньше, до самой революции, на золото можно было все купить. Даже людей продавали на золото. Даже детей! Вот какое это было страшное время! Но алхимики «философский» камень, конечно, не нашли. Потому что его просто нет. В этом-то все дело! Алхимики много лет искали этот камень, а некоторые даже говорили, что они его нашли. На самом деле они жульничали: они подкладывали в свои котлы, в которых варили разную дрянь, кусочки золота и говорили, что это золото получилось из железа или из дерева. Но их, конечно, разоблачили. Вот какие они были жулики!

— И Благодарю за внимание тоже жулик,— сказал дядя.— Я уж не знаю, чем он там занимается, но он жулик.

— А может быть, он все-таки хочет научиться все превращать в золото, например серебро? У него очень много серебра! Видишь, сколько он дал мне серебра! И сказал, что еще даст!

Но дядя опять рассмеялся.

— Просто он жулик и когда-нибудь обязательно попадется на удочку!

— А разве люди попадаются на удочку?

— Еще как! — сказал дядя.

— Они клюют?

— Еще как!

— А на что они клюют?

— Кто на что! Некоторые, например, клюют на серебряную бумагу. Ты клюнул на серебряную бумагу и попался,— сказал дядя.

Вы себе не можете представить, как мне было обидно! Мне было обидно, что я попался на удочку, как какая-нибудь глупая плотва!

Но теперь я буду осторожным и никогда больше не попадусь на удочку. Лучше я посмотрю, как попадется на удочку Благодарю за внимание. То-то я посмеюсь, когда он будет дергаться на крючке! В том, что это будет, я не сомневался, потому что так сказал дядя.

## ПОДАРКИ ПОД ПОДУШКОЙ

В детстве я получал очень много подарков.

Во-первых, конечно, в мой день рождения. В этот день я получал страшно много подарков. Я просто купался в этих подарках!

Во-вторых, я получал подарки по большим праздникам.

Я получал подарки 1 Мая, 7 Ноября, 1 сентября и в Новый год.

В-третьих, я получал подарки по маленьким праздникам.

Кроме того, я получал подарки по бабушкиным праздникам: у бабушки было очень много праздников, о которых знала одна только бабушка.

Еще я получал подарки за хорошее поведение, за хорошие отметки, за выздоровление после болезни и когда приходили гости.

Но больше всего я получал подарков от дяди — от него я получал подарки просто так, не говоря уже о разных датах.

Так что, как видите, подарков я получал очень много.

Иногда я, правда, не получал никаких подарков.

8 Марта, например. Тогда мне самому приходилось делать подарки. Мне также приходилось делать подарки в дни рождения папы, мамы и бабушки. И в дни рождения моих друзей. И соседям по квартире. И — конечно! — в дни рождения дяди. Но все это была чепуха по сравнению с тем, что дарили мне.

С тех пор как я стал взрослым, я уже не получаю столько подарков. Я часто думаю: почему большее количество подарков падает у человека на детство? Почему, когда люди становятся взрослыми, они получают меньше подарков? Потому что *меньше дарят!* Считается, что подарки — это пустяки, детское дело! Но это совсем не пустяки! Подарки украшают жизнь! Это очень

хорошее дело. Серьезное дело. Не забывайте об этом, ребята, когда станете взрослыми. Ходите друг к другу с подарками. Если вам с ними некуда ходить — дарите их своим соседям на лестнице. Или в соседнем доме. Можно дарить подарки и совсем незнакомым людям — например, в самолетах, в троллейбусах, в метро. А то и просто на улице. Ничего плохого в этом нет. Необходимо одно: чтобы все взялись за это дело дружно, чтобы никто не остался в стороне. Тогда все будет в порядке и никто не останется без подарка!

А пока что у взрослых дело с подарками обстоит хуже, чем у ребят. Взять хотя бы меня. Взять хотя бы мою подушку. Разве сейчас, когда я просыпаюсь в какое-нибудь прекрасное праздничное утро, я нахожу под подушкой подарки? В лучшем случае я найду там носовой платок или вчерашнюю газету. А в детстве? В детстве я всегда с нетерпением ждал праздничного утра, чтобы сунуть руку под подушку,— и что же вы думаете? Там всегда был подарок, а то и несколько!

Конечно, в течение дня я получал еще подарки, но самое приятное было, проснувшись утром, сунуть руку под подушку и найти там тепленький подарок!

Когда я просыпался ночью и шарил рукой под подушкой, никаких подарков я не находил. Я нарочно притворялся спящим, а сам бодрствовал целыми часами, подкарауливая появление подарков, но все было напрасно: подарки появлялись, когда я спал.

Как они попадали под подушку, я никогда не мог догадаться.

А иногда с этими подарками случались очень странные вещи. Иногда они бесследно исчезали... Куда?

Этого никто не знал!

## ДЫМ КОРОМЫСЛОМ

*Часть первая*

Один раз дядя приехал откуда-то поздно ночью. Дело было зимой. Весь день и весь вечер бушевала вьюга. Я рано лег и уснул под завывание ветра.

Проснулся я от крика. Кричал дядя.

Дядя сидел с папой, мамой и бабушкой на медвежьей шкуре и размахивал руками. В комнате стоял дым коромыслом. Дым таинственно освещался тремя свечами: дядя любил сидеть при свечах. Выл ветер. От ветра дребезжали окна.

— Он рисовал на льду! — орал дядя.

Я мгновенно вскочил с кровати.

— Кто рисовал на льду? — спросил я.

— Ты проснулся, мой мальчик! — сказал дядя.

— Я же просила говорить потише! — сказала мама.

— Кто рисовал на льду? — закричал я и полез к дяде на колени.

— О! — Дядя вынул изо рта свою трубку и выпустил двадцать колец дыма.— Это было *Этвас! Этвас!*

— Эх-хе-хе! — вздохнул папа. Его почти не было слышно.

Дядя тискал меня в своих объятиях.

— Я мог тебя больше не увидеть, мой мальчик!

— Расскажи про *этвас*! — попросил я.

Я весь дрожал.

Дядя залпом выпил стакан чаю, стакан воды и стакан молока. Потом он опять затянулся своей трубкой.

— Я подходил к Северному полюсу,— начал дядя.— Вокруг была кромешная тьма. Двадцать собак тащили упряжку. Ханг и Чанг шли впереди, головными. Они совсем выбились из сил. До цели оставалось несколько метров. Это был торжественный момент! Мечта всей моей жизни! Я решил сосредоточиться. Я остановил собак, сел на нарты и решил закурить. Я полез в карман за трубкой... но увы! Трубки не было! Очевидно, я выронил ее где-то по дороге. Но, доннерветтер, не мог же я идти на полюс без трубки!

— Почему? — спросил я.

— Не перебивай дядю! — сказала мама.

— Эх-хе-хе! — вздохнул папа.

— Не мог я идти на полюс без трубки! — свирепо сказал дядя и ударил в пол кулаком...— К черту полюс, если на нем нельзя закурить!

— Я тебя понимаю,— сказала мама.— Только не волнуйся.

— Я не волнуюсь. Я никогда не волнуюсь! Я пошел назад за трубкой... Вернее, пополз, потому что была кромешная тьма. Я полз по своим следам, ощупывая каждый сантиметр.

— А собаки?

— Не перебивайте дядю! — повторила мама.

— Я полз несколько суток,— продолжал дядя.— Потом я решил вздремнуть. Я заснул прямо на снегу. Проснулся я от яркого, мерцающего света... Это было северное сияние! Оно сияло вовсю! И тут я увидел свою трубку...

— А собаки?

Мама посмотрела на меня умоляющим взглядом. Дядя ничего не ответил и стал раскуривать трубку. Дядя затянулся, выпустил бесчисленные кольца дыма и сделал страшные глаза.

— *Метрах в двухстах от меня,* — сказал дядя глухим голосом,— *возле большой глыбы льда сидел Полярный человек и сосал мою трубку!*

— Ах! — сказала бабушка.— Как тесен мир!

— Как ты узнал, что это Полярный человек? — спросили мы хором.

— *Он был голый!* — рассмеялся дядя.— Он был совершенно голый! Вы знаете, что он делал? *Он рисовал на льду!*

— Эх-хе-хе! — вздохнул папа.

— Чем он рисовал? — прошептал я.

— *Бивнем!* — заорал дядя.— *Бивнем мамонта!* Откройте холодильник и покажите ему... покажите ему этот шедевр!

Мама встала, открыла холодильник (холодильником был у нас деревянный ящик за окном) и положила на медвежью шкуру... чего бы вы думали? *Кусок льда!* Настоящий свежий кусок льда! Я понюхал его: он пах Северным полюсом! На льду были какие-то линии...

Мы долго смотрели на этот кусок льда. Трещали свечи. Окна дребезжали от ветра. Лед переливался всеми цветами радуги. Никогда в жизни я не видал ничего подобного!

— Это северное сияние,— сказал дядя,— оно нарисовано совершенно точно! — Дядя провел по льду пальцем.

Дядя сидел важный, развалившись на медвежьей шкуре. Он был в мохнатом красном халате, загорелый, кудрявый, усатый... Он улыбался. Темные глаза дяди сияли. В каждом зрачке горело по маленькой свечке. У дяди был вид именинника.

Я тоже провел пальцем по льду: лед был холодный.

— Как ты смог его довезти, чтобы он не растаял? — спросил я.

— Очень просто! Главное — не прерывать цепь холода! На ледоколе я положил его в трюм. В Архангельске он лежал три дня в погребе ресторана. Когда я летел в Москву, он был привязан под крылом самолета... Вот и все!

— А где бивень? — спросил я замирающим от восторга голосом.

Но дядя ничего не ответил.

— Когда я увидел, что этот дьявол держит в зубах мою трубку,— продолжал дядя,— сидит и держит в зубах мою трубку, я пришел в ярость! «Проклятый дикарь,— подумал я.— Пусть бы он украл у меня хлеб, рыбу, ружье, собак, в конце концов! Но трубку!» Это было уже слишком! Взбешенный, я шел прямо на него. Он заметил меня и пошел мне навстречу. У этих дикарей дьявольский нюх! Мы постепенно приближались друг к другу. Человек помахал рукой. Я тоже. Я остановился. Он протянул ко мне руки. Я тоже. Так мы стояли друг против друга некоторое время. С одной стороны — я, цивилизованный европеец, в морской робе и высоких меховых сапогах, тщательно

выбритый и причесанный, благоухающий душистым мылом. С другой стороны — дикарь, совершенно голый, покрытый густой белой шерстью, с длинными, всклокоченными волосами и бородой, с лицом настолько почерневшим, что естественного цвета нельзя было разобрать из-за толстого слоя во́рвани. Ни один из нас не знал, кто был другой и откуда он пришел.

Дядя сделал паузу и обвел нас горящим взглядом.

— Полярный человек первый начал разговор: «Здравствуйте!» — «Здравствуйте!» — «Я чрезвычайно рад вас видеть!» — «Благодарю. Я тоже!» — «Вы здесь с кораблем?» — «Нет, его здесь нет».— «Сколько вас всего здесь?» — «Со мной двадцать собак в шести метрах от Северного полюса!»

Вдруг Полярный человек пристально посмотрел мне в глаза и произнес: «Вы дядя того самого мальчика из Москвы?» — «Да, я дядя того самого мальчика».— «Клянусь, я чрезвычайно рад вас видеть!» Мы кинулись друг другу в объятия и крепко расцеловались...

— Эх-хе-хе! — Папа глубоко вздохнул.

— Как тесен мир! — пробормотала бабушка.— Как тесен!

— Как ты мог с ним говорить? — спросил я.— Разве он понимал по-русски?

Дядя ласково посмотрел мне в глаза:

— Полярный человек очень любил русский язык! Кроме того, он знал еще четырнадцать языков. Он был полиглот! Языки он изучил по радио. Он подобрал где-то с погибшего корабля радиоприемник. Это был интеллигентнейший человек! Поблизости находился снежный домик, где Полярный человек жил с женой и тремя детьми. Все пятеро — милейшие люди! И все они говорили по-русски. Мы прекрасно провели время. Пришлось, правда, подарить ему собак...

— Каких собак? — заорал я.

— Моих, моих собак, доннерветтер!

Я заплакал. Я так любил Ханга и Чанга! Я упал на медвежью шкуру и зарыдал.

— Безобразие! — сказала мама.— Разве можно так волновать ребенка! Он может стать заикой!

— Он никогда не станет заикой! — произнес дядя твердо.— Кроме того, я одну собаку оставил... Чанг!

Дверь на балкон с грохотом распахнулась, в комнату ворвался вихрь морозного пара со снегом, затушил свечи, и в темноте на меня кинулось что-то пушистое и холодное... Это был Чанг!

Он спал на балконе. Когда дядя приходил к нам в гости с собаками, они всегда отдыхали на балконе. Зимой и летом. Так их закалил дядя.

Чанг повалил меня на пол и сразу облизал с головы до ног. Мы катались по полу, сжимая друг друга в объятиях.

Вдруг я почувствовал, что лежу в луже...

— Лед! — завопил я как сумасшедший.— Лед! Это лед!

— Господи! — всплеснула мама руками.— Он сошел с ума!

— Я не сошел с ума! Это лед! Северное сияние! Шедевр! Он растаял!

«Гав!» — сказал Чанг и вскочил, отряхиваясь.

Я тоже вскочил.

Папа закрыл дверь на балкон и зажег свечи.

*Вместо льда на полу была лужа.*

Все были в ужасе. Один дядя был совершенно спокоен. Он даже не пошевелился.

— Чепуха! — сказал он, попыхивая трубкой.— Стоит волноваться! Я привезу вам сколько хотите таких шедевров! Дело не в этом.

— А в чем? — спросил я.

— В том, что я смертельно устал. Я хочу спать.

— А я не хочу спать! — крикнул я.

— Тебе пора спать! — сказала мама.— Посмотрите, как он выглядит.

— Я не хочу спать!

— Он прекрасно выглядит,— сказал дядя,— но ему пора спать.

— Всем пора спать,— сказала бабушка.

— Хочешь, я подарю тебе бивень? — сказал дядя.

— Хочу бивень! Хочу полюс! Хочу Полярного человека!

«Гав! — сказал Чанг.— Гав, гав, гав, гав!»

— Я устала,— сказала мама.— Я больше не могу выносить этот бред!

Дядя встал.

— Считай, что бивень у тебя под подушкой! — сказал он.— О Полярном человеке мы еще поговорим...

Дядя произнес это очень значительно.

— Сам ты Полярный человек! — сказала мама.

Все засмеялись.

— Пойдем! — сказал дядя.

У дяди был чрезвычайно таинственный вид. Я боялся лишиться бивня и пошел за дядей. Шутить с дядей было опасно.

Когда я ложился спать, со мной всегда все прощались. Первой ко мне подходила бабушка, потом мама, потом папа. Если у нас бывал дядя, он тоже подходил. Ханг и Чанг подходили последними. Все говорили «спокойной ночи» и це-

ловали меня в лоб. Я тоже говорил «спокойной ночи». Потом я засыпал. Так было всегда.

Так было и на этот раз. С одной только разницей: когда все вышли, *дядя не сказал мне «спокойной ночи»*. Он сел на кровать и взял меня за руку...

## ДЫМ КОРОМЫСЛОМ

*Часть вторая*

— За бивнем пойдем? — спросил дядя шепотом.

— Когда?

— Тсс-с! — Дядя приложил к губам палец.— *Когда все заснут, мы пойдем за бивнем... Согласен?*

Я кивнул.

Дядя пожал мне руку, потушил свечи и тихонько вышел из комнаты.

Признаюсь, мне было немного страшно. Да и дядя был какой-то не такой. Я не знал, что у него на уме. Никто никогда толком не знал, что у него на уме!

Я лежал в полной темноте. За окном бесновалась вьюга. Иногда мне казалось, что она бросает в окно песком.

— Чанг! — позвал я неслышно.

В то же мгновение я ощутил на лбу холодное прикосновение Чангиного носа. Я прижал Чанга к себе. Я слушал, как бьется его сердце. А Чанг слушал, как бьется мое сердце. Наши сердца бились в унисон. Вы знаете, что значит «*в унисон*»? Ко сну это не имеет никакого отношения. Это значит — через равные промежутки, удар в удар, совершенно одинаково.

В соседней комнате раздавались голоса мамы, папы, дяди и бабушки. Потом все смолкло. Через некоторое время скрипнула дверь, и я услышал, как вошел дядя. Он швырнул мне на кровать одежду.

Я стал одеваться в полной темноте. Мои руки дрожали... Рубашка, носок, штаны, второй носок, майка, свитер, шарф, варежки...

«Ну!» — прошипел дядя.

...Валенок, шуба, трусы, еще валенок, весло («Зачем весло?» — подумал я)... шапка... Все!

«Пошли!» — прошептал дядя. Он открыл дверь на балкон. Снежный вихрь сразу обжег мне лицо. Засвистел ветер. Я увидел, что дядя стоит на перилах балкона. Чанг тоже стоял на перилах балкона. «То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя!» — пропел дядя.— Дай мне руку!» — сказал он. Я замешкался. «Вперед, доннерветтер!» — заорал дядя и дернул

меня за руку. Я машинально сделал шаг вперед и почувствовал под ногами что-то хрустящее. Все вокруг трещало и корчилось, как в огне. Я понял, что мы идем сквозь огонь. Это был какой-то странный огонь — весь белый. Белые языки пламени залезали мне в рот, в глаза. Я задыхался от белого дыма. «Вперед, мой мальчик! — подбадривал меня дядя.— Я покажу тебе *этвас!*»

Дядя шел впереди без шапки, опираясь на весло. На голове у него шевелились белые космы огня. «Совсем седой!» — подумал я. Дядя шел быстро, я едва за ним поспевал. Я тоже опирался на весло. Зато Чанг носился как угорелый: то он бежал рядом с дядей, то рядом со мной. В зубах у Чанга тоже было весло.

«Зажми нос и прыгай!» — приказал вдруг дядя. Я прыгнул, плюхнулся в воду и камнем пошел в глубину.

Вокруг была тишина. Откуда-то сверху просачивался слабый свет. Огромные рыбы молча сопровождали нас. Это были акулы. Они смотрели на нас маленькими злыми глазами. «Греби веслом!» — кричал дядя. Он кричал беззвучно, но я отчетливо понимал его, как будто говорил я сам. Дядя плыл впереди, помахивая веслом и растопырив руки и ноги. Мы медленно опускались, пока не остановились на дне. На дне лежала труба. «Ты видишь, она медная»,— сказал дядя и постучал по трубе пальцем.

В трубе была кромешная тьма — хоть глаз выколи! Некоторое время я полз молча, не выпуская из рук весла. Дяди не было. «Дя-дя-а-а!» — заорал я что было силы. В ответ раздалось такое оглушительное эхо, что труба лопнула и я, оглушенный, вылетел из нее.

Я летел высоко-высоко, над облаками. Ярко светило солнце. Облака внизу были как огромные холмы, долины и горы. Рядом летели дядя и Чанг. Они помахивали в воздухе веслами и улыбались. «Ты видишь полюс?» — спросил дядя. Я посмотрел вниз и увидел полюс. На нем так и было написано: «Северный полюс». «А *этвас?*» — спросил я. «Это и есть *этвас!*» — сказал дядя. «Полюс!» — «Не полюс!» — «А что?» — «Все!» — «Что все?» — «Весь мир! Вся жизнь! И ты!» — Дядя смеялся. «И ты тоже *этвас!*» — крикнул я. Мне было очень хорошо. Я вдруг понял, что такое *этвас*. Это самое лучшее. Самое интересное. Самое дорогое. Я чувствовал неизъяснимую легкость.

Я опять посмотрел вниз. В середине Северного полюса, там, где сходятся меридианы, стоял снежный домик. Он был круглым. Возле него стоял Полярный человек с женой и тремя детьми. Рядом я увидел Ханга. «Как тесен мир!» — подумал я.

Мы стали спускаться. Полярный человек бежал к нам через ледяные торосы.

«Здравствуйте! — сказал он дяде.— Молодцы, что приехали!» — «Разрешите представить вам моего племянника»,— сказал дядя. «Очень приятно!» — «А это Чанг!» — «Очень приятно!» — «Очень приятно!» — сказал Чанг. Я тоже сказал: «Очень приятно!» Мне действительно было очень приятно. «Я забыл у вас бивень!» — сказал дядя. «О!» — улыбнулся Полярный человек. «Я решил подарить его племяннику»,— сказал дядя. «О! — улыбнулся Полярный человек.— Благодарю за внимание! Пойдемте чай пить!» Мы пошли в дом.

Полярный человек представил нам свою семью. Потом мы сели пить чай с вареньем. Жена Полярного человека прислуживала нам с обворожительной улыбкой. «Из чего варенье?» — спросил дядя. «Изо льда!» — сказала жена Полярного человека. «А чай?» — спросил я. «И чай изо льда. У нас все изо льда».— «Как вкусно!» — «Кушайте на здоровье!» — «Спасибо!» — «Не стоит!» — «Ну что вы! Очень стоит!» — «Не стоит. Лед у нас ничего не стоит!» — «И все же!» — «Совсем не все же! — крикнул Полярный человек.— У нас льда сколько хочешь!» — «А у нас не сколько хочешь!» — сказал я. «А у нас сколько хочешь!» — заорал Полярный человек. Он скрипнул зубами. «Ну, нам пора!» Дядя встал. И я встал. «Очень жаль»,— сказал Полярный человек. Он принес мне бивень. «Большое спасибо!» — сказал я. «Ну что вы! У нас их сколько хотите!» — «Приезжайте к нам в Москву!» — сказал дядя.

Мы двинулись в обратный путь. Полярный человек проводил нас до порога Северного полюса. Потом он повернул назад и скрылся за торосами.

Возвращались мы той же дорогой. На балконе мы долго отряхивались от снега. «Теперь тише!» — сказал дядя. Чанг остался на балконе, а мы на цыпочках вошли в комнату. Я просто валился с ног от усталости. «Спокойной ночи!» — сказал дядя. «Спокойной ночи!» — прошептал я, кое-как разделся, сунул под подушку бивень и упал на кровать. Я заснул как убитый.

## О ТОМ, ЧЕГО НЕ БЫЛО

Когда я проснулся, было уже поздно. Морозное солнце светило в окно.

Я сразу сунул руку под подушку: *бивня там не было.* Я вскочил и перевернул всю кровать — *бивня нигде не было!*

— Мам! — крикнул я.

*К стр. 571*

В ответ только тикали часы. Они показывали двенадцать часов. Был выходной, поэтому меня не будили. Два воробья сидели снаружи на подоконнике и клевали пшено. Я всегда сыпал птицам пшено на подоконник. Но сейчас мне было не до них.

«Где мой бивень?» — подумал я.

Босиком, в одних трусах я побежал на кухню. На кухне было полно народу. Яростно жужжало четыре примуса. Возле примусов стояли соседки. И мама. И Благодарю за внимание — он мыл в раковине кастрюльку. Все слушали певичку. Певичка помахивала в воздухе ложкой:

— ...и на авансцену вышел Немирович-Данченко и поцеловал мне руку. «Вы пели божественно!» — сказал Немирович-Данченко...

— Где мой бивень? — заорал я.

— Боже, как он меня напугал! — сказала певичка.

— Почему ты не здороваешься? — сказала мама.— Ты босиком! Сейчас же марш в комнату!

— *Где мой бивень?* — повторил я со слезами в голосе.

Мама схватила меня за руку и потащила в комнату.

— Какой бивень? — спросила она, когда мы вошли в комнату и сели на кровать.

— Мой бивень! Бивень мамонта! Он был под подушкой!

— Я не видела никакого бивня! — удивилась мама.

— Я вспомнил: мама не знала, что мы ходили за бивнем! И папа не знал. Знал только дядя. И я. И Чанг.

— А где дядя? — спросил я.

— Сейчас он придет. Они пошли с папой в магазин. Скорей одевайся, ты же идешь сегодня в цирк!

Но мне было не до цирка.

— Где мой бивень? — опять заорал я.— Он был вот здесь, под подушкой! Я его сам положил!

— Ничего не понимаю! — сказала мама.— Какой бивень?

— Которым Полярный человек рисовал на льду! Может, ты и лед не видала?

— Лед я видела. А бивень не видела... Откуда он?

— Дядя подарил!

Не мог же я сказать, что мы ходили за бивнем!

— Не знаю,— сказала мама.— Спроси у дяди. А сейчас одевайся.

«Наверное, дядя взял бивень,— подумал я.— Зачем только он его взял?»

В это время вошел дядя. А за ним папа. Чанг нес в зубах покупки.

— Ты еще не одет! — сказал дядя.— Ты забыл, что мы идем в цирк?

— *Где мой бивень?* — спросил я тихо.

— Какой бивень? — спросил дядя.

— Бивень мамонта! Полярного человека! Мы его клали с тобой под подушку...

— Я ничего не клал под подушку!

— Как — ты не клал под подушку? Мы вместе клали его под подушку!

— Когда?

Это было уже слишком! Я не мог молчать!

— Когда мы вернулись с Северного полюса!

— Он болен! — сказала мама испуганно.— Этого еще не хватало!

— Может быть, это тебе приснилось? — спросил дядя.

— Не обманывайте! — закричал я.— Отдайте мой бивень! Где мой би-и-и...ве-е-е...— И я упал на кровать, захлебываясь от рыданий.

Чанг заскулил. Он тоже уткнулся рядом в подушку.

— Вот! — сказала мама.— Вот до чего ты довел ребенка!

— Сейчас мы все выясним,— сказал дядя.

Но голос его звучал неуверенно. Он сел ко мне на кровать. И папа. Они пытались меня обнять. Но я отталкивал их и ревел как белуга. Мне было так тяжело! К тому же я не понимал, в чем дело.

Наконец я понемногу затих. У меня больше не было слез.

— Мой дорогой! — сказал дядя.— Мой милый мальчик! Пойми, что это тебе приснилось!

— Расскажи, что тебе снилось! — сказала мама.

— М-может, про лед м-мне тоже при-снилось? — сказал я, заикаясь.

— Нет! — сказал дядя.

— Нет, приснилось! — крикнул я.— И ты мне приснился! Вы все мне приснились! Отойдите, вы мне приснились! — И я снова заплакал.

— С ним истерика,— сказала мама.— Выпей воды!

— Чепуха! — сказал дядя.— Вставай, пойдем в цирк!

Но я молчал. *Я уже принял решение.*

— Ну ладно! — Дядя потрепал меня по плечу.— Будет тебе бивень! Считай, что он у тебя под подушкой...

— *Ты жалкий обманщик,* — произнес я медленно, с расстановкой.— *Я с тобой больше не разговариваю!*

Я сказал это твердо, глухим голосом, но внутри у меня сразу все оборвалось. «Как — я не буду с ним разговаривать, *с моим дядей?*» И опять повторил:

— *Не разговариваю!*
— Выпей воды! — сказала мама.
— С меня довольно! — сказал папа и вышел.
— Хочешь яблоко? — спросил дядя.
— Не подлизывайся,— сказал я.
— Ну знаешь! — сказал дядя.— *Этого не будет!* — и тоже вышел из комнаты.
— Дети вы, дети! — вздохнула мама.

И тоже вышла. Они о чем-то говорили в другой комнате. А я лежал и молчал. Я слышал, как дядя ушел. Он ушел не простившись — первый раз в моей жизни! «Это конец,— думал я.— Конец нашей дружбы с дядей! Вот это уж не *этвас!* Совсем не *этвас!*» Мне захотелось вдруг умереть.

«Пусть я умру,— думал я.— Умру навсегда. Тогда они узнают! Они принесут мне бивень, но будет уже поздно. Они будут стоять, содрогаясь от рыданий, и протягивать мне бивень, огромный прекрасный бивень, но будет поздно. Я буду спокойно лежать и улыбаться. Так им и надо! Нечего было обманывать!»

А еще мне очень хотелось в цирк. Сейчас там начинается представление. Я представил себе, как там начинается представление. Я увидел цирковые огни, и огромный купол, и канаты под куполом и ощутил сквозняк — тот особый, неповторимый сквозняк, который всегда дует в цирке,— сквозняк, пахнущий лошадьми, и слонами, и медведями, и тюленями... Но что об этом сейчас говорить! Я никогда больше не пойду с дядей в цирк!

## ВСЕ ИДЕТ ВВЕРХ НОГАМИ

Я очень долго не разговаривал с дядей. С мамой я разговаривал, и с папой разговаривал, и с бабушкой, и, конечно, с Чангом. Потому что они были ни при чем. А с дядей я не разговаривал. И дядя со мной тоже не разговаривал.

Мой дядя был очень гордый. И я был гордый. Мама говорила, что я весь в дядю. Человек всегда растет в кого-нибудь.

Когда дядя приходил к нам в гости, я молчал. И не глядел на дядю. И дядя на меня не глядел. Только немножко, краем глаза, *боковым зрением.* Я тоже глядел на дядю боковым зрением. Видеть что-нибудь боковым зрением — значит смотреть на что-нибудь прямо перед собой, а краем глаза следить за тем, что делается сбоку. То, что делается сбоку, всегда видится тебе смутно, как во сне. Но все же видится. Вот так я и смотрел на дядю.

Я, например, брал газету, и смотрел прямо в газету, и читал там какую-нибудь фразу. У дяди были подшивки дореволюционной «Правды». Дядя любил читать старые подшивки, и тогда он становился задумчивым, потому что эти газеты напоминали ему минувшие годы, годы борьбы и тревог, напоминали ему старых товарищей по оружию, из которых уже многих не было в живых. «Иных уж нет, а те далече...» — говорил при этом дядя. Это строчки из Пушкина. Дядя очень любил Пушкина.

Так вот, я смотрел *прямо в газету* и четко видел там буквы, до того четко, что у меня рябило в глазах и на глаза навертывались слезы. Потому что боковым зрением я *смотрел на дядю*, который сидел за столом и пил чай. Краем уха я слышал дядины отрывистые фразы, очень тихие фразы, которыми дядя обменивался с папой и мамой. С тех пор как мы с дядей поссорились, он больше не разговаривал громко. И больше не говорил «доннерветтер». И «этвас» он тоже не говорил. Дядя вообще стал очень тихим, как папа. Даже папа стал как будто громче, потому что тихим стал дядя. Просто папу стало больше слышно.

Все это меня очень мучило, потому что мне было жалко дядю. И себя тоже. Я очень хотел с дядей помириться, *но не мог подойти первым.* Я чувствовал, что дядя тоже мучается, но тоже не может подойти первым. Такие уж мы были гордые...

Я все сидел и смотрел прямо перед собой в газету, и буквы в газете становились огромными, и прыгали у меня перед глазами, и двоились, и я не мог ничего понять. Я по двадцать раз читал одну и ту же фразу и все равно не мог ничего понять.

Рядом со мной сидел Чанг, тоже невеселый. Чанг чувствовал, что мы с дядей поссорились, и хотел нас помирить, но это ему не удавалось. Чанг все время подходил то ко мне, то к дяде, лизал нам руки и стоял, низко опустив голову, выражая этим высшее доверие и просьбу помириться. Но я не мог подойти к дяде, вспоминая те свои *страшные слова.* Я не мог себе этого простить. С тех пор прошло много лет, я давно уже стал взрослым, но до сих пор не могу себе этого простить. А тогда, в те дни, у меня вообще все пошло вверх ногами.

Помню, я тогда обнял Чанга и шепнул ему на ухо: «Скажи дяде, что я не могу себе этого простить!» И Чанг пошел к дяде и ткнулся ему мордой в колени, а потом встал на задние лапы и что-то прошептал дяде, лизнув его в ухо. Уж я не знаю, что он ему прошептал, но дядя вдруг встал и сказал:

— Ну, нам пора!

Может быть, он подумал, что Чанг зовет его гулять, а может быть, он все понял, *но не хотел мириться, потому что был очень*

*обижен.* Он встал и пошел одеваться. Чанг запрыгал, и заскулил, и стал бегать от дяди ко мне и от меня к дяде.

— Может быть, ты хочешь погулять с Чангом? — спросила меня мама.

И тут дядя на минуту замешкался — или это мне только показалось? — и у меня страшно забилось сердце, и кровь хлынула в голову, мне стало жарко, и я сказал:

— НЕТ!

Дядя сразу тихо сказал: «До свидания» — и пошел к выходу. И папа и мама тоже сказали: «До свидания», а я ничего не сказал. Что и говорить, воля у меня была потрясающая!

Когда дядя ушел, я тоже оделся и пошел гулять, потому что я не мог заниматься — ничего не лезло мне в голову. Мне было очень плохо. Ничего меня не радовало: ни пушистый снег, который лежал во дворе сугробами, ни ребята, которые играли в снежки и катались на санках с этих сугробов, ни солнце, ни воробьи. Я ходил мрачный и покинутый и все время думал о дяде. С дядей было связано так много! Дядя был мне самый дорогой, самый близкий человек на свете, не считая, конечно, мамы: мама тоже была мне самый близкий на свете человек, да и папа был мне самый близкий на свете человек, но дядя был дядя! А я с ним так глупо поссорился! Все из-за этого проклятого бивня, которого, может быть, действительно не было. Уж лед-то мне не приснился — это точно, это все подтвердили, а бивень, может быть, и приснился. Хотя я не мог этого утверждать. Я совсем запутался!

В этот день я рано лег спать. Я долго не мог уснуть, у меня болела голова, а потом я уснул, но спал очень беспокойно, мне что-то снилось, что-то про меня и про дядю, я не помню, что именно, но это было что-то очень тяжелое, и я проснулся глубокой ночью и заплакал.

Я не заметил, как ко мне подошла мама. Она села ко мне на кровать.

— Ну, что с тобой? — спросила она.

— Мне жалко дядю! — сказал я и еще сильнее заплакал.

— Я вижу! Я все прекрасно вижу! — сказала мама.— Тебе нужно с ним помириться.

— Я не могу!

— Почему? Что это еще за глупости?

— Я не могу простить себе *тех слов!*

— Каких слов?

— Ну, тех... «жалкий обманщик» и «не подлизывайся»...

— Да! — сказала мама.— Это ты очень плохо сказал! Ты очень обидел дядю! Ведь дядя тебя так любит! А ты ска-

зал ему такие слова! Тем более, что бивня-то действительно не было.

— Мне тоже кажется, что не было!

— Конечно, не было! Вам надо помириться. Ты не знаешь, как переживает дядя! Он просто места себе не находит. Ты должен подойти к дяде и попросить у него прощения. Когда он приедет...

— Он уехал? Куда?

— На Север,— сказала мама.— В экспедицию ГЛАВСЕВМОРПУТИ. Надо было вам сегодня помириться. Дядя специально приходил. А ты был такой злой!

— Я совсем не был злой! Я тоже хотел помириться... Но я не мог подойти...

— Как это глупо! — сказала мама.

— А когда он приедет?

— Через три недели...— Мама вздохнула.— Жалко дядю... А теперь спи!

## ДОХЛАЯ КРЫСА

Я шел из школы в хорошем настроении.

Во-первых, это было перед праздником — приближалось 1 Мая.

Во-вторых, я получил «оч. хор.» по математике. Получил я эту отметку совершенно самостоятельно.

Когда я учился в начальной школе, «пятерок» не было. И «четверок», и «троек», и «двоек», и «единиц» тоже не было. Были такие отметки: «оч. хор.» (очень хорошо), «хор.» (хорошо), «уд.» (удовлетворительно), «пл.» (плохо), «оч. пл.» (очень плохо). По математике я почти никогда не вылезал из «удов.». Часто я получал «плохо» и «оч. плохо» — особенно за письменные контрольные. Математика мне не давалась. Не давалась, да и все! Бывает же, что кому-нибудь что-нибудь не дается. Моему дяде, например, не давалось рисование. Все ему давалось, а рисование не давалось. Зато мне рисование давалось. Правда, я получал иногда «плохо» за абстрактные рисунки, но это меня не волновало — это было моей жертвой искусству. «В каждом деле должны быть жертвы, особенно в искусстве»,— говорил дядя. Потому что человек в искусстве ищет. Он ищет не какой-нибудь там ботинок под кроватью, а себя. Ну-ка, пощупайте-ка себя... Нащупали? Вы думаете, вы себя нашли? Как бы не так!

«Искать себя» — это значит искать себя *в высшем смысле*. *«В высшем смысле»* — это любимое выражение дяди. Найти себя в высшем смысле не так-то просто. В живописи, например,

это значит научиться здорово рисовать. Но это еще не все — надо научиться так рисовать, чтобы это было ни на кого не похоже.

Каждый хороший художник ни на кого не похож, он похож только на себя. Когда художник начинает рисовать, он, как правило, похож на всех других, потому что его «я» еще в нем спит. Надо это «я» найти и разбудить! Так говорил дядя. И тогда твои рисунки станут ни на кого не похожими. Потому что каждый человек может сказать людям что-то такое, что никто другой сказать не может. Каждый человек видит окружающий его мир по-своему, как никто другой. Каждый человек видит то, чего не видят другие. Вот это-то и ценно! Потому что если ты скажешь людям то, чего они не знают, ты откроешь им нечто новое — *этвас*, как говорил дядя. Это *этвас* и будет открытием. А открытия обогащают человечество! И тогда оно движется вперед. Вот почему так ценно найти себя, чтобы сказать людям что-то новое.

Но для этого надо много работать, потому что найти себя можно только в труде. Надо очень много работать, много думать. Надо размышлять. Без труда и размышления ничего не выйдет. Это закон для каждой области труда. Я выбрал себе для труда область искусства, потому что хотел стать художником. И я очень много работал, то есть рисовал.

Конечно, на этом пути у меня были ошибки, и тогда я получал за свои рисунки «оч. плохо». Но у кого не бывает ошибок! «Не ошибается только тот, кто ничего не делает». Это изречение дядя всегда повторял.

Но, несмотря на свои ошибки, я все равно был лучшим рисовальщиком в классе. И лучшим живописцем. Это было признано всеми. Просто некоторые мои абстрактные рисунки никто не понимал. Да и сам я в них мало что понимал. Но дядя это понимал — он понимал, что я ищу себя.

Искать себя надо не только в рисунках — надо вообще искать себя. Не только художники ищут себя. Каждый человек ищет себя. Возьмем, например, дворников — даже они ищут себя. Конечно, не все. Некоторые не ищут. Они вообще ничего не ищут. Это, конечно, очень плохо. О таких людях я вообще не говорю. А настоящие люди всегда ищут себя. Вы думаете, когда дворники подметают улицу, они ищут что-нибудь другое? Вы глубоко ошибаетесь! Они ищут себя! А некоторые, может быть, себя уже нашли. Если они хорошо подметают, если они делают свою работу отлично и довольны своей работой, значит, они нашли себя! Конечно, они не сделают никакого гениального открытия, но это просто потому, что у них такая работа. Но сделать гениальное открытие — это вовсе не самое главное.

Самое главное — найти себя в жизни. То есть найти свое призвание, свое любимое дело, именно то дело, к которому ты предназначен. Это тоже не так просто! Вот в этом смысле и можно сказать, что хороший дворник, который хорошо подметает улицу и любит свое дело, нашел себя. Это, конечно, очень хорошо. Плохо, когда человек себя не находит. Многие, например, так и умирают, не найдя себя. Это, конечно, очень печально! Так что ищите себя, желаю вам в этом успеха! Но только помните: никто никогда вам вас не найдет! Это вы должны сделать сами. Вам только могут помочь. Так говорил мой дядя. Мне, например, помог дядя. Без дяди я бы себя, может быть, не нашел. А благодаря дяде я нашел себя довольно быстро.

Мой дядя тоже нашел себя. Он нашел себя в революции. Он делал революцию, а потом создавал Советскую власть. А потом строил первые советские заводы и фабрики, создавал колхозы. Это тоже была революция. Великая революция, в которой дядя нашел себя, свое призвание. Мой дядя был очень счастливым человеком, потому что нашел себя очень рано.

А моим призванием стало искусство. А математика не была моим призванием. Дядя это понимал. Он, правда, занимался со мной математикой, но это просто так, чтобы я не получал «оч. плохо». Математика мучила меня до десятого класса, я даже не знаю, как я окончил школу... Может быть, я бы ее и не кончил, если бы не дядя и не Лидь Петровна — директор школы, которая преподавала у нас математику, и алгебру, и геометрию, и тригонометрию, до самого десятого класса. Дело в том, что Лидь Петровна меня *«вытягивала»*... Как она меня вытягивала? Очень просто!

Допустим, Лидь Петровна пишет на доске задачу и вызывает меня. Вообще она меня редко вызывала, потому что боялась меня вызывать, но иногда нужно же было меня вызвать! Когда меня вызывали на уроке математики, на меня всегда нападала сильнейшая тоска, хотя я и знал, что все кончится хорошо. С мрачным видом вылезал я из-за парты и шел к доске. Лидь Петровна строго смотрела на меня, стоя у доски с учебником в руках. Но я-то знал, что вид ее обманчив. Лидь Петровна всегда на всех строго смотрела, а на самом деле была очень доброй. А меня она просто любила. Она относилась ко мне прямо-таки нежно. Она говорила:

— Так как ты любишь путешествия, то вот тебе задача на путешествие! Прочти вслух!

Я читал:

— «Моторной лодке нужно было пройти 220 километров. Первые 60 километров она шла со скоростью 30 километров в

час, а остальной путь — со скоростью 40 километров в час. Во сколько часов лодка прошла все расстояние?»

В этом месте я замолкал, тупо глядя на доску.

— Итак,— говорила Лидь Петровна,— задача ясна, не правда ли?

Я кивал головой.

— Для того чтобы узнать, за сколько часов лодка прошла первые 60 километров, надо разделить 60 на 30... Ты это хотел сказать?

Я кивал головой.

— Совершенно верно! — говорила Лидь Петровна.

Это было ее любимым выражением.

— Пиши.

Я писал: «60 : 30 = 2» — уж это-то я знал!

— Совершенно правильно! Пойдем дальше. Первые 60 километров лодка прошла за 2 часа. Сколько лодке оставалось пройти километров?

Я опять тупо смотрел на доску, переминаясь с ноги на ногу и краснея как рак.

— 220 — 60 =... Пиши!

Я писал, «220 — 60 = ...» — тут я мучительно думал.

— 160, не так ли?

Я кивал и писал: «160».

— Совершенно верно! — удовлетворенно говорила Лидь Петровна.— 160 километров лодка шла со скоростью 40 километров в час. Разделим 160 на 40...

Я писал: «160 : 40 = ...»

— Четыре, совершенно правильно!

Я писал: «4».

В классе начинали хихикать.

Но Лидь Петровна говорила:

— Дети, перестаньте шуметь! Вы нам мешаете! Итак, первые 60 километров лодка прошла за 2 часа, а 160 километров — за 4 часа... 4 плюс 2 дает в итоге...

Я писал: «6 часов».

— Совершенно правильно! — торжествующе говорила Лидь Петровна.— Совершенно верно! Молодец! Очень хорошо! Садись на место.

Вот так меня Лидь Петровна вытягивала.

И вдруг я получил «оч. хор.» по математике совершенно самостоятельно, без помощи Лидь Петровны. Я получил «оч. хор.» за письменную контрольную. Как это получилось, я сам не знаю. Я сразу понял задачу, правильно решил ее, и — главное! — решил ее первый. Я ее решил, когда все еще писали, и первый поднял руку.

— Я кончил,— сказал я.— Разрешите выйти из класса.

Все посмотрели на меня с удивлением. И Валя посмотрела с удивлением. Валя была отличницей, она всегда решала первой, а тут вдруг я решил первый. Поэтому она так удивилась. И Лидь Петровна удивилась. Я даже сам на себя удивился — со стороны. Я сам смотрел на себя со стороны с удивлением — конечно, не в зеркало, это только девчонки носят с собой зеркало,— я посмотрел на себя со стороны мысленно. И на свою контрольную я смотрел с удивлением, мне даже жалко было с ней расставаться, но я хотел первым выйти из класса. Обычно я выходил из класса последним, иногда в самом конце перемены перед следующим уроком, а иногда я вообще не выходил — так и сидел до следующего урока, а потом сдавал контрольную всю в помарках и получал за нее «оч. плохо». А тут я первый кончил и решил все правильно, в этом я был совершенно уверен! А Лидь Петровна сказала:

— Ты уверен, что ты кончил?

— Уверен!

Лидь Петровна подошла ко мне, взяла в руки мою контрольную и прочитала ее. А потом она тихо сказала:

— Можешь идти!

Все просто чуть не упали в обморок от удивления, а я гордо вышел из класса. А на другой день, в тот день, о котором я сейчас рассказываю, Лидь Петровна принесла контрольные, и мы их разбирали. Первой разбирали мою контрольную, потому что я решил ее лучше всех. У задач иногда бывает несколько решений, и надо найти самое быстрое и оригинальное решение. И я нашел такое решение! Лидь Петровна вызвала меня к доске, и я повторил свое решение перед всем классом. И тогда Лидь Петровна сказала целую речь. Она сказала:

— Вы видите, чего может добиться человек! В данном случае ваш товарищ. Мы знаем, что математика не его призвание. В этом он слаб. Бывает, что человек в чем-нибудь слаб, что ему чего-нибудь трудно дается. У Миши, например, призвание к живописи, все мы это прекрасно знаем. Задачи он всегда решал с трудом. И что же мы видим сегодня? Мы видим, что он *прекрасно* решил задачу, решил ее оригинально, остроумно! Решил ее просто — и *совершенно правильно!* Почему это так произошло? Потому что он не отчаялся, не пал духом, а упорно занимался! Миша говорил мне, что он занимался со своим дядей, и вот каких они достигли результатов! Прекрасных результатов! И все могут добиться таких результатов! Например, Скобелев. Он тоже может добиться таких результатов, если будет упорно заниматься! И Елисеев может добиться таких же результатов. Елисеев и Скобелев очень любят играть в футбол, и это

прекрасно, но во всем нужна мера. Они тоже могут добиться успехов, если не будут столь легкомысленны, если будут прилежны и трудолюбивы... Молодец! — сказала мне Лидь Петровна.— Садись на место!

После урока я шел домой радостный и нес в портфеле свою контрольную. Я спешил показать ее маме, папе и бабушке. Я был очень горд. Еще бы мне не быть гордым! Я нес в портфеле такую замечательную контрольную! Это была моя первая самостоятельная контрольная, за которую я получил «оч. хор.». Вот будет подарок дяде, когда он вернется из экспедиции! То-то он обрадуется! Недаром мы с ним занимались! Недаром! Правда ведь недаром? Конечно, недаром! «Скажи-ка, дядя, ведь не даром...» — пришли мне на память стихи Лермонтова. Стихи эти, конечно, совсем о другом. Они просто вспомнились мне, потому что в них говорилось о дяде — не о моем дяде, а о другом,— и там были слова «не даром». Я вспомнил эти стихи *по ассоциации*, по связи понятий, как говорил дядя. Это стихи о Бородине, об Отечественной войне 1812 года. «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана?» — напевал я, размахивая портфелем. У меня было очень хорошее настроение! Иногда, когда у тебя хорошее настроение, можно петь *совсем о другом*, и это все равно будет выражать твое настроение. Главное — петь, а о чем — это, в сущности, неважно. На каждый случай жизни ведь не придумаешь песню. Ведь нет же песни о контрольной по математике! Вот и поешь о чем-нибудь другом. И не обязательно петь именно песню. Можно петь стихи. Можно даже просто слова петь — неважно, какие слова! Но лучше все же петь стихи. Стихи напевней. В них есть ритм и рифма. Вот я и пел стихи, которые первыми пришли мне на память.

«Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отда-на-а?» — пел я, размахивая портфелем, в котором лежала моя контрольная. А Москва вокруг и правда была как в пожаре, потому что приближалось 1 Мая и всюду вывешивали красные флаги, и красные лозунги, и портреты. Всюду продавались маленькие красные флажки, и красные воздушные шары, и синие шары, и зеленые шары, и оранжевые шары. И на трамваях тоже были красные флажки и лозунги. Вся Москва была красная! И синяя! И голубая! И зеленая! И вся в солнце! Такая веселая-веселая! И вовсе она не была отдана французу! Она была отдана мне! И дяде! И маме с папой! Всем нам, советским людям! А мы ее никогда никому не отдадим. Это говорил дядя. И так написано было в газетах. Да и сам я это знал. Я это знал совершенно точно.

Так я дошел до самого нашего дома и вошел в ворота. Во

дворе играли ребята. А возле нашего парадного на лавочке сидел Благодарю за внимание. Он грелся на солнышке и дышал воздухом. Он был в своем рыжем пальто, и рыжей шляпе, и в галошах «прощай молодость». Это такие глубокие галоши с закрытым верхом, с язычком наверху, который закрывает спереди зашнурованное место ботинка. «Прощай молодость» они назывались потому, что их носили старики. Те, кто уже распрощался с молодостью. Потому что молодые могут ходить и без галош. Молодые могут ходить босиком, и ничего им не сделается. Они могут ходить босиком по асфальту, и по земле, и по песку, и по траве, и на солнце, и в тени. Они даже могут ходить босиком по лужам, в дождь. И в ливень. И все равно им ничего не сделается. Потому что молодость — это здоровье. А здоровье — это самое важное в жизни. Это богатство. Его надо беречь. Так всегда говорила мама. И дядя так говорил, он был с мамой совершенно согласен. Поэтому мама и не разрешала мне ходить босиком по лужам. Потому что можно простудиться. И потерять свое здоровье. Даже молодой человек может потерять свое здоровье, если он все время будет ходить босиком по лужам, если он будет ходить по лужам без всякой меры, если он будет этим злоупотреблять. Никогда нельзя ничем злоупотреблять! В меру мама разрешала мне ходить босиком. Летом. Особенно на пляже, по горячему песку. По горячему песку можно ходить сколько хочешь, потому что это даже полезно. И по земле, и по траве она мне тоже разрешала ходить босиком, но не очень долго. Тогда с тобой тоже ничего не случится. Особенно если ты закален. Мой дядя, например, был закален с детства, поэтому он тоже мог ходить босиком, хотя он был уже не молод. Но он был хорошо закален. Мой дядя принимал зимой снежные ванны — вот как он был закален! Зимой у дяди в саду всегда стоял перед крыльцом сугроб — дядя его сам нагребал,— и каждое утро дядя выскакивал из дому и барахтался в этом сугробе. Это, конечно, может не каждый, а дядя мог, потому что он был закален с детства. И вообще у него было прекрасное здоровье. Многие, например, купаются в проруби — их называют «моржами»:

Мой дядя тоже был «моржом», но он был не только «моржом», потому что не каждый «морж» может барахтаться в снежном сугробе каждое утро. Но такой уж человек был мой дядя.

А Благодарю за внимание, конечно, никогда не барахтался в сугробе и никогда не купался в проруби — он не был «моржом». Да что там «моржом» — он не мог бы даже просто пройти босиком по земле! Он бы тогда сразу умер. Потому он и носил галоши «прощай молодость». Он носил их даже летом.

Когда я вошел во двор, напевая и размахивая портфелем, меня сразу увидели ребята.

— Иди сюда! — закричали они.

— Зачем? — крикнул я.

— Здесь дохлая крыса! — закричал Витька.

Витька тоже был там. Он учился со мной в классе и жил в нашем дворе.

Я хорошо помню его фамилию: у него была болотная фамилия — Чирок.

— Мне некогда! «Скажи-ка, дядя, ведь не даром...» — пропел я.

Я спешил домой.

— Воображала! — крикнул Витька.— Получил «оч. хор.» и нос задрал!

— А ты не получил! — крикнул я.— Потому не задрал!

Витька был второгодник.

— Подумаешь! — крикнул Витька.— Зато у меня дохлая крыса! Я ее сам убил, из рогатки...

— Сам ты дохлая крыса! — сказал я.

— Воображала, хвост поджала! — крикнул Витька, размахивая крысой.

Но я пошел дальше, не глядя в его сторону.

Я подошел к Благодарю за внимание. Он сидел и плевался. Он всегда плевался, когда сидел на лавочке.

— Здравствуйте! — сказал я ему.

— Благодарю за внимание! — сказал Благодарю за внимание.— Ну, как твои успехи, юный большевик?

— Очень хорошо! — сказал я.— Получил «оч. хор.» по математике!

— Весьма похвально! — сказал Благодарю за внимание.

— А ваши как успехи?

— Вот сижу, отплевываюсь,— сказал он и плюнул.

— А почему вы отплевываетесь?

Мне было неприятно, что он отплевывается. «Так тепло,— подумал я,— солнце, 1 Мая, а он отплевывается».

— Я всегда отплевываюсь,— сказал Благодарю за внимание.— Отплююсь — и полегчает. Я уже давно отплевываюсь.— И он опять плюнул.

И тут вдруг мне что-то ударило в спину. Я обернулся: передо мной стоял Витька и размахивал дохлой крысой. Позади него стояли ребята.

— Воображала! — сказал Витька.— Идешь к дядечке?

— Не твое дело! — сказал я.— Дохлая крыса!

— Дядечкин хвостик! — крикнул Витька.

Ребята засмеялись.

— Чего ты ко мне лезешь? — сказал я.— Я к тебе не лезу, и ты не лезь!

— Иди к дядечке! — закричал Витька.— Иди к своему дядечке! А ну, иди! Сейчас же иди! А ну! — И он опять задел меня крысой. Прямо по подбородку.

— Пойду, когда надо! — сказал я.— Не твое дело!

— Иди сейчас же! — крикнул Витька.— Пусть тебе дядечка что-нибудь наврет! Про шаровую молнию! Или про полюс! Или еще про что-нибудь! Мой папа сказал, что твой дядя болтун! Все выдумывает твой дядя! И ты болтун!

— Вот это верно! — сказал Благодарю за внимание.— Что верно, то верно!

Ух как я разозлился! У меня даже дух захватило! Я знал Витькиного папу. Он часто гулял во дворе. И приходил к нам в школу. Он был такой толстый, пузатый. Витька всем хвастался, что его папа писатель. Его папа писал какие-то пьески для эстрады. Очень плохие пьески. Он даже дал нам один раз свою пьеску в драмкружок. И мы ее играли. Очень скучная пьеска. Когда я показал дяде эту пьеску, дядя сказал, что это халтура. Дядя сказал, чтобы я никогда не играл в таких пьесках. И еще дядя сказал, что он совсем не писатель, Витькин папа. Он даже не был членом Союза писателей. А каждый настоящий писатель обязательно должен быть членом Союза. И еще дядя сказал, что Витькин папа как раз тот человек, который не нашел себя в жизни. Лучше бы он подметал улицы, чем писал пьески. Тогда была бы хоть какая-то польза людям. А от его пьесок никому не было никакой пользы...

И тут я замахнулся на Витьку портфелем.

— Как вот дам! — сказал я.

— А ну, дай! — сказал Витька.— Дай!

Я размахнулся и хлопнул его по башке — за дядю. А он хлопнул меня крысой. А я его опять портфелем. А он ударил меня кулаком по лицу. И у меня вдруг пошла кровь из носа. Витька увидел кровь и страшно испугался. Он бросил крысу и побежал.

— Ура! — закричал я ему вслед.— Дохлая крыса! — и заплакал.

— Э-эх! — сказал Благодарю за внимание.— А еще юный большевик!

— А вы вовсе не алхимик! — сказал я и вошел в парадное.

Я поднимался в квартиру, размазывая по лицу кровь.

— «Скажи-ка, дядя, ведь не даром...» — шептал я.

Настроение у меня было испорчено.

# МИРОВАЯ ГЛАВА

Все эти три недели были для меня очень невеселыми. Все эти три недели, пока не было дяди. 1 Мая прошло тоже невесело. Правда, я получил «оч. хор.» по математике и получил много подарков от мамы, папы и бабушки, и в школе я получил подарки и ходил с папой в цирк, но все равно настроение у меня было плохое. Особенно после скандала с Витькой. Из-за того, что Витька так говорил про дядю. И из-за того, что у меня пошла кровь из носа. Правда, Витька позорно бежал, но все равно мне было плохо. Меня теперь дразнили «Дядечкин хвостик» и «Кровь из носа». «Эй, Кровь из носа!» — кричали мне. Это было очень неприятно.

Но самое неприятное было в том, что я поссорился с дядей и расстался с ним не простившись. Я все время думал о том, как дядя ходит один по Северному полюсу и грустит. Мне все лезли на ум стихи Лермонтова, которые я учил с дядей: «На Севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна, и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой, она. И снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнца восход, одна и грустна на утесе горючем прекрасная пальма растет». На самом полюсе сосны, конечно, не растут — там ничего не растет. Но, может быть, дядя и не был на полюсе. Может быть, он был в тайге. Да и не в этом дело. Дело в том, что дядя был там один, а я здесь был один. Дядя, конечно, не был совсем один, с ним были товарищи. И с ним был Чанг. А может быть, он был там с Полярным человеком. И все-таки он был там один — *в высшем смысле*. Потому что мы с ним поссорились.

И я здесь тоже был совершенно один. Правда, со мной была мама, и папа был со мной, и в школе со мной были товарищи, но *в высшем смысле* я был один. Даже Валя это заметила. Но я ей ничего особенного не сказал. Я просто сказал ей, что очень жду дядю, что он уехал в экспедицию, что там очень тяжело и трудно и что я о нем очень беспокоюсь. «Вообще надо поменьше болтать,— решил я.— Надо молчать и ждать, когда вернется дядя. Тогда мы кое-что выясним. Тогда мы поговорим!» И с этим Витькой, с этой Дохлой крысой, с этой Болотной фамилией, мы еще поговорим! Витька все еще приставал ко мне. Это он дал мне клички «Дядечкин хвостик» и «Кровь из носа». Он всем хвастал, что его папа написал новую пьеску, которую хочет дать нам в драмкружок. А я сказал, что играть в этой пьеске не буду, потому что она мне не нравится. Я сказал, что это не искусство. Пусть его папа сначала *найдет себя*, тогда мы поговорим. А Витька сказал, что я болтун, и что мой дядя тоже болтун, и что неизвестно вообще, кто такой мой дядя. Но

я на это не реагировал, то есть не отвечал. Я не обращал на Витьку внимания, я делал вид, что его не замечаю. А это самое страшное, когда человека не замечают.

Оттого Витька так злился. Он мне завидовал. Он завидовал моим рисункам. И моим рассказам о дяде. Он вообще всем завидовал. Больше всего он завидовал моему «оч. хор.» по математике. Это было для него страшным ударом. Громом среди ясного неба! А может быть, и среди неясного. У него-то все было неясно. Потому что он был второгодник. Лидь Петровна говорила, что ему опять грозит остаться на второй год. А у меня все было ясно: приедет дядя, и мы с ним помиримся! Я тогда все расскажу дяде: про крысу, про «болтуна» и про «Кровь из носа»... Тогда мы поговорим!

Я все думал о том, как приедет дядя, как он войдет в комнату, а я подойду к нему и попрошу прощения. И все расскажу...

Но получилось совсем по-другому.

Один раз, когда я пришел из школы, на меня в дверях кинулся Чанг. Он сразу бросился ко мне на грудь и стал меня обнимать, и целовать, и прыгал вокруг меня как сумасшедший... А я стоял, привалившись к стене, и не мог ступить шагу. Не потому, что меня Чанг не пускал, а потому, что я понял, что во второй комнате сидит дядя и что я сейчас к нему *подойду*, но я не знал, как я к нему подойду, потому что мне было стыдно!

Из комнаты вышла мама и взяла меня за руку.

— Пойдем! — сказала она.

И я пошел за ней в комнату, и ноги мои были как деревянные, и, когда мы вошли в комнату, я увидел дядю, который сидел ко мне спиной за столом и курил свою трубку, но мама повела меня не к дяде — она повела меня к моей кровати, остановилась перед ней и сказала:

— Сними подушку!

А я стоял и не мог двинуться с места. Тогда мама сдернула подушку и... вы знаете, что было под подушкой?

*ПОД ПОДУШКОЙ ЛЕЖАЛО ДВА БИВНЯ!*

Я кинулся к дяде, вскочил к нему на колени и стал его целовать...

Теперь вам ясно, почему я назвал эту главу «Мировая глава»? Это действительно мировая глава!

Не потому она мировая глава, что она лучше всех других глав, а потому, что она говорит о моем мире с дядей.

# РАЗГОВОР О НЕПРИЯТНОСТЯХ

— Были у тебя неприятности? — спросил я у дяди, когда мы остались одни.

Спросил я это так: сначала я показал дяде свою контрольную, а потом спросил о неприятностях, но спросил это *так, между прочим.*

— Никаких неприятностей не было,— сказал дядя.— Все было прекрасно.

— Никаких?

— Никаких!

— Никаких, никаких, никаких?

— Да, никаких! Какие неприятности? Экспедиция прошла прекрасно...

— Да нет,— перебил я.— А вообще? Вообще в жизни?

— Вообще? Почему ты об этом спрашиваешь?

— Да это я так, между прочим. Ты никогда не рассказывал мне о неприятностях.

Понимаете, мне во что бы то ни стало нужно было узнать, были ли у него неприятности. Мне нужно было знать, как дядя вел себя, когда у него были неприятности. Чтобы потом перейти к своим неприятностям.

— Много у тебя было неприятностей? — спросил я.

— Хватало! — сказал дядя.

— Ну расскажи мне какую-нибудь неприятность!

— Давай лучше говорить о приятностях...

— Ну дядя же! Я серьезно...

— Ну, если серьезно, то слушай...

Дядя достал свою трубку, набил ее табаком и закурил.

— Один раз я чуть было не расстался с жизнью...

— Тебя хотели убить?

— Вроде этого...

— Белые?

— Рыжий! — рассмеялся дядя.

— Какой рыжий? Разве были рыжие?

— Рыжий кабан!

— Ну дядя же!

— Слушай! — сказал дядя.— Я не шучу. Это было давно, жил я тогда с родителями на Северном Кавказе, в городе Елисаветполе. Мне было тринадцать лет, но я уже ходил с отцом на охоту...

— С моим дедом?

— С твоим дедом. Твой дед был прирожденный охотник. Его страсть к охоте перешла ко мне по наследству. Доннервет-

тер, что это был за охотник! — Дядя выпустил облако дыма.— В жизни я не видывал лучше охотника!

— А ты?

— Я ему в подметки не гожусь! — крикнул дядя.— Не гожусь *в подметки!* Хотя и я неплохой охотник. Так вот... Мы часто ходили с отцом на охоту, на диких кабанов. В нашей местности была тьма кабанов. Мы охотились в горах. Твой дед был дитя этих гор! Он двигался по горным тропам, как по этой вот комнате. Он все время смотрел в землю, потому что был следопыт. Он читал на земле, как в книге. Каждый перевернутый камень или сломанный сучок рассказывали ему целую поэму. Он всегда знал, кто прошел впереди нас — человек или зверь. Он знал, давно ли они прошли, в каком направлении, бодрые или усталые.

Один раз мы вышли в горы на рассвете. Мы долго шли по извилистой тропе, пока отец не напал на след кабана. Отец стал останавливаться через каждые сто шагов, чтобы определить направление ветра: он скоблил ножом ноготь большого пальца — тончайшая пыль, падавшая с ногтя, указывала нам, куда дует ветер. Надо было подойти к кабану с подветренной стороны, чтобы кабан не почувствовал нашего приближения. Шли мы совершенно бесшумно, объясняясь одними условными знаками. Внезапно отец скорчил мне страшную рожу...

— Какую? — спросил я.

Дядя скорчил такую рожу, что я чуть не упал со стула от хохота. Дядя втянул голову в плечи, прищурил глаза так, что остались одни узкие щелки, сморщил нос и выпятил губы наподобие свиного пятачка — дядя стал похож на свинью!

— Вот какую рожу,— сказал дядя и выпустил облако дыма.— Это значило, что рядом кабан. Дикие кабаны очень свирепы. А хитры, как бестии! Они могут пронзить тебя своими клыками в мгновение ока! Самое страшное — это раненый кабан, даже раненный смертельно — такой всего опаснее. Поэтому в кабана надо стрелять без промаха: надо попасть ему в шею за ухом, чтобы уложить его одним ударом.

После того как отец скорчил мне свою рожу, мы стали бесшумно передвигаться от дерева к дереву, держа на изготовку свои ружья. И тут я увидел его! Кабан стоял ко мне боком, копаясь рылом в сухих листьях и выискивая там что-то съедобное. Я прицелился и выстрелил... Кабан упал и покатился...

— Здóрово! — сказал я.

— Совсем не здорово! — крикнул дядя.— Я оказался в дураках! Я не перезарядил ружье, потому что подумал, что кабан

убит, и пошел его разыскивать. Вдруг я увидел, что кабан несется прямо на меня! Он несся, как танк... как сумасшедший танк! Острые клыки торчали из его пасти, как кривые пулеметы... До сих пор помню его свирепую рожу!

Дядя опять скорчил рожу, но я уже не смеялся.

— Все совершилось в одно мгновение! Не знаю уж как, но я отпрыгнул, и кабан пронесся мимо меня. Он пронесся так близко, что обрызгал меня кровью с ног до головы. Позади меня рос большой дуб, и кабан врезался в этот дуб своими клыками сантиметров на пять... Тут подбежал отец и прикончил его ударом ножа! И попало же мне тогда от отца!

— За что?

— Как — за что? За то, что промазал! Не убил наповал! И за то, что не перезарядил ружье! Отец здорово наказал меня! Мне было очень неприятно!

— Он поставил тебя в угол?

— В какой там угол! Меня никогда не ставили в угол! Отец просто посмотрел на меня, не говоря ни слова, *вот так.*

И дядя *так* на меня посмотрел, что душа моя сразу ушла в пятки. Почему она ушла в пятки? Потому что душа всегда уходит в пятки, когда вам очень страшно. Уж не знаю почему, но когда вам страшно, душа всегда скрывается в пятках — она там прячется. Там у нее укромное местечко. Так объяснил мне дядя.

— Не смотри на меня так,— сказал я.

— То-то...— улыбнулся дядя.

— А хуже были неприятности? — спросил я.

— Тебе этого мало?

— Не мало, но это же так... с кабаном... А с белыми?

— С какими белыми?

— Ну с разными... с белыми, с врагами!

— Хватало! — сказал дядя.

— Ну расскажи! Расскажи мне какую-нибудь особую историю.

Дядя задумался, попыхивая трубкой.

— Был однажды случай...— сказал дядя.— В тринадцатом году. Я шел на явку и плохо замел след. За мной увязался филер...

— Какой филер?

— Шпик, или сыщик. Такой же липкий, как сало! Шпик, или филер,— это сыщик. Сыщиков нанимало царское правительство — следить за революционерами. Нас выслеживали, чтобы поймать и посадить в тюрьму. Если тебя поймают одного — это еще не так страшно. Главное — не раскрыть организацию...

— Партию?

— Ячейку партии, в которой ты состоишь. Если попадешь один, можно все скрыть. Молчишь, и все. Или наврешь с три короба...

— А ты молчал?

— Как рыба!

— Тебя пытали?

— Особенно нет... Просто били.

— И тебе было больно?

— Еще бы! Но дело не в этом. Дело в том, что я шел на явочную квартиру. Это была квартира зубного врача. Помнится, фамилия его была Циппepштейн. На парадной двери у него висела табличка: «Зубной врач Циппepштейн». А на самом-то деле это была явочная квартира. Там собирались мы — большевики-подпольщики. И обсуждали партийные дела. А иногда мы прятались там от полиции. Ясно?

Я кивнул. Дядя опять затянулся трубкой.

— Один раз я шел туда на собрание, но плохо замел следы,— продолжал он.

— А как ты заметал следы?

— Как лиса! — закричал дядя.— Я всегда заметал их, как лиса! Но на этот раз мне не повезло! Помнится, я вышел из дому — я жил тогда в Москве у Земляного вала,— вышел из дому и заметил, что за мной следят. За мной шел шпик. Ну и рожа, скажу я тебе!

— Как у кабана!

— Хуже! — Дядя скорчил совсем особую рожу — такой рожи я сроду не видывал!

Я засмеялся.

— Тебе смешно,— сказал дядя,— а мне тогда было совсем не до смеха! Я стал заметать следы. Я пошел пешком к центру. Квартира Циппepштейна была на Разгуляе, совсем в другой стороне, но я нарочно пошел к центру. Я прошел всю Маросейку до самой Лубянки. Шпик шел за мной. Я вскочил в конку. Шпик тоже вскочил в конку. Это такой трамвай, который тянули лошади... Мы доехали до Манежа. Я опять выскочил. И шпик выскочил. Я пошел на Кудринку. И шпик тоже! Я пытался замешаться в толпе. Но это мне не удалось. Как назло, было мало народу. Я прошел один квартал, потом второй, потом свернул в переулок, вошел во двор, прошел его, вышел в другой переулок, свернул за угол, опять вышел из-за угла — *шпик шел за мной!* Я очень волновался. Меня ждали товарищи, я должен был передать им прокламации, чтобы они разбросали их на Пресне рабочим. Я катастрофически опаздывал! Наконец я схитрил: я шмыгнул у Кудринки в подворотню — и был таков!

Когда я оглянулся, шпика уже не было! Я прошел на Садовую, сел на конку и доехал до Сухаревки. А оттуда пошел на Разгуляй. Я шел медленно, все время оглядываясь,— шпика не было!

— Молодец! — сказал я.

— Ворона! — крикнул дядя.

— Где ворона? — не понял я.

Я посмотрел в окно.

— Я ворона! — заорал дядя.— Жалкая, глупая ворона! Шпик шел за мной — я его просто не замечал! Это была опытная сволочь! Я заметил его, только когда поравнялся с домом Циппepштейна...— Дядя пыхнул дымом прямо в лицо мне.— Квартира Циппepштейна была на первом этаже, понимаешь?

— Понимаю! — сказал я, хоть мне совсем не было понятно, какое это имеет значение.

— Надо было их *предупредить!* — крикнул дядя.— У нас был условный знак: если дело плохо, постучать три раза в окно...

— И ты постучал?

— Доннерветтер! Как же я мог постучать, если шпик шел за мной! Но я все же предупредил...

— Как? — еле выдохнул я.

— Я стал орать! — сказал дядя.— Я заорал прямо перед окном: «Держите вора! Держите вора!» — несколько раз, пока не заметил в окне голову Цепперштейна, его лысую лукообразную голову... Тогда я кинулся по улице, не переставая кричать, прямо на шпика, сбил его с ног и помчался дальше. За мной побежали... Шпик засвистел... Он тоже кричал: «Держите! Держите!..» И меня поймали...

— А прокламации?

— Я успел их подбросить в корзину какой-то торговке.

Дядя опять затянулся...

— Да-а! — сказал он.— Нехорошо получилось... Прокламации не попали по назначению. Меня арестовали. А главное — сорвалось важное мероприятие!

— Какое мероприятие?

— Важное!

— Какое важное?

— *Этвас!* — улыбнулся дядя.

— Ну, дядя!

— Когда-нибудь узнаешь,— сказал дядя.— Это долго рассказывать... Вот, видишь...— Он нагнулся и открыл ящик стола.

В ящике стола ровными пачками лежали тетрадки Совсем

обыкновенные. Даже какие-то старенькие. Тетрадок было много — штук сто. А может, и больше. Все они были перевязаны веревочками в отдельные пачки.

— Что это?

— Мои воспоминания. И дневники,— сказал дядя.— Я их дал почитать твоему отцу.

— А мне дашь почитать?

— Непременно!

— Когда? Когда мне будет тринадцать?

— Попозже,— сказал дядя.

— А это что?

На тетрадках лежал пузатый синий конверт.

— Это фотографии... и послужной список.

— Какой послужной?

— Список прохождения службы. Тут указано, где и когда я служил. С семнадцатого по тридцать пятый год.

Мне прямо жарко стало! Мне очень хотелось посмотреть этот список...

— Хочешь посмотреть список? — спросил дядя.

— Хочу! — сказал я чуть слышно.

Дядя достал конверт и вынул из него сложенную вчетверо бумагу. Дядя развернул бумагу и протянул ее мне.

Я стал читать затаив дыхание. А дядя сидел, попыхивая трубкой.

Вот он, этот список! Потом я его переписал.

## ВЫПИСКА ИЗ ПОСЛУЖНОГО СПИСКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВДЕЛАМИ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

| | |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество | *ФЕДЕНКО Петр Иванов.* |
| Когда и где родился | *1887 год, 10 декабря, г. Елисаветполь.* |
| Партийность | *Член ВКП(б) с 1905 г.* |

## ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ

| | |
|---|---|
| Назначен на должность военного следователя в РВТ Республики (Революционный Военный Трибунал) приказ по полевому штабу № 57 . . . | 1917 16 декабрь |
| Поступил добровольцем в Красную гвардию . . . | 1918 февраль |
| Находился на излечении в госпитале . . . . . | 1918 авг.— дек. |
| Откомандирован в распоряжение НКИД (Народный комиссариат иностранных дел) . . . . . | 1918 декабрь |
| Откомандирован в постпредство в город Берлин . . | 1919 январь |
| Делегат с решающим голосом от пленума Моссовета на 2-м Объединенном съезде Советов Москвы и Московской губернии . . . . . | 1920 декабрь |
| Откомандирован в постпредство в город | |

| | |
|---|---|
| Гельсингфорс . . . . . | 1921 апрель |
| Откомандирован в Туркестанский военный округ в распоряжение особого отдела по борьбе с басмачами . . . . . | 1924 июль |
| Находился на излечении в госпитале . . . . . | 1924 нояб.— дек. |
| Откомандирован в Хоперский округ, Нижне-Поволжской волости, в связи с кампанией по сплошной коллективизации для организации групп бедноты . . . . . | 1929 январь |
| Откомандирован в распоряжение СТО (Совет Труда и Обороны) . . . . . | 1929 июль |
| Откомандирован на строительство Магнитогорского металлургического комбината . . . . . | 1930 май |
| Откомандирован на строительство Днепровской гидроэлектростанции (Днепрогэс) . . . . . | 1932 апрель |
| Откомандирован в распоряжение ГЛАВСЕВМОРПУТИ . . . . . | 1935 сентябрь |

*Выписка верна:*
*старший научный сотрудник ЦГАКА Рославцева*

— Хороший список! — сказал я.

Я задумался...

Доннерветтер! Так вот какой человек был мой дядя. Я, конечно, всегда знал, *какой* он человек, но я не думал, что он *такой* человек! Подумать только, в каких дядя побывал переделках! А еще говорят, что мой дядя выдумывает! Где же он выдумывает? Ничего он не выдумывает! Вот вам список, прочтите! Ах, вы его уже прочли? Очень хорошо! Прекрасно! Теперь вы догадываетесь, что такое *этвас?* И что значит пройти огонь, воду и медные трубы? Вот именно! Совершенно верно! Совершенно правильно! Очень хорошо! Благодарю вас за внимание!..

Я посмотрел на дядю. Он сидел задумавшись, опустив лохматую голову на грудь, на расстегнутый ворот рубахи. Потухшая трубка свисала у него с губ, между усов, на крутой подбородок. Руки лежали на ручках кресла. И тут я увидел, что дядя очень похож на Тараса Бульбу. Я видел Тараса Бульбу в книжке — точно мой дядя! Как я об этом раньше не думал!

— Дядя! — позвал я шепотом.— Дядя! .

Дядя вздрогнул. Он поднял голову и несколько раз причмокнул мундштуком своей трубки. Но трубка погасла.

Дядя взял спичку, зажег ее и стал раскуривать трубку, громко посапывая. Дядина голова сразу окуталась клубами дыма.

— О чем ты сейчас думаешь? — спросил я.

— О неприятностях,— сказал дядя.

— О кабане?

— И о кабане...

— И о шпике?

— И о шпике...

— А еще о чем?

— Мало ли еще о чем!

Дядя посмотрел мне в глаза. У него были очень грустные глаза, у моего дяди.

— Это все чепуха! — сказал он.

— Что — чепуха?

— Кабан. И шпик. Это все чепуха. Бывало похуже...

— Что — похуже?

— Узнаешь! Вот прочтешь эти тетрадки и все узнаешь... Когда-нибудь...

— Жаль, что я маленький! — сказал я.— И что я не был тогда с тобой! Я бы тебе помогал, и у тебя было бы меньше неприятностей...

— Это очень хорошо, что ты маленький! — сказал дядя.— Это прекрасно! В этом преемственность! Преемственность поколений! Ясно?

— Не ясно! — сказал я.

— Преемственность поколений — в этом вечная жизнь! — громко сказал дядя.— *Ты — моя смена!* Ты понимаешь, что ты — моя смена?

— Понимаю,— сказал я.

— Ведь ты же большевик у меня, не правда ли?

— Большевик,— сказал я.

— Вот именно! — крикнул дядя.— И ты продолжишь мое дело! Ради которого я жил и боролся! И ради которого готов умереть!

— Ты никогда не умрешь! — сказал я тихо.

— Может быть! — сказал дядя.— *Но я останусь вдали за рекой, а ты пойдешь вперед.*

— Где вдали за рекой?

— В прошлом! — сказал дядя.— А теперь пойдем погуляем. Подышим воздухом.— И дядя встал.

Так я ничего и не сказал дяде о своих неприятностях. О Витьке и о дохлой крысе... Да и что было об этом рассказывать! И так все ясно. Главное — быть находчивым и вовремя давать сдачи. А остальное все чепуха!

## ВАЛЯ + МИША = ЛЮБОВЬ!

На следующий день я понес свои бивни в школу. Я с трудом запихнул их в портфель. Пришлось выкинуть несколько учебников. Но все равно бивни торчали. Целиком они не умещались.

Я не мог не взять их в школу! Не для того, чтобы хвалиться — чего мне хвалиться! — я просто должен был доказать, что *дядя не болтун*. Что он ничего не выдумывает.

Сейчас я мог это доказать.

Я хотел показать эти бивни всем. Во-первых, Вале. Хотя она могла увидеть их у меня дома. Она иногда приходила ко мне в гости. А Витька не приходил ко мне в гости. Эту Болотную фамилию я бы к себе не пустил. А Витьке их тоже надо было показать. Ему-то особенно. Это во-вторых. Ну, а в-третьих, всем остальным. Чтобы знали!

У кого есть еще такие бивни, скажите? Ни у кого! Все ребята приносили в школу разные ценности: разные гайки, железки, болтики, спичечные коробки (с жуками и без жуков), фантики, резинки для рогаток, перочинные ножички и так далее. Но это все были *ложные ценности* по сравнению с моими бивнями. Ложные ценности — это не настоящие ценности, попросту говоря — *чепуха*. Разве примут в музей какую-нибудь ржавую гайку? Не примут! Гайку только и можно, что забросить на какой-нибудь провод, привязав ее за ниточку. Или сдать ее в металлолом. Больше она ни на что не годится. А мои бивни можно в музей сдать! И за них даже деньги заплатят. Кто знает, какого они века! Сколько они пролежали во льдах! Может быть, тысячи лет! Я уж не знаю, где их дядя достал. Говорит — на Севере, а где на Севере — не говорит. Может быть, мои бивни — огромная историческая ценность! Кто его знает!

Но я их, конечно, не понесу в музей. Пусть уж лежат дома. А то в музее все попáдают в обморок, и заплачут, и попросят эти бивни продать. И отказать будет неудобно! А не отказать — жалко! Такая все-таки ценность! Потом-то я их, может быть, и отдам, через несколько лет. Когда я на них насмотрюсь. Спешить с этим не надо. Никогда не надо спешить! В конце концов, я могу завещать эти бивни и после своей смерти. Завещать их музею. Конечно, бесплатно. Тогда пусть себе в музее лежат! А над ними будет повешена *мемориальная* доска, на которой будет написано, что эти замечательные бивни принесены в дар музею от такого-то и такого-то, то есть от меня. Так всегда делается. Я видел в музее одну такую доску. Только рядом висели не бивни, а какие-то старые тусклые картинки. Я уж не помню какие... Хуже бивней, конечно.

Все это я думал, пока шел в школу. Как только я вошел в класс, я сразу всем показал свои бивни. Вы знаете, какое они произвели впечатление? *Потрясающее!* Все просто онемели, остолбенели, окаменели, одеревенели и обревнели. И смотрели на мои бивни. Вот было впечатление! Никогда еще в жизни ничем я не производил такого сильного впечатления!

Больше всего поразили мои бивни Витьку. Он смотрел на них во все глаза, даже несколько раз пощупал. А я делал вид, что не замечаю его, хотя сам наблюдал за ним *боковым зрением.* Витька просто умирал от зависти, я это видел по его глазам. Но он ничего не сказал.

А я сказал! Я сказал, что это мне дядя привез. С Северного полюса. И про музей я тоже сказал, когда меня спросили, что я с ними буду делать. Но тут прозвенел звонок, и все сели за парты. В класс вошла Лидь Петровна.

Я положил бивни в парту, но они торчали даже из парты. Я их все время трогал, потому что они мне мешали, а еще потому, что мне приятно было их трогать. И мой сосед Скобелев тоже их трогал, потому что я ему разрешил. Лидь Петровна заметила, что мы вертимся, и сделала нам замечание. Но я продолжал ерзать на месте, потому что бивни упирались мне прямо в живот. Один раз они меня так защекотали, что я рассмеялся. У меня было прекрасное настроение!

— Какой-то ты сегодня странный! — сказала мне Лидь Петровна.— Что это с тобой?

— Ничего.

После этого я сидел смирно, хотя мне было очень неудобно: я даже дышать не мог — так мне мешали бивни. Но ничего не поделаешь. Так я сидел до конца урока. Я прямо измучился. Я ничего не понимал из того, что говорила Лидь Петровна, потому что все время думал про бивни, и про свой успех, и про Витьку, а урок был как в тумане, в котором торчали огромные бивни. И все вертелось вокруг бивней.

На первой же перемене весть о моих бивнях разнеслась по всей школе. Все приходили на них смотреть. Даже десятиклассники. А я давал всем объяснения. И рассказывал всем о дяде. Когда я на минуту отлучался из класса, объяснения давала Валя, потому что Валя все знала — и про бивни, и про дядю. Когда я выходил, я поручал бивни Вале, чтобы с ними ничего не случилось. Но вообще-то я почти не выходил из класса, потому что все время должен был быть рядом с бивнями. Как какой-нибудь экскурсовод. Но экскурсоводы ходят по музею, а я почти не ходил. Я даже не ходил завтракать.

Тогда я вот что придумал: я вставил бивни в рот и стал ползать по партам — как мамонт! Витьку я этим совсем уничтожил! Вот было смеху! Бивни чуть не разорвали мне рот. Все очень смеялись. И я тоже. И Валя. И Витька тоже захохотал. Он так захохотал, что чуть не упал на пол. Он уж слишком захохотал, меня это даже удивило. И вдруг я заметил, что все смотрят на доску. Я тоже посмотрел на доску. И сразу перестал смеяться.

Большими буквами на доске было написано:

МИША+ВАЛЯ=ЛЮБОВЬ!

Кровь сразу ударила мне в голову.

— Кто это написал? — крикнул я, хотя прекрасно знал, кто это написал.

Витька ничего не ответил — он продолжал хохотать, держась за живот.

Я подскочил к доске и стер эту подлую надпись.

Валя сказала:

— Брось, что ты обращаешь внимание *на дураков!*

И Витька перестал смеяться.

— Он просто боится признаться, тот, кто это написал,— сказал я и посмотрел прямо на Витьку.

Тут опять прозвенел звонок, и мы сели за парты. Мне опять ничего не лезло в голову. Я думал о том, какой подлый этот Витька. Даром что второгодник! Настроение у меня было немножко испорчено. Но только немножко. Все-таки бивни были бивнями! Тут уж ничего не поделаешь. Просто я думал, как отомстить Витьке за эту подлость.

На следующих переменах мы опять играли с бивнями. Я тоже играл и делал вид, что ничего не случилось. Все опять приходили смотреть на эти бивни, и щупали их, и расспрашивали про дядю, и вставляли бивни в рот, и прикладывали их к голове — как оленьи рога, и приставляли их к носу — как рог носорога, и даже фехтовали на бивнях! Было очень весело. На Витьку никто не обращал внимания. Но под конец мне это все надоело. Я устал.

Когда прозвенел последний звонок, я опять положил бивни в портфель и вышел во двор. Во дворе стоял Витька и еще ребята — из нашего класса и из другого. Витькины дружки.

Витька вышел вперед.

— Послушай,— сказал он,— хочешь конфетку?

В руках у него был кулек. Довольно большой кулек. Этого еще не хватало!

— Не хочу я твоих конфет! — сказал я.

Я пошел дальше. Но Витька пошел за мной. И те тоже.

— Брось ты дуться! — сказал Витька.— Ты думаешь, это я написал! Я ничего не писал!

Но я шел молча.

— Мишка! — сказал Витька и забежал вперед.— Ты брось! Я ведь ничего не имею... ну, против того, чтобы дружить. И насчет дяди забудь, он совсем не болтун. Это я теперь вижу...

И ребята тоже сказали:

— Хватит вам! Кончайте ссориться!

— Бивни у тебя замечательные! — сказал Витька.— Просто блеск! Возьми вот конфетку! Ну, возьми! Шоколадные...

— Ну ладно! — буркнул я.— Так это не ты написал?

— Конечно, не я! Честное пионерское! Я знаю кто... Я тебе потом скажу... Возьми вот эту, она самая вкусная!

Я взял конфетку и положил ее в рот. А ребята стояли и смотрели. Они смотрели мне прямо в рот.

Я раскусил конфетку и почувствовал во рту какую-то дрянь... Это была соль! Вся конфетка была напичкана солью! У меня от неожиданности голова закружилась! А во рту было так противно...

А Витька улыбнулся и вытянул голову.

— Ну как? — спросил он.

И ребята заулыбались. Я видел, что они готовы расхохотаться.

— *Очень вкусно!* — сказал я, еле переводя дух.

*И тут я проглотил эту конфетку.*

— Замечательно вкусная! — повторил я.— Еще можно?

Я опять протянул руку и взял другую конфетку. Вторая конфетка была без соли. Я стал ее тщательно прожевывать, а ребята смотрели, как я жую. И Витька смотрел, *как я жую*. Его улыбка постепенно сходила с лица. А я жевал как ни в чем не бывало! Жевал и смотрел на них. Я жевал и лихорадочно думал...

— Дай еще конфетку! — сказал я.

Я положил на землю портфель, взял еще конфетку и сразу проглотил ее.

— Давай еще конфетку! — закричал я.— Давай!

*И тут я размахнулся и ударил Витьку прямо в переносицу!*

— Еще конфетку! — Я снова ударил.— Еще! Еще конфетку! Еще! А ну еще! Еще конфетку...

Витька вдруг заревел, закрыл лицо руками и побежал. По дороге он один раз упал.

А я стоял и смотрел ему вслед. На моем кулаке была кровь. Я вытер кулак о штаны. Я весь дрожал. И тут я увидел ребят. Они стояли молча, с открытыми ртами.

— Вот это да! — сказал вдруг один из них.— Дай пять! — Он взял мою руку и сжал ее.— Вот это да! — повторил он.— Сила! Можешь на нас рассчитывать!

— Благодарю за внимание! — сказал я.— Большое спасибо! Весьма!

Вот как я им ответил! Здорово ответил, не правда ли?

Я взял портфель и пошел.

# БАЛЬЗАМ «МЭРИ ПИКФОРД»

Один раз вечером в нашей квартире раздался странный звонок. Никто никогда так не звонил! Тем более в десять часов вечера. Звонок был настойчивый и оглушительный.

Все жильцы высунулись на «проспект». Я первый побежал открывать. Я всегда первый открываю, когда раздаются общественные звонки. Один звонок — это общественный звонок, звонок ко всем: так звонят молочницы, точильщики, почтальоны, страховые агенты, Мосгаз, Мосэнерго и пионеры, собирающие металлолом. Но они звонят вежливо. И не в десять часов вечера. Разве что телеграмма. Но это не была телеграмма! Я это сразу почувствовал. Это все сразу почувствовали.

Когда я открыл дверь, *я оторопел.*

На площадке лестницы стояли: *милиционер с портфелем, дворник Афоня и три какие-то женщины.*

Я сразу обратил внимание на этих женщин. Одна из них была высоченной — метра два ростом. Другая была среднего роста, но зато толстая, как баобаб. А третья была совсем маленькая, чуть повыше меня. Лица у всех были закутаны платками — блестели одни глаза. Я видел такие фигуры у дяди на фотографиях, которые он привозил из Азии. *Женщины были похожи на привидения!*

В моей голове взметнулся рой мыслей. Рассказывать об этом долго, но произошло все в одно мгновение. Я сразу подумал о себе: не натворил ли я чего-нибудь? На днях я залез на дерево и нечаянно сломал большой сук. Никто этого не видел, но общественное мнение могло об этом узнать. А еще я разбил мячом стекло в подвальном помещении...

— Мальчик,— сказал милиционер,— кто тут у вас ответственный съемщик?

— Я,— сказал мой папа очень тихо.

Остальные жильцы столпились позади нас. Не было только Благодарю за внимание и дяди — дядя был у нас в гостях, но сидел в комнате.

— Граждане, пройдите в сторону! — сказал милиционер.— Скажите, товарищ,— обратился он к моему отцу,— у вас проживает гражданин по кличке Благодарю за внимание?

— И еще по кличке Мэри Пикфорд! — проревела басом женщина-баобаб. Она это так проревела, что все вздрогнули.

— Мэри Пикфорд не знаю,— сказал папа,— а Благодарю за внимание — у нас.

— Пройдемте,— сказал милиционер.

Папа повел всех в дальний конец «проспекта», туда, где

рядом с кухней была дверь Благодарю за внимание. Из-за двери, как всегда, шел неприятный запах. Милиционер постучал. За дверью раздался кашель, а потом скрипучий голос произнес:

— Чем обязан? Я уже сплю...

— Милиция! Потрудитесь немедленно открыть! — сказал милиционер.

В наступившей тишине было слышно, как в комнате зашаркали шлепанцы. Я стоял возле самой двери. Потом дверь открылась, и... тут началось нечто невообразимое!

— Это он! — взревела женщина-баобаб.

— Прохиндей! — взвизгнула маленькая.

— Вот! Вот что он со мной сделал! — крикнула женщина-великан и сорвала с головы платок.

Женщина-баобаб и маленькая женщина тоже сорвали платки. И тут все увидели нечто ужасное: лица женщин были покрыты какими-то разноцветными пятнами.

— Господи! — всплеснула мама руками.

— Я убью его! — ревела женщина-баобаб.

— Благодарю за внимание! — пискнул Благодарю за внимание.— Чем обязан?

— Как тесен мир! — вздохнула моя бабушка.

— Что такое?! — кричал дядя. Он шел к нам по «проспекту».

— Граждане, давайте не будем! — сказал милиционер.— Пройдите на кухню! А вы с нами,— обратился он к моему папе.

Женщины тем временем ворвались в комнату. За ними вошли Афоня, милиционер и мой папа. Я тоже хотел пробраться в комнату, но Афоня вежливо отстранил меня и закрыл дверь. Я успел только увидеть, как Благодарю за внимание, который был в одном белье, яростно отбивался от женщин.

Мы все пошли на кухню, которая была рядом. Это был необычный «Большой хурал»! Я его никогда не забуду! Все сидели как на иголках. Вы представляете себе, что значит сидеть как на иголках? Я это с тех пор прекрасно представляю. Сидеть как на иголках — это значит сидеть на стуле, на столе или просто на полу, но очень волноваться. Это значит не находить себе места и все время ерзать от нетерпения. Так мы и сидели: кто на стуле, кто на столе, кто на подоконнике,— и все как на иголках. Я тоже сидел как на иголках. Единственный, кто не сидел на иголках,— это был мой дядя. Он стоял и спокойно курил свою трубку.

Все прислушивались к тому, что творилось в соседней комнате. Я тоже старался понять, о чем там говорили. Разобрать можно было только обрывки фраз:

— ...ничего не знаю... дворянин... дом на Моховой... бальзам «Мэри Пикфорд»... экзема, а не бальзам!.. аптека... бог шельму метит... из-под полы... Ничего не знаю!.. А это ты знаешь? — Тут что-то стукнуло об пол.— ...Прохиндей, прохиндей, прохиндей... пардон, мадам... элой... *алоэ*...

Я ничего не понимал. Что такое «бальзам «Мэри Пикфорд»? А «бог шельму метит»? А «элой»? Я посмотрел на дядю: он спокойно курил свою трубку. Я опять прислушался.

— ...чтоб скитаться вам по белу свету... Соловки... Вот! Вот! Вот!.. Банки, склянки, алхимия... Держите комод! — Опять что-то грохнуло об пол и разлилось мелкими колокольчиками.— ...Не позволю!.. триста тысяч... Нотабене... (треск пощечины)... Благодарю за внимание!.. Успокойтесь, а то я вас выведу!.. толковал апокалипсис...

«Что значит «толковал апокалипсис»? — подумал я.

В наступившей тишине я узнал голос милиционера:

— ...так как трудно их объяснить, то ограничимся фактом...

И опять тишина. И опять незнакомые голоса:

— ...обратите внимание: двенадцать спящих дев!.. Адские смеси... прохиндей прохапнулся...

Тут раздался страшный взрыв, и из комнаты повалил дым.

Все вскочили. Дядя спокойно вынул изо рта трубку.

— Эй! — сказал он громовым голосом.— Там все в порядке?

Дверь открылась. Из нее вышли Афоня и три женщины; женщины были снова закутаны. Они сразу пошли к выходу на лестницу.

Кто-то из них тоненько плакал — наверное, маленькая.

— Все в порядке! — сказал, улыбаясь, Афоня.— Ну и тип! Сейчас все кончится,— и пошел за женщинами.

— Какое несчастье! — сказала мама.

— Это счастье! — сказал дядя.— Великое счастье! Наконец-то его прищучили!

— Вот вам и сальдо! — сказал бухгалтер.

— Короткое замыкание! — сказал монтер

— Попался на удочку! — сказал дядя.

— А что такое *элой*? — спросил я.

— Ты еще здесь? — удивилась мама.— Иди спать!

— Я не хочу спать!

«Прищучили,— подумал я.— Так вот как он попался на удочку!»

В это время открылась дверь, и из нее вышли Благодарю за внимание (он же Мэри Пикфорд), за ним милиционер с портфелем, а за ними папа.

Милиционер повернулся и прислонил портфель к стенке.

Портфель стал очень толстым. Потом милиционер запер дверь, положил в карман ключ, вынул из кармана веревочку, спички и что-то красное — это был сургуч! Милиционер зажег спичку, припалил сургуч и наляпал его на косяк двери. Веревочку он продел сквозь ручку двери и оба конца ее втиснул в сургуч, припечатав какой-то печатью,— как посылки на почте.

Папа ему помогал. Все стояли в глубоком молчании. Я посмотрел на Благодарю за внимание: он стоял в углу, возле двери. Какая же он Мэри Пикфорд?

Мне стало смешно! Он был в своем рыжем пальто, рыжей шляпе и галошах «прощай молодость». Он курил и смотрел в пол. Руки у него тряслись. В одной руке он держал узелок.

— Все! — сказал милиционер.— Извините за беспокойство!

— Ну что вы! — сказал папа.

— Надо бы проветрить комнату,— сказала бабушка.

— Ничего, рассосется! — улыбнулся милиционер.— Пошли!

— *Оревуар!* — проскрипел Благодарю за внимание (он же Мэри Пикфорд), приподнял над головой шляпу и пошел по «проспекту» впереди милиционера.

Хлопнула входная дверь, и слышно было, как спускались по лестнице.

Папа прошел на кухню и прямо упал. На стул.

— У нас в Торжке...— начала было певичка.

— Что, в сущности, произошло? — перебил бухгалтер.

Все посмотрели на папу.

— Продавал какой-то крем для лица,— сказал папа.— Варил и продавал. Бальзам «Мэри Пикфорд». Из-под полы в аптеках. Какую-то дрянь. И изуродовал этих женщин...

— Уж эта мне Мэри Пикфорд! — сказал монтер.— Все женщины хотят быть похожими на нее!

— Что вы говорите! Я вовсе не хочу быть на нее похожей! — сказала мама.

— Вы и так красивы! — сказал монтер.

— Благодарю за комплимент! — сказала мама.

— А кто такая Мэри Пикфорд? — спросил я.

— Американская кинозвезда! — сказал бухгалтер.— Я видел ее. Вот это женщина!

— Я всегда говорила, что нельзя покупать у частников! — сказала бабушка.— Надо покупать у государства!

— Жаль человека! — вздохнула мама.— Что теперь с ним будет?

— Кого жаль? — закричал дядя.— Я таких расстреливал в семнадцатом! Капиталист! Саботажник! Вурдалак проклятый! Мы с такими не цацкались!

— Триста тысяч,— сказал папа.— Триста тысяч нашли в чулке...

— Подумать только! — сказала певичка.— А у нас в Торжке... (Она была из Торжка.)

— Я давно говорил, что это темная личность! — перебил дядя.— Двадцать лет варил свою дрянь! Неизвестно, чем он еще занимался!

— Но что с ним теперь будет?

— Ничего не будет! Будет работать! Мы с такими не цацкались...

— А что такое «толковал апокалипсис»? — спросил я.— *А натабене?*

— Хватит! — сказал дядя.— Хурал закрыт!

— Подробности не имеют значения! — сказал папа.

Все засмеялись.

— А у нас в Торжке...— начала было певичка.

Но ее уже никто не слушал.

## КАНУНЩИК

Я должен сказать важную вещь: я перешел в пятый класс! А Витька не перешел. Такие-то дела. Витька получил «оч. плохо» по математике. А я получил «хор.». Это потому, что мы с дядей хорошо позанимались.

Все это было очень знаменательно. Витька вообще стал тише воды, ниже травы. После того случая с конфеткой. Об этом случае узнала вся школа. Меня с тех пор стали все уважать. Уже никто не кричал мне «Дядечкин хвостик» и «Кровь из носа». Все это кончилось.

В то лето вообще случилось много знаменательного. Уж такое это было знаменательное лето. Но я не буду забегать вперед. Расскажу все по порядку.

После экзаменов я получил очень много подарков. От мамы, от папы, от бабушки... Даже от соседей по квартире. Бывшая певичка, например, подарила мне билет в Большой театр. Вернее, два билета: на второй билет я мог взять кого хочу. Я хотел взять дядю, но мама сказала, что это неудобно, что надо взять певичку. Надо, чтобы я ее пригласил. И я ее пригласил. Хотя мне этого и не очень хотелось. Накануне вечером, перед тем как идти в театр, я пошел ее приглашать. Я хотел ее пригласить в тот же день утром; я это все время откладывал, но мама сказала, что надо пригласить *накануне*. Вы знаете, что значит *накануне*? Это значит за день раньше, заблаговременно.

Потому что *канун* — это день или вечер перед днем, о котором идет речь. Канун — это день или вечер перед каким-нибудь особым событием, перед праздником, например. Все это объяснил мне дядя. Кануном еще называют еду, угощение, сваренное к празднику или к поминкам, если кто-нибудь помирает. Сейчас уже так не говорят, а раньше так говорили. И бабушка это подтвердила. Бабушка сказала, что раньше в канун варили особое пиво, подслащенное медом, и пекли блины, и эти угощения назывались *канунниками*. А тех, кто ел эти угощения, кто справлял канун, называли *канунщиками*. Раньше было очень много канунщиков. Да и сейчас еще много канунщиков — тех, которые очень любят праздновать, которые начинают праздновать заранее — в канун. А некоторые, которым особенно не терпится, начинают еще раньше — *в канун кануна*! То есть за два дня до праздника. Вот какие это нетерпеливые люди. А некоторые начинают еще раньше — это уж просто бездельники! Им лишь бы праздновать да не работать. Они всё канунятся, да канунятся, да до того доканунятся, что к празднику остаются совсем без денег... А то и вовсе заболеют. Вот какие это легкомысленные люди! Если не сказать хуже.

Все это объяснила мне бабушка, а потом сказала:

— Ну, иди кануниться! Иди, кавалер, приглашай свою даму!

А я сказал, что не пойду, потому что я, во-первых, не канунщик, во-вторых, не кавалер, а в-третьих — какая она мне дама? Никакая она мне не дама, а просто старушка. Я даже разозлился. Но бабушка передо мной извинилась; она сказала, что пошутила. И мама сказала, что бабушка пошутила, что непременно надо идти, и именно накануне, потому что так делают все вежливые люди. Никогда нельзя никого приглашать в последний момент: может быть, человеку некогда. Может быть, он уже собрался куда-нибудь идти, в кино например, и уже билет купил, а ты его еще куда-то зовешь! Получится нехорошо, даже глупо: какой-нибудь билет обязательно пропадет — или твой, или его билет. Все это мне объяснили, и мне пришлось идти кануниться. Мама заставила меня причесаться, и почистить ногти, и надеть чистую рубашку, хотя идти было всего-то через коридор, и я пошел с замирающим сердцем. Мама велела мне назвать певичку по имени-отчеству и быть серьезным. А это было трудно, потому что у певички очень смешное имя-отчество. Я постучал певичке в дверь и вошел.

— Да, да, прошу вас, молодой человек! — сказала она.

А я сказал:

— Клеопатра Еврипидовна! Разрешите пригласить вас в Большой театр!

И она, конечно, разрешила.

— Мерси! — сказала она.— Я очень тронута! Выпей со мной чашку чая...

А я еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. Я сказал, что мне очень некогда, повернулся и побежал в ванную. Там я заперся, открыл кран и расхохотался прямо в воду. Воду я пустил, чтобы не слышно было, как я хохочу.

Какие они бывают смешные, эти старушки, просто удивительно!

На следующий день я пошел с Клеопатрой Еврипидовной в Большой театр на «Лебединое озеро».

Большой театр мне очень понравился — он был весь красный, и белый, и золотой. Перед началом спектакля мы долго ходили по театру, по разным залам и лестницам, по мягким коврам и смотрелись в зеркала, и Клеопатра Еврипидовна все рассказывала мне про Шаляпина, как она слушала в Большом театре Шаляпина, когда была молодой. Шаляпин — это такой гениальный певец, самый лучший в мире; он пел басом. Он пел замечательно, так громко, что стекла в окнах дребезжали! А я сказал, что тоже могу так громко петь, хотя и не басом. И старушка очень смеялась. Она сказала, что, когда она слушала Шаляпина, была революция, было очень тревожное время, и, чтобы достать билет на Шаляпина, она всю ночь стояла в очереди перед Большим театром. Дело было зимой, и было очень холодно, и все, кто стояли в очереди — а их было больше тысячи человек,— грелись у костров прямо на мостовой. Вот было интересно! Я сказал, что с удовольствием тоже простоял бы всю ночь на мостовой у костра. А потом Клеопатра Еврипидовна рассказала мне, как она пела в студии Станиславского и Немировича-Данченко; она тоже очень хорошо пела, хотя, конечно, не так громко, как Шаляпин. Она рассказала, как Немирович-Данченко один раз подошел к ней на репетиции и попросил ее спеть — знаете как? Как чайная роза! Вы знаете, как поет чайная роза? Я тоже не знаю, как поет чайная роза! И Клеопатра Еврипидовна тоже не знала, но она очень старалась и действительно спела так, как поют чайные розы! Это сказал ей сам Немирович-Данченко после репетиции. Он поцеловал ей руку. А на глазах у него были слезы. А потом он даже повез ее в ресторан!.. Все это она мне рассказывала, пока мы гуляли по фойе. Хотя я это уже знал наизусть, потому что она это много раз рассказывала. Она это всем рассказывала.

Мы очень долго ходили по театру, по красным коврам, вперед и назад, потому что приехали слишком рано, и все, кто приехали рано, тоже ходили взад и вперед, по кругу, парами, как в детском саду.

Когда раздались звонки, мы пошли в зал и заняли свои места. У нас были замечательные места, во втором ряду, в середине. Отсюда все было видно. Но балет мне не понравился. Все время играла музыка, и все танцевали и ничего не говорили — как немые. Так что толком нельзя было ничего понять. Мне сначала стало смешно, а потом скучно. А Клеопатра Еврипидовна все время ахала и охала, а один раз даже всплакнула. Я подумал, что ей плохо, а ей, оказывается, было очень хорошо — ее растрогали воспоминания.

А в антракте мы ходили в буфет, ели пирожные, пили лимонад. Так что все было неплохо.

Когда мы пришли домой, я увидел, что дома все разворочено. Дома был полный развал, вся мебель была сдвинута с места, вещи валялись по всей комнате, пахло нафталином. Папа и мама упаковывали вещи в узлы и в чемоданы. И это опять был канун — канун нашего отъезда на дачу.

Я очень люблю уезжать на дачу. Я вообще люблю уезжать. Я очень люблю сборы и квартиру во время сборов, когда все становится необычным, все стоит не на месте, стол стоит вверх ногами, и на нем лежат толстые узлы; картины не висят, а стоят у стены. А многих вещей вообще уже нет, они уже выехали на «проспект» или уже едут по дороге на дачу. И тогда вдруг в углу обнаруживаются неожиданные знакомцы — пыльный мячик, пропавший полгода назад, или старая авторучка, или клюшка, которая сейчас не нужна. Комнаты становятся больше, и голоса в них звучат громче, даже появляется эхо — эхо отъезда.

Я тоже стал помогать упаковывать. А в самый разгар упаковки пришел дядя и принес мне самый главный подарок — мелкокалиберную винтовку! И к ней несколько пачек патронов. Вот это подарок! Не какое-нибудь там «Лебединое озеро»! Но кто мог тягаться с дядей в смысле подарков? Никто! Так уж повелось, что самые главные подарки всегда приносил дядя. В этот вечер я уснул, как на вокзале,— на маленьком тюфячке, посреди чемоданов, прижимая к груди мелкокалиберную винтовку.

## ТАМ, ВДАЛИ, ЗА РЕКОЙ

Мы уже месяц жили на даче в Мамонтовке, а дяди все не было и не было! Он совсем о нас позабыл. Главное, что он никуда не уезжал — он сидел в Москве. «Чего он там так долго сидит?» — думал я. Мне это было непонятно. Я скучал без дяди. Хотя, в общем-то, мне не было скучно: я купался, ловил рыбу в Уче, а главное — ходил на охоту! У меня теперь была

настоящая винтовка! На охоту я ходил вместе с Чангом. Мы все искали с Чангом какую-нибудь утку. Что это за охота — без утки! Все настоящие охотники всегда стреляют уток. Или глухарей. В общем, дичь. Но дичи почему-то не встречалось. И зайцев тоже не встречалось. И лисиц не встречалось. И волков не встречалось. Не говоря уже о кабанах.

Зато летало много маленьких птичек. Но я в них не стрелял — мне их было жалко. И дядя запретил в них стрелять. А еще было много ежей. В них я тоже не стрелял — за ежами охотился Чанг. Сам бы я никогда не нашел столько ежей, а Чанг находил их десятками! Но он их тоже не трогал — он их боялся. Потому что они кололись. Чанг выкатывал их лапой из-под маленьких елок и лаял на них как сумасшедший. Он мог лаять на них без конца! Глаза у него становились безумными, он припадал на передние лапы и лаял, лаял, лаял... Он совсем охрип от этого лая. А ежи лежали, свернувшись в клубок, и душа у них, наверное, уходила в пятки. Нескольких ежей я принес домой; они жили у меня в ящике на террасе. А потом я их выпустил в лес, потому что они мне надоели. Все это было не то. Я все просил Чанга найти мне какую-нибудь дичь, но он не хотел. Или не мог. А может быть, ее просто там не было.

Зато я стрелял ворон, потому что дядя разрешил мне стрелять ворон. Но и в этом было мало радости, потому что ворон не едят. Чанг, правда, их ел. Но я-то не ел! Потому что это не дичь.

И еще я здорово стрелял просто так — в какую-нибудь цель. Я мог срезать пулей малюсенькую веточку на верхушке самого высокого дерева — вот как я стрелял!

Но что в этом было толку, если не было дичи.

Поэтому я очень ждал дядю — дядя бы непременно что-нибудь придумал. Мы пошли бы с ним далеко-далеко, на какое-нибудь болото или озеро, и нашли бы там уток. В этом я не сомневался. Поэтому я так ждал дядю. И папа говорил, что дядя скоро приедет. Просто дядя был очень занят. Папа часто виделся с дядей, потому что ездил на работу в Москву. А мама не ездила — она работала дома, на даче. Мама писала статьи для журнала. Моя мама была журналист.

А еще папа сказал, что в Москве сейчас все говорят об Испании. В Испании началась гражданская война. Там подняли голову фашисты. Там поднял мятеж какой-то фашистский генерал. Он поднял мятеж в Испанском Марокко, а потом высадился на юге Испании. Я видел этого генерала в газете. Такой же противный, как те белые генералы, которые нападали когда-то на нашу молодую Страну Советов. Ведь у нас тоже была гражданская война. В ней участвовал дядя. И папа в ней тоже

участвовал. И мама участвовала. Но это было давно. Мы всех белых давно разбили и установили у себя Советскую власть.

Я шел и думал об Испании. Я шел домой после охоты. Впереди по тропинке через луг бежал Чанг, все время останавливаясь и поджидая меня, а я не спеша шел сзади, глубоко задумавшись. На поясе у меня висел патронташ, набитый патронами; одной рукой я придерживал на плече винтовку, а другой рукой держал за крыло убитую ворону и сшибал ею белые одуванчики.

«Как жаль, что эта ворона не фашистский генерал! — думал я.— Как хорошо было бы всадить пулю в лоб этому генералу! Жаль, что я не в Испании! И вообще-то мне не везет! Когда гражданская война была у нас, меня еще не было на свете. А сейчас, когда мне исполнилось двенадцать и у меня есть настоящая винтовка, гражданская война началась где-то в Испании! Действительно, не везет! Уж не везет так не везет! Попасть бы мне в Испанию — я бы им дал жизни, этим фашистам! Это вовсе не важно, что мне только двенадцать! Зато у меня есть винтовка, а у испанцев мало оружия — так говорил папа и в газетах так было написано,— меня бы приняли! Меня бы приняли на войну! Никто не обратил бы внимания, что мне двенадцать. Я бы держал себя очень солидно. В крайнем случае я бы два года накинул — сказал бы, что мне четырнадцать. И командовал бы полком! Командовал же полком Гайдар, когда ему было четырнадцать лет. Правда, он сказал, что ему шестнадцать. Ну, а я бы сказал, что мне четырнадцать, и, на худой конец, стал бы снайпером — тоже не плохо! Стреляю-то я здорово! Я бы убил много фашистов. Целую кучу! Вот бы обрадовался дядя! «Молодец! — сказал бы дядя.— Вот это ты молодец! Вот это *этвас*!» Эх, попасть бы в Испанию!»

Я не спеша шел по тропинке, размахивая убитой вороной, как трупом фашистского генерала, и сшибал белые одуванчики. Я сшибал их, как будто они вовсе не одуванчики, эти белые одуванчики, как будто это просто белые генералы, просто белые, просто белые... белые... просто фашисты... просто белые — вот! Я так развоевался, что даже не заметил, как подошел к дому. Наш дом стоял на самом краю деревни. Я увидел на террасе бледный свет керосиновой лампы, потому что уже начинало смеркаться — закат догорал,— и силуэты каких-то людей в саду перед домом и услышал радостный лай Чанга и еще голоса...

— Доннерветтер! На место! — услышал я вдруг.

Когда я влетел в калитку, дядя стоял на тропинке, ведущей к террасе, широко расставив ноги и растопырив руки, и, когда я налетел на него, он схватил меня в свои железные объятия и поднял на воздух вместе с винтовкой и вороной.

— Ты где пропадал? — кричал дядя.— Я жду тебя целый час! Поздоровайся! — и поставил меня на землю.

Позади дяди стояли гости. Двух я знал — Ломидзе и Власова,— это были дядины друзья. Но там было еще несколько человек.

— Познакомься,— сказал дядя,— мои друзья: Сайрио, Вайнберг, Суслин, Бауэр...

— Миша,— сказал я.

Я по очереди пожал каждому руку.

В петлицах у дядиных друзей были красные гвоздики. У дяди в петлице тоже была гвоздика. Гвоздика — это революционный цветок, я это знал. Дядя очень любил гвоздику.

— Пойдем к столу,— сказал дядя.— Мы ждали только тебя. *Сегодня я уезжаю...*

Я чуть не выронил от неожиданности винтовку.

— Куда? — спросил я, совсем позабыв, что дядя не любил, когда его спрашивали «куда».

— Не закудыкивай дорогу! — засмеялся дядя.— Не закудыкивай!

— Надолго?

— Надолго. Может быть, очень надолго...

— А как же охота? — Я совсем растерялся.

Я быстро-быстро заморгал глазами. Дядя обнял меня за плечи.

— Товарищи! — крикнул он.— Идите к столу, а мы с Мишей сейчас! *Пойдем,*— сказал он мне,— нам *надо поговорить...*

Мы прошли с дядей в самый дальний угол сада, туда, где в кустах сирени, под смолистой разлапистой елью, стояла узкая некрашеная скамейка. Вся земля вокруг была усыпана еловыми иглами, еще прошлогодними, и шишками. Здесь было *наше местечко.* Здесь мы часами беседовали с дядей. С тех пор как я помню себя, я помню эту скамейку, потому что много лет подряд мы жили на этой даче.

Мы сели на скамейку. Чанг тоже пришел — он сел подле дяди и уткнул ему морду в колени.

Я посмотрел на дядю: он был очень серьезным.

— Ты знаешь, что происходит в Испании?

Я кивнул.

— Я должен сообщить тебе один секрет: я еду в Испанию...

У меня дух захватило от этих слов.

— Драться с фашистами?

— Драться с фашистами.

— А я?

— А ты будешь здесь. С мамой. С папой. И с бабушкой.

— Я тоже хочу в Испанию! — крикнул я.

— *Доннерветтер!* — сказал дядя.— *Слушай меня!* — Он сказал это очень значительно. — *Слушай меня внимательно: об этом никто не должен знать! Никто!* Я доверяю тебе эту тайну, потому что верю в тебя. Ты уже взрослый. Я знаю, что ты никому не скажешь. Так надо. *Это приказ!*

Мы помолчали.

— А мама знает?

— Знает,— сказал дядя.— И папа знает. И бабушка. И мои друзья, старые большевики, которые приехали меня провожать. *Все они знают, но делают вид, что не знают. И ты будешь делать вид, что ничего не знаешь. Как будто я на курорте... Ясно?*

— Ясно! — сказал я.

— Повторите приказ!

— Я знаю, что вы едете на курорт! — сказал я.

— Вот именно! — сказал дядя.

Он обнял меня и поцеловал.

— Ты не горюй! — сказал он.— Твое время придет! Придет еще твое время. А пока еще время мое. Я еще не расквитался со всей этой сволочью. А ты учись. Математике. И стрелять учись. И рисуй. И заботься о Чанге — я оставляю его тебе.— Он погладил Чанга по голове.

— А как же Север? — спросил я тихо.— Мне скоро тринадцать.

— Когда я вернусь,— сказал дядя,— мы поедем на Север.

— Ты уж вернись! — сказал я.— Поскорей.

— Вернусь! — сказал дядя.

Мы пошли, обнявшись, к светящейся террасе через огромный вечерний сад. Уже стало темно. Далеко на западе догорала заря. Там все было красное-красное, такое зловещее. Мы шли с дядей медленно, крепко обнявшись, шли медленно-медленно, и вдруг дядя запел, очень тихо, как будто не пел, а просто так говорил:

— «Там, вдали, за рекой, зажигались огни, в небе ясном заря догорала. Сотня юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакала...»

Я тоже стал подпевать дяде:

— «Они ехали долго в ночной тишине по широкой украинской степи, вдруг вдали у реки засверкали штыки — это белогвардейские цепи. И без страха отряд поскакал на врага, завязалась жестокая битва. И боец молодой вдруг поник головой — комсомольское сердце разбито...»

Я шел рядом с дядей и тихонько подпевал, и в носу у меня немножко щипало, потому что хотелось плакать.

— «Он упал возле ног вороного коня и закрыл свои карие очи: «Ты, конек вороной, передай дорогой, что я честно погиб за рабочих!»

Я вспомнил, как плакал от этой песни раньше, когда был совсем маленький. Мне очень жалко было молодого бойца. Я все волновался — сумеет ли конь передать, что его хозяин честно погиб за рабочих? И как он это передаст?

А дядя все успокаивал меня, объяснял, что вороной непременно передаст, потому что это не простой конь, а ученый... А теперь молодой боец стал старым бойцом, потому что он вовсе не был тогда убит, он был просто ранен, и теперь, когда он стал старым и мудрым, он опять отправляется в бой... И плакать нельзя, потому что я уже взрослый...

— «Там, вдали, за рекой, уж погасли огни, в небе ясном заря разгоралась. Капли крови густой из груди молодой на зеленую траву сбегали...»

— Ну, что вы так долго! — крикнула мама.

Мама стояла на ступеньках террасы, освещенная сзади колеблющимся светом керосиновой лампы, и лица ее не было видно, вся она была темная, только волосы вокруг головы светились, как темное золото. Но даже сейчас, даже силуэтом своим, мама была красива...

— Что вы там делаете? — спросила она.

— *Этвас!* — сказал дядя, поднимаясь на ступеньки крыльца.

— Вечно у вас секреты! — сказала мама.— Как только не стыдно! Все давно уже ждут!

На террасе было шумно и весело. Все сидели вокруг стола.

Большая лампа-«молния» висела под потолком над серединой стола. Вокруг нее кружились ночные бабочки. Все на столе сверкало.

Мы с дядей тоже сели за стол. Я сел рядом с дядей, во главе стола. Напротив нас, на другом конце, сидели папа и мама. А по бокам сидели дядины друзья — Сайрио, Суслин, Ломидзе, Вайнберг, Власов и Бауэр. И бабушка.

— Ну,— сказал дядя, когда мы уселись,— кто будет тамадой?

— Ломидзе! — сказала мама.— Кому же еще?

Тамада — распорядитель пира (это потом объяснил мне дядя).

— Ломидзе! Ломидзе! — закричали все.

Ломидзе встал. Это был большой, толстый усатый грузин. Он встал над столом, как скала.

— «Нико-лай Вто-рой Рома-нов,— запел вдруг Ломидзе громовым голосом,— воделиаран-нуна́! Предводитель хулиганов, воделиаран-нуна!»

Все расхохотались.

— Доннерветтер! — заорал дядя.— Ты помнишь?

— Ночь в горах! — сказал Ломидзе.— Елисаветполь! Князь Шервашидзе! Жандармы! Прошу внимания!

Все замолчали.

— Где соль? — крикнул Ломидзе.

— Она пред вами! — сказала бабушка.— Соль перед вами!

Ломидзе взял в левую руку солонку.

— Что главное в человеческой жизни? — спросил Ломидзе и обвел всех торжественным взглядом.— Главное — это соль! Сколько съешь с человеком соли! Вот что главное! Теперь вопрос: зачем мы здесь собрались? Я думаю, что не ошибусь, если скажу: мы все здесь собрались, чтобы отправить одного человека на курорт...

(Смех. Аплодисменты.)

— Генацвале! — крикнул Ломидзе.— Скажите мне: хорошо ли мы знаем этого человека? Вон того, который сидит рядом с юным большевиком Мишей? Заслуживает ли он, чтобы отправить его на курорт?

(Крики: «Заслуживает! Заслуживает!»)

Я тоже крикнул:

— Заслуживает!

— Сейчас мы решим! — сказал Ломидзе.— Надо выяснить, сколько мы съели с ним соли. Прошу давать краткие справки, чтобы не задерживать собрание: где, когда и сколько соли? Начнем по часовой стрелке: ваше слово, Сайрио!

— Тысяча девятьсот девятый год! — сказал Сайрио.— Ссылка в Сибирь! Пуда три соли!

— Слово имеет товарищ Суслин!

— Тысяча девятьсот двадцать четвертый год! — сказал Суслин.— Каракумы. Особый отряд по борьбе с басмачами! И еще Магнитогорский металлургический, тридцатый год! Восемь пудов!

— Товарищ Бауэр!

— Германия! — сказал Бауэр.— Девятнадцатый год. Четыре пуда!

— Кто тамада? — сказал Ломидзе.— Ваше слово товарищ Вайнберг!

— Тридцать первый, Поволжье. Кампания по борьбе с голодом. Соли почти не было — поэтому грамм... грамм сто!

— Это тяжелая соль! — сказал Ломидзе.— Сто грамм такой соли весят пудов семь!

— Боже мой! — сказала бабушка.— Как это все ужасно!

— Слово сестре! — сказал Ломидзе.

— О,— вздохнула мама,— я уж не помню сколько! Наверное, вагон!

— И какова соль?

— Чрезвычайно соленая! — сказала мама.— Очень!

— Добавлю от себя десять пудов! — сказал Ломидзе.— В разное время. Итого один вагон и тридцать два пуда! Я полагаю хватит...

(Бурные аплодисменты. Крики: «Хватит, хватит!»)

— Не хватит! — крикнул я.— Еще двадцать пудов! На рыбалке! И в кино! И дома!

— Итого один вагон пятьдесят два пуда! — крикнул Ломидзе.— Вполне достаточно, чтобы отправить на курорт человека! (Смех. Аплодисменты.) Итак, дорогой Петя, поезжай! Отдохни там хорошенько! Но смотри не пережарься — там будет жарко! Очень жарко!

Я тоже встал и крикнул: «Ура!» Мне было как-то странно — и грустно и весело...

— Дядя,— спросил я шепотом,— там очень жарко, в Испании?

— Смотря когда. Сейчас жарко.

— Ты будешь там загорать?

— Может быть,— сказал дядя.

— Дай-ка прикурить,— сказал Сайрио.

Дядя вынул из кармана новенькую зажигалку и чиркнул.

— О,— сказал Сайрио,— зажигалка! А где ты достал кремень?

— Достал! — подмигнул ему дядя.— Кремень и Кремль — очень близкие вещи!

— А где ты будешь там загорать? На пляже? — спросил я.

— Может быть, на пляже. А может быть, и не на пляже... Может быть, просто на койке...

— Если ее вынести на солнце?

— Ну да...

— Я думал, ты будешь все время ходить в атаки...

— Я и буду ходить в атаки.

— Ты загоришь в атаках? А где ты достал зажигалку?..

— То-ва-ри-щи! — Это кричал папа.— Товарищи, прошу слова!

— Слово для доклада имеет великий молчальник! — сказал Ломидзе.

Все посмотрели на папу.

## РЕЧЬ МОЕГО ПАПЫ

Мой папа встал. Сначала он подмигнул дяде, а потом стал говорить. Я никогда не слышал, чтобы папа так долго говорил. Это была целая речь.

— Да, я великий молчальник! — сказал папа.— Я умею

молчать... Но сейчас я скажу! Я скажу!.. Вон тот человечище, вон тот, который сидит рядом с моим сыном... Вы знаете, что это за человек? Это великий рассказчик! Я великий молчальник, а он великий рассказчик! Почему? Потому что он покоряет людей! *Своими рассказами!* Он даже врагов покоряет! О, это страшный человек! Сейчас я расскажу! Это было давно, в восемнадцатом году... Мы еще не были с Машей женаты... (Папа обнял мою маму.) Маша была моей невестой, и Петра я уже знал, но плохо... И однажды он покорил мое сердце! Знаете чем? Сейчас я расскажу! Мы шли втроем через линию фронта... Маша, Петр и я... В восемнадцатом году... Почему?.. Подробности не имеют значения! Но мы нарвались на белый патруль! Нас повели в штаб. Там на нас стали орать. Белые офицеры. На Машу. На меня. И на Петю. Они хотели нас расстрелять! Но это к слову, подробности не имеют значения... Вы знаете, что стал делать Петр? Он стал показывать *фокусы*...

— Какие фокусы? — спросил я.

— Это неважно! — Папа махнул рукой.— Подробности не имеют значения! Он стал рассказывать про свою бабушку...

— Про мою мать? — спросила бабушка.

— Про свою бабушку-графиню! — крикнул папа.

— Про какую графиню? — удивилась бабушка.— У нас не было никаких графинь!

Все засмеялись.

— Прошу не перебивать! — Ломидзе постучал по графину вилкой.

— Он стал рассказывать про бабушку-графиню! И про дедушку-графа! Как они умирают у красных! Все чуть не заплакали... И Маша чуть не заплакала! Так это было трогательно... Ты помнишь?

— Помню, помню, как же! — кивнула мама.— Я все помню...

— И нас отпустили! Петя просто всех покорил! Он врагов покорил... Но это подробности, дело не в них... Дело в том, что он великий рассказчик... Я это понял в ту ночь... Если бы не эти фокусы, я бы сейчас тут не стоял! И никого из вас тут сейчас не было бы!

Папа на секунду умолк и опять подмигнул дяде.

— А как он рассказывает о Полярном человеке? А? *А об этой штуке? А про этвас?* Да что там говорить! Подробности не имеют значения! Хотя все дело именно в них! Именно в них! Я никогда не умел так рассказывать...

— Но ты рассказал прекрасно! — Мама подняла руку.— Давайте споем!

— Давайте споем! — крикнул папа.

# NO PASARAN!

Итак, мы остались одни... Дядя уехал! Мы проводили его до платформы в Мамонтовке. До Москвы он поехал вместе с друзьями, а уж дальше — в Испанию — он поехал один. Как он там дальше поехал, я не знаю — об этом он ничего не сказал.

Провожали мы его хорошо, поздно ночью шли мы лесом на станцию к последнему поезду. По дороге мы пели старые революционные песни: «Смело, товарищи, в ногу!», и «Беснуйтесь, тираны!», и «Наш паровоз, вперед лети!», и «Колодники»... И еще другие песни.

А еще мы стреляли. Все стреляли. Даже мама. И я тоже стрелял. Только бабушка не стреляла, потому что она старенькая и не умеет стрелять. И потому, что она не ходила на станцию.

А стреляли мы вот как.

Когда мы шли через лес на станцию, светила луна, было очень светло и тихо. Мы шли по безлюдной дороге, и пели, и смотрели на звезды и на луну, и вдруг я увидел на дереве змéя. Маленького бумажного змея на дереве! Я его первый увидел. Он висел высоко-высоко, над самой дорогой, на верхушке дерева. Со мной была винтовка, и я сказал:

— Надо этого змея сшибить!

И дядя сказал:

— Сшиби!

Я прицелился и выстрелил. Но в змея я не попал. Чего уж там врать — не попал, да и все! Мне просто не повезло.

А Ломидзе сказал:

— Сейчас я его тебе сшибу! — и достал из кармана револьвер.

Мама сказала:

— Бросьте! Как вам не стыдно! Действительно, дети!

А Ломидзе сказал:

— Тряхнем стариной! Становись!

И папа тоже сказал:

— Тряхнем! Подробности не имеют значения!

И тут все достали оружие и стали палить в этого змея. Такая пальба поднялась! Как на войне! Вот было здорово! Змей так и дергался от каждого выстрела на веревке — на своем хвосте,— но не падал.

— Ну-ка, Мария, теперь ты! — сказал дядя.

И мама сказала:

— Ну, так и быть! Чтобы вы успокоились!

Дядя дал маме свой браунинг, мама прицелилась и выстрелила — змей слетел! Потому что мама попала прямо в хвост — в тоненький веревочный хвостик — и срезала его пулей.

— Вот как надо стрелять! — сказала мама.

Дядя обнял маму и сказал:

— Раскрасавица ты моя! Ворошиловский стрелок!

А Ломидзе поцеловал маме руку.

Я радовался больше всех. Я никогда не думал, что мама так хорошо стреляет! Вот это мама! Молодец моя мама!

Я поднял этого змея, всего изрешеченного пулями, и взял его с собой на память.

Вот как я провожал дядю. Эти проводы я запомнил на всю жизнь. Я вообще хорошо запомнил все это лето. Потому что оно было особенное.

Жили мы в это лето спокойно. Когда дяди долго не было, у нас всегда было спокойно. Никаких приключений не было. Все шло своим чередом. Но это только так, внешне. А внутренне мы все чувствовали себя очень неспокойно. Даже Чанг. Чанг стал нервным, он плохо слушался, а иногда принимался выть по ночам, как настоящий волк. Он переживал разлуку с дядей. Мы все переживали эту разлуку.

Каждое утро я бегал на станцию за газетами. Никогда я не читал столько газет! Читал я их, в основном, с бабушкой. Бабушка всегда любила читать газеты, а с тех пор как дядя уехал в Испанию, бабушка читала их день и ночь. Мы все искали с бабушкой что-нибудь про дядю. Но про дядю ничего не писали. А про других писали — про бойцов Интернациональных бригад. Про таких же революционеров, как мой дядя и его друзья. Это были настоящие герои. До сих пор я помню их имена — Листер, Лукач, Миаха. Бойцы Интербригад приехали в Испанию со всего мира — помогать испанскому народу. Многие из них пробирались в Испанию на свой страх и риск, в одиночку. Они добирались тайком до Франции — кто в пароходном трюме, кто в товарном вагоне, кто как,— а из Франции уже переходили в Испанию через границу. Но все-таки их было мало. И оружия им не хватало. А фашистов было больше. И оружия у них было больше. Фашистам помогали Гитлер и Муссолини — они посылали в Испанию войска, танки, самолеты. Все больше самолетов, все больше танков, все больше войск. Они делали это сначала тайком, а потом и открыто. Они совсем обнаглели! Они заливали кровью испанские города, убивали мирных жителей и детей. Они рвались к столице Испании — Мадриду. Обстановка в Испании была очень тревожной. «NO PASARAN!» — говорили в Испании. Это такой лозунг. Это значит: «Они не пройдут!» Не только в Испании так говорили — так весь мир говорил. Все честные люди.

И все же им удалось пройти. В те годы им удалось. Им удалось в Испании и в других странах. Потому что многие им

помогали. А многие, которые не помогали, смотрели на них *сквозь пальцы, то есть не вмешивались.* Они до тех пор не вмешивались, пока фашисты не заняли почти всю Европу. Это было все очень страшно!

Они даже к нам сунулись! Даже к нам! *Но у нас фашисты нашли свой конец!* Мы им дали, этим фашистам! Мы им так дали, что они не собрали костей! И тогда настал День Победы.

Когда я сейчас вспоминаю День Победы, я всегда думаю: как жаль, что дядя не дожил до этого дня! Вот бы он обрадовался! Мало сказать — обрадовался! Это было бы для него нечто большее, чем просто радость. Это было бы *этвас*, настоящее *этвас*! Но мой дядя не дожил.

Уж так получилось.

## ДАЛЬНИЕ ПОЕЗДА

Я сидел в комнате и рисовал. Ветви яблонь скребли в окна дачи, дул ветер, и было холодно. А еще было слышно, как падали яблоки — они глухо ударялись о землю и звонко о крышу. Бабушка грелась у печки и вязала носки, мама писала статью, Чанг спал, свернувшись клубком на подстилке. А я рисовал. Я всегда рисовал в плохую погоду.

Я рисовал Испанию: яркое солнце, яркое небо, яркие горы и яркие апельсиновые рощи с оранжевыми апельсинами. И войну. Я рисовал атаку республиканских войск, и бегущих фашистов, и воздушный бой в синем безоблачном небе. Все у меня получалось неплохо, только не получался дядя. Я хотел нарисовать дядю, но дядя не получался похожим... Немножко был он похожим, но все же не очень похожим...

В печке трещали дрова, а в трубе завывал ветер. Вся дача гудела от ветра.

— Пойди посмотри...— сказала мама.— Там кто-то пришел...

— Это ветер,— сказала бабушка.

— Там кто-то вытирает ноги! — сказала мама.

— Это ветер вытирает ноги! — засмеялся я.— Осень...

И вдруг меня осенило:

— Дом слышит шум и шорох на пороге, ах, это осень вытирает ноги... Ну как? Это стихи!

— Прекрасно! — сказала мама.— Ты запиши...

Я взял чистый листок, но тут вскочил и залаял Чанг. В дверь постучали.

— Да, да! — сказала мама.— Войдите!

Я схватил Чанга за ошейник, дверь открылась, и в комнату вошел человек.

Человек был похож на летчика. В те годы летчики были очень популярны. В газетах писали не только про Испанию — много писали про летчиков. Про Чкалова, про Громова, про Коккинаки. Они летали через Северный полюс в Америку. И поднимались в стратосферу! Выше всех! Они гремели на весь мир, наши летчики.

Я сразу узнал в этом человеке летчика. Он был в обыкновенной кепке, но в кожаной куртке с «молниями» и в сапогах... Он был похож на Чкалова: такое же суровое лицо с глубокими складками возле рта, с прямым носом и крутым подбородком. Он сразу понравился мне своей улыбкой.

— Поди отыщи вас! — сказал он.— Я от Феденко, Петра Ивановича! По-моему, я не ошибся?

— Боже мой! — прошептала мама.

Она вскочила и стояла бледная как полотно, прижимая руки к груди. Бабушка тоже вскочила, выронив спицы...

— Боже мой! — повторила мама.— Но вы садитесь, садитесь... Хотите чаю?

— Прошу меня извинить! — сказал человек.— Я очень спешу... Я вас так долго искал. Я привез письмо.— Он сел, достал из куртки письмо.

Чанг опять зарычал.

— Ну-ну! — сказала мама.— Это свои...

Мама опустилась на стул, вскрыла конверт и стала читать. Мы с бабушкой смотрели ей через плечо.

Вот это письмо, даже не письмо, а записка...

*13 августа 1936 года*
*Тардиента.*

*Крепко обнимаю и целую вас, дорогие мои! Как вы там все? Целую вас крепко! Как Миша? Надеюсь, он молодцом... Привет Чангу... Между прочим, у меня тут опять собака — перебежала к нам от фашистов, не захотела быть фашистской! Прекрасный пес, образованный! И совсем не боится огня... Я здоров, чувствую себя хорошо. Здесь очень жарко, конечно, «в высшем смысле»... Меня окружают прекрасные люди... Передаю эту записку с оказией, не знаю, дойдет ли... На этом кончаю — сейчас мы идем в атаку... Держитесь, скоро увидимся! NO PASARAN!*

*Ваш Петр.*

...Мама долго не могла ничего сказать. И бабушка. А я спросил летчика:

— Вы Чкалов?

А он сказал:

— Нет, я не Чкалов,— и улыбнулся.

Потом мы проводили летчика на станцию. Он действительно оказался летчиком. Фамилии его я не помню.

По дороге на станцию мама все спрашивала, как *там*, в Испании, *как дядя?* А летчик отвечал, что все хорошо, дядя наш молодец. Что он там командует. Что все хорошо. И улыбался. И мы тоже сказали, чтобы он передал дяде, что у нас все хорошо. И все-таки *толком* он ничего не рассказал. А мы *толком* ничего не спросили. Потому что очень волновались. И спешили.

На станции летчик сразу сел в поезд и уехал. А мы еще долго стояли на станции.

Мимо нас с грохотом проносились поезда: местные, товарные, дальние... Я особенно люблю дальние! Они не останавливаются на маленьких станциях, им некогда, они спешат далеко-далеко, они налетают как вихрь, сливаясь в одну зеленую линию, как зеленые черноголовые змеи,— паровоз, потом вагоны, вагоны, вагоны, вагоны... Паровоз пыхтит и орет, а вагоны толкаются и стучат на стыках колесами, как сотнями ног, и все они гуськом проносятся мимо, и вот уже пусто — только запах дыма да звон в ушах...

Поездам всегда машут рукой — счастливый путь! И я тоже машу рукой. И из вагонов мне тоже машут — счастливо, мол, оставаться!

Если б вы знали, как мне не хотелось оставаться! Я тоже хотел ехать! Я хотел к дяде, в Испанию!

Через опустевшие рельсы уже переходят люди, они идут по своим делам, на базар или в лес по грибы, потому что утро и осень. А вон какая-то старуха тянет через линию корову; старуха тянет ее за веревку, а корова не идет, упирается, опустив рога, и трясет головой, и это очень смешно, но я не смеюсь, потому что мне не смешно... Корова боится, ей не нравятся запахи поездов, а мне очень нравятся запахи поездов...

Поезда́ прекрасно пахнут — они пахнут дорогой, дальними странами, пылью, и ветром, и лесами, и морем, и апельсинами, и яблоками, и рыбой — чем только они не пахнут!

А еще мне кажется, что они пахнут Испанией...

По́езда давно уже нет, а мы все стоим и стоим, стоим и смотрим за семафор, туда, где сливаются рельсы, куда уехал летчик, и вдыхаем станционные запахи, и Чанг тоже вдыхает станционные запахи, а в руках мы держим газеты, которые мы купили в киоске, и Чанг тоже держит газету — в зубах, а потом мы идем домой.

Дорога от станции поднимается в гору; она тянется ленточ-

кой у подножия сосен, поэтому улица так и называется — Ленточка. Сосны шумят над дорогой под самыми тучами, они стоят высокие-высокие, как длинные великаны с маленькими кудрявыми головами; стволы у них совсем голые, почти до самой верхушки, снизу — коричневые и серые, а выше — красные, и оранжевые, и желтые, как будто медные, и только на самой верхушке они увенчаны темной лохматой хвоей.

Сосны шумят... Красивые сосны! Интересно, растут ли в Испании сосны? Наверное, нет! В Испании растут оливковые деревья, и лавровые деревья, и апельсиновые, и кипарисы, и пальмы. Потому что там юг. А у нас север. И я опять вспомнил стихи, которые так любит дядя и которые я вспоминал, когда дядя был в экспедиции ГЛАВСЕВМОРПУТИ: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна...» Только тогда дядя был на Севере, а я на юге. А теперь наоборот: я на севере, а дядя на юге... Вот как все в жизни меняется! У нас, конечно, север не дикий и сосны не одинокие — у нас много деревьев! Потому что у нас Подмосковье. Я очень люблю Подмосковье! И Испанию я тоже люблю, потому что ее защищает мой дядя. И потому что она борется с фашистами. Но больше я все-таки люблю Подмосковье! Потому что это моя родина. Родину нельзя не любить, ее любят просто потому, что она родина. Тут уже ничего не попишешь. Тут уже баста. Этим все сказано. Люблю же я маму просто потому, что она мама. Вот она идет рядом со мной и тоже смотрит на сосны...

Я очень люблю Подмосковье! Подмосковье тоже север, хотя и не настоящий. Настоящий Север находится там, за Полярным кругом. Дядя говорил, что там никогда не заходит солнце. Вернее, оно никогда не заходит летом, а зимой никогда не всходит. Там очень интересно! Туда мы поедем с дядей, когда он вернется. И там дядя покажет мне *этвас* — нечто такое, чего не видел никто. И еще мы пройдем огонь, воду и медные трубы. Дядя-то их прошел! А я нет. Но это потому, что еще не пришло мое время. А оно придет обязательно. Хорошо бы пройти огонь, воду и медные трубы вместе с дядей. С ним было бы интереснее. Дядя опытный человек, он во всем этом прекрасно разбирается. С дядей хорошо — он во всем разбирается...

Шумят сосны. Шумят, шумят. Шумят себе сосны... А мы идем по дороге...

# Комментарии

## С. П. АЛЕКСЕЕВ

*(род. в 1922 г.)*

Книга С. П. Алексеева «Сто рассказов из русской истории» впервые опубликована в 1966 году в издательстве «Советская Россия». В нее входят несколько разделов, объединенных в своеобразные циклы. Первый — «Рассказы о Степане Разине, казаках и восставших крестьянах» — включает рассказы: «Всадник», «Не осудит», «Спа-си-те», «Казацкое слово»... Второй — «Рассказы о царе Петре и его времени» — состоит из рассказов, определяющих облик Петра I и его эпоху: «Без Нарвы не видать моря», «Про боярские бороды», «Чему молодые бояре за границей учились», «Аз, буки, веди...». Третий — «Рассказы о Суворове и русских солдатах» — посвящен великому русскому полководцу, не знавшему ни единого поражения в течение всей своей военной деятельности: «Пакет», «Бить, а не считать», «Измаил», «Настоящий солдат», «Суп и каша»... Четвертый — «Богатырская сила» — о войне 1812 года и ее героях-полководцах — Кутузове, Багратионе, Барклае де Толли — и мужественных, самоотверженных простых русских людях, солдатах, партизанах: «Сказка старого капрала», «Где же они, герои?», «Птица-слава», «Тишка и Минька», «Фили»...

Следующий, пятый раздел книги — «Красное знамя труда» — объединяет рассказы о том, как начиналось в нашей стране революционное движение, как происходили первые стачки и забастовки, как поднимались на борьбу за свои права люди труда: «В лесу у Емельяновки», «Гриша Лозняк», «Упрямая льдина», «Красное знамя труда»... Раздел «Царя скинули» повествует о самом начале новой жизни, о первых шагах после революции: «Гражданин Российской Республики», «Автомобиль», «Учитель» и другие.

Значительный интерес представляют помещенные в книге «Рассказы о Владимире Ильиче Ленине»; они свидетельствуют о вкладе писателя в развитие Ленинианы для детей и юношества.

Это рассказы «Старшой», «Несогласный», «Случай с Матвеем», «Удивительный день», «Секретная просьба», «Баламут»... Лениниана в творчестве С. Алексеева представляет собою поиск новых решений в освещении образа вождя. Автор стремится органично вплетать в ткань рассказа документальный материал, дает перекличку исторических периодов—современного и послеоктябрьского, по-своему рассматривает те или иные события. В этом, несомненно, причина большого интереса читателей к рассказам цикла.

Перу писателя С. П. Алексеева принадлежат многие получившие известность книги: «Небывалое бывает», «История крепостного мальчика», «Птица-слава», «Упрямая льдина», «Братишка», «Красные и белые», «Богатырские фамилии», «Идет война народная», «Срочное предписание», «Главная специальность».

В критико-биографическом очерке о творчестве писателя критик И. П. Мотяшов пишет: «Ну конечно же, книги Сергея Алексеева населены богатырями. Только не сказочными, а теми, кто делает действительную историю, кто движет мир из мрака крепостного прошлого в светлую явь коммунизма. И этих богатырей не три и не тридцать три. Даже не триста три. А гораздо больше. Потому что имя им — народ».

По словам С. В. Михалкова, писатель С. П. Алексеев «видит свое призвание в том, чтобы привести из прошлого в день нынешний выдающихся революционеров, полководцев, борцов за святые истины и сделать их как бы современниками наших ребят».

В течение многих лет С. П. Алексеев является главным редактором журнала «Детская литература».

Сергей Петрович Алексеев — лауреат Государственных премий СССР и РСФСР и премии Ленинского комсомола.

## В. И. АМЛИНСКИЙ

*(род. в 1935 г.)*

Над повестью «Жизнь Эрнста Шаталова» Владимир Амлинский работал в 1968 году. Повесть состоит из семи глав, последовательно раскрывающих судьбу молодого человека, не сломленного духовно, несмотря на тяжелую болезнь, приковавшую его к постели.

«Радость, удача вполне уживаются, сосуществуют с обыденностью, поднимаются, взмывают ввысь, беззаботно парят, как бы не соприкасаясь с ней, несчастье же уродливо и одиноко на фоне обыденности, оно выпадает из естественного течения жизни — оно противоестественно»,— пишет В. Амлинский в романе «Ремесло», опубликованном в журнале «Новый мир» (№№ 10—11, 1983 г.).

О том, как важно было художественно исследовать и психологически обосновать победу над несчастьем в обыденной жизни — а писатель решил эту задачу убедительно, с огромным тактом,— можно судить по тому непреложному факту, что повесть об Эрнсте Шаталове была горячо принята читателями и критикой. В семидесятые годы проходили конференции и диспуты, шли письма читателей разного возраста, повесть была включена в программы по литературе для школьников.

Не адресованная специально детям, повесть В. Амлинского стала одним из наиболее читаемых произведений у подростков и в 1970 году была выпущена издательством «Детская литература» в сборнике писателя «Музыка на вокзале». С тех пор она неоднократно переиздавалась, переведена на многие языки народов СССР, издавалась за рубежом.

Сведения о том, как складывался и развивался замысел, содержатся в самой повести: автор получил письмо, в котором будущий герой произведения просил прийти, чтобы поговорить по важному вопросу. Владимир Амлинский в это время активно

работал в жанре рассказа, его рассказы «Музыка на вокзале», «Станция первой любви», «Чистое сердце горниста», повесть «Тучи над городом встали», документальные очерки «Среди людей» уже пользовались прочным успехом у читателей.

В. П. Катаев, бывший тогда главным редактором журнала «Юность», вспоминал позже, что В. Амлинский привнес своими произведениями нужные молодежи, сложные проблемы — любви, товарищества, дружбы, гражданственного отношения к труду.

«Несколько раз в жизни я пытался выразить себя с предельной силой, до конца»,— говорит писатель в романе «Ремесло». За раздумьями повествователя ощущаются раздумья самого писателя, для которого, несмотря на более поздние серьезные удачи в литературе, одним из произведений максимального самовыражения была повесть «Жизнь Эрнста Шаталова». Ее нравственным критерием проверяется и будет проверяться жизнестойкость человека. С этих позиций изображены герои последующих произведений писателя, таких, как «Возвращение брата», «Нескучный сад», «Сегодня и навсегда», «Ремесло».

Писатель Владимир Ильич Амлинский — лауреат премии Ленинского комсомола.

## Г. Я. БАКЛАНОВ

*(род. в 1923 г.)*

Повесть Г. Я. Бакланова «Навеки — девятнадцатилетние» была впервые опубликована в 1980 году в издательстве «Советский писатель». Она состоит из двадцати семи глав, которые раскрывают внутренний мир одного из тех, кто, уйдя на войну совсем юным, не дожил и до двадцати лет. В повести все дается прежде всего глазами Третьякова, которого уже поздравили с днем рождения родные, но которому доведется погибнуть, так и не дожив до этого дня.

Есть в этом произведении и другие персонажи: автор не замыкается только на внутреннем монологе основного действующего лица. Рядом с Третьяковым его товарищи — кто старше, а кто и моложе, чем он, люди разных национальностей: Джедже-

лашвили, почти мальчик, неожиданно светлый, не похожий на грузина; Насруллаев — крупный, похожий на борца, тяжелодум; Чабаров — коренастый, широкоплечий, с несколько монгольскими чертами лица; Обухов — смуглый, рыжеватый, но чернобровый, шутник и насмешник.

Все это солдаты из взвода Третьякова. «Он смотрел на них, живых, веселых вблизи смерти», как пишет автор, и не мог в эту минуту затишья представить кого-либо из них погибшими.

В повести воплощены раздумья самого Бакланова о себе и своем поколении. Еще в 1965 году писатель говорил, что в их классе, в воронежской школе, мальчиков было столько же, сколько и девочек: примерно двадцать человек. После войны в живых осталось трое. Но двое не воевали, а из тех, кто был на фронте, в живых остался он один.

Неудивительно, что оставшемуся в живых как священный долг виделась необходимость рассказать о мыслях, мечтах, делах тех, кто не дожил до победы, но без кого эта победа была невозможна.

«Может быть, самые великие — Пушкин будущий, Толстой — остались в те годы на полях войны безымянно и никогда ничего уже не скажут людям. Неужели и этой пустоты не ощутит жизнь?» — так думает Володя Третьяков, ощущая боль за тех, кто погиб в те фронтовые годы, что шел он по военным дорогам.

В критике, посвященной произведениям Г. Бакланова, его обычно называют в ряду тех писателей, которые разрабатывают тему Великой Отечественной войны. Это закономерно, но все же не совсем точно. Есть у Бакланова и произведения о мирной жизни, как есть они у Ю. Бондарева, Б. Васильева, В. Быкова и других писателей, для которых военная тема остается сквозной, непреходящей. Наверно, в этом и заключается общность ряда писателей как исследователей военной темы: о чем бы они ни писали, раздумья не только о мире, но и о войне тревожат их творческую сущность.

«Среди многообразных обязанностей, которыми заполнены мысли, дни, у человека есть одна главная обязанность: быть человеком. И об этой его обязанности литература должна напоминать ему неустанно. Потому что назначение литературы —

быть совестью своего времени — так справедливо считает Г. Бакланов, так пишет он в очерке «Быть совестью».

В том же очерке он заметил: «Когда моя дочь нажимает кнопку лифта и вот этим усилием крошечного пальца подымает нас на седьмой этаж, я испытываю сложное чувство».

В самом деле, то, что ребенку кажется таким привычным, повседневным, отцу, чудом оставшемуся в живых, ощущавшему в течение долгих лет войны постоянную опасность смерти, кажется ежедневно необыкновенным, фантастическим. Так что же, неужели меняется сознание поколений? Неужели забудется период тяжелейших человеческих жертв? Эти вопросы, как бы их ни сформулировать, постоянно тревожат тех, кто пишет о войне.

«Книги об Отечественной войне неотделимы от всей нашей литературы, они часть ее. Так же, как и вся литература, они рассказывают о жизни нашего общества — о жизни предвоенной и периода войны. И как мы знаем, книги эти оказываются очень современными»,— подводит итог своим раздумьям о писательском назначении, о ведущей теме своего творчества Г. Бакланов в беседе с критиком И. Козловым.

Для писателей таких, как Бакланов, характерна удивительная целостность в восприятии мира, в осознании своих задач — литературных и жизненных. Будучи в пору войны девятнадцатилетними, они сохранили завоеванное, став зрелыми людьми, и всей страстью своего таланта и жизненных сил стремятся сохранить мир для поколений грядущих.

Широкую популярность в читательской среде получили произведения Г. Я. Бакланова — «Июль 41 года», «Пядь земли», «Мертвые сраму не имут».

Григорий Яковлевич Бакланов — лауреат Государственной премии СССР.

## Н. В. ДУМБАДЗЕ

*(1928—1984)*

Повесть «Я вижу солнце» появилась в печати в 1963 году в Тбилиси. На русском языке отдельным изданием опубликована в 1965 году в издательстве «Детская литература». С тех пор

издательство неоднократно обращалось к этой повести, последний раз опубликовав ее в 1983 году.

В творчестве писателя это было второе крупное произведение после романа «Я, бабушка, Илико и Илларион», написанного в 1959 году. Свою литературную деятельность Н. Думбадзе начал за два года до этого, в 1957 году, работая в журнале для молодежи. Журнал назывался «Цискари», что по-грузински означает «Заря». В нем публиковались юморески литературного сотрудника Думбадзе, а затем и его названный выше роман.

Повесть «Я вижу солнце», так же как и роман, посвящена теме военного детства и стойкости героев-подростков, которые вместе со взрослыми делили тяготы, вызванные вторжением фашистских оккупантов. Основное в творческой позиции писателя — показать людей, разделяющих заботы и радости друг друга, показать сопричастность людей всему человеческому.

«Душа человека во сто крат тяжелее его тела... Она настолько тяжела, что один человек не в силах нести ее... И потому мы, люди, пока живы, должны стараться помочь друг другу, стараться обессмертить души друг друга: вы — мою, я — другого, другой — третьего, и так далее до бесконечности...» — эти слова принадлежат одному из героев романа Нодара Думбадзе «Закон вечности». Они выражают убеждения и самого писателя. Убеждения, которые он последовательно утверждал в своем творчестве — в романах и повестях «Я, бабушка, Илико и Илларион», «Я вижу солнце», «Не бойся, мама», «Солнечная ночь», «Закон вечности», «Белые флаги».

«Высокий гуманизм, идейно-художественное мастерство, глубокая самобытность романов, повестей и рассказов Нодара Думбадзе снискали им широкое признание как в нашей стране, так и за рубежом»,— говорилось в некрологе, посвященном памяти писателя («Литературная газета», 19 сент. 1984 г.).

Лауреат Ленинской премии и премии Ленинского комсомола Нодар Думбадзе вошел в историю многонациональной советской литературы как патриот-интернационалист, создавший живые, обаятельные характеры подростков и взрослых, в которых воплощены лучше черты наших современников.

## Ю. И. КОРИНЕЦ

*(род. в 1923 г.)*

Повесть «Там, вдали, за рекой» написана в 1965 году, а в 1967-м — ее продолжение «В белую ночь у костра». По своей художественной целостности повести являются самостоятельными.

Оба произведения получили многочисленные положительные отклики в нашей стране и за рубежом. «Там, вдали, за рекой» переведена на языки народов СССР. Она издавалась как в социалистических, так и в капиталистических странах. Антеа Белл, переводившая повесть на английский язык, отмечала, что, по мере углубления в перевод она все больше приходила к убеждению, что «Там, вдали, за рекой» будет жить долго. «Книга выступает за детей и за романтику, и — прежде всего — за любовь к Миру и к Человеку. Но это не пустая, вялая любовь, это любовь, которая требовательна и которая хочет изменить мир, то есть это подлинный гуманизм борца»,—заметила западногерманский критик Марина Штотц.

Романтизм, гуманизм, высоконравственные черты, присущие советской действительности, отличают творческое начало в произведениях писателя.

«В прозе Коринца отчетливо ощутимы гайдаровские традиции. О них можно говорить много. Но самая главная традиция Гайдара — писать так, чтобы юный читатель на всю жизнь полюбил Советскую власть, как самую правильную и справедливую. Чтобы любовь к Советской власти, к коммунизму, к Родине, к человеку вошла в его сердце как единое всепроникающее и всеобъемлющее чувство. И чтобы все его помыслы, дела, поступки определялись и направлялись этим великим чувством»,— пишет И. Мотяшов в очерке «От искры ленинской костер»...

Критикой отмечались и автобиографические элементы в повести «Там, вдали, за рекой» — повести о дяде, как в подзаголовке определяет сам автор. И в то же время верно подчеркивалось, что годы, изображенные в повести, не только биография писателя, но и биография его времени, его поколения.

Именно эта черта: единство автобиографического, важного для одного человека, и общесоциального, важного для всего об-

щества,— обеспечивает активную жизнь повести Ю. Коринца «Там, вдали, за рекой».

Созданные писателем сборники стихов и сказок, повесть «Володины братья», роман «Привет от Вернера» и другие произведения стали неотъемлемой частью детского чтения, пользуются широким общественным признанием.

Юрий Иосифович Коринец награжден орденом «Знак Почета».

*Е. Зубарева*
*Л. Фетисова*

# СОДЕРЖАНИЕ

*Е. Зубарева, Л. Фетисова.* Героизм поколений . . . . . 3
*В. Кондратьев.* О повести Григория Бакланова «Навеки — девятнадцатилетние» . . . . . 14

*СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ*
СТО РАССКАЗОВ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ. *Повесть* . . . . . 17

*ВЛАДИМИР АМЛИНСКИЙ*
ЖИЗНЬ ЭРНСТА ШАТАЛОВА. *Повесть* . . . . . 173

*ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ*
НАВЕКИ — ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ. *Повесть* . . . . . 213

*НОДАР ДУМБАДЗЕ*
Я ВИЖУ СОЛНЦЕ. *Повесть* . . . . . 357

*ЮРИЙ КОРИНЕЦ*
ТАМ, ВДАЛИ, ЗА РЕКОЙ. *Повесть о дяде* . . . . . 491

*Комментарии* . . . . . 595

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

(Том 30, книга 4)

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

*Сергей Алексеев*

СТО РАССКАЗОВ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ. *Повесть*

*

*Владимир Амлинский*

ЖИЗНЬ ЭРНСТА ШАТАЛОВА. *Повесть*

*

*Григорий Бакланов*

НАВЕКИ — ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ. *Повесть*

*

*Нодар Думбадзе*

Я ВИЖУ СОЛНЦЕ. *Повесть*

*

*Юрий Коринец*

ТАМ, ВДАЛИ, ЗА РЕКОЙ. *Повесть о дяде*

Ответственный редактор *И. В. Омельк*

Художественный редактор *М. Д. Суховцева*

Технический редактор *Н. Ю. Крапоткина*

Корректоры *Л. А. Лазарева, Л. А. Рогова*

ИБ № 9466

Сдано в набор 14.11.86. Подписано к печати 20.03.87. Формат $60\times90^{1}/_{16}$. Бум. типограф. № 1. Шрифт академич. Печать высокая. Усл. печ. л. 39,13. Усл. кр.-отт. 42,88. Уч.-изд. л. 37,48+9 вкл.=38,04. Тираж 407 000 экз. (2-й завод 207 001—407 000 экз.). Заказ № 4669. Цена 2 р. 10 к.

Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

**Алексеев С. П.**

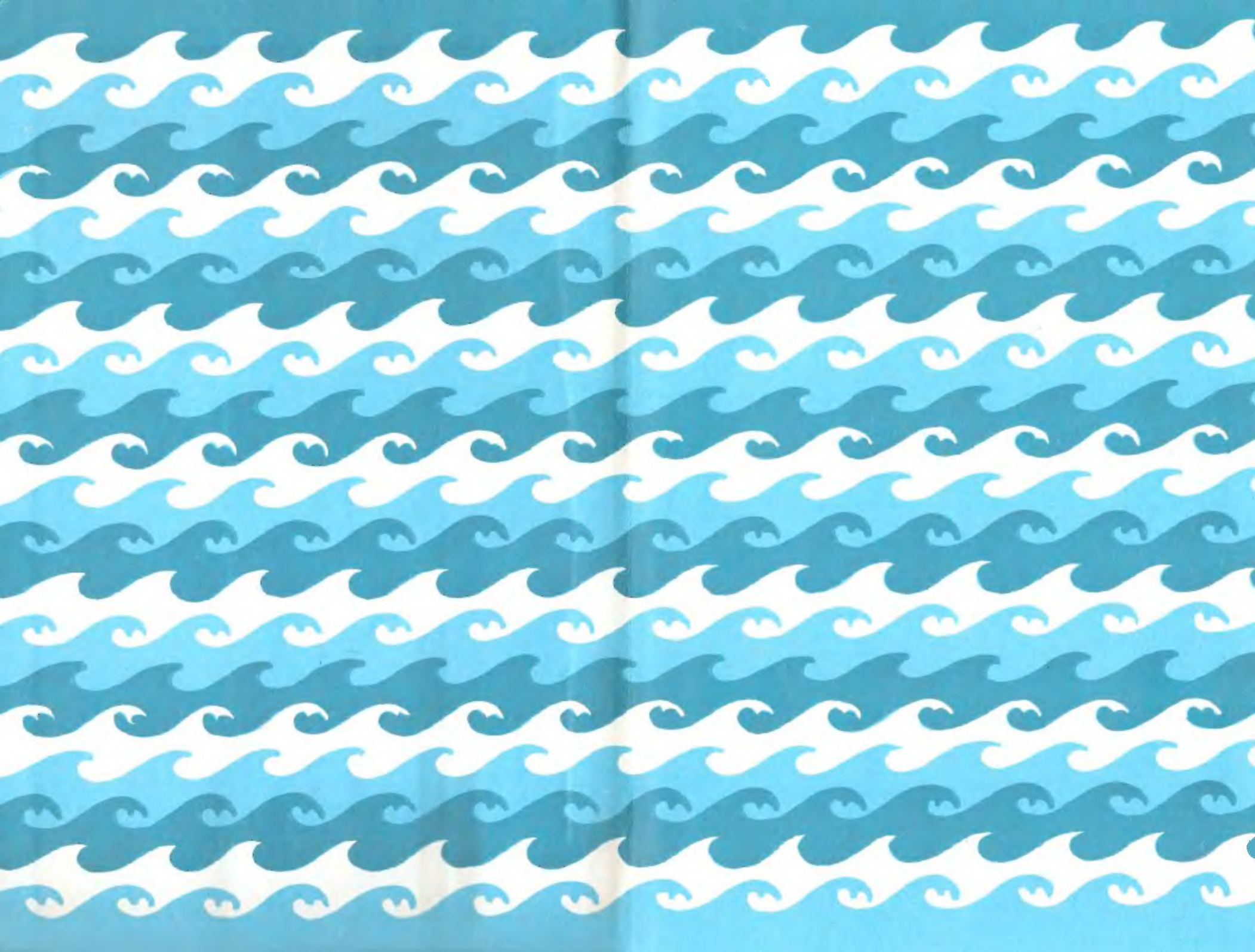
А47 Сто рассказов из русской истории. Амлинский В. Жизнь Эрнста Шаталова: Повесть. Бакланов Г. Навеки — девятнадцатилетние: Повесть. Думбадзе Н. Я вижу солнце: Повесть/Пер. с груз. З. Ахведиани. Коринец Ю. Там, вдали, за рекой: Повесть о дяде.— М.: Дет. лит., 1987.— 606 с., ил.— (Б-ка мировой литературы для детей, т. 30, кн. 4.).

В пер.: 2 р. 10 к.

В книгу входят повести и рассказы советских писателей: «Сто рассказов из русской истории» С. Алексеева, «Жизнь Эрнста Шаталова» В. Амлинского, «Навеки — девятнадцатилетние» Г. Бакланова, «Я вижу солнце» Н. Думбадзе, «Там, вдали, за рекой» Ю. Коринца.

А $\frac{4803010102—304}{M101(03)87}$ Подп. изд. С62

**Scan Kreyder - 13.08.2016**
**STERLITAMAK**



2 р. 10 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»